Борис Можаев

4

Борис
МОЖАЕВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Борис Можаев

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

Москва
«Художественная литература»
1990

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

МУЖИКИ И БАБЫ

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

ОЧЕРК

СТАТЬЯ

Москва
«Художественная литература»
1990

ББК 84Р7
М74

Оформление художника
Ю. БАЖАНОВА

М $\frac{4702010201\text{-}201}{028(01)\text{-}90}$ подписное

ISBN 5-280-01050-2(Т. 4)
ISBN 5-280-00793-5

Мужики
и бабы

роман

КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Впервые за всю свою жизнь Андрей Иванович бежал от праздника, бежал, как вор, ночью, тайно, хоронясь от соседей... Белобокую вывел к заднему крыльцу и при жидком оловянном свете ущербной луны приторочил на спину лошади ватолу, натянул на себя задубенелый брезентовый плащ и придавленно засипел:

— Надя, сумку неси! Ружье там... возле койки.

Надежда появилась на крыльце с фонарем «летучая мышь», Андрей Иванович замахал на нее руками и ногой притопнул:

— С ума спятила! Кому светишь? Иль чертей собираешь?

— Что ты, Христос с тобой! На ночь глядя и черным словом...— Надежда задула фонарь и подала мужу брезентовую сумку и ружье.

— А патроны где?

— Тама... И сало, и хлеб, и спички... Все в сумке.

Андрей Иванович подпоясал плащ, закинул за спину ружье, повесил сумку.

— Так и скажешь Кречеву, ежели явится... Нету, мол, с лугов не приезжал. С Селютаном по болотам шастают...

— А ежели Матвей с Царицей приедут?

— Встретишь как следует... Гуляйте по-людски... А мне не до праздника.

— Не простудись... Видишь, как вызвездило! На мороз.

— В лугах сена много. Не замерзнем...

Андрей Иванович поднялся на вторую ступеньку, закинул повод на шею лошади и, ухватясь рукой за холку, сказал, глядя себе под ноги:

— Мария ушла с Успенским...

Надежда не отозвалась, она торопливо, горячим шепотом читала молитву и мелким крестом осеняла сверху Андрея Ивановича:

— Заступница усердная, матерь господа всевышнего, всех молящихся за сына твоего, Христа — бога нашего, всех нас заступи. Державный твой покров прибегаем...

Андрей Иванович помедлил, словно зачарованный этими магическими словами, поднял голову, что-то еще хотел наказать жене, но, увидев ее запрокинутое лицо и сложенные молитвенно руки, только выдохнул устало и прыгнул на спину лошади. Острая жалость полоснула его по сердцу: жалко было и жену, в одной исподней рубахе застывшую на крыльце в эту глухую полночь, жалко гнать безответную животину в дальнюю беспутную дорогу, жалко было и себя, словно бродягу, изгнанного из теплого ночлега.

Он выехал через Маркелов заулок на зада, чтобы ненароком не столкнуться с каким-нибудь шалым ночным гулякой, и потрюхал рысцой вдоль крутого обрыва, огибая родное село.

Федорок Селютан поджидал его за Тимофеевскими тырлами, возле озера Падского. Расстояние немаленькое. Пока доедешь, все думы передумаешь. А думать было о чем — весь день колесом прошел...

Сперва нагрянул Кречев, злой и отчаянный. Раз мне, говорит, голову секут, и я кой-кому успею башку снести... Его на бюро вызывали и дали перцу: ты что, спрашивают, в пособники классового врага записался? Где хлебные излишки? Ну где, отвечает. Собираем... А ты мешок с сухарями не думаешь собирать? Ты забыл, что делают с теми, кто не выполняет советские планы? Не хочешь других сажать — сам в тюрьму садись! Сколько можно собирать эти излишки? Дак ведь много наложили. Зенин перестарался. А ты где был? Ты кто, председатель Совета или писарь при Зенине?

Кречев все рассказывал Надежде, ходил, крестил половицы, скрипел зубами от ярости и бессилия. А теперь, говорят, садись завтра же и составляй твердые задания. Говорю, и так обложили шестнадцать человек. Некоторых по два раза. А Возвышаев ногами затопал: мало, кричит. Еще шестнадцать заданий давай! Собирай завтра же пленум! Сам, говорит, приду к вам. Давай, ищи

Андрея Ивановича. Скажи ему, чтоб завтра с утра в Совет шел на пленум. Кулаков выявлять.

Это еще спасибо Надежде — башковитая баба, сообразила что к чему и туману напустила. Вроде бы он на луга подался, говорит. Не знаю, приедет ли на ночь.

Андрей Иванович на одоньях был, в молотильном сарае ухобот[1] провевал. Прибежала Надежда да второпях все выложила.

— Ба-атюшки мои! Кого обкладывать? Всех торговцев давно уж приучили. Остались одни трудовики. Свой брат, мужик сиволапый. Ну дай ему задание, проголосуй! Завтра же всем будет известно, что ты руку поднял на своего брата. И против слова не скажешь. А скажешь — рот заткнут. Нет, бежать! Бежать с глаз долой от этого пленума. Тут Андрей Иванович и договорился с Селютаном махнуть на ночь глядя в луга поохотиться. А сам до вечера заперся в горнице.

Но и под замком покоя не было. Уже в сумерках нагрянул младший брат Зиновий, из Пугасова приехал. Возле порога схватился бороться с Федькой. Табуретку опрокинули, вешалку сорвали. Топот, грохот, пыхтение... Как стадо свиней ворвалось. Что за черт? Андрей Иванович высунулся из горницы — они, как бараны, лоб в лоб, зады отпятили и топчутся на четырех ногах. У Федьки рубаха заголилась по самую шею, спина голая, красная...

— Зиновий, тебе сколько лет? Все в мальчики играешь?

— Теперь все во что-нибудь да играют. Время такое.— Зиновий распрямился, скаля белозубый рот.— Он, черт сопатый, перед дядей родным шапки не снимает. Я его научу старших уважать.

— Дак я ж на улицу собрался, вот и шапку надел,— оправдывался Федька, с трудом сдерживая выпиравшую радость. Ну, как же? Против дяди Зины устоял — лихому бойцу и забияке не поддался.

На Зиновии был черный драповый пиджак с каракулевым воротником, модная, мохнатая восьмиклинка с огромным козырьком валялась на полу.

— Молодец, Маклак! Вот так и держись.— Зиновий хлопнул Федьку по плечу.— Бей своих, чтоб чужие боялись... А теперь мотай к дяде Коле и дяде Максиму. Зови их сюда, на великий совет. Живо!

---

[1] Ухобот — сорный хлеб.

— Дак я — одна нога здесь, другая там...— Маклак накинул пиджак, схватил кепку и — кубарем с крыльца.

— Что у тебя загорелось? — спросил Андрей Иванович.

Зиновий вынул из кармана сложенную брикетиком свежую «Правду», сунул Андрею Ивановичу.

— На, радуйся! Остальное выложу опосля... Ремень затяни потуже, а то штаны спадут.— И, подмигивая карим бойким глазком, стал раздеваться.

Вошла Надежда с полным ведром пенистого парного молока, захлопотала, увидев деверя:

— Откуда явился? Прямо из Пугасова?

— Ага. Верхом на облаке.

— Проходите в горницу. Сейчас самовар поставлю.

— Хозяин проход загородил.

Андрей Иванович стоял в дверях и разглядывал, распахнув во все руки, огромную «Правду», перелистывал ее мятые полосы. Зиновий покачивался перед ним на носках, засунув ладони под лакированный ремешок, перехвативший серую суконную толстовку, подтрунивал:

— Ну что, нашел, где собака зарыта?..

Андрей Иванович скользил по заголовкам статей, читал вслух и комментировал:

— «День урожая и коллективизации». Допустим... «За ускорение поворота в работе КИМ». Поворачивайтесь на здоровье... «После совместного заявления Гувера и Макдональда»... Не слыхал и слышать не хочу. Так. «На важнейшем участке... Собрано только 50% законтрактованного хлеба». Меня это не касается. Я хлеб сдал и по плану, и по излишкам. Еще что? «Растет новая деревня». Правильно, растет. «На новом подъеме». Эге, выше ногу, грудь вперед. «За боевой темп перестройки сельского хозяйства». Верно, даешь пятилетку в четыре года! — поднял глаза на Зиновия.— Все известно. Ну, и что ты хотел сказать?

— Надо уметь читать нашу газету. Вот, видишь? — Зиновий ткнул пальцем под заголовок статьи «На новом подъеме».— Читай! «Контрольные цифры колхозного строительства на 1929—30 гг.».

— Что мне эти цифры?

— А то самое... Конец приходит твоей единоличной жизни. Дай сюда газету! — Зиновий отобрал газету и стал читать: — «В связи с указанными достижениями колхозного строительства...» Погоди! Так, так... Ага, вот оно! «...в

результате чего стоит вопрос о пересмотре проектировок пятилетнего плана в сторону решительного увеличения темпов коллективизации...» Понял? Теперь слушай дальше: это «...дает основание предполагать, что к концу пятилетки колхозное движение охватит 50% индивидуальных крестьянских хозяйств».

— Ну и что? К концу первой пятилетки половина да к концу второй половина. Это ж десять лет! Их еще надо прожить.

— Ах ты заскорузлый собственник! Ничем тебя не прошибешь... Не будет тебе отпущено десяти лет, не будет! Наберись терпения и слушай: «Строительство крупных колхозов влечет за собой большие качественные изменения в структуре колхозной сети. Крупные колхозы должны являться высшими формами и должны обобществить 100% рабочего скота, 80% продуктивного скота и хозяйственных построек и 20% жилых построек (директива правительства)». Во, в скобочках помечено, смотри! — ткнул пальцем Зиновий.

— Как это — жилых построек? — опешил Андрей Иванович.

— А так... Выселят тебя из твоего дома, а здесь контору откроют или сыроварню.

— Да ну тебя!

— Ты не нукай, а слушай и мотай на ус. Вот оно, главное: «Совершенно новым явлением в колхозном строительстве, радикально изменяющим социальное лицо деревни и даже функции деревенских и советских организаций, будут районы сплошной коллективизации...»

— Что это значит? Власть будет другая? — спросил Андрей Иванович.

— А ты что думаешь, комсоды вам сохранят, Советы? Вон, смотри, другая статейка: «Три района в одну колхозную семью». Колхоз-гигант на площади в 135 тысяч гектаров. Как, доходит?

Андрей Иванович только сухо сглотнул.

— Слушай вывод.— Зиновий прочел: — «В пятилетнем плане колхозного строительства совершенно не были предусмотрены эти районы (то есть сплошной коллективизации), в то время как уже сейчас выявилось не менее 25 таких районов и намечается к сплошной коллективизации за предстоящий год до 60—80 таких районов. Колхозное строительство в районах сплошной коллективизации должно вылиться в совершенно иные формы,

чем это мы привыкли видеть до настоящего времени...» Так-то, братец мой. Совершенно иные формы! Понял? Не будут тебя уговаривать, не будут! Проголосуют — и Вася. Наша Московская область, по слухам, будет вся районом сплошной коллективизации. Тульский округ уже объявлен таким районом. Рязанский округ на очереди, если уже не объявлен... Вчера нашу снабженческую базу прикрыли. Хватит, говорят, возиться с этими сельковами. Да здравствуют колхозы! В наших помещениях открывается машинно-тракторная станция. А это значит, что наш район намечен к сплошной коллективизации. А проведут ее, говорят, за зиму. Весеннюю посевную начнут уже колхозы, а не вы, собственники.

Зиновий сложил газету опять брикетиком, хлопнул ею по ладони и передал Андрею Ивановичу.

— Вникай!

Тот потерянно теребил ус, все еще нелепо стоя возле горничного порога. Надежда успела процедить и разлить по кринкам молоко, сказала от стола:

— Что вы, в самом деле, как чужие, топчетесь у порога. Проходите к столу да читайте...

— Как чужие! — подхватил Зиновий.— Именно чужие. В этой жизни мы перестали быть хозяевами. Нас просто загоняют в колхозы, как стадо в тырлы. И все теперь становится не нашим: и земля, и постройки, и даже скотина... Все чужое. И сами мы тоже чужие... А раз так, то вались все к чертовой матери.

Он ходил по избе, поскрипывая хромовыми сапожками (калоши в коридоре снял), и ворошил рукой волнистые каштановые волосы, словно перед девками красовался. Андрей Иванович тихонько, как пришибленный, удалился в горницу и до прихода братьев читал и перечитывал без конца эту грозную статью, подписанную каким-то Терлецким. Он читал ее до шума в голове, до звона в ушах, и ему стало казаться, что кто-то из-за плеча посмеивается над ним, нашептывает: «По теории классовой борьбы — каждая собственность калечит отношения между людьми...» Он оглянулся и увидел — в углу, на бревенчатой стене, лукавую рожу Сенечки: и подслеповатые глазки, и открытый вздернутый нос с черными ноздрями... Он вздрогнул и поднялся с табуретки. Наваждение пропало... На стене в углу, на месте Сенечкина носа, виднелось два черных сучка, чуть выше — волнистые затесы, напоминавшие изгиб бровей...

— Эдакая чертовщина...— выругался Андрей Иванович, потом перекрестился,— спаси и сохрани, царица небесная...

На братьев — Максима и Николая — статья, к удивлению Андрея Ивановича, подействовала совсем иначе.

— Я знаю,— сказал Николай Иванович.— Тарантас вчера сказывал. Из Рязани вернулся, от зятя. Говорит — насчет сплошной коллективизации — дело решенное. Ну и что же? Опролетаризируемся к чертовой матери, и дело с концом. Двум смертям не бывать, а одной не миновать...

Максим Иванович вроде бы обрадовался: правильно говорит. А чего тянуть резину? В колхоз так в колхоз... Всем сразу! Давай поглядим, чего из этого получится?

— Нет, не поглядим... Загорбину подставлять надо. И не чужую, а свою собственную! — горячился Андрей Иванович.— Все туда отвезти... И лошадей, и корову, и овец... Инвентарь. Все снасти свалить в кучу малу. Все, что наживал своим горбом, вот этими мослаками...— выставлял он вперед ладони и яростно сжимал кулаки.— Все отнести своими руками? Да я... Да мне легче руки на себя наложить!!

— Круши все подряд! — сказал Зиновий.— Начинай с самовара... Лупи его в брюхо!..

Надежда только что поставила на стол самовар и цыкнула на мужа:

— Ты чего размахался, фараон? Смотри, чайник со стола не смахни! Я тебе тогда покажу сплошную коллективизацию... Сам убежишь из дому...

Зиновий переломился в поясе и прыснул, как кот, а Николай Иванович и Максим Иванович оба словно по команде отвернулись и затряслись в беззвучном смехе; только уши наливались краснотой, будто подсвеченные лампой.

...Остыл Андрей Иванович и сам рассмеялся:

— Мне что, в самом деле, одному за всех отдуваться? Переживу и я. Не хуже иных-прочих.

— Да ты пойми, Андрей, пойми! Если уж руки зудят у начальства, так они все равно перекроят по-своему,— рассуждал Максим Иванович.— Это они друг перед дружкой стараются. Кто-то кому-то кузькину мать хочет показать. А наше дело — сиди и смотри. Сунешься свою правду доказывать — язык отрежут. Кому нужна твоя

мужицкая правда? Им свою девать некуда. Вот они ее кроют да перекраивают, на нас вешают, примеряют. Кто всучит свой покрой, тот туз и король. И хрен с ним, пускай тешатся. Ну наденем эти ихние колхозные шинели да армяки... Поносим год, другой. Все же увидят, что в коленках жмут. Ну посмеются да скинут. За старое возьмемся, за свое исконное-посконное. Только и всего.

Максим Иванович гудел, добродушно ухмылялся в черную окладистую бороду — он был медлителен, коренаст, с большой кудрявой головой, сидел, как в малахае.

— Ты только надень этот колхозный хомут... Так засупонят, что до самого издоха не вырвешься,— возражал Андрей Иванович.— Не только ты, дети твои увязнут в этой тине и проклянут тебя. Эх ты, башка большая! Да тебе что? Твои дети выросли да разлетелись. Тебе ветер дует в зад.

— Нехорошо, Андрей! Вразнобой мы пошли. Чертогон какой-то. Беда. Нам вместе держаться надо, крепко, как пальцы в кулаке. Тогда мы всего добьемся. Как в восемнадцатом году. Вместе пошли воевать: и ты, и я, и Михаил, и Колька. Он в те поры еще сопли подтирать не научился толком, а туда же, в строй. И воевал будь здоров! И Андрюшка мой успел. А теперь врозь?

— Ты не равняй хрен с пальцем,— огрызнулся Андрей Иванович.— В восемнадцатом году мы землю разделили по едокам, нарезали поровну, без обиды. Только работай, старайся... А теперь вы все валите в кучу малу, как тряпишник в телегу: кто чего принесет, то и ладно. Вам бы все перемешать да поглядеть — что выйдет из этого. А чего глядеть? И так все ясно: кто ближе окажется, тот и вытянет из этой кучи что получше, а тому, кто на отшибе,— шиш!

— Дак ведь не по своей охоте! Нас же склоняют. А раз так — все должны делать что-нибудь одно. Хочешь ты или нет, а большинство пойдет. Склонют! Зачем же тебе в меньшинстве оставаться, голова два уха? Сомнут! Не лучше ли всем враз притопать и всю затею обнажить. Смешно?.. Так вместе и посмеемся.

— Стыдно ведь старым мужикам придуриваться.

— Стыдно тому, кто заставляет.

— Э, нет! Я не Петрушка, чтоб под сурдинку дергаться на краю балагана. И ежели уж пойду на такое дело, так и отвечать за него должен сам. И грех мой.

— Ну вот, сразу и грех. Я это к примеру сказал. Может, что и доброе получится из этих колхозов. Надо попробовать.

— Иди ты со своей пробой! Одна вон попробовала...— Андрей Иванович не договорил, сердито, с грохотом отодвинул табуретку, встал из-за стола и, заложив руки за спину, начал крестить пол.

Вдруг остановился посреди горницы, круто взглянул на братьев и спросил, вроде с испугом:

— Да вы понимаете или нет? Это же не артель, а сплошной колхоз! Куда ни кинь — все клин. И выхода из него нет. Бежать захочешь — так некуда.

— Брось, брось яриться-то,— осаживал его Максим Иванович.— Эка, напугал колхозом. Вон, в девятнадцатом году все пароходы потопили. Лоцманам делать нечего — работы лишились! И то не пропали. Вот видишь, живу и здравствую. И в колхозе проживем. Чего ты боишься? Кругом же свои люди. Председателем станет Ванятка Бородин. Поди уж, не обделит тебя-то.

— Ему и делить-то нечего будет. Теперь вон хлебные излишки приходится силой выколачивать из каждого. А тогда? Подъедет обоз к амбару — выгребут все под метелку, и поминай как звали.

— Андрей, Андрей, не складывай руки на груди раньше времени. Мы еще помашем да попашем.

— Нет, нет! Опролетаризоваться вчистую... и к чертовой матери! — сказал Николай Иванович; на безусом горбоносом лице старался он изобразить суровую озабоченность, но глаза озорно поблескивали, поглядывали на Зиновия, который за самоваром строил уморительные рожи, передразнивая старших братьев.

Андрей Иванович, так и не одолев старшого, набросился на Николая:

— А кому ты нужен голым пролетарием? Куда денешься? В мытари пойдешь?

— К Михаилу подамся, в Юзовку. Все ж таки он слесарь. Поможет устроиться.

— Он сам живет в глиняной мазанке. Куда же он тебя устроит? Да еще с двумя детьми?

— Ну в Рязань подамся... Вон вместе с Зиновием.

— А у Зиновия что там, в Рязани, свой департамент?

— Меня зовут на завод «Сельмаш»... В бухгалтеры,— вынырнул тот из-за самовара.

— А дом куда? Хозяйство? Надел?

Зиновий жил с матерью в отдельной половине семейного дома Бородиных, вторую половину занимал Николай Иванович. Хозяйство, скотину — все держали на одном подворье. Верховодил Николай Иванович, а Зиновий больше все в Пугасове околачивался.

— Я вам не цепной кобель, чтоб семейное добро охранять,— горячился Зиновий.— Надел сдам Ванятке в колхоз, в дом пущу квартирантов. А мать сама выберет,— где ей лучше жить.

— Ты что, с Ваняткой договорился, что ли? — спросил обозленный Андрей Иванович.

— Да,— ответил Зиновий.— И не я один. Вон, Максим тоже договорился с ним.

— Ты идешь в колхоз? — Андрей Иванович аж привстал.

— Иду,— Максим Иванович нахмурился и потупил голову.

— Вот спасибо... Потешили меня братцы родные накануне праздника Покрова Великого... А ты чего молчишь? — спросил он Николая Ивановича.— Тоже, поди, навострил туда лыжи?..

— Я — нет. Мать не велит... Она ко мне переходит.— И, помолчав, добавил: — И Пегого жалко. Все ж таки я за него полтыщи отвалил. Такого тяжеловоза во всем районе не сыщешь...

— Да, причина сурьезная...— криво усмехнулся Андрей Иванович.— Значит, мама не велит...

— Напрасно упираешься, Андрей,— сказал Максим Иванович.— Все равно свалят. Одними налогами задушат.

— Говорить больше не о чем...— Андрей Иванович отвернулся и забарабанил пальцами по столу.

Разошлись братья при гробовом молчании.

А затемно явилась со службы Мария и совсем доконала Андрея Ивановича. Скобликовы, говорит, уезжают.

— Куда уезжают?

— А куда глаза глядят. Бегут на все четыре стороны. Бросают дом, хозяйство...

— От кого же бегут?

— От твердого задания. Одну тысячу рублей выплатили... Еще на тысячу дали. Нечем платить. Вот и бегут... Пойдем, проводим...

— Я сам прячусь...

— А мы потихоньку, оврагом... Боюсь одна идти. А селом — нельзя. Увидят — беды не оберешься. Скажут —

связь с чуждым элементом. Мне уж и так Тяпин все уши прожужжал — не ходи ты к этим бывшим... то к попам, то к помещикам. Себя не бережешь, так хоть меня, говорит, пожалей...

Провожали Скобликовых поздно вечером. Чемоданы, саквояжи, узлы громоздились посреди пола, как на вокзале; окна занавешены газетами; ни половиков, ни скатертей, ни штор... Все голо и просторно, как в казарме... Сидели за столом, говорили вполголоса, будто на поминках. Еще пришли Успенский да Федот Иванович Клюев.

— А где Бабосовы? — спросила Мария.

— Уклонились...— ответил Саша.— Николай теперь на смычке... Он да Ванька Козел. С беднотой заседают... Излишки хлебные выколачивают, по дворам ходят вместо Килограмма.

— Быстро он перековался,— сказала Мария.

— Я, говорит, мобилизованный и призванный от наркома Бубнова. Все жалобы и претензии направляйте к нему.

— Острит и гадит,— хмуро заметил Успенский.

— Самая сатанинская замашка,— согласился Федот Иванович.— Злодейство в голом виде отпугивает. Разбой. А так, со смешком да всякими призывами, вроде бы и на дело смахивает...

— Хорошенькое дело — людей выживать из дома,— сказал Михаил Николаевич. Он сидел с торца стола, уронив перед собой ненужные тяжелые руки и потерянно глядел куда-то в угол.

Ефимовна и Анюта зябко кутались в черные шали, горбились, диковато озирались на двери, словно ждали еще кого-то незваного и неотвратимо-страшного. И такая тоска, такая смертная мука томила их темные лики, что Андрею Ивановичу казалось: вот-вот они сорвутся и завоют в голос, забьются, зацарапают ногтями от горького бессилия эти голые доски.

— А может, вы торопитесь? — спросил он участливо Михаила Николаевича.— Может быть, еще образуется?

— Нет, не образуется,— спокойно ответил Михаил Николаевич.— Первое обложение в тыщу рублей увело и лошадь, и корову, инвентарь кой-какой. А где еще брать тыщу? Больше продавать нечего. Не внесешь — выселят. Да еще посадят. Читаешь небось газеты? В Москве, в Ленинграде требуют выселять. Вот, из колхоза «Красный

мелиоратор» вычистили двадцать пять семей. Из домов выселяют. И все за то, что бывшие. Да что там колхозники. Фофанову, у которой Ленин скрывался в семнадцатом году, обозвали гадкой птицей дворянской породы, посадили. Прокуратуру кроют за либерализм. Нашли либералов.

— Куда же вы теперь?

— В Канавино. Там сестра живет, бывшая монашка. А теперь она кустарь — портнихой работает, в артели. Тетка померла. Если мы не приедем, ее уплотнят. Кого-нибудь подселят. А то еще и выгонят.

— И вас могут выгнать,— сказал Федот Иванович.

— Анюта пойдет на работу... А нас, стариков, гля-дишь, и не тронут при ней. Кто нас там знает? А здесь мы на виду...

— Куда ж дом девать? — спросил Андрей Иванович.

— Саша сдаст в Совет. Может, и его не тронут. А то мы для него, как бельмо на глазу...

Сын Федота Ивановича пригнал лошадь, стукнул кнутовищем в окно... Мужчины разобрали чемоданы, узлы, Ефимовна с Анютой перекрестились на опустевший передний угол, и все двинулись.

На дворе, увидев под навесом токарный станок и целый ворох колесных ступиц, Андрей Иванович не вытерпел:

— А это добро кому оставляете? Федоту Ивановичу?

Михаил Николаевич только рукой махнул и ничего не ответил.

— Мне и своих девать некуда,— отозвался Клюев.— Отколесничали. Не ноне, так завтра, гляди, и меня обложат.

— Ты ж середняк!

— Говорят завтра новых обложенцев выдвинут... В честь дня коллективизации. Не слыхал?

Андрей Иванович вспомнил налет Кречева и осекся...

Мария не пошла с ним домой.

— Что сказать Надежде? — спросил он ее.

Она странно рассмеялась и крикнула нарочито громко:

— Передай, что поминки справляем. По старой жизни.

«Все рушится, все летит к чертовой матери»,— думал Андрей Иванович, возвращаясь домой.

2

Якуша Ротастенький заметил Бородина, когда тот при лунном свете, по-волчьи хоронясь, задами, огибал Выселки.

«Никак от Скобликовых вышел? — сообразил Ротастенький.— Чего ради он полем чешет? Вона, оврагом да буераком. Вприпрыжку! И кепку по самые уши натянул, чтоб не признали».

Но Якуша угадал его по высоким сапогам, по вельветовой тужурке, длинной, как чапан.

Изба Якуши была крайней к оврагу, промытому за многие годы до белого плитняка бурной в половодье и пересыхающей летом речкой Пасмуркой. Якуша стоял в саду в тени высоких яблонь скрижапеля, на ветках которых висели тяжелые и литые, как булыжники, реповидные яблоки. Якуша не обрывал их до сильных морозов, гоняя по ночам охочую до садовых набегов ребятню. Он и спал здесь на топчане, под лубяным навесом.

«Ага,— думал он, глядя на согбенную, легкую как тень фигуру Бородина, ныряющую по холмам и провалам,— на сходке был... на тайном промысле. Чего ради они собирались? Ба! Да ведь они это самое... имущество в оборот пускают!» — сообразил Якуша. Он вспомнил наставление Сенечки Зенина на заседании группы бедноты: бдительность и еще раз бдительность. С кулаков глаз не спускать! Особенно с тех, которых индивидуалкой обложили...

А Скобликова обложили третьего дни, обложили повторно, значит, они того... в оборот пускают. Надо сходить, поглядеть, кабы не сплавили народное имущество.

Насчет «народного имущества» — это Сенечка придумал, хорошо выразился. Все, чего у них есть, говорил, это не ихнее, а наше, народное. Они, мол, только хапали, а производил все народ. А потому надо заставить их все вернуть народу. Мы, говорит, долго ждали это часа. А теперь, мол, он наступил, последний и решающий.

Что наступил «последний и решающий», Якуша и сам чуял, только не мог так ловко объяснить, как Сенечка умел. Якуша понимал, что не каждому дано выбирать направление классовой борьбы. Одни направляют, другие исполняют. Наше дело не рожать, застегнулся — и бежать. Эту обязанность Якуша мог исполнить в любое время дня

и ночи. Чего надо? Постоять за общее дело всемирной борьбы пролетариата в союзе с беднейшим крестьянством? Всегда пожалуйста! Только покажи, кого надо привлечь, у нас рука не дрогнет.

Якуша проворно натянул азям, валявшийся на топчане, подпоясался сыромятным ремнем и, пощелкивая зубами, не то от внезапно охватившего его озноба, не то от охотничьего азарта, в один мах перелетел через плетень и в короткой перебежке достиг моста через Пасмурку. Пригнувшись, припадая к перилам, он поглядел вслед удалявшемуся Бородину и радостно укрепился: «Прячешься? Значит, нечисто».

Когда Бородин скрылся за сараями кирпичного завода, Якуша вышел на дорогу. Луна, как потерянная овца, одиноко паслась на высоком бледном небе, и в ее холодном зеленоватом свете стеклянно поблескивали придорожные лужи. Якуша старался держаться обочь колесников и чувствовал, как под лаптями вязко пружинит стынущая придорожная грязь. Это хорошо, что морозит, думал он, где и оступишься, лапоть не пустит загустевшую жижу. Можно и прямиком махнуть, по пахоте. Не промокнешь...

Он шел полем, огибая Выселки, и радостно думал, как нежданно-негаданно вынырнет из-под забора, как ни в чем не бывало ленивой походочкой подойдет к крыльцу: «Чего тут народ собрамшись? Продаем аль покупаем?»

А что они теперь на крыльце сидят и шепотом судачат — это уж точно. В избе, при бабах, такие сделки не ведут. Уж, поди, вся тележная артель теперь в сборе...

Якуша Ротастенький ненавидел их всех вместе и каждого в отдельности. Скобликова за то, что в стародавние годы Якуша ходил к нему в поле на поденку вместе с Феней, а Скобликов придирался к нему, выговаривал, не слезая с дрожек: «Якуша, ты косишь овес или дергаешь?» — «А что?» — «Погляди назад — половина метелок на стерне грозятся. Отдай косу Фене, а сам снопы вяжи...» Ну, мать-перемать, ты у меня еще вспомнишь эти снопы! А с Клюевым вместе на Волгу ездили, к Андрею Бородину. Он тогда в боцманах ходил. Дак Федота Ивановича в матросы определил, к трюмному механику, а Якушу поставил палубу драить да бочки катать. Тому тридцать рублей жалованья, а Якуше шестнадцать с полтиной... Где же она, правда? Бывало, праздники подойдут — у кого мяса невпроворот, а они с Феней один

купленный кусок три дня варили: в первый день щи съедали. Жирные! Второй день мясо с новыми щами. Хорошо! А уж на третий день чугун навар давал. Опять мясом пахло...

Скобликовых застал он на улице в сборе: только уложили узлы с саквояжами, уселись бабы в телегу, малый Клюев вожжи разобрал, так вот он и Якуша. Вовремя угодил.

— Тпрру! Распрягай, приехали! — сказал Якуша, беря лошадь под уздцы.

— Что такое? — обернулся к нему Скобликов. Он стоял поодаль и о чем-то говорил с Клюевым и Сашей.

Мария и Успенский прощались с Ефимовной и Анютой.

— Вещички проверить надо... Кабы чего лишнего не прихватили,— сказал Якуша миролюбиво.

— Какие вещички? — не понимая, переспросил Скобликов.

— А те самые, что на телеге.

— На телеге все вещи наши.

— Ага, были ваши. Ты сперва расплатись с обложением. А потом поглядим — что останется.

— Да как ты смеешь, сукин сын? — вскипел Скобликов.— Да кто ты такой, чтоб считать?

— Потише выражайся, гражданин помещик. Я тебе не сукин сын, а член актива. А посчитаться пришел, потому как ты задолжал перед народом...

— Отец, я сейчас расплачу́сь.— Саша двинулся вразвалочку к Якуше.

Все еще стояли и сидели в прежнем положении и прикованно смотрели, как, покачивая плечами, Саша подходил к Якуше; смотрели, застыв в ожидании чего-то страшного и непоправимого. Якуша ухватился второй рукой за оглоблю и, мерцая округленными от страха глазами на плоском скуластом лице, мертвенно высвеченном луной, азартно раздувая ноздри, цедил:

— Попрробуй трронь! Трронь попрробуй!

Сашу остановил Успенский; он метнулся от телеги наперерез ему и прикрыл собой Якушу:

— Стой, Саша! Опомнись! Это не трактир... Здесь кулаками ничего не докажешь.

— Таким подлецам словами не доказывают. Вот ему доказательство! — Саша вскинул кулак.

— Да стой же! — Успенский схватил его за руку.

— А ну трронь, трронь...— деревянно твердил свое Якуша.

— Да замолчи ты наконец! — обернулся к нему Успенский.— Вы что, очумели? В чем дело, ну?

— Я говорю, проверить надо. Что за имущество увозите,— сказал Якуша.

— Решение Совета насчет проверки есть? Ну! — спросил его Успенский.— Санкция прокурора на обыск есть? Покажи документы и проверяй...

— А вот я и есть для вас Совет. Какие вам еще документы нужны?

— Ты Совет? — кинулся к нему Клюев.— Ты шаромыжник! Бездельник и горлохват...

— А ты кулак недорезанный...

— Ну на, сволочь, режь! Режь, ну!..— теперь уже Клюев напирал грудью на Якушу.

— Да стойте же! Уймитесь!! Вы кто, мужики или петухи? — кричал Успенский.— Вам что, законы не писаны? Вы, товарищ Савкин, еще не начальник милиции. Но если у вас есть такие полномочия — задерживать людей, то делайте это по всем правилам закона. Составляйте протокол, подписывайтесь... И мы подпишемся как свидетели. Ну, идемте? Лампа горит, бумага найдется...— Успенский взял Якушу легонько под локоток, а другой рукой указал на крыльцо.

Якуша опешил от такого вежливого оборота; он отцепился от лошади и с опаской поглядывал на крыльцо, на освещенные окна, занавешенные газетами; воровато озираясь по сторонам, сделал неуверенных три шага и остановился:

— Прóтокол составим потом... завтра то есть...

— Нет, не завтра, а сейчас... Дураков ныне нет... Они перевелись на заре туманной юности. Дискредитировать Советскую власть на наших глазах мы не позволим. Берете на себя ответственность — пожалуйста! Составляйте протокол, мы засвидетельствуем как официальные лица. Вот Мария Васильевна Обухова — как работник райкома комсомола и я — учитель Степановской школы второй ступени...

— Дак я, эта, товарищ Успенский, насчет обложения беспокоюсь. Поскольку они уезжают, а как насчет выплаты?

— Ну и что? Одни уезжают, другие остаются. Дом они с собой не забирают. Он, поди, стóит чего-то? Сарай вон, подворье... Или что, дешевле обложения?

— Да нет... Они, эта, не спросясь, значит...

— Разве они арестованные? Ехать им или нет... это их право. Какое ваше дело, куда они едут? Вы знаете, товарищ Савкин, что за превышение полномочий власти судят? А у вас и власти даже нет. Одно нахальство. Так зачем же вы лезете под статью Уголовного кодекса РСФСР? Вам что, на Соловки захотелось?

— Как хотите, товарищ Успенский. Я могу и уйтить. Но только я предупреждаю вас — завтра доложу куда следует, что вы, значит, принимаете на свою ответственность известных элементов, которые уклоняются насчет уплаты.

— Это пожалуйста... А теперь — скатертью дорога.

Якуша пятился до самого забора — боялся, что ударят в спину, и, почуяв прикрытие за спиной, обернулся и чесанул вдоль плетня к Выселкам. Все заговорили после его ухода разом, и получился гвалт.

— Я вам говорила — ехать надо. А вы, как бабы, у колодца судачите,— крикнула с телеги Ефимовна.— За столом не успели наговориться!

— Нет, каков подлец, каков нахал? — спрашивал всех Михаил Николаевич.— Вещи пришел проверить... За пазуху лезет! Ах, подлец!

— Погоди, еще не то будет,— ласково уговаривал Клюев.— Такие, как он, не токмо что амбары, души нам повывернут...

— Небось съездил бы ему разок по кумполу, сразу поумнел бы. Прицепились — не тронь! Не лезь! — пенял Саша Успенскому.

— По тюрьме соскучился, да? — спрашивал его Успенский.

Мария чувствовала спиной и корнями волос, как все еще похаживал по всему телу холодок, вызванный стычкой Успенского с Якушей, и думала невесело: «Эти проводы еще отыграются на мне, отыграются...»

— Папа, ну поедем мы наконец? Или подождем возвращения Ротастенького? — крикнула с телеги Анюта.— Не то лошадь вон совсем уснет.

Лошадь и в самом деле дремала, слегка подогнув ноги и низко опустив голову. Дремал и Санька Клюев, сырой и сутулый малый, рассевшийся в передке по-бабьи — ноги под себя.

— Да, да... Пора! — опомнился Скобликов.— Ну, Федот Иванович, почеломкаемся. Удастся ли свидеться — бог

знает. Спасибо тебе за все... Поработали вместе, славно. Дай бог каждому. Не поминайте лихом! — И они по-братски обнялись.

— Я провожу вас до Волчьего оврага,— сказал Саша, отклоняя объятия отца и поглядывая на Марию с Успенским.

Те поняли, что ему надо побыть наедине со своими, и стали прощаться. Михаил Николаевич галантно поцеловал руку Марии, а Ефимовна обняла ее и расплакалась:

— Машенька, голубушка моя... Не забывайте нас, грешных. А я стану бога молить за вас. Авось обойдет вас нелегкая... Время-то какое? Какое время, господи! Содом и Гоморра...

Успенский и Мария долго стояли посреди дороги и слушали скрип телеги и грохот отдалявшихся колес. И казалось им, что это не телега натужно скрипит да утробно погромыхивают колеса, не Скобликовы отъезжают в горестном молчании, а что-то бо́льшее уходит, отваливает от них по ночной дороге в сиротливой и скорбной потерянности. В этой уходящей одинокой подводе по ночной пустынной дороге, в этом холодном просторном небе, в этой худосочной ущербной луне, в темных горбатых увалах, встающих где-то за Волчьим оврагом на краю земли, они почувствовали свою заброшенность, бессилие и обреченность: все идет мимо них, не спрашивая ничьего желания, не считаясь ни с какими потерями. Это уходила от них молодая и вольная жизнь, уносила с собой несбывшиеся надежды, навевая грусть и отчаяние.

Притихшие и скорбные, рука в руке, они молча шли полем и задами, пугливо озираясь по сторонам, вздрагивая при неожиданном лошадином фырканье или отдаленном собачьем брёхе. Обходили одинокие строения — амбары да сараи, словно кто-то их выслеживал в темноте.

Обогнули церковь с черными провалами окон, с блестевшим крестом над голыми березовыми ветвями. В кирпичной угловой сторожке, где жил одинокий отец Афанасий, теплился блеклый огонек. Они прошмыгнули под тенью высокой железной ограды, перебежали улицу и очутились на темном крыльце Успенского.

Он долго не мог открыть замок и сердился, гремел ключами.

— Может быть, в сад пойдем? — сказала она.

— Нет, нет! — резко ответил он и открыл наконец дверь.

Из сеней пахнуло густым настоем яблок и тонким сухим запахом березовых веников.

— Пойдем же, пойдем! — подталкивал он ее через порог, в этот черный дверной проем.

— Не надо бы, Митя... Теперь не надо,— слабо упиралась она.

— Ах, Маша!.. Не все ли равно, когда?.. Теперь или после. Все пройдет... Идем же!..

В доме было сухо и тепло от натопленной кафельной печи. Сквозь тюлевые занавески и заставленные геранями да «сережками» окна пробивался лунный свет, и причудливые тени лежали на крашеном полу. В углу светилась под белым чехлом-покрывалом с горой расшитых подушек широкая кровать. Тесно обступили длинный обеденный стол дубовые стулья с высокими спинками. Где-то за темным буфетом потренькивал сверчок. И таким дремотным миром, таким покоем веяло здесь от всего, что не хотелось верить в те тревоги и смятения, которые испытывали они там, в поле, провожая Скобликовых.

Мария не была в этом доме с той самой свадебной вечеринки и удивилась этому обихоженному уюту.

— Ты разве ежедневно ездишь в Степаново? — спросила она.

— Нет. Я там квартиру снял. Дома бываю только по воскресеньям.— И добавил, перехватив ее испытующий взгляд: — Здесь Маланья убирает... Она и перепутала замки. Другой повесила.

— А где она теперь?

— У себя дома.

Он зажег свечи, открыл бутылку темного сетского вина, поставил вазу с яблоками.

Они встречались с той вечеринки всего дважды, и то на людях: первый раз на открытии Степановской школы, куда Мария приезжала на митинг вместе с Чарноусом, заведующим районо. После митинга на школьном плацу, где они стояли рядом с Успенским на дощатом помосте, он пригласил ее на праздничный обед: учителя в складчину стол накрыли в канцелярии... Но Чарноус тогда заторопился домой, лошадь у них была одна на двоих... И неловко было оставаться ей одной... А еще они виделись на учительской конференции в клубе. И опять разминулись в суматохе... И вот теперь одни. Он налил в рюмки вино:

— Ну! Твое здоровье...

Выпили, глядя в глаза друг другу.

— Ты не сердишься за тот вечер? — спросила она.

— Я тебя люблю, — он бережно взял ее руку и поднес к губам.

— Но я не могу поступить, как ты желаешь.

— Я хочу, чтобы ты любила меня.

— Я люблю тебя.

— Больше мне ничего не надо.

— Ах, Митя, Митя... Какой ты большой и добрый. Кабы не ты, быть сегодня беде там, у Скобликовых.

— Беда все равно придет, Маша.

— Только не теперь...

— Только не теперь, — повторил он и стал расстегивать ее тяжелый драповый жакет.

Она смотрела на него с немым и долгим укором, он почувствовал опять оплошность, руки его задрожали, он отвернулся и сказал:

— Извини... Я позабыл, что ты все делаешь сама, — и задул свечи.

Он раздевался за печью. И когда вышел с подушкой и одеялом в руках, она стояла возле окна с распущенными волосами и в расстегнутой белой кофточке.

Он выронил на пол подушку и одеяло и бросился к ней с объятиями:

— Маша, милая!

Она упала ему на грудь и вдруг отчаянно и глухо зарыдала.

— Что ты, Маша? Господь с тобой! Успокойся, милая! — утешал он ее и гладил по волосам, как маленькую.

3

Федорок Селютан приехал на луга еще засветло. Для осенней охоты за Липовой горой у него был загодя приготовлен шалаш. Впрочем, это даже и не шалаш, а нечто вроде диковинной сенной избушки. В летнюю пору, в сенокос, Федорок вырубал ровные гибкие дубки толщиной в руку, вкапывал их в землю и пригибал, заплетая из них круглый каркас, похожий на киргизскую юрту. Этот прочный, гибкий каркас он заметывал стогом сена, оставляя приметный лишь ему одному, хорошо замаскированный лаз. Когда подходила осень, он очесы-

вал стог, открывал потаенный лаз и жил в этой темной сенной избушке до зимних холодов, гонял по лугам зайцев, бил выхухоль, охотился на уток и на гусей... Помогал ему поджарый мосластый пес Играй, костромской гонец с темной спиной и рыжей подпалиной.

Бородин нашел его стог по хриплому собачьему брёху; Играй сидел на юру, освещенный луной, и, закинув за спину тупую морду, побрехивал лениво и монотонно, словно опробовал свой простуженный голос.

— Что, страшно одному-то? — спросил Бородин кобеля, спешиваясь.— Или скучно?

Тот подозрительно покосился на Бородина и умолк. Андрей Иванович привязал повод к передней ноге, пустил лошадь пастись, а сам двинулся к стогу.

Играй в короткой перебежке оказался возле лаза и зарычал на бесцеремонного гостя.

— Ишь ты, какой проворный! — удивился Бородин, останавливаясь возле стога, и крикнул: — Федор, убери часового! Без пароля не пускает.

Селютан зашуршал сеном и высунул голову:

— А я думал, ты не приедешь... Ждал, ждал.— Он вылез наконец наружу и потянулся.— Да замолчи ты!..— заругался он на рычащего кобеля.

Играй обиженно махнул хвостом, отошел к висевшему на перекладине котелку и с глубоким вздохом улегся возле потухшего костра.

— А я на вечерней зорьке пару клохтунов добыл,— сказал Селютан, снимая котелок.— Чуешь, чем пахнет? — спросил, поднося к Бородину и поигрывая крышкой котелка.

— Н-да.— Бородин сухо сглотнул слюну и сказал: — Поздно уж. Может, на завтра отложим?

— Дак новый день принесет и новую пищу; сказано: хлеб наш насущный даждь нам днесь.

— Ну, как хочешь.— Бородин сперва снял ружье, поставил его к стогу, потом и сумку снял.

Присаживаясь к котелку, достал поллитру водки, обжимая головку, снял с похрустыванием белый сургуч, потом с ласковой осторожностью хлопнул ладонью в донышко.

Между тем Селютан заострил палочку и, как вилкой, достал из котла утиную тушку. Бородин в кружки налил водки.

— Ну, поехали!

Выпили, выдыхнули дружно и молча начали раздирать утку, словно совершали торжественный обряд. И ели молча, чмокая губами и громко чавкая. Играй, почуяв скорые объедки, поднял морду и замахал хвостом.

— Нынче ночью Скобликовы уехали,— сказал наконец Бородин, закуривая.

— Куда уехали?

— В Канавино, к сестре. Вроде бы насовсем.

— А как же дом?—спросил Селютан, все еще не беря в толк суть разговора.

— Бросили дом,— сказал Бородин и длинно выругался.— Убежали, Федор. От налогов убежали, а может быть, и от тюрьмы.

— От тюрьмы не убежишь,— хмыкнул Селютан и закурил, отвалясь на локоть.— В Канавине, здесь ли,— все едино.

— Здесь у них свой дом, поместье рядом... А там они квартиранты. Разница!

— Какая разница—где подыхать? Что здесь, что в Канавине?

— Дак ведь люди жить хотят!

— Что там за жизнь, в чужом углу! Нет, ты держись своего болота. Где жил, там и помирай с честью.

— А если из дома выгонят?

— Ну и что? Дом мой понадобился? На, возьми, подавись им. А меня не трогай. Я и в стогу сена проживу. А затронешь—спуску не дам. Вот как надо держаться. Небось они крепко подумают перед тем, как гонять нас во всякие колхозы. А то что? Не успеют кнутом хлопнуть, как бе-эгут. Не люди, а стадо.

— Я, брат, тоже решил держаться до последнего. Ни в город не поеду, ни в колхоз не пойду.

— Это правильно,— согласился Селютан.— Давай еще помаленьку глотнем.

Бородин побулькал в кружки. Выпили.

— Эх, Федор,— сказал Бородин.— Может, последний разок ездим с тобой... на охоту. Придет время—пешой будешь топать.

— Это почему?

— Всеобщий колхоз создадут на всю Рязанскую губернию. Поголовный... И вроде бы за год. А лошадей, коров и всякую живность отберут.

— Кто тебе сказал?

— В «Правде» прочел.

— Брешут. Я вот по чему сужу: чтобы лошадей держать в общем месте, надо построить конные заводы. А ты знаешь, что такое конный завод? Я видел у фон Дервиза. Это ж дворец лошадиный! Чтобы построить такой завод на всех тихановских лошадей?.. Дак нам все заложить надо — портки последние снять с себя! И то не хватит. А ты говоришь — на всю губернию. Кто же нам отвалит такие деньги?

— Государство.

— Государство? Оно с нас последние гроши тянет. Хлеб вон до зернышка выколачивает. А ты хочешь, чтоб это самое государство заводы нам конские строило? Дворы коровьи? Да ни в жисть не поверю.

— А ежели объединят лошадей, да на наших же дворах оставят? — спросил Бородин.

Селютан рассмеялся:

— Это пожалуйста! Такой колхоз мне по нутру, ежели моя лошадь на дворе стоит. Куда хочу — туда и еду.

Бородин только усмехнулся и спросил, оглядываясь по сторонам:

— А где твоя лошадь?

— На приколе, возле озера.

— Волки не задерут?

— А Играй на что?

— Он на луну брешет.

— Это он мне вроде колыбельную поет. Я сплю и сквозь сон слушаю. Брешет, значит, все в порядке. Волки подойдут — он завоет, в голос затявкает. А то совсем замолчит. Стало быть, рассвет. Пора вставать. Он у меня службу знает.

Когда укладывались в кромешной темноте на мягком духовитом сене, Селютан толкнул в бок Бородина и сказал со смешком:

— А ты жох... Хитрован!

— Чего такое?

— Поедем, говорит, по случаю праздника уток погоняем. Так, мол, от нечего делать. Оказывается, не от нечего делать, а от актива бежал.

— Кто тебе сказал?

— Кречев. Пришел ко мне и спрашивает: говорят, у тебя Бородин отсиживается?

— И ты ему сказал, где я? — тревожно спросил Андрей Иванович.

— Ага, испугался! — хохотнул Селютан.— А я говорю:

был да сплыл. Зачем он тебе? Актив, мол, завтра проводим, посоветоваться надо. Тут я сразу понял твою задачу — смотаться с глаз долой. Я и сказал ему: на лугах, говорю. Случаем, не туда собираешься? Собираюсь, говорю. Будь добр — встретишься с ним, передай, пусть приезжает к двум часам дня. Исполню, говорю, в точности... Ну, мотри, Андрей! Я тебя предупреждаю.

— Ладно дурака валять,— сердито отозвался Бородин.

— А ты не боишься, что тебе самому хлебные излишки начислят за отсутствие?

— Индивидуалкой будут обкладывать,— буркнул Бородин.— Подворкой.

— А говорят, хлебными излишками.

— Кто говорит?

— Да Кречев. Передай, мол, Бородину, ежели не приедет, хлебные излишки начислим на него самого, чтоб другим неповадно было бегать с актива.

— Типун тебе на язык.

— На тебя же, говорят, сена накладывали. Сто пятьдесят пудов.

— Накладывали... Да я не повез. На меня где сядешь, там и слезешь...

— Да, у тебя рука... И кем ты успел заручиться? Говорят, племянницу просватал за комиссара из «Красного лаптя»?

— Дрыхнуть давай... Небось выспался и мелешь языком.

— Сейчас, будильник заведу,— отозвался Селютан и, закрывая сеном лаз, крикнул наружу: — Играй, а кто брехать будет? Я, что ли?!

И тотчас послышался приглушенный, как из подпола, размеренный собачий брех.

«Ну и обормот. С такими и в тюрьме не соскучишься»,— невесело подумал Бородин, засыпая.

Ему приснилось, что едет он по летней пустынной дороге, а навстречу ему идет седой дед, идет потихоньку, опираясь на посох. И сума за спиной. Вот поравнялись они, Бородин и спрашивает его с телеги:

— Отец, куда путь держишь?

— Иду в Саров, богу молиться.

— Дак монастырь-то закрыли!

— Э, милый, ноне где лес — там и монастырь. Вставай, пошли со мной!

— Мне некогда. Я работаю.

— Какая теперь работа? Иль ты не слыхал? Команда была — штык в землю. Отвоевались, пошли молиться.

И он вдруг с неожиданной проворностью схватил Бородина за рукав и потащил с телеги:

— Вста-а-авай!

— Да погоди ты! Брось, говорю! Отцепись!!

Бородин вырвал рукав и в ужасе проснулся.

— Ты чего брыкаешься? Иль черти приснились? — посмеивался Федорок.

Лаз уже был открыт, и в него пробивался серый рассвет, тянуло сырым холодом.

— Богомолец приснился, — сказал Бородин. — Схватил меня за локоть и тянет в монастырь. Пошли, говорит, богу молиться.

— Погоди! Вот Кречев подведет тебя под монастырь... За уклонение:

— А хрен с ней. Молиться будем.

— Нет, брат, не помолишься. Ноне в монастыре вкалывают. По заведенному распорядку.

Они вылезли наружу. Трава была в белой изморози и похрустывала под ногами, как мелкий хворост. Небо посветлело, стало бледно-зеленым, и в его холодной стеклянной глубине слабо мерцали блеклые звезды. Луны не было. На ее месте на восточном краю неба расплывалась, играя жаркими красками, заря, и в подсвете ее угрюмо чернел сосновый бор на бугре за озером. В матовом сумеречном свете далеко проглядывались разбросанные бурые стога, затененные опушки кустарников и рыжевато-сизая щетина несрезанных камышей возле округлых бочажин. Лошади стояли вместе, понуро опустив головы и ослабив дугою передние ноги. Играй вертелся в ногах хозяина, поскуливая и помахивая хвостом.

— Что, в дело просишься? Погоди, будет тебе ноне работенка. Дай толком глаза продрать. — Селютан подошел к перекладине, снял котелок и стал пить из него через край. — Ах супчик! Ажно зубы ломит. Глотни! Сразу протрезвеешь, — протянул он котелок Бородину.

Андрей Иванович принял котелок, размахнул усы и тоже потянул через край. Суп горчил не то от дыма, не то от плавающих потрохов. Бородин повесил котелок и проворчал:

— Ты бы еще с перьями сварил. Зачем потроха пустил? Поди, и не вымыл как следует.

— Все в нас будет,— посмеивался Федорок, затягивая патронташем стеганую фуфайку.— В потрохе самая сила. Сказано, от хорошей хозяйки за год пуд дерьма съешь. А от замарашки — невпроворот. Главное — соли́ круче: соль запах отбивает.

— Тьфу ты, мать твою! Ты и в самом деле насолил, чтоб запах отбить.

— Ха-ха-ха! — гоготал во все горло Селютан.— Ешь солоней, пей горячей,— помрешь, не сгниешь...

Между тем разобрали ружья и двинулись к озеру.

— Ты становись на кривуне. Во-он, в тех кустиках. А я к горловине пойду, от реки стану,— рассуждал Селютан.— Утка счас потянет, с полей. Бей ее влет. А сядет — подымай на крыло. Тады она к реке пойдет. Там, на горловине, я ее встрену. Ну, бывай!

Коротконогий и широченный Селютан катышем покатился, оставляя за собой на белой траве сочно-зеленую дорожку.

Андрей Иванович прошел на самую излуку озера и затаился в дубнячке на высоком берегу. Листья еще не опали, но пожухли, и теперь на свежем утреннем ветерке они подрагивали, будто их дергали за нитку, и сухо шелестели. На середине озера появилась мелкая изгибистая рябь, отчего вода здесь потемнела, а по краям — к дальнему берегу — радужно играла розовым перламутровым блеском от растекающейся в полнеба зари. Деловито и молча облетывала озеро одинокая чайка, да торопливо, пронзительно, словно захлебываясь от радости, кричал с невидимой реки куличок:

— Жи-ить, жи-ить, жи-ить, жи-ить!

«И в самом деле жить хочется,— думал Андрей Иванович.— И не где-нибудь, а только здесь, на этом вот просторе, при этой милой сердцу умиротворенной благодати. Прав Федорок... Никуда я и ни за что не уеду отсюда. Пусть всё возьмут — дом, корову, лошадь... Пусть землю обрежут по самое крыльцо... В баню переселюсь — и то проживу. Проживу-у! Лишь бы руки-ноги не отказали, да ходить по воле, самому ходить, по своей охоте, по желанию... Хоть на работу или эдак вот по лугам шататься, уток пугать. Лишь бы не обратали тебя да по команде, по-щучьему велению да по-дурацкому хотению не кидали бы из огня да в полымя. А все остальное можно вынести...

Вчерашняя тревога, эти ночные страхи да предчув-

ствия улеглись теперь в его душе, и он взбадривал себя, хорохорился, как воробей на оконном наличнике.

А что в самом деле? Кругом же свои люди. Он не кулак и не помещик, а свой брат, сеятель да хранитель, как в песне поется. Неужто и его сомнут? А за что? Мало ли чего в газетах пишут? Что его, силом потянут в этот колхоз? Их уже десять лет пугают колхозами. Ну и что? Живы? Живы! И будем жить.

Прож-живу-у!

Он совсем размечтался и не заметил, как вдоль берега, низко, прижимаясь к воде, просвистели утки. Он ударил из обоих стволов вдогонку, чуя, что опоздал, что не достанет, и досадуя на себя за поздний выстрел. Косячок легко взмыл ввысь, словно подкинутый этим выстрелом, и часто, насмешливо загнусавил:

— Кво-кво-кво!

«Клохтун... С полей тянет,— определил Бородин, перезаряжая...— Теперь жди потехи. Этот в одиночку не ходит».

Второй косяк появился от горловины; он долго шел вдоль реки на хорошей высоте, наконец снизился и пошел к озеру на посадку. Его встретил двумя выстрелами Селютан. Одна утка кувырком полетела в прибрежные камыши. Остальные шли прямо на Бородина. Он пропустил над собой косяк и ударил вдогонку дублетом. Две утки упали на берег с глухим мягким стуком.

«Эти не уйдут,— подумал Бородин, оставаясь в кустах.— И отава низкая, не затеряются. Подберем».

Между тем в дальних камышах возле горловины озера долго шлепал Играй, так, словно в лоханке лапти мочили, на него прикрикивал Селютан:

— Назад! Назад! Кому говорят?

И на том, лесном, берегу отрывистое гулкое эхо забористым протягновенным матом проклинало и озеро, и небо, и душу, и бога, и даже восход солнца... Как будто бы сам леший сердился в дальнем темном бору на утреннюю побудку.

Селютан так увлекся живописным матом, что прозевал новый косяк уток.

Бородин опять выстрелил дублетом, и две утки упали посреди озера.

— Федор, веди лошадь! Она слазает за утками,— крикнул он, приставив ладони рупором.

Через несколько минут Селютан притопал с убитой уткой и сказал, довольно ухмыляясь:

— Видал? Из-под земли нашел. Где твои утки?

— Вон, посреди озера.

— Это мы счас, в один момент. Играй! — он поднял палку, поплевал на нее и, поводив возле морды кобеля, закинул в озеро.— Пиль! Ну, пиль! Кому говорят?

Играй спустился к озеру, понюхал воду, полакал немного и повернул в кусты.

— Ты куда? Я тебе, мать твою...

Но кобель легко просквозил кустарник и пошел ленивым наметом к стоянке.

— Гонец! Что с него взять,— миролюбиво изрек Селютан, глядя вслед собаке.— Зато уж зайца не упустит. Ни в жисть. И лису берет. Один гонит...

Он спустился к воде и стал стягивать сапоги.

— Ты чего это? — спросил Бородин.

— Придется самому лезть...

— С ума ты спятил! В этакий холод? Да пропади они пропадом, эти утки.

— Ага! Гляди-ка, раскидался: такое добро и пропадай пропадом,— ворчал Селютан, раздеваясь.

— Простудишься, Федор!

— Дак потеплело... Солнце взошло. Смотри вон, парок идет от воды-то.

Раздевшись донага, Селютан перекрестился, прикрыл ладошкой срам и пошел в воду. Плыл, мерно выкидывая руки, вертя головой, бултыхая ногами. Достал уток, выплыл, отряхнулся на берегу по-собачьи и, сунув мокрые ноги в сапоги, накинув на голое тело фуфайку, сказал Бородину:

— Ты собирай уток, а я побегу... Обогреться надо, выпить то есть. Там вроде бы осталось?

— Осталось, осталось,— сказал Бородин.— Давай, жми!

Когда Андрей Иванович, собрав уток, подошел к стоянке, Селютан уже сидел одетый возле костра и уплетал утятину.

— Глотни там... Я тебе оставил чуток,— указал он на опустевшую поллитру.

Потом пальцем сосчитал уток и сказал:

— Андрей, а хрен ли нам делать здесь у костра с такой добычей? Поехали в Тимофеевку к Костылину. Все ж таки нонче праздник. Великий Покров! — И,

поглядев мечтательно в костер, добавил: — Фрося, поди, брагу варила. У них престол.

— А ну-ка там будет кто-то из наших? Из Тиханова? — заколебался Бородин.

— Он же с краю живет. Кто нас там увидит? И чего нам прятаться? Чай, не крадем. Свое едим. Поедем!

— Ладно, поехали. Что мы, в самом деле, иль нелюди!

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Иван Никитич Костылин по случаю праздника Покрова решил сходить в церковь к заутрене. Хозяйка еще накануне с вечера засветила в переднем углу лампаду и дважды ночью вставала, крестясь и охая, подливая в светец деревянного масла, читала молитву.

Ивану Никитичу плохо спалось; он лежал на широкой железной кровати с высокими ажурными спинками, связанными из гнутых железных прутьев, выкрашенных голубой краской. Кровать Иван Никитич отковал своими руками в собственной кузнице. Да так отковал, что ходили все на поглядку, дивились — ни винтика, ни болтика, все прутья связаны, словно веревки, узлами. И концов не видать. Смотришь на высокую переднюю спинку — затейливые вензеля, будто кружево, а присмотришься — буквы прочесть можно: «Иван Костылин». А на задней спинке другая вязь: «Ефросиния». «На такой кровати не токмо что спать, умирать и то сладко»,— смеялись мужики. И широкая — растворяй руки, не обхватишь. И перина высокая, и подушки взбиты умелой рукой, а не спалось Ивану Никитичу.

Накануне весь день колесом шел. Заказали ему из тихановского сельпо отковать пятьсот железных обручей под осенний сезон. Готовились к рубке капусты. Он принял заказ и сходил к брату Семену — договориться, чтобы тот не уехал куда-нибудь в извоз. С братом они и кузницу держали на паях, и скобяную лавку.

Семен кочетом встретил его на дворе и в избу не пустил. «Ты что,— говорит,— рехнулся? С нас последние штаны сымают, а ты подряды берешь?» — «Одно другому не помеха».— «Как не помеха? Голова два уха! Мы только

выплатили по восемьсот рублей. Ты хочешь, чтобы еще обложили?» — «Чего там обкладывать? По гривеннику за обруч берем». — «Ты возьмешь гривенник, а с тебя полтину сдерут». — «Да ведь не сидеть же сложа руки. Мы ж кузнецы». — «Это ты так считаешь. А вот Совет нас в торговцы зачислил. И все из-за тебя». — «Я, что ли, списки на обложения составляю? Подписи моей там нет». — «Подпись чужая, а дурь твоя. Как я тебе говорил — давай закроем лавку? Погасим обложение, и баста. А ты что? Оборот нала-ажен. Выдюжим... Жеребца, мол, продам, а с делом не расстанусь. Купец Иголкин! Слыхал? Завтра опять готовят нам задание по дому? Чем платить будешь, а?» — «Что ты на меня кричишь? В чем я перед тобой провинился?» — «Во всем! Имей в виду, принесут задание — я так и заявлю: лавка не моя. Куда хочешь, туда и девай ее. Хоть в штаны себе запихай. А я сяду и уеду». — «Куда?» — «На все четыре стороны...» — «А как же твой пай?» — «За оковку телег с Шостинской артели получу пятьсот рублей... Вот и пай. А ты лавку продавай... Закрывай ее завтра же, слышишь?»

Закрыть лавку немудрено. А что потом делать? Куда девать железо? Кто его теперь возьмет? А его — сто листов одного оцинкованного. Это — двести ведер. По рублю — и то двести рублей. А ежели его продать в чистом виде, и сотни не выручишь. Да кто его теперь купит? А скобяной товар куда девать? В разноску не пустишь, это не галантерея... Связал он себя по рукам и ногам этой лавкой. Лучше бы закрыть ее летом. А он, дурак, жеребца продал. И всего за семьсот рублей! Даром, можно сказать. Одних призов больше брал. Приспичило — отдал за семьсот рублей. А что делать? Иначе все хозяйство с торгов пошло бы. Спасибо, хоть совхоз купил... Эх, Русачок мой, Русачок! Как ты теперь без меня-то! Поди, холку набили. А то еще запалят или опоят. Засечь могут на гоньбе... Эх-хе-хе...

Плохо спал Иван Никитич, ворочался без конца и под утро надумал: схожу-ка в церкву, богу помолюсь. Отношение с богом у него было общественным. Ежели уж молиться, так на людях, в храме, чтобы все знали — Иван Никитич богу молится. Не то чтобы он не верил, что бог есть дух святой и присутствует всюду незримо, а потому, что считал: молитва наедине имеет не ту силу действия; всякое надежное дело тем и прочно, что на миру творится: тут всякое усердие заметнее, всякий изъян на

виду. И ковал, и паял в кузнице на людях и любил приговаривать: «Ино дело у печи возиться, ино у горна. Там свою утробу ублажаешь — здесь обществу служишь».

Скотину убирал наспех — вместо месива воды налил в желоб для лошадей и повесил на морды торбы с овсом, коровам и овцам кинул в ясли сена, к свиньям не пошел, намял им картошки с мякиной и велел Фросе покормить.

Потом долго и тщательно умывался...

По случаю праздника надел он белую рубаху со стоячим красным воротником с гайтаном, с малиновыми петухами по расшитому подолу, поверх накинул черный шевиотовый пиджачок. Сапоги с бурками натянул, лаковые. Варежкой потер их. Перед зеркалом висячим постоял, усы рыжие подправил бритвой, щеткой их взбодрил, и потонул в них по самые ноздри тяжелый мясистый нос.

— Лысину деревянным маслом смажь,— сказала Фрося, проходя со двора в избу.— Заблестит, как твоя икона.

— Не богохульствуй, дура,— незлобно выругался Иван Никитич.— В церкву собрался.

— Можешь разбираться. Службы не будет. Отменили.

— Кто тебе сказал? — Иван Никитич испуганно оглянулся от зеркала.

Фрося поняла, что напугала его не отмененная служба, а что-то другое, то самое предчувствие чего-то нехорошего, что не давало спать всю ночь Ивану Никитичу и заставляло ее самоё вставать к лампаде и читать молитвы. И она сказала спокойнее и мягче:

— Вроде бы митинг собирают там. Иов Агафоныч сказал. От них уж все побегли туда: и Санька, и Ванька... И сам Иов пошел.

Иов Агафонович был соседом, работал у Костылина молотобойцем, в активе состоял. Уж он-то знал наверняка, что за митинг собирали. Иван Никитич, еще более пожелтевший от этого известия, чем от бессонницы, как-то осунулся весь, подошел к вешалке и молча стал натягивать щегольскую драповую поддевку. Руки плохо слушались, и он никак не мог поймать крючком верхнюю петлю.

— Ты еще крест на брюхо повесь,— опять зло, как давеча, изрекла Фрося.— Отменен праздник-то! А ты чего вырядился, как под образы? Чтоб тебя на смех подняли? А может, ишо на заметку возьмут, как злостный алимент. Надень вон зипун.

— Да, да,— забормотал, краснея, Иван Никитич.— Кабы и в самом деле не напороться на кого-нибудь из района.

Он быстро снял поддевку, надел порыжевший просторный зипун, перекрестился от порога и, сутулясь, вышел.

На улице перед кирпичной церковной оградой толпился народ. У коновязи, возле зеленых железных ворот стояло две подводы, лошади запряжены налегке,— в крылатые рессорные тарантасы. По черному заднику, по лакированному блеску Костылин сразу узнал эти тарантасы — риковские. Видать, и вправду праздник отменяется, подумал он. Но чего они тут делают? Не за попом ли приехали?

Эта тревожная догадка холодком пробежала по спине и напряженно стянула лопатки,— из ограды от растворенных ворот выходил в синей шинели и фуражке со звездой милиционер Кадыков, шел решительным крупным шагом; за ним, еле поспевая, семенил церковный староста, Никодим Салазкин, прозванный за длинную сутулую спину и пучеглазое лицо Верблюдом. Шли они через дорогу, прямёхонько к попову дому, стоявшему в окружении тополей на высоком кирпичном фундаменте под красной крышей. Костылин почтительно поздоровался с ними, приподняв кепку; Кадыков сухо ответил, кивнув головой, а Никодим приостановился и, глядя сверху своими печальными верблюжьими глазами, извинительно произнес:

— Отец Василий заупрямился — ключи от церкви не дает. Идем вот... вразумлять, стало быть.

— Почему? — спросил Костылин.

— Из району приехали... Митинг проводить в церкви. А отец Василий заупрямился. Божий дом, говорит, не содом.

— Тебе что, Салазкин, особое приглашение надо? — крикнул, приостанавливаясь, Кадыков.

— Иду, иду! — подхватил Никодим, торопливо засовывая руки в карманы, словно поддерживая полы поддевки...

У ограды молчаливо толпились мужики, бесцельно прохаживаясь, словно быки у водопоя. Бабы плотно обступили церковную паперть и горланили громче потревоженных галок на колокольне. Перед ними выхаживал на паперти, как журавль на тонких и длинных ногах, в

хромовых сапожках и синих галифе Возвышаев. Он картинно приостанавливался и, покачиваясь всем корпусом, закидывал руки за спину, отводя локти в сторону, примирительно упрашивал:

— Гражданочки! Не действуйте криком себе на нервы. Вам же сказано — мероприятие запланировано! Понятно? Это вам не стихия, а митинг!

— Вот и ступайте со своим митингом кобыле в зад.

— Вам митинг — горло драть, а нам лоб перекрестить негде.

— Вы нас, весь приход, спросили, что нам с утра делать? Богу молиться или материться?

— Гражданочки, запланировано, говорю, и все согласовано. С вашим Советом. Вон, пусть председатель скажет.

На краю паперти стоял председатель Тимофеевского Совета, молодой парень в суконном пиджаке с боковыми карманами и в кепке; в руках он держал красный флаг, прибитый к свежеоструганной палке. Услыхав, что Возвышаев просит поддержки его, он поднял над головой флаг и замахал им. Бабы засмеялись:

— Ты чего машешь? Иль кумаров отгоняешь?

— Тиш-ша! Сейчас он молебен затянет...

— Родька, нос утри! Не то он у тебя отсырел.

Родион Кирюшкин поставил древко к ноге, как винтовку, и крикнул переливчатым, как у молодого петушка, голосом:

— Граждане односельчане! Довольно заниматься пьяным угаром и темным богослужением! Сегодня день революционной самокритики, коллективизации и праздник урожая.

— А ты его собирал, урожай-то? Ты в Совете семечки щелкал.

— Сами вы поугорали, советчики сопливые! Из одного дня три сделали.

— Ступайте к себе в Совет и празднуйте свою самокритику.

— Ага. Раздевайтесь донага и критикуйте! Ха-ха-ха!

— А у нас великий Покров день...

— Не гневайте бога! Откройте церкву!..

— Вам же сказано было — служба ноне отменяется,— покрывая бабий гвалт, крикнул звонко Родион.— Не у нас одних отменяется — по всему району.

— Это самовольство! Против закону...

— Ты нам районом рот не затыкай.
— Пошто прогнали отца Василия?
— А ежели вас турнуть отселева?
— Мужики-и-и! Бейте в набат! В набат бейте!
Мужики, увлеченные перепалкой, стали подтягиваться от ограды, темным обручем охватывая подвижную бабью толкучку. Костылин почувствовал, как этот крикливый бабий азарт, точно огонь, перекинулся на мужиков, и они задвигались, занялись ровным приглушенным рокотом и гулом, как сухие дрова в печке. И многие стали подталкивать друг друга, подзадоривать, поглядывая на паперть, где в низком провисе — так, что рукой достать — опускалась веревка с набатного колокола. Возвышаев подошел к кольцу, за которое привязана была веревка, и заслонил его спиной. На него тотчас закричали:
— Ты нам свет на загораживай!
— Эй, косоглазый! Тебя кто, стекольщик делал?
— Отойди от веревки! Ты ее вешал?
— Мотри, сам на ней повисня-ашь...
— Эй ты, стеклянной! Отойди, говорят, не то камнем разобьют.
Возвышаев, затравленно озираясь, как волк на собачье гавканье, выхватил из кармана галифе наган и поднял его высоко над собой:
— Кто сунется к набатному колоколу — уложу на месте, как последнюю контру.
Наган на отдалении казался маленьким, совсем игрушечным, и сам Возвышаев, заломивший голову в кожаной фуражке, тоже казался не страшным, а каким-то потешным, будто из озорства нацелился наганом куда-то в галок на колокольню. В толпе засвистели, заулюлюкали, раздались выкрики:
— Мотри, какой храбрый!
— Эй, начальник! Убери пуга́лку, не то потеряешь!
— Подтяжком его, ребята, подтяжком.
— Заходи от угла!.. Которые сбоку.
Ну, ежели не чудо, подумал Иван Никитич, то быть беде. И оно пришло, это чудо.
— Православные, одумайтесь! — прозвучал от ворот такой знакомый всем тревожный и повелительный голос отца Василия.
Он шел впереди Кадыкова и Никодима, легко раздвигая толпу, — мужики расступались торопливо и прытко, как овцы от пастуха, бабы крестились и наклонялись в

легком поклоне. Он шел с непокрытой головой, высоко неся впереди себя злаченый крест и осеняя им примолкшую толпу. Порывистый прохладный ветерок трепал его седые волнистые волосы и широкие рукава черной рясы. При полном напряженном молчании поднялся он на паперть, подал ключи от церкви Возвышаеву и, обернувшись к народу, сказал:

— Православные! Братья!! У нас нет таких весов, чтобы взвесить грехи наши и сказать — кто из нас больший грешник, а кто праведник. Это дело суда Божия, на котором все будет измерено и взвешено, не утаены будут не то что дела, но и мысли сокровенные. У нас одно желание, одна цель жизни: получить оправдание у бога. А для этого у всех людей — и праведных, и грешных — один путь, путь евангельского мытаря. Люди различаются между собой в своей силе и в своей славе. Но фарисей только то и делает, что спесиво возвышает себя до неба, а всех других людей унижает клеветой и укорением. А мытарь, смиренно сокрушаясь о своем недостоинстве, всех других повышает в чести и в славе. И выходит фарисей врагом, а мытарь другом ближних своих. И дивно ли, братья христиане, что на праведном суде Божием мытарь оправдывается более, чем фарисей, и что господь здесь, на земле, устраивает весьма часто так, что всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Станем же уповать, братья, на волю божию — да простит нам господь смирение наше перед силой неправедной, желающей осквернить храм божий. Унижение наше не грех, а спасение от вражды междоусобной. Не подымайте ж руки на притеснителя своего! Обороняя вас от бунта, прошу вас не поддаваться и богохульству, не переступать порога храма с нечестивыми намерениями. Желающий спастись да спасен будет...

Отец Василий пошел с паперти в притихшую толпу. Но его остановил Возвышаев:

— Не торопитесь, гражданин Покровский! За вашу антисоветскую проповедь придется отвечать по закону.

— Закон совести повелевал мне успокоить народ. Что же есть в этом преступного? Разве я что-нибудь сказал против власти? — спросил отец Василий.

— В прокуратуре разберутся. Кадыков, задержите бывшего священника Покровского! — И, не давая опомниться и воспрянуть растерявшимся прихожанам, Возвышаев зычно объявил: — Митинг, посвященный дню кол-

лективизации, объявляется открытым. Слово для доклада имеет секретарь Тихановской партячейки товарищ Зенин.

Сенечка Зенин вынырнул из толпы и в два прыжка оказался на паперти. Одну ногу согнув в коленке, другой шагнув на нисходящую ступеньку, как бы весь подавшись к народу, он сорвал с себя серенькую кепку и, зажав ее в кулачок, вытянув в пространство над людьми, крикнул:

— Товарищи! Отбросим колебания нытиков и маловеров. Ни шагу назад от взятых темпов! К общему труду на общей земле! Вот наши лозунги на сегодняшний период. Наступил срок продажи хлебных излишков. Мобилизуем все наши силы на хлебозаготовки! Головотяпство одних работников заготовительного аппарата и вредительство других не ослабят наших усилий. Недаром этот год пятилетки объявлен сверху решающим годом. А в текущее время определяющим моментом хлебозаготовок является решительная борьба с кулаком. Курс на самотек и доверие к здоровому кулаку привел к тому, что не продано и половины излишков. Настала пора определять твердые задания по продаже хлеба для кулаков и зажиточной верхушки населения. Если в отношении бедноты и середняков, выполняющих свои обязательства, необходимы чуткость и внимание, то в отношении тех групп, которым даются твердые задания, не может быть и речи о каких бы то ни было послаблениях и отсрочках...

Иван Никитич, холодея сердцем, слушал эти грозные слова и с ужасом чувствовал, как они сковывают все его помыслы, движения, наваливаются и душат, как тяжелый кошмарный сон. Неужто никто не возразит ему, не крикнет: «Замолчи, сморчок! На што призываешь? Кого гробишь? За што?!» Но никто не крикнул, не остановил оратора; все слушали, покашливая, сморкаясь, шаркая ногами, погуживали, но слушали. А тот, грозясь серой кепочкой, все бросал и бросал в толпу эти горячие как угли слова.

— Иван Никитич! — шепнул кто-то на ухо и взял Костылина под руку.

Он воспрянул и отдернул руку, как от чего-то горячего, даже не успев оглянуться.

— Да это я, свой,— шепнул голос Иова Агафоновича.

— Чего тебе? — спросил Иван Никитич.

Тот привалился к нему грудью и задышал в щеку:

— Ты зачем пришел? Лишенцев на митинг не велели

звать. Мотри, возьмут на заметку. Уходи от греха! Ступай в кузницу. Я приду и расскажу тебе...

Костылин поймал железную пятерню Иова Агафоновича, слегка пожал ее и стал пятиться к воротам; и до самой кирпичной ограды хлестал его, изгоняя, словно мерина из теплого хлева, хрипнущий Сенечкин голос:

— Мы должны наладить поступление хлеба сплошной волной, устранить технические затруднения в приемке, хранении и перевозке. Комсомол — легкая кавалерия, изыскивает новые емкости для хранения хлеба. Поступило предложение от Тимофеевской комячейки ссыпной пункт открыть в церкви. Хватит равнодушно взирать на этот дурдом — настоящий рассадник суеверия и мракобесия.

Вот как, значит — дурдом? Рассадник суеверия? Да где же как не в церкви очищались от этого суеверия? А теперь ссыпной пункт. Амбар из церкви сделать! А что ж мужикам останется? Где лоб перекрестить, святое слово услышать? Дурдом? Скогина вон — и та из хлева на подворье выходит, чтобы вместе постоять, поглядеть друг на друга. Тварь бессловесная, а понимает — хлев, он только для жратвы. А мне, человеку, ежели муторно на душе, куда податься? Где обрести душевный покой, чтобы миром всем приобщиться к доброму слову? А чем же взять еще злобу, как не добрым словом, да на миру сказанным? Иначе злоба да сумление задушат каждого в отдельности. Зависть разопрет, распарит утробу-то, и пойдет брат на брата с наветом и порчей. Ох-хо-хо! Грехи наши тяжкие. Темное время настает.

Так думал Иван Никитич, идя к себе в кузницу, стоявшую за селом на выгоне, возле широкого разливанного пруда. Более всего сокрушало его даже не требование твердых заданий, не выколачивание хлебных излишков, а закрытие церкви. Старики говорили, будто заложил ее рязанский князь Юрий в честь победы над ханом Темиром. Когда жил этот князь Юрий и где была битва с ханом Темиром — никто не знал и не помнил, и казалось, что церковь стояла на этой земле вечно; хорошая каменная церковь с белой луковичной колокольней и с зеленым стрельчатым шатром. И крестился в ней Иван Никитич, и венчался, и родителей отпевали здесь,— все, от восторженного венчального гимна «Исайя, ликуй!» до печальных торжественных песнопений заупокойной панихиды,— все прослушал здесь Иван Никитич и запом-

нил, унес в душе своей на вечные времена. И вот теперь не будет ничего этого — ни заздравных молитв, ни поминаний, ни свадеб, ни крестин... А что же будет? Как жить дальше?

Возле своей кузницы он увидел двух лошадей, привязанных к ковальному станку. На спинах лошадей были приторочены ватолы. «Стало быть, дальние,— подумал Иван Никитич.— С Выселок, что ли? Ковать пригнали. Своих-то уже вроде бы всех подковал, торопились с братаном управиться до Покрова дни...»

Но вот из-за кузни навстречу ему вышли двое с собакой, с ружьями за спиной, и Костылин узнал их — тихановские. Люди места себе не находят от переживаний, а эти веселятся, уток гоняют по озерам...

— С праздничком престольным, с Покровом Великим! — приветствовал его Селютан, давний приятель Костылина.— А ты чего такой снулый, как судак в болоте?

— Не с чего веселиться,— ответил тот.— Закрыли ваш престол.

— Как закрыли? — спросил тревожно Бородин.

— Так и закрыли. Службу отменили, церковь отвели под ссыпной пункт.

Селютан присвистнул и заковыристо выругался.

— Это кто ж так размахнулся? — спросил Бородин.— Иль местные власти озоруют?

— Да кто их разберет? И ваши, и наши — все там, митингуют на паперти. Возвышаев приехал с милицией, попа арестовали.

— Вот так пироги! Хорошенькое веселье на праздник,— опешил Бородин.— Что будем делать, Федор?

— А что нам делать? Попу мы все равно не поможем. Пожалеем самих себя — выпьем и закусим...— Он приподнял связку уток и предложил Костылину: — Раздувай горн — на шомполах зажарим.

— Вроде бы не ко времени, не по настрою,— заколебался Костылин.

— Да ты что нос повесил? Иль твоя очередь подошла в тюрьму итить? — затормошил его Селютан.

— Типун тебе на язык...

— И стаканчик веселилки,— подхватил Селютан.— Давай, разводи огонь! А ты уток потроши, Андрей. Счас я сбегаю на село, принесу вам две гранаты рыковского запала. Рванем так, что всем чертям будет тошно, не токмо что властям. А то тюрьмы испугались. Вот неви-

даль какая. В России от тюрьмы да от сумы сроду не зарекались.

Селютан снял ружье, уток с пояса, сложил все это добро на порог кузни и, пошлепывая себя по животу и голяшкам сапог, притопывая каблуками, пропел частушку:

Ты, товарищ, бей окошки,
А я стану дверь ломать!
Нам милиция знакома,
А тюрьма — родная мать.

Но жарить уток не пришлось. От деревни, прямиком через весь выгон, ныряя в кочках, торопливо размахивая руками, бежала Фрося. Незастегнутый плюшевый сак разлетался полами в стороны, делая ее еще приземистей и толще. Не добежав до кузницы трех сажен, она повалилась на траву и заголосила:

— Разорили нас, разорили ироды-ы! Иван! Ива-а-ан! Что нам делать теперя-а! Ой, головушка горькая! Где взять такую прорву хлеба-а?

— Что случилось? Чего вопишь, заполошная? Скажи толком! — подался к ней Иван Никитич.

Она подняла голову, отерла слезы и, всхлипывая, кривя губы, сказала:

— Подворкой обложили нас. Сто пудов ржи!

— Кто тебе сказал?

— Рассыльный бумагу принес из Советов. Я как прочла, так и хрястнулась. В глазах потемнело. Это ж опять готовь рублей пятьсот... А где их взять?

— Возвышаев с Родькой накладывали, пускай они и ищут. А у меня ни хлеба такого, ни денег нет.

— Дак ведь скотину сведут со двора, из дому самих выгонят. Задание-то какое? Чтоб в недельный срок рассчитаться.

— Да что ж это такое? — растерянно обернулся Костылин. — Что ж это делается, мужики?

Федорок только шумно вздохнул по-лошадиному и скверно выругался:

— Вот тебе и выпили!

— Иван Никитич, продай ты лавку. Весь соблазн от нее идет, — сказал Бородин.

— Да что я за нее возьму? Мне и трех сотен не дадут за нее. Да и кто ее теперь купит?

— Ах, кто теперь купит? — подхватила со злорадством Фрося, вставая на ноги. — Довел до точки... Докатился до

оврага. Как я тебе говорила? Продай ты ее к чертовой матери! Чтоб глаза не мозолить... А ты что? В дело мое не суйся! Завел торговое дело! Эх ты, мужик сиволапый. С каленой-то рожей да в купеческий ряд полез. Где они ноне, купцы-то? С головой-то которые — все поразъехались. Где Зайцев? Где Каманины? Серовы? Плюнули на эту канитель да уехали. А ты дело завел? Вот и тряси теперь штанами-то... Иди в Совет сейчас же! Проси ревизию на лавку провесть. Все, скажи, чего потянет, обчеству отдам. А остальное, мол, не обессудьте. Нету-у! Ни хлеба нет, ни денег. Пускай хоть с обыском идут...

— Да, да... Я, пожалуй, пойду в Совет. Так вот и скажу... может, Возвышаева застану. Так вот я и скажу,— деревянно бормотал Костылин.— Вы уж извиняйте, мужики. Выпить не пришлось. Мне не до праздника.

— Какой теперь, к чертовой матери, праздник,— сказал Бородин,— Поехали, Федор!

— Эхма,— вздохнул опять Селютан.— Рожу бы намылить кому-нибудь... Кому? Подскажите!

Но, не дождавшись ответа, плюнул и пошел отвязывать лошадь.

2

Долго ехали молча, обогнув вдоль Святого болота ольховый лес, ехали домой, не договариваясь. О чем говорить? От кого прятаться? Где? Разве есть такое место, где можно пересидеть, пережить эту чертову карусель? Вон как ее раскрутили, разогнали, не советуясь ни с кем, никого не спрашивая. Ну и что, ежели ты в стороне стоишь или задом обернулся? Думаешь, мимо пронесет, не заденет? Как же, проехало!.. Вон, Костылина оглоушили из-за угла оглоблей — и оглянуться не успел. Тоже, поди, думал — в стороне отсижусь, в кузнице. Нет, прав Федор — нечего бояться и прятаться. Заглазно, глядишь, и меня самого оглоушат, вроде того же Костылина. Уж Сенечка не упустит такой момент. Уклонист, скажет... Чуждый элемент. Обложить, как зажиточного! И никто из бедноты не заступится. Спасибо, в тот раз с излишками сена Ванятка упредил. И Надежда молодец — тройку гусей не пожалела, отнесла Ротастенькому. И сам он на Кречева нажал... Вот и сняли сто пудов сена. Не то, гляди, об одной лошади остался бы. Нет, не в луга — домой надо ехать. А там будь что будет.

Бородин так увлекся своими мыслями, что не заметил, как удалился от него Селютан, ехавший передом. Он услыхал дальний выстрел и вскинул голову. Федорок, подняв кепку на ружье, махал ею в воздухе. Андрей Иванович понял, что лошадь взяла левее, на Мучинский лес, чтобы выйти на торную дорогу, ведущую на Большие Бочаги, знакомую ей по частым наездам в гости. Натянув правый повод, он ударил ее каблуками по бокам и пустил в намет. Селютан поджидал его на окраине Пантюхина.

— Ты чего, уснул, что ли? Или в лес по грибы надумал? — шумел он и крутил на месте своего вороного мерина.— Ехал, ехал, оглянулся — нет моего Бородина. Уж не черти ли, думаю, в болото затащили? А он вон игде — в гости к лешему подался. Все, поди, сам с собою гутаришь?

— Небось загутаришь, ежели голова кругом идет,— нехотя отозвался Бородин.— Через Пантюхино поедем?

— Нет, свернем в Волчий овраг и по оврагу выедем на тихановские зада. Чего мы скрозь села поскачем? Да с ружьями... как казаки-разбойники. Ребятишек пугать?

— Поедем оврагом,— согласился Бородин.

Свернули в ложок, переходящий в дальний овраг, поехали конь о конь.

— Ну, чо ты нос повесил? — спросил Селютан.— Тебя-то еще не обложили?

— Подойдет время, и нас с тобой обложат.

— Опять двадцать пять! Ну и хрен с ней, пускай обкладывают.

— Тебе всё — хрен с ней. Разбегутся мужики, опустеют села, и запсеет наша земля, как при военном коммунизме. Помнишь, что говорил Иван-пророк?

— Какой пророк?

— Ну, Петухов.

— Ах, куриный апостол! Ну как же? «Ох воля-воля, всем горям горе. Настанет время — да взыграет сучье племя, сперва бар погрызет, потом бросится на народ. От села до села не останется ни забора, ни кола, все лопухом зарастет. Копыто конское найдете — дивиться будете: что за зверь такой ходил по земле. Есть будете каменья, а с... поленья...» — заученно твердил Федорок, посмеиваясь.

— Ты помнишь, как его брали? Я-то на войне был.

— А как же? Помню. Это весной было. Нет, зимой, в восемнадцатом году, по первому заходу брали его, когда купцов трясли. Приехали за ним из уезда. Мы еще к

Елатьме относились. Привели их свои, Звонцов из Гордеева да Иов Агафонович, в матросской форме, с наганом. Тоже волостным комиссаром был. За подпись свою брал бутылку самогонки. Чего хошь подпишет, только покажи — где каракулю поставить. Сам — ни бум-бум, читать не умел. Да и те, уездные, были такие же аргамаки — ни читать, ни писать — только по полю скакать. Иссеры, одним словом.

— Да, в ту пору здесь левые эсеры заправляли.

— Какая разница! Один хрен.

— Тебе все едино; сажаешь всех на хрен, как на пароход.

— Дак ты будешь слушать или нет?

— Ну давай! Ври, да знай меру.

— Я вру?! Да мне сама Федора рассказывала. Прибежала к нам, как его увезли, и вся трёской трясется. Все рассказала, как было. Вот пришли они и говорят ему: Иван Петухов, ты есть настоящий агитатор за божье писание, то есть чистая контра. Посему подпиши обязательство, что отрекаешься от своих вредных речей. А он им говорит: что богом записано, то сатане не стереть. Каждый делает то, что ему предназначено. Вы зачем пришли? Забирать меня? Вот и забирайте безо всяких обязательств. Ишь ты, говорят, какой настырный. Все знаешь. А что имущество у тебя заберем, тоже знаешь? Берите, берите. А у него этого имущества... ты же знаешь! — Федорок прыснул и выругался: — Лаптей порядошных — и то не было — всю зиму босой ходил.

— Как не знать! — подхватил Бородин.— Он же мне соседом был, до нашего раздела. Помню, в марте как-то, оттепель была сильная... Лужи натекли, потом замерзли. Пошел я в сад, баню топить. Вдруг слышу — кто-то за плетнем не то стонет, не то хохочет. Что такое? У меня аж мурашки по коже. Захожу за угол и вижу — дед Иван нагишом разламывает лед и ложится в воду, а сам все: «О-хо-хо! Ух-ха-ха!» У меня аж зубы застучали от озноба. Всю зиму голову мыл на дворе, в желобе. Идет, бывало, со двора, а с волос сосульки свисают...

— Какой крепости был человек,— заметил с детским умилением Селютан.— Сто тринадцать лет, а он все еще без очков читал. Сидит возле окна, в переднем углу, под божницей, и все — «Ду-ду-ду». Так и барбулит целыми вечерами. При лампаде читал! Он бы еще пожил, кабы не взяли его. Ну вот, собирают они его книги и спрашива-

ют: а ты чего ж не переживаешь? Не хочется, поди, в заключение идти? А он им — чего переживать? Вон у меня Федора из подпола картошку выбирает — сперва, с осени, крупную, а по весне и всю мелочь доберет. Такой порядок и вы завели... Сперва забираете людей видных, богом отмеченных, а потом и всю мелочь, вроде вас, туда же потянут. Чем вы меряете, тем и вам будет отмерено. Так и увезли его. Целую телегу книжек наложили.

— Да, книжек у него много было,— более для себя сказал Бородин,— и Библия, и псалмы, и жития святых, но больше все чекмени. Он был начетчик, Библию толковал по чекменям. На каждую главу из Библии по чекменю написано. То-олстые книги. В них вся соль, все толкование. Без них к Библии и не подступишься. А он ходы знал. И все, что было, определял, и все, что будет, мог предсказать.

— Да, как скрозь землю видел,— согласился Селютан.

— А как он купцу Каманину предсказал, знаешь?

— Что-то не припомню.

— Ну-у!.. Собирает после базара лапти худые да всякую рвань. А тот сидит на балконе своего дома и говорит: «Иван Максимыч, зачем ты шоболы собираешь?» А он ему: «То, что я набрал, это мое, а вот ты сидишь на чужом». И ушел. Купец и задумался, как же так — сижу я на чужом? И дом, и балкон, и кресла — все мое. Ополоумел он, что ли? И взяло купца сумление. Пришел он к Ивану-пророку вместе с попом. До глубокой ночи просидели. Будто бы Иван-пророк предсказал ему разор. Все, говорит, обчеству отойдет — все твои магазины со всеми товарами. И поверил Каманин — за год до революции все магазины распродал и сам помер. Мой батя дружбу с ним водил когда-то, еще в том веке. Ну, маманя была у Каманина перед смертью. Сам позвал. Малаховна, говорит, конец подходит решающий сперва нам, а потом и за вас примутся. Купленную землю продай, пока не поздно. У нас было всего три десятины купленной земли-то, да две арендовали, да своих надельных две. Примерно столько же, сколько и теперь. Так что мы-то ничего не потеряли...— Андрей Иванович помолчал и добавил: — Пока.

— Да, старик Каманин вовремя ухватился.— Селютан покрутил головой и засмеялся.— Зато сын его приехал, который в следователях был, как начал шерстить!.. Всех должников пообщипал, как кур ошпаренных. Я вам

покажу, говорит, свободу и равенство. Всех раздену, пущу по миру одинаковыми, голозадыми...

— Иван-пророк и этого не обошел. Ну, говорит, Сашка, по миру пускать людей не диво, а вот что сам пойдешь по миру за свою алчность — вот уж подлинно диво дивное будет. И пошел ведь. Говорят, он где-то в Германии, вышибалой в трактире или в чайной... Вот как припечатал его Иван-пророк.

— Да, уж припеча-атал,— обрадовался Селютан.— И какой же был честности человек! В одних опорках ходил, а ведь при деньгах больших состоял. Говорят, все деньги на тихановскую церковь он собирал.

— Он. И казначеем был, и сам с кружкой медной ходил,— подхватил Бородин.— Я еще помню. Ма-аленький был. Он с посохом, в посконной рубахе, а на груди кружка медная на желтой цепочке и надпись с крестом подаяния: «На храм божий...» Когда церкву нашу освящали, ему пели многая лета. Сам архиерей кланялся ему поясным поклоном. Вот тебе и куриный апостол. Ребятня сопливая придумала это глупое прозвище.— Бородин вдруг натянул поводья и с каким-то испугом глянул на Селютана.— Я о чем подумал! Церковь-то в Тимофеевке закрыли? А там же, в ограде, дед мой лежит. Теперь и кладбище в ограде опоганят!

— Насчет кладбищ вроде бы установок не было.

— В церкови-то ссыпной пункт сделают! Колесами подавят могильные плиты. Эх, мать твою... Кому это все нужно? Такое издевательство над русским людом! Жить тошно.

— Не живи, как хочется, а как бог велит.

— Какой бог? Из церкви ссыпной пункт сделать — это по-божески? Чего ты мелешь?

— Это я к примеру.

— Бывало, на родительскую субботу ездил туда, панихиду по деду заказывал. А теперь где ее отслужат?

— Погоди малость... По нас самих панихиду придется заказывать...

На берегу Волчьего оврага, напротив Красных гор, толпились люди. Заметив верховых, они замахали маленькими флажками и стали что-то кричать. Один парень, махая кепкой, бежал к ним навстречу:

— Сто-ойте! Останови-и-итесь!

Бородин с удивлением узнал в этом пареньке сына своего, Федьку. И тот, узнав отца, оторопел:

— Это ты, папань?

— Вы чего здесь делаете? — строго спросил Бородин.

— Стреляем от Осоавиахима. Неделя стрельбы проходит.

— А почему не в школе?

— Дак ныне ж день урожая! Отпустили нас, потому как стрельба. Военное дело.

— Какое там дело? Бездельники вы! — выругался Бородин, чувствуя, как в груди закипает у него злоба ко всем этим стрелкам.

— Мы ж не просто так... Зачеты сдаем,— оправдывался Федька.

— Ты отстрелялся? — спросил Селютан, чтобы перебить гневный запал Бородина.

— Ага. Сорок шесть очков выбил из пятидесяти,— расплылся тот в довольной улыбке.— Две десятки выбил.

— Молодец! Значит, в отца пошел.

Шаткой походкой спешил к ним Саша Скобликов, приветливая улыбка играла на его сочных, по-детски припухлых губах:

— Андрею Ивановичу салют!

Он подошел и поздоровался за руку, открытая, обнажающая ядреные зубы улыбка так и не сходила с его крепкого широкого лица. «И чему он только улыбается?» — опять раздраженно подумал Бородин. И спросил сердито:

— Вы чего людей останавливаете по оврагам, как разбойники?

— Нельзя по оврагу ехать, там еще две бригады стреляют. Валяйте в объезд, на Выселки.

— Это уж мы сами сообразим — как нам ехать,— отозвался недовольно и Селютан.

— Я эти стрельбы не устанавливал,— ответил Саша.— Так что претензии направляйте в Осоавиахим да в райком комсомола.

— Да мы не тебя ругаем... Так мы... сами на себя дуемся,— примирительно сказал Бородин.— Давай, Федор, заворачивай на Выселки! — И, придерживая лошадь, спросил Сашу: — Как родители, сели в поезд?

— Се-ели! — обрадованно произнес Саша.— Клюев уже вернулся из Пугасова. А твердое задание я утром в Совет отнес. Все, говорю, ответчиков нет. Сами уехали, а дом оставили. Можете забирать его. Все! Я чист! Сдаю дом — а сам в Степаново, на квартиру.

«И чему только радуется? — думал Бородин, отъезжая.— Родительский дом пошел псу под хвост, а он веселится. Дитя неразумное. И Федька, мокрошлеп, подбежал похвастаться — две десятки выбил. Тут мыкаешься, не знаешь, куда деться, а они веселятся — в солдатики играют. И что им наши заботы? Чего они теряют? Имущество, скотину? Разве они все это наживали? Нет, не они, и терять им нечего. Вот так время подошло — дети родные не понимают тебя.

Но мысль эта вела за собой другую, в которой и признаваться не хотелось. Разве дело в детях? Жизнь твоя, налаженная годами тяжелого труда и забот, стала выбиваться из колеи, как норовистая кобыла. Вот в чем гвоздь.

Кому ветер в зад — тот и в ус не дует, а тебя сечет в лицо, с ног валит, но ты терпи да крепись. А что делать? Податься некуда и жаловаться некому. Иным потяжелее твоего, и то терпят. Ведь каждый живет как может, живет сам по себе — вот что худо. Тебя растопчут, растерзают на части, и никто не чихнет, не оглянется. Пойдут дальше без тебя, будто тебя и не было.

В этой мысли он укрепился еще более, когда увидел на окраине Выселок толпу народа вокруг телег с флагом. Поодаль паслись стреноженные лошади, валялись плуги по кромке черной, лоснящейся на солнце свежей пахоты. Бородин вспомнил, что накануне собирались всем активом вспахать больничный огород, в честь дня коллективизации. И по тому, как на телеге развевался флаг, а рядом стоял Кречев без фуражки и что-то говорил в толпу, Бородин понял, что дело уже сделано. И скрываться было поздно — их заметили. Кречев замахал рукой с телеги, в толпе оживились, стали показывать в их сторону.

— Спрятался! Мать твою перемать,— выругался Бородин.

— Это что за люди? Больных, что ли, выгнали на митинг? — спросил Селютан, усмехаясь.

— Молебен служат в честь трезвого Селютана,— в тон ему ответил Бородин.— Обед подходит, Покров день! А Селютан все еще трезвый. Было такое в жизни?

— Отродясь не бывало. Видно, сатана гоняет нас с раннего утра.

— А ты окстись, глядишь, и отстанет сатана-то. И обрящем с тобой покой и чревоугодие.

— Благослови, господи, и ниспошли странствующему рабу твоему покой и утоление жажды...

— Вот зараза! За себя молит, а про товарища позабыл,— сказал Бородин, спешиваясь.

— Дак поделюсь! Аль мы нехристи?..

Бородин вел в поводу лошадь и дивился на ходу, разводя руками:

— Кто ж так делает? На общую пахоту ездят, как на праздник, веселясь да прохлаждаясь. А вы ни свет ни заря сюда приперли. Как на барщину! Кто вас выгонял?

— Вот те на! Активист, называется...— шел от телеги навстречу ему Кречев.— Вчера хватился — нет Бородина! Огород пахать, актив проводить, а он в лугах шастает. Слава богу, хоть на актив успел,— говорил он, здороваясь с охотниками.— Ты оповестил его, Федор Михайлович?

— А как же! — ответил Селютан.— Слово председателя — для меня закон.— И ухмылка плутовская во всю рожу.

Среди мужиков были и Якуша Ротастенький, и Ванятка Бородин, и Максим Иванович, брат родной. Значит, коллективисты всем миром выехали, сообразил Андрей Иванович.

— Колхоз создали или коммунию? — спрашивал Бородин, подходя к мужикам и кивая на вспаханную землю.

— А вот сходим на обед, с бабами посоветуемся,— отвечал Ванятка, играя смоляными глазами.— А ты, поди, торопился на собрание? Боялся, что в колхоз не примем?

— Я торопился, да вот лошадь упиралась. Боится в руки Маркелу попасть.

— Ну да, у него руки, а у других крюки! — проворчал Маркел и хрипло выругался.

— Утром набили уток? — спросил Максим Иванович, отводя разговор от перепалки.

— Какой утром! Вчера весь день за ними по болотам шлепал,— подмигивая ему, ответил Андрей Иванович.

— А я слыхал, вроде б ты Скобликовых вечером провожал? — сладким голоском спрашивал Якуша.

— Куда провожал? Разве они уехали? — удивился Бородин.

— Уехали! — радостно улыбаясь, сказал Якуша.— Отказали обчеству свой дом. А друзьям, значит, ничего не оставили? — И смотрел с невинным любопытством на Андрея Ивановича.

— Не знаю, я у них опись имущества не составлял,— сухо ответил Бородин; обернувшись, Кречеву: — Значит, после обеда собираемся?

— Да. К трем часам давай в Совет! В Капкином доме собираемся.

— Буду! — Бородин закинул повод на холку и с полуприсяди прыгнул животом на спину лошади.

— Ишь ты, какой прыгучий! Как заяц.

— Служивый...

— Андрей Ивана-ач! Возьми ключ у Клюева да сходи проверь, может, чего и оставили,— советовал все тем же голоском Якуша.

— Чего проверить? Какой ключ? — спрашивал хмуро Бородин, разбирая поводья.

— Дак от дома Скобликовых ключ в Совет ноне принес Сашка, а от сарая ихнего ключ у Клюева остался. Говорят, он всю ночь туда нырял. Вроде бы и на твою долю осталось. Ведь друзья были с помещиком-то.

— Я по дружбе на чужие постели не заглядывался и гусей не выколачивал у друзей своих,— терзая удилами лошадь, осаживая ее на задние ноги, говорил Бородин, раздувая ноздри.— Чем добро чужое трясти, ты сперва блох своих повытряси. Авось злоба отпустит тебя, не то вон пожелтел весь. Ревизор шоболастый.

И, огрев концом повода лошадь, сорвался с места в галоп,— только ископыть полетела черными смачными ошметками.

3

Собирались в Капкиной чайной; тридцать пять человек тихановского актива и бедноты — ватага не малая, всех в сельсовете не разместишь. Многие пришли принаряженные и заметно навеселе. Бабы в плисовых саках, в шнурованных полусапожках, мужики в старомодных картузах с лакированными козырьками, в сапогах, смазанных чистым дегтем. В чайной к стойкому запаху веников из клоповника да пресному духу распаренного чая примешался острый скипидарный запашок хомутной и приторный, тягостно-удушливый настой нафталина.

Смотрели друг на друга с нескрываемым любопытством и как бы с вызовом даже: я хоть и записан в бедноту, а понятие насчет порядочности тоже имею, не

лаптем щи хлебаем. Даже Васютка Чакушка, нищенка, можно сказать, и то пришла в чистой поддевке из чертовой кожи да в латаных опорках с боковой резинкой. А те, что из актива, из крепких семей, не поскупились надеть и совсем праздничное. На Тараканихе длинная черная юбка с оборками, черный шерстяной плат с кистями в крупных огненно-алых бутонах. И лицо ее, как перезрелый подсолнух,— того и гляди, угнетенно свесится долу, обопрется подбородком на богатырскую необъятную грудь. Издаля было видно, что хорошо пообедала баба и брагу сварила добрую.

— Палага-то у нас в крынолине,— дурил, наваливаясь плечом на нее, Серган.— Пусти погреться под черный полог!

— Поди вон, бес гололобый! Бушуешь, как самовар незаглушенный.

Один Серган оделся не по-людски,— были на нем легкий не по сезону серенький пиджачок и расстегнутая во всю грудь синяя рубаха. Но лицо его горело; он метался по чайной, беспокойно осматривал каждого, будто искал что-то важное и не находил.

— Кого потрошить будем, а? Шкуры барабанные!

— Будя шебуршиться-то, Саранпал,— благодушно отбивались от него.

Даже Кречев не сердился; он беспричинно улыбался, икал, часто подходил к глиняной поставке, пил квас и тихонько матерился. Ждали Зенина и уполномоченного от райисполкома.

Наконец подкатил тарантас прямо к заднему крыльцу, влетел в расстегнутом пиджаке Сенечка, хмурый, встревоженный, как с пожара, и сказал от порога:

— Рассаживайтесь, товарищи! Уполномоченного не будет. Мне поручено совместить его обязанности.

За длинным дощатым столом, похожим на верстак для катки валенок, уселись Кречев, Сенечка Зенин, Левка Головастый со своей картонной папкой да Якуша Ротастенький. Все остальные сели на скамьях, сдвинутых поближе к столу. Хозяйке, кругленькой подвижной хлопотушке с пламенеющими свекольными щечками, Кречев наказал неотлучно сидеть в бревенчатом пристрое, где у Капки была кубовая, и гнать всякого в шею, ежели попытается с заднего крыльца проникнуть в чайную. Переднюю дверь заперли на висячий замок и прилепили жеваным хлебом к дверному косяку тетрадный листок с

надписью: «Чайная закрыта по случаю престольного праздника».

Но не успели толком рассесться по местам, еще и повестку дня не зачитали, как в окна полезли любопытные рожи, плющили в стекла носы, кричали дурными голосами.

— Бородин, выйди, шугани их от окон! — сказал Кречев.

Поднялся Ванятка; Андрей Иванович и не шелохнулся, будто он и не был Бородиным.

Через минуту зычный Ваняткин голос с улицы стал перечислять и бога, и Христа, и мать его, и поименно всех апостолов.

— Знает службу. Мотри, как чешет, без запинки,— умиленно говорил Якуша, поглядывая в окно.

И актив загомонил на разные голоса:

— Хоть бы мать божью пощадили, срамники...

— А то ни́ што! Дождемся от них пощады.

— Он мать родную опудит.

— Кто опудит? Чем?

— Известно, матерщиной.

— Это ж присказка, темные вы головы! Мать вашу... Извиняюсь, то есть в род людской.

— Это что еще за ералаш? Актив называется!..

— Не укрывайтесь активом. Где беднота, там и срамота.

— Чего, чего? Кто там в бедноту пальцем пыряет?

И вдруг пьяный Серган заорал частушку:

Хорошо тому живется,
Кто записан в бедноту:
Хлеб на печку подается,
Как ленивому коту!

— А ну, кончай базар! — поднялся Кречев.— Вы зачем сюда пришли? В матерщине состязаться? Которые пьяные и не могут держать язык за зубами, прошу выйти! Капитолина Ивановна! — крикнул хозяйке.— Задерните шторки, чтоб ни одна рожа не заглядывала.

И пока хозяйка ходила по окнам, задергивая и оправляя шторы, Кречев читал повестку дня:

— Значит, на первый вопрос у нас стоит — утверждение контрольной цифры и распределение хлебных излишков по хозяйствам. На второй — выявление кандидатур на индивидуальное обложение. Вопросы, то-

варищи, серьезные, а потому требуется внимание. Слово имеет товарищ Зенин.

Сенечка встал, оправил на себе гимнастерку темно-зеленого сукна — первую вещь, полученную им из партраспределителя, разогнал складочки под широким командирским ремнем и, глядя в потолок, начал издаля, как и полагалось, по его разумению, начинать речь большому человеку.

— Товарищи, как вы все знаете, нашу страну из края до края охватил небывалый трудовой подъем. Трудящиеся массы под водительством партии большевиков и ее испытанного боевого вождя всемирного пролетариата, верного продолжателя ленинского дела товарища Сталина идут от победы к победе. Нет в мире такой силы, которая смогла бы остановить это наше победоносное движение вперед к всемирной революции, к победе всеобщего коммунизма...

Не успел Сенечка как следует развернуться вширь и вглубь этого всемирного наступления, как его хорошо налаженную речь перебил затяжной раскатистый храп.

— Это что за соловей? — вскинул голову Кречев.

— Тараканиха запела.

— А ну-к, разбудите ее!

Сидевший с ней рядом Максим Селькин ткнул ее локтем в бок:

— Очнись, баба! Мировую революцию проворонишь.

— Дык ить я вовсе и не сплю,— захлопала глазами Тараканиха.— Слушаю я, слушаю.

— А кто храпит?

— Это я по болезни. Нос закладывает.

— Так выйди на двор и просморкайся!

— Я эта, ртом дышать буду.

— А може, еще чем? Гы-гык!

— Прекратите вредные выходки и намеки! — Кречев хлопнул пятерней об стол и сказал Зенину: — Продолжайте в очередном порядке.

Зенин еще долго говорил о всеобщем энтузиазме в ответ на происки международного капитала и его китайских наймитов на КВЖД, о важности подписки на третий заем индустриализации, и, когда дошел до классовой борьбы, Тараканиха опять заснула, но без храпа, на этот раз тоненько и заливисто высвистывала губами. Зенин метнул взгляд на Селькина, соседа ее, тот было замахнулся локтем — потормошить, но его остановил Андрей Иванович.

— Ш-ш! — осаживая ладонями ропот, Бородин взял со стола шкалик с чернилами, оторвал клочок газеты, пожевал его, намочил комочек в чернилах и, положив себе на ладонь, выстрелил щелчком в Тараканиху. Чернильный шарик шлепнул ей прямо в губы. Тараканиха почмокала губами, потом рукой сняла шарик, размазывая чернила по лицу. Все грохнули разом и на скамьях, и за столом. Тараканиха воспрянула и, не понимая, в чем дело, тоже засмеялась за компанию. Это подстегнуло всеобщий смех. Даже Сенечка, поначалу укоризненно смотревший на свою застолицу, не выдержал, прыснул раза два, точно кот, прикрывая рот ладонью.

— Ну хватит, хватит, товарищи! — начал он урезонивать смеявшихся и вдруг перешел на серьезный тон: — Кулачество и его пособники стараются повсюду срывать собрания, принимающие контрольные цифры. Вы что, забыли, где находитесь? Или не понимаете, что наступил накал классовой борьбы?

— При чем тут классовая борьба? Какое кулачество? Это ж актив! — говорил укоризненно Кречев, оправившись от смеха.

И все сразу притихли, виновато поглядывая друг на друга.

— Это не имеет значения, что актив,— строго отчеканил Сенечка,— формы классовой борьбы бывают разные: и явные выступления кулаков, и закулисные, путем использования подкулачников. Кстати, еще совсем недавно в вашем активе заседал некий кулак Федот Клюев.

— Он не кулак,— ответил угрюмо Кречев.

— По вашему мнению. А по решению партячейки Клюев занесен в списки кулаков, и райисполком утвердил этот список.

— Не понимаю, куда гнешь? — спросил Кречев.— Что ж, по-твоему, среди нас есть недовыявленные кулаки?

— Я ничего такого не говорил. Но устраивать комедию из серьезного мероприятия не к лицу, товарищи активисты.

— Дак ты же сам смеялся! — крикнул со скамьи Серган.

— Мало ли что,— важно вскинул голову Сенечка.

— Ах, тебе можно смеяться, а нам нет?

— Что ж, выходит, у Тараканихи классовое лицо, ежели над ней смеяться нельзя?

— А какая у нее задница?

— Товарищи, успокойтесь! Я же не в порядке осуждения сказал это, а в порядке профилактики.— Сенечка почуял, что перегнул палку с классовой борьбой,— и Кречев нахохлился, и активисты забузили.— Давайте перейдем к делу. А вы, товарищ Караваева, идите в кубовую и вымойте лицо.

Тараканиха встала и, шурша длинной черной юбкой, пошла в пристрой, а Сенечка взял из Левкиной папки какую-то бумагу и стал махать ею:

— Значит, так, на Тихановский сельсовет спущена контрольная цифра на хлебные излишки по ржи. Надо сказать, что райзо явно занизило наши возможности; составляя хлебный баланс, оно указало всех излишков по Тихановскому району тысячу пудов ржи. Это позорно малая цифра! Тихановский исполком под председательством товарища Возвышаева поставил на этой цифре большой крест. И вывел новую для Тиханова — 5230 пудов. Вот эту цифру мы, товарищи, и должны сегодня принять к сведению и распределить ее по хозяйствам. Беднота от обложения конечно же освобождается. Значит, основная часть должна быть наложена на кулаков, остальное разнести по середнякам. Какие будут соображения?

— А чего тут соображать? Расписывайте!

— Правильна! Пускай те соображают, которым платить надо.

— Нам от этих соображениев ничего не прибавится. Что на нас, то и при нас.

— Так-то... Чистая пролетария.

Это бабы загалдели: Санька Рыжая, Настя Гредная, Васютка Чакушка; их так и звали на селе — красноносые сороки.

Кречев покосился на бабий угол и ворчливо изрек:

— Повторяю, базар ноне отменен, поскольку день урожая.

— Дай мне сказать слово! — потянулся Якуша к председателю.

Тот кивнул, и Якуша вскочил проворно, по-солдатски, руки по швам, голова стриженая, уши торчком, как самоварные ручки.

— Мы на партийном собрании подработали этот вопрос и предлагаем его на утверждению всего актива и группы бедноты. Значит, со всех кулаков, а их восемнадцать хозяйств, по установленному максимуму — взять по

сто пудов; на середняцкие хозяйства наложить, исходя из количества едоков,— по два пуда на рыло, на едока то есть. Итого у нас выйдет в самый раз, поскольку едоков в Тиханове всего две тысячи сто восемьдесят, минус беднота и служащие районного масштаба.

— Дак ежели вы все уже решили, тогда зачем нас пригласили сюда? — спросил Андрей Иванович.

— К вашему сведению, партячейка имеет право выражать собственное мнение,— снисходительно пояснил Зенин, подслеповато щурясь на Бородина.— А ваше дело соглашаться с ним или отвергать его.

— Раньше на пленуме сельсовета и партийные, и беспартийные вместе вопросы и намечали, и обсуждали. А теперь вы там решили, а мы здесь либо голосуй за, либо отвергай... Чтобы видно было — кому шею мылить. Так, что ли? Хитро вы придумали, ничего не скажешь.

— Товарищ Бородин, вы что, ставите под сомнение авторитет партии? — вскочил Сенечка.

— При чем тут партия? — поднялся и Бородин.— Ты в ней состоишь без году неделя и уж за всю партию хочешь распоряжаться. Людей уважать надо! Пригласили сюда чего делать? Работать? Вот и давайте вместе работать, считать — что почему. И нечего подсовывать нам готовые бумажки. Вы их писали, сами и подписывайтесь под ними, а нас не впутывайте.

— Правильно, Андрей Иванович! — гаркнул опять Серган.— Дай ему понюхать нашего самосада.

— Кречев, может, ты внесешь ясность на попытку опорочить партийную линию? — багровея, обернулся Сенечка к Кречеву.

— Давайте спокойнее, без выпадов на оскорбление. Не то ералаш какой-то выходит, а не заседание актива. Перепились вы, что ли, по случаю престольного праздника? — сказал Кречев.

— Спасибо за тонкий намек,— Сенечка обиженно сел и уткнулся в свою бумагу.— В таком разрезе говорить отказываюсь.

— Ты, Семен, не горячись. Ведь никто еще не отвергает партийного решения. Говорят — нельзя так в упор ставить — «за» или «против». Давайте обмозгуем, пошевелим шариками. Может, придумаем что-либо и не хуже?

Язвительная и в то же время какая-то горькая

улыбочка передернула губы Зенина; он растворил ладони, пожал плечами и с обидой произнес:

— А кто же против? Я никому рот не затыкаю. Я только против злостных выпадов насчет неоспоримого авторитета партии.

— Выпадов не будет. Договорились. Теперь кто хочет по существу? Ты, что ли, Андрей Иванович?

Бородин встал, распахнул черной дубки нагольный полушубок, оправил усы, словно за обед садился, и крякнул для солидности:

— Во-первых, 5230 пудов излишков наложили на весь район. Зачем же мы перекладываем эту цифру на плечи одного села? Что ж мы, за весь район отдуваться должны?

— Это ж только ржи! — крикнул Сенечка.— А там еще столько ж овса... Да просо, да гречиха, да ячмень...

— Во-вторых,— невозмутимо продолжал свое Бородин,— у нас было шестнадцать кулаков. Откуда же взялось восемнадцать? Кого добавили?

— Как будто он не знает,— ухмыльнулся Сенечка, глядя на Кречева.— В список кулаков занесены Прокоп Алдонин и Федот Клюев. Вам ясно? — Это уж Бородину сказал.

— Нет, не ясно. Во-первых, на каком основании? Во-вторых, я их кулаками не считаю.

— Скажите на милость, какой сословный вождь нашелся! Кто это «я»? «Я» — последняя буква в алфавите. Занесли их в список на заседании партячейки совместно с группой бедноты. И утвержден этот список не где-нибудь, а в райисполкоме. Под ним стоит подпись самого товарища Возвышаева. С вас довольно? — Сенечка закинул голову и с вызовом глядел на Бородина.

— Список кулаков составлялся на пленуме сельсовета, а утверждал его сход. Такой у нас порядок.

— Был! — крикнул Сенечка.— А теперь сплыл. Это не порядок, а круговая порука. Кулаки и подкулачники сами покрывали себя за счет одураченной массы. Такая чуждая тактика решительно осуждена районным комитетом партии. Выявление кулаков поставлено теперь на классовую основу. Понятно?!

Бородин вопросительно посмотрел на Кречева. Тот, глядя в пол перед собой, сказал:

— Да. Нам запретили на сходе обсуждать кандидатуры кулаков.

Бородин оправил рукой воротник косоворотки, будто он ему тесен стал:

— Ладно, допустим... Теперь третий вопрос: почему излишки хлеба снова выплыли? Мы же их сдали, за исключением отдельных личностей.

— Контрольная цифра спускается сверху,— ответил Кречев.— Обсуждать нечего.

— То ись как нечего? — крикнула Тараканиха.— Мы кто, хозяева или работники?

— О! Проснулась наша Маланья! — ухнул кто-то басом, и все засмеялись.

— Что касается нас, то мы работники,— пояснил с улыбочкой Зенин.— Даже в песне про это поется: «Лишь мы работники на славу». А песня эта — «Интернационал». Вы согласны, товарищ Караваева? А вы записывайте! — обернулся он к Левке Головастому.

— Да я записываю,— виновато отозвался тот и нырнул в свою папку.

— Ежели мы все работники, тогда давайте излишки на всех начислять поровну,— сказала Тараканиха,— по едокам то ись. А то что ж выходит? На работников начисляем, а на лодырей нет. Пускай и беднота платит!

— Чем она заплатит? — спросил Кречев.— Горсть вшей насыпят?

— И это называется классовый подход. Ах-ха-ха-ха! — по-козлиному рассыпал мелкий смешок Сенечка.

В бабьем углу затараторили:

— Ежели бедноту не уважать, тогда и заседать нечего.

— Я вам чем, кусками заплачу?

— Советская власть не позволит! Чтоб смеяться над беднотой?.. Это ж кулацкая отрыжка.

— Тише вы, сороки! — гаркнул на них Ванятка.— Ждите голосование. И не мешать.

А Бородин все стоял в расстегнутом полушубке, ждал, когда угомонятся растревоженные бабы. Наконец он произнес:

— Я вот что предлагаю. Давайте обкладывать не всех скопом, а по хозяйствам. Мы же знаем — у кого какой был урожай. Только такая цифра — в пять тысяч пудов с гаком! — прямо скажу — не по силам для наших мужиков. Это обложение подрежет нас под корень.— Бородин сел.

Зенин с той же горькой улыбочкой покачал головой и произнес печально:

— Ну и ну! Это ж надо так уметь — взять и свалить в одну кучу все классы и прослойки. Все покрыть одним словом — мужики?! А ведь мужики-то разные. Мы, товарищ Бородин, не затем создали Советскую власть, чтобы всех подряд одним миром мазать. Нет, мы за классовое расслоение. И путать, собирать всех крестьян до одной кучи никому не позволим! Вы как-то ловко вывели из нашего обложения всю кулацкую часть. Думаю, что не без цели.

— Какая ж у меня цель? — крикнул Бородин.

— Поживем — увидим,— спокойно изрек Сенечка и опять Левке Головастому: — А вы записывайте, записывайте! Значит, кулацкую часть вы не посчитали? А напрасно. Давайте прикинем: восемнадцать кулаков по сто пудов на каждого — это выходит тысячу восемьсот. Значит, на середняков, то есть на всех крестьян, остается не пять тысяч пудов с гаком, а всего три тысячи с небольшим. Много ли это? Нет, товарищи, эта цифра далеко не крайняя. Возьмем то же хозяйство Бородина Андрея Ивановича. У него семь едоков, значит, по два пуда с едока — будет четырнадцать пудов. Неужели, товарищ Бородин, четырнадцать пудов, то есть три мешка ржи, разорят ваше хозяйство? Не смешите народ! Все равно вам никто не поверит. Нет, середняка мы не разорим таким обложением. А что же касается кулаков, то здесь мы непреклонны. Никакой пощады классовым врагам! Это не крестьяне, а мироеды. Вот и давайте соберем все, что можем. А ведь с миру по нитке — голому портки. Наш хлеб идет не куда-нибудь в пропасть, а на питание рабочего класса, на индустриализацию страны. То есть на строительство фабрик и заводов, на изготовление машин, инвентаря, одежды, на нас самих. Так неужели ж мы не поможем родному государству? А стало быть, неужели не поможем самим себе построить лучшую жизнь? Я думаю, говорить больше не о чем. Ставьте на голосование.

Кречев прокашлялся, будто он сам это все только что сказал, и спросил строго:

— Другие предложения будут? Нет? Тогда голосуем в порядке поступления: кто за первое предложение, то есть за обложение кулаков по сто пудов ржи, а остальное по едокам на середняков, прошу поднять руки.

В бабьем углу взмыли руки, дружно, как по военной команде,— все враз. Потом потянулись мужики, с огляд-

кой, но проголосовали «за». Не подняли рук только Тараканиха, Серган и Андрей Иванович.

— Поскольку большинство «за», то голосование по второму предложению отпадает. Теперь, значит, еще один вопрос, насчет индивидуального обложения кулаков. Слово имеет товарищ Зенин.

Сенечка говорил сидя, усталым голосом, как бы закругляясь — говорить, мол, и спорить уже не о чем:

— Значит, на последнее у нас — вопрос об индивидуальном обложении кулаков. Как вы уже знаете, у нас оказалось по Тихановскому Совету два недообложенных кулацких хозяйства. Установка, надеюсь, всем известная: ни одного недовыявленного кулака! Поскольку Прокоп Алдонин и Федот Клюев в списки попали позже, то они механически оказались недообложенными. Винить здесь персонально некого. И потому ставим на голосование: кто за то, чтобы обложить в порядке индивидуального налога Алдонина и Клюева по восемьсот рублей? Виноват, голосуйте вы, товарищ Кречев!

— Какая разница? — отозвался тот.— Давай поставим вопрос на голосование.

Но встал Андрей Иванович:

— Мы только что обложили их по сто пудов. Сколько же можно?

— Можно, товарищ Бородин! — повысил голос Сенечка.— Кулаков можно обкладывать до полного искоренения как классовых врагов.

— Какие ж они кулаки? Это ж трудяги из трудяг. Они портки последние закладывали на хозяйственные нужды!

— И обдирали своих соседей! — вставил Сенечка.

— Кто обдирал? Кого?

— Кого? А чей кон будет! — крикнул Степан Гредный.— К примеру, Прокоп Алдонин хлеб молотил на своей машине. По восемь пудов ржи брал за день молотьбы. Это как посчитать? Скольких он обобрал.

— Дак он же сам молотил, у барабана стоял. И машина его, и лошади! Это ж какая работа! И все за восемь пудов ржи! Кто тебе еще за такую цену сработает? — распалялся Андрей Иванович.

— Ты, Андрей, Прокопа не выгораживай,— сказал Ванятка.— Из-за него артель развалилась. Все жадность его виновата.

— Так за жадность, что ли, восемьсот рублей с него дерем? Зачем разорять человека?

— Прокоп только покряхтит...

— Распла-атится. У него денег-та куры не клюют.

— А ты считал?

— В чужом кармане завсегда денег больше, чем в своем.

— Голосовать давайте!

— А как с Клюевым быть?—спросил Серган.

— Как со всеми кулаками,—ответил Сенечка.

— Он же член сельсовета! Депутат!—заорал Серган.

— Был, да вывели. А вы не берите на горло!—крикнул Сенечка.

— Федот—мастер, колесник! А ты—сморчок! Слепень на конской заднице!

— Это что за подкулачник?—обернулся Сенечка к председателю.—Клюев его напоил? Специально подпоили!

— Меня подпоили?! Ах ты, мать-перемать... Я тебя самого счас напою Капкиным кипятком. Утоплю в кубовой!

Серган бросился к столу, опрокидывая скамейки, но на плечах его повисли Ванятка и Андрей Иванович. А Сенечка побледнел, по-заячьи выпрыгнул из-за скамейки да брызнул через заднее крыльцо на улицу. Только его и видели.

— Да я ему ноги из шагалки повыдергаю, как у цыпленка. Соплей зашибу и разотру в порошок!—долго еще бушевал Серган, но на улицу не вышел, не побежал за Сенечкой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

В тот же день Сенечка Зенин передал в окрисполком заверенную Возвышаевым телефонограмму:

«Срочно: о классовой борьбе в Тихановском районе при проведении хлебозаготовок:

В с. Тиханове подкулачник Клюев Сергей на заседании пленума с/совета пытался избить секретаря партячейки Зенина, но, по независящим от него причинам, действия эти вовремя были пресечены.

Того же числа, т. е. 14 октября, в с. Тимофеевке была проявлена массовая попытка к избиению районной делегации и пред. с/совета на церковной паперти. С подстре-

кательством в неповиновении местным властям выступил б. священник Покровский. И только решительное противодействие пред. райисполкома т. Возвышаева и всей делегации предотвратило опасные последствия.

В ночь на 14 октября три неизвестные личности в саду Тихановской больницы выстрелами из огнестрельного оружия разогнали сторожей сада, а потом были украдены все заготовленные яблоки прямо в кооперативных кадках, и в ту же ночь в здании клуба, где происходила репетиция к спектаклю, через окно был произведен выстрел и разбито стекло.

Все это, вместе взятое, а также жалобы чуть ли не всех членов комсода говорят, несомненно, о том, что кулацкая часть деревни перешла в активное наступление.

Просим содействия со стороны органов ОГПУ».

На другой день явился из Рязани уполномоченный ОГПУ и увез с собой арестованных отца Василия и Сергана. А после обеда Возвышаев вызвал к себе Кречева.

Возвышаев был строг и хмур, руки не подал Кречеву, а только указал на стул, приставленный с торца к столу:

— Расскажите, что там у вас произошло доподлинно? Что это за подкулачник Клюев? С какой целью он задумал избиение?

— Какая у него цель? По пьянке да по дурости.— Кречев тоже хмурился и был недоволен, что его принимают, как подследственного.

— Плохо вы знаете своих людей. Говорят, он родственник кулака Клюева?

— Вроде бы, седьмая вода на киселе.

— Почему он оказался в списках бедноты?

— Потому как беспортошный. Все, что ни заработает — все пропивает.

— Но у него ж корни сырые. По социальному происхождению Клюевы относятся к обеспеченной прослойке.

— То Клюевы, а этот Серган, осколок от Клюевых.

— Значит, по-вашему выходит, что родственные узы ничего не значат в классовой борьбе?

— При чем тут классовая борьба? Человек пьяный, обыкновенный хулиган.

— Обыкновенный хулиган, да? А почему он не набросился с кулаками на Бородина? Или на кого-нибудь еще из мужиков? Они ж его за руки хватали да связывали!

— Об этом вы самого Сергана спрашивайте.

— Его спросят где следует и как следует... А вам делаем предупреждение — во избежание подобных случаев прошерстите весь состав актива и бедноты. Не то у вас, оказывается, кулаки да подкулачники заседали на пленумах... случайно.

— Дак чего? Вывести всех, что ли, которые выпивают?

— Вы мне тут не разыгрывайте комедию с непониманием классовой борьбы! Вы что, гордитесь тем, что сорвали индивидуальное обложение двух кулаков?

— Я ничем не горжусь.

— Тогда объясните, как это у вас вышло, что голосование насчет обложения Алдонина и Клюева сорвалось?

— Вы же знаете! Поднялся пьяный Серган и бросился на Зенина.

— А кто вел агитацию перед этим? Кто оспаривал законность обложения кулаков?

— Какую законность? — опешил Кречев.

— Забыл?! Так я тебе напомню: выгораживал кулаков Алдонина и Клюева хорошо известный тебе Бородин. Говорят, он является твоим другом.

— Мало ли чего говорят! Вон, говорят, что и ты к нему шастал, вроде бы в зятья навязывался, — обозлился и Кречев.

Возвышаев вскочил из-за стола, одернул свой коричневый френч и, кося глазом на печку с отдушником, отчеканил:

— Вы, товарищ Кречев, с огнем играете. Я ведь могу и запротоколировать вашу попытку приплести к выгораживанию кулаков авторитет самого председателя РИКа. Дело не в личности Возвышаева, а в священном авторитете Советской власти. Мало ли где я бываю в свободное от работы время. Но у меня, у председателя РИКа, на пленумах исполкома некий Бородин не принимал участия. Понятна вам разница между моими связями и вашими?

— Вы меня зачем вызвали? Чтоб о связях толковать? — встал и Кречев.

— Я вас вызвал затем, чтобы выслушать, каким образом вы собираетесь исправить ошибку вашего пленума? Вот и давайте выкладывать свой план на этот счет. — Возвышаев сел и сердито уставился в стол перед собой.

Сел и Кречев.

— Никакого плана тут нет. Просто Зенин попросил на этот счет провести заседание группы бедноты совместно с партячейкой, а комсод исключить. Я согласился.

— А что думаете насчет колхоза? Почему медлите с его организацией?

— Где его размещать? Двор, правление! Под чистым небом, что ли? Дайте нам дом Скобликова!

— Нет. Там организуем ссыпной пункт. А вы возьмите дом Успенского. Вот вам и правление.

— Как это — возьмите? Конфисковать, что ли?

— Хотя бы.

— Дак ведь он учитель. А учителей, по указу, трогать не полагается.

— Успенский компрометирует себя как учитель. В ночь на четырнадцатое он оказал сопротивление активисту Савкину при задержании незаконно отъезжающего помещика Скобликова.

— Тогда арестуйте его.

— Физического действия с его стороны не было. Стало быть, аресту не подлежит.

— Ага, сами арестовать не можете, но хотите, чтобы мы его выселили из дому. А нам за это по шее дадут.

— У вас есть формальное право — увязать его действия с незаконным бегством помещика Скобликова. А увязав его пособничество в этом деле, вы имеете право вывести Успенского из-под указа о запрете на конфискацию имущества учителей, поставить вопрос о нем на голосовании перед беднотой. Понятно?

— Нет, этого я не понимаю. Как это я могу доказать его пособничество?

— Не беспокойтесь. Он сам во всем признается. Он человек откровенный и болтливый, — усмехнулся Возвышаев.

— Но я с ним почти не знаком. Не могу же я вызвать его в Совет на допрос!

— И не надо. Ты поедешь вместе с Зениным в Степановскую школу. Будешь присутствовать при их разговоре. И как лицо официальное зафиксируешь признание Успенского. Ясно?

Кречев свесил голову, помолчал с минуту и наконец сказал:

— Ясно.

Вышел он от Возвышаева в скверном настроении. Что

делать? Ехать вместе с Зениным опутывать этого учителя не хотелось. Мало ему своих забот с выколачиванием хлеба да самообложением, да подпиской на заем, от которой все бегают, как черт от ладана. А теперь вот — ущучивай антисоветские элементы. Захомутай его попробуй на основании словесных признаний. Он тебя за пояс заткнет в любом разговоре. Это не наш брат, мужик сиволапый. А тот под охраной указа. Он тебе ноне признается — ты его цоп! А завтра комиссия нагрянет, тебя шерстить начнут: на основании чего конфискуешь? На основании словесных показаний? Где они? Кто их подшивал? Сенечка что? Тот вывернется, как вьюн. А ты отвечай — ты власть. Тебя и по шее стукнут.

А что, если упредить его? Не так, чтобы официально, а косвенно. Пусть на это время смотается куда-нибудь. Мы съездим с Зениным, поцелуем замок и назад вернемся. А что ж, это неглупо. Формально указание выполним, а фактически спросить не с кого и привлекать не за что в случае чего. Ныне только так и жить можно, тот уцелеет, кто в пекло не суется.

А передать Успенскому, чтобы поостерегся, можно через Бородина. Они друзья. У них связь... Он туда шастает из-за Марии. Уж эта Мария! Кречев злился на себя за то, что испытывал перед ней какую-то постыдную утробную робость. Когда идет с Андреем Ивановичем, еще ничего, но стоит пойти одному, как при виде высокого тесового крыльца Бородиных у него появляется противная слабость в коленках и урчание в животе, словно принял слабительного. Так и мерещилось — выйдет она сейчас на крыльцо, он остановится и начнет заикаться. И признаться в этом стыдно было даже перед самим собой. Он, здоровенный детина, двухпудовой гирей крестился и робеет перед девчонкой.

Этот конфуз впервые испытал он весной. На церковный праздник — красную горку — райком комсомола решил вывести сельскую молодежь на стрельбы, чтобы отвлечь ее от игры в орлянку, катания яиц и поповского дурмана, то есть посещения церковной службы. Так и сказали Кречеву по телефону — организуй, мол, мероприятие. А с утра явились в сельсовет Мария Обухова и Сенечка Зенин. На Обуховой было темное пальто с глухим воротом, перехваченное широким поясом, и блестящая черная шляпа, похожая на шлем. Статная, рослая, и говорит громко, решительно — командир. И руку пожа-

ла крепко и еще посмеивается: что это, говорит, вы, товарищ председатель, такой молчаливый, как с похмелья? Или, может, не выспались? А он глядит в ее узкие темные глаза и ничего путного сказать не может. Он и в самом деле всю ночь провел у Сони Бородиной и подумал испуганно — уж не догадывается ли? И ноздри так раздувает, и глаза сощурила... Может быть, натрепал кто-то, неудобно перед Андреем Ивановичем. Но более всего совестно перед ней. Отчего? Что ему с ней, детей крестить? И в ухажеры не навязывался, и свататься не собирался... А посмотрит она, засмеется или руку пожмет — так и обрывается все внутри.

Попросили вырезать мишени из фанеры в виде четырех фигур: попа, монаха, буржуя в цилиндре и генерала. Сенечка нарисовал на бумаге. Кречев было заупрямился: вынул из шкафа лучковую пилу, рубанок, молоток. Вырезайте, говорит, и сбивайте. А мне некогда. Хотел уйти. Задержала, взяла под локоток: «Павел Митрофанович, вы же мастер. Настоящий пролетарий, да к тому же строитель. А он кто? Посмотрите на его руки! — указала на Сенечку.— Не то подросток, не то счетовод. Разве такие руки смогут держать пилу и рубанок? Или вы хотите, чтобы я вырезала эти фигуры?»

Уговорила, вырезал. А на стрельбище легла в одну четверку рядом с Кречевым. Не успел он как следует изготовиться, как она толкнула его носочком в сапог и опять насмешливо: «Павел Митрофанович, вы слишком близко легли ко мне. И дышите шумно». И Кречев все четыре пули пустил в белый свет. Над ним смеялись, острили. Особенно Тяпин старался: Кречев, говорит, не в буржуев пулями стреляет, а глазами в наши кадры. А Мария добила Кречева. Если он, говорит, так же стреляет глазами, как пулями, то за наши кадры опасаться не стоит.

Шел Кречев к Андрею Ивановичу еще и затем, чтобы сказать ему, предупредить — дело дрянь. Донес на него Зенин. И не просто, видать, понаушничал, а документально изложил, как тот взял под защиту кулаков и сорвал заседание актива. Иначе Возвышаев не стал бы открещиваться от Бородина. А впрочем, черт ее знает! Может быть, и Мария в этом замешана? Обидела Возвышаева, отбрила. Она отбреет. А может быть, сошлась с Успенским, и Возвышаев решил отомстить им? Что бы там ни было, а предупредить их надо.

В сумерках уже прошел он по Нахаловке — ни ребятни, ни скотины, ни собак. Была та тихая пора межвечерья, когда сельская улица пустеет: скотина вся на дворах, ворота заперты, околицы затворены, ребятишки, которые поменьше, рассаживаются на печи да возле грубок со своими играми, те, которые постарше, помогают на дворе родителям убраться со скотиной, а невесты хлопочут по дому, подбирают наряды, гладятся, завиваются, пудрятся — готовятся к ночным игрищам да гуляньям.

У Бородиных светилась горница; окна передней избы холодно поблескивали, точно слюдяные. Рано они убрались, подумал Кречев, подходя. В боковом кармане он нес бутылку рыковки и надеялся посидеть за самоваром. На стук щеколды никто не вышел в переднюю избу. Он рванул на себя дверь, нырнул в темноту и громко спросил:

— Есть кто-нибудь живой?

Растворилась дверь из горницы. На пороге появилась Мария, и свет от лампы-молнии заполнил всю избу. Кречев от непривычки к свету сощурился.

— А что, хозяев-то или дома нет? — спросил он растерянно.

— Они на одоньях припозднились. Ухобот провевают...

— Во-он что! — Он оглянулся на дверь, будто извиняясь за вторжение, сказал с улыбкой: — Не сам зашел — собаки загнали.

— Догадываюсь, что за собаки,— сказала Мария с оттенком скорби и пригласила его в горницу: — Проходите! Раздевайтесь, пожалуйста!

В горнице топилась грубка. Ребятишки играли возле открытой дверцы, освещенные переменчивым пламенем пылающих дров. Сама села на деревянном диванчике у стола, Кречеву указала на табуретку. Он присел осторожно, все так же стесняясь и вроде бы опасаясь, что табуретка не выдержит его веса, потер ладонями о колени и сказал:

— Я пришел вас предупредить... Меня Возвышаев вызывал... Дело в том, что ему известно, будто Андрей Иванович сорвал актив и взял под защиту кулаков... Это, конечно, оговор. Но тем не менее.

— Мы знаем,— ответила Мария все тем же ровным и скорбным тоном.— Зенин написал донос, будто мы с

Андреем Ивановичем помогали убежать от расплаты помещику Скобликову.

И только теперь Кречев сообразил — почему нет хозяев. Ясно же, прячут пожитки или хлеб, боясь неожиданной расправы, и он решил успокоить Марию:

— Не вы главные виновники... Насколько мне известно, здесь замешано третье лицо. Вот ему стоило бы поостеречься.

— Успенский? — быстро спросила она.

— Да.

— И что ж ему грозит?

Кречев опять потер ладонями о колени, качнул по-медвежьи корпус, будто бы что-то мешало ему говорить, но все-таки сказал:

— Разговор между нами... Если об этом кто узнает, сами понимаете... Попадет не только мне, но и ему.

— Да что ж ему грозит? — нетерпеливо спросила Мария.

— Конфискация имущества... если он признается, что помешал Савкину задержать помещика Скобликова. Вот что ему передайте: завтра вечером мы с Зениным поедем к нему в Степаново, чтобы расспрашивать его. Пусть он на это время куда-нибудь уйдет. На допрос его вызывать никто не станет — не имеют права. Это всего лишь блажь Возвышаева и Зенина. Но если он не увернется от нас, Зенин может и дело состряпать. И меня впутает. А я обязан ехать. Не могу уклоняться. Вы меня поняли?

— Спасибо, Павел Митрофанович! — Она потупилась на минуту, потом взглянула на него с виноватой улыбкой и сказала тихо:— Ради бога извините! Я так часто была несправедлива к вам. А вы честный и мужественный человек. Извините.

— Об чем вы, Мария Васильевна! Все это пустяки.

Он встал как бы с облегчением, свободно расправил плечи, будто скинул с себя мешок с зерном, и вновь заметил ребятишек — настороженные и притихшие, как воробьи, они смотрели на него с испугом; видно было, что им не до игры, что подобный разговор сегодня для них не впервой.

— Извините и вы меня, ежели в чем виноват,— сказал Кречев и вышел.

Ах ты, едрена-матрена! Ну и ну! Дети малые и то затаились, как пришибленные. Вот так заварилась похлебка. Кто ее только и расхлебывать станет? Он полез в

боковой карман за куревом и задел бутылку, жестко даванувшую его в ребро. А куда ж мне этот снаряд девать? С кем бы раздавить его? И надумал: пойду-ка к Соне. Хоть душу отведу.

Соня Бородина доводилась Андрею Ивановичу снохой, она была второй женой брата его Михаила. После смерти Насти, оставившей трех малолетних дочек, Михаил приехал из Юзовки, женился наспех на этой Соне — из соседнего села Сергачева взял ее — и снова укатил в Юзовку, где слесарничал, деньги зарабатывал на новый дом. Дом этот строил ему Андрей Иванович, не сам, конечно, строил, а вел подряд, нанимал мастеров, присматривал. Кирпичные стены сложили братья Амвросиевы; а крышу, полы и все столярные работы вел Федот Иванович Клюев. На этой новостройке и сошелся Кречев с Соней.

Дело было весной, сеяли овес по контрактации. Кречев зашел под вечер к Андрею Ивановичу договориться насчет раннего выезда в поле. Но хозяина не было дома, сказали, что он на стройке. И на стройке его не оказалось. Кречев пробухал сапогами по желтому свежеоструганному полу, заглянул и на кухню, и в чистую половину — никого. Прошел в тесовые сени, здесь тоже, как и в доме, были хорошо оструганные полы, скипидарно пахло свежей стружкой,— двери не заперты, раскидан да развешан по стенам инструмент — и никого. Что за чудо-юдо? Не ушли же, так все побросав и не заперев двери? На дворе стоял дощатый сарай. Кречев вошел в торцевую дверь и столкнулся нос к носу с Соней. Она была в одной исподней рубашке — видно, переодевалась из рабочего платья в выходное,— сцепив руки, прикрыла полуобнаженную грудь и смотрела на него не то с испугом, не то с недоумением.

— Тебе чего? — а глаза посинели, зрачки расширились и ноздри задрожали.

— Искал Андрея Ивановича...— с пересохшим горлом сказал он.

— Нету его, ушел... Ну, уходите же! — И брови сломались, мучительно сдвинулись, как от крика.

— Сейчас, сейчас.— Он смотрел не ее голые плечи и тяжело, отрывисто дышал.

— Уходи же!..

— Да я, это, хотел тебе сказать... Погоди-ко!..— Он обнял ее за плечи, навалился, сграбастал мягкое податли-

вое тело и легко принял на грудь, как бремя дров. У стены стоял топчан, накрытый лоскутным одеялом, он понес ее на топчан, больно стукнулся об него локтями и, ловя губами ее маленькое упругое ухо, услышал горячий несвязный шепот:

— Крючок накинь. Дверь, дверь... крючок...

С той поры он часто навещал ее, за полночь, когда угомонится село и заснут, раскидав ручонки, малые падчерицы. Жила она в кособокой избенке, снятой Михаилом Ивановичем после выдела из семьи. Снимал на год, на два... Но зажился в Юзовке. Не просто и не скоро давались заработки на новый дом. В этой старой избенке и Настя умерла, и дети подрастали.

Стояло это жилье на Сенной улице в самом конце, как идти на Пантюхино, напротив Ванятки Бородина.

Кречев с поля зашел уже по темному, стукнул трижды щеколдой. Соня вышла в сени и, оглаживая его небритые щеки маленькими твердыми ладонями, шептала:

— Иди, Паша, к Фешке Сапоговой... Я приду через часок. Девок уложу и приду...

2

Надежда с Андреем Ивановичем работала не в сарае, а в кладовой: насыпали под завязь пятипудовые травяные мешки просом и рожью. Еще накануне ночью Андрей Иванович выкопал в саду яму и прикрыл ее копной сена по жердевому настилу. О доносе узнали они от Зинки. Та забежала в обед к Марии в райком и с оглядкой торопливо прошептала на ухо: «Савкин заходил и рассказал Сенечке, как вы с Андреем Ивановичем провожали Скобликова и помешали ему задержать неплательщика... Сенечка записал все; мы, говорит, их вздрючим за пособничество. А мне наказал: ежели, говорит, проболтаешься — язык отрежу или того хуже — посажу в тюрьму! Маша, милая, не выдавай!»

Надежда бушевала: «Добегались, дотрепались, сердобольные матрёны! — И все на мужа: — О ком хлопотал, о ком убивался? Барина пожалел? Дак он, что птица перелетная — шапку в охапку, хвост трубой и улетел. А ты куда подымешься, с такой оравой? Вот придут завтра, возьмут тебя за штаны: что делать? Куда жаловаться? Где защиту искать? Эх ты, помело подворное! И ты хоро-

ша! — Это на Марию.— Нет, чтобы линию держать по всей строгости, как и полагается партейной. А ты по ночам шастаешь со всякими элементами!» Но Мария не Андрей Иванович, сама Обухова, как часовой, всегда наготове, ежели кого встретить или сдачу дать. Ты чего, говорит, лезешь в мою линию со своими элементами? Что ты в них понимаешь? Вон где твои элементы, в печке! Горшки да чугуны. Вот и ворочай их. А в своих элементах я и без тебя как-нибудь разберусь...

Ну, поостыли, примирились. Чего делать? Решили — зерно прятать. Куда везти? «К Ванятке»,— говорит Надежда. «Да ты что, очумела? — осадил ее Андрей Иванович.— Он же вот-вот председателем колхоза станет, свое зерно понесет на общий семенной пункт, а чужое у себя прятать станет? Совесть, поди, не пропил еще!» Куда же? И надумали — два мешка отвезти к Фешке Сапоговой, племяннице Царицы, работавшей женоргом. Место у нее надежное — никто проверять не сунется, да и сама — баба компанейская, уважительная, не из робкого десятка. А еще пять мешков решили спрятать у себя в надежном месте.

Вот и прятали... Надежда держала концы мешка, Андрей Иванович завязывал бечевкой. В кладовой горел фонарь «летучая мышь», было сумрачно и тихо. Вдруг кто-то резко постучал в железную дверь.

— Накрыли! Эх, твою мать...— Андрей Иванович тихо выругался, выпустил из рук бечевку и сел верхом на мешок.

— А может быть, Маша? — прошептала Надежда.

— Что она, очумела? Мы же договаривались — в кладовую ни-ни...

В дверь опять сильно постучали, и Мария в притвор зло прошипела:

— Вы что там, уснули, что ли?

— Ой, слава тебе господи! Царица небесная! Пронесло.— Надежда бросилась на порог, впустила Марию и снова, заложив дверь на крючок, распекала ее:— Рехнулась ты, что ли? Ведь не маленькая, понимать должна, что мы тут пережили от твоего стука. Вон хозяин сел верхом на мешок и встать не может.

— Ой, Маша, Маша!.. Прямо руки-ноги отнялись,— признался и Андрей Иванович, вставая с мешка.

— Чего вы перепугались? Ведь не воруете!

— Хуже,— сказал Андрей Иванович.— Свое прячем. За кражу теперь меньше дают.

— А кто знает, что вы прячете?

— Дите малое и то догадается. Ночью, при свете, мешки насыпаем... Я уж думал — Ротастенький подглядел. Или кто другой.

— Сам Кречев приходил. Предупредил, чтоб осторожнее были. Его Возвышаев вызывал. Задание дали — захомутать Успенского. Завтра поедут с Зениным. А я решила сегодня сходить в Степаново, предупредить. Потому и помешала вам.

— Куда ж ты на ночь глядя? Полем, оврагами?! Может, лошадь запрячь? Андрей!

— Ни в коем случае,— остановила ее Мария.— Андрей Иванович сам теперь на подозрении. Ему лепят срыв актива, защиту кулаков. Я одна. Пешком незаметнее. Дайте мне сумку! Масла положите, пышек. Если кто спросит, скажу: Федьке несу, на квартиру.

Федька Маклак жил теперь в Степанове, учился в седьмом классе, домой приходил только на выходной день. Без него да еще без Зинки, без этих шумных перебранок, беготни, драк, плутовских проделок, без песен дом Бородиных словно опустел и поугрюмел. Не было и шумных застолиц — то сенокос да страда, то выколачивание излишков. С Якушей и Ваняткой поругались из-за сена, отнесли тройку гусей; Ротастенький принял, а Надежда, вернувшись от него, с порога сердито крикнула на хозяина, словно тот был во всем виноват: «Этого живоглота беспорточного чтобы духу больше не было в нашем доме! Пригрели змею подколодную».

Возвышаев тоже не появлялся, Сенечка донес ему, что Мария погуливает с бывшими элементами — с Успенским да Скобликовым. Глава района почел себя оскорбленным. На совещании в районо, по случаю начала учебного года, Мария, уловив минуту в перерыве, сказала ему с обычной своей насмешливостью: «По вас, Никанор Степанович, самовар у Бородиных в голос воет». На что тот сердито изрек: «Нам теперь, Мария Васильевна, некогда чаевничать в компании бывших попов да помещиков».— «Бородины вроде бы в попах не ходили».— «Зато водятся с ними».— «Впервые слышу».— «Надеюсь, что не в последний раз». И пошел от нее козырем, закинув голову, аж затылок побагровел. И этот отвалил от нашей застолицы, подумала Мария.

Времечко наступило не до песен и застолиц. Даже

праздник Покрова прошел как-то всухомятку — из Больших Бочагов родственники не приехали, свои, тихановские, не пришли. Ярмарку отменили, торговлю хлебом запретили, и скот приказано взять на учет. Каждый день ходили по дворам комиссии, переписывали наличные головы, даже ягнят и гусей засчитывали. И все под роспись! Сунут хозяевам учетную книгу: «Распишитесь!» — «Родимые, глаза не видят».— «Не беда. Пиши здесь, на ощупь».— «Дак я и писать не умею».— «Ставь крест!» — «Крест, ён от нечистой силы. Скажут — Советскую власть крестом пужаешь...»

Упирались, отнекивались, чурались этой учетной книги, как чумы. А ты слушай всю эту наивную, полудетскую дребедень, хлопай глазами, упрашивай, заставляй, требуй. Нельзя иначе. Придешь с пустой книгой — выговор схлопочешь. А то и нечто похуже. На заметку возьмут, мол, пособничаешь, на стихию работаешь. Социализм — есть учет! И они, весь райком комсомола, целую неделю таскались по дворам, как попы.

Вот так, Мария Васильевна, и ты ходила за милую душу, заглядывала по хлевам да ошмерникам, выявляла «спрятанные головы». Погоди, то ли будет. Пойдешь еще и зерно выгребать, в амбары полезешь, в сундуки... Что, откажешься? С работы уйдешь? Нет. Полезешь как миленькая, думала Мария, идя по ночной дороге в Степаново.

Да что же это делается? Куда мы катимся? К чему идем? Еще каких-то три месяца назад она с гневом отвергала даже мысль одну, намек — сходить и проверить у мужика подпечники. И ведь ее понимали, ее поддерживали. И думала она, полагала, что этих ретивых выгребальщиков они укоротят, как норовистых лошадей. На прикол поставят... Вот возьмутся за них, навалятся разумнее, дружнее, все враз. И замах вроде был, но удара не получилось. Как во сне. И страшно становится, и руки опадают.

Тяпин и не глядит на нее теперь, как будто задолжал перед ней и долг отдавать нечем. Намедни, узнав о проводах Скобликова, сказал сухо и на «вы»: «Напишите объяснительную, разберем на бюро». А там поблажки не жди. Поспелов слег. У этого всегда на крутом повороте изжога начинается. Он язву лечит. Озимова послали в округ, новые инструкции получать. Зато Возвышаев теперь, как чирей, дуется и пухнет. И еще два прыща

вынырнули возле него: заврайзо Чубуков и судья Родимов. Эти открыто кричат: выметем правых из района, как сор из дому.

Кто же правые? Где они? Покажите их в лицо. А может быть, мы и есть правые? Вот объявят тебя, Мария Обухова, первой и поволокут завтра на чистку, как на лобное место. Будешь стоять на краю сцены без права голоса, а только отвечать на вопросы: «С какой целью ходили вы к помещику? А что вы делали в поповом доме?» Сенечка умеет задавать вопросы: «Объясните нам, как вы совмещаете дружбу с помещиком и службу в райкоме?» И ведь смеяться будут, ощупывать глазами ее, как руками лапать. И никто не остановит это позорище, никто не крикнет: «Прекратите, изверги!» Попрячутся ее защитники, а которые и придут поневоле, так ее же и пинать начнут. Вон, один пришел сегодня, как вор, впотьмах. Прошептал на ухо и смылся. Да и то благо. Сме-элый! Не побоялся к ним прийти после окрика самого Возвышаева... А что же дальше будет? Что дальше? Неужели Митя прав? Ничего путного не жди от общества, где введены сословные привилегии. Вперед проскочат только проходимцы — для этих сословий не существует. Да нет, неправда! Окоротят их. Но кто? Когда это сделают? Какие силы? Этого Мария не знала, не видела теперь этих сил.

Она не заметила, как прошла мимо Сергачева, как пересекла овражек, тальниковую поросль, как вышла на большак. Опомнилась только на развилке дорог — большак уходил на Степаново, а дорога влево забирала на Бусыгино, Веретье, Гордеево. По этой дороге она ходила и ездила не раз, когда работала учительницей. И теперь ее повело влево, как работную, вечно углубленную в себя лошадь. Ой, господи! Куда ж это я? Совсем спятила, остановилась она, оглядываясь по сторонам.

Ночь была морозная, безветренная. Кособокая луна клонилась долу, словно хотела поскорее уйти с этого пустынного, холодного неба. Над Степановом темными стогами громоздились ветлы, и горбатая дорога, ведущая к ним, далеко видна была по зеленому блеску замерзающих луж. Марии сделалось неприютно и знобко. Шла, высоко подняв плечи, сутулилась, и каблуки ее глухо стучали по мерзлой земле.

Успенский снимал квартиру напротив церкви в пятистенном, крашенном суриком деревянном доме. Его хо-

зяйка, тихая, опрятная старушка, какая-то дальняя родственница степановского священника, встретила Марию на пороге, взяла ее за руку, как маленькую девочку, и повела темными сенями в горницу. Сперва вошла сама, безо всякого стука, и сказала из прихожей, огороженной дощатой перегородкой и цветастой занавесью:

— Митя, к тебе Маша пришла.

Сказала так, будто ежедневно встречала Марию и провожала, хотя на самом деле видела ее впервые. Занавесь тотчас раздвинулась, и в дверном проеме появился Успенский в вязаной безрукавке и в валенках.

— Боже мой, Маша! А мы только что о тебе говорили,— сказал, и вроде бы испугался чего-то, и замер на месте, и она стояла недвижно и смотрела на него во все глаза, и только губы чуть вздрагивали и слезы набегали.

— Проходи же! Не стой у порога,— опомнился он.— Неодора Максимовна, ставьте самовар! Здравствуй, милая, здравствуй!—Он взял ее за руки, поочередно целовал их и заглядывал в лицо.— Что-нибудь случилось?

Мария, не стыдясь старушки, уткнулась ему в грудь и всхлипнула. Неодора Максимовна, торопливо перекрестив ее мелким крестиком, клубочком выкатилась из горницы. А Успенский распрямился, взял ее за плечи, смотрел в лицо ей с какой-то радостной скорбью и сказал тихо:

— Я ждал тебя, Маша.

И обнялись, и целовались у порога, как перед долгой вынужденной разлукой. Она прижималась к нему грудью, трепетала всем телом, с шумом вдыхая его табачный горьковатый запах, терлась щеками, лбом, носом о его мягкую шелковистую бороду и, поводя лицом, закрывала глаза; горячо и торопливо метались ее руки по его спине, словно не верила, что он стоит здесь, с ней рядом, будто боялась, что в любую минуту он может исчезнуть, раствориться, как привидение...

— Милая моя, нежная... Славная моя! Как я счастлив с тобой! Как безумно рад тебе...

Через несколько минут, усаживая ее за стол, он хлопотал, возбужденно поблескивая глазами, оглаживая ее руки своими сухими и длинными, нервными пальцами:

— А теперь выбирай, что твоей душе угодно. Во-первых, у нас есть наливочка, вишневая... Сама Неодора Максимовна делала; во-вторых, соленые рыжики, капуста

квашеная с изюмом, с моченой антоновкой, помидоры красные с укропом... А! Каково?

— Милый мой, мне все ладно. Все, что ты скажешь.

— А может быть, портвейна хочешь? У Бабосовых есть три бутылки. Настоящего, старого, массандровского. Николай из Рязани привез. Хочешь, сбегаю?

— Нет, не хочу, чтоб ты уходил,— ответила она, кутаясь в пуховый оренбургский платок.— Я к тебе пришла, по делу. И никого, кроме тебя, видеть не хочу.

— Это прекрасно! И мне никого, кроме тебя, не нужно. Сейчас я прихвачу кое-чего горяченького, и займемся твоим делом.— Он сорвался к порогу.

— Дело-то не мое, а твое.

— Тем лучше,— кивнул он, улыбаясь через плечо, и исчез.

Горница состояла из просторного зала с голыми, чистого оструга бревенчатыми, красноватыми стенами, из маленькой спальни, зашторенной розовой занавеской, и прихожей. В переднем углу огромная икона Иверской божьей матери с кованой бронзовой лампадой перед ней, висящей на красной ленте. На стене висячая книжная полка застекленная, под ней кожаный диван с высокой спинкой. Грубка из голубеньких цветочного орнамента изразцов. Полдюжины венских темных стульев вокруг стола да высокая плетеная качалка на половике возле грубки. Да еще возле Евангелия на белом столике-треугольнике под иконой — пучок сизой засохшей травы богородицы. Ровно светит лампада да настольная лампа под зеленым абажуром, да тихо потрескивают, погуживают горящие в печке дрова. Какая светлая, уютная благодать! Все Митино, будто всю жизнь он здесь прожил, хорошо подумала о нем Мария.

На столе лежал томик Ключевского, «Вехи» в сером картоне да в мягкой обложке томик Владимира Соловьева «Чтение о богочеловечестве», в нем — кожаная закладка; видно, его только что читал Успенский, потому что рядом лежала тетрадь с записью. Чернила еще не успели как следует просохнуть. Мария прочла: «Каждая человеческая личность есть прежде всего природное явление, подчиненное внешним условиям и определяемое ими в своих действиях и восприятиях. Но вместе с этим каждая человеческая личность имеет в себе нечто совершенно особенное, совершенно неопределимое внешним образом, не поддающееся никакой формуле и, несмотря

на это, налагающее определенный индивидуальный отпечаток на все действия и на все восприятия личности...»

Успенский застал ее за чтением тетради. Она оторвалась от чтения и залилась краской.

— Ради бога, извини. Я думала, ты готовишься к урокам и выписываешь историю.

— Извиняться не за что. Правильно сделала, что прочла. Для этого и выписано мной.

Он поставил графин с темно-бордовой наливкой и деревянную резную чашу с яблоками.

— Давай для сугреву по рюмочке. Цитата из Соловьева. Это удивительно глубокая мысль. Точно схвачено. И заметь — начисто опрокидывает такие хлесткие изречения, вроде этого, м-м... Влияния среды и прочее...— говорил он, разливая вино в граненые рюмки.— Твое здоровье! — И выпил торопливо, боясь, что она перебьет его.— Как это ни называют, но есть оно, это нечто, в каждом человеке — душа ли, наитие, врожденное благородство, порода... Но это нечто и заставляет каждого человека поступать и в самых ужасных условиях только так, а не иначе. Оглянись вокруг себя! И ты поймешь, как благородство, порядочность не сломлены бывают даже перед смертью.

«Митя, Митя,— подумала она с тоской и жалостью.— Дитя ты неразумное. Его могут в любую минуту обобрать, выгнать из дому и даже в тюрьму посадить, а он упивается чистой философией до самозабвения».

— Ты хоть спроси, зачем пришла-то я?

— Маша, разве это важно? Важно то, что ты пришла.— И он потянулся через стол к ней руками.— Дай мне свои руки. Я люблю твои сильные, белые, прекрасные руки.— Он приложился разгоряченной щекой к ее ладони.— Ах, Маша! Как я рад тебя видеть. Я просто счастлив.

Она запоздало испуганно оглянулась на окна.

— Занавешены, занавешены! — засмеялся он и погрозил ей пальцем.— Ай-я-яй! Трусиха.

— Я не поэтому,— оправдывалась она.— Мне уже мерещится, что всюду и за всеми подглядывают. Я ведь предупредить тебя пришла. Зенин донос написал, что ты помешал активисту Савкину задержать убегающего от расплаты помещика.

— Да, помешал. Верно донес этот Зенин.

— Если ты признаешься, тебя могут наказать.

— Что же со мной сделают?—спрашивал он весело и глядел на нее с улыбкой.

— Смешного тут ничего нет. Могут дом отобрать, обложить твердым заданием...

— Ну и пусть! Буду жить у Неодоры Максимовны. Разве здесь хуже?

— Митя, не дури. Завтра к тебе приедут Зенин с Кречевым. Приедут вечером, чтобы зафиксировать этот самый факт. Я прошу тебя, уйди куда-нибудь на это время.

— И не подумаю. Мы договорились завтра встретиться у меня с Бабосовым и с этим лектором Ашихминым. Он здесь хлеб выколачивает. И собирается меня перековать. Бабосов вроде бы перековался. И доволен.—Успенский посмеивался и оглаживал лежащие на столе ее руки.

— Митя, не дури! Не такое теперь время.

— А что изменилось, Маша? Все те же призывы к искоренению во имя чистоты рядов. Те же камни кидаем в воду, только круги от них шире, волны все круче, захлестывать стали и тебя...

— Я не о себе беспокоюсь. Тебя мне жаль.

— Ты меня жалеешь, я тебя. Кто-то жалеет еще кого-то. Одни безумствуют, сеют ненависть, другие мечутся, страдают, прячутся. И все несчастливы; одни страдают от ненасытности в злобе своей и мстительности, другие от страха и неизвестности дрожат. И выход из этой кутерьмы только один—в спокойствии и в любви. Я люблю тебя, Маша! И что за беда, ежели я живу в чужом доме, а не в своем. Важно, чтобы мы любили друг друга, и только эта любовь способна заглушить ненависть и страх. Не прятаться надо, а идти друг другу навстречу. Пусть они приезжают. Я их встречу дружественно и сделаю все, чтобы мы поняли друг друга. Вся вражда от непонимания.

— Ты неисправим, Митя. Меня мороз пробирает от этой жертвенной философии.—Она отняла руки и зябко передернула плечами, кутаясь в платок.

— А ну-ка, вылезай из-за стола! Садись к печке. Ну-ну!.. Живо!

Он отодвинул стул, приподнял ее, поставил на ноги, обнял в перехват и прижался крепко к ней всем телом, чувствуя, как сильно забилось, зачастило ее сердце. Она прикрыла глаза и откинула голову, безвольно опустив расслабленные руки.

— Я тебя так ждал... Всю жизнь жду,— шептал он, увлекая ее от стола. Потом потянулся на цыпочках и дунул сверху в настольную лампу.

— Что ты делаешь? Неодора Максимовна войдет.

— Она не придет. Мы к ней пойдем сами... Но только не теперь. Потом, потом...— Он подталкивал ее к потемневшей в лампадном свете занавеске и жарко дышал в лицо.

— Мне домой надо,— слабо упиралась она.

— Нет! Ты со мной останешься... Я люблю тебя... Я возьму тебя. Я буду с тобой, где хочешь. Как хочешь... Когда хочешь.

— Погоди... Я сама.

Она неторопливо снимала с себя все: платок, кофту и юбку, аккуратно складывала, вешала на кресло-качалку. Но, оставшись в сорочке и в чулках, стыдливо закрылась ладонями и сказала:

— Погаси лампаду.

Он прошлепал где-то за ее спиной босыми ногами туда, в передний угол. Неожиданно для себя она оглянулась и обомлела: он стоял совершенно нагой, опираясь ладонями о стол, тянулся к лампаде губами, словно приложиться хотел к Иверской божьей матери, вся его сухая сильная фигура — и впалый живот, и высокая бугристая грудь, и стройные мускулистые ноги, и эта борода, и эти прикрытые в мертвой истоме глаза — все показалось ей до жути знакомым... Тревожным. Боже мой! Что с нами будет?

И всю ночь не спала... И пугала его то беспричинными внезапными слезами, то приступом безудержной ненасытной ласки.

3

Она ушла еще по темному; в избах горели огни, горласто и протяжно заливались на все село предрассветные петухи. У колодцев скрипели журавли, гремели ведра, а над крышами в чистое светлеющее небо тянулись белые пухлые хвосты дыма. «Заспалась Маланья,— с досадой подумала Мария,— теперь не проскользнешь незамеченной. Уж разглядят, рассудят: откуда плывешь, милая? Чье крыльцо подолом обметала? Поэтому на выход из села идти не стоит. Лучше пойду в глубь села, к

Федьке,— рассуждала про себя Мария.— Поди, проснулись, оголтыши».

Федька Маклак квартировал на том берегу Петравки, поближе к школе. Надо было пройти мимо церковной ограды, потом через лесной парк бывшего поместья Свитко, потом спуститься вниз к Петравке и через лаву перейти на тот берег реки. Дорога окольная, пустынная, и не встретила она до самой Петравки ни души. Шла бойко и радовалась, что ускользнула от липкой деревенской молвы. А где-то в глубине сознания постукивала, проклевывалась, как цыпленок в насиженном яйце, беспокойная мыслишка: как же с ним-то быть? Не бегать же к нему так вот по ночам, по его домам да квартирам! А ей и принять-то негде. Еще смеялась над ним — бегающий муж! А сама превращается в бегающую жену. Да хуже — в любовницу! А что же делать? Уйти из райкома? Выходить замуж? Он требует: брось ты эту канитель, Маша. Вы же играете в дело, в идейность, в прогресс, в будущее. В жизнь играете. А надо жить. Работать надо, а не играть. Переходи в школу. И славно мы заживем. Пойми ты, вера в прогресс, в будущее только у тех истинная, кто сам работает на этот прогресс, кто детей учит уму-разуму, кто кует железо, дома строит, людей лечит, хлеб растит. Кто работает, творит, а не командует. Командиры часто меняются, и вера их меняется. Сегодня наверху левые, завтра правые... «Кто их, к черту, разберет?» — как сказал поэт. А ты в этой погоне за правыми или за левыми только силы потратишь и душу свою опустошишь. И тогда придет к тебе усталость и цинизм — самая страшная пора неверия и безразличия. И жизнь пройдет впустую, и душу свою загубишь.

А может быть, и в самом деле уйти, пока не поздно, пока не затянула тебя эта азартная игра в перегонялки; как в гору бежим — кто скорее, кто выше, чей кон будет. Ну окажись я на месте Тяпина, убери я с дороги Сенечку. А что изменится? Подворку отменят? Излишки перестанут выколачивать? Заем?! Да все то же будет. Я кого-то пошлю или меня пошлют выколачивать эти излишки. Откажусь — снимут. Не мы здесь заводим эту машину. Мы, как лошади на молотьбе,— ходим по кругу, привязанные к одному и тому же водилу, и не видим, кто погоняет: наглазники мешают.

Легко подумать: уйти с работы; мысленно плюнуть на все, на эти строгости, на слежку, на контроль. Но тогда

прощай и гордость твоя, и надежда на лучший исход. Тогда смирись перед Сенечкой и Возвышаевым и заранее готовься к тому, что из них будут погонщики. Только из них! А ты ходи с наглазниками по этой вот пустынной дороге с горы да в гору, таскай детские тетради в клеенчатом портфеле и утешай себя жалкой мыслью, что истинная вера с тобой, так как ты двигаешь прогресс. Нет, Митя! Пока еще течет во мне бунтарская кровь Обуховых, добровольно в лошадки я не пойду. Я хочу в погонщики, чтобы мародеров разогнать и остановить наконец эту адскую карусель. Что, не доберусь? Сил не хватит? Зубами грызть буду. Раздавят? Замордуют?! Пусть. Лучше быть замордованной в таком деле, чем стоять в сторонке чистенькой.

Она перешла длинную бревенчатую лаву через шумную светлую Петравку и долго подымалась на крутой каменистый берег. Здесь, наверху, было совсем светло и погуливал колючий ветерок. На маленьком квадратном пруду, вырытом для водопоя скота, резвились ребятишки; они забегали на чистый, лучезарный в утреннем блеске ледок, бросали камни, летевшие с прискоком и раскатистым гуканьем на другой берег, дружно топали подшитыми валенками, лапотками, полусапожками — ледок прогибался, трещал, покрывался местами проступающей влагой; ребятишки визжали, бросались наутек и снова выбегали на гладкое зыбкое ложе. В избах гасли огни, хлопали калитки, скрипели надворные ворота, повизгивали свиньи, призывно мычали в ожидании теплого пойла нахолодавшие за ночь буренки.

В большом пятистенном доме с высокой плетневой завалинкой, с зелеными резными наличниками, где жил теперь Федька, были все двери настежь. Двое ребят, по пояс голые, сцепившись руками, раскорячив ноги и выпятив зады, прыгали возле крыльца, как связанные петухи. Третий умывался теплой водой из висячего, на веревке, рукомойника,— пар густо валил от его мокрой спины и шеи. Один из боровшихся вдруг залаял утробным собачьим брёхом и сказал, распрямившись:

— Маша, я тебя не узнал, потому и облаял,— и озорно осклабился.

— Что иное и ждать от тебя, обормота. Я тебе масла принесла, пышек. А ты брехать?

— По нонешним временам это не еда. Подумаешь,

пышки, еловые шишки,— ломким баском отшучивался Федька.— Заходи к нам, мы тебя курятиной угостим.

— Откуда она у вас завелась? От сырости, что ли?

— Со стола классовой борьбы перепала,— важно изрек Федька.

— Чего-чего?

— У нас здесь обострение началось,— сказал Федька, приседая и выкидывая перед собой руки.— Рр-аз-два! Все в ряд! Шагай, отряд! — и зачастил, подпрыгивая, пружиня на носках.

Мария только головой покачала и поглядела с упреком на его приятелей.

— Перестань кривляться! — сказал от рукомойника одутловатый парень по прозвищу Сэр.

— Сэр, изложите вкратце! — крикнул Федька.— Ты на крыльце, как на трибуне. Твое слово олово. Поливай классовых врагов.

— Позавчера тут разнесли одно хозяйство,— сказал, обтираясь полотенцем, Сэр.— За неплатеж излишков.

— Злостный неплатеж. Злостный! — крикнул Федька, распрямляясь, и подошел к тетке: — Давай в общий котел! Мы живем коммунией. Что ты нам принесла? — говорил он, отбирая сумку у Марии и заглядывая в нее: — Так, масло, пышки, свинина. Конфискуем на нужды пролетариата. Айда к нам в коммунию!

— Коммунары чужих кур не воруют,— сказала Мария.

— Сэр, разве мы украли кур? Нам их дали, как награду.

— Врет он,— сказал третий паренек, чернявый, прямоволосый, как еж.— Мы купили за рубль три штуки.

— За рубль три курицы? — удивилась Мария.— Это где ж такой базар находится?

— Не базар, а классовый аукцион,— говорил Федька, увлекая ее под руку в дом.— Пошли, а то заморозишь нас. Говорят тебе, разнесли одно хозяйство — экспро-приировали! Как раз напротив школы. За неплатеж. Распродавал сам Наум Ашихмин, уполномоченный из Рязани, да с ним Чубуков, заврайзо. А мы помогали. Вот нам и дали трех куриц за целковый.

— А ну-ка, пусти мою руку! — Мария высвободила руку и оттолкнула от себя Федора.— Пошел вон, экспроприятор сопатый!

— Ты чего? — опешил тот у порога.

— Ничего. Вытряхни все из сумки, и я уйду сейчас же. На, отнеси в избу. Я на крыльце подожду тебя.

— Вот номер! Я же не сам по себе. Мне поручили по линии комсомола. Бабосов и Герасимов поручили. А сегодня митинг будет, просили выступить меня.

— Что за митинг?

— Посвященный смычке со старшими. А после занятий — культпоход против неграмотности. Я думал — ты на митинг к нам пришла.

— У меня свой митинг... В Желудевку тороплюсь,— соврала Мария.— Ступай освободи сумку!

— Дак пошли, позавтракаем! Чай, не чужие.

— Нет, не могу. Я в самом деле тороплюсь. И хозяев нечего беспокоить, и друзей твоих смущать. Вон они все еще голыми на крыльце толкутся и в самом деле простудятся,— говорила она миролюбиво.

Через минуту Федор вынес ей опустевшую сумку, и Мария пошла в Желудевский конец села. Но возле школы ее окликнул Бабосов:

— Батюшки-светы! Да никак Маша? Сколько лет, сколько зим? — подошел, в сером мохнатом пальто, в необъятной кепке, галантно в щечку чмокнул.— Нашего полку прибыло, значит.

— С каких это пор ты записал меня в однополчане? — Мария насмешливо сощурилась.

— Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Не вы ко мне, мадемуазель, а я к вам пошел. Я! Поскольку время такое — грешно стоять в стороне.

— Какое же это время?

— Все-ем известно своей остро-отой,— пропел он, дурачясь. Потом стал декламировать: — Время требует обеспечить здоровую товари́щескую смычку партийцев с беспартийной массой. Вот я и полагаю, что вместе с вами проведу сегодня одно мероприятие. На митинг пожаловала?

— Нет, Коля, ошибся ты. Не будет у нас с тобой смычки. У меня своя задача. Так что не с вами я.

— Мне жаль тебя. Ты слыхала? У нас здесь орудует Наум Ашихмин. Неужели и эта личность тебя не остановит? Кстати, а вот и он!

На резное крыльцо пятистенного красного дома вышел с непокрытой головой черноволосый худой человечек в защитном френче с накладными карманами и махнул рукой:

— Бабосов, ты мне нужен!

И скрылся в дверях, ни минуты не сомневаясь, что нужный ему Бабосов придет незамедлительно.

Бабосов кивнул в его сторону:

— Видал, как диктует? Вот у кого вам следует поучиться. Неделю здесь прожил — и все излишки сами принесли. Один заупрямился — и с домом распрощался. Мы в этом доме избу-читальню открываем. Зайдем! Посмотришь. Доложишь, какой очаг передовой культуры создаем.

— Поглядим,— сказала Мария, сворачивая к дому.— Куда семью выселили?

— В чистое поле... Вроде бы они в кладовой поселились в соседнем селе.

— Большая семья?

— Четверо детей, старики, самих двое.

— Сколько пудов наложили на них?

— Двести.

— Многовато на восемь едоков. Земля здесь песчаная да глинистая.

— Хлеба нет — пусть деньги платят.

— Это ж тыщу рублей надо? А где их взять?

— У него шерстобитка, топчажная машина. Продать надо было.

— Кто их теперь купит?

— Так надо раньше было думать. А то нахапал Авдей дюжину лаптей — и без порток остался.

Этот беззаботно-насмешливый тон Бабосова выводил Марию из себя; она поднялась на крыльцо и, наваливаясь плечом на дверь, сказала:

— Без порток остался не только Авдей, но и старики, и дети его. А в чем они виноваты? Над кем ты смеешься?

Бабосов в два прыжка заскочил на крыльцо и с побелевшими губами зло процедил:

— А ну-ка, прикрой дверь!.. Это ты не меня спрашивай, а его спроси! Того самого сверчка в защитном френче, устроителя всеобщего рая. И себя самое спроси, друзей своих — вы уж давно ползаете, как тараканы, по избам. А меня не трогай. Я отца с матерью потерял в петроградский голод. А эти Авдеи посмеивались над нами. В двадцатом году еле дотащился до деревни. Вошел к одному Авдею, показываю отцовский мундир, говорю, хлеба дайте или картошки. А он с печки мне: «Мундиры теперь не носят. Вот зерькало я бы взял». У-у, мерзавцы!

Казаков били, офицеров стреляли... Диктатуру помогали установить? Вот и расхлебывайте эту самую диктатуру...

— Понятно, кто ваша тетя,— сказала Мария, кивая головой.— Думаю, что радость преждевременна. Рано вы запели.

— Я-то еще попою... А вот ваша песенка, Мария Васильевна, уже спета.

— Слепой сказал — посмотрим,— она толкнула плечом дверь и вошла в сени.

— Бабосов, где ж вы там провалились, черт вас возьми! — кричал из дому Ашихмин.

Обгоняя ее в сенях, Бабосов рванул дверь и первым вошел в избу.

— Я тут объяснял ситуацию представителю райкома комсомола. Говорю, конфискация имущества и продажа его с торгов явилась прекрасной наглядной агитацией для всего села. А она вроде бы сомневается.— Бабосов посмеивался и хорохорился, взбадривая себя, точно петух перед курицей.

— И напрасно сомневаетесь, товарищ! — сказал Ашихмин, подходя к Марии и протягивая ей худую жилистую руку.— Позавчера продали имущество. Выручили 679 рублей. А вчера все село внесло излишки, как по команде. Кто не смог хлеб отдать, заплатил деньгами. А? Что?! Как вам это нравится? Постойте, а мы с вами вроде знакомы? — спросил удивленно Ашихмин, отступая к окну и уводя за собой Марию.

В избе было сумеречно, лампа на столе закоптилась до черноты.

— Знакомы,— ответила Мария.— Весной были мы на семинаре в окружном агитпропе. Вы читали нам лекции.

— Помню! — Ашихмин выкинул кверху узловатый палец.— Вы были с товарищем Тяпиным и еще такой лысоватый, с желтым лицом... Как его?

— Паринов.

— Во-во! Народ вы молодой, энергичный, а в компании по хлебозаготовкам проявляете вялость... Да, да, не возражайте! — он потряс обеими руками над головой и наморщил свои впалые щеки, хотя ему никто и не собирался возражать.— Вы читали последний доклад товарища Бубнова? — вдруг спросил он Марию.

— Читала.

— А данные помните? А ну-ка, назовите мне, сколько изб-читален и церквей приходится на одну волость в

Московской области? Не помните? Позор! А я вам скажу — десять церквей и две избы-читальни. А? Что?! Позор! А по вашему району и того хуже. На двадцать девять церквей всего четыре избы-читальни. Эта будет пятая,— он сделал округлый жест, как бы показывая содержимое избы.— А? Что?! Как вам это нравится?

— Помещение просторное,— сказала Мария, пожимая плечами.

— Вот именно! Бабосов, я тебе что хотел сказать,— в этой половине откройте собственно избу-читальню. Настенную агитацию я принес. Вон, на столе лежит,— указал он на пачку плакатов.— Сегодня же развесить все по стенам и установить дежурство старшеклассников и учителей, пока не назначат избача. А вторую половину, ту, что за сенями, превратить в ликвидком. Ответственность за него возлагаю на вас лично. Достаньте стулья, столы, и до начала занятий с неграмотными проведем здесь семинар с учителями по текущей политике и задачам коллективизации. А? Что? Как вам это нравится? Педагоги у них, прямо скажем,— бором собором,— это он Марии говорил.— Никаких понятий о текущих задачах, кроме, пожалуй, Герасимова и Бабосова. Эти в ногу идут. Остальные — кто в лес, кто по дрова. Но Успенский, Успенский — это, я вам скажу, тип. А? Что? Ох, упорен! Не то монархист, не то эсер, не то портяночный славянофил. Намедни в школе, в канцелярии, я развивал мысль о том, что Клюев, Клычков и Есенин поэты не крестьянские, а скуфейные, религиозные пропагандисты. У них нет описаний трудовых крестьян. Одни праздники религиозные, символы веры, поповщина, одним словом. А он стал доказывать, что символы веры — суть духовные черты русского крестьянства. А? Что? Сегодня будем говорить с ним. Надо обработать его. Иначе он беды натворит. Пойдемте с нами вечером к нему на квартиру?

— Я не могу. У меня задание. Я должна идти,— заторопилась Мария.

— Куда же вы?

— В Желудевку.

— Как? И на митинге у нас не останетесь?

— Нет, не могу. У меня срочное задание.

Мария пожала Ашихмину руку и, не прощаясь с Бабосовым, вышла на улицу.

«Ступайте, ступайте,— думала она, идя в Желудевку,—

поцелуете замок да уйдете». За ночь сумела-таки уговорить Успенского уйти на вечер из дому к Саше Скобликову. И Неодору Максимовну услать. А дом запереть на замок.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Но вечером они встретились. Бабосов сперва послал Варю узнать — дома ли Успенский. Не собирается ли уйти? Тогда — беда. Ашихмин строго наказал обеспечить встречу. А может, лучше пригласить Успенского на ужин? И проще, и надежнее. А ежели он не пойдет — уговорить, чтобы остался дома, подождал их.

Варя вернулась и сказала, что Успенский у Саши Скобликова, что узнала это она от церковного сторожа Тимофея, у которого застала Неодору Максимовну. Бабосов сунул в карманы две бутылки массандровского портвейна, зашел за Ашихминым, и вдвоем пошли к Скобликову.

На церковной площади настигла их кромешная тьма,— пошел мелкий частый дождь, промерзшая дорога осклизла и пропадала в трех шагах перед носом. Скользя по глинистым мерзлым ковлагам, нелепо взмахивая руками, Ашихмин ворчал:

— И это называется обеспечил мне встречу? Ты не меня гонял бы по этой тмутаракани, а его. Наше время лимитировано историей.

— Немного осталось. Скоро придем,— виновато отзывался Бабосов.

Скобликов снимал квартиру на Белой горе, отделенной от церковного бугра дорожным распадком.

На крутом берегу Ашихмин остановился и, тыча рукой в черный провал, сердито спросил:

— Может быть, ты посоветуешь спускаться на ягодице? А? Что? Как вам это нравится?

— Погодите! Я сейчас позову звонаря, он проведет нас по надежной тропинке.

Бабосов подошел к кирпичной церковной сторожке и постучал в освещенное окно. На пороге появился ветхий старик в нагольном полушубке.

— Чаво надо?

— Учителя мы. Я муж Варвары, что была у вас перед вечером,— торопливо говорил Бабосов, боясь, что старик

нырнет обратно в растворенную дверь.— Проводите нас до Сметанкиной Агриппины. У нее наш товарищ живет. Не то мы шею сломим с крутояра в эдакой темноте.

— Счас.

Старик вернулся в дом, надел шапку и, не запирая двери, повел их куда-то в обход по извилистой тропинке. Шел впереди и разговаривал сам с собой:

— Учитель, а живет у ведьмы. Какая от него божья благодать будет? Одни игрища сатанинские. Тьфу! Прости меня, господи.

— Ты чего плюешься, старик? — спросил его Ашихмин.

— Так я, про себя,— испугался Тимофей.— Нечисть отпугиваю,— и торопливо перекрестился.

— Что за нечисть? Уж не мы ли? — пытал его Ашихмин.

— Я вас знать не знаю. Что за молодцы? Откелева залетели? А говорю, стало быть, про ведьму Веряву.

— Какая ведьма?

— А та самая, куда идете.

— Вот те на! Мы идем к учителю, а ты ведешь нас к ведьме. А? Что? Как вам это нравится?

— Дак ведь сами велели весть. К Сметанкиной Агриппине. Она и есть ведьма Верява.

— Откуда ты знаешь, что она ведьма? — спросил Бабосов.

— Все знают,— смиренно отвечал Тимофей.— Здеся, на этой дороге, она и балует. То коню глаза отводит — тот по ложному скату да в реку. А то и ходока в прорубь толкает.

— Это как же она толкает? Под локоток берет, что ли? — насмешливо спросил Ашихмин.

— Не-е. Свиньей оборачивается да в ноги бросается.

— Фу, какая дикость! — фыркнул Ашихмин.— Истинно тмутаракань!

— Дед, а лягушкой она не квакает? — спросил Бабосов.

— Зачем лягушкой? Она зимой все озорует да осенью. По ночам. Какие в те поры лягушки?

— Кто ж видел, как она свиньей оборачивалась? — спросил Бабосов.

— В прошлом годе на зимнюю Миколу мужики с помола ехали... С желудевской мельницы. Но́чей. Она и кинулась свиньей под ноги головному. Тот с горы да в

реку. И весь обоз за ним. Что делов было! Поймали ее мужики. Она юзжит диким голосом, брыкается. Связали да в сани положили. Вот тебе, поднялись в гору к церкви, стучат мне в сторожку: принимай, говорят, сатанинское отродье. Зови попа! Счас мы ее крестом обротаем. Тады она завопит по-другому. Ладно, подвели меня к саням, сдернули ватолу. Что такое? А там вместо свиньи мешок лежит, веревками опутан. Вот как она им глаза-то отвела.

— Пьяные были,— сказал Ашихмин.

— Ты, дед, брось рассказывать эти религиозные побасенки. Хватит народ одурманивать. Не то возьмем тебя на заметку и в ликбез привлечем,— пригрозил ему Бабосов.

— Леригию я не навязываю. За что ж меня привлекать? А ежели говорю о нечистой силе, так это всем известно. Намедни шел больничный сторож Макарий. Она его и встрела на горе. В двенадцать часов ночи, в самое смурное время. Крутила его, крутила... Он изловчился и цоп ее! Зажал промеж ног, вынул нож да уши у нее отрезал. Таперика пусть ее поживет без ушей-то. Поднялся ко мне на гору и говорит — я счас у Верявы уши отрезал. Как так отрезал? А вот так, говорит, зажал ее промеж ног и отрезал. Вот они, уши-то, в кармане. Вынул из кармана — это, оказывается, полы. От своей шинели отчекрыжил. Вот что она делает, ведьма-то.

Слушая сбивчивые, нелепые россказни о нечистой силе, Ашихмин чувствовал, как в душе его закипает неприязнь к этому суеверному, болтливому существу, к этой темени и слякоти, к этой грязи непролазной, к глубоким оврагам посреди села, ко всему этому тмутаракановскому распорядку жизни. Вспомнилась одна из последних статей Михаила Кольцова, в которой он отстегал заштатный мир окостенелого домостроя и дикости.

Газету со статьей он прихватил с собой, чтобы ткнуть в нос Успенскому — защитнику деревенских собственников. Ведь не понимают, что наступление социализма на село в текущий момент следовало толковать широко — и как осуждение старого быта, и как беспощадное выколачивание хлебных излишков из потаенных нор двуногих сусликов. Хлеб — это и золото, и новые станки, и трактора, и автомобили. Без большого хлеба немыслима великая индустриализация, без передовой развитой промышленности невозможно отстоять независимость советского

государства. Кто не участвует в великом походе за большим хлебом, тот играет на руку врагам Советского государства. Вот как теперь стоит вопрос. Вот чего не принимают эти успенские. И он, Ашихмин, именно так и заострил вопрос в школьной канцелярии перед учителями, ибо многие из них уклонялись от сбора хлебных излишков. Но в открытую спорить с ним никто не решился: да, мол, хлеб нужен государству, это мы понимаем, но ходить по домам некогда, школа еще только становится на ноги, и дел своих по горло.

Но зато все зашевелились, как только затронул Ашихмин косвенные религиозные проповеди в стихах Есенина да́ Клюева. Особенно Успенский старался. Даже прочел явно поповское четверостишие Клюева:

Осенюсь могильною иконкой,
Накормлю малиновок кутьей
И с клюкой, с дорожною котомкой
Закачусь в туман вечеревой.

И доказывал, что это вовсе не религиозные стихи, а образный строй истинно русского восприятия жизни. Тьфу! Позор!! Ашихмин даже фыркнул, вспоминая эти слова. Истинно русское восприятие жизни! Ффа! Нафталинные бредни! Бабушкины сказки!

Он ему ответил. Он всем сказал, что такое истинно русское восприятие жизни. Классовая борьба! Вот альфа и омега нашей жизни. Приходите на первую в селе распродажу кулацкого имущества. Устроим митинг боевой солидарности с трудовым крестьянством. И вот какой наглец — отказался демонстративно. Глядя на Успенского, не пришли и другие учителя. Один Бабосов пришел, да и тот потому, что назначен был временным избачом.

Ясное дело, что мутит учителей Успенский и что надо встретиться с ним и поговорить в открытую об этом его уклонении от экспроприации имущества. Ежели он станет упорствовать или осуждать это мероприятие, придется заявить о нем на бюро. Пусть возьмут на заметку. Как вам это нравится? Сегодня не явился даже на школьный митинг. Ашихмин сам позвонил в районо, запросил данные из биографии Успенского. Странно! Ему сказали, что был этот Успенский красным командиром и даже волостным военкомом. От этого известия антипатия к Успенскому даже усилилась. И теперь, идя к нему, слушая глупую болтовню церковного сторожа, Ашихмин чувство-

вал, как раздражение закипало где-то в глубине его груди и подкатывало мягким клубком под самое сердце.

Он считал этих уклонистов с заслугами наиболее вредными людьми, потому что, прикрываясь своим боевым прошлым, они сильнее других мутили воду. Бравируют, посмеиваются над иными прочими, чуть ли не трусами обзывают. Это им еще Шляпников да Троцкий пример показали, да вот Бухарин подзуживает их. Весь оппортунизм идет от этих людей с прошлыми заслугами. И правильно теперь делают, что перенесли упор на рабочих от станка, призванных в партию.

Сам Ашихмин за станком никогда не стоял, но считал себя чистым пролетарием, потому что всю жизнь был рядовым послушным бойцом — то студентом пединститута, то газетным репортером, то низовым партработником. Но даже и на низовой работе он старался создавать направление; он не рвался, как усердный солдат, рубить и колоть направо и налево, он, как хороший кочегар, топку вовремя раздувал, чтобы обеспечить высокое напряжение пара.

Отец его хоть и был провинциалом, касимовским татарином, но еще в начале века переехал в Москву и уже взрослым крестился. Купец! Держал он где-то в Средней Азии на паях отары овец, а в Касимове дубильный завод — каракуль выделывал. Однако татар, кроме престарелой бабки, Наум и не видывал. В доме царила мать — завзятая театралка и даже сочинительница пьес, которых никто не печатал и не ставил. Зато вечно в доме околачивались какие-то лохматые громогласные типы, пили, ели, произносили речи, хвалили мать, называя ее не иначе как шестикрылой Серафимой. А бабка ворчала: «Э-эх! Опять Серапим сабантуй делал. Все пропьет Серапим».

В мировую войну пошли семейные скандалы — мать гуляла, отец разорялся, впал в оборончество, чем вызывал чувство особого отчуждения в душе Наума. Наум терпеть не мог этих патриотов; духовно сложился он еще до войны, в период шовинистического угара, как выражалась боевая русская интеллигенция, а к ней и причислял себя Наум; тогда проповедь Достоевского о смирении в себе гордыни, подхваченная «Вехами», считалась ренегатством, всякого рода оборончество — признаком духовной дегенерации. Тезка его и двоюродный брат по материнской линии Наум Кандыба, анархист и боевик, сгинув-

ший потом где-то в Америке, любил говорить: «Кто надежный патриёт? — Совершенный идиёт». И еще из Пушкина: «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей».

Люди плывут по воле волн, куда толкает их неведомая сила. А человек мыслящий чует лучше других это направление и, следственно, выбирает его сам раньше других. Это необыкновенное чутье в себе Наум открыл в революцию, и оно помогло ему идти в голове событий, тех самых, которые одерживают верх.

Сразу после Октября Наум отказался и от купеческого звания, и от наследства, впрочем, довольно скудного, и даже с отцом порвал. Отец проклял его и умер в нищете где-то по дороге в Бухару. Наум же пристал к большевикам, шумел в газетах, пытался продвинуться в аппарат. Но сдерживало его это проклятое купеческое прошлое.

Попав наконец в агитпроп Рязанского окружкома, он решил доказать, что умеет не только в газету писать или читать лекции, но и действовать решительно и беспощадно. Он даже псевдоним себе придумал — Неистовый. И теперь вот, слушая ветхого церковного звонаря, утверждался и в правоте своей личной, и в правде общего наступления на кондовую деревенскую Русь.

Они подошли к большому дому с кирпичным цоколем и деревянным верхом. Возле крытого тесом высокого крыльца Тимофей остановился и сказал:

— Таперика сами ступайте. Я туда не ходок, — и растворился в темноте.

Бабосов с Ашихминым поднялись в просторные тесовые сени, постучали в обшитую войлоком дверь.

— Рвитя смелее! Ня заперто, — звонко крикнули из дома.

Дверь подалась со скрипом, как немазаные ворота.

— Добрый вечер, хозяюшка! — сказал Бабосов.

— Проходите к столу, гостями будете!

Ведьма Верява оказалась бойкой краснолицей бабенкой средних лет; она сидела под образами в переднем углу на широкой скамье, на коленях держала девочку лет восьми и темными пухлыми пальцами мяла, оглаживала ей шейку, что-то шептала вперемежку с громкими восклицаниями: «Фыр! Куй! По́йди!» — и плевала на пол.

— Что вы делаете? — спросил Бабосов.

Ответила за нее пожилая посетительница, раскинувшая на плечах огромную клетчатую шаль:

— Жабу давит... внучке моей.
— Александр Николаевич дома?
— Проходите в горницу,— кивнула на боковую, крашенную белилами дверь Верява и снова забубнила про себя что-то важное и потаенное.
Ашихмин покачал головой и проворчал на пороге:
— Истинная тмутаракань.

2

В горнице за столом под висячей лампой сидели пятеро и резались в карты,— кроме Саши Скобликова и Успенского были еще Костя Герасимов, Роман Вильгельмович Юхно и медицинская сестра Соня Макарова, чернокосая красавица с эдаким вялым, сонным прищуром больших янтарных очей. Она сидела на отлете и смотрела на игроков.
При виде ее Ашихмин дернул подбородком, выпятил острый кадык на жилистой шее, и строгое сухое лицо его наморщилось в улыбке:
— Прошу простить за позднее вторжение. Заместитель заведующего АПО окружкома Ашихмин,— и подал руку Соне.— С остальными сегодня виделись.
Соня приняла его рукопожатие, словно каменный идол, даже век не подняла.
Ашихмин с Бабосовым разделись.
— Пожалуйста, садитесь,— пригласил их к столу Саша.— Самовар заказать?
— У нас есть кое-что погорячее.— Бабосов выставил на стол две бутылки портвейна и с упреком глянул на Успенского: — Нехорошо, Митя, друзей обманывать. Договорились встретиться у тебя или у меня. А ты?
— Виноват! Невольник чести, так сказать. Вот видишь, привлекли меня как старого картежника на преферанс. За компанию страдаю.
— Так это-о, за компанию, говорят, даже монах женился и кто-то удавился.— Роман Вильгельмович вытянул губы трубочкой и, довольный собой, прыснул.
— Кто же? Неужели позабыли? — Ашихмин спрашивал Юхно, а сам глядел на Успенского.
— Нет охоты вспоминать,— ответил Успенский.
— Скажем проще — отбили у вас эту охоту.

— И то правда, охотников до кулака ноне много развелось.

— О! Это неплохой каламбур! — подхватил Юхно.

— Не каламбур, а политическая двусмысленность,— обрезал того Ашихмин и, с вызовом глядя на Успенского, спросил: — Вы что ж, против политики ликвидации кулачества как класса?

— Я политикой не занимаюсь,— уклонился тот.— Костя, твоя очередь сдавать.

Герасимов взял колоду карт.

— Да погодите вы с картами,— остановил его Бабосов.— Давайте выпьем сперва. Саша, инструмент! — и показал на пробки.

— Нет, сперва дело! — возразил Ашихмин.— Я завтра уезжаю. Надо поговорить.

— Вот за этой самой слабенькой и поговорим,— тряхнул бутылкой Бабосов.— А то сухо во рту и на душе кисло.

— Это потом! — остановил его жестом Ашихмин и обвел застолицу хмурым взглядом утомленного человека.— Мне очень не нравится ваша пассивность. Вы здесь, на селе, проводники линии партии. Но скажем прямо: всю хлебную кампанию вы отсиделись. А впереди еще более важная задача: сплошная коллективизация! Вы и впредь будете отсиживаться по углам, как тараканы? А? Что? Как вам это нравится?

— Допустим, агитацию мы проводили,— сказал Костя.— А что касается прямых актов конфискации, то нас никто не уполномочивал на это.

— Ффа! Вы ждете, когда к вам приедет секретарь ЦК да построит вас в две шеренги и поведет на конфискацию? Этого вы ждете? — Он сложил руки на груди и откинул голову, выпячивая острый кадык.— А где ваша большевистская сознательность? Где чувство долга перед революцией? Где инициатива? — При каждом вопросе он встряхивал головой, как петух, и поводил носом.

Но застолица все молчала, и, приняв это молчание как знак признания его правоты и авторитета, Ашихмин расслабился, положил локти на стол и перешел на доверительный тон задушевной беседы:

— Самим надо действовать, дорогие товарищи. Направление главного удара вам известно: коллективизация есть борьба со всем старым укладом жизни. Это штурм ненавистной крепости под названием «частная собствен-

ность». Подошло время тряхнуть как следует посконную Русь. Не то уж некоторые стали подумывать, на печке сидя, что революция выдохлась. Нет, революция зовет на новый приступ кондового мира. Скажу вам прямо, мы в Рязани чесаться не будем и в стороне отсиживаться не намерены. И вас призываем к этому. Правильно делают товарищи наверху, что предупреждают нас на этот счет. Вот что пишет Михаил Кольцов в «Правде».— Ашихмин вынул из бокового кармана газету и прочел: — «Пусть пропадет косопузая Рязань, за ней толстопятая Пенза, и Балашов, и Орел, и Тамбов, и Новохоперск, все эти старые помещичьи, мещанские крепости! Или все они переродятся в новые города с новой психологией и новыми людьми, в боевые ставки переустройства деревни. Или же — наступление социализма на село пойдет мимо этих городов, и они останутся в стороне унылыми матерними развалинами, скучными даже для историков старого, забытого социального уклада». А? Что? Как вам это нравится?

— Ну, знаете ли...— Роман Вильгельмович вытянул губы и вскинул кверху палец.— Так это-о, от вашего призыва устроить карачун Рязани да Пензы во имя новой психологии отдает старым головотяпством.— И залился тоненьким смешком.

— Почему? — сурово спросил его Ашихмин.

— Да потому, что Рязань и Пенза не помещичьи крепости, а русские города. И все, что построено в этих городах, построено и создано народом. Разрушать это — значит, разрушать народную культуру. Так это-о...

«И этот пучеглазый умник туда же лезет, в народность»,— неприязненно подумал Ашихмин и ответил, как тупому школьнику:

— Не народную культуру, а дворянскую да поповскую, понимать надо.

— Ну-с, дворяне да попы ничего своими руками не строили,— ответил Юхно и опять хохотнул.— Культура — это вам, понимаете ли, не форма одежды, она не бывает ни помещичьей, ни чиновничьей, а только национальной. Это тоже понимать надо.

— Не национальной, а классовой! Дело не только в культуре... Я имею в виду уклад жизни, быт, традиции, наконец,— начал горячиться Ашихмин.— Все то, что осталось в наследство от старого мира и мешает нам жить по-новому. А? Что?

— Ну да, Рязань с Пензой помешали нам жить,— сказал угрюмо Герасимов, и застолица зашевелилась.

— Это ж надо такое сказать: пропади пропадом Рязань да Пенза! Да кто ж мы такие? Китайцы или монголы? — возмущенно спрашивал Саша, глядя попеременно на приятелей.

— Ты, Сашура, определенно самоед, потому что все свое семейство слопал, а имущество отдал дяде. Глуп и дремуч,— сказал Бабосов.

— Не вижу возражений по существу,— обернулся к Успенскому Ашихмин, теперь уж с вызовом глядел на него и кривил губы.

— Уклад жизни, быт и особенно традиции формируют национальный характер,— сказал Успенский и посмотрел на Ашихмина тем оценивающим взглядом, когда смотрят на противника, чтобы решиться, спорить или нет.— А национальный характер есть главная сила или, если хотите, центр тяжести нации. Без национального характера любая нация потеряет остойчивость и распадется как единое целое.

— Ах, вот как! — подхватил Ашихмин, весь оживляясь.— Вот вы и попались! Национальный характер — фикция, вымысел. Его выдумала буржуазия, чтобы одурачивать пролетариат. Удобнее эксплуатировать народ в эдаком трогательном единстве национальных интересов. Ах, мы русские! Мы одним миром мазаны. У нас одна задача, одна цель, одно отечество. Вы лю́бите свое отечество, свой уклад, свою историю, свой язык, свои города и веси, а мы вас будем потихоньку околпачивать, заставлять вас работать не столько на себя, сколько на нас, блюстителей этого уклада, да языка, да любви к отечеству. А? Что?.. У пролетариата нет отечества! Его отечество — всемирная революция. Его цель — объединение всех языков в единую семью. А все эти косопузые Рязани да толстопятые Пензы мешают такому объединению своей приверженностью к домостроевщине, к мещанству, к патриархальной жизни. Вот почему надо разрушать эти затхлые миры и выходить на простор интернационального общения. А? Что? Как вам это нравится?

— Национальный характер вовсе не мешает интернациональному общению,— холодно возразил Успенский.— И при чем тут эксплуатация? Одно с другим не связано. Разве английская буржуазия, к примеру, эксплуатирует

только англичан? И если вы считаете национальный характер фикцией, то скажите: разве англичанин ничем не отличается от немца или от француза?

— При чем здесь англичане и французы? — крикнул Ашихмин.

— Да все при том же,— повысил голос и Успенский.— И русская буржуазия не одних русских пролетариев эксплуатировала. И нечего в этом винить русский уклад жизни или русский национальный характер. И то и другое помогло Древней Руси окрепнуть и выстоять в тяжелой борьбе, объединиться в могучее государство. И все это потому, что Русь сумела раскрыть смысл национальной идеи во вселенском православии. Вся наша история, вся живая жизнь говорят об этом; наряду с подвижничеством святых иноков на Руси канонизировались подвиги князей и героев, то есть вождей народных. Святость веры стояла рядом со святыней национальной жизни. А вы пытаетесь призывом к интернациональной солидарности отрицать национальный идеал. И напрасно делаете. Немного сыщете вы доброхотов на такое дело среди толковых русских людей. Православие действовало умнее вас, тоньше. Не к смешению языков призывало Писание, а к расчленению их. И каждый язык, то есть каждая нация, с ее культурой, с ее духовным обликом,— бессмертна, ибо есть творение божье. А все вместе нации — суть хор ангелов, воспевающих хвалу богу. Вот как ставилась вселенская идея православия, без обид и притеснений отдельных наций. Да, да! И без привилегий какой-нибудь из них в отдельности. «В церкви христовой нет ни эллина, ни иудея». Все равны, не смешаны в безъязыкое стадо, а каждый свят в своем национальном облике.

— Вот вы и скатились к явной апологетике религии. Старо! Мы боремся за прочность государства, за обновление, а вы за возврат религии! — крикнул Ашихмин.

— Вы боретесь за прочность государства? Так как же можно стремиться к единству и прочности государства, выбрасывая краеугольный камень из фундамента его — национальный характер, национальный идеал?

— Браво, Дмитрий Иванович! — крикнул Юхно и зааплодировал.— Здесь есть логика, черт возьми!

— Ффа! — фыркнул на него Ашихмин.— Это не логика, а подтасовка понятий. Мы вовсе не отрицаем национальный идеал. Наоборот, мы поддерживаем националь-

ное самосознание всех народностей, входящих в Советский Союз.

— Ну, а если русский человек гордится святыней национальной жизни, мы тотчас обвиняем его в шовинизме и требуем переделать среду, то есть разрушить памятники культуры, выразившие эту национальную идею все в тех же самых презрительно поименованных вами русских городах. Де, мол, все это матернии развалины, скучные даже для историков. Для каких историков? Для сочинителей сказки про пустопорожнюю голопятую Русь? Да, для таких сочинителей они скучны. Но для каждого русского, любящего свое отечество и его историю, они полны глубокого смысла и значения...— Успенский сцепил пальцы на колене и откинул голову.

— Так это-о прекрасно,— сказал Юхно тихо.

— Митя, ты попал мне в самую душу... Вот куда! — хлопнул себя по груди Саша.— Возьми ее и делай с ней что хочешь...

Даже Соня Макарова порозовела, во все глаза смотрела на Успенского и затаенно улыбалась.

— Митя, но ведь это же черт знает что! Выходит, что ты бахвалишься даже и не патриотизмом, а какой-то квасной исключительностью,— сказал Бабосов.— Как ты ни крути, а национализм — бяка, хотя бы по одному тому, что он любуется своим собственным пупком.

Ашихмин, нервно потирая ладонями, весь в пятнах, лихорадочно блестя глазами, говорил:

— Мы осуждаем русский национализм, называя его шовинизмом за то, что он подавлял самостоятельность других народов, входивших в русскую империю.

Успенский, устало прикрыв глаза, отвечал, будто самому себе:

— Если кто-то и подавлял и ограничивал самостоятельность иных народностей, так уж не русский национализм, а самодержавие, его бюрократическая система, в которую входили не только русские люди. А где, скажите нам, какая правящая бюрократия не ограничивала самостоятельность народов? Это особый вопрос, не станем его касаться, иначе уйдем в глубокие дебри.— Он открыл глаза, выпрямился и в упор посмотрел на Ашихмина.— Я же говорю о русской национальной идее, о культурном призвании. Русская идея культурного призвания всегда была не привилегией, а сущей обязанностью, не господством, а служением. Посмотрите хотя бы на историю

освоения Сибири, приобщения к русской культуре ее народностей. Вы заметите всюду необыкновенную жертвенность русских учителей, докторов, миссионеров. Конечно же, национализм, замыкающийся в своей исключительности, как в ореховой скорлупе, скуден и ограничен. Но идея национальности, понимаемая как культурная миссия, благотворна по сравнению с бесплодным космополитизмом. Люби все народы, как свой собственный! Вот что я вам скажу в ответ на ваши призывы разрушать русскую старину, русский быт и культуру.

Успенский встал и прошелся по горнице.

— Но как же увязать вашу любовь с классовой борьбой, с тем, что называется — поживиться за счет ближнего своего? — спросил Ашихмин, едко усмехаясь.

— А это вам лучше знать,— сказал Успенский, останавливаясь.— Вы помогли тут позавчера поживиться коймому за счет одного ближнего.

— А ежели без намеков? — вспыхнул Ашихмин.— Вам не нравится политика конфискации? А? Что?

— Ну что вы? Я же вам сказал — политикой я не занимаюсь.— Успенский подсел к столу.— Я учу детей, говорю им, что нехорошо брать чужое, нельзя зариться на чужое, потому что чужим добром не проживешь.

— Знакомая песенка! И мне в детстве пели так же вот. Кажется, вы сын попа? Ваш батюшка каждый праздник по домам шастал за этим чужим. Или он брал свое? А? Что? Как вам это нравится? — Ашихмин громко засмеялся, оглядываясь на застолицу, словно приглашая каждого повеселиться за компанию. Но всеобщего смеха не получилось; Саша с тревогой поглядывал на сумрачного Успенского, Юхно весь напрягся, подобрался, как кот для прыжка, и только Бабосов, закинув голову, залился козлиным смешком.

— Брось дурачиться,— ткнул его в бок Костя.

— Поп брал, но не отбирал. Разница! — сказал Успенский и пристукнул по столу.— За работу брал подаяние, потому что епархия платила ему мало. Помните у Чехова? Двенадцать рублей всего лишь. Маловато за работу.

— Поп работал? Извините! — Ашихмин растопырил пальцы, как бы оттолкнул от себя и этого попа, и его работу.— Кадить во имя отца и сына и святого духа еще не значит работать на благо людей.

— А вы уверены, что благо творите, выселяя стариков и детей под открытое небо?

— В силу необходимости мы вынуждены расчищать дорогу для исторического прогресса. Не жалостью надо измерять наши дела, а величием поставленной цели.

— Никакой великой целью нельзя покрывать бессмысленную жестокость.

— Это вы классовую борьбу называете бессмысленной жестокостью? А? Что? — Ашихмин ярился, постоянно вскидывал голову, как бы с удивлением смотрел на застольщиков. «Отчего это они молчат?» — было написано на лице его.

— Оставьте вы эти громкие слова — «величие цели», «классовая борьба»... — сказал Успенский.

— Это не громкие слова, а назначение и смысл нашей жизни. Я приехал сюда не для того, чтобы кому-то мстить, а выполнять высокую обязанность. Обязанность моя, так же как и ваша, в данный момент заключается в том, чтобы сломить сопротивление кулачества в строительстве совершенного человеческого общества. Мы не сказки здесь рассказываем о загробном царстве, мы открываем глаза людям на грядущий мир всеобщего равенства и счастья, научно обоснованный. Построить такой мир — не огород загородить. Это надо понимать. В это верить надо! Великая цель не за углом. Путь к ней долог. Прогресс бесконечен. Во имя этого прогресса мы совершаем необходимую расчистку, убираем с дороги те препятствия, которые оставило нам классовое общество старого мира. И называть эту нашу, я бы сказал санитарную, работу бессмысленной жестокостью непозволительно и преступно! А? Что? Как вам это нравится?

— Верить в загробный мир — глупо, а верить в рай земной — умно; говорить о боге, о бессмертии — неуместно, а о прогрессе человечества — необходимо. А ведь, коли разобраться, в сущности, это один черт получается, как говорил Иван Карамазов. И в том, и в другом случае необходима одна и та же отправная точка — вера. Что понимать под прогрессом? Царство всеобщей сытости — это одно. Социальную справедливость и нравственное совершенство — совсем другое. В нравственное совершенство, как и в царствие небесное, верить надо. Опять нужна вера. Вера на слово, наобум, ежели не в бога, так в человечество, ежели не в царствие небесное, так в прогресс. Если цель — прогресс, а прог-

ресс бесконечен, как вы говорите, то для кого мы работаем? Что мы скажем тем, кто истощил свои силы в работе? Что после их смерти на земле будет лучше? И заставим других встать на их место и тянуть ту же лямку? Не я задаю вам вопросы, это Герцен спрашивал еще в прошлом веке, и никто не ответил ему. По нашему-то глупому разумению, люди страдали и боролись не даром,— они получили от Советской власти землю, право на собственное хозяйствование. И слава богу! Пусть стараются. Исполать! Так вас это не устраивает, вам спокойствия не дает ваша великая цель: отчего это она все еще маячит в туманном отдалении? Дай-кать мы ее приблизим, да так, чтоб всем чертям стало тошно. А кого считать чертями, это, мол, мы укажем. Вот и тычете перстом, как слепой Вий. Вчера вы изволили выбросить из дому двух стариков и четверых детей, якобы помешавших вашему победному шествию к намеченной цели. И теперь вот пришли к нам за одобрением. Но аплодисментов не будет. Мы не воюем с детьми. Если ваш так называемый прогресс требует невинных слез хотя бы одного замученного ребенка, то возвращаем вам билетик обратно. В построении такого прогресса мы не участвуем. И это было доказано давно. Но вы рассчитываете на короткую память. Нет! Мы ничего не позабыли.

— Кто это — мы? Мы — Николай Второй! Не рано ли вы расписываетесь за других, гражданин Успенский? За этот прогресс люди на смерть шли. Не для того мы воевали за Советскую власть, чтобы позволить...

— Вы воевали? — перебил его Успенский с некоторым удивлением.— Где же, на каком фронте, позвольте узнать? Говорят, что репортером в губернской газете?

Ашихмин дернулся всем корпусом, как будто его током ударило, и тоже с некоторым удивлением посмотрел на Успенского, но ответил без тени смущения:

— Это не имеет значения. Мы с вами разговариваем, как люди, стоящие по разные стороны баррикад.

— Нет, все имеет значение! Когда мы сражались на этих баррикадах, мы не представляли, что от нашего имени будут выбрасывать из домов стариков и крестьянских детей во имя будущего прогресса.

— Это не крестьяне, а кулаки! Разница!

— Какая? Кто ее определил? Что Ленин говорил? Одно дело — дореволюционный кулак, совсем иное дело — послереволюционный. Земельные наделы по едокам

нарезаны. Если все его богатство от собственного труда да от казенного надела, так что это за кулак?

— Вы не путайте тот период с нынешним! Обстановка обострилась, понятно? И нечего за Ленина прятаться...

— Я по существу говорю. Где, с какой коровы кончается крестьянин-середняк, а начинается кулак? С какого волоса начинается лысина? Где тот устав или хотя бы бумажная директива, которая определила бы размер кулацкого хозяйства? Раньше в России кулаком назывался барышник, ростовщик, перекупщик, а не хлебороб. Загляните хоть в словарь Даля.

— Ваш Даль — реакционер! И словарь его устарел,— кричал Ашихмин.— А кулак и богатей — один черт. Это и так всем понятно.

— Вам все едино, лишь бы в расход пустить. Но даже если он кулак и богатей... Надо доказать его вину! А за что мучаются дети?

— Он эксплуатировал других и наживался за счет народа!

— Кто, Лопатин? Тот, что выброшен вами из дому? Да он не только что других нанимать, лошадей и то подменять готов был своим горбом.

— Он хлебные излишки отказался сдавать!

— У него не было такого хлеба. Вы его не спрашивали, чем он заплатит, когда накладывали так называемые излишки.

— Не мы накладывали, а группа бедноты.

— Вот именно — группа! Да еще по вашей указке. А село спросили? На общем собрании голосовали, прежде чем выбрасывать Лопатина из дому? А ведь он равноправный член нашего общества. Его даже голоса не лишали. То, что вы совершили над этой семьей, называется беззаконием!

— Как вы смеете! С чьего голоса вы поете? — Ашихмин стукнул кулаком об стол, вскочил с табуретки, сделался весь красный, глаза его бешено метались с Успенского на всех остальных, как бы требуя броситься на этого человека, связать его, скрутить и выбросить вон.

Успенский тоже вскочил, так что табуретка отлетела от него, опрокинувшись с грохотом.

— Я голоса взаймы не беру и свой голос не продаю! Готов доказывать где угодно, что вы совершили беззаконие.

— Беззаконие? Я?!

— Да, вы...

Ашихмин, худой, маленький, с пылающим лицом, того и гляди — черные волосы его задымятся, приподнявшись на носках, потрясая сухими жилистыми кулачками, кричал:

— Да вы!.. Вы правый либерал, жалкий последыш Бухарина. Кулацкий адвокат! Да вы опаснее открытого врага. Вы подтачиваете, как черви, революционный порыв рабочего класса, отравляете волю масс своим ядовитым сомнением, неверием в наши темпы, задачи, конечные цели... Да вы...

— Я не последыш! — кричал и Успенский, перебивая задыхающегося от ярости Ашихмина.— У меня своя голова на плечах. Это вы потеряли головы. Вы, последыши Иудушки, кровопивца Троцкого. Сколько вас судили за перегибы? Но вам мало прежних голодовок? Новых захотелось! Лишь бы покомандовать! Лишь бы народ помордовать... Так запомните — даром это для вас не пройдет. Беззаконие — это слепой зверь; сегодня вы его спустили на крестьян, завтра он пожрет вас самих. И не размахивайте передо мной кулаками. Я вам не мерин, я — бывший командир. Могу и по физиономии съездить.

— Что вы сказали? Что вы сказали? Повторите! Люди, что он сказал? — Ашихмин снова метнул взгляд на сидящих, ища поддержки.

Все мужчины встали как по команде, и сделался шумный переполох, всякий говорил свое, не слушая других.

— Мужики, это, уж извините, не спор. Это на драку смахивает. А ради чего хватать друг друга за грудки? — кричал Костя Герасимов.— Мы же здесь все свои люди!

— Так это-о, побороться бы! Ха-ха-ха!

— Дмитрий Иванович! Митя! Ну какой он троцкист? — спрашивал Скобликов.— Он же член партии!

— А я ему что за бухаринец? Я терпеть не могу эти их ярлыки и групповые дележки.

— А я говорю — выпить надо. Выпить! — кричал свое Бабосов.

— Не надо шуметь, мужики. Помиритесь. Пожмите друг другу руки...

— Саша Скобликов! Тащи скорее стаканы! Перепьем это дело. Наум Османович, куда же вы? Погодите!

Бабосов поймал за подол френча уходящего Ашихмина:

— Вы один заблудитесь. В реку попадете!

— По мне лучше в реке искупаться, чем сидеть в одной компании с этим защитником тмутаракани.

— Да погодите! Перепьем это дело, и все уладится.

Дверь вдруг распахнулась, и на пороге появилась в белой вязаной шапочке Варя, а за ней, вытягивая шеи, как гуси, заглядывали в комнату Сенечка Зенин и Кречев.

— Коля, Митя, а мы по ваши души! Вот гости к вам, из Тиханова. Заблудились совсем. Благо, меня нашли. Подсказала им добрая душа,— щебетала Варя, подходя к столу.— А что это вы все стоите? Или собрались расходиться?

— Это мы вас встречаем. Хотели обнимать вас по очереди, да я отсоветовал,— изрек Бабосов.— Говорю — она кусается.— И, обернувшись, Ашихмину: — Тихановское начальство. Прошу любить и жаловать. Это секретарь партячейки товарищ Зенин, председатель Совета Кречев. А это представитель окружкома, товарищ Ашихмин. Заместитель заведующего АПО.

Ашихмин, все еще красный, как из бани, молча пожал протянутые ему руки.

— А теперь за знакомство по наперсточку не грех. Причастие на столе. Остальное... Саша, сообрази! — скомандовал Бабосов и, разводя руками над столом, приглашал:— Раздевайтесь, товарищи, и садитесь.

Рассаживались в неловком молчании, переглядывались, как заговорщики. Одни не знали, о чем говорить после скандала, а другие боялись брать за бока Успенского в присутствии неизвестного начальника.

Саша принес граненые рюмки, вилки, за ним вошла Верява с двумя тарелками — соленых огурцов и квашеной капусты.

— Ешьтя, ешьтя на здоровье. Може, кваску налить?

— Тащите! — обрадовался Бабосов.— Мы сперва сладенького попробуем, а потом уж кисленького...— Поглядел на Зенина и добавил:— На дорожку хватим.— Он ловко выбил пробки из бутылок и налил вина.— Господи, не почти за пьянство, прими за причастие! — Бабосов поднял рюмку и важно произнес:— За мировую революцию!

Саша прыснул, но, видя, что его веселое настроение никто не подхватывает, крякнул, как с мороза, и торопливо опрокинул рюмку, поспевая за другими.

Задевая вилкой капусту, Бабосов весело спросил, поглядывая на пришельцев:

— Каким важным известием порадуют нас дорогие гости?

Кречев сидел сгорбившись, угрюмо глядел в стол перед собой, Зенин же поглядывал то на Ашихмина, то на Успенского и лихорадочно соображал, что же надо говорить. Успенскому надоела эта игра в молчанку, и он спросил Кречева:

— Павел Митрофанович, вы по делу ко мне?

— Пусть Зенин и скажет,— ответил тот хмуро.

— Дмитрий Иванович,— сказал Зенин, извинительно улыбаясь, все так же поглядывая то на Успенского, то в сторону Ашихмина,— вот какая у нас оказия... Понимаете ли, товарищ Ашихмин, передовые, сознательные крестьяне нашего села решили объединиться в колхоз. А мы их поддерживаем со всей душой.

— Очень хорошо! — живо отозвался Ашихмин.— За чем же дело стало?

— Дело-то за сущим пустяком. Надумали объединиться в колхоз маломощные хозяйства и отчасти середняки. Сами понимаете, дворы у них ветхие, сараи маленькие. Держать обобществленный скот, инвентарь негде. Вот они и поручили нам с Кречевым съездить к Успенскому и попросить у него поддержки и помощи. Мы, говорят, знаем его как опытного коллективизатора. Он уже создавал одну артель. Пусть и колхоз поможет нам создать.

Кречев обалдело, как спросонья, глядел на Зенина, тот же, толкая его сапогом под столом, продолжал выжидательно улыбаться и ухитрялся одновременно говорить с Успенским и обращаться как бы к Ашихмину за поддержкой.

Ашихмин впервые после размолвки с удивлением глянул на Успенского, но промолчал.

— А чем же я могу им помочь? — спросил Успенский.

— Дмитрий Иванович, у вас великолепный дом, большой двор, сарай молотильный. Если вы вступите в колхоз, то окажете нашим крестьянам ба-альшую помощь,— уже с воодушевлением, с энтузиазмом закончил Зенин.

— Это кто ж придумал? — спросил Успенский.— Вы, Павел Митрофанович?

— Н-нет,— ответил Кречев.

— Дак сами, сами крестьяне и придумали, Дмитрий Иванович! Уверяю, они вас так высоко ценят,— расплылся опять в любезной улыбке Зенин.

— Хорошо, Павел Митрофанович.— Успенский умышленно смотрел только на Кречева.— Заявляю вам как представителю Советской власти: передайте крестьянам, что я с радостью вступаю к ним в колхоз. И отдаю им в полное коллективное владение мой дом, двор, сарай молотильный, весь инвентарь, лошадь и обеих коров.

— Дмитрий Иванович, позвольте пожать вашу щедрую руку!— потянулся к нему Зенин.

— Нет, не позволю,— сухо сказал Успенский.— Я вам не купец, сходно продавший товар. И вы не посредник на сделке.

— Но выпить-то можно?— спросил Бабосов.— Хотя бы за новый колхоз.

— Пейте на здоровье!

— Ну, слава тебе господи! Наконец-то смягчился, отошел,— сказал Бабосов и стал наливать вино.

— А Дмитрий Иванович и не заходился,— неожиданно сказала Соня Макарова.— Он говорил очень разумно и... красиво, как в спектакле.

— Ха-ха! Браво!— крикнул Роман Вильгельмович.— Так это-о, устами младенца глаголет истина. Ха-ха!

— Соня, ты с кем сюда пришла, со мной или с ним?— нарочито строго спросил Костя.

— Наконец-то она проснулась и оценила, кто здесь мужчина,— хохотнул Бабосов.

Ашихмин с немым вопросом глянул на Бабосова, и тот стушевался.

— Я в том смысле говорю, что почуяла она присутствие истинного ловеласа,— выкрутился Бабосов.— Берегись, Костя!

— Н-да, это и в самом деле на спектакль смахивает,— сказал, вставая, Успенский.— А у меня еще дел по горло. Всего хорошего!

Слегка кивнув головой, он пошел к настенной вешалке.

— И я с вами, Дмитрий Иванович!— ринулся за ним Юхно.

На улице все так же мелко моросил дождь, дул порывистый ветер, и мокрые ветви дробно стучали о деревянный карниз дома.

Прикрывая уши драповым воротником, Юхно сказал:

— А вы, так это-о, отчаянный человек. Смотрите, Дмитрий Иванович, эти функционеры, как покинутые женщины, обиды не прощают.

— Мне терять нечего. Я один как перст. Пускай докладывает,— сказал Успенский, вынимая портсигар.

— Доклад еще полбеды... Хуже, если донесет.

— А по мне хуже — так молчать. Видеть, как лютуют эти самозванцы, выбрасывают на мороз ни в чем не повинных людей, и молчать.— Успенский прикурил, пыхнул дымом и щелчком выстрелил в темноту красной спичкой.

— Э-э, батенька! Наши слова, как свист ветра в голых прутьях,— шуму много, а толку мало.

— Мне не столько важно было ему доказать, сколько себе, что я еще человек, я мыслю, следственно, я свободен.

С минуту шли молча, наконец Юхно отозвался:

— Да, вы правы. Так это-о, если нельзя сохранить свободу в обществе, то ее непременно следует утверждать в мыслях, в душе. Иначе — пиши пропало.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Вернувшийся из округа Озимов вызвал к себе в кабинет Кадыкова, Кульку и Симу; едва успели они сесть на стулья у стены, как он попер на них по-медвежьи, хлопнув лапой об стол:

— Спите, удоволенные! У вас под носом классовые враги стрельбу открывают, а вы дрыхнете? Кто стрелял в больничном саду?

— Когда стреляли? В каком больничном саду? Вы что, сами сбрендили? — вскинул на него подбородок Кадыков.

— Молчать! — рявкнул Озимов.— Милиционеры сопливые. Стражи закона и тишины называются. В окружном ГПУ знают, что здесь выделывает недобитая контра, а вы нет. Вы и меня заставляете глазами хлопать. Я как дурак стоял перед начальством и мычал: найдем, разыщем, узнаем... Какая-то банда в ночь накануне Покрова дни открыла стрельбу в саду бывшего помещика Скобликова, разогнали сторожей и увезли все яблоки, приготовленные для замочки в кооперативных кадках. Напоследок

разбили стекла в клубе во время репетиции. А в Степанове отрезали хвост у риковской лошади, на которой Чубуков приезжал распродавать имущество злостного неплательщика. И что вы на это скажете, соколики-чижики?

— А может быть, никакие это не классовые враги, а воры да хулиганы,— ответил опять Кадыков.

— Я же вам русским языком говорю — факты эти взяты на учет окружным ГПУ. Кто-то им сообщил. Ведь не нам сигнал пришел, а им. Значит, были основания отнести эти факты на счет классовых врагов, то есть кулачества. А с нас за это спросят, если не найдем виновников. Вот я и вызвал вас затем, чтобы вы землю носом изрыли вокруг Тиханова, а виновников положили мне на тарелочке. Ясная задача?

— Ясно,— разноголосо ответили милиционеры.

— Идите и выполняйте! А ты останься, Кадыков.

Когда Сима с Кульком ушли, Озимов другим тоном, как бы с опаской поглядывая на дверь, озабоченно спросил:

— Ты был в Тимофеевке, когда мужики забузили возле церкви?

— Был.

— Что там случилось? Неужели бунт?!

— Да чепуха. Возвышаев круто повернул насчет церкви. Ну, мужики и загудели. Может, и накостыляли бы ему по шее. Да поп вовремя подвернулся, усмирил их.

— Ах, мать твоя тетенька! Я так и чуял, что этот обормот накуролесил. А жаль, жаль... По шее бы ему хорошенько. Небось поумнел бы. А расписали в округ — мать честная! Что этот самый попик подымал народ на бунт, что Возвышаев, героически рискуя жизнью, усмирил народ. О, из мухи слона дуют. На меня топают: за чем смотрите? Куда морду воротите? А я говорю, не наше это дело — за попами приглядывать. С нас и воров да хулиганов довольно. Штаты маленькие, и те не заполнены. Пришлите, говорю, своих уполномоченных ГПУ, пусть они и шуруют этих классовых врагов. А мы, говорю, порядок охранять будем. Что ты! Орут на меня. Порядок, мол, тоже классовый характер имеет. У тебя под носом хлебные излишки прячут, а ты порядок блюдешь? На чью мельницу воду льешь? А я говорю, наша мельница — не ветряк придорожный; откуда ветер дует, в ту сторону и крылья поворачивает. У нас

расписаны все времена года по закону. Твой закон, мол,— революционное сознание. Пожалуйста, говорю, и сознание примем к сведению, только напишите его, зафиксируйте в качестве указания. А мы в дело подошьем и все в аккурат исполним... Н-да, дела. Все подбивают на то, чтоб милиция по домам ходила с обыском. Но в случае чего милиции и дадут по шее, зачем закон нарушали? Как думаешь?

Кадыков слушал, сурово сведя брови, думая о чем-то своем.

— Чубуков меня звал в Степаново на распродажу имущества одного неплательщика,— ответил он, как бы очнувшись.— Но я отказался. Начальника, говорю, нет. А без него решить такой вопрос не могу.

— И правильно. Это не наше дело — распродавать с торгов мужицкие портянки.

— И в стороне нам не удержаться,— продолжил как бы прерванную мысль Кадыков.— Ну, в Степанове обошлось без шума. Хозяин оказался смирным. А ежели буйные попадутся?

— Ты думаешь, конфискации имущества нам и впредь не миновать?

— Непременно не минуем. В Тиханове два хозяина заупрямились, в Тимофеевке, в Больших Бочагах. Но особенно в Гордеевском кусте. Там эти самые излишки и не думают сдавать. Придется выколачивать. И тут без нас не обойтись.

— Да, веселая работенка.— Озимов крепко потер бритый затылок и усмехнулся: — Ха-ха! Как ночь не поспишь, так, веришь или нет, щетина прет, как хлебная опара. Вчера только обрил голову в Рязани, а теперь вот наколоться можно, словно проволока. И чешется, зараза. Ладно! Завтра на бюро прояснится, что нам делать, как нам быть. А ты, Зиновий Тимофеевич, узнай к завтрему — что там за хреновина с этими яблоками и с кобыльим хвостом. Я думаю, что здесь хулиганье дурит. А то Возвышаев оргвыводы сделает и раздует классовую борьбу из кобыльего хвоста.

Кадыков первым делом отыскал садового сторожа Максима Селькина, он стоял теперь у ворот ссыпного пункта, бывшего последнего приюта помещика Скобликова. На нем был рыжий зипун, подпоясанный чересседельником, тряпичная шапка, из которой торчал клок ваты на самой макушке, и новые лапти с онучами, замотанными в

частую косую клетку оборами аж за колена. Ружье на веревке он закинул за спину, как кошелку с мякиной. Утро стояло тихое, морозное; слабо и безвольно, как в прореху, сыпался мелкий сухой снежок и покрывал острые гребешки вздыбленной застывшей грязи. На заборе, как чучела, сидели, втянув головы и опустив хвосты, вороны — то ли спали, то ли думали о чем-то серьезном и таинственном. И Максим не шевелился, как заколдованный, смотрел важно и прямо перед собой, тараща маленькие, запавшие в морщинах глаза.

— Здорово, часовой! — сказал Кадыков, подходя.

— Здравия желаю,— сипло ответил Максим, переступая с ноги на ногу.

— Ты чего спишь, ай озяб?

— Баба где-то провалилась, ни дна ей ни покрышки. Приди, говорю, утречком, подмени, а я схожу картошки поем, погреюсь. Не идет!

— Ружье-то стреляет? А ну-ка?!

Кадыков протянул руку, Максим проворно снял ружье и подал.

— Зачем же ты ружье отдал? А ну-ка я тебя этим ружьем да по уху? А хлеб казенный увезу?

— Дак на то вам и власть дадена.

— Ты же часовой! Ты никаким властям не подчиняешься, только тому, кто тебя ставил.— Кадыков свалил вправо хвостовик, переломил ствол — ружье было заряжено.— Кто тебя поставил на пост?

— Председатель Кречев.

— Вот ему и подчиняйся. Больше никого не слушай. На, держи! — вернул Кадыков ружье.

Максим взялся за веревочную поцепку и закинул ружье за спину, как кошелку.

— Как же у тебя из-под носу яблоки увезли?

— Так вот и увезли. Из ружьев палили, отогнали нас ажно к Волчьему оврагу.

— Сколько вас было?

— Я да Маркел.

— А вы чего ж не стреляли?

— Дак у нас одно ружье на двоих с одним патроном. На крайний случай, ежели сильничать начнут. Они ж с трех концов палили. Куды тут!

— Хороши сторожа. Нечего сказать... Ты хоть видел, куда ваши яблоки повезли? По какой дороге?

— Повезли в Тиханово на двух подводах.

— В какой конец?

— В Нахаловский... В какой же ишшо?

— Ладно... Разберемся,— сказал Кадыков.

Он сходил в казенку, купил поллитру сладкой наливки облепихи и зашел к Насте Гредной. Несмотря на позднее время, хозяева все еще дрыхли,— Настя лежала на печи, как в окопе, наружу торчали только ее подшитые валенки носами кверху. Степан, завернувшись в свиту, валялся на деревянной кровати в шапке с завязанными ушами, лицом к стенке. В избе было холодно, пар валил изо рта, как в предбаннике.

— Есть кто живой?— спросил Кадыков, переступая порог.

— Кого там черт занес?— нехотя отозвалась Настя, и даже валенки ее не шевельнулись. Она проявляла интерес только к тому, что свершалось на улице, у себя же в избе она делалась сумрачной и глухой.

Степан приподнял голову и, увидев фуражку со звездой на Кадыкове, вдруг застонал.

— Ты что, или заболел?— спросил его Кадыков.

— Заморила, проклятая баба. Всюю ночь у окна просидит, а потом дрыхнет до обеда.— Степан встал с постели, опустил на пол ноги, обутые в валенки.— Веришь ай нет, в валенках ноги зашлись от холода.

— Что ж вы не топите избу?

— Спроси вон ее, ведьму,— кивнул Степан на печь.

— Сперва надо избу ухетать, а потом топить,— отозвалась Настя.— Сделай, говорю, защиток вокруг избы, все теплее будет.

— Изба не сарай. Что ж вокруг нее застреху делать? От людей совестно,— сказал Степан.

— Ну и не кряхти, ежели совестно.

— Слезай, Настя! У меня тут есть обогревательная.— Кадыков поставил бутылку на стол и сам сел на скамью.

— Это каким тебя добрым ветром занесло?— веселея, спросил Степан.

— Да иду вот по селу, вижу — окна замуравели, зацвели серебряными цветиками. Дай, думаю, загляну. Хоть печку растоплю им — не то замерзнут.

Настя подняла голову, приставила очко к единственному оку и, разглядев бутылку на столе, проворно слезла с печки.

— Ну, погреемся, хозяйка?— обернулся к ней Кадыков и потер ладони.— Давай стаканы.

Настя достала стаканы с полки, занавешенной шторкой, поставила на стол. Выжидательно спросила:

— А как же насчет закуски? У нас ведь, окромя квашеной капусты, ничего нет.

— Эту не закусывают,— сказал Кадыков, разливая облепиху,— она сладкая. Вроде чая с сахаром. Ну, будьте здоровы!

— Спасибо вам, Зиновий Тимофеевич.— Степан слегка поклонился и выпил залпом.

Настя долго тянула и кривилась.

— Ты чего морщишься? Или горько? — спросил Кадыков.

— Вино, она и есть вино. Ты ее пьешь, а тебе страшно, инда сердце замирает,— ответила Настя, ставя стакан.— А вы чего ж не пьете? — А сама поглядывала на оставшееся вино в бутылке.

— Я пью только чистое белое,— ответил Кадыков, забирая в руку бутылку.— Что, Настя, еще хочешь?

— А ты петь меня не заставишь? — осклабилась Настя, раскрывая свой щербатый рот.

— А спела бы.

— Ой, не греши! Ну тебя к богу за пазуху.— Она кокетливо махнула рукой и рассмеялась.

— Ты, Настя, вот что мне скажи: ночью накануне Покрова ребята на улице шибко гуляли?

— Да ну их к лешему,— ответил Степан.— До полуночи спать не давали.

— А выстрелы вы не слыхали? Говорят, стреляли в больничном саду?

— Ён далеко, аж за горой. Вон игде,— сказал Степан.

— Далеко, это верно. Но если люди бдительность проявляют... Не спят. То услышать можно. А? Как ты думаешь, Настя? — Кадыков покрутил бутылку и стал наливать Насте вино.

— Да слыхала я эти выстрелы,— сказала Настя, глядя на вино.

— Молодец! И я, пожалуй, выпью за твое здоровье.— Кадыков плеснул и себе в стакан.— Ваше здоровье! — И выпил вместе с хозяевами.— Н-да, дела...— Кадыков покачал головой и спросил: — Говорят, в мешках таскали яблоки?

— Врут,— отрезала Настя.— В кадках увезли. На двух подводах.

— Да что вы говорите! — сделал удивленное лицо Кадыков.— И вы сами видели?

Настя только высокомерно усмехнулась:

— Я все вижу.

— Н-да... молодец... Просто молодец.— И снова налил ей вина.— Настя, яблоки-то кооперативные. Общественное добро! Ведь это ж, можно сказать, и нас с вами обокрали.

— Не говори! — подхватил плаксиво Степан.— Всюю жизнь над нами издеваются. Грабют! То дрова растащат, раскидают, то окна соломой завалют. С крыши натеребят. С моей крыши. А с первесны портки сташшили да в трубу мне ж и затолкали. Вот чего они делают.

— И яблоки — их дело?

— А то чье же. Да вон пусть Настя скажет.— Степан махнул рукой и сделал обиженное выражение.

— А ты нас не выдашь? О, мотри! Тады они нас подожгут, ей-богу правда.

— Не выдам, Настя. Я ж лицо официальное. Хочешь, расписку напишу? — Кадыков полез в карман за блокнотом.

— Да мы верим, верим,— остановила его Настя и шепотом заговорила: — Ребята все это озоруют. Я все видела. Стащили они одну телегу у соседа нашего Климачева, на проулке стояла, вторую у Максима Селькина. Смеются. Пущай, говорят, он яблоки караулит, а мы в его же телеге их увезем. А лошадей с выгона пригнали. Яблоки отвезли к Козявке. Там у них посиделки устраиваются. Вот тебе, истинный бог, правда,— Настя перекрестилась.

— Ну спасибо, Настя, спасибо! — Кадыков вылил им остаток вина.

— Только ты мотри, не выдавай.

— Ну что вы. Могила!

Козявка жила под горой, у самого оврага, промытого речкой Пасмуркой. Кадыков зашел от оврага к большому амбару, покрытому тесом. Здесь на травянистой лужайке, полузасыпанные снежком, четко виднелись узкие вмятины, недавно оставленные колесами тяжело груженных подвод. Дальше к дороге следы колес остались вдавленными в податливую когда-то, а теперь замерзшую грязь. Ясно как пить дать, сюда привезли яблоки, подумал Кадыков, сворачивая к дому.

От окна запоздало метнулась в избяной полумрак

Козявкина голова, покрытая клетчатой шалью. «Подглядываешь, плутовка. Чуешь, что дело ткнем[1] пахнет»,— подумал Кадыков и застучал в дверь.

— Кто там?—с притворным испугом спросили из сеней.

— Открывайте! Милиция.

Дверь моментально открылась, и маленькая щуплая бабенка, с лучезарным от множества морщинок лицом, с приклеенным посреди его, точно пуговкой, носом, выросла на пороге.— Тебе чего? Ай опять насчет самогонки? Дак я эта, шинок не держу.— Ни тени испуга на лице, одно хитренькое лисье выжидание и настороженная улыбочка.

— Чего ж ты дорогу загородила, Мария Ивановна? Чай, не на пороге нам стоять и разговаривать.

— Дак милости просим. Проходите в избу!—А сама не сводит с Кадыкова настороженных глаз.

В избе было чисто прибрано, на стенах над фотокарточками висели расшитые рушники, и в переднем углу над божницей тоже рушники—красные петухи да крестики на широком белом полотне.

— Гуляют у вас, говорят? Посиделки собираются?

— Гуляют! Дело молодое. Смолоду и погулять не грех.

— А не случалось такое, что за гуляньем-то закон нарушался?

— Э-э, батюшка мой! Нешто за ними углядишь? Их вон сколь собирается. Иной раз и до тридцати, и до сорока человек.

— И то правда, за всеми не углядишь. А что у вас в ночь на Покров творилось?

— Что творилось? Пели да плясали... Веселились, одним словом.

— Хорошенькое веселье с ружейной пальбой. Даже сторожей из больничного сада поразгоняли.

— Дак то ж в больничном саду-у! Я за тем садом глядеть не поставлена.

— А яблоки из того сада, случаем, не к тебе переехали?

— Как это—переехали?

— А так... На колесах да на телегах.

---

[1] Ткно—взбучка.

— Ты, батюшка мой, сперва окстись. Сатана тебя путает.

— Вот уж не думал встретить ноне сатану.— И, поглядев на нее, добавил: — В сарафане.

— Ежели ф вы на меня подозрение имеете, так ишшите. Вот вам подпол, вон сени, подвал. Ишшите!

— Открой-ка мне амбар.

— Это можно... Отчего ж не открыть, амбар-от?

Амбарный ключ висел тут же, на стояке возле печки. Козявка было потянулась к нему, но ключ не взяла.

— Он, эта... колефтивный у нас, амбар-от.

— Кто ж им пользуется, кроме вас?

— Сестра. И Селькины там воробы хранят да самопряху.

— Ну ничего, вещи сестры мы не тронем. И ваши вещи не возьмем. Посмотрим только. Давайте, смелее! — Он снял ключ и пошел к амбару.— Тот самый, ключ-то?

— Тот самый.

Козявка затаенно шла за ним по пятам. Открыли дверь — и посреди амбара в восьми кадках стояли замоченные яблоки, и даже ледок слабый схватил их поверху.

— Ну, что? Сама признаешься или из кооперации вызывать, чтоб они кадки свои опознали?

— Шут их возьми! — махнула рукой Козявка.— Как я им говорила: не связывайтесь с этой кооперацией. Посодят вас. Дак разве ж они послушаются?

— Кто привез яблоки?

— Ребята. Кто ж еще?

— Конкретно. Кто? Имена назовите!

— Соколик, Четунова Андрея парень, Федька Маклак, Бородин, то ись Ванька Савкин, Чувал. Они все озоровали... Говорят, на зиму запас девкам сделаем.

— Кто верховодил?

— Да все Маклака называли. Он у них заводила.

— Ладно... Яблоки пусть у вас пока останутся. Заберем позже.

— А как же мне теперь быть? Ведь я ни в чем не виноватая.

— И с вами разберемся. Пока никому ни слова.

— Да, да. Я уж не проговорюсь... Я ведь не то чтоб с целью прибрала яблоки. Я так, для порядка...

— Вот всыплем тебе для порядка года два принудиловки, небось запоешь другим голосом.

— Дак было б за што.

— Старое зашло, а новое заехало...

Кадыков зашел к Андрею Ивановичу и потихоньку от Надежды рассказал ему всю историю с яблоками.

— Запорю! — вскипел тот, схватываясь с табуретки.— Сейчас поеду в Степаново и буду гнать его, стервеца, кнутом до самого Тиханова.

— Ты погоди лютовать! — осадил его Кадыков.— Мне еще надо кое-что выяснить. Поэтому я сам поеду и поговорю с ним. А тебе вот мой наказ — ни слова об этом. Никому. Ясно? Не то спугнуть можешь стервецов покрупнее, если за этими сопляками с их яблочной проделкой скрывается кто-то другой. И пороть парня не следует. Он не скотина. Ну, схулиганил. Так ему и без тебя перепадет. А убытки невелики — оплатишь.

Уже под вечер Кадыков заседлал лошадь и верхом поскакал в Степаново.

Вот тебе и классовые враги, думал он по дороге. Это ж надо кому-то раздувать кадило, чтобы из простого хулиганства сделать всеобщую ненависть. Ага! Классовые враги завозились? Так дави их без пощады! Потом разберемся, кто под телегу попал. Ну, ладно... Ныне ты моего братана свалил, а завтра я тебя ущучу. И пойдет всеобщая потасовка. А кому это на руку? Кто выиграет от этой злобы? Разве что Степан Гредный? Ну, перепадет ему зипун или валенки от шальной конфискации. Дак ведь он все равно пропьет их. И за скотиной конфискованной ухаживать не станет. А ежели и станет, дак скотина не вынесет его ухаживания, сдохнет! Нет и нет. Никому выгоды на селе не будет от такой потасовки. Дьявол, видать, мутит людей. Хулиганство и раньше было на селе, и воровство было. Но зачем разыгрывать все по классам? В любом деле есть и сволочи, и добряки. Зачем же смешивать всех в кучу?

Ему вспомнилось, как еще до революции к ним в Пантюхино приезжал пристав к мельнику Галактионову. Пока они сидели с мельником, водку пили, ребята обрезали у лошади пристава хвост по самую сурепицу. Как увидел пристав свою лошадь без хвоста, так инда кровью налился. Рычал, как медведь. А потом вынул наган и застрелил лошадь. Ну и что? А тут — смотри, какая оказия! Над Чубуковым посмеялись. У лошади хвост отчекрыжили? Кадыков заходил в риковскую конюшню, видел эту лошадь. Ничего страшного! Хвост как

хвост. Ну, обрезан на ладонь, до колен. Экая беда! Отрастет.

Федьку Маклака застал он дома; тот лежал на деревянной кровати и наяривал на балалайке, задрав ноги в шерстяных носках. Увидев Кадыкова, сразу вскочил и балалайку бросил. Ага, чует кошка, чье сало съела, подумал Кадыков, проходя к столу. За столом сидело двое приятелей Маклака, учили уроки. И они встали, как по команде. И все молча уставились на него.

— Не ждали? — спросил Кадыков, снимая полевую сумку и кладя ее на стол.

— Вы, должно быть, ко мне, Зиновий Тимофеевич? — спросил Маклак, стараясь изобразить на лице невозмутимость и безразличие. Но во все щеки его расплывались кумачовые пятна, и на лбу выступили мелкие бисеринки пота.

— Ты догадливый,— криво усмехнулся Кадыков и приказал его приятелям: — А вы, ребята, погуляйте, оставьте нас наедине с Бородиным. У нас военная тайна.

Ребята вышли, Кадыков сел на табуретку к столу, вынул из сумки тетрадку:

— Ну, сам будешь говорить или допрашивать?

— О чем говорить-то?

— К примеру, о том, как яблоки из больничного сада перекочевали в Козявкин амбар?

Маклак облизнул верхнюю губу и присел на кровать.

— Чего ж ты молчишь? Рассказывай, как приставил ноги кооперативным кадкам?

— Дак я ж не один их брал. И не для себя.

— Ага, на коллектив старался. Девкам угодил... Эх ты, угодник. Драть тебя некому. Комсомолец, поди?

— Ага. Второй месяц как вступил.

— Отличился, нечего сказать. Рассказывай все без утайки, не то хуже будет.

Маклак только головой мотнул.

— Кто из вас был с ружьями?

— У нас не было ружей.

— Как это не было?! Кто же стрельбу открыл в саду?

— Это мы не из ружьев...

— А из чего же? Из пушек, что ли?

— Да ключи у нас такие... Из них и палили.

— Чего, чего? Из каких ключей вы палили?

— Из обыкновенных.— Маклак полез под подушку и вынул большой амбарный ключ. За дужку была привяза-

на веревка, на другом конце которой болтался толстенный, обрубленный с конца гвоздь.

— А ну-ка? Что это за снасть? — Кадыков взял ключ, обрубок гвоздя, понюхал: — Серой пахнет. Как же он стреляет?

— Серку надо со спичек соскоблить, гвоздем ее уплотнить, потом шарахнуть по шляпке гвоздя. А лучше ударить об дерево или о камень. Она и бабахнет.

— А ну, покажи! — приказал Кадыков.

— Дак целую коробку спичек соскоблить надо. Ключ-то большой.

— На, соскабливай! А я погляжу.— Кадыков протянул Федьке коробок спичек.

Маклак открыл его и стал набивать спичечной серой ключ, как патрон порохом; соскоблит три-четыре головки, утрамбует их гвоздем и снова скоблит. Так и опустошил весь коробок. Заткнул гвоздем канал ключа, одной рукой взялся за веревочку, второй придерживая «снасть», сказал:

— Вот эдак размахнешься и ка-ак шляпкой гвоздя шандарахнешь... Хоть вот о печку, хоть о кровать. Она и выстрелит.

— Ну, давай, покажи свою орудию в деле. Или нет, погоди минуту! — Кадыков вышел из горницы в избу и сказал хозяйке, сучившей на веретене пряжу: — Вы, мамаша, не пугайтесь грохота. Это мы опыт делаем... по химии.— И, вернувшись, с порога приказал: — Бей!

Маклак с размаху ударил шляпкой гвоздя о грубку, грохнул выстрел, дым с огненным блеском вырвался из ключа, и в горнице запахло серой. Кадыков только головой покачал.

— Давай сюда! — Он отобрал у Федьки ключ вместе с гвоздем и положил его в сумку.— А кто в клубе в окно стрелял?

— Это я. Все из того же ключа. Об угол стукнул.

— А кто окно разбил?

— Соколик, Четунов.

— Зачем?

— У него есть зазноба, Маруська Силаева. Она в репетициях участвует и целуется с учителем. А Соколик ее ревнует к тому учителю. Ежели, говорит, будете целоваться — застрелю. Вот он и попросил меня ахнуть из ключа, когда они целоваться стали. А сам ударил палкой по стеклу...

— Ах вы, мать вашу перемать! Ревнивцы сопливые! Доигрались... Вот как вы рассчитываться станете? — ругался Кадыков, а в душе у него отлегло — слава богу, подтвердилась его догадка. И Озимов успокоится. Не то хоть из милиции беги, под носом шуруют всякие элементы, а они ушами хлопают.

— Ладно... Яблоки в сельпо отвезут. Недостачу родители ваши оплатят. Сообщим в школу, попросим, чтобы вас пристыдили. Всыпали публично. Авось отобьют охоту озоровать... Но имейте в виду, если еще раз попадетесь, тогда не пеняйте. Посадим и будем судить. Ясно?

— Ясно,— пересохшим горлом ответил Маклак.

— А теперь скажи, кто хвост отрезал у лошади Чубукова?

— Это не я.

— Так, может, приятели твои?

— Не мои...

— Кто же? Назови фамилию!

— Не скажу. Хоть посадите, не скажу. Тогда мне — из школы беги.

— Боишься?

— Никого я не боюсь. Но доносчиком не буду.

— За что ж хвост отрезали?

— Говорят, что он сволочь...

— Ты о ком это выражаешься? О Чубукове?

— Это не я. Я его вовсе и не знаю. На селе так говорят.

— Ну ладно, Чубукова невзлюбили. А за что лошадь обидели?

— Никто ее не обидел. Хвост ей теперь не нужен — комаров нет. А к весне отрастет.

— Эх вы, обормоты! Смотри, Федор, если еще попадешься, пеняй на себя.— Кадыков убрал тетрадь, надел через плечо сумку и вышел.

2

Ашихмин явился на заседание бюро ячейки райкома с решительным намерением — расшевелить это сонное царство. Надо же — конец октября, а у них еще излишки не собраны — семь тысяч пудов ржи да три с половиной тысячи пудов овса. Колхозное движение — на мертвой точке, сельхозналог еще кое-где не внесен, самообложе-

ние запущено, окладное страхование завалили, заем не распространен. Позор!

Еще в Степанове они договорились с Чубуковым потребовать на бюро введения чрезвычайных мер. Возвышаев нас поддержит, на остальных — плевать.

Но заставить проголосовать членов бюро за чрезвычайные меры оказалось не так-то просто.

Доклад делал первый заместитель Возвышаева, заведующий райзо Егор Антонович Чубуков, прозванный на селе Чубуком; он и в самом деле чем-то напоминал этот старинный курительный инструмент, изо рта его вечно вымахивал сизый дым вперемешку с затейливым матом, ходил прямой и длинный на негнущихся ногах и рокотал гулким басом, словно все нутро его было пустым и составляло одну сплошную полую глотку. Лицо с запавшими черными глазами было мрачно от глубоких аскетических морщин и неровно торчавших во все стороны жестких седеющих волос.

— Первое, что губит весь наш район, это недоучет, товарищи. Во всем недоучет! Перво-наперво — недоучет урожая. Бывший аппарат райзо до моего назначения составил неверный баланс по зерну. Они, видите ли, зачислили этот год в неурожайный и определили недостаток ржи в количестве 7824 пуда по району. На что они опирались? На старые методы земской статистики. Да, когда-то земскую статистику хвалил Владимир Ильич. Но правильно сказал товарищ Молотов — эта статистика теперь устарела. Ибо статистика тоже имеет классовый характер. Почему хлебозаготовка у нас растет? Да потому, что мы переходим от политики ограничения кулачества к политике решительной борьбы с ним. А до некоторых товарищей в нашем районе эта простая истина так и не доходит. Отсюда у нас и недоучет во всем. Жалеют у нас кулака, до того жалеют, что не наладили даже учет помола на мельницах. Неземледельческий доход вообще не учитывается. Данные урожая приняли такие, какие их прислали с мест. Мы с товарищем Возвышаевым пересчитали зерновой баланс в сторону увеличения. Мы сбалансировали по одному только Гордеевскому кусту пять тысяч пудов излишков. Но мало сбалансировать — надо их еще взять. И тут у нас не все в порядке. Некоторые уполномоченные поют с кулацкого голоса — мол, твердые задания невыполнимы. Шкурнические интересы ставят выше государственных. Колхоз

«Муравей» вместо сдачи хлебных излишков распределил хлеб по колхозникам. И хуже того — пятьдесят пудов продали на базаре. Позор! В Гордееве начальник ссыпного пункта разослал по сельсоветам извещение о приостановлении вывозки хлеба на том основании, что девать некуда. А церковь на что? Мы сняли этого начальника и отдали под суд. В комсоде Веретья некий Калужин уверял всех, что подворкой[1] переоценили мощность зажиточных. А другой член этого заведения даже сказал, что он-де не согласен. Почему обложили только зажиточных? Если нести тяжесть, то пусть несут и лодыри — беднота. Это не комсод, а комвред. Политика таких комсодов понятна — наряду со всеми освобождать и себя.

Чубуков еще долго перечислял все «случаи увиливания и проволочек», под конец хмуро и твердо потребовал:

— Я предлагаю ввести против таких действий чрезвычайные меры: беспощадное обложение штрафами в пятикратном размере вплоть до конфискации имущества.

Слушали его молча, насупленно, не глядя друг на друга,— каждый, казалось, по-своему переживал и оценивал эти трудные задачи, поставленные перед районом.

— Ну, какие будут соображения по существу? — спросил наконец Поспелов после долгой паузы.

— Я хочу задать вопрос представителю окружкома,— сказал Озимов, тяжело ворочаясь на стуле, так что его выпирающая из ворота черной гимнастерки шея покраснела.— Как обстоят дела со штрафами в других районах?

Ашихмин вынул из кармана френча записную книжку и прочел с места, не вставая:

— Политика наложения штрафов, согласно постановления ВЦИК и СНК о мерах воздействия на кулака, по некоторым районам развернута была недостаточно. Так, например, по Ермиловскому району за невыполнение заданий всего было наложено штрафа на сумму тысяча девятьсот девяносто пять рублей; Пугасовский район — три тысячи рублей, оштрафовано семь хозяйств; Захаровский район — две тысячи триста пятнадцать рублей пятьдесят копеек...— Он запнулся и пояснил: — Виноват, на эту сумму было продано имущество пяти хозяйств. Зато в Сараевском районе было оштрафовано сто три хозяйства.

[1] Подворка — вид дополнительного налога, обложение хозяйства, подати, повинности деньгами или припасами.

Продано имущество в сорока одном хозяйстве, из них попов — двенадцать, мельников — семнадцать, остальные кулаки. В этом районе хорошо поработали. Как видите, товарищи, цифры говорят сами за себя. За исключением одного района, со сдачей хлебных излишков по линии кулацких хозяйств у нас не все благополучно. Надо подтянуться.

— Так, хорошо. Кто хочет выступить? — спросил Поспелов.

— Дайте мне слово! — Возвышаев встал, приподнял со стола пачку исписанных листов, потрепал ею в воздухе и снова бросил на стол.— Вот здесь записано детально по каждому сельсовету наше позорное отставание по хлебозаготовкам. В чем тут дело? Где корень зла? Может быть, мы не получили вовремя контрольные цифры? Нет, округ спустил нам эти цифры. Может быть, мы их не распределили по сельсоветам? Нет, распределили. Так в чем же дело? Корень зла — в нашей либеральной терпимости. Только там, где проявлена пролетарская воля и решительность, дело стронулось с мертвой точки. Вот вам пример по Степановскому узлу. Стоило взяться товарищам Чубукову да Ашихмину и тряхнуть публично одного кулака, как все остальные сами прибежали, привезли свой хлеб на ссыпной пункт. О чем говорит этот случай? О том, что мы позабыли, в чьих руках находится власть. Наша милиция бежит от хлебозаготовок. Ее и калачом не заманишь на конфискацию имущества. Видать, товарищ Озимов боится бунтовщиков. Зато классовые враги не дремлют — они, понимаете ли, у нас под носом, в районном центре, стреляют по сторожам и клубным окнам, обрезают хвосты у наших риковских лошадей в насмешку перед всем народом и даже подбивают несознательные элементы к открытым выступлениям против властей, как это было в Тимофеевке и на заседании актива в Тиханове. Сколько дней прошло, как мы роздали твердые задания? В Тимофеевке да в Тиханове десять дней, а по Гордеевскому узлу и того больше! А эти кулаки и не думают вносить деньги и хлеб. Я предлагаю на бюро обязать органы милиции и представителей сельсоветов провести конфискацию имущества у злостных неплательщиков в течение двадцати четырех часов.

Возвышаев сел и с вызовом уставился на Озимова. Тот смерил его спокойным взглядом и равнодушно отвернулся.

— Милентий Кузьмич,— сказал он Поспелову.— Пока вы болели, а я находился в округе, Возвышаев тут целую обедню устроил насчет классовых врагов. На весь округ раззвонил, будто у нас кулачье открыло стрельбу в больничном саду да в клубе и увезли кооперативные яблоки...

— Это не звон, а проверенные факты! — вскочил Возвышаев.— Я прошу зафиксировать документально этот выпад Озимова.

Паринов, писавший протокол, оторвался от бумаги и посмотрел на Поспелова.

— Ну зачем же так горячиться? — поморщился Поспелов, снял очки и стал протирать их носовым платком, словно они запотели.— Давайте, товарищи, проявлять сдержанность и уважение. Работа наша сложная, поэтому меньше амбиций, больше трезвости.— И не понятно было, кому он говорил: Возвышаеву или Озимову.

— Я это говорю не в амбиции, а после расследования уголовным розыском,— сказал Озимов.— Вот что установлено: яблоки из больничного сада увезли ребята на посиделки, спрятали их в амбаре. Яблоки в кадках и в полной сохранности. Они возвращены кооперативу. Хулиганство в клубе с разбитым окном — дело тех же самых рук.

— Хорошенькое хулиганство — стрельба из ружей по активистам и сторожам,— усмехнулся Возвышаев.

— Ружей не было. Стреляли вот из чего.— Озимов вынул из кармана Федькин ключ и положил на стол.— Соскабливали серку со спичек, набивали ее в канал этим гвоздем и палили.

— Ну-ка, ну-ка? Знакомая снасть! — потянулся Митрофан Тяпин.— Из этих штуковин и мы бабахали, особенно в половодье на праздники.

— Стрелять из ключа? — удивился Поспелов и водворил очки на место.— Ну-ка, дайте мне!

К Поспелову потянулись и другие члены бюро:

— Что за пушка?

— Амбарный самопал! Хе-хе.

— Это на сказку похоже, товарищ Озимов,— сказал Возвышаев.

— Митрофан Ефимович, бабахните из этой штуки об голову Возвышаева, как о булыжник. Может быть, он поймет тогда, что это не кулацкий обрез.

— Это можно,— сказал Тяпин и хохотнул.

— Что? — Возвышаев опять вскочил с места и — к Поспелову: — Я предлагаю кончить этот балаган.

— Дак вы же не местный, и не знаете, что у нас издавна палят из таких штуковин,— повысил голос Тяпин.

— Спокойствие, товарищи, спокойствие! — Поспелов постучал карандашом об стол.— А хулиганы арестованы?

— Они несовершеннолетние,— сказал Озимов.— Им по шестнадцать лет.

— Чьи ребята? Фамилии? — спросил Возвышаев.

— Четунов, Бородин, Савкин.

— Посадить родителей! Отцов то есть.

— А это уж не ваша забота, товарищ Возвышаев. На то у нас прокурор имеется.

— Товарищи, давайте решать вопрос по существу. Хватит перепалок! — опять постучал карандашом Поспелов.— Есть предложение насчет применения чрезвычайных мер, то есть конфискации имущества неплательщиков. Какие будут мнения?

— Надо сформулировать так,— сказал Озимов, подымаясь.— Конфискацию имущества с распродажей применять в крайних случаях, то есть как исключение.

— Постановление ВЦИК и СНК применять как исключение?! — крикнул Возвышаев.

— Согласно этому постановлению, Милентий Кузьмич, мы обложили кулаков еще в августе месяце,— ответил Озимов, но не Возвышаеву, а Поспелову.— А в октябре, согласно новому зерновому балансу, составленному Чубуковым и Возвышаевым, нам спустили новые контрольные цифры. Обложение идет фактически по второму кругу. Мы это должны учитывать. Круг облагаемых значительно расширился, и не каждый способен быстро внести необходимую сумму обложения.

— Так что же нам делать? В ноги кулакам кланяться, что ли? — спросил Чубуков.

— Есть кулаки, а есть и дураки,— ответил, озлясь, Озимов.— Заниматься политикой — это вам не в подкидного дурака играть. Объявил — бубны козыри и лупи сплеча. А если мы впопыхах в кулаки середняка затолкаем да пустим его в расход, тогда как? Кто отвечать будет? Митька-милиционер, который по твоей указке этой конфискацией заниматься будет?

— Не надо бояться ответственности,— сказал Возвышаев.

— Ну, это ты учи свою мать щи варить. А мы учены. Я эскадроном командовал.

— И мы не на печке сидели.

— Товарищи, товарищи! Ближе к делу. Что вы предлагаете конкретно? — спросил Поспелов.

— Штрафы накладывать не в пятикратном размере, а в соответствии, то есть почем зерно стоит на рынке. Чтобы каждый знал: не хватает — купи. А штраф в пятикратном размере — это обыкновенная обдираловка,— сказал Озимов.

— А ежели все равно платить откажется, тогда как? — спросил Поспелов.

— Распродажу проводить только с согласия общего собрания,— ответил Озимов и сел.

Спорили долго, гудели, как шмели на лугу. Между тем Поспелов незаметно подвел всех к решению, необидному для каждого: штрафовать надо, но не в пятикратном размере, милицию использовать при конфискации, но... в качестве охраны порядка. Милиция ничего не отбирает, актов и протоколов на конфискацию не составляет. Всю распродажу и конфискацию берут на себя органы Советской власти, то есть сельсоветы и райисполком.

Потом по вопросу о сплошной коллективизации делал сообщение Ашихмин. Он заверил от имени окружкома, что сплошная коллективизация округа — дело решенное, что ждут всего лишь утверждения, а вернее, сигнала, чтобы объявить об этом во всеуслышание. В Москве сам товарищ Каганович говорил об этом на закрытом совещании. И уже теперь надо готовиться к этому великому событию, которое опрокинет наконец самую надежную опору капитализма — частную собственность в деревне.

— Поэтому, товарищи, в октябре все твердые задания должны быть покрыты. Пример успешного решения этого вопроса был показан товарищем Чубуковым в Степанове. Должен сказать, что некоторым работникам просвещения это не понравилось...

Все поглядели в сторону заврайоно — подслеповатого широкобрового Чарноуса, прикорнувшего на диване; при слове «просвещения» он очнулся и удивленно таращил на Ашихмина свои светлые, как стеклярусные бусы, глазки.

— Да ведь и то сказать,— продолжал Ашихмин, переждав всеобщее оживление.— Среди просвещенцев много у нас людей из духовного звания, не порвавших со своим прошлым ни в духовном, ни в материальном

отношении. Чего греха таить, пуповина старого грешного мира еще многих из нас прочно удерживает. Надо рвать ее и выходить на простор новой жизни, который открывает нам всеобщая коллективизация. В ответ на нытье правых, пугающих нас, что-де, мол, темпы коллективизации не под силу, что мы-де захлебнемся в горлышке узких мест, партия призывает в поход против узких мест. Вы все знаете из газет, как в Ирбитском округе три района вошли в одну колхозную семью. Положено начало колхозу-гиганту на площади в сто тридцать пять тысяч гектаров. Вот на какие великие дела надо себя настраивать, товарищи. А для этого смелее ломать сопротивление кулака и в ударном темпе завершить к праздникам все хлебозаготовки.

В заключение решили: послать в отстающий Гордеевский куст по хлебозаготовкам специальную комиссию из района. В нее вошли по собственному желанию Возвышаев, Чубуков, и вписали еще судью Радимова.

— Товарищи, на разное у нас намечалось несколько дел коммунистов, хромающих в кампании по хлебозаготовкам. Но поскольку мы собрались в экстренном порядке и не успели вызвать их, то предлагаем перенести этот вопрос целиком на следующее бюро,— сказал Поспелов.

— Может, проголосуем?— спросил Чубуков.

— Чего ж голосовать, когда людей не вызвали?— сказал Озимов, вставая.

— С мест не вызвали, зато тихановские здесь.— Возвышаев стрельнул косым глазом на Марию, сидевшую рядом с Чарноусом на диване.

— Разбирать, так всех сразу,— сказал Озимов.— Чего поодиночке таскать, как хорек цыплят.

— Да, да, товарищи. Давайте перенесем на конец кампании. Может быть, некоторые поймут, подтянутся,— сказал Поспелов, вставая.

Тяпин подошел к Марии и слегка толкнул ее локтем:

— Ну, Маша, скажи Озимову спасибо. Не то ощипали бы тебя, как курицу.

— Жаль, жаль, что разное отменили,— сказал Ашихмин, подходя к Возвышаеву.— Я хотел насчет учителей степановских поговорить.

— А что там случилось?— поспешно спросил Чарноус, вставая с дивана.

— Отказываются!

— Как? От чего отказываются?

— От хлебозаготовок. От конфискации имущества. Предложил митинг провести на распродаже — отказались. И мутит воду, по-моему, Успенский.

— А-а, этот обиженный! Он когда-то военным столом заведовал в волости,— сказал Возвышаев.— Типично правый элемент.

— Педагог хороший,— сказал Чарноус и, вроде извиняясь, добавил: — Инспектор хвалит его.

— В наше время мало быть только хорошим педагогом,— возразил Ашихмин.— Учитель — проводник политики партии на селе. А он по взглядам не то эсер, не то славянофил, и не поймешь.

— Хорошо! Мы разберемся,— заверил его Чарноус.

— И разбираться нечего. Правый уклонист,— сказал Возвышаев.

— Впрочем, в одном деле он меня удивил,— сказал Ашихмин уже у порога.— Приехали в Степаново тихановские представители агитировать его за вступление в колхоз. И он, знаете ли, согласился. Все имущество отдает колхозу: и дом, и амбар, и коров, и лошадь...

— Вовремя сообразил,— усмехнулся Возвышаев.— Мы бы у него и так все отобрали. Добро это попом награблено и принадлежит народу. Просто его кто-то предупредил.

— Ах, вон оно что! Тогда мне все понятно, откуда забил источник благородства,— со значительным выражением поджал губы и покачал головой Ашихмин.

— Мы все выясним, все выясним,— торопливо говорил Чарноус и кланялся у порога, пропуская всех впереди себя.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

В семье Бородиных обеденное время, а еще перед ужином было не только долгожданным, но и веселым, людным и каким-то отрадным.

До нынешней осени частенько приезжали и приходили гости, а перед тем, как сесть за стол, подолгу беседовали в горнице. Младшие девочки Елька и Саня просились гостям на руки и любили теребить кофты да полушалки, а то расчесывать бороды или усы. Особенно одолевали бабу Грушу — Царицу.

— А почему тебя Царицей зовут?
— Нос у меня царский, дитятко, да голос зычной, как у Ильи Муромца. Вот и зовут, стало быть...
— А почему у тебя бороды нету?
— Нам с дедом одну бороду дали на двоих. Дед Филипп унес ее.
— Куда?
— На тот свет.
— А ты сходи на тот свет и принеси ее...
И хохот на всю горницу. Больше всех приставала с расспросами бойкая шалунья Елька, прозванная отцом ласково Коконей-Маконей.

Сережа, напротив, был молчалив и застенчив, он любил незаметно присесть где-нибудь в уголке и слушать, слушать без конца эти разговоры взрослых о войне да о колхозах, о тяжелых дорогах, о плутании в метель, о встречах с волками, а то еще про нечистую силу. «Иду я, братушки, с мельницы через выгон в самую полночь... Осень, грязь... в двух шагах ничего не видать. Он и летит. Голова вроде вон конфорки, круглая и светится. И хвост лентой вьется, искры от него во все стороны. Стоп — себе думаю... Это же змей...»

Этой осенью гости перевелись, так ребятишки придумали другую забаву — как только отец, убравшись со скотиной, приходил к обеду, они с визгом и хохотом бросались на него с печки, с полатей, лезли по ногам с полу, забирались на плечи, на спину и весело приговаривали: «Пилю дуб! Пилю дуб!» Это у них называлось — спилить дуб. Андрей Иванович топтался, как слон по полу, подходил к высоко взбитой, убранной постели и, придерживая детишек, издавал громкий вздох: «Ух ты, спилили!» И валился вместе с ними на кровать.

То-то было визгу и хохоту, барахтанья в подушках ребятишек, пока не разгоняли их сердитые окрики матери:
— Вы опять всю постель скомкали? Вот я вас мутовкой да по мягкому месту... Да по башке родителя вашего, который дурью мучается...
А за обедом сидели чинно, работали ложками вперегонки, особенно когда мясо таскали из чашки по общей команде отца.
— Папань, ты говорил — ноне сниматься пойдем к фотографу, — сказала Елька, отработав ложкой.

— Я тебя сам сниму,— ответил Андрей Иванович, подмигивая Надежде.

— В ботинях? — обрадовалась Елька.

— Ага. Давай, тащи их!

Елька соскользнула со скамьи и побежала в горницу за новыми ботиночками.

— Вот они, вот мои ботини! Снимай!

— Это мы сейчас... Надевай их!

Андрей Иванович принес сапоги, поставил на табуретку Елю и сказал:

— Ну, Коконя-Маконя, покажи, как ты будешь стоять у фотографа?

— Вот как! — Еля вытянула руки по швам и замерла.

Андрей Иванович поднес сапоги к вискам, накрылся черным платком и поглядел, пригнувшись, из-под платка на Елю:

— Ты меня видишь?

— Вижу,— ответила Еля.

— И я тебя вижу. Завтра будет карточка готова.

Маруся, Елька, Саня захлопали от радости в ладоши, а Сережа и мать засмеялись.

Тут и вошел Санька Клюев, снял шапку и, глядя себе под ноги, изрек от порога:

— Андрей Иванович, тятька тебя зовет.

— Что случилось?

— Нам штраф принесли, семьсот рублей. Ежели ф не заплатите, говорят, в двадцать четыре часа, все отберем и распродадим.

— Кто говорит?

— В бумаге написано. Мамка в голос вопит. Не знаем, что и делать.

— За кем еще ходил?

— За Алдониным, за Бандеем.

— Ладно, приду,— сказал Андрей Иванович, провожая парня.

— Доигрались,— сказала Надежда.

За столом Бородиных воцарилась мертвая тишина, даже ребятишки присмирели, толком не понимая — что случилось, отчего так посуровели отец с матерью.

Наконец Андрей Иванович обмыл над лоханью руки, обтер полотенцем усы и двинулся к вешалке.

— Не ходил бы, Андрей,— неуверенно сказала Надежда.

— Еще чего? — отозвался сердито Андрей Иванович от порога.

— А может, всех вас там на заметку возьмут, как эти самые алименты.

— Ты вон со стола убирай. Да скотину напои,— насупившись, отвечал Бородин, натягивая шапку.— А в мои дела не суйся. Я и без тебя разберусь как-нибудь.

— Гляди-ко, твои дела... А это чьи дела? — показала она на детей.— Дядины, что ли? Ежели с тобой что случится, куда их девать? Тебе ж на шею не намотают их, а со мной оставят.

— Намотают, намотают, намотают,— засмеялась Елька и замахала ручонками.

— Цыц ты, бесенок! Типун тебе на язык,— шлепнула ее мать.

Та притворно захныкала.

— Ладно тебе каркать, ворона! А то, не ровен час, накаркаешь беду,— сказал Андрей Иванович.— Не могу ж я к человеку задом обернуться? Надо же посоветоваться, помочь ежели в чем. Иль мы не люди? Сегодня его тормошат, завтра за меня возьмутся. А мы, как тараканы, по щелям расползаемся? Так, что ли?!

— Тебя разве перетолкуешь? Ты как жернов на помоле — закрутишься, так черт не остановит. Ступай, ступай, только потом не пожалей. Локоть близко, а не укусишь.

— Ты чего, сдурела, что ли?

— Не я сдурела, а вы с ним вместе сдурели. Уперлись, как быки. Довели ж ему задание на сто пудов, так пусть сдает. Чего ждать-то? Власть шутить не любит. Поперек пути пойдешь — все потеряешь. Не он первый, не он последний. Чего он ждет?

— Да голова — два уха! Сегодня они сто пудов наложили — отдай им без слов, завтра, глядишь, еще сто привалят. Вон как Костылину. Не то еще и двести запишут. У них аппетит, как у того Тита, что с большой ложкой лезет за стол кашу есть. Ежели окорот им не давать, они нас без порток по миру пустят. Понятно?

— Тоже нашлись укоротители! Смотрите, сами на задницу не шлепнитесь. Окорот! Кому, властям, что ли?

— Да ведь власть-то из живых людей состоит, а они все разные. Один прет напролом, глаза вылупив, а другой и посмотрит, что к чему... Да что с тобой

говорить! — Андрей Иванович махнул в сердцах рукой и вышел.

А что, пожалуй, Надежда права, думал он, идя к Федоту Ивановичу. Такая карусель завертелась, что поперек дороги станешь — сомнут. Клюев не понимает этого — больно азартен до выгоды. Где что услышит насчет купли и продажи, да по дешевке — ночи не будет спать, на край света улетит, а достанет. Недаром его Совой прозвали: «Энтот на локте вздремнет и снова на добычу улетит». Он и мышью не побрезгует, уберет, ежели оборот от нее будет. После отмены продразверстки, когда ввели свободную торговлю хлебом, они с братом Спиридоном по три тысячи, а то и по пять тысяч пудов зерна скупали за один базар, засыпали доверху свой семейный амбар, потом нанимали обозы и отвозили его на окскую пристань Ватажку, с Амросиевыми состязались. Прибыль — по копейке с пуда. Над ними смеялись: «Сова, дерьмо клевать и то выгодней — далеко летать не надо». А они богатели — по тридцать и по сорок рублей с каждого базара брали. Вот тебе и дерьмо! Спиридон молотилку купил, а Федот расстроился, как купец Иголкин — к пятистенному дому вышку прирубил да еще теплую мастерскую сложил из кирпича, что твой цех. Весь двор и подворье обнес высокой кирпичной стеной, инструменту накупил дорогого, австрийского и колесы точить начал. Руки у него золотые, ничего не скажешь. Но азарт, зарасть покоя не давали.

Мало колес! Шерстобитку подкупил, валенки валять начал в зимнюю пору, а по весне еще и кирпич подряжался бить. И когда он только успевал все делать? Семижильный, что ли? Видать, уж порода такая.

Дед его, Омеля, помер через свой азарт. Как напьется — бьет себя в грудь и кричит на весь проулок: «Я капитан!» В Астрахани на ботике людей перевозил с берега на берег. Вернулся домой с неукротимой жаждой — разбогатеть. А земли — всего две души. Так он половину надела морковкой засевал. Вот и ковырялся в ней — всю осень ходил грязный, как боров из лужи. Только что не течет с него. Все морковку продавал на базаре. Про него говорили, смеясь: капитан красным товаром торгует. А как землю получил после революции, так первым делом желоб вырубил из мореного дуба величиной с добрую лодку. «Ты что, Омеля, али купаться задумал в желобе-то?» — «Я, братушки, к этому желобу

четыре лошади поставлю».— «Откуда ты их возьмешь?» — «Куплю!» — «На что купишь, на какие шиши?» — «А вот с морковы разбогатею. Таперика земли много».

Но разбогатеть с моркови так и не успел. В большой пожар двадцатого года он зацепил желоб вожжами, выволок его со двора на дорогу и тут же помер. Надорвался...

Возле кирпичного подворья Клюевых, привязанная за кольцо, стояла накрытая попоной лошадь. Эге, кто-то издалека прискакал, подумал Бородин. Он прошел по дорожке из красного кирпича, выложенного елочкой на подворье. Входом парадным хозяева, видно, никогда не пользовались, двустворчатая дверь была забита наглухо, и на каменных ступенях крыльца торчал рыжий, спаленный морозом пырей. На подворье Бородин заметил свежую кучу березовых болванок, приваленных к стенке мастерской. Ба! Да это ведь Скобликово добро-то перекочевало сюда. Видать, в ту ночь Клюевы не спали.

В горнице за столом кроме хозяина сидели брат его, Спиридон-безрукий (руку оторвало ему на молотилке), Мишка Бандей, Прокоп Алдонин, Иван Никитич Костылин да еще бродячий юрист Томилин, который забрел из далекой Елатьмы. Он летел сюда, как ворон на добычу; чуял, когда мужиков трясли. Появлялся он здесь и в ту пору, когда прогрессивным налогом обкладывали, и когда самогонщиков гоняли, и когда торговлю хлебом запрещали, ловили на ночных дорогах подводы с зерном.

Завидя его высокую сутулую фигуру в длинном черном пальто, как в сутане, бабы шарахались в стороны и торопливо, истово крестились: отнеси, господи, от порога моего. Тот, к кому он сворачивал, обреченно опускал голову и смиренно выслушивал — куда надо идти жаловаться и кому писать прошение. И вот что диво: горожане знали одного Томилина, а поселяне — совсем другого; в городе Томилин околачивался возле трактира да пивной, попрошайничал, кривлялся, изображая из себя то артиста, то певца, то скомороха, а здесь, по селам, ходил угрюмый и важный, как поп, и вместо грязной рубашки с галстуком надевал черную просаленную, как власяница, толстовку. «Перво-наперво изложите вашу обиду, кто вас потревожил? А насчет закона не беспокойтесь — распутаю и напишу куда следует».

Он и рассказывал, покуривая «козью ножку», заложив ногу на ногу в латаных и растоптанных сапогах. Бородин снял шапку и, распахнув полушубок, присел на скамью.

Ему кивнул головой хозяин, и он кивком головы поздоровался со всеми разом. Слушали Томилина все, угрюмо насупившись.

— Вы, мужики, народ упрямый и недоверчивый. Пока вас оглоблей по шее не ахнут, вы и не почешетесь. Ведь ясно же — проводится политика ликвидации кулачества как класса. В этой связи надо перестраивать свое хозяйство — видимую часть его надо уменьшать, а невидимую — увеличивать.

— Это какая же видимая, какая невидимая? — спросил Прокоп.

— Видимая часть та, что состоит на учете в сельсовете, а невидимая часть лежит у тебя в кармане.

— А чего с этой невидимой частью делать? В карты ежели спустить или пропить,— сказал Бандей.

— Деньги, ежели они находятся при трезвой голове, могут делать еще деньги.

То-то и видно, что за трезвая у тебя голова, подумал Бородин, глядя на его отекшее серое лицо с проваленными подглазьями.

— Нет,— сказал Федот Иванович,— этот оборот не для нас. Наше богатство — вот оно! — выложил он на стол огромные, как лопаты, ладони.— К ним нужен еще добрый инструмент да справное хозяйство — иначе с голыми руками ничего путного не сотворишь. В каждом деле должен быть упор, но когда этот упор выбивают из-под тебя, тогда как? Ну, продам я хозяйство, продам инструмент, а самому куда деваться? В город на торги, что ли?

— Зачем в город? Здесь оставайся,— смиренно отвечал Томилин.— Вступай в колхоз. Уравняй себя со всеми иными прочими в этой видимой части. А дома, для себя — ты тот же мастер. Или тебе заказы не принесут? Принесут. Кому самопряху сделать, кому кадку, кому рубе́ль... Да мало ли нужды в хозяйстве у каждого останется.

— Это что же выходит? Вы мне вроде бы советуете отвесть самому и лошадей, и коров, и весь инвентарь энтим голозадым? Отдай жену дяде, а сам ступай к б....? Нет уж, дудки. Пускай лучше порушат и хозяйство мое, и меня с ним, ежели ф есть у них такое право. А я погляжу, погляжу! — Клюев сжал кулаки и стукнул себя по коленке.

— О каком праве ты говоришь, Федот Иванович? — сказал Костылин.— Разве тебя по праву обложили? Ты же

все налоги выплатил? Ну! И я выплатил. Я даже одно твердое задание оплатил, так второе дали. Откажемся — разорят вконец. Вон Лопатина в Степанове из дому выбросили и все имущество распродали. Ступай теперь на все четыре стороны, ищи свое право. Куда хоть жаловаться? — спросил он Томилина.

— В этой связи надо писать в президиум ВЦИК на имя товарища Калинина,— ответил Томилин.

— А что толку от этих писаний? — сказал Бандей.— Туда писать, что на луну плевать, только себя тешить пустой надеждой.

— Ну, не скажите,— возразил Томилин.— Михаил Иванович — свой человек, он из тверских крестьян.

— Ты сколько ему писал жалоб-то? — спросил его Прокоп.— У тебя на голове волос, поди, меньше будет,— глянул он на лысеющую голову Томилина.— И что ж, на все ответ приходит?

Тут расхлестнулась дверь, и, грохая сапогами, ввалился Федорок Селютан.

— Здравствуйте, с кем не виделись! — загремел он от порога.— Кого ждут, а кто и сам идет.

— У нас лишних не бывает,— отозвался хозяин.— Присаживайся, Федор! — И опять Томилину: — Вы вот что скажите: отчего этот свой человек из ВЦИКа многого не замечает? Или задание такое получил?

— До всех у него руки не доходят,— ответил Томилин.— Сколько нас? Миллионы! А он один. Но верить надо, что твое дело дойдет.

— Н-да. И тут верить надо,— сказал Иван Никитич.— А я вот вам что скажу, мужики. Политика — такая штукенция, что она существует сама по себе. Ты в нее вошел, как вот в царствие небесное, а назад ходу нет. Там уж все по-другому, вроде бы и люди те же, а летают; ни забот у них, ни хлопот — на всем готовом. А порядок строгий: день и ночь служба идет. Смотри в оба! Перепутаешь, не ту молитву прочтешь — тебя из ангелов в черти переведут. Нет, мужики, им не до нас, они своими делами заняты. Так что надеяться нам не на кого. Есть у тебя своя голова на плечах — вот и кумекай, чтобы не попасть как кур во щи.

— Извини, братец, но у тебя понятие о политике старорежимное,— усмехнулся снисходительно Томилин.

— А ты что, политик? Юрист, да? — спросил Селютан, выкатывая на него белки.

— Да, юрист,— качнул головой Томилин.

— Тогда ответь на такой вопрос: почему Ленин ходил в ботинках, а Сталин ходит в сапогах?

— Ну, это несерьезно!

— Как так — несерьезно? Видел на портретах — Ленин в ботиночках со шнурками. И брюки отглажены. Все честь по чести. А Сталин завсегда в сапогах. Почему?

— Такая уж форма одежды. Сталин — человек полувоенный,— ответил, пожимая плечами, Томилин.

— Чепуха! — сказал Федорок.— Ленин был человек осмотрительный, шел с оглядкой, выбирал места поровнее да посуше, а Сталин чертом прет, напролом чешет, напрямик, не разбирая ни луж, ни грязи.

Все засмеялись, задвигались, зашаркали сапогами.

Вошла в горницу через внутреннюю дверь худая горбоносая старуха, мать Клюева, прозванная на селе Саррой, хотя по крещению записанная когда-то Сосипатрой. Сурово и прямо глядя перед собой, она несла в протянутых руках графин с зеленоватой, как расплавленное стекло, самогонкой и краюху хлеба. Положив это добро перед хозяином, она все с той же погребальной строгостью прошла к переднему углу, зажгла лампаду перед божницей, перекрестилась, кидая щепоть пальцев длинной худой руки, и вышла все с той же сосредоточенной строгостью на лице, ни на кого не глядя и никого не замечая. С минуту все молчали, будто покойника пронесли.

Хозяин, нарезая хлеб, стараясь расшевелить притихших гостей, весело спросил Селютана:

— У тебя, Федор, на все есть готовый ответ. Скажи откровенно, платить мне штраф или нет? Только подумай сперва.

— Тут и думать нечего: ежели дурак, то плати штраф. За что? Сам подумай! Советской власти ты не должен. Налог внес, самообложение тоже, госпоставки всякие и тому подобное. А это — беднота дурит, она свой оброк на тебя наложила. Ротастенький старается, под корень тебя секут. Покажи им вот такую малину,— он заголил по локоть руку и покачал здоровенным кулаком.

— А если мое хозяйство разнесут? — спросил Клюев.

— Бери с собой Сарру и топай в Москву. Покажи ее в Кремле. Вот, мол, до чего нас довели. Они испужаются и все вернут тебе сполна.

Бородин не выдержал и захохотал, потом, сглаживая неловкость перед Клюевым, сердито сказал Селютану:

— Обормот ты, Федор! Тебя всерьез спрашивают, а ты жеребятину несешь.

Клюев, насупившись, молчал, а Иван Никитич, глядя в передний угол на ровно светившую лампаду, сказал, вздыхая:

— Ох-хо-хо! Жизнь окаянная настала. Мечемся, грыземся как собаки, прости господи! А про спасение души своей и подумать некогда. Я уж, грешным делом, совсем запамятовал. Что за праздник ноне, Федот Иванович?

— Праздник не праздник, а все ж таки день Иверской иконы Божьей Матери,— ответил Клюев.

— Да, да. Принесение иконы в Москву в царствование Алексея Михайловича. Спаси и оборони нас, царица небесная.— Костылин торопливо перекрестился и, склонив голову, задумался.

— Да,— подтвердил собственные мысли Прокоп.— Это верно. Кажное явление Божьей Матери своей иконой отмечено. Одно слово — акафист.

— Всего было семьдесят пять явлений Божьей Матери. А вот почему теперь их нет? — спросил все время молчавший Спиридон-безрукий.

— Явления Божьей Матери исторически никем не зафиксированы.— сказал Томилин.— То есть это вроде мифологии.

— Чаво? — Федорок поглядел на него с презрением и добавил: — В другом месте наставил бы я тебе самому эту пифологию под обоими глазами.

— Это не доказательство. Ты вот ответь человеку, почему теперь нет этих явлений? Ясно же, что религиозный дурман схлынул и вера в чудеса пропала.

— Дурман никуда не схлынул; кто был дураком, тот дураком и остался. А явлений нет потому, что бог махнул на нас рукой. Как вы, говорит, деретесь, так и разберетесь.

— Логика оригинальная, но ответ не по существу.— Томилин отвернулся от Селютана и забарабанил пальцами по столу.

Вошел Санька Клюев, одутловатый сутулый малый лет двенадцати. Он принес тарелку соленых огурцов и на деревянной чаше квашеный вилок капусты. Клюев-старший, заметив вилок на чаше, строго сказал сыну:

— Это кто ж надумал квашеный вилок на хлебную чашу класть?

— Бабаня подала из подпола.

— Бабаня! А ты чем думаешь? С него сок течет, а дерево влагу не любит. Живо тарелку!

Бородин глянул на чашу и поразился ее диковинной резьбе: по широким краям ее были рельефно выточены груши, да яблоки, да виноградные грозди вперемешку с игрушечными седелками и хомутами. И только теперь, будто в первый раз, заметил он и затейливую резьбу на божнице в виде петушков да лисиц, и косяки оконные и дверные, покрытые резьбой на манер церковных колонн, и верхний кружевной бордюр на изразцовой лежанке возле грубки. Ну и ну! Такое вырезать да выточить может только человек, и взаправду не спящий целыми ночами.

Санька принес еще тарелку и стеклянные стопки. Федот Иванович мотнул ему головой:

— Присаживайся!

И тот, зардевшись от радости, с повеселевшим лицом, сел на лавку. Федот Иванович нарезал вилок широкими ломтями, положил их на тарелку и полил конопляным маслом, в стопки налил самогонки.

— Ну, будем здоровы, если не помрем.

Выпили дружно, с выдыхом, потом шумно хрустели капустой, разгоняя по горнице тяжелый и смрадный запах сивухи.

— Явлений теперь нет, это верно,— сказал Федот Иванович.— Не слыхать про них что-то. А вот к чему знамения бывают?

— Какие знамения?— спросил Томилин.

— Обыкновенные. Летом на старом бочаговском кладбище спаренных волов видели. Не наших быков, а волов — с длинными, загнутыми кверху рогами. Пытались их взять и наговором, и молитвой, по-всякому. Пропадают. Не даются, и шабаш.

— Клад, наверно,— сказал Федорок.

— Клад рассыпается от удара. А эти даже к себе не подпускают. Пропадают! Растворяются в воздухе, как пар с воды. Нет, это не клад. Это знамение. Ох, не к добру. Вон, в Линдеровом лесу опять немка в белом появилась. В старые времена ходила она и плакала в Ивановскую ночь. А теперь, говорят, по осени ходит. Намедни Тарантас за дровами ездил. Да припозднился. Она его и встретила на порубке. Стоит на пеньке, плачет и все руки к нему протягивает. Лошадь как захрапит — да в сторону.

Телега — со шкворня долой. Вожжи оборвались. Лошадь с одними передками умотала, а Тарантас пешком пришел. Инда поседел, говорят.

— Куда еще? Он и так седой как лунь,— сказал Прокоп.

— Что за немка в белом? Не призрак ли? — усмехнулся Томилин.— Ах, темнота ваша!

Федорок положил свою каменную пятерню на плечо Томилину, так что тот вильнул корпусом и охнул.

— Ты, паразит, зачем сюда пришел? Жалобы писать? Вот и сиди жди — когда твоя очередь подойдет. А в разговоры наши не суйся! Понял?

— Федор! — осадил его Бородин.— Ты где находишься, на базаре?

— Это он базарит. Начитанность нам показывает. А я ему об уважении напомнил.

— Линдерша, как говорится, здешняя. Эта не в диковину,— сказал Иван Никитич, потом сделал выдержку и понизил голос: — А вот что царская дочь появилась в наших краях, это, мужики, чудо из чудес.

— Фантазия. Царская семья вся была расстреляна,— не удержался от возражения Томилин и опасливо покосился на Федорка.

Тот с выжидательной готовностью уставился на Костылина: чего, мол, с ним делать — бить или подождать? — было написано на лице Селютана.

— Вся, да не вся,— сказал Костылин.— Анастасия уцелела. И за границей об этом пишут.

— Интересно, как могла уцелеть она, ежели их в подвале дома купца Ипатьева расстреляли всех в одну и ту же ночь?

— А ты что, сам расстреливал? — спросил все так же враждебно Томилина Федорок.— Ежели ф люди говорят, значит, видели ее. Ну, игде она появлялась? — обернулся к Ивану Никитичу.

— Говорят, она целый месяц в Касимовской типографии работала. Заехал за ней брат царя, Михаил. И по дороге в Пугасово они ночевали у Тихона Карузика. И будто бы, прощаясь, они сказали: граждане, пора надевать кресты. Теперь уж, мол, недолго. Мы вернемся еще.

— Интере-эсно! — покачал головой Федорок, потом вдруг заматерился, ударил по скамейке кулаком и заскрипел зубами: — Ух ты, мать твою перемать! Давай еще по одной дернем!

Клюев, разливая самогонку, повеселев, покосился на Прокопа:

— Ну, и что ты скажешь, Прокоп Иванович? Как, будем платить или нет?

— Я свое все заплатил. Больше мне платить нечем.

— А ты, Иван Никитич?

Тот горестно вздохнул и потер лысину:

— Эх, Федот Иванович, Федот Иванович! Ты, брат, человек опытный и с понятием. Ну неужто не видишь, что они только и ждут, чтобы мы заупрямились? Тут нас и ахнут, как быка по лбу. Как вон с Лопатиным поступили, так и с нами будет. Надо платить.

— А ты что отмалчиваешься, Андрей Иванович? — спросил Клюев Бородина.

— Иван Никитич прав. Ва-банк теперь не играют. Не такое время. Заупрямишься — и сразу пойдешь в расход. Иные прыткие из начальства только этого и ждут. Он, мол, несговорчивый. Зачем же самому напрашиваться на конфискацию? Зачем облегчать им работу?

— Постой! Но ведь ты сам не внес сто пятьдесят пудов сена?!

— Я действовал окольным путем. Руку позолотил. Тройку гусей отдал. У меня приняли. А ты и говорить ни с кем не хочешь.

— Не с кем говорить. Да об чем? Отдать семьсот рублей — значит, свести со двора обеих лошадей и корову. Больше продать нечего. А что мне делать без скотины? Как Томилину, по дворам итить? Нет уж, своими руками хозяйство рушить не стану. Пусть берут, что хотят.— Он поднял стопку.— Эх, двум смертям не бывать, одной не миновать. Поехали!

2

Уже по-темному вернувшись домой, Андрей Иванович застал у себя Ванятку Бородина, тот сидел на деревянной приступке запечника и покручивал свои пышные цыганские усы, а за столом — целая орава белоголовых ребятишек. Кроме четверых своих сидело еще три Мишиных девочки, и деревянными ложками все дружно хлебали жидкую молочную кашу — разварку. Андрей Иванович с недоумением глядел то на ребят, то на жену,

сидевшую поодаль от стола на табуретке, то на лукаво ухмылявшегося Ванятку.

— Папаня, мы на ту сторону пруда переезжаем.— похвасталась из-за стола Елька.— Как все съедим, так и переедем, маманя говорит.

— Дак чего, с прибылью, значит? — сказал Ванятка, здороваясь с хозяином.

— Откуда бог послал? — спросил Андрей Иванович Надежду, кивая на ребятишек.

— Вон, Иван привел.

— А Соня где?

— А черт ее знает...

— Заболела, что ли?

— Ага... той самой болезнью, которую лечат чересседельником по толстой заднице, прости господи,— ответила Надежда.

— Наша мамка с дяденькой Павлом ушла,— сказала от стола шестилетняя Маруська, старшая.

— Куда ушла? — еще не понимая, спрашивал Андрей Иванович.

— На собранию,— опять ответила Маруська и хвастливо добавила: — А дяденька Павел принесет нам конфе-эт. Если мы будем сидеть тихо и не орать.

— Какое собрание? Какой Павел? — начиная терять терпение, раздраженно спрашивал Андрей Иванович.

— Твой друг, Кречев,— сказала Надежда.— Увел ее, суку... туда, где черти собираются на шабаш.

— Постой, постой... Кречев увел Соню? — бледнея от скверной догадки и как бы не веря еще тому, что случилось, спросил Андрей Иванович.

— Господи! Вот пихтель-то...— хлопнула себя по коленям Надежда.— Да все село об этом языком треплет, а до тебя все еще никак не доходит.

— Гадина! Подлюка! Убить ее мало! — взорвался Андрей Иванович и, сжав кулаки, скрипя зубами, бросился в горницу.

— Дошло наконец,— сказала Надежда и, обращаясь к Ванятке: — Погоди малость, не ходи к нему, счас он отойдет... Не то с ним толковать теперь, что с цепным кобелем.

Из горницы послышался грохот передвигаемых табуреток.

— Ну, за табуретки взялся,— пояснила Надежда, прислушиваясь, и вдруг зычно крикнула через дверь: —

Ты смотри, комод не опрокинь, Саранпал! Или я тебе покажу гром среди ясного неба. Ступай, ступай! — заторопила она Ванятку. — Расскажи ему, всю картину распиши — не то он и в самом деле как бы чего не поломал.

Ванятка застал сердитого хозяина, рыскающего по горнице, как тигра в клетке.

— Гадина! Сука! Всю нашу родню опозорила! А Пашка-то, Пашка! Вот подлец! Я ли его не поил? Его ль не привечали всей семьей. А он, как вор. Хуже Ваньки Жадова. Где они? Скажи, где?

— Да погоди ты кипятиться. Все узнаешь в свое время.

— К черту это время! Не хочу ждать. Говори сейчас же, ну! — подступал Андрей Иванович к Ванятке.

— Откуда я знаю? Кабы знал, к тебе бы не привел детей, голова два уха. Ты сядь. Чего кипятишься, как паровоз? Что ты, в самом деле, иль дите малое, иль не замечал, как увивался вокруг тебя Кречев! Все к Марии норовил подмулиться, так, видно, по зубам получил. А Соня податливей оказалась. Вот он и подлагунился.

— Ах, стерва! Ах, сука! — Андрей Иванович достал кисет и трясущимися руками, рассыпая махорку, стал скручивать цигарку. — Опозорила всех нас.

— Да что она тебе, жена или дочь?

— Какая разница! Семья-то одна. Сам, головастый, в Юзовку укатил, а на меня свалил все. Я ж ей и дров вожу, и картошку... Дом вон строю. Она ж рядом, рука об руку. И такое выделывает? А что, ежели забрюхатеет? На меня ж пальцем указывать начнут. Ведь целыми днями со мной крутится, в пустом доме. А-а! — и головой замотал.

— Да ты садись! Что мы, как на большой дороге встретились, — уговаривал его Ванятка. — Давай сядем — и я тебе все расскажу.

Сели на диванчик, закурили.

— Я, грешным делом, думал, что ты с умыслом не замечаешь. Или отношений портить не хочешь. Все ж таки он председатель.

— Да пошел он от меня к едрене фене со своим председательством! — взорвался опять Андрей Иванович.

— Ну, ясное дело. Тогда слушай все по порядку. Она ж квартирует напротив меня, и видно же все... Правда, ходил он к ней только по-темному. И с поля заходил, как

волк. По ночам, когда девчонки засыпали. И уходил на заре. Однова мы с ним встретились. Я шел на Тимонино болото, мерин у меня там на приколе пасся. Вот тебе, только я вышел на конопляники — и он тут как тут, через плетень лезет. Павел Митрофаныч, говорю, ты что, или за терном лазил? Я, говорит, Иван Евсев, за тем терном, который только ночью в постели щелыкают. И еще подмигнул мне. Ладно. Встрел я ее как-то в картошке на задах. Вокруг никого. И говорю: Соня, ты все ж таки мужняя жена, на тебя дети оставлены. Хоть они тебе и чужие, но ведь матерью зовут. Мотри, говорю, ежели они пожалуются на обиды, я тебя ущучу перед всем селом. Да чхала, говорит, я на ваше село. А к детям ты не прикасайся. Ладно. Стемнелось ноне, собрались мы ужинать. Вот тебе сосед Ботик — грох, грох в окно. Я выглянул: чего тебе? Ступай, говорит, к Соне. Там дети криком надрываются. Схватил я куфайку — и туда. Прибегаю. Заперто на висячий замок. Прислушался, а в доме разлюли-малина! Кошки орут дурным голосом на чердаке, и дети в три голоса в избе визжат, будто кто их режет. Я поднял камень с дороги, ахнул им по замку, ажно дужка отлетела. Вошел — они ко мне, вцепились в штаны и все трёской трясутся. А кошки, кошки на чердаке еще пуще заливаются. Я успокоил детей, залез на чердак, а там одна кошка в капкан попалась — на кадке с мясом поставили капкан, а вторая (кот, наверно) за боровом[1] сидит и перекликается с этой дурным голосом. Прогнал я кошек, спустился к детям, спрашиваю: где мать? Ушли с дяденькой Павлом, а нам конфет дали и спать уложили. Ну, я туда-сюда. Посидите, говорю, я ее счас найду. Ой, дяденька Ваня, не уходи ради Христа! Вцепились опять в меня, дрожат... Ну что делать? Крикнул свою Нёшку: посиди, говорю, с ними, а я Соню поищу. Сбегал в клуб — нет. На квартиру к Кречеву — нет. Оставлять ребят одних — плачут. И есть просят. Я их одел и к тебе вот привел, а Нёшку послал Соню искать. Найдет — скажет нам. Нет — пусть у тебя заночуют. Небось придет.

— Ну, уж я с ней поговорю,— мстительно сказал Андрей Иванович.— Придется братьев звать. Надо что-то делать. Или Михаила вызывать?

— Это уж непременно. Не то она детей загубит.

---

[1] Боров — лежачая дымовая труба на чердаке.

Вошла Надежда:

— Вы чего ж тут расселись? Давайте к столу, самовар подходит.

— Тут поговорим. Там ребятишки, все ж таки неудобно,— возразил Андрей Иванович.

— Чего они понимают?— сказала Надежда.

— Все они понимают... Говорю вот, Михаила придется вызывать, иначе детей загубит.

— Вызывай... Да толку-то от него,— махнула рукой Надежда.— Он, головастый, в рот ей глядит, как телок в помойное ведро. Что она захочет, то и вытворяет с ним.

Ванятка хохотнул, а Надежда, подстегнутая этим смешком, набросилась на мужа:

— Еще два года назад я вам что говорила? Она жить с детьми не будет. Ее ж за версту видать — вертихвостка. А вы что? Слюбится — стерпится... Стерпелось... Если уж кому и приходится терпеть, так детишкам. В прошлом годе, как раз перед отъездом Михаила,— обернулась она к Ванятке,— прибегает ко мне Маруська, старшая. Мы завтракали как раз. Она, бедная, глаз от стола не отводит. Ты что, аль есть хочешь? Хочу. Мы, говорит, не завтракали. А где мамка? На конопляники ушла. Что ж она вас не покормила? У нас, говорит, ничего не сварено. Хлебца поели — и все. Ладно, накормила я ее и повела домой. Смотрю — у них посреди стола лежат краюха хлеба и нож. Они, бедные, и отрезать хлеба толком не умеют. Так, пощипали от него, как мышата. И на печи сидят. Я залезла в подпол, набрала картошки, наварила им, намяла, маслом заправила и накормила. Мои девки повеселели и защебетали, как галчата. Ну, ладно, думаю про себя, ужо я устрою тебе, головастый дурак, представление. Кто-то, видать, вызнал и предупредил их. Пришла я вечером — Соня прикинулась больной, в постели лежит. А сам сидит за столом, ужинает и пыхтит, как самовар. Я и говорю: Соня, пошто ты детей не кормишь? Иль у вас картошки мало? Иль некогда помыть ее да отварить? Сказала бы нам, что тебе некогда. Мы придем, наварим и натолкем. Ой, господи, застонала она, помереть спокойно не дадут. Сердце у меня заходится, Миша! А он надулся до красноты, как рак ошпаренный, и говорит: что ж ты нам жить не даешь? Ту жену отправили на тот свет и теперь за эту беретесь. Ах ты, тара большелобая... Дурак ты, дурак и есть. Мне-то что? Я плюнула да ушла. Это ж

надо такое сказать: ту жену со свету сжили. Да она ж больная была, чахоточная. Я за нее всю войну ворочала и в поле, и в лугах. Ей сроду пахать не давали. Всё на мне выезжали...

— Ну хватит тебе свои заслуги расписывать! — оборвал ее Андрей Иванович.— Самовар, что ли, принеси.

— Что, не любишь правду слушать? Ну да, правда — она всем глаза колет,— сказала Надежда и вышла.

— Я зачем еще зашел к тебе...— Ванятка кашлянул, помялся и вынул из брючного кармана измятую брошюрку.— Вот, прислали нам устав колхозный. Может, посмотришь.

— И смотреть не буду, и говорить не о чем.

— Это ты напрасно. Здесь, например, сказано, что мелкий скот можно на дому держать.

— Где хотите, там и держите. А разговаривать нам не о чем. И не хочу я говорить с вами!

— За что ты дуешься на нас?

— За что? — поднял голову Андрей Иванович.— Старое зашло, а новое наехало. Вы за что Клюева и Прокопа в расход пускаете? Какие они кулаки? Это трудяги из трудяг!

— Ты на меня так орешь, будто я руководил тем собранием, на котором обложили их подворкой.

— Ты же там сидел!

— Силе-э-эл! — передразнил его Ванятка.— А что толку от моего сидения? Иль ты хотел, чтоб я, как Серган, бросился с кулаками на Сенечку и на Ротастенького? Шалишь! Я не о двух головах. Дураков ноне нет.

— Ну вот и собирайтесь все умники в свой колхоз. А меня тянуть нечего. Гусь свинье не товарищ.

— Все делишь на свиней да на гусей, все от старого понятия идешь. А того понять не хочешь, что в колхозе с дележкой будет покончено. Ни бедных, ни богатых не будет. Никаких меж, не токмо что в поле... Промеж нас все уравняется. Миром одним жить станем. Ми-иром.

— Миром? Ты видел, как в свинарниках свиньи живут? Когда кормов вдоволь, еще куда ни шло. А чуть кормов внатяжку, так они бросаются, как звери. Рвут друг у друга из пасти. А то норовят за бок ухватить друг друга или ухо оттяпать.

— Дак то же свиньи.

— А человек зарится на чужое хуже свиньи.

— ...и кормов, говоришь, мало,— продолжал Ванятка свою мысль.— А у нас в колхозе еды будет вдосталь. Это самое придет, изобилие.

— Откуда оно к вам придет? С неба свалится? Чтобы достаток был, надо хорошо работать. А человек только тогда хорошо работает, когда чует выгоду. У вас, сам же говоришь, выгоды не будет. Все на сознательность. Какая у нас, к черту, сознательность? Где ты ее видел? У кого? У Ротастенького сознательность, да? Или вон у Степана Гредного? Да с такою сознательностью вы до точки дойдете, до голодного пайка. И пойдет между вами грызня. Еще похлеще свиней начнете рвать все, что можно.

— Это ты напрасно... У нас собирается уже более тридцати семей. И не одни Степаны Гредные да Ротастенькие. И брат твой, Максим, и вон — сам Успенский к нам вступает.

— Слыхал,— сказал Андрей Иванович, поморщившись.— Максиму в деревне делать нечего. Он лоцман. Привык указания давать. И здесь норовит распоряжаться. Поди, каким-нибудь завхозом станет. А Успенский что ж? Успенский — учитель. Не все ли равно, где ему числиться,— в единоличниках или в колхозниках?

— Он же все свое имущество отдает! И дом, и сарай, лошадь, обоих коров. Весь инвентарь!..

— И правильно делает. Ему этот инвентарь, как собаке пятая нога. А дом? Что ж ему пустому стоять? Имей совесть, скажут. Сам не догадываешься отдать — отберем. Он не дурак, Успенский.

— Все у тебя с умыслом. Каждый идет в колхоз вроде бы по нужде или выгоду ищет. Так неуж нет таких, кто по чистому желанию вступает?

— Таких дураков, Иван, маловато. Пока...— Андрей Иванович подумал и добавил: — Не то беда, что колхозы создают; беда, что делают их не по-людски,— всё скопом валят: инвентарь, семена, скотину на общие дворы сгоняют, всю, вплоть до курей. То ли игра детская, то ли озорство — не поймешь. Все эти куры, гуси да овцы с ягнятами перепутаются в общей массе да передохнут, и семена сортировать надо, и лошадей в руках держать, каждому поручать ее под роспись, чтобы ответственность чуял. Что с ней случится — пороть нещадно виновника. И

за землю так же отвечать надо: за каждое поле, за каждый клин ответчик должен быть, чтобы спросить с кого! Видал я в колхозе «Муравей», как они работают. Поля и лошади общие, да. Но вся остальная скотина своя, по дворам стоит. И за каждую лошадь свой ответчик, и за каждое поле — тоже. А теперь и «Муравей» ликвидируют. Все под общую гребенку чешут, все валят в кучу. Нет, так работать может только поденщик. А мужику, брат, конец подходит.

— Какой же конец? Все в колхоз соберемся, и мужик сохранится.

— Э, нет! Это уже не мужик, а работник. Мужик — лицо самостоятельное. Хозяин! А хозяйство вести — не штанами трясти. То есть мужик способен сводить концы с концами — и себя кормить, и другим хлебушко давать. Мужик — значит, опора и надёжа, хозяин, одним словом, человек сметливый, сильный, независимый в делах. Сказано — хозяин и в чужом деле голова. За ним не надо приглядывать, его заставлять не надо. Он сам все сделает как следует. Вот такому мужику приходит конец. Придет на его место человек казенный да работник... Одно слово, что крестьяне.

— Вота, завел панихиду. Новую жизню надо песнями встречать, а ты за упокой тянешь.

— Для кого жизнь, а для кого и жестянка.

Вошла Надежда, а с ней краснощекая с мороза рослая девица в пуховой шапочке, племянница Ванятки.

— Вот она, окаянная, что делает! — опережая Нёшку, затараторила Надежда.— На попойку собиралися к Фешке Сапоговой.

— Кто окаянная? Нёшка, что ли? — спросил Андрей Иванович, плохо соображая, и весь еще наполненный своими мыслями.

— Какая Нёшка, бирюк? Соня! Гуляют с Кречевым у Фешки.

— Кто вам сказал? — спросил Ванятка.

— Да вот она,— указала Надежда на Нёшку.

— Ты что, была у них? — спросил опять Ванятка.

— Нет, мы в окошко подглядели... С завалинки,— сказала Нёшка, от смущения прикрываясь варежкой.

— Ну, я туда не ходок,— сказал Ванятка.— Меня Фешка и на порог не пустит.

— Ладно, я сам схожу,— сказал Андрей Иванович, вставая.

3

Еще ранним утром Кречева вызвал по телефону сам Возвышаев. Не успел тот переступить порог сельсовета, как оглоушила его дежурившая ночью у телефона Козявка:

— Павел Митрофаныч, тебя разыскивают.

— Кто это по мне соскучился?

— Возвышаев велел итить немедленно в РИК. Колёпа на кватеру за тобой бегал. А теперь к Бородиным пошел.

— Зачем?

— Мы думали — ты тама.

— Думает боров...

Но Кречеву не дал договорить заверещавший телефон. Он подошел к стене, снял трубку и, закрываясь кулаком от Козявки, сказал:

— Кречев слушает.

— Ты где шляешься? — сердито спросил голос Возвышаева.

— Где я шляюсь? День только начинается... Вот, на работу пришел.

— А ночью в прятки играешь?

— Это мое дело. Ночь существует для отдыха.

— Отдыхать будем при коммунизме, когда колхозы построим. А пока не до отдыха. Изволь оставлять свой адрес, где ночуешь. У нас боевая обстановка, понял?

Кречев выругался про себя, запыхтел, но ответил покорным голосом:

— Понял.

— Сегодня же, и немедленно, вручите повестки кулакам Алдонину и Клюеву, которые злостно уклоняются от сдачи хлебных излишков.

— Какие повестки? Мы их известили и насчет штрафа предупреждали.

— Предупредить вторично. И ежели в течение двадцати четырех часов не выплатят штрафа, то по истечении срока приступить к конфискации имущества вышеупомянутых кулаков.

— В каком разрезе?

— В обыкновенном. Конфисковать все. Дом, сарай, подворье, инвентарь оставить в собственность за сельсоветом, все остальное, вплоть до одежды, продать в счет погашения штрафа. Ясно?

— Ясно.

— Подготовьте комиссию. Соберите членов, проинструктируйте.

— Завтра соберем.

— Нет, не завтра, а сегодня. Завтра же, с девяти часов утра, приступить к исполнению. Вот так — коротко и ясно: конфисковать!

— Может, кто из РИКа возглавит комиссию? Пришлите представителя.

— Никаких представителей! Вы сами не дети. У вас — власть, вы и распоряжайтесь. Работать двумя группами. Ты одну возглавишь, а Зенин другую. И не забудьте взять с собой работников милиции. Чтоб никаких вспышек на стихийность. Закон и порядок.

— Ясно.

Кречев повесил трубку и обалдело поглядел на Козявку. Та стояла у порога и силилась отгадать — за что ругают председателя. Что ругают — это она догадывалась по тому, как он замер на месте, словно его мешком накрыли. Глядел он на нее, глядел и выматерился.

— Дак мне чего, итить? — спросила Козявка.

— Позови ко мне Левку и Зенина и уходи домой.

Как эта конфискация выглядит на деле, Кречев себе не представлял. Он ходил по своему кабинету, давил скрипучие половицы и думал, старался вообразить, как это он придет к Федору Ивановичу, с которым пил не однажды, и скажет ему: «Выйди вон! Сейчас мы твои пожитки продавать будем...» А если тот не пойдет, дак чего ж, вязать его? Силом выводить?

Первым пришел Левка Головастый, он заполнил стандартные повестки насчет штрафа, оба расписались, шлепнули печатью, и рассыльный Колёпа помотал к «вышеупомянутым» кулакам. А что дальше?

— А дальше я ни бе, ни ме, ни кукареку,— сказал Кречев.— Надо ждать Зенина.

Пришел и Зенин, пришел важный, с парусиновым синим портфелем, в кожаной фуражке, полученной из районного распределителя, и в хромовых сапогах с галошами.

— Ну что, комарики-сударики? Получили боевое задание и растерялись? — весело спросил он от порога.— Эх вы, телята на поводу классового врага. Быками надо становиться, реветь и землю рыть. Сейчас я вам покажу, что надо делать.

Он кинул портфель на стол, фуражку на портфель, пиджак расстегнул, и закипела работа.

— Сперва надо комиссию составить. Значит: ты, да я, да мы с тобой. Еще кто?

— Да я с чернильницей,— пропищал Левка.

— Ишь ты, блоха какая! — удивился Сенечка, глянув на Левку.— Туда же лезет, в руководители. Запомни, Левка, если ты хочешь сделаться большим человеком, научись сперва быть маленьким. И не вякай, когда говорят старшие.— И опять Кречеву: — Значит, ты да я. Это уже кое-что значит,— и записал в тетрадь обе фамилии.— Теперь давай прикинем, кого за компанию брать? Установка такая: по одному от Совета, по два от бедноты, по два от комсода, да плюс к тому два человека от села, вроде понятых, и от милиции. Ну, кого берешь?

— Да мне все равно,— сказал Кречев.— Пусть идет Левка, из милиционеров Сима. А этих тихановских пиши подряд. Все равно от них толку хрен да копейка.

— Ну, не скажи,— возразил Сенечка.— Я за Якушу Савкина двух Тараканих не возьму. А Бородина, Андрея Ивановича, советую не брать.

— Да он и сам не пойдет,— сказал Кречев.

— Чует, что его песенка спета,— хмыкнул Сенечка, расстегнул свой парусиновый портфель и вынул оттуда поллитровку водки, початую и заткнутую деревянным кляпом, потом кусок копченой колбасы и подмигнул Левке: — Где у вас стаканы? Живо!

— У нас только один,— сказал Левка, подавая граненый стакан.

— А вот другой! — Сенечка снял стеклянную крышку с графина, налил в нее водки и подал Кречеву. Себе налил в стакан и, чокнувшись, произнес: — Лиха беда начало. За великий почин!

Вот с этой крышки и повело Кречева. Сперва они допили эту поллитровку. Потом с Левкой пошли к милиционеру Симе договариваться о завтрашнем деле и там выпили еще поллитру. После обеда он нагрянул к Соне и выпил у нее еще четушку. Там, в кухонном чулане, отгороженном от общей избы легкой дощатой переборкой и пестренькой бумазейной шторкой в дверном проеме, он захватывал ее голову клешневатыми непослушными ладонями и тянулся к лицу, целовал ее губы, щеки, нос и бубнил заплетающимся языком:

— Ах ты, моя сладенькая! Дай-кать я откушу тебя с какого-нибудь бока. Дай-кать ухвачусь...

Она слабо сопротивлялась и уговаривала его:

— Паша, не надо... не надо. Девки увидят... Нехорошо.

И разгоряченная наконец его ласками, прижавшись грудью к нему и жадно заглядывая в глаза, прошептала:

— Ступай в хлев. Козу выгони да постели свежего сена. А я сейчас же за тобой выйду. Одеяло прихвачу и подушку...

В хлеву было темно, пахло плесенью и нашатырным спиртом. Коза испуганно забилась в угол и, млякая, потряхивая рогами, глядела блестящими, как влажные голыши, глазами. Кречев поймал ее за рога и вытолкал на подворье. По лестнице залез на сушила, стащил целую охапку сена, натолкал его в деревянные ясли и бросился в него, утонул как в перине. Соня появилась с подушкой и одеялом и, притворив за собой дверь, спрашивала в темноте с нарочитым испугом:

— Ты куда делся? Иль с домовым в прятки играешь?

Кречев поймал ее за подол из яслей и зарычал:

— Р-р-ра-а, нга-нга-нга!

— Ой, вихорь тебя возьми-то! Ой, напужал до смерти! Да не тяни ты... Сама залезу.

Он поднял ее на вытянутых руках, как маленькую, и бросил под себя на сено, затолкал, накрыл ее своим большим телом, сграбастал ручищами, как мягкую податливую подушку...

Так они, умаявшись, угревшись, прижимаясь друг к другу, накрывшись одеялом, уснули в тесных яслях.

Проснулись уже в сумерках. Прислушались: на подворье блеяла коза, покрикивал да хорохорился петух возле кур, где-то в отдалении перебрёхивались собаки.

— Девчат не слыхать, значит, дома,— сказала Соня.

— Эх, не хочется от тебя уходить,— сказал, потягиваясь, Кречев.— Давай куда-нибудь затешемся на вечер? А не то мне — тоска зеленая. Как подумаю, что завтра надо Клюева громить, все нутро переворачивается.

— А ты откажись,— сказала Соня.

— Вот дуреха! Как же это можно? Придумать такое — откажись! У меня же не частная лавочка, хочу торгую, хочу закрою. Совет, что твоя машина молотильная, завели ее — и стой возле барабана да поталкивай в него снопы. Остановишься или зазеваешься — он ревет: дава-

ай! И остановить его тебе не дано. Схвати его рукой — оторвет руку. А завела его другая сила, тебе не подвластная. Над ней другие погонщики стоят, а тех в свою очередь подгоняют. Вот оно дело-то какое, вкруговую запущено. И уйти от него никак нельзя. Ежели не хочешь лишиться куска хлеба. Я ж партийный.

— То-то и есть, что партийный. У вас все игранки какие-то заведены, как у маленьких. Соберетесь во кружок, загадаете чего промеж себя, рассчитаетесь по номерам — и на кого счет выпадет, тот и валяй — ищи или лови, пока всех не перехватаешь. Не жизнь у вас, а какая-то карусель.

— Ты чего, опупела, что ли? Чем тебе наша жизнь не по нраву?

— Да всем. Ты ответь: любишь меня или нет?

— Ну, положим, люблю.

— Так чего ж мы по яслям прячемся? Что ж ты, как вор, по задам крадешься да через плетень лазаешь?

— Вот дурёха! Ты ж мужняя жена, а я при должности.

— Да что мне муж, объелся груш! Я хоть счас от него уйду и с тобой сойдусь. Ну, хочешь? Ноне же всем расскажу, что ты мой муж, а я твоя жена. Хочешь?

— Ну, ты даешь стране угля. Регистрация брака — дело официальное, его с бухты-барахты не делают.

— То-то и оно. Вы храбрые только на словах: все про свободу отношений талдычите. А сами боитесь в открытую сходиться, такие ж трусы, как и встарь. Только раньше на церковное венчание ссылались, а теперь на регистрацию.

— Гляди ты, какая храбрая нонче. Атаман! — он поцеловал ее, потом положил голову ей на грудь и, слушая гулкие, чистые удары ее сердца, сказал: — Вот так и пролежу всю ночь. Не хочу с тобой расставаться.

— Ладно, пошли к Фешке Сапоговой. Гулять — так уж гулять.

Он поднял голову и, замявшись, изрек:

— Мы ж ей задолжали тридцать рублей... Еще за ту гулянку.

— Я уже расплатилась.

— Где ж ты деньги берешь?

— Это не твое дело. Ступай к ней, скажи, чтоб готовилась. А я приду позже.

Фешка Сапогова встретила появление Кречева вопросом:

— А судью позовешь?

— На что он тебе сдался? — опешил Кречев. — Чай, не судилище задумали.

— Вам веселье, а я что, рыжая? Зови Радимова. Черта хромого нет. Где-то в Пугасове застрял, на базаре. Поди, под забором валяется.

«Черт хромой» — это муж ее, Мишка Сапогов, шапошник и пьяница, известный на всю округу.

— Ладно, — сказал Кречев, — позову я тебе Радимова. Только приготовься...

— Это уж не твоя забота. Все будет на столе — и самогонку поставлю, и пельменей накручу. Мотай за Радимовым.

Фешка Сапогова была разбитной бабенкой, ко всему прилипала: она и в народных заседателях сидела, и на собраниях шумела, и хлеб выколачивала. Посылали ее в самые глухие безнадежные села, то одну, то с подружкой, Анной Ивановной Прошкиной, — гнать показатели. И они «гнали», по неделям не показываясь в районе. Обе носили белые пуховые шапочки, мужские из черного сукна пиджаки с боковыми карманами и белые чесанки с галошами. Их прозвали сороками. «Вона — сороки прилетели, опять стрекотать начнут». В их облике и в самом деле было что-то сорочье: обе востроносые, сухие, прогонистые, с бойкими карими глазками. Анна Ивановна волосы коротко стригла, подбривая шею, носила гимнастерку, отчего смахивала на молодого мужика; а Фешка любила шелковые кофточки, тесные юбки и на спину закидывала толстые темные косы. Сапогова была женоргом, а Прошкина культоргом, прислали их одновременно из Московской партшколы, вернее, Фешка утянула за собой Анну Ивановну в родные места.

Ее «хромой черт» за год вынужденной разлуки, пока Фешка училась, все добро пустил в расход — остались в доме чугуны да чашки, да еще шапочные болваны. Даже платье ее подвенечное, пальто, шубенку на козьем меху — все пропил.

Когда Фешка, возвратясь, увидела опустевшую коробью, то завыла в голос от досады, разбила в кровь Мишке лицо, вытолкала его из дому и выбросила на подворье все его шапочные болваны.

— Убирайся вместе со своими болванами на все четыре стороны!

Мишка Сапогов с той поры жил в бане, но за женой

следил в оба, когда был трезвый, и если замечал ее с каким-нибудь мужчиной, то, припадая на правую ногу, бежал в баню, брал припасенную веревку и возвращался к воротам вешаться. Здесь, на виду у всей улицы, перекидывал через перекладину надвратного навеса веревку, завязывал конец петлей, становился на колени и начинал молиться богу, одновременно проклиная матерными словами свою благоверную.

— Дай хоть на четушку! Иначе повешусь у всех на глазах. А причиною тому — твоя гулящая жизнь. Дай, ради Христа! — орал он напоследок, подойдя к окну.

Фешка, добрая душа, не выдерживала, давала ему откупную, Мишка сворачивал веревку и спокойно уходил к себе в баню. Продолжалось мирное житье до новых вспышек ревности.

На этот раз собрались без помех; пришла Анна Ивановна Прошкина, судья Радимов и Соня с Кречевым. На столе красовалась стеклянная кринка самогонки, подкрашенная клюквенным соком, тушеная гусятина с картошкой, и в круглом тазу для мытья головы горой высились пельмени.

— Ты чего, на свадьбу, что ли, навертела пельменей-то? — спросил Радимов хозяйку.

— А что нам, холостякам! — сказала Фешка, поблескивая глазенками.— Что ни гулянье — то и свадьба. Пей, Кузьма, ешь! Однова живем.

— Ах ты, едрена-матрена! Да ты как погремушка отзываешься. А ну-ка, погреми еще! — Радимов ахнул ее ладонью ниже спины, как лопатой по тесту ударил — бух!

— Ой, лошак сивый! — скривилась Фешка.— Ты мне два ребра вышиб.

— Иде они у тебя, ребра-то растут? Тут, что ли? — обхватил он ее за талию.— Аль пониже?

— Уйди, лошак! — притворно обиделась Фешка и обоими кулаками замолотила ему по груди.

Радимов только похохатывал, как от почесухи. Фешка опустила руки и сказала с досадой:

— Он и не чует.

— Его бить — только руки об него отколачивать,— сказала Прошкина.

— А ты пробовала? — спросил Радимов, подмигивая ей.

— Одна попробовала да родила,— угрюмо ответила Прошкина.

— Говорят, тебе это не грозит. Будто ты сам с усам,— гоготал Радимов.

— А ты что, в баню со мной ходил?

— По баням у нас Мишка Сапогов специалист.

— Ты Мишку не поминай на ночь глядя. Не то накаркаешь — он прилетит и всю обедню нам испортит,— сказала Фешка.

— Ну уж дудки, брат! Пока эти пельмени не съедим, я не вылезу. Меня и канатом не вытянешь из-за стола.

Самогонку разливал Радимов, весело разливал, с прибауточками, чокался со всеми и приговаривал:

— Лей, да пей, да заедай, да про меня не забывай. Ах, рыжая девчонка игривее котенка...

И все норовил ухватить Фешку то за коленку, то за бедро, то выбирал иное место, помягче.

— Кот кичига, вот те лён, вот те сорок веретён... А ты пряди попрядывай да на меня поглядывай.

Могучего сложения, губастый, носатый, с редкими отметинами оспы на лице, с густыми непослушными волосами, торчащими во все стороны, как щетина на кабане, Кузьма Радимов являл собой образчик несокрушимого здоровья и самоуверенности. Даже Кречев перед ним казался застенчивым и немного растерянным, и самогонка его не веселила.

— Ты чего такой кислый? — спросил его Радимов.

— Так что-то, настроения нет,— покривился тот.

— Да уж признайся, здесь все свои люди,— сказала ему Соня, вся пылающая от выпитого.

— А что такое, Паша? — спросила Фешка, посмеиваясь.— Иль тятька жениться не велит?

— Да он боится...— прыснула Соня.

— Кого, тебя, что ли? — огрызнулся Кречев.

— Боится на эту самую итить... на конфискацию.

— Ого! Это кого ж потрошить задумали? — спросил Радимов.

— Клюева, Федота Ивановича,— нехотя ответил Кречев, сердито глядя на Соню.

— Это твоего активиста, что ли? — удивилась Фешка.

— Был активистом, но еще в августе вывели его из членов сельсовета.

— И правильно! — сказала Фешка.— Он же кулачина. Богатей!

— Какой кулачина! Говорят, из лаптей сроду не вылезал. Только и поднялся на ноги в последние годы.

— Ну и что? — сказала Фешка.— Мало ли кто в бедняках ходил. Раз поднялся до запретного барьера — стричь его без разговоров.

— Легко сказать — остричь... Он со мною два года бок о бок работал.

— Ты сам-то его не трогай, голова два уха,— сказал Радимов.— Ты стой на командной высоте и за порядком следи, а подручные разнесут.

— Кто эти подручные? Левка Головастый да Сима-милиционер. Они сами, как утята, в закуток полезут, ежели что.

— А Зенин? — спросила Фешка.

— Он пойдет Алдонина громить. А мне Клюева подсунул. Знает, стервец, что я с ним работал.

— Послушай-ка,— сказала Фешка.— Возьми нас с Анюткой. Мы тебе так распишем и распродадим, что ты и глазом не успеешь моргнуть. Пойдем, Анюта? — обернулась к Прошкиной.— Надо ж нам руку набивать на классовом враге.— И пьяно захохотала.

— Пойдем. Отчего ж не помочь человеку,— согласилась Прошкина.

— Кузьма, пошли с нами!

— А что ж, и пойду.

— Пошли! Всем скопом. Мы им покажем, как дела делаются,— шумела Фешка.— Тебя поставим за прилавок. Ты цены будешь назначать, а мы с Анютой сбивать их станем. Как на этом самом, на укционе.— И запела: — Эй, комроты! Даешь пулеметы! Даешь батареи, чтоб было веселея! Налей, Кузьма! Выпьем за всеобщую борьбу. Ты борец или не борец?

— Погоди, вот разбредемся по углам, тогда узнаешь,— ухмылялся Кузьма, разливая самогонку.

Эта неожиданная поддержка обрадовала Кречева: хорошо идти с такой компанией, за широкой спиной Радимова да вслед за этими горластыми сороками и ему вроде бы сподручнее, думал он. А что? Не он же всю эту бузу затеял. Он сам не волен проводить и отменять такие штуки. Есть и повыше его власти. Они ударили с Радимовым по рукам и выпили за успех завтрашнего дела.

В самый разгар веселья кто-то сильно постучал в двери. Все разом стихли и молча глядели на Фешку.

— Что такое? — спросил наконец Радимов, трезвея.

— Не знаю... Может, кто из соседей,— ответила Феш-

ка, вставая. Ее качнуло, она ухватилась за спинку стула и растерянно улыбнулась.

— Если Мишка вернулся, не пускать! — приказал Радимов.— И других не пускать! Никого! — крикнул ей вслед.

С минуту все так же напряженно молчали, ждали ее возвращения. Наконец она вернулась и сказала:

— Соня, за тобой Андрей Иванович Бородин пришел.

— Пошли ты его куда подальше... Кто он мне? Свекор, что ли? — вспыхнула Соня.

— Говорит, дети перепугались. Кошка в капкан попалась и перепугала детей... Они у Андрея Ивановича. Просит забрать...

— Господи!..— всхлипнула Соня.— За что мне этот крест выпал? За что?..— и с мольбой поглядела на Кречева.

— Придется идти,— сухо сказал Кречев.— Детей надо забрать.

Соня, всхлипывая, вытирая слезы, вылезла из-за стола и стала одеваться.

4

Утром лишь чуть забрезжил рассвет, как Сапогова с Прошкиной были уже в сельсовете. Вся секретарская половина, то есть передняя часть избы, отгороженная от председательского кабинета дощатой переборкой, была забита народом. Здесь были и сам Кречев, и Сенечка Зенин, и Левка Головастый, и активисты из бедноты, из комсода. Висячая лампа чадила над столом косым и тусклым языком неровного, подрагивающего пламени. Отыскав глазами председателя, Сапогова сказала:

— Радимов отказался итить. Говорит — голова разламывается.

— Ничего, Феоктиста Филипповна, мы и без него — сила непомерная. Смотри, сколько нас! Батлион,— отозвался Якуша Ротастенький и подмигнул вошедшим.

В центре этой толкучки за Левкиным столом сидел Сенечка Зенин и заполнял какие-то бумаги, оба милиционера стояли у стола, как часовые, и руки по швам. Левка Головастый, заглядывая в бумаги через плечо Зенина, пытался подсказывать ему:

— Следующий, значится, Якуша Савкин.

— Сам знаю,— одергивал его Зенин.— Что ты мне дышишь в ухо?

Кречев, страдая от трескучей головной боли, чтобы скрыть свое отвращение ко всему на свете, отвернулся к окну и стоял, заложив руки за спину. Тараканиха, привалившись к стенке, уже дремала на стуле. Степан Гредный, в своей неизменной рыжей свитке, подпоясанный веревкой, прислонился к дверному косяку, как за милостыней пришел. Андрей Колокольников присел на корточки у порога и глядел, младенчески разинув рот, как Зенин, сурово сведя брови, выписывал фамилии собравшихся. Якуша метался от одного к другому и все спрашивал с некоторым удивлением:

— А Ванятка-то не пришел, а? Вот ёш его кочарыжкой! Обманул! Все обчество обманул, всех представителей. Как же это, а?

Никто ему не отвечал, каждый занят был, казалось, только самим собой и своими мыслями, и тишина стояла такая, что слышно было, как поскрипывает перо Зенина.

Вдруг Кречев сказал от окна:

— Прокоп Алдонин идет.

— Куда идет?— поднял голову Зенин.

— Сюда, в сельсовет.

Зенин вскочил и бросился к окну. Прокоп уже обтирал сапоги о деревянную решетку возле крыльца, хотя на улице было морозно и сухо и сапоги были сухие. Вошел он в сельсовет при общем молчании, все глядели на него, как на вставшего из гроба покойника. Его уж отчитали, отпели, приготовились нести куда следует, а он вдруг встал и — здрасьте пожалуйста! — идет им навстречу.

— Тебе чего?— спросил Кречев, глядя на Прокопа тоскливо-мутными глазами.

— Деньги принес, уплату за штраф.

— Поздно! Время истекло,— строго сказал Зенин.

— Нет, извиняюсь.— Прокоп расстегнул пиджак, вынул из бокового кармана часы на золоченой цепочке и сказал, поворачивая циферблатом к Зенину: — Смотри! Еще полчаса осталось. Мне принесли повестку ровно в девять. Вот тут моя отметка.— Он положил повестку на стол и отчеркнул ногтем помеченное чернильным карандашом время вручения.

Потом вынул из другого бокового кармана сверточек в носовом платке, развязал зубами узелок и стал пересчитывать деньги, слюнявя палец.

— Вот. Ровно семьсот рубликов. Распишитесь в получении,— протянул он Кречеву пачку денег.

Тот удивленно хмыкнул:

— Из кубышки, поди, достал?

— Ага, из-под наседки,— ответил Прокоп.— С весны положил под нее ломаный грош и вот — гляди, сколь высидела.

— Самого бы тебя посадить куда следует,— процедил Зенин.— Все придуриваешься. Из-за твоего скупердяйства вон сколько людей собралось. Все оторвались от дела.

— Какие это люди? — сказал Прокоп, пряча в боковой карман квитанцию, подписанную Кречевым.— Это вороны на добычу слетелись. Поторопились маленько.

— Давай, проваливай без разговоров,— повысил голос Зенин.— Ишь ты, кулачина! Еще обзывается.

— Вот за это самое вы еще ответите.

— За что?

— И за кулачину, и за штраф. Все это незаконно. Я в кулаках не был.

— По недоразумению! — крикнул Зенин.

— А вот разберутся. Сверху им виднее — кто куда попал по недоразумению. Я напишу куда следует.

— Пиши. Москва словам не потакает,— переиначил пословицу Зенин.

После ухода Прокопа все разом загомонили:

— Чего ж теперь делать?

— Может, по домам итить?

— Послать рассыльного за Клюевым! Деньги заплатит, и шабаш.

— Иде он их возьмет? На дороге деньги не валяются.

— Прокоп нашел, а он что, рыжий?

— Прокоп с молотилкой полсела обошел.

— А этот колесы точит. Тожеть не сидит без дела.

— Какая летом точка колес? Вы что, родимые?

— А ну, кончай базар! — Кречев ахнул кулаком по столу.— Что вы, как бабы на толкучке? Семен Васильевич, как? Может, еще раз пошлем человека за Клюевым? Поди, одумается!

— Ни в коем случае,— заторопился Зенин.— Надо идти. И не мешкая. Приказ есть приказ — и мы его должны исполнить.

— Дак еще время не вышло,— колеблясь, возразил Кречев.

— Пока дойдем — и срок наступит. Вон, всего двадцать минут осталось! — показал Зенин свои часы, вынув их из брючного кармана.— Пошли!

— Какая группа пойдет? — спросил Кречев.

— Обе группы. Все вместе. Вперед, товарищи! Ни тени колебания! Пусть эти злостные неплательщики знают: мы слов на ветер не бросаем. От нас требуют проявить самые решительные меры к классовому врагу. И у нас рука не дрогнет.

С этими словами Зенин собрал в синюю Левкину папку все бумаги, разложенные на столе, Левка сунул чернильный шкалик в карман, взял со стола приготовленные на этот случай счеты, и все гурьбой двинулись за Зениным.

Шли по Нахаловке, растянувшись, как попы с крестным ходом, только икон не было,— впереди топали Кречев с Зениным, за ними — сороки с красными повязками на рукавах, потом Левка Головастый с папкой и счетами, это все власти; за ними нестройной толпой топали остальные, ведомые Якушей Ротастеньким.

Ребятишки табунились, и впереди бежали, и по бокам шествия, и кричали на всю улицу:

— Сову громить идут! Сову теребить! Айда, ребята! Поехали!

Ребятишки повзрослее увязывались за толпой, которые поменьше, смотрели из домов в окошки, плюща носы о стекло, старики все, как по команде, стояли возле калиток и ворот, словно солдаты на смотру, опустив руки по швам, и только старухи изредка торопливо крестились и шептали молитвы.

— Граждане, которые желают купить чего по хозяйству, прихватите деньги и ступайте за нами! — кричал ломким бабьим голосом Левка.

— Все на укцион! Все на укцион,— вторил ему Якуша.

— Укцион! Укцион! — подхватывали ребятишки и разносили по селу.

Поначалу никто не приставал к этой процессии; она плыла, как партия гусей по середине пруда, призывая своим кагаканьем равнодушно сидящих на берегу уток. Но вот Савка Клин отвалил от плетня и, кидая на пятку свои несуразные ноги-пехтили, пошел за ней, оглядываясь на соседей, и, как бы оправдывая это свое действие, пояснял громко и виновато:

— Може, обувка сносная найдется... Валенки али сапоги. Все одно — пропадут.

Одни ворчали на него неодобрительно:

— На чужое позарился? Ах ты, собака блудливая.

Но другие вроде бы и оправдывали:

— Отберут ведь... Все равно отберут. И все в кучу свалют. А там гляди — подожгут. Не пропадать добру-то.

За Савкой пошла Настя Гредная, благо, что мужик ее идет с делегацией, помочь ежели или совет подать. А за Настей двинулся Ваня Парфешин с Феней, за ними Максим Селькин, и пошла-поехала почти вся Нахаловка — кто с умыслом, а кто и так, ради интереса, глаза пялить.

Возле дома Клюевых сгрудилась целая толпа. Хозяева не показывались, ворота были заперты.

— Когда выйдет Клюев, я спрошу его для порядка: будет он платить штраф или нет? Ежели он откажется, то выступай вперед и зачитывай постановление по сельсовету об конфискации имущества, а остальное я все устрою,— негромко сказал Зенин на ухо Кречеву.

— У меня ж нет никакого постановления.

— Чего ж раньше думал, растяпа! — прошипел Зенин.— Ладно, я сам все сделаю.

Он поманил Левку Головастого и взял у него синюю папку, потом подошел к калитке, набранной из досок в мелкую елочку, и постучал о железное кольцо. Со двора тотчас раздался голос Клюева; видно, хозяин стоял за воротами и ждал:

— Кто там?

— Отворяйте! Представители Советской власти и общественности,— сказал Зенин строго.

Клюев вынул запирку — здоровенный металлический шкворень и, растворив калитку, спросил:

— Чаво надо?

— Сейчас узнаешь.

Зенин оттолкнул его с дороги, первым вошел на подворье, за ним потянулась длинная вереница и застопорилась в калитке, словно увязла. На подворье возле мастерской стоял Санька в лаптях и округленными от ужаса глазами глядел на эту застрявшую в калитке огромную толпу. На заднем крыльце, кутаясь в большую темную шаль, равнодушно взирала на всех Сарра, хозяйка Евфимия пугливо заглядывала в сенное оконце. Сам хозяин, оттесненный к воротам вошедшими, стоял блед-

ный и посиневшими от усилия пальцами стискивал ржавый шкворень.

— Товарищи милиционеры, по местам! — скомандовал Зенин.

Кулек и Сима, не понимая смысла команды, но догадываясь, что надо держаться поближе к хозяину, подошли к нему и стали по бокам.

— Вот так! — удовлетворенно заметил Зенин и обратился к хозяину: — Гражданин Клюев, собираетесь ли вы платить штраф, наложенный на вас за злостное уклонение от внесения государству хлебных излишков?

— У меня таких излишков нет. И денег на штраф нет,— ответил Клюев.

— Понятно. В таком случае слушайте постановление Совета от 28 октября сего года, то есть за сегодняшнее число.— Он раскрыл Левкину папку и, пошоркав листами бумаги, начал читать, как по писаному: — Во избежание прямого неподчинения властям, а также во имя пресечения злостного уклонения от уплаты государственных поставок впредь Тихановский сельский Совет постановляет: все имущество кулака Клюева — и движимое, и недвижимое — конфисковать и распродать в счет погашения законного штрафа. Вам все ясно? — посмотрел на Клюева Зенин.

Клюев только порывисто вздохнул, словно всхлипнул, и как-то беззвучно пошевелил губами.

— Значит, возражений нет,— сказал Зенин.— Тогда приступим к делу. Товарищи уполномоченные, прошу за мной в избу.

Оттеснив Сарру с крыльца, как чучело, они с Кречевым вошли в сени, за ними устремились Сапогова с Прошкиной и Якуша Ротастенький. Евфимия, такая же молчаливая и растерянная, как хозяин, сидела в избе у стола, бесцельно положив руки на колени.

— Так. Где у вас добро прячется? — спросил ее Зенин.

Она молча глядела на него, как будто ее опоили чем или оглоушили ударом по голове.

— А чего ее спрашивать? Мы и сами найдем,— сказал Якуша. Он скрылся в горнице и через минуту появился оттуда, волоча за ручку огромный кованый сундук.— Павел Митрофанович, помоги! Через порог не перетащу никак,— сипел Якуша от натуги.— Чего они туда положили, камней, что ли?

Кречев взялся за вторую ручку, и они, кряхтя, поволокли сундук в сени.

— Распродажу вести согласно описи! — крикнул им вослед Зенин, потом обернулся к сорокам:— Так, товарищи женщины, обыщите хозяйку и старуху, нет ли при них спрятанных золотых вещей или каких-нибудь драгоценностей. А я по притолокам пошарю.

Фешка и Анна Ивановна подошли к хозяйке и попросили ее встать. Она сидела в прежней позе, с тупым недоумением глядя на них, словно оглохшая.

— Кому говорят, тебе или нет? — крикнула Фешка.— Встань!

— Да погоди ты! Она зашлася,— сказала Прошкина.

Евфимия вдруг заплакала, затряслась всем телом и, прикрывая лицо ладонями, заголосила, как по упокойнику, тоненьким надрывным голосочком:

— Ой ты ж горе ж наше горько-ое! Ой, ты заступник наш, Христе-боже милостивый! Ой, не дай же ты пропасть нам, сгинуть до смерти! Не оставляй ты нас антихристу окаянному. Подходит конец наш решающий...

Услышав материнские вопли, Санька бросился от мастерской на крыльцо, сбил кулаком Якушу, растопырившего руки в дверях, и прорвался в сени. Здесь Кречев подкатом свалил Саньку на пол, накрыл его своим тяжелым телом и стал выкручивать, заламывать ему руки.

— Помоги-и, тятька! — завопил тот отчаянно.

Федот Иванович, как разъяренный бык, отбросил от себя обоих милиционеров, взявших было его под руки, и, размахивая над головой шкворнем, как шашкой, побежал к сеням.

— Держите его, держите! — завопили бабы в толпе.

Степан Гредный, стоявший возле калитки, легким козлиным поскоком настиг у крыльца Клюева и с ходу прыгнул на его широченную спину. Тот озверело зарычал, одной рукой схватил его за шиворот и, словно кота, стащил с себя, а другой рукой со всего маху ударил шкворнем по шее. Степан ойкнул и осел, роняя голову к ногам своим. Черная кровь сдвоенной цевкой слабо заструилась из носа, пачкая рыжие усы и жидкую бороденку.

— Убил он его, уби-ил, изверг! — заревела Настя, валясь наземь к Степану, раскидывая руки и тряся головой.— Уби-и-ил!

Клюев оглядел с некоторым удивлением длинный

ржавый шкворень, отбросил его к завалинке и трясущейся рукой полез в карман за кисетом. Но его схватили за локти подоспевшие милиционеры. Он больше не сопротивлялся, только смотрел себе под ноги и бормотал:

— Нечаянно я, граждане... Нечаянно.

С крыльца на него и на лежащего Степана смотрели с испугом и удивлением и Кречев, и Санька, и Якуша. И на лицах у них застыло недоумение, будто каждый хотел спросить и боялся: «Зачем все это? Что с нами творится?»

Первым подал голос подоспевший Зенин:

— Преступника Клюева вместе с сыном немедленно взять под арест и отправить в милицию!

— Есть такое дело!! — сказал Кулек и махнул рукой Саньке, стоявшему на крыльце:— А ну, давай сюда!

Санька спрыгнул с крыльца и, затравленно озираясь по сторонам, подошел к отцу.

— Шагом марш! — скомандовал им Кулек.— Дорогу арестованным! Эй вы, ротозеи! Прочь с дороги!

И повели. Потом кто-то запряг хозяйскую лошадь, положили на телегу свернувшегося калачиком Степана, посадили в задок плачущую Настю и повезли их в больницу.

— Кто может забрать к себе бывших хозяек? — спросил, обращаясь к толпе, Зенин.— Во избежание осложнений дальнейшее пребывание их в доме нежелательно!

Сквозь толпу протиснулся Спиридон-безрукий и, сурово насупившись, пошел в дом. Через несколько минут он, все такой же молчаливый и хмурый, вывел плачущую, согбенную Евфимию и высокую прямую, как скалка, Сарру. В руках у хозяйки был небольшой сверток в черном платке.

— Что за вещи? — остановил ее Зенин, берясь за узелок.

— Поминанье родительское да иконка, материно благословение,— всхлипывая, ответила Евфимия.— Да так, кое-что из белья.

— Отпустите вы их, ироды! — крикнул кто-то из толпы.

— Вы еще нательные кресты с них посымайте! Антихристы!!

— Бессовестные!

— Хорошо. Пропустите их! — сказал Зенин Фешке и Анне Ивановне, загородившим дорогу.

Они сошли с крыльца, толпа молча расступилась перед ними. Впереди шел Спиридон-безрукий, стиснув зубы, катая за щеками каменеющие желваки; Евфимия шла, глядя себе под ноги, и плакала; старая Сосипатра несла свою голову, покрытую темной шалью, высоко и прямо, и взгляд ее сухих, застывших в немом отчаянии, расширенных глаз легко ломал и опрокидывал встречные взгляды виновато присмиревшей толпы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Накануне Октябрьских праздников Успенский получил повестку из Тиханова: «Явиться по местожительству на предмет вступления в колхоз». Он отпросился на два дня у своего начальства и пешком отправился домой. Возле Сергачева, в двух верстах от Тиханова, ему встретился длинный обоз — десятка полтора телег, груженных мешками с зерном, громыхая колесами по промерзшей дороге, выезжали на столбовой большак, ведущий в Пугасово. Над передней телегой трепыхался натянутый на березовых кольях красный лоскут с белой надписью: «Вывезем до конца кулацкие излишки пролетарскому государству». Мужики шли возле своих телег, держась рукой за грядки, покрикивая на лошадей. Северный ветер низко гнал над землей сивые тучи, отмахивал на сторону лошадиные хвосты, трепал гривы. Было холодно и неприютно, в воздухе носились редкие и крупные, как гусиные перья, снежинки.

Пряча щеки в поднятый котиковый воротник, Успенский свернул на обочину, и стороной обходил обоз.

— Дмитрий Иванович! — окликнули его.

Он оглянулся и увидел отбегающего от телеги Андрея Ивановича Бородина.

Успенский остановился, Бородин подошел к нему. Поздоровались.

— Слыхал, что у нас творится? — спросил Бородин и, не дожидаясь ответа, торопливо стал рассказывать: — Клюева раскатали в пух и прах.

— Слыхал. Говорят, его посадили?

— Вместе с сыном. В Рязань угнали. Он ведь человека убил в запале... Добро все с молотка пошло, за бесценок.

А напоследок сняли иконы вместе с божницей, раскололи в щепки и сожгли на глазах у всего народа... Какие иконы были! Какая божница!.. Кружево.

Успенский только головой покачал.

— Это варварство.

— Не говори! А ноне церковь у нас закрывают. Колокола сымать будут. Попа еще вчера забрали. Кого-то из арестантов привезли. Наши все отказались. Даже последние мазурики не пошли на такое дело. Боятся. А я вот бегу... Бегу, лишь бы не видеть... Эх! Мать твою...— Он хлопнул кнутом по земле и длинно, заковыристо выругался...

— От этого не спрячешься,— сказал Успенский.

— Не говори! Иду вот, а у самого кошки на душе скребут. Эх!—Бородин опять хлопнул кнутом и побежал догонять свою телегу.

В Тиханово Успенский вошел с кладбищенского конца. Всю церковную ограду запрудила огромная толпа; если бы не отсутствие телег, да лошадей, да пестрых товаров, можно было бы подумать, что весь базар переместился с трактирной площади сюда, за железную ограду. Но толпа эта, в отличие от живой, текучей базарной толпы, казалась мертвой, люди стояли, словно кочки в недвижной болотной воде, и тишина была напряженная, как на похоронах, в ожидании выноса гроба.

Успенский подошел к Лепилиной кузнице, в молчаливом приветствии чуть приподнял шапку с головы, ему ответили тем же полупоклоном с десяток мужиков.

— Что здесь происходит?—спросил он.

— Черти бога осаждают,— ответил Лепило.— А мы поглядим, кто кого одолеет.

— Сейчас ты ничего не увидишь,— отозвался Прокоп.— Эдак лет через пятьдесят или сто видно будет, как сложится жизнь—по-божески или по законам антихриста.

— А ты что, два века хочешь прожить?

— Мне и свой-то прожить толком не дают. Не о себе говорю—о народе.

— Народ ноне осатанел совсем,— сказал Кукурай.— Это ж надо, колокола сымают.

— Ты, слепой дурень, не вякай!—обругал его Лепило.— Нешто народ колокола сымает?

— Зь-зе-зенин с Як-як-як...— забился Иван Заика в попытке выговорить имена поломщиков.

— Поняли! Завтра доскажешь,— остановил его Лепило.

— Тьфу, Лепила, мать твою! — выругался Иван.

Между тем с самого верхнего, зеленого, купола большой колокольни слетела стая галок и с громким тревожным криком закружила над крестами. Толпа заволновалась, загудела:

— Ну, опять пошли на приступ...

— Теперь гляди в окна — вынырнут...

— Счас выползут... тараканы. Чтоб им шею сломать. Туды их мать!

И в самом деле, через минуту они появились в проемах высокой колокольни. Их было четверо, в руках они держали веревки и какие-то посудины — не то бутыли, не то лагуны. Там, на непомерной высоте, в сквозных проемах колокольни на фоне сумрачного неба они и в самом деле казались черными, как тараканы. Ни их инструмента, ни тем более лиц невозможно было разглядеть отсюда.

— Что за люди? — спросил Успенский.

— Из наших один Ротастенький... Килограмм из Степанова, да двоих привезли из Пугасова — говорят, из тюрьмы. Добровольцы.

— А Зенин где ж?

— Тот на земле распоряжается.

— Гляди-ка, вроде бы веревками сцепы обвязывают. К чему бы это?

— Говорят, жечь будут. Карасином обольют веревки да подожгут.

— Пилой пробовали — не берет.

— Сцепы-то дубовые...

— Топор, говорят, отскакивает, бьет, как по пузе.

— Свят, свят, свят. Накажи их, господи! Чтоб руки у них поотымались.

— Ты, слепой дурень, не каркай! Слышишь? Не то я тебя налажу отсюда по шее.

Успенский прошел в растворенные железные ворота, протиснулся сквозь толпу к высокой многоступенчатой паперти. Возле распахнутых железных дверей, крашенных зеленой краской, стоял Сенечка Зенин в кожаном картузе и перебрехивался с наседавшими прихожанами. За Зениным в синих шинелях и буденновских шлемах стояло четверо милиционеров: двое тихановских — все те же Кулек и Сима, двое незнакомых. Сенечка стоял,

засунув руки в боковые карманы суконного пиджака, растопырив широко ноги в сапогах, отвечал с ухмылочкой, бойко, с прибаутками:

— Ваша церковь переименована в дурдом. А поскольку дураки в Тиханове перевелись, стало быть, и дурдом закрывается.

— Свои перевелись, залетные появились! — кричали из толпы.

— Это какие такие — залетные?

— А вот подзаборники всякие, вроде тебя.

— Это что за кулацкий подголосок? А ну, покажись!

Кто-то поднял кулак и крикнул:

— На, посмотри да понюхай, чем пахнет!

— Сколько ни злобствуйте, а колокола собьем!

— Самого бы тебя с колокольни сбросить вместо колокола!

— Вот ужо доберемся до тебя, антихриста! — грозилась кулаком худая, как сухостойное дерево, мать Карузика.

— Ты, мамаша, поменьше махай руками, не то обломишь их невзначай, — ласково уговаривал ее Зенин. — Вон какие они сухонькие у тебя.

— У-у, бесстыжие глаза! Он еще смеется. В него плюют, а ему божья роса.

— Такая сатанинская порода. Потому и подбирают этаких вот... — выкрикивали из толпы.

— Напрасно вы, граждане-товарищи, портите себе настроение непотребными словами. Ведь вам же русским языком еще вчера было сказано: кто не согласен с постановлением о закрытии церкви, ступайте в храм и ставьте свои имена и подписи. Книга лежит на алтаре, храм открыт вторые сутки. И что же? Поставил кто-либо свою подпись? Никто! Но, как известно: молчание — знак согласия. Что ж вы шумите? Кто не согласен, прошу в церковь! Только строго по одному. У нас порядок.

Идти в церковь, писать в книгу свои имена никто не поспешал, каждый поглядывал с опаской и недоверием на того верхнего оратора и как бы говорил всем своим настороженным видом: «Эхва, а дураков-то и в самом деле перевели». А еще Успенский заметил: здесь, в передовой толпе, жались то старухи, то подростки, то никудышные мужики вроде Савки Клина или Вани Парфешина. Мужики самостоятельные останавливались на почтительном расстоянии либо вовсе не появлялись. И

он подумал, что клюевская конфискация не прошла для тихановцев даром, село затаилось в ожидании новых ударов и бедствий.

На колокольне вспыхнуло и заметалось яркое языкастое пламя, потом повалил густой черный дым, потек из проемов, как из пароходной трубы; порывистый ветер осаживал его, гнал на деревья; мятущиеся ветви берез разрывали эти плотные шаровидные клубы в клочья, в жидкую кудель, которая растекалась по хмурому неспокойному небу. Запахло копотью и керосиновой вонью. Галки еще громче загалдели, заметались суматошнее над колокольней. Толпа тронулась и загудела.

Отходили подальше от церкви, словно боялись обвала или взрыва какого, и ждали, надеялись на чудо: вот погаснет пламя, и свалятся, сломят шею себе поджигатели... Крестились, шептали молитвы... Но пламя все шибче разгоралось, черный дым растворился, пропал совсем, а с колокольни теперь полетели искры, как рой светлячков. Сухие дубовые балки, на которых висели колокола, горели с гулом и пулеметным треском. Сенечка Зенин вместе с усиленным нарядом милиции заперлись в церкви с баграми и с песком наготове, на случай, ежели огонь переметнется с колокольни на другие отделения храма.

Весть о близком падении колоколов мгновенно разнеслась по селу — всякий житель бросал свою работу, где бы ни заставала его эта весть, и шел, как потерянный, к церковной ограде; а хозяйки, которые не могли оставлять дома своих малых детей, выбегали на улицу и напряженно, с мольбой глядели на горящую колокольню. Многие крестились и плакали.

Но огонь неумолим, он не знает ни жалости, ни снисхождения. Как ни прочны были дубовые, в два обхвата, сцепы, как ни заклинали их тихановские старухи не поддаваться антихристу, жизнь колоколов висела на волоске, и он оборвался. Сперва пыхнули искрами сцепы на обломе, потом что-то ахнуло, тряхнуло, будто кто-то ворохнулся в подземелье, и жалобный медный стон прогудел над селом и растворился в воздухе.

Вся в слезах вернулась с улицы Надежда. Ах, Андрея-то нет! Не с кем и горем своим поделиться. Перед ней прошмыгнул в дверь Федька Маклак и, уже стоя у окна, мурлыкал песенку:

— Долго в цепях нас держа-а-али...

— Радуешься, что с цепи сорвались? Ну, ты у меня

сейчас от радости завизжишь! — Она схватила кочергу и начала яростно охаживать оторопевшего Федьку: — Ах вы, служители сатаны! Ах вы, басурманы! Выродки непутевые.

— Ты чего, спятила? Мамка, что я тебе сделал? Да погоди ты! — Он изловчился наконец, поймал за кочергу, вырвал ее из рук матери и бросился наутек.

На шум вышла из горницы Мария:

— Что случилось, Надя? За что ты его?

— За дело! И тебя бы не мешало кочергой по шее. Всех вас связать по ноге и пустить по полой воде,— бушевала Надежда, вытирая слезы.

— Да что произошло, в конце концов?

— Церковь опоганили, вот что. Колокола сбросили, колокольню пожгли. Ах вы, антихристы!

— А я тут при чем?

— Все вы при том. Безбожники окаянные, насильники. Кому она мешала, церковь-то? За что вы ее обкорнали? Вы ее строили?

— Во-первых, я в этом деле не участвовала. А во-вторых, чего ты убиваешься? Ты же ходила в церковь раз в году.

— Да какое твое собачье дело, сколько раз ходила я в церковь? Бог — он в душе у каждого. А церковь — это наша общая дань богу. Мы ее собирали по копейке, из поколения в поколение, держали, берегли как зеницу ока. А вы поганить?! Да кто вы такие? Выродки!

— Еще раз говорю тебе русским языком — на церковь я не замахивалась. И не выкатывай на меня свои белки. Я за чужие грехи не ответчица.

Мария прошла в горницу, оделась и вышла на улицу. Что творится, что с нами происходит, думала она, идя бесцельно по вечереющему селу. Бросаемся друг на друга, как цепные собаки. С Надеждой невозможно стало ни о чем говорить, будто она, Мария, виновата во всей этой кутерьме с налогами да с хлебом, а теперь вот еще и с церковью. И кому это нужно — закручивать все до последней степени, до вспышек гневных, до безрассудства? Уж не вредительство ли в самом деле? Да кто вредители? Где они? Все сваливают вину друг на друга, и все друг перед дружкой стараются усердие проявить. Ведь тот же Поспелов знал, что ничего доброго от конфискации имущества не выйдет. Ведь смог бы остановить Возвышаева, но не остановил. Чего он испугался? А обвинения в

отсутствии того же самого усердия у него. И мы бы смогли остановить Сенечку с погромом церкви. Они решили громить на партячейке, а мы смогли бы остановить. Ведь прямых указаний нет насчет погрома церквей. И мы бы правы были. Но струсили. Струсил Тяпин, струсил Паринов... Кого они боятся? А все того же обвинения в отсутствии усердия. Да куда же это заведет нас? И так уж с нами мужики разговаривать не хотят. Вон — сестра родная, и то глаза мне готова выцарапать. А за что? Что я ей худого сделала? И кому я сделала дурного? Никому в особенности, а подумаешь — так виновата перед всеми. Виновата, потому что не делаю того, что обязана делать. А обязана остановить буйство этих Сенечек и Возвышаевых. А если не смогу остановить их, то обязана отойти в сторону и не путаться под ногами. Митя прав — нельзя играть в политику.

Неожиданно для самой себя она оказалась возле церковной ограды. Здесь табунились ребятишки: одни влезали на деревья, на железную ограду, заглядывали в церковные окна, другие бегали вокруг церкви, стучали палками в водосточные трубы, в запертые двери и бросали камнями в оштукатуренные крашеные стены. Но изнутри никто не высовывался, никто не кричал на них, словно те, закрывшиеся наглухо в храме, усердно молились богу. Мария увидела в одном из пролетов колокольни промелькнувшую черную фигурку и поняла, что поджигатели все еще в церкви, и охранители их, и вдохновители — все там.

А народ расходился с горьким чувством беспомощности своей. Мужики, свесив головы, тащились поодиночке, словно стыдились чего-то. Бабы держались кучно, шумели, отойдя на расстояние, но все еще никак не могли оторваться от храма своего, к которому они привыкли с детства, как отчему дому, и этот святой для них дом оскверняли на глазах у них приезжие насильники. «Есть от чего заплакать. И за кочергу схватишься, и даже пойдешь на нечто более грозное»,— думала Мария, вспоминая Надеждину вспышку и глядя на оскверненную колокольню: там, где висели колокола, теперь было пусто, лишь в проеме аркад на фоне вечереющего серого неба чернели концы обгоревших балок; белые спаренные пилястры, подпиравшие купол, закоптились до черноты, и даже зеленая крыша теперь потемнела, словно заметало ее грязью с дороги.

— Маша, ты чего здесь делаешь? Уж не Зенина ли поджидаешь? — окликнул ее Успенский.

Она вздрогнула и обернулась, он подходил от своего дома в одной толстовке, подпоясанный ремешком.

— Ты совсем раздетый. Холодно же! — сказала она.

— Я на минуту. Только за тобой. Пойдем ко мне! — Он взял ее за руку и ласково заглядывал в лицо. — Ой, какая ты хмурая! Что случилось?

— С Надей поругались.

— Ну, пойдем! Я вас помирю, — увлекал он ее за собой и улыбался.

— Нехорошо это, — говорила она. — У всех же на виду... — И покорно шла за ним.

— Ах, Маша! Какое это имеет значение? Не то время теперь. Не до внешних приличий.

В доме Успенского творилась сущая кутерьма: посреди зала стояли раскрытые саквояжи, корзины и большой окованный сундук. На длинном обеденном столе навалом лежали тарелки, блюдца, фарфоровые супницы, чашки, поставцы, рюмки хрустальные, ножи и вилки. Одеяла стеганые ватные и верблюжьего пуха, атласные и сатиновые. Постельное белье: простыни голландского полотна с яркими синими да красными каймами, наволочки расшитые, подзоры с шитьем, покрывала пикейные — все это навалом, вперемешку, горой высилось на диване. Маланья, рослая и дюжая, в два обхвата, прислужница еще со времен отца Ивана, в розовой кофте и темном фартуке, перетянутом поперек объемистого чрева, снимала из раскрытого шкафа драповые поддевки да касторовые блестящие шубы, ловко сворачивала их, подкидывая в воздухе могучими руками, и укладывала в объемный сундук. Увидев в дверях Марию, затараторила:

— Хорошенько его отчитайте! Он от своего добра хотел отказаться. Вон, чемодан с сапогами уложил да книжки, говорит, возьму. Остальное пусть колхозу остается. Это ж надо! Шаромыжникам голопузым все оставить. Да они в момент все растащут, пропьют и перекокают. Чтоб такой посудой пользоваться, надо руки иметь. А у них крюки загребущие. Помогите нам укладываться, Маша! И его заставьте, не то лошадь скоро подъедет, а у нас все раскидано.

— Я ее за этим, что ли, пригласил? — проворчал Успенский. — Нам поговорить надо. А это барахло подождет, никуда оно не денется.

— Гли-ка, а то за делом говорить нельзя? Вон укладывайте белье да и разговаривайте. А я вас не слушаю. Мне не до вас.

— В самом деле, Митя... Давай поможем Маланье. А то неудобно.— Мария сняла пальто, кинула его на спинку кровати и начала разбирать и укладывать белье в корзины.

— Вот баба непутевая! Прямо в краску вгонит,— ворчал Успенский, помогая укладываться.— Я тебе, Маша, хотел сказать, что Бабосов — подлец. И Варя хороша... Это они свели меня с Ашихминым. И Зенина притащили. И я, понимаешь, погорячился. Слишком многое выдал Ашихмину... Погорячился.

— Знаю. Он пытался на бюро кой-кого настроить против тебя. Но тебя спас этот жест с колхозами. Это ты хорошо придумал. Молодец! Все надо отдать, все.

— Оно, в сущности, и ни к чему мне.

— Но как ты сообразил? С ходу?! Ведь все равно отобрали бы.

— Я ни о чем преднамеренно и не думал. И наперед не соображал. Я только видел, что это им нужно. И лошадь, и сарай, и дом. Иначе какой же это колхоз, ежели даже конторы путевой нет. Ну, я и согласился. Ведь мне этот дом теперь в обузу.

— Ах, Митя! Как я тебя люблю за это.— Она поймала его за руку и горячо пожала ее.

Он поцеловал ее в голову.

— Маша, у меня есть бутылка вина. Давай пройдем на кухню и выпьем за встречу.

— Нет! Потом, потом... Давай все уложим. Неудобно перед Маланьей. Видишь, как она старается.

Уже в темноте прогрохотали дроги под окном, Маланья вылетела на улицу и вернулась через минуту с сыном своим, с Петькой — малым лет восемнадцати. Он прислонился к дверному косяку и сощурился с непривычки к свету, прикрываясь ладонью от лампы.

— Чего стал, как нищий? Ну-ка, бери сундук за тую ручку! — крикнула на него Маланья.

Петька взялся за одну ручку, Успенский — за другую, и сундук поплыл, как Ноев ковчег; за ним потянулись корзины и саквояжи. Когда все было вынесено и уложено на дроги, Успенский задержал Марию и Маланью на кухне, достал из буфета бутылку крымского портвейна, налил в рюмки и сказал:

— За новую жизнь, Маша!

Маланья вдруг закрылась локтем и всхлипнула.

— Ты что? — спросил ее Успенский.

— Обидно за вас, Митя! — сказала она, разгоняя слезы по щекам ладонью.— Вам бы здесь жить да жить. А то бежите, как погорельцы. Эх, жисть окаянная...

2

Шалая, взбудораженная толпа разгневанных баб похожа на потревоженное, напуганное стадо коров — не тронь его, не останови в угрюмом и тяжелом шествии — пройдут мимо. Но ежели сгрудились у околицы или перед каким иным живым препятствием — сомнут. Друг на дружку полезут, как льдины на вешней реке, попавшие на мель.

Такой вот мелью, где стала сгруживаться и напирать шумная толпа разгневанных тихановских баб, шедших от церкви, оказалось магазинное крыльцо. Зинка только что вышла из магазина, чтобы запереть железную дверь, и с высокой бетонной площадки спросила опередившую подруг сутулую Авдотью Сипунову, жену Сообразилы:

— Ну что, теть Дунь, свалили колокол?

Спросила, не подстегнутая азартом любопытства, а так, от нечего делать, чтобы язык почесать.

Авдотья остановилась перед крыльцом, не понимая еще — что от нее хотят? О чем спрашивают? Ее серое отечное лицо, чуть запрокинутое на Зинку, выражало не только недоумение, но и тяжелую работу мыслей, далеких и от этого бетонного крыльца, и от Зинки, и от ее вопроса. К Авдотье подошли Наташенька Прозорливая, Санька Рыжая, Степанида Колобок, приземистая и плотная, на коротких ножках, как гусыня, и, на полкорпуса выше ее, словно сухостойное дерево, мать Карузика; подходили и другие бабы с хмурыми, скорбными лицами, останавливались возле Авдотьи, обступали крыльцо, словно ждали приглашения по очень важному делу.

Зинка почуяла какую-то скрытую угрозу в этом тягостном молчании и, еще не понимая — зачем они так нехорошо смотрят на нее, спросила громко, с нарочитой беспечностью, как бы желая прогнать зародившийся в ее душе страх:

— Вы чего, языки проглотили? Не выспались, что ли?

Чего на меня смотрите как кошки на сметану? — И громко засмеялась. Засмеялась не от ловко подвернувшейся фразы, а опять же от того самого непонятного страха, и потому смех получился и неестественный, и глупый, и сама же она тотчас поняла это.

А бабы загудели разом, взялись, как сухие будылья травы, схваченные яростным полымем. Евдокия сорвала с себя облезлую рыжую шаленку, обнажила простоволосую голову и закричала:

— Ты что, сатана, посмеяться над горем нашим вышла? Так плюй, гадина! Плюй с высоты нам на головы!

— Окстись, милая! Ты что, сдурела? — Зинка заалелась, как от пощечины, и замахала руками.

— Ага, мы сдурели, а вы, значит, ума набрались? Это от какого ж ума вы поганите церковь? От того, что цыган на дороге оставил?

— Бабы, стащите вы эту антихристову поблядушку...

— В ноги ее!

— За косы ее!

— Рвитя-а! Рвитя-а-а антихристова служителя-а! — Наташенька Прозорливая, подпрыгнув, ухватилась за синюю Зинкину юбку и повисла на ней, как кошка, вереща и дрыгая ногами. Другие бабы кинулись наверх по ступенькам, как по команде.

Зинка сильно оттолкнула ногой юродивую и с ужасом услышала треск раздираемой ткани; юбка мелькнула в воздухе и полетела вместе с Наташенькой Прозорливой вниз по ступенькам; а на крыльце, как белый флаг, заполоскалась, дразня разъяренных баб, обнаженная исподняя рубашка.

— За подол ее, ссуку!

— Тяни с нее и рубаху!

— Голяком ее, голяком по селу провесть!

— Пусть знает, как над миром изгаляться...

Зинка, не помня себя от страха, машинально нырнула в магазин и перед носом разъяренных баб успела закрыть железную дверь.

— Ага, кошка чует, чье мясо съела!

— Напирай, бабы! Небось никуда не денется...

В дверь забухали увесистые зады, и зачастила сухая дробь кулаков. Потом дренькнуло, разлетаясь брызгами, оконное стекло, и осколки кирпичей полетели мимо прутьев железной решетки в магазин.

Зиновий Тимофеевич Кадыков увидел осаду магазина

из окна своего кабинета, со второго этажа. Он выбежал на улицу в одной черной гимнастерке, перехваченной портупеей с наганом на боку, и, по заведенной привычке, прихвативши со стола потрепанную планшетку. Перебежав улицу, расталкивая баб, поднялся на крыльцо и грозно спросил:

— В чем дело? Что за разбой?

Бабы в момент окружили его, как муравьи упавшего к ним на кочку черного жука, и вразнобой стали сами спрашивать, кто это им дал право на разбой? Что за такое самоуправство по головке их не погладят и что они найдут на всех управу. Они так кричали, перебивая друг друга, так размахивали руками перед его лицом, что Кадыков и рта не успевал раскрыть. Кто-то взял его со спины за ремень, кто-то больно щелкнул по затылку, чьи-то руки легли ему на плечи и стали тянуть книзу. И тут спасительная мысль промелькнула в его голове, он схватился не за наган, а за планшетку: раскрыв ее перед лицами орущих баб, выхватив карандаш, он крикнул, наливаясь кровью:

— Молчать! За-про-то-ко-ли-ру-ю! — крикнул врастяжку, отчетливо выговаривая каждый слог, занося карандаш над бумагой.

И бабы стихли разом, как онемели, с опаской глядя на карандаш, занесенный над бумагой.

— Ну, кому охота первой? Говори! Занесу пофамильно... И всех в холодную... Посмотрим, каким вы голосом там запоете.

В холодную никому не хотелось. Это все понимали. Понимали и то, что запись в милицейский протокол — это не фунт изюму. Затаскают потом. От них никуда не спрячешься. И бабы сдались, отвалили, как стадо коров, увидев плеть в руках у пастуха...

Кадыков поднял порванную и запачканную Зинкину юбку и, постучавшись в дверь, тихо позвал:

— Открой, Зина! Это я, Кадыков, не бойся.

Она стояла тут же за дверью, в притворе, и, закрывшись руками, плакала навзрыд, как маленькая.

Домой пошла, дождавшись полной темноты, и то шла задами, боясь не только баб — ребятишек: боже упаси, увидят... Задразнят, камнями забросают. Порванную юбку придерживала рукой, другой рукой утирала слезы. Так и вошла домой — подол в кулаке, на лице потеки от слез, страх и обида. Сенечка сидел за столом под портретом

усатого главкома С. Каменева и чистил наган. После того как он получил это оружие, дня не проходило, чтобы не разбирал и не чистил нагана; брови сведет, насупится и тихонько напевает: «Смело мы в бой пойдем за власть Советов и, как один, умрем в борьбе за это».— «Куда уж тебе в бой? Ты, поди, и стрельнуть-то боишься?» — подзуживала его в такие минуты Зинка. Он нехотя отвечал: «Дура ты, Зина. Человек силен не оружием, а своим убеждением».— «А зачем же ты наган взял, если силен убеждением?» — «Наган мне положен по чину, по должности. А все, что положено по должности,— есть общественное достояние. Мне оно только доверено, как лицу ответственному. Носи, как награду. И оправдай доверие. То есть будь начеку. Поняла?» — «Значит, не твой наган?» — «Не мой. Он принадлежит должности. И я тоже».— «А фуражку кожаную, что из распределителя дали? Тоже не тебе, а должности?» — «И фуражка должностная, и портфель, и сапоги с калошами».— «А чья на тебе голова?» — фыркала Зинка. «Насчет моей головы помолчим. А вот твоя голова глупая. Это уж факт».

И на этот раз Сенечка лихо напевал боевой марш, протирая масленой тряпкой барабан нагана, и на вошедшую Зинку даже не взглянул: «Средь нас был юный барабанщик... Трам-там-там тра-та-та-та...» Она остановилась у порога, обалдело посмотрела на его узкий стриженый затылок и сказала с горечью:

— Эх ты, барабанщик сопатый! Вот бы звездарезнуть тебе по макушке за твои дела. Да боюсь, копыта откинешь. Ладно, живи...

— Что это значит? — Сенечка отложил барабан и строго глянул на Зинку.— Ты с чьего голоса поешь? И что это за вид? — кивнул он на порванную юбку.

Зинка прошла в отгороженный деревянной переборкой кухонный чулан и стала умываться. Сенечка встал из-за стола, подошел к перегородке, отдернул розовую шторку:

— Я тебя спрашиваю или нет? — повысил он голос.

— Не меня, а с тебя спрашивать надо! С тебя взыскивать,— повернулась от умывальника к нему мокрым и злым лицом Зинка.— Ты колокола сбрасывал, а с меня юбку стащили за это. Чуть не задушили, не растерзали. Спасибо Кадыкову — баб отогнал. Они ж осатанели совсем. А я в чем виновата? В чем?

— Погоди. Давай по порядку. Какие бабы? Кто на тебя набросился? Где?

Зинка рассказала все, как было: как она вышла на крыльцо магазин запирать, как бабы на нее набросились, как отсиживалась, темноты ждала...

— Это ж надо, какие страсти разыгрались...— говорила Зинка, вытираясь и причесываясь.— Наташенька Прозорливая, как собака, на моей юбке повисла. А тетя Степанида Колобок все кирпичами в окно запускала. Попадись моя голова — ей-богу, раздробила бы. А что я ей сделала? Еще родственницей доводится.

Слушая Зинкины причитания, Сенечка все более оживлялся, светлел лицом и наконец, лихо погрозив кому-то кулаком, радостно произнес:

— Ну, теперь они у меня вот где. Я им покажу кузькину мать!

— Кому? — вытаращила глаза Зинка.

— Пошли к столу, Зинок! Ты сама не понимаешь, как ты мне помогла. Мы такое дело затворим, такое дело! За это и выпить не грех.

Он подошел к настенному висячему шкафу, достал бутылку водки и подмигнул жене:

— У нас сегодня праздник. Давай по маленькой.

— Какой праздник? Ты о чем? — все еще не понимая, спрашивала Зинка.

— Во-первых, с дурдомом покончили. Закрыли эту заразу мракобесия. А во-вторых, этот бабий бунт, это покушение на жену секретаря партячейки мы так распишем, такое дело затворим, такой суд устроим, что все классовые враги, как тараканы, в щели попрячутся.— Он налил в рюмки водку.— Ну, давай!

— Какие классовые враги? Я ж тебе говорю — Наташенька Прозорливая, тетя Степанида Колобок да Верста Коломенская. Голь перекатная,— Зинка все еще стояла у перегородки и с каким-то испугом глядела на мужа.

Сенечка выпил и прищелкнул пальцем:

— Это слепое орудие. Безликая масса. Ты не гляди, кто впереди, а ищи того, кто за спинами прячется. Уж мы их найдем, будь уверена. Я все опишу согласно твоих показаний, Возвышаев даст команду, привлечем нарследователя. Радимов сам возьмется, и закрутится карусель.

— Я ж тебе говорю — они это без цели. Они шли мимо. Это я их остановила, смеялась сдуру, как, мол, колокола свалили? Они и обозлились. Какие ж тут расследования? Все ясно, как божий день.

— Ты, Зина, политически малограмотный человек. Ты газет не читаешь. Вон, в Домодедове! Обыкновенная драка произошла в буфете. А взялись расследовать, и что же выяснилось? Подначивал буфетчик, бывший белогвардеец. Подзуживали кулаки. В результате — громкое дело — на всю страну. Ведь, казалось бы,— обыкновенная драка. А тут — нападение на жену секретаря партячейки! Уж выявим зачинщиков. Будь спок. И так распишем... Еще на всю страну прогудим. Надо газеты читать, Зина. Учиться надо,— он погрозил ей пальцем и налил еще водки.

— Семен, ты брось эту затею,— строго сказала Зинка.— Я срамиться не стану и ни на какой суд не пойду.

— Здрасьте пожалуйста! Кому-то и срам, а тебе почет. Ты пострадала на фронте классовой борьбы. Ты в герои выйдешь, дура. Если сама не заботишься о своем будущем, так мне не мешай.

— Ты мастер заливать насчет будущего. Знаю я тебя. А ты подумал, что мне делать после такого суда? Как жить? Куда деваться? Как смотреть в глаза односельчанам? Или подолом голову накрыть от позора, чтоб каждый по голой заднице бил? И так уж косо смотрят.

— Фу, какие у тебя грубые предрассудки! Косо смотрят... Зато ты гляди прямее. Кого ты боишься? Да после такого суда до тебя пальцем никто не дотронется. А если кто и тронет, так честь тебе и слава. Ты что же думала, классовая борьба — это тебе прогулки по селу? Пойми ты, пострадать во имя классовой борьбы, значит, сделаться героем. Ну! Какая теперь взята линия главного направления? Вот она, ребром поставлена,— Сенечка пристукнул ребром ладони по столу,— линия на обострение классовой борьбы. На о-бо-стрение! Значит, наша задача — обострять, и никаких гвоздей, как сказал поэт. Пока держится такая линия, надо успевать проявить себя на обострении. Иначе отваливай в сторону. Какой из тебя, к чертовой матери, политик!

— А я не политик.

— Зато я политик. А ты жена моя. Твоя обязанность — помогать мне, понятно?

— На суд я все равно не пойду... и заявлений делать

не стану. И к следователю не таскай меня. Не пойду. Ты... ты позора моего хочешь...— верхняя губа у нее задергалась, и по щекам покатились слезы.

— Ну, ну, успокойся, успокойся,— он подошел и погладил ее по голове.

Зинка уткнулась ему в плечо и разревелась.

— Успокойся, успокойся,— приговаривал Сенечка и оглаживал ее голову.— Ты пойми меня правильно. Разве я хочу тебя опозорить или подставить?.. Я же лучше знаю, что теперь надо делать, как поступать. Разве я виноват, что пора такая суровая? Ведь не я эту политику сверху пускаю. Я ее внизу обязан в жизнь претворять. Была пора, когда говорили — обогащайтесь. Пожалуйста, богатейте... Я никому не мешал. А теперь установка другая. Пойми ты — обострение! Значит, обострять надо, а не примирять, не затушевывать. Это не только в нашей политике. Даже у попов бывают разные периоды. То они говорят: «Время разбрасывать камни». А то: «Время собирать камни». Ну, время такое. Разбрасывать? Значит, разбрасывать. А собирать начнешь — тебя же этим камнем по башке стукнут. Вот, по темечку, тук! И с копытов долой.— Он нащупал на ее темени углубление и слегка надавил большим пальцем.— А, чуешь? Я же не могу замять это дело, не могу? Что же я за коммунист? Вижу вспышку классовой борьбы и отваливаю в сторону. Да меня самого тогда снимать надо.

— Делай, как хочешь. Но на суд я не пойду.

3

С той поры что-то переменилось в Тиханове — люди сторонились друг друга, ходили торопливо, глядя себе под ноги, будто искали нечто потерянное и не находили, встречным угрюмо кивали, наскоро приподымая шапки, и расходились, не здороваясь, словно стыдились чего-то или знали нечто важное и не хотели доверять никому. Даже у колодцев, обычно болтливые, тихановские бабы подолгу не задерживались, наливая воду, погромыхивая пустыми ведрами, изрекали в темное, гулкое жерло колодца какую-нибудь запретную забористую побасенку, щеголяя друг перед дружкой смелостью в насмешках и пренебрежении по адресу тех, неназванных, нечестивцев: «Ах вы, антихристы, черт вас выделал». Но говорили все

это в сторону, избегая взглядов и расспросов. «Я тебя не видела, ничего не говорила и знать ничего не знаю»,— написано было на лице каждого.

Бывший церковный староста Семен Дубок пошел было по дворам на Казанскую — уговорить прихожан собраться к кладбищенской часовне, чтобы помолиться за отца Афанасия. Авось отпустят его. А службу можно было бы проводить и в той же часовне, и сторожку церковную приспособить. Но не успел он один порядок Нахаловки обойти, как потащили его в сельсовет и продержали там до сумерек. А ночью прибежал он к Бородиным, перелез через высокий заплот и с подворья постучал в заднюю дверь. Впустили его, а он зубами щелкает от страха: «Спаси, Андрей Иванович! Не дай по миру пойтить!» — «Да какой я спаситель? Что тебе надо от меня?» — «Поставь к себе в кладовую сундук».— «Господи! — сказала Надежда.— Мы сами трясемся, как осиновые листья».— «Нет, вы при власти».— «Не власти, а страсти...» — «Нет... Примите сундук. Больше и спасаться негде». Так и приволок сундук. Сперва на лошади вез по задам. Потом садом несли вдвоем с Лукерьей. Здоровенный сундук, окованный полосовым железом. Поставили его возле ларя, перекрестили и замок поцеловали. «Ты, Лукерья, никак, от меня заклинаешь замок-то?» — сердито спросила Надежда. «Нет, нет. Что ты,— ответила та скороговоркой.— Боюсь, как бы в колхоз не уплыл».

О колхозе говорили много, но до праздников так и не удалось создать его — не шли люди на собрание, и шабаш. Дважды обходили село подворно сам Кречев с Ваняткой и Левкой Головастым, уговаривали каждого собраться в трактире, каждый обещал прийти — вот только со скотиной уберусь,— и не приходили. Более полутора десятков не собиралось. Что за оказия? Бился Кречев над этим темным вопросом неповиновения. Разрешил его Ванятка; матерясь на чем свет стоит, он зашел в Совет в праздничное утро и сказал Кречеву, ладившему на двух оструганных палках красный лозунг для демонстрации:

— Ты знаешь, почему на собрание не шли?

— Ну?

— Кто-то слушок пустил по селу, де-мол, собираем народ не для колхозного разговора, а чтоб церкву закрыть окончательно, сделать из нее зерновой склад и каждому роспись свою поставить. А кто откажется, тому твердое задание довести, как Федоту Ивановичу Клюеву.

— Н-да.— Кречев только затылок почесал.— Классовый враг работает на стихию будь здоров. А мы с тобой — вислоухие губошлепы. Надо письменные повестки разослать и в них черным по белому написать: собираемся поговорить про колхозные дела, а церковь нас не интересует. И под роспись. Понятно?

По такой методе и собрались вечером восьмого ноября. Хоть и жидко, но пришел народ. Приглашали всех — и мужиков, и баб, и молодежь, чтоб всем миром, по новому зачину, сошлись, как на праздничное гулянье. Но пришли одни мужики, как на сход, и тех не более половины, человек двести. Рассаживались вдоль стен на корточки, а то и прямо на пол, сложив перед собой ноги калачиком,— лишь бы подалее от начальства. Скамьи перед столом президиума пустовали. И в самом президиуме мужиков недосчитывалось — не было ни Клюева, ни Андрея Ивановича Бородина, ни Сеньки Курмана,— один Ротастенький неизменно маячил голым лицом среди начальства, да поблескивал лысиной Ванятка, да щурилась на сон Тараканиха. Доклад делал Сенечка Зенин. Время от времени он брал со стола свежую газету с портретом Сталина, помахивал ею над головой, а то вычитывал оттуда отмеченные карандашом места.

— Товарищи, мы все с вами переживаем исключительный подъем по случаю года великого перелома, как гениально выразился товарищ Сталин. В чем сказывается год великого перелома? Это прежде всего в производительности труда, поскольку активность масс повысилась через самокритику. Это, во-вторых, товарищи, в области строительства промышленности, проблемы накопления, то есть ускоренные темпы! И, наконец, в-третьих,— в области сельского хозяйства — это великий перелом от мелкого индивидуального к коллективному крупному индустриальному хозяйству. Рухнуло и рассеялось в прах утверждение правых, главным образом Бухарина, что... Где оно тут? — Зенин поглядел в газету и воскликнул: — Ага, вот! «...а) крестьяне не пойдут в колхоз, что б) усиленный темп развития колхозов может вызвать лишь массовое недовольство... в) «столбовой дорогой» являются **не** колхозы, **а** кооперация, что г) развитие колхозов и наступление на капиталистические элементы деревни может оставить страну без хлеба. Все это рухнуло и рассеялось в прах, как старый буржуазно-либеральный хлам».— Зенин помотал газетой и спросил: — Ну, в самом

деле, разве мы не докажем с вами на деле, что крестьянин пойдет в колхоз? А?! Сегодня же докажем, товарищи. А ежели кто не хочет доказать правоту слов товарища Сталина, то пусть пеняет на себя. Ведь вы только подумайте, что делается сейчас по всей стране? По всей стране создаются колхозы-гиганты. Вот вам пример: в Ирбитском округе создан колхоз, в который вошли целых три района. Сто тридцать пять тысяч гектаров земли! Вот что значит большевистские темпы. Имея в виду этот патриотический почин, товарищ Сталин пишет... Вот слушайте: «Рухнули и рассеялись в прах возражения «науки» против возможности и целесообразности организации крупных зерновых фабрик в 50—100 тыс. гектаров». Не мешало бы науке подучиться у практики, говорит товарищ Сталин. Эта самая наука намекает, дескать, крупные зерновые фабрики не оправдали себя и за границей. На что товарищ Сталин верно ответил. Вот, слушайте: «В капиталистических странах не прививаются крупные зерновые фабрики-гиганты. Но наша страна не есть капиталистическая страна». Гениальнее и проще не скажешь. А посему нам с вами надо подтвердить научные положения статьи товарища Сталина и сегодня же создать колхоз. Он положит начало зерновой фабрике-гиганту всего нашего района, а может быть, к нему присоединятся и соседние районы.

Зенин долго говорил о том, как надо сводить скот на общие дворы, куда свозить инвентарь, что пришлют колхозу трактора, молотильные машины, сеялки, веялки. Показывал, подымая над головой, примерный устав колхоза и даже зачитывал из него отдельные статьи. Когда он кончил и сел, воцарилось долгое молчание. Напрасно Кречев спрашивал, задирал подбородок, тянул шею, стараясь выудить хоть одного желающего высказаться. Мужики молчали, курили, покашливали. Только Якуша не раз порывался из-за стола, но Кречев осаживал его, ждал, когда «масса» заговорит. Наконец терпение его лопнуло:

— Да вы что, в молчанку сюда пришли играть?! — загремел он.— Или языки бабам за пазуху положили? Или хозяйством более не распоряжаетесь? Позабыли свое звание, да?

Возле стенок завозились, послышались смешки, и бойкий петушиный голосок отчеканил:

— Дак вы нас к тому и зовете — и хозяйство, и жену отдай дяде, а сам ступай к б...

— Это кто там работает на линию классового врага? — Кречев, опираясь на кулаки, приподнялся над столом.

— Это не мы... Таракан забежал с улицы. Тута его и зашшемили.— Голос визгливый и дурашливый. И хохот от стенки, как волна от мельничного колеса.

— Савкин, возьми-ка лампу,— двинул Кречев по столу стоячую лампу.— Да поставь ее там, на полку у стенки. А мы поглядим — что за тараканы в том углу собрались.

Якуша взял лампу и понес ее в вытянутой руке, как факел.

Из передних рядов встал Андрей Егорович Четунов и, левой рукой, растопыренными пальцами, ощупывая осторожно свою лисью бороду, словно желая убедиться — на месте ли она, вкрадчивым голоском спросил:

— Я извиняюсь, конечно... Насчет колхоза вы тут хорошо толковали. Это что ж, задание такое сверху спущено, чтоб нам объединить все, окромя баб и ребятишек? Или сами стараетесь?

— Вам же русским языком из газеты зачитывали слова самого Сталина,— сказал Кречев, сдерживая раздражение.— Чего тебе еще надо?

— Мне-то ничего не надо. Я — червяк. А вот для вас как? Постановление спущено сверху или вы сами стараетесь? Ась? — Четунов даже вперед чуток подался и как бы руку поднял к уху скобочкой, чтоб лучше расслышать.

— Ты об нас не заботься. Мы зря молоть чепуху и отсебятину не станем,— сердито отвечал Кречев.

— Дак ежели постановление имеется сверху, тогда зачтите его, и дело с концом. А ежели такого постановления нет, так прямо и скажите. Чего тут с нами в прятки играть. Это вон на игрищах с девками глаза друг дружке завязывают, чтоб шшупать удобнее было. А мы не на игрища собрались. И шшупать нас нечего.

— Тебя не шшупать, а тряхнуть надо, как Клюева, мать твою...— выругался Якуша как бы про себя, но так, что и в дальнем углу услыхали.

— Степан Гредный тряханул... И ты дотрясешься,— отозвалось с задних рядов.

— Кто это там грозится? А ну, подымись! — Кречев, вытягивая шею, заглядывал поверх голов.— Кому там захотелось вослед Клюеву отправиться?

В мутном свете настенной лампы все сливалось в стоячую шерстистую массу — и нечесаные косматые головы, и бороды, и лохматые воротники полушубков,— словно стадо овец сбилось при виде собак. И тишина наступила такая, что слышно было, как потрескивает керосин в лампах.

— Вы там смотрите, которые!.. Ежели кто еще пустит угрозу, сам пойду по рядам допрашивать,— погрозился Кречев и сказал: — Слово имеет Иван Бородин.

Ванятка поднялся над столом, он сидел рядом с Левкой Головастым, пригладил лысину, усы оправил, будто с ложкой подступал к чашке жирных щей.

— Тут есть, которые сумлеваются в колхозе по темноте своей, по неграмотности...

— Ты больно грамотный... ажно блестишь.

— Ён азбуку под голову клал...

— Ге-ге! Шмурыгал...

— Штаны бы на голову надел!

— Га-га-га...

Перекликались из темных углов, как петухи с насеста, и смех шарахался вдоль стен упругой перекатной волной.

— Вы кто, мужики или горлодеры? — окрысился Ванятка.— Чего сказать не даете? Или так и будем друг перед дружкой кукарекать?

— Кто-то нынче докукарекается,— сказал Кречев и постучал о графин.

— Я не своей грамотностью похваляюсь. Меня просто обида берет, что люди, которые в колхозном деле смыслят, как пономарь в Писании, только сумление разводят. Мы тут прикинули накануне путем подворного опроса — кто согласен в колхоз итить? Двадцать шесть хозяйств согласились. Вот, у нас тут и список имеется,— ткнул Ванятка в Левкину папку.

— Голь перекатная!

— Тюх, да матюх, да Колупай с братом...— закричали от задней стенки.

— Не-эт, брат, не голь,— покачал головой Ванятка и взял из папки листок бумаги.— Вот он, список!.. И знаете, кто первый сдает свое имущество в колхоз? А Дмитрий Иванович Успенский! — Ванятка потряс списком над головой, потом взял другую бумагу и торжественно прочел: — «Я, Успенский Дмитрий Иванович, добровольно вступаю в колхоз и отдаю на общее пользование дом, амбар, сарай молотильный, весь инвентарь, лошадь и

обеих коров...» Левка, на, прочти! Пусть проверят, что я не вру!

— Да вот оно, заявление,— поднял бумажку Левка Головастый.— Кто хочет, пусть прочтет.

— А что же он сам не пришел?

— Он в Степанове, в школе, потому как учит ребятишек. А ключи отдал Маланье, для нас то есть оставил,— сказал Ванятка.

— И на работу в колхоз за него Маланья пойдет?— съязвил кто-то, и снова засмеялись.

— Летом он обещался помогать. И мы ему верим. Потому что он однова уже доказал, что умеет ценить артельный труд. И понимает в этом деле будь здоров. Потому как грамотный человек, образованный. Видит, что без колхоза нам никак не обойтись. А вот которые газеты только на курево пускают, потому как грамота им нужна для прочистки ноздрей, сумление насчет колхоза разводят... Вот почему и берет меня обида.

— Успенский — ломоть отрезанный... Ты скажи, кто из мужиков заходит? — кричали из одного угла.

— Поди, известно,— отзывались из другого.— Максим Селькин да Ваня Парфешин.

— Пара голубей залетных...

— Чижики!

— Воробьи... Почирикать да чужое зерно поклевать.

— Есть бедняки,— сказал Ванятка.— Но есть и крепкие мужики. Например, Максим Иванович Бородин.

И вдруг все притихли, как будто Ванятка отдал команду «смирно!». Зенин, смекнув, что такое известие может сыграть ему на руку, тотчас позвал Бородина:

— Максим Иванович, пройдите к столу и расскажите, почему вы идете в колхоз.

Максим Иванович в напряженной тишине прошел к столу, стал под висячей лампой, так что его кучерявые волосы, словно шапка, затеняли лицо, и сказал:

— Поверьте мне, мужики. Дело с колхозом — не выдумка Зенина или Кречева, а верховная установка. Газеты читаете, ну? Что там сказано? Колхозы — единственный путь развития. Другого пути не дают. Вот я и говорю — надо вступать, пока добром просят. Не то дождемся — пинками загонять станут. Все дело к тому идет.

— А постановление есть или нету? — крикнул Четунов.

— Пускай Зенин скажет!
— Омманут, мужики... Ей-богу, завлекут и омманут.
— Эт как же итить в колхоз? Добровольно на аркане? Да?
— Мудруют нами... Тасуют, как колоду карт.
— Пускай Зенин или Кречев скажет!..
Кричали и шумели со всех сторон.
Зенин поднялся над столом, а Кречев долго стучал о графин, пока все не смолкли.
— Товарищи, мы сами должны принять решение о создании всеобщего колхоза. А установка на сплошную коллективизацию имеется.
— Дак зачитайте ее! Кто ее подписал?
— Вам же русским языком говорят — не постановление, а установка. То есть линия главного направления. Принята она была на Пятнадцатом съезде партии. Чего же тут непонятного? Продолжайте, Максим Иванович.— Зенин сел.
— Дак вот, значит, линия. Надо испытать ее, испробовать. Может, она и приведет к чему хорошему,— начал Бородин, но его опять перебили.
— Одна попробовала, да родила!..
— Тиш-ша! Мать вашу перемать...
— Ты, Кречев, ступай на край села, где тебя ждут... Там и матюкайся.
— Что за базар? Кому говорят? Тихо!
— Ну что вы разоралися, дураки? — крикнул от стола Максим Иванович.— Ежели есть линия, так надо обсуждать ее спокойно. Вы думаете, ваша брань долетит туда,— указал он на потолок.— Те, которые линию спускали, они все равно ваши матюки не услышат. Чего ж без толку кричать? Давайте соберемся миром в колхоз, вон как в Ирбитском округе... про что Зенин говорил. Чем больше мы соберемся, тем скорее докажем — правильно взята линия или нет. Правильно — хорошо заживем. Нет — вернемся к старому.
— Постой, постой... Ты чего мелешь? — поднялся Кречев.— Ты что, блины, что ли, печь собираешься? Сыматься будут — блинов поедим, а нет — тестом сожрем. Колхоз — это ж новый строй жизни! Понял? Все по-новому делать надо. Друг дружку поддерживать, подпирать плечом общее дело. Это ж на вечные времена. Только вперед и выше. Назад ходу нет.
— Дак я ж разве против? Я готов шагать вперед и

плечом кого надо подпирать. Они ж вон упираются. Вот я и поясняю им. Колхозом жить веселее.

От стенки поднялся Макар Сивый, темный, в два обхвата, что копна, и засипел:

— Ты, Максим Иванович, храбрый да умный. А мы вот дураки и трусы. Ответь-ка на такой вопрос: скольки у тебя ртов? Молчишь? А-а! Ты, да я, да мы с тобой... Был один нахлебник — и тот отвалился. Теперь ты за весельем в колхоз топаешь. А мне каково, когда у меня у самого за столом веселье? Семь ложек играют, только поспевай в чашку наливать. Теперь я знаю, откуда подливать надо,— на свой горб надеюсь да вот на эти руки. А в колхозе что будет? Ну-ка да мы все лето провеселимся с Якушей да проспим с Тараканихой... Ты хвост в зубы — и в город. Тебя только Митькой звали. А я куда подамся со своей оравой? Мне-то куда? Вроде Вани Парфешина по домам итить, стадо гонять. Дак ведь и стада не будет... Всех коров в колхоз сведут. Чего ж мне делать? Брать кистень в руки — и на большак? Нет, Максим Иванович, на такое веселье ты нас не агитировай. Мы пока сыты, обуты, одеты. И слава богу. От добра добро не ищут. Вы же, которые веселой жизни захотели, ступайте в колхоз, гоните эту линию. Гоните, а мы поглядим. Получится у вас хорошо — может, и вступим. Нет? Не обессудьте.

Спорили еще долго... Уговаривали, кричали, матерились и вновь убеждали до самых первых петухов. Накурили так, что лампы светились мутными шарами, словно в тумане. Но... как было записано двадцать шесть человек, так на них и остановились. Ни один еще не записался. Кто бы ни выступал, как бы ни доказывал, ни убеждал, но все заканчивалось одной и той же фразой, пущенной с легкой руки Четунова: «Раз постановления нет сверху, так прямо и скажите... Чего с нами в прятки играете?..»

— Классовые враги подготовились лучше нас,— сказал в сердцах Кречев, когда от собрания остался один президиум за столом.

— Трудно работать, если у тебя руки и ноги связаны,— отозвался Зенин.— Как ни смешно звучат эти причитания шептунов, но они правы. Да, нужно постановление насчет всеобщей коллективизации. По округу, по району, по сельсоветам! Вот тогда мы заговорим по-другому.

Потом написали два документа; впрочем, писал Левка, а диктовал ему Зенин. Первым документом была резолюция общего собрания села Тиханова: «Заслушав все разъяснения (докладчик тов. Зенин) относительно коллективизации, а также разъяснение статьи товарища Сталина «Великий перелом», постановили: необходимо объединиться в коллектив, чтобы поднять урожайность, культурность жизни и хозяйства, а также усилить помощь государству в отношении хлебосдачи. Все сознательные граждане, нижепоименованные, добровольно вступают в колхоз». К резолюции приложили список колхозников и еще сочинили телеграмму в окрколхозсоюз:

«В подтверждение правильности взятой XV партсъездом линии по переустройству сельского хозяйства и в ответ на нытье правых оппортунистов мы, граждане села Тиханова, в количестве двадцати шести человек объединились сего числа в колхоз и в Вашем лице заверяем партию, что с намеченными темпами пятилетнего плана в условиях с/хоз. справимся, дав требуемое сырье для промышленности и продукты питания для армии и рабочего класса.

Рязанским рабочим посылаем привет и обещаем подняться до того уровня дисциплины и культурности, какого достигли рабочие. Просим прислать для проведения в жизнь коллективизации рабочего или агронома».

Присмиревшему Ванятке Зенин сказал:

— Запрашиваем агронома или рабочего с дальним прицелом, на случай всеобщей коллективизации. А пока придется, Иван Евсеевич, возглавить колхоз тебе. Мы поможем насчет утверждения, и вообще.

Домой возвращался Иван Евсеевич уже под утро. Шел по сонной Сенной улице, как со свадьбы,— и в душе все пело, и голова кружилась. Падал тихий снежок, припорашивал черные гребни колесников и мягко похрупывал под ногами. Легкий морозец пощипывал в ноздрях, продирал, как хороший табачок, до самого нутра и на выдохе белым куржаком завивался, покрывал его черные усы. «Наконец-то пришла моя пора шевельнуть бровями да мозгой раскинуть,— думал Иван Евсеевич.— Теперь я, что на молотильном кругу, в самом центре. Гляди в оба, Иван, отмечай по заслугам и того, кто везет, и того, кто порожняком идет, за чужой счет молотить норовит. Тебя самого гоняли по этому кругу, да еще с молоточком у наковальни... Иван, ударь сюда! Иван, тяни туда! Так что

знаем, кто пóтом обливается, а кто и пузырем надувается. Не перепутаем...»

На краю села в его трехоконной избенке светился огонь. «Что она, с ума спятила? — подумал он про жену.— Керосин всю ночь палит? С какой радости? От каких доходов? — Толкнул дверь — не заперта...— Или меня ждет?»

Санька Рыжая сидела за столом и плакала.

— Ты что? Ай обидел кто? — спросил он ее от порога, как маленькую.

— Сходи-ка в сад, погляди, что там наделали.

— А чего там делать? Что там у нас, караваи хлебные? — опешил Ванятка.

— Все яблоньки посекли, под самый корень... Они ж совсем ма-а-хонькие,— опять заплакала Санька.— Чего им надо-то? Тяпнул разок — и на бочок.

Иван почуял, как его правый ус ходенём заходил и веко задергалось. Он, не сказав ни слова, обернулся и пошел в сад через двор.

Санька семенила за ним по пятам и все приговаривала скороговоркой:

— Мне сон приснился... будто черт у нас в избе, с рогами... На Васю Сосу похожий и все руками норовит меня достать, с печи стащить, а я все от него за трубу прячусь... Он меня хватает лапой с когтями, и брешет... Ба-атюшки мои! У меня вся душа от страсти захолонула. Проснулась я — а это собака соседская брешет. И вроде у нашего плетня. Уж не волк ли, думаю. Схватила шубенку внакидку, выскочила в заднюю дверь и вот тебе слышу — ктой-то по саду топает. И плетень трещит. Я вышла в сад — никого уж нет. А яблони на боку валяются...

Они посечены были под самый корень, их даже не стронули, так рядами и лежали... Все двадцать четыре яблоньки, его пятилетки, купленные еще в третьем годе у Черного Барина. Вот тебе и сад, надежда его и отрада. «За что же, сволочи? За что?» Иван ходил от яблоньки к яблоньке, смотрел на острые срезы коротких комельков — одним махом посечены — и чуял, как тяжелая злоба ворочалась в груди его и распирала изнутри, будто вся утроба распарена была от гнева. Следы порубщика уже заметало порошею, но в затишке, возле плетня, один след был еще виден хорошо — это был отпечаток здоровенного лаптя. Иван смотрел на этот след, матерился и видел отрешенным взглядом своим не снег, не плетень, а

много-много лиц — темных, бородатых, и все они потешаются над ним, заразительно хохочут...

— Ну, погодите, гады. Вот вы как... Ладно. Эдак-то и мы умеем...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

То постановление, о котором так мечтали Возвышаев и Сенечка, наконец появилось. Оно появилось в конце ноября, после Пленума ЦК о контрольных цифрах. По всей стране, по районным ячейкам, уездным, окружным, областным, рассылались депеши с кратким изложением Пленума. Заявление Угланова и Котова: «Для нас стоит вопрос: быть ли на отлете, поддерживать и дальше политику тт. Бухарина, Рыкова, Томского, или идти в ногу со всей партией. Мы считаем нужным быть вместе с партией...» «Пропаганда правых капитулянтов несовместима с пребыванием в партии». «Пленум ЦК об итогах и дальнейших задачах колхозного строительства». «Резолюция по докладу т. Каминского». «Послать в деревню 25 тысяч рабочих». «Начинается новый исторический этап преобразования деревни» и т. д. и т. п. Московская область была объявлена районом сплошной коллективизации.

И потекли телеграммы, резолюции, обязательства, лозунги, донесения сверху вниз и снизу вверх, туда и обратно; забурлил этот бумажный поток, как подогретая и сдавленная чугунными трубами жидкость в системе принудительного круговращения.

В эту жестокую пору головотяпства, как и в иные времена, исчезла, растворилась многовековая нравственная связь, опиравшаяся на великие умы; и вот... и здравый смысл, и трезвый расчет, и необходимое чувство умеренности, контроля, словно плотина под напором шалой воды, уступили дорогу свободному ходу стихии, многоголосому хору ее толкачей и заправщиков; эти отголоски, как давнее эхо, укрытые на страницах газет той поры и в фолиантах пухлых подшивок архивных подвалов, еще долгие годы — только прикоснись к ним — будут сотрясать душу и поражать воображение человеческое своей неотвратимой яростью и каким-то ритуально-

торжественным дикарским восторгом при виде того, как на огромном кострище корчилась и распадалась вековечная русская община.

«Крестьянин старого типа с его зверским недоверием к городу, как к грабителю, отходит на задний план».

«Правые отмечают низкий уровень цен на с/хоз. продукты... А мы отвечаем: «Языком цен говорят классы!»

«Некоторые уполномоченные поют с кулацкого голоса — мол, твердые задания невыполнимы».

«Полностью разоблачим теоретиков-оппортунистов из комсомольской ячейки тормозного завода».

«Областной животноводсоюз вместе с товариществами устраивает совместные пьянки».

«Секретарь райкома сельхозлесрабочих Шульгин надрызгался в стельку в кабинете, кричит сторожихе: дай ковш! Сторожиха принесла, и Шульгин тут же стал мочиться в ковш. Все смеялись. А я говорю: что вы делаете? Тогда он бросил ковш, снял умывальник — и давай туда мочиться. Пущай, говорит, кто-нибудь умоется» [1].

«Твердый отпор нужно дать и тем колхозам, которые продают излишки на сторону. Такие коллективы не могут считаться иначе, как лжеколхозы. Кулацких заправил лжеколхозов надо отдавать под суд».

«Пред. Тугильского Совета говорил: «Бояться кулаков не надо — они наши крестьяне. Я в свой коллектив с удовольствием принял бы кулаков. А что толку с бедняков?»

«Но разве не толкает на эту практику бухаринское предложение об отмене индивидуального обложения кулаков?»

«Вместо сдачи излишков колхозы распределяют хлеб по своим членам. Позор!»

«1 декабря — предельный срок для выполнения плана хлебозаготовок». «Выгрести хлебные излишки до последнего зерна». «Карать кулаков беспощадно».

«На днях состоялось постановление пленума Московского областного комитета комсомола о стопроцентной коллективизации Рязанского округа в течение 29—30 гг. К осени все должны быть в колхозах!»

---

[1] Правда, 1929, № 276.

«В течение года отсталый Рязанский округ должен стать одним из наиболее передовых не только нашей Московской области, но и всего СССР».

«Растрясем кулацкие закрома!»

«От мелких колхозов — к сплошной коллективизации!»

«Даешь сплошную!»

«Смоем пятно позора! Колхозы «Пристань» и «Красное знамя» продали излишки хлеба на частном рынке».

«Коммунист Панин выступил против контрольных цифр. Выяснилось, что он накануне пьянствовал с псаломщиком».

«Член сельсовета Савин говорил, что план невыполним, что таких излишков у нас нет. Но беднота настояла на своем».

«В деревне Бахметьево создано такое мнение у самих работников, что хлеба у них нет».

«Коммунисты уклоняются от вступления в колхоз».

«Первое — обложенье рабочего скота. В результате чего уменьшилось его поголовье.

Второе, уменьшилось поголовье облагаемого крупного рогатого скота на 3%.

Третье, на кулацко-зажиточную часть наложить до 45% всей суммы налога».

«В с. Ягодном было составлено 45 актов на сокрытие и недоучет объектов обложения».

«Дообложено 40 хозяйств, доход мельника добавочно учтен в 7 тысяч 700 рублей».

«Неделя сбора мешков под хлеб. Поможем государству ликвидировать хлебные заторы!»

«Беспощадно изгоним всех кулаков из колхозов».

«Закрыли дом мракобесия — церковь».

«Все учителя вступили в колхоз».

«Среди просвещенцев есть элементы, которые сознательно вредят на хлебозаготовках и перевыборах в сельсоветы».

«В Рыбновском районе до 50% учителей — из духовного звания. Они до сих пор не порвали со своими папашами — служителями алтаря, у которых проводят каникулы».

«В наступление на классового врага в маске попа и сектанта!»

«Колокола — на индустриализацию».

«Довести до каждого крестьянского двора постановление о сохранении свиных шкур и щетины».

«1. Провести контрактацию скота.

2. Запретить продажу неорганизованного скота».

«Нельзя клеймить мясо опаленных свиней».

«Милиция бежит от мяса».

«Сельсоветы продолжают выдавать разрешение на продажу скота».

«Прекратить убой скота!»

«По Ряжскому району имели место поджоги своих хозяйств кулаками с. Дегтяное со словами: «Гори и не доставайся ни нам, ни им».

«Вокруг хлебозаготовительной кампании в деревне обострилась классовая борьба. Кулаки кричат: если будете собирать хлебные излишки, село объявит голодовку».

«Несмотря на то, что статистика доказывала нам, будто урожай в этом году ниже прошлогоднего, мы заготовили хлеба больше, чем в прошлом году». (Из доклада В. Молотова на Пленуме ЦК).

«Заслушав доклад т. Карпушина о сплошной коллективизации Рязанского округа, Рязанская городская рабочая конференция целиком и полностью одобряет решения пленума окружкома ВКП(б) и президиума ОКРИКа, направленные к коренной перестройке с/хозяйства путем охвата единоличных хозяйств и мелких колхозов сплошной коллективизацией округа.

Отработать 1 день (из рождественских праздников) на сплошной коллективизации, провести сбор средств на тракторную колонну и привлечь рабочие массы к сбору утильсырья.

Всем рабочим г. Рязани, имеющим свои хозяйства в деревне, войти в колхоз к 1 февраля 1930 года». (Резолюция общего собрания рабочих-строителей Рязани, отъезжающих в деревню.)

«Выделить из округа не менее 100 рабочих на руководящую работу в колхозы».

«Встретим весеннюю посевную кампанию в едином колхозе!»

И наконец поступил приказ — создать в каждом районе оперативный штаб по проведению сплошной коллективизации.

Начальник окружного оперативного штаба «по сплошной» Штродах в газете «Рабочий путь» доказывал, какие выгоды несет эта сплошная коллективизация: от одного

только обобществления имеющегося сельхозинвентаря увеличится урожайность не менее чем на 10% и посевные площади расширятся. Ну как же? Ведь сообща работать веселее! А главное — в каждом селе мы-де посеем кормовые корнеплоды. Мужики не хотят сеять корнеплоды, а мы посеем. Ведь одни только корнеплоды при поливке их жидким удобрением могут дать столько кормов с одного га, что можно будет выработать до 30 тыс. килограммов молока. А в целом по округу это даст добавочной продукции на 100 млн. рублей, тогда как вся валовая продукция по животноводству и зерну округа составила в прошлом году всего 250 млн. рублей. Видите, что даст эта сплошная коллективизация?

А если поднять целину, то есть распахать луга в пойме да пастбища? В одиночку такое дело не сделаешь, а сообща можно ее перевернуть, целину-то, потому как с песнями... Да посеять на ней корнеплоды, картошку посадить. Да еще 200 силосных башен построить под 100 тыс. тонн силоса... И дворы общие построим — и все своими руками. Из чего? А из подручных материалов, чтоб даром обошлось. А? Ведь за один год сплошной коллективизации таким вот манером мы превратим Рязанский округ из отсталого в передовой во всеобщем масштабе и зальем всех молоком и завалим всех мясом.

Большая статья, во все полотнище газеты. И корнеплоды эти самые нарисованы, и рост изобилия показан. А поверх всего красовался сам Штродах, в кепочке, смотрит прищуркой, как бы на испыток берет: ступай, куда посылают, делай, что приказывают,— не то хуже будет. И запомните — на строительство этого всеобщего изобилия надо использовать только местные средства. От государства не ждите помощи. Надо еще помочь государству, то есть сдать поскорее все хлебные излишки, которые числятся по обязательствам.

На сбор хлебных излишков в Гордеевский узел направлены были Возвышаев, Чубуков и Радимов; на подъем комсомольской массы была послана Мария Обухова, подкрепить же эту делегацию, придать ей весомую наглядную силу должен был Озимов с двумя милиционерами. Но Озимов ехать в одной компании с Возвышаевым отказался.

— У меня своя голова на плечах, за нее я отвечаю. А за чужую голову, да еще дурную, отвечать не желаю,— сказал он Поспелову.

Они когда-то вместе учились в Рязанской гимназии и, оставаясь наедине, откровенничали. Озимов, бывший вояка, погрузневший в отставке по ранению, позволял себе припугивать Поспелова бесшабашной откровенностью, доходившей до крамолы; Поспелов же уклончиво отнекивался, улыбался пугливо, на прямые и острые, точно пики, озимовские вопросы отвечал туманно или общими фразами и прикрывал глаза, словно прятался за очками. Всю войну просидел он в губернской статистике, а с приходом новой власти перешел в Совет и вступил в партию. Откуда же ему было набраться смелости?

— А если придется конфискацию применить за злостное сопротивление? — спросил Поспелов.— На кого им опереться?

— Там есть сельсовет, председатель Акимов, милиционер Ежиков, актив... Вот пускай и опираются. А я поеду в Степаново, в Желудевку. Я сам по себе. У меня шуму не будет.

— Либеральничаешь ты, Федор, вот что я тебе скажу.

— Я — либерал? — Озимов сжал свой кулачище, повертел его перед столом Поспелова. От напряжения пальцы его покраснели, а бугристые свилистые шрамы налились мертвенной синевой.— Погляди! Вот этот рубец от мадьярского палаша, а вот это,— указал на запястье,— казацкая шашка отметину оставила. Рукой этой шесть лет рубил без роздыха. Вот какой я либерал! Но хватать за шиворот и трясти беззащитных мужиков и баб не желаю. Понял?

— Понял, чем мужик бабу донял,— сказал Поспелов.— Эдак-то и я откреститься могу. Я тоже воевал и ранение имею. А кто директивы исполнять будет?

— Какие директивы, Мелёх? Штродах захотел чудо в решете сотворить — луга, мол, распашем да репой засеем. Целину поднимем? Нашел целину на лугах! Зараза... А мы с тобой сгоняй мужиков до кучи, чтоб они эту репу сеяли... А потом нам же по шее этой репой.

— При чем тут Штродах? Доклад на пленуме делал Каминский.

— А этот субчик лучше? Он семинар проводил. Наши, из Рязани, были там. Так знаешь, что он им говорил?

— Что?

— Лучше, говорит, перегните палку в этой коллективизации. Если и пострадаете, то за дело революции. Потом вас простят, оценят.

— Пойми ты, Федор, дело ж не в Каминском и не в Штродахе. Они только проводники.

— Проводники, говоришь? Да чьи проводники-то? Ты забыл, что раньше пташки покрупнее их пели? Да то же самое, то же самое. Не успели принять толком новый курс — лицом к деревне, они уж мины стали под него подводить. Помнишь брошюру Преображенского? Демол, капитализм построен за счет колоний; но так как у нас колоний нет, то давайте строить социализм за счет деревни. И тут же подхватили эту идейку... И Троцкий, и Зиновьев, и Каменев. Да мало ли их? Вона, целую платформу состряпали.

— Преображенский — сын орловского попа. Вот он и завирает...

— А другие тоже в попах состояли?

— Ладно распаляться! — успокаивал его Поспелов.— По-твоему, все перевернулось вверх дном? Ну и ну...

— Да ты не нукай. Вспомни тезисы оппозиции! Мол, давай обложим десять процентов крестьян принудительным заемом в 200 миллионов рублей. Вот тебе и деньги. Выкачаем излишков 200 миллионов пудов, отвезем за границу, обменяем на станки — вот тебе индустриализация. Кого обложим-то? Ведь кулаков всего два с половиной процента! И это называется экономической политикой? Это живодерство, а не политика. И правильно врезал им Дзержинский на апрельском Пленуме в двадцать шестом году. Мы, говорит, приняли курс лицом к деревне, а Каменев предлагает нам кулаком по деревне. Эх, жалко, помер. Он бы им врезал за издевательство над ленинским курсом.

— Не пойму я, ты — что ж? Против линии на коллективизацию?

— Не против я коллективизации,— поморщился Озимов.— Я не хочу, чтобы людей гоняли, как баранов. Против головотяпства я.

— Ну, кооперативный план не с неба свалился!

— А ты Ленина читал? В его статье о кооперации есть хоть слово о колхозах? Нет же. Это значит, что он не выпирал их на первое место, не требовал к ним центрального внимания партии. Это значит, что колхозы еще не ко времени, колхозы — наиболее трудный вид кооперации. Надо сперва научиться торговать, хозяйствовать, на ноги встать. Никуда не уйдут от нас эти колхозы! Куда мы торопимся? Куда гоним?

— Дак съезд же принял резолюцию!

— Не в одну же зиму забузовать всех в колхоз! Где это записано в резолюции съезда? Укажи мне!

— Ну, ситуация изменилась.

— Это точно. Все, что левая оппозиция предлагала, все с лихвой наверстывается... Недаром все эти теоретики вернулись в партию. И Преображенский, и Раковский, и Пятаков... Теперь они аплодируют, все по-ихнему получается, как по писаному пошло. А всех, кто с ними не согласен, окрестили правыми. Ты не хмурься, не мотай головой. Ты тоже в правые попадешь, будь уверен. Зачислят и тебя, если уже не зачислили.

— Да ну тебя к черту! Типун тебе на язык, накаркаешь еще на ночь глядя.— Поспелов не на шутку испугался и даже из-за стола встал и прошелся по кабинету, печатая сапоги по дубовому, набранному в шашку паркету.— Ты лучше скажи, как будем обязательства по излишкам выполнять? Ведь пять с половиной тысяч пудов только ржи! Шутка сказать...

— А на хрена ты утверждал эти пуды? О чем ты думал?

— Я утверждал? Я ж на больничной койке валялся. Это ж Возвышаев с Чубуковым состряпали.

— Пускай они и расхлебывают сами эту кашу.

— А мы, думаешь, в стороне постоим, да?

Но Озимов на вопрос не ответил, отрешенно глядел куда-то в угол и сказал больше для себя:

— Это ж надо — опять к продразверстке скатились. А ведь еще на съезде сам Сталин говорил: нас, мол, толкают к продразверстке, но мы туда не пойдем. Там ничего хорошего нет.

— Ну, ты тоже загибаешь. Продразверстка шла сверху, отряды приезжали, забирали хлеб, скот. А теперь у нас вроде бы отряды не шуруют.

— Да какая разница? То из Москвы латыш приезжал, шастал по сусекам и дворам, а теперь свой Возвышаев шурует. Раньше бумага приходила — чего сдать конкретно. А теперь указание в общих чертах. Сами берем обязательства под дых и выше. Но это еще цветы, а ягодки будут впереди...

— Ну, поживем — увидим. Чего нам загадывать на будущее? И сегодня дел хватает. Ты поедешь с Возвышаевым или нет?

— Нет, Мелентий, с этим оборотистым дураком я не поеду...

2

Мария Обухова тоже отказалась ехать с Возвышаевым; уже после Озимова, в сумерках, зашла она к Поспелову и, остановившись возле самых дверных косяков, как рассыльный, руки навытяжку, сказала:

— Мелентий Кузьмич, я не могу ехать завтра утром с Возвышаевым. У меня запланировано комсомольское собрание в Веретье на завтра, в девять утра.

— У нас больше нет лошадей — все в разъезде.

— И не надо. Я пешком.

— До Веретья пешком? — удивился Поспелов.

— Я в Беседине заночую. Там у меня подружка, учительница. А от Беседина до Веретья всего пять верст. Утречком по морозцу пробегусь.

— Зачем же пешком? До Гордеева на лошади доедешь. А там недалеко.

— Я не хочу вместе с Возвышаевым ехать,— упрямо повторила Обухова.

— По-моему, он не кусается. И раньше вы его вроде бы не боялись.

— Я никого не боюсь. Мне легче пешком, чем с ним в одной телеге.

— Давайте не дурить. Тоже мне, чистоплюйство, понимаете. Ехать в одной телеге не желает? Может, вы и работать там не желаете вместе с Возвышаевым?

— Работать буду. Но у меня своя задача.

— Вы давайте мне автономию не устраивать. Своя задача? У всех у нас одна задача — собрать хлебные излишки. А Возвышаев — старший группы. Извольте подчиняться.

— К двенадцати часам я буду в Гордееве. Но только пойду одна. Так что пусть завтра утром меня не разыскивают.

— Как хотите. Вольному воля.

Мария пошла в Степаново к Успенскому. Накануне они договорились встретиться, и вдруг — эта срочная поездка. «Вот и обманщицей стала,— укоряла она себя дорогой.— Соврала — пойду в Беседино. Хорошенькое Беседино у милого под крышей. Поди, догадываются все — куда я ночевать пошла. Не дай бог Надя узнает — вот позору будет. Еще из дому выгонит».

Что бы там ни было, а ехать в одной телеге с Возвышаевым — хуже всякого позора. Молчать всю доро-

гу — пытка. «Сказать ему все, что думаю о его погромных делах,— всю обедню испортить, и себе навредить, и Тяпину. Лучше уж вовсе не ездить. Сказать, что с меня хватит. Сложить все полномочия добровольно. Все решить одним махом. И сделаться мужней женой? Детей нарожать, пеленки стирать. А чем я лучше других? Какой из меня, к черту, борец? Тряпка я, тряпка... Даже в любви не как у людей — сама бегаю к мужику, по ночам... Какой позор! Какая срамота. Полное безволие...»

Но так она думала, ругала себя только до его порога. Подымалась на крыльцо и чуяла, как дрожат, подгибаются колени, как рвется, обмирает сердце. И трудно было поднести руку к щеколде, и нетерпеливо ждала, когда скрипнет дверь, и простучат в сенях его торопливые шаги, и вырастет он в этом черном проеме, и весь свет заслонит собой.

— Пришла? Изумруд мой яхонтовый!..

— Ой, Митя! У меня ноги подкашиваются.

— Зачем ты рискуешь? Зачем подвергаешь себя такой опасности? Ты только скажи мне — куда прийти. Я невидимкой буду, ветром прилечу.

— К Наде на порог? Она тебя кочергой встретит...

В сенях она уже смеялась, подставляя шею, грудь, запрокидывая голову, прогибаясь, повисая и покачиваясь в его крепких объятиях... Потом он вел ее темными сенями к себе в горницу, снимая на ходу платок, жакетку: прижимался щекой к ее тугой груди, слушал, как звучно и упруго рвется к нему сердце, и жадно оглаживал ее всю горячими руками, чувствуя, как сводят с ума его эти сильные бедра, эти икры. Он торопливо снимал с нее одежды, путаясь в них и замечая, как она бледнела и крупные редкие слезы катились по ее щекам.

— Милая моя, желанная, единственная...

Она ничего не говорила в такие минуты, только слегка раскрывала губы и дышала шумно и прерывисто...

В этот вечер они легли, не зажигая лампы. Горела лампада перед иконами, грубка топилась, сквозь чугунную решетку вырывались переменчивые отсветы от пламени и плясали на желтом крашеном полу.

— Что же творится, Митя? Что творится? — спрашивала она и смотрела в потолок, как будто там что-то можно было прочесть.

— Чему быть, того не миновать. Я же говорил тебе — уходи, пока не поздно. Иначе захлестнет стихия,

закрутит, утащит, как в ледоход на реке. Хватишься, пойдешь к берегу — не выплывешь.

— Да разве это выход? Бросай дело и спасайся кто может!

— То, чем вы занимаетесь, это дело, да?

— Не придирайся к словам. Ты раньше сам занимался этим.

— Увы! Твоя правда.

— Ты и тогда считал, что там одни перегибщики да карьеристы?

— Нет, Маша, не считал. И теперь не считаю.

— Так в чем же дело?

Он приподнялся на локте, внимательно посмотрел на нее, лежавшую рядом,— в полусумрачном свете глаза ее лихорадочно блестели, но щеки и лоб все так же были бледны, а губы сжаты, и что-то неуступчивое, сердитое было на лице, какая-то навязчивая мысль сдвинула брови до складки на переносице и держала всю ее в напряжении.

— Хорошо, я попытаюсь тебе ответить.

Он встал с кровати, надвинул на босу ногу подшитые валенки, накинул вязаную шерстяную кофту и сел на стуле возле грубки. Она все так же лежала, смотрела в потолок, ждала.

— Я раньше верил, Маша, верил,— сказал он наконец.— А теперь не верю.

— Во что?

— Ни во что не верю. В бога перестал верить по глупости да по лени и во все остальное... Устал я, Маша, и понял кое-что.

— Понял? — спросила она, оживляясь, словно обрадовалась, и даже привстала.— Так вот и скажи мне — что ты понял? Отвернись, я оденусь!

Она надела платье, села на перине, сложив ноги по-детски, калачиком, и приготовилась слушать, как школьница на уроке.

— Тут, Маша, в двух словах не скажешь.

— Скажи в трех. Не считай слова-то. Говори! Я терпеливая.

— Ну, начнем с главного: человек не может быть свободным от общества, общество — от классов, классы — еще от чего-то, и так далее. Тут целая теория, в основе которой лежит не свобода личности, а закон целесообразного подчинения...

— Свобода есть осознанная необходимость! — перебила его Мария. — Не помню — кем это сказано. Но хорошо!

— Согласен. Однако при одном условии: осознанная необходимость требует соблюдать одну обязанность — непременное исполнение законов всеми членами общества в равной степени. Еще Сократ об этом говорил: единомыслие, в котором клялись в Элладе, не значит, чтобы все хвалили один и тот же театр, хор или одного и того же поэта или предавались одним и тем же удовольствиям; под единомыслием, говорил Сократ, я понимаю повиновение законам всех членов общества. Равнообязательное соблюдение законов всеми гражданами создает монолитность общества и нравственное удовлетворение, уравновешенность каждого отдельного члена его. И Ленин требовал этого же. Особенно он был нетерпим к нарушению законов бюрократами. С них он требовал взыскивать за эти нарушения строже, чем с рядовых граждан. И это справедливо, потому что каждый управляющий обязан сам следить за соблюдением законов, и нарушение им этих законов, как зараза, перекидывается на подчиненных. Вот почему он и объявил в последний период жизни основным врагом общества, главной опасностью — засилие бюрократии.

— Но ведь каждый сознательный человек, и тем паче коммунист, должен с презрением взирать на эти бюрократические извращения, а сам оставаться стойким блюстителем нашей нравственности.

— Это чистая теория, то есть так должно быть в идеале. Но идеал, не как единичное, а как массовое явление, немыслим без всеобщей гармонии. Если бюрократ, подписывающий законы, сам же и нарушает их, то рядовому человеку все это видно как на ладони. А люди бывают разные; одни принимают все на веру, точнее — делают вид, что все в порядке, и сами становятся блюстителями такого же порядка в кавычках, и даже других заставляют подчиняться общим указаниям, для себя же делают исключение; другие же не подчиняются, выламываются из общего порядка и становятся чуждым элементом, как теперь говорят... Есть еще третий, на мой взгляд, наиболее распространенный образ поведения: понимая, что иного выхода нет, человек перестает мыслить, рассуждать и принимает все, что происходит, как свое искомое и даже находит в этом разумную

целесообразность. Порой искренне не замечает, что превратился в послушного исполнителя чужой воли. И его нравственное начало, его совесть, взгляды начинают меняться или тускнеть, отмирать, и появляются разумные потребности: жажда продвижения к власти, мечта об известности, славе или простое желание комфорта и удовольствий. Конечная цель для него — пустой звук, настоящее благосостояние — всё. Вот так, друг мой, все общество делится на разумных да покладистых и на строптивых и дураков. И те и другие несчастны, потому что мучают друг друга. И связаны одним железным обручем рабской схоластики — человек, мол, не может быть свободным в своих действиях или поступать так, как велит совесть. Человек — частица общества, кирпичик его, винтик... Это ложь! Человек не может быть ни кирпичиком, ни винтиком, ни частицей целого. Человек — не средство для достижения цели, пусть даже общественно значимой. Человек сам есть цель. Каждая личность несет в себе особый и неповторимый мир. И не стричь всех под общую гребенку, не гнать скопом, а наделить правами, свободой, чтобы развивалась каждая индивидуальность до нравственного совершенства. В этом и есть конечная цель социализма. Вот что я понял прежде всего.

— От этого отдает эгоизмом или максимализмом каким-то, даже какой-то религиозной заносчивостью. Как можно личность ставить выше общественных интересов?

— Никакого эгоизма! Свободная личность значительно больше обогащает общество, чем подневольная. Ее труд, ее поиск нравственного совершенства, собственный путь прозрения вызывают любовь и терпимость к ближнему своему. То есть истинно свободный гражданин сознательно строит гуманное общество. Ради этого и делалась революция. Он, свободный человек, кровно заинтересован в терпимости, ибо сам испытывал на себе терпимое отношение общества в пути его к прозрению, к обретению истины. Когда же с тобой не считаются и навязывают иное понятие гуманизма, не спрашивая тебя — согласен ли ты с этим понятием, то в тебе нет и не может быть ответного движения души, нет выбора, следовательно, нет и собственного постижения истины, то есть того процесса, который делает из тебя независимое мыслящее существо. Общество, которое построено по такому принципу, не может быть ни гуманным, ни

свободным. Об этом, собственно, и говорили классики социализма.

— Так что ж, по-твоему выходит, что у нас нет ни социализма, ни демократии?

— У нас, Маша, диктатура, переходный период, так сказать, несколько затянулся.

— Но, Митя, у нас же диктатура целого класса, пролетариата. Это же совсем другое дело!

— Оставим класс в покое. Я говорю об извращениях регламента, или кодекса, как хочешь это назови. При диктатуре пролетариата у нас Советская власть. Советы же есть форма народовластия. По существу, Советы и должны все решать. Но бюрократия ухитряется проводить свой, неписаный регламент. Это и раньше знали, боялись, чтобы аппарат управления не замкнулся в себе, не поставил бы целью — вместо служения обществу — собственное благосостояние, поэтому и пытались контролировать этот аппарат партийной или независимой печатью, выборами, собраниями рабочих, крестьян. И, между прочим, добивались успеха при Ленине и даже некоторое время после смерти его. Потому и вводили демократию в специальных решениях.

— Правильно! У нас же решение съезда есть о развитии внутрипартийной демократии!

— Решение-то есть. Но его надо в жизнь проводить. Через два года после Десятого съезда опять было такое же решение Политбюро о развитии этой же самой внутрипартийной демократии. А результатов нет. Какая же может быть демократия, если несколько человек, пришедших к общему выводу, отличному от принятого большинством, не смеют заявить об этом открыто, ибо тут же будут сметены как фракционеры? Демократия, в том числе и партийная, требует терпимости к различным мнениям, если угодно — сосуществования этих мнений. А мы боимся разных мнений и осуждаем их.

— Неужели у нас нарочно устраивали так государство, чтобы хуже было?

— Ну, что ты! Задумано все было для улучшения жизни. Все, мол, по науке. Эксперимент! И демократия отменялась, чтобы создать монолитность общества. Говорили, что временно,— вот кончится война, и все будет по-другому. И вообще-то, Ленин пытался устроить по-другому. У него были воля и бесстрашие. Он был человеком практичного ума. И решение провел о внутри-

партийной демократии, готовился к бою с бюрократией. Он ввел нэп всерьез и надолго. Но — увы! Жизнь его оборвалась в самом начале этого похода. И ни один из преемников Ленина не обладает ни умом его, ни бесстрашием.

— Не все боятся. Троцкий, например, даже очень стремился к демократии. Вспомни его первые три письма в конце двадцать третьего года, с чего и началась эта самая оппозиция. Я была тогда студенткой. Мы очень понимали его критику и призывы к омоложению ЦК.

— Он же демагог, Маша. Конечно, он был прав, когда требовал развития демократии в партии. Но что толку в его правоте? Он молчал два года после съезда и ни гугу об этой демократии. Как только Ленин заболел, а Зиновьев, да Каменев, да Сталин стали во главе партии, вот тут и проснулся наш демократ. Он ведь выступил на другой день после того, как было опубликовано решение Политбюро об этой самой демократии. Ну как же! Он боялся остаться в тени Политбюро. Потому и выступил. Они, мол, за половинчатую, а я за полную демократию! За обновление ЦК! Он рассчитывал на этом «обновлении» в диктаторы выйти. Думал, что и рыбку демократии съест, и святость диктатуры соблюдет. Не получилось. Раскусили его, прищучили. Он и завопил во весь голос: «Караул! Намордник надела на партию фракция Сталина! А мне рот затыкают». Но когда он был у власти, то сам всем рот затыкал. Да еще как! Головы рубил направо и налево. Это он ввел расстрел каждого десятого при сдаче Вятки. Он ввел концлагеря. Он требовал перманентной революции. Это он доказывал, что социализм построить в нашей стране нельзя, потому как она негожая. Почва, видите ли, изгажена. Она, мол, и годится всего лишь как горючий материал на растопку его бредовой мировой революции. Он требовал ободрать крестьян принудительным заемом, сколотить трудовые армии... Устраивай шурум-бурум для диктатуры пролетариата. А диктатура пролетариата для него, Троцкого,— орудие личной власти. И этот живодер хотел установить демократию? Да кто ему поверит?

— Митя, а за что тебя исключили из партии? Ты мне так и не сказал.

— А вот за это самое... За все то, что я тебе здесь рассказываю. В конце двадцать шестого года мы обсуждали в волкоме итоги Пятнадцатой конференции.

И, конечно, говорили, осуждали, одним словом, действие левой оппозиции. Сидели все свои, в узком составе. Ну, я и сказал, что, в общем-то, никакой оппозиции и не было, велась обыкновенная борьба за власть. Пока Зиновьев да Каменев стояли во главе партии, они требовали — никакой пощады Троцкому; как только их столкнули, они завопили в один голос с Троцким: где внутрипартийная демократия? Где уважение к теории, к авторитетам? Потому, говорю, идет этот шурум-бурум, что никто из этих кандидатов на Ленина рылом не вышел. Был один человек с головой, который мог бы возглавить совнарком, так они его сообща выставили за границу, послом.

— А кто это?

— Да Красин, говорю. Он и партийный боец, и умница — один из лучших инженеров России. И черт меня дернул вытащить из стола синенькую тетрадь. Я в нее записывал всякие стоящие высказывания. Да я тебе покажу ее.— Он прошел к красному углу, достал с книжной полки синюю тетрадку с прямоугольной белой наклейкой на передней корочке и прихлопнул ею по ладони.— Вот она! Я ее раскрыл и зачитал выписку из статьи Красина, где он с Лениным спорил в двадцать третьем году, в «Правде». Сейчас, погоди.— Он зажег лампу и раскрыл тетрадь.— Вот оно! «Мы с В. И. давние противники в вопросах, касающихся гос. контроля. Он всегда стоял за усиление и развитие этого учреждения, я же давно боролся против гипертрофии контроля. Противопоставление контроля производству не выдумано мною, а создано жизнью и слишком рьяными сторонниками усиления контроля...» — Успенский оторвался от чтения и сказал:— Речь шла о создании контроля над производством, о так называемом Рабкрине. Ты помнишь, наверно?

— Ну как же! Вся надежда на рабочий контроль! А потом его упразднили, сказали, что помеха.

— Вот именно. А сколько людей отрывали от дела? Всех в контроль пичкали. Вот Красин и написал тогда, слушай: «Весьма сомнительно, чтобы стоило отрывать хороших специалистов от действительно производительной плодотворной работы... Специалист является и остается специалистом своего дела лишь до тех пор, пока он работает на своей фабрике, в своей мастерской, на своем поле. Как только его взяли в канцелярию, он превраща-

ется в чиновника и в таком естестве способен только вредить, а не помогать делу...»

Мария хлопнула в ладоши и звонко рассмеялась:

— Превосходно! В самое яблочко попал.

— «Главная наша беда в том, что мы не можем, не умеем организовать именно производство! В этом самое слабое, а вовсе не в том, что у нас нет достаточно хорошо построенного контролирующего аппарата...» — Успенский оторвался от чтения и сказал:— Ну и далее, все в таком плане. Я и говорю им: делом надо заниматься, устройством производства. А мы чем занимаемся? Ловлей блох за канцелярскими столами. У Ленина, говорю, в той статье насчет Рабкрина были слова о необходимости подготовиться к ловле этих самых... вредителей. Я тебе найду их сейчас.— Успенский полистал тетрадь и сказал:— Вот они! Необходимо подготовиться «к ловле не скажу — мошенников, но вроде того». Это Ленин написал. А Красин ему ответил... Вот что он ответил ему... так: «Я боюсь, что многими читателями будет дано этой части статьи распространительное толкование, не в смысле ловли мошенников, а в смысле ловли вообще, по случаю плохого хозяйничания, ловли по случаю недостаточного проявления инициативы и т. п. вплоть до ловли несогласно мыслящих. Опасение мое основано на чрезвычайной нашей приверженности к этому способу госдеятельности...»

Успенский глянул на Марию и удивился ее странному выражению, она будто бы только проснулась и не могла понять — где находится.

— Это невероятно,— сказала она наконец.— Это же все про то, что теперь происходит. И вредители, и чистки, и выдвиженцы... Боже мой!

— Все про то же,— сказал Успенский.— И Салтыков-Щедрин писал все про то же. Помнишь? Сходились раз в полгода и сбрасывали Ивашку с колокольни, а то безбожников срамили и даже сжигали. А теперь верующих сажают... и уже не единицами, а тысячами. Темпы дают. Прогресс! Наука!!

— Боже мой, боже мой! Где же выход из этого тупика?

— А все там же... Делом надо заниматься, дело-ом. А у нас только то и на уме — как бы подчинить производство бюрократии. Что? Бюрократии не хватает? Увеличим за счет рабочих, инженеров, за счет мужиков,

наконец. Лишь бы производство контролировать. Да что там производство! Всю живую жизнь хотим привязать к канцелярскому столу... Не раздувать аппарат, а сокращать его надо. А производству давать больше самостоятельности. Пусть все эти крестьяне, рабочие, инженеры сами создают свое дело по хозрасчету, пусть сами и отвечают за него, сами и прибыли делят. А бюрократию менять почаще надо, взять ее под контроль. Вот где нужен контроль-то. Ведь не в том беда, что плоха бюрократия, а в том беда, что она бесконтрольна. У нас все верхи отчитываются только друг перед дружкой, как это было заведено еще в подполье. И Красин об этом же писал. Вот, послушай: «Верхи нашей партии до сих пор построены так, как это было 20 лет тому назад, когда главная задача партии состояла в кидании лозунгов в массы, литературы, агитации, пропаганды...» — Он оторвался от чтения и взглянул на нее с игривой улыбкой.— Каково? По-моему, не в бровь, а в глаз.

— Да-а.— Мария только головой покачала.

— И Ленин ведь писал об этом же. Помнишь? В «Очередных задачах Советской власти». Хватит, мол, заниматься киданием лозунгов! Нужно учиться хозяйствовать. Считать да рассчитывать. У бюрократии учиться!

— Тебя, Митя, не поймешь,— усмехнулась Мария.— По-твоему выходит, что Ленин то против бюрократии выступал, то за.

— Да не за и не против! Он искал оптимальный вариант, тот самый, когда бюрократия могла быть не помехой в деле, а подспорьем и даже опорой. Главное, чтобы бюрократия не замыкалась в себе самой, чтобы в управлении государством участвовали широкие массы — не на словах, а на деле. Чтобы они не натыкались на бюрократический заслон.

— При чем тут заслон? В нашем аппарате, или бюрократии, как ты говоришь, большинство рабочих да крестьян.

— О, батюшки мои! — Он даже руками всплеснул.— Я же не говорю о сословной чистоте нашей бюрократии. Я говорю о том, что бюрократия, или аппарат,— как хочешь называй это! — не должна замыкаться в самой себе. А эти массы не просто должны пополнять собой состав бюрократии, а делом своим, делом участвовать в управлении государством, оставаясь даже за пределами аппарата.

Он стал горячиться, смотрел на нее возбужденно и сердито, будто и она в чем-то была виновата, и это стало раздражать Марию.

— Давай спокойно.— Она села на стул возле печки и спросила: — Что ты понимаешь под этим деловым управлением?

— А то же самое, что понимали сторонники Ленина! Или проще скажем — сторонники нового курса. Например, Калинин... В двадцать пятом году ВЦИК ввел новую избирательную инструкцию, и сразу в сельсоветах оказались деловые люди, а горлохватов выгнали. А что сказали бдительные консулы? Они закричали, что-де избивают бедноту и коммунистов. Не бедноту, а лодырей изгоняли из Советов. Но окрик возымел действие: отменили эту инструкцию ВЦИКа.

— Сельские Советы — еще не вся страна.

— А на фабриках, на заводах? То же самое! Вот послушай, что говорил Дзержинский по Пятнадцатой конференции.— Он опять раскрыл синюю тетрадь, лежавшую на его коленях, и прочел: — «Если бы вы ознакомились с положением нашей русской науки в области техники, то вы поразились бы успехам в этой области. Но, к сожалению, работы наших ученых кто читает? Не мы. Кто их издает? Не мы. А ими пользуются и их издают англичане, немцы, французы, которые поддерживают и используют ту науку, которую мы не умеем использовать, они стараются извлечь из нашей науки для себя большую пользу. Поэтому поддержка инженерных секций профсоюзов, оказание им всяческого содействия является одной из основных наших задач». Вот так! Он даже требовал дать инженерам какую-то конституцию на заводе и в управлении фабрикой. Расширить их права!

— Ты говоришь и читаешь с таким напором, как будто я против Дзержинского,— усмехнулась Мария.— Думаю, что впрямую против таких слов никто и не выступал.

— В том-то и беда, что выступали, да еще как! Вот, например, что сказал Зиновьев на Четырнадцатом съезде насчет расширения прав инженеров.— Он опять раскрыл свою тетрадку.— Так... Вот оно! «Совершенно ясно, что таких прав они, как своих ушей без зеркала, в нашей республике не увидят. Это бесспорно. Мы пойдем навстречу честным из них и искренним нашим друзьям. Не надо мозолить глаза словом «спец». Пойдем на дальней-

шее улучшение заработков, как только будет можно. Политических же уступок мы не сделаем». Вот как по-разному говорили и поступали сторонники и противники ленинского курса.

Странное дело — Мария слушала и понимала правоту его слов, но то, как он говорил это сердито, как назидательно читал, словно тыкал ее носом в тетрадку, как школьницу, все более раздражало ее, вызывая желание высказать ему в лицо с такой же откровенностью: что благо в сторонке сидеть да умничать, а ты покрутись попробуй на моем месте и делом докажи, какой ты храбрый сторонник правильного курса. Но, желая заглушить это подымавшееся из глубины души раздражение, она уклонилась от перепалки и спросила:

— Как же твои приятели из волкома посмотрели на синюю тетрадь?

— Насчет Красина? Да растерялись. Прочел я им и вижу: лица у всех вытянулись и посерели. Тогда я их еще подзадорил, поддразнил: чего ж, говорю, вы молчите? Зиновьев на Двенадцатом съезде назвал это меньшевистской платформой. А Красин в ответ окрестил Зиновьева, говорю, паническим демагогом. А почему эти инженеры и всяческие спецы плохо работают? Да потому, что отсечены от управления, не распоряжаются своим же делом. А теперь и крестьян хотим оторвать от своего дела. И сами же ищем виноватых. Не там ищем, не тем занимаемся.

Помолчали. Мария долго глядела на отсветы пляшущего пламени, потом спросила:

— За что же тебя исключили?

— Кто-то донес в уезд о моей читке. Полагаю, что Возвышаев. Меня вызвали, устроили настоящее судилище. И левым меня обзывали, и правым, и даже членом рабочей оппозиции. Исключили за клевету на генеральную линию. Поначалу я кипел, возмущался, пытался доказать свою невиновность. Но меня попросту никто не слушал. Понемногу скис и махнул рукой — писать некуда. И что исключили меня — явление в данной ситуации вполне закономерное. Дела пошли горячие. Ну кому охота возиться с каким-то волостным военкомом? Комар!

— От такой логики, Митя, хочется в голос завыть.

— Мы сами виноваты, Маша. Сами сложили теорию насчет винтиков да кирпичиков. Не годен, проголосуют — и баста. Один винтик выпал — другой вставят. Свято место пусто не бывает.

— Это безволие, Митя. Надо драться, отстаивать правоту свою.

— Ты не поняла меня. Я не считаю нужным отстаивать правоту свою перед людьми, которым нет дела до моей правоты. Им нет дела до меня, как до человека мыслящего, с чем-то несогласного, в чем-то сомневающегося. Им важно поголовное единство. Поголовное! Как только я понял это, мне стали безразличны они. Я вырос на Толстом и Достоевском. Они считали, что нельзя при помощи поголовного единства да еще по принуждению добиться всеобщего счастья.

— Ни Толстой, ни Достоевский не занимались переделкой общества. Еще не известно, как бы они вели себя при этом. Одно дело говорить, другое — делать.

— Нет, Маша. Слово поэта — есть дело его. Не соучаствовать в торжествующей несправедливости есть нравственная обязанность, как говорили древние. Ее придерживались и Толстой, и Достоевский и нам велели. А высшая форма добродетели состоит в смелости духа и неустрашимости мысли. Отсюда и критика.

— Нападать на социализм в те поры — храбрость невеликая.

— Не в социализме дело. Они бичевали ту врожденную, что ли, какую-то сатанинскую нетерпимость человеческой натуры, проявляющуюся в поразительном стремлении к подавлению чужого мнения, воли, интеллекта, в безумном утверждении собственной гордыни. Наши теории слишком увлеклись социальной стороной и совершенно сбрасывали со счетов эту психологическую, или даже биологическую особенность человеческой натуры. Они натуру в расчет не берут, говорил Достоевский. Вот в чем ошибка.

— Неужели все состоит из одних ошибок? И ничего справедливого, ничего хорошего не было в революции?

— Почему не было? И раздел земли справедлив, и упразднение сословий... В революции участвовали миллионы. И сказать, что это дело несправедливое — значит ничего не понять. Я говорю, Маша, о тех тенденциях, которые накладывают свой отпечаток на определенные стороны революционного процесса, говорю о тех извращениях, которые предугадывали наши гениальные писатели и многие революционеры. И Ленин писал о детской болезни левизны в коммунизме. А толку что? Уяснили что-либо эти леваки? Ни черта! Ленина они не трогают,

боятся. Зато Достоевскому достается. Теперь обвиняют Достоевского в том, что он окарикатурил революционеров в своих «Бесах». Но это же чепуха! О чем больше всего пеклись эти вожачки вроде Петеньки Верховенского или Шигалева? Да об установлении собственной диктатуры. А эти о чем запели? Не успел еще Ленин помереть, как они полезли на трибуны — и Зиновьев, и Троцкий, и еще кое-кто... и, захлебываясь от собственного самодовольства, заговорили не о диктатуре рабочего класса, а о диктатуре партии, в которой вождями ходят. Вот, изволь полюбопытствовать.— Он открыл тетрадь и сказал: — Выписка из доклада Зиновьева на Двенадцатом съезде: «Диктатура рабочего класса имеет своей предпосылкой руководящую роль его авангарда, т. е. диктатуру лучшей его части, его партии. Это нужно иметь мужество смело сказать». Какой стиль-то! — усмехнулся Успенский.— Прямо Смердяков! — И опять прочел: — «У нас есть товарищи, которые говорят: «Диктатура партии — это делают, но об этом не говорят». Почему не говорят? Это стыдливое отношение неправильно».— Он потряс тетрадью и голос повысил: — Карикатура, говоришь?

— Я этого не говорю.

— Да какая разница? Не говоришь, так думаешь. Тот же Зиновьев на съезде потребовал запретить критику. Так и объявил, что любая критика партийной линии является объективно меньшевистской. На Четырнадцатом съезде разгорелся спор — надо доносить или не надо. Один старый партиец — не то Драпкин, не то Гусев — так и сказал, что каждый член партии должен доносить; если, мол, и страдаем мы от чего-то, так от недоносительства. Это что, не шигалевщина? А теперь и в газетах что творится? Вспомни последние чистки. Они чаще всего построены на этих публичных доносах. А вот тебе еще один теоретический перл.— Он открыл тетрадь.— Это выписка из книги Бухарина «Внеэкономическое принуждение в переходный период»: «Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи». Нужны еще доказательства безумия этой левизны?

— Издержки неизбежны в любом деле. Но нельзя же

так сгущать, сосредоточивать внимание на теневых сторонах. Ведь было же и доброе, серьезное, разумное.

— Да, было... Возьми хоть тот же нэп, кооперацию и весь этот новый курс в деревне. Когда его принимали — радовались. Но всего через год те же Зиновьев, Каменев, Преображенский, Троцкий — да разве их перечислишь! — закричали, что партия окулачивается. На Пятнадцатой конференции какая-то мразь — Ларин да Голощекин — напали на творцов нового курса. Тут можно нападать, потому что речь идет о терпимости, о равноправии широких крестьянских масс. Давить! Вот лозунг всех леваков. Это ж надо, еще в двадцать шестом году тот же Ларин требовал раскулачивания, а вся оппозиция через год предложила обобрать десять процентов крестьянских дворов во имя индустриализации. И Рыков, и Бухарин только посмеивались в ответ. Сам Сталин говорил: я знаю, мол, что нас толкают назад, к продразверстке, но мы туда не пойдем. А через два года пошли. Все требования левой оппозиции с лихвой перекрыли. Погоди, то ли еще будет.

— Но нельзя же сидеть сложа руки и годить. Надо бороться, Митя!

— Э, нет. Хватит такой борьбы. От нее только злоба в людях да смута в обществе.— Он сцепил руки на затылке, откинулся на спинку кресла и продекламировал: «И с грустью тайной и сердечной я думал: жалкий человек. Чего он хочет!.. небо ясно, под небом места много всем, беспрестанно и напрасно один враждует он — зачем?» Тайна сия велика есть. Надо учить людей, Маша, учить добру, воспитывать любовь в сердцах и душах. А главное, самим надо показывать пример любви к людям, выступать против фальши, насилия, быть стойким в своих убеждениях. Надо высоко нести человеческое достоинство. К этому я тебя и призываю.

— Но этого мало, Митя, мало! Это ж добровольный уход от борьбы, бегство с поля боя! Вспомни Пушкина. «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю...» Если даже я проиграю... Пусть свалюсь в эту бездну. Но совесть моя чиста будет: я все сделаю, чтобы справедливость торжествовала. Все, что в моих силах.

— Правду силой не навяжешь. За правду страдать надо. Не тот герой, что кнутом вколачивает справедливость, а тот, что стоически выносит на плечах своих тяжесть общего груза. Одно дело — гнуть или вырабаты-

вать общую линию на совещаниях, другое — вкалывать с киркою и тачкою на общих работах.

— Да нельзя же одно противопоставлять другому; нельзя же ради сострадания к тяготам маленького человека уходить от борьбы за большую государственную правду. Иначе мы будем скатываться на позицию Евгения из «Медного всадника» и обвинять Петра I; то есть большое государственное дело Петра, строителя Петербурга, во имя величия России, рассматривать будем с точки зрения обывателя, пострадавшего от наводнения. Ты ли не знаешь, что нам нужно выходить на новые рубежи и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Нам нужно иметь гораздо больше и хлеба, и машин, иначе нас просто сомнут враги. Не имеем мы права, пойми ты, решать государственные задачи с оглядкой только на то, как трудно выполнять их мужику или рабочему. И мужик, и рабочий обязаны не только терпеть эти трудности, но и сознательно идти на лишения временного характера, чтобы обрести в конце концов всеобщее счастье. А без достижения государственной мощи не будет и общего благосостояния. И я, и ты обязаны участвовать в этом большом деле, принимая во внимание все стороны процесса, а не только тяготы рядовых тружеников.

— Вот ты как! Значит, правда Петра I и правда Евгения, правда царя и правда маленького человека. Общегосударственное дело — и мужицкие сермяжные интересы...

— Ты не утрируй насчет мужиков! Я их люблю не меньше, чем ты. Я говорю о необходимости несения общих тягот во имя государственной цели. Их несут не только одни мужики. Я говорю: прав тот политик, который сказал, что нас, мол, обвиняют в том, что мы совершаем индустриализацию за счет народа. Но ведь иного счета у нас нет! И колхозы тут же. Это все та же индустриализация. Это скачок вперед. Либо мы его сделаем, либо нас сомнут. Пойми!

— Да понял я тебя, успокойся. Я не делю правду на правду царя и на правду маленького человека. Справедливость, как говорил Эпикур, рождается в сношении людей друг с другом; она есть некоторый договор о том, чтобы не вредить и не терпеть вреда. А если кто издает закон, но он не пойдет на пользу взаимного общения людей, то закон этот несправедлив. Так говорили в

древности. Мы забываем историю. Я не хочу, чтобы после этого скачка, о котором ты говоришь, через полсотни или сотню лет в народе говорили о нем так же, как говорят еще и до сих пор о главном деле Петра: «Петербургу быть пусту». Сколько полегло народу в этих болотах на постройке новой столицы? Миллионы! И что же? Искусственность этой столицы даже через двести лет сказалась. Нельзя гнуть историю, как палку через колено. Вот я о чем...

Так они спорили упорно и долго, горяча и озлобляя друг друга, позабыв даже о том, зачем они встретились. Наконец он поднял кверху руки и шутливо сказал:

— Сдаюсь!

Попытался обнять ее.

Но она решительно отвела его руки, легла, не раздеваясь, лицом к стене и лежала всю ночь поверх одеяла, накрывшись его халатом.

3

Федьке Маклаку сильно подфартило с объявлением сплошной коллективизации. Во-первых, отменили комсомольское бюро, на котором должны были обсуждать его воровскую историю с кооперативными яблоками; во-вторых, отменили занятие на этот день и на школьном собрании его назначили звеньевым по строительству общих кормушек.

Собрание проходило в гимнастическом зале; и ученики, и все учителя расселись на принесенных из подвала скамьях, что на твоем праздничном представлении. Сам директор, Ванька Козел, при галстуке, в коричневом пиджачке, брюки широченные с напуском, сапоги в гармошку осажены, со сцены читал им по бумажке — какое это счастливое историческое событие, поскольку начинается новая эра всеобщего изобилия и равенства. На черной школьной доске, поставленной посреди сцены, были наколоты большие листы ватмана с нарисованными на них корнеплодами, диаграммой наглядного роста благосостояния будущего колхоза и портретом самого начальника окружного штаба по сплошной коллективизации Штродаха, перенесенного в увеличенном масштабе и живой доподлинности прямо с газетной страницы.

Все корнеплоды: и репа, и свекла, и турнепс — были

выкрашены в красный цвет и выставлены под общим заголовком: «Вот они, главные кудесники колхозных полей». А под ними нарисован был выгон с разбегающимися от трактора телятами и второй лозунг-заголовок: «Даешь наступление на целину!»

Каждый оратор, который подымался на сцену после директора, призывал в наступление на целину и покончить раз и навсегда с единоличным строем раздробленности и взаимного отчуждения масс.

Потом зачитали пофамильно состав десяти звеньев старшеклассников на строительство общественных кормушек, наказали им с обеда приступить к делу. И наконец вынесли решение: вечером в избе-читальне провести смычку с жителями Степанова. Руководить смычкой назначили Герасимова, помогать ему вызвались химик Цветков и Николай Бабосов.

Когда звено Федьки Бородина растаскивало скамейки из опустевшего зала, зашел Бабосов и, осмотрев плакаты, пришпиленные на сцене, приказал отнести их в избу-читальню для наглядной агитации во время смычки. Потом поманил Федьку Бородина и строго наказал:

— Имейте в виду, строить кормушки будете у кулаков. Ни в какие контакты с хозяевами не вступать. В случае попытки кулацкой контрагитации немедленно давать отпор. И, более того, брать на заметку того хозяина и докладывать в школе директору или мне. Понятно?

— Ясно,— сказал Маклак.

— Чего прицепился к тебе этот Бабосов?— спросил Федьку Сэр, когда Бабосов вышел из зала.

— Да все суется со своими наставлениями. Говорит, молоко у хозяев не пейте — оно отравленное. Потому как кулаки.

Одутловатое лицо Сэра озарилось скептической усмешкой:

— Чем же оно отравлено?

— Антисоветским наговором.

— Эх, вот это дает!

— Кто, говорит, напьется кулацкого молока, тот на уроке обществоведения заревет быком.

— Ну, дает!— Сэр закидывал голову и заливался, как барашек.

Маклак подошел к плакатам, пришпиленным на доске, и вдруг поднял палец кверху, погрозил Сэру и сказал:

— Ша! Сейчас я сделаю некое олицетворение.

Он вынул из нагрудного кармана пиджака карандаш с пикообразным металлическим наконечником и огляделся — в зале, кроме них, никого не было. Их напарники — Гаврил и Шурка — унесли последние скамьи в подвал.

— О! Висят кудесники — а слепые. Нехорошо.— Маклак снял наконечник с карандаша и принялся за работу.

Через минуту и свекла, и репа, и турнепс превратились в личности, чем-то похожие на Штродаха: все они были в кепочках, в косоворотках и одинаково, прищуркой, смотрели на мир божий. Потом Маклак дорисовал им длинные бороды, а самому Штродаху всунул трубку в зубы и надписал над ним: «кудесник-заправила».

— Слушай, это ж могут расценить как выходку классового врага,— испугался Сэр.

— И пускай расценивают. Дуракам закон не писан. Скатывай! — приказал Маклак.

— А если узнают?

Федька взял Сэра тихонько за лацкан пиджака и ласково произнес:

— Сережа, мил-дружочек... За доносы бьют и плакать не велят.

— Да ты что, чудак-человек? Я ж не про себя... Я человек стойкий,— попятился от него Сэр.— Я ж в том смысле, что спросят с того, кто отнесет эти плакаты.

— Я сам их отнесу. Тебя это устраивает?

— Ну, пожалуйста... Делай, как знаешь.

— Вот и договорились. Помоги мне скатать эти картинки... Да побыстрее!

Скатанные листы ватмана Федька скрепил по торцам газетными колпаками и понес в избу-читальню. Истопником и бессменным дежурным по избе-читальне был Федот Килограмм; он сидел на стуле перед топившейся грубкой, одетый по-уличному, и лузгал семечки. На нем были новые черные валенки, крепкий полушубок красной дубки и пышный заячий малахай. Этим добром наградили Федота за ударную работу по снятию колоколов. С той поры не только внешне преобразился Федот, но и внутренне весь настроился на общественный лад, то есть целыми днями просиживал за важными разговорами либо в Совете, либо здесь, в избе-читальне, все ждал — когда придет новая колхозная жизнь, а на мужицкие обязанности по домашнему хозяйству рукой махнул.

— Господи! Хоть бы ты услышал вопли мои и наказал этого остолопа! Через язык погибает человек и всю семью губит,— частенько молилась Фрося в переднем углу, припадая на колени и стукаясь лбом об пол.— Господи! Отыми ты у него язык... На что он ему нужен? Ведь на забавы сатанинские. И день и ночь его чешет, как собака паршивое ухо. Крыша вон расхудилась — коровенку снегом заносит, а он, как ведьма старая, только и знает, что мыкается на шабаш.

Молилась и причитывала обычно с утра, пока Федот, почесываясь и зевая, одевался, сидя на краю кровати. Отбрехивался нехотя:

— Ты, Фрося, отсталый элемент, потому как леригия держит клещами твое забитое сознание. А того ты не понимаешь, что трудовая масса давно проснулась от вековой спячки и топает полным ходом за горизонт всеобщего счастья. Ежели мы будем держаться каждый за свою коровенку, разве мы поспеем за всемирным пролетариатом на пир труда и процветания? Это ж понимать надо!

— Эх ты, индюк! Заладил свою дурацкую песню — курлу-бурлу, бурлу-курлу. Я те говорю — корову снегом заносит. Стельная корова-то. Ведь не успеем доглядеть — и теленок замерзнет. Покрой, говорю, крышу. Добром прошу!

— Ноне не до крыши. Иль не слыхала — смычку проводим по случаю сплошной коллективизации. Скоро сведем в колхоз и корову, и двор снесем. А ты о телке. Эх, темнота!

Сидя возле грубки, Федот вспоминал эту утреннюю перебранку и жалел свою Фросю классовым чувством сознательного пролетария к меньшому и темному товарищу по судьбе и по общему делу.

Федька Маклак внес скатанные в трубки плакаты о новых кудесниках и спросил:

— Где тут шкаф товарища Бабосова для наглядных пособий?

— Чаво? — Килограмм поднял свои дремучие брови, и на его сумрачном лице появилось детское удивление.

— Я те говорю — где тут шкаф товарища Бабосова, в котором хранятся журналы и таблицы для неграмотных?

— А-а, вон что! — догадался Федот.— Это все хранится в ликвидкоме. Пройдите, товарищ, через сени. В той половине и располагается ликвидком.

— Вечером, когда спросит Бабосов — где его плакаты? — ответишь, что в том шкафу,— сказал Федька и вышел.

До самого выступления Бабосова о них никто и не вспомнил.

Вечером раньше всех пришел Костя Герасимов. Вместе с Килограммом они вынесли на крыльцо граммофон с большой зеленой трубой и завели его на полную катушку, чтобы привлекать народ. Молодежь любила слушать этот музыкальный ящик, привезенный из Желудевки, с распродажи имущества мельника.

Но иголки на этот раз оказались тупые, граммофон хрипел, захлебывался, иголки шоркали и сползали к центру пластинки.

— Федот, ступай поточи иголки о шесток! — кричал Герасимов.

— Дак их держать не срушно. Пальцы обдираешь об кирпич,— отвечал Килограмм.— Кабы клещи были или плоскозубцы...

— А вы гвоздем его зарядите! — советовали снизу из толпы, собравшейся у крыльца.

— Лучше шилом... Тады он жеребцом заиржет...

— Мы ж не кобыл собираем, а людей,— отвечал Килограмм с крыльца.

— Да кто к тебе придет из людей-то?

— Осквернитель церквей! Тебе только чертей собирать.

— Но-но! что за намеки на классовую вражду! У нас ноне смычка...

Толпились возле избы-читальни больше все сельские парни да девки. Ни мужиков, ни баб, а тема смычки серьезная: «Сплошная коллективизация и текущие задачи на селе».

Наконец подошла целая ватага школьников во главе с вечно хмельным химиком Цветковым, прозванным Аш-дваэс. Он нес гитару с голубым бантом и напевал хриплым голосом:

Девушку из маленькой таверны
Полюбил суровый капитанн.
Девушку с глазами дикой сэ-эрны,
За улыбку и красивый станн...

— А ну, дорогу народному артисту республики, заступившему на смену позорно бежавшему Шаляпину! — орал, расталкивая толпу, Федька Маклак.

— Потише толкайся, артист! Не то по шее заработаешь,— заворчали в толпе.

— А ну, попробуй... Меня резали резаки — я на камешке лежал...— отшучивался Федька.

— Иди ты, какой храбрый!

— Знай наших... Артиста республики ведем. Дорогу, говорю!

— Ты кого артистом обзываешь, Бородин? — окликнул Федьку Герасимов.— Кто для тебя Цветков? Педагог или приятель?

— Это я к слову, Константин Васильевич. Ну, вроде представления... Поскольку смычка...

— От твоего представления хулиганством отдает.

— Ни-че-го, отроки-други. Сочтемся славою, ведь мы свои же люди...— продекламировал басом Цветков и, поднявшись на крыльцо, снова ударил по струнам и запел:

Па-алюбил за пэ-эпельные косы,
Алых губ нетронутый коралл,
В честь которых бравые матросы
Выпивали не один бакалл...

Потом как-то смял пятерней струны, словно рот зажал гитаре, и сказал:

— Забирай, Константин Васильевич, свой музыкальный ящик, и пошли в избу!

В избе-читальне жарко горели две подвесные лампы-молнии, скамьи стояли вдоль стен, полы — чистые, желтые, и простор на все четыре стороны.

— Филипп Макарыч, оторви да брось! — крикнул Федька и пошел печатать сапогами цыганочку, шапка набекрень, пóлы вразмах, руки вразлет — только доски загудели.

Цветков, поводя грифом гитары, терзая стонущие струны, опустил глаза, побледнел до синевы и, стиснув зубы, раздувая ноздри, хрипло запел:

Эх-ды, две гита-а-ары за стенно-ой
Жалобно заны-ы-ыли
С детства па-а-амятный напе-эв:
«Милый, это ты-ы-ы ль-и-и-и?»

— И-эх, рр-аз! Да еще р-раз! Да еще много, много р-раз! — хором подхватили ребята, прихлопывая в ладоши и притопывая ногами...

— Товарищи, товарищи! Самодеятельность по распо-

рядку на вторую часть...— раздался от порога звонкий голос Бабосова.— Сперва беседа. Политическая беседа! Кончайте музыку! Прошу рассаживаться.

Сдвинули скамейки на середину избы, садились поплотнее, ребята вперемежку с девчатами, толкались, шушукались, заливались визгливым смешком, перекидывались ядреными словами:

— Валюх, откинь щеколду! М-мерзну.

— Ты куда руку запустил? Ну?! Чего там оставил?

— Я эта, смычку ищу...

— Брысь, окаянный! Не то лапу оторву.

— Товарищи, товарищи, давайте серьезнее!

— И я про то же... А она брыкается...

— Хватит, говорю, хватит! — Бабосов стоял, наклонясь над столом, и бил костяшками пальцев о голые доски.

Справа и слева от него сидели Герасимов и Цветков, поперек стола лежала ненужная теперь гитара. Шум стих наконец, и Бабосов заговорил:

— Товарищи! Сегодня мы собрались с вами, чтобы обсудить — какие выгоды несет нам сплошная коллективизация. Выиграют буквально все...

— Кто очко наберет...

— Ваша не пляшет...

— А деревня проиграет,— загалдели в зале.

— Это почему же она проиграет? — повысил голос Бабосов, отыскивая глазами тех, кто кидал реплики.

На задней скамье угнездились трое мужиков. Они горбились, опуская головы; чуть подымаясь на носки, взглядом пытаясь определить, который из них закоперщик, Бабосов сердито спрашивал:

— Кто это внушил вам такую вредную мысль? Сплошная коллективизация проводится на научной основе, тут все подсчитано и взвешено. Кампания эта, повторяю, беспроигрышная.

— Хлеб сеять — не в карты играть,— ответил кто-то из трех с задней скамьи, не подымая головы.

— В том-то и беда, что вы сеяли его как бог на душу положит. Инвентарь у вас разбросан по дворам — у одного в хорошем состоянии, а у другого веревками связан. Неужели не понятно, что под общим надзором, по крайней мере,— все заметнее. А взять рабочий скот! Он у вас разномастный, разношерстный...

— Не подстрижинай! — заметил кто-то с задней

скамьи, и все загоготали, кидая вперебой забористые фразы:

— Сами пестрые, хвосты вострые...

— Хвосты лошадям отчекрыжить, тады они, как собаки, злее станут.

— Кулацкие шуточки! — покрывая шум, крикнул Бабосов.— Просто вам нечего сказать по существу. Весомые доводы нашей науки в пользу сплошной коллективизации бесят сторонников жестокого домостроя. Вместе с ликвидацией неграмотности и суеверия ускользает и власть этих чуждых элементов деревни над трудовой массой. Но близится час окончательного торжества науки и передовой практики, основанной на коллективном труде. Одно только намеченное строительство силосных башен дает колоссальные преимущества. Ведь силос полезнее сена...

— Вот и жрите его сами...

— Что, что? Кто сказал эту антисоветскую реплику? Кто против строительства силосных башен? Подымите руку! Боитесь? Вы просто не в силах опровергать доводы науки. Вы прячете свое непостоянное лицо в трудовой массе. Вам нечем возражать. Вся Европа и Америка держат скот на силосе. А можно ли в одиночку построить силосную башню? Нет, нельзя. Ее можно построить только сообща. А можно ли в одиночку поднять целину? Нет. И целину подымать надо сообща, колхозом.

— Где она у нас, целина-то?

— Как где? — удивленно вскинул голову Бабосов.— А вон она... Начинается от школы и тянется до самой Петравки.

— Дак то ж выгон!

— А где скотину пасти?..

— Для общей скотины будут культурные пастбища из многолетних трав. А на выгоне, где и трава толком не растет, посеем корнеплоды. Знаете ли вы, какая выгода от этих корнеплодов? Федот, где плакаты, что из школы принесли? — спросил, отыскав на передней скамье Килограмма.

— В ликвидкоме, в шкафу.

— Принесите и пришпильте их вот здесь, на стене.— Бабосов вынул из кармана коробку с кнопками, погремел ею и передал Федоту.

Килограмм через минуту вернулся с плакатами и стал пришпиливать их на стене, ему помогал один из парней с первой скамьи.

А Бабосов тем временем продолжал речь о выгоде корнеплодов:

— Это во всех смыслах передовые культуры. Ведь если поливать корнеплоды жидким удобрением, они могут дать столько кормов с одного гектара, что можно будет выработать до тридцати тысяч килограммов молока. А если взять в целом по округу? А по всей стране?! От этих цифр, товарищи, дух захватывает. Корнеплоды — это настоящие кудесники колхозных полей, которые принесут нам полное изобилие! Вот посмотрите на эти цифры.— Бабосов взял со стола указку и подошел к плакатам, которые, застя спиной, нашпиливали на стену Килограмм с подручным.— А ну, товарищи, отойдите в сторону! Дайте посмотреть нам на эти весомые доводы в пользу сплошной коллективизации.

Килограмм с пареньком отошли от стены, и вся изба-читальня сотряслась от громового хохота: со стены, освещенные лампой-молнией, смотрели четыре хитрющие рожи Штродаха; сам он с трубкой, с длинной бородой, и бывшие корнеплоды — теперь Штродахи, тоже с бородой и смотрят прищуркой, как бы приглашая каждого посмеяться за компанию.

Беленькая, сквозная челка на пылающем лбу Бабосова, казалось, зашевелилась от негодования. Он поднял над головой указку, словно боевой клинок, и патетически произнес:

— Это кулацкая провокация! Мы расследуем это дело...

Скрывая подступившие слезы, отвернулся к стене и стал дрожащими пальцами отковыривать кнопки и снимать плакаты.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Выездная тройка в Гордееве не задержалась. Заехали в сельсовет, застали председателя Акимова, наказали ему — явиться немедленно на совещание в Веретьевский агроучасток. Еще приказали захватить с собой милиционера Ежикова и двух-трех человек из сельского актива. Акимов пригласил всех к себе на чай:

— Погреетесь с дороги. А совещание успеете провесть. Еще толком не развиднело.

— Мы сюда приехали не чаи гонять,— строго сказал Возвышаев.— И вам прохлаждаться не советуем.

Как были в тулупах, так и вышли, не раздеваясь. Акимов провожал их с сельсоветского крыльца. Вороной риковский жеребец взял с ходу рысью. Широкие развалистые санки с черным плетеным коробом инда на ребро поднялись при выезде с резким поворотом на дорогу. На скамье, спереди, сидел судья Радимов и правил. Возвышаев с Чубуковым, тесно привалившись друг к другу, как два чувала с зерном, сидели в задке. И не обернулись. Ну, быть грозе, решил Акимов.

Гордеевский узел был лесной стороной. Здесь отродясь хлеба досыта не едали. «Живут плохо — грибы да картоха»,— посмеивались над ними тихановцы. Издавна подрабатывали они бондарным да колесным ремеслом да отхожим промыслом. Из Гордеева ежегодно отходила добрая сотня штукатуров да из Веретья не меньше сотни каменщиков. Отходили в Подмосковье на стройки с поздней осени до ранней весны. Но в этом году пришел приказ из района — в отхожий промысел никого не пускать, никаких справок не выписывать до полной сдачи хлебных излишков. Первая разверстка на хлебные излишки была покрыта еще в сентябре. За первой пришла вторая — на тысячу пудов. Акимов собрал общее собрание, составил хлебный баланс по селу и послал в райзо — по его подсчетам, хлеба не хватало на прокорм и требовалось еще подкупить полторы тысячи пудов ржи. Поэтому просил он власти отпустить сто человек в отход. В райзо этот баланс перечеркнули и прислали встречный — по этому встречному плану требовалось сдать по селу Гордееву две тысячи пудов ржи как излишнего хлеба... «Откуда его взять?» — спрашивал Акимов по телефону. «Мы найдем,— отвечал Чубуков.— Погоди вот, с делами управимся, приедем и найдем».— «Но почему две тысячи пудов?» — «Вы в прошлом году тысячу недодали да тысячу получили по разверстке... Вот и сдавайте».

А в начале декабря пришла еще одна разверстка — на контрактацию скота. И наконец сами приехали...

Акимов вызвал в сельсовет милиционера Ежикова, избача Тиму и старшину штукатуров, бывшего подрядчика Звонцова. Пошли пешком в Веретье. Дорогу переметала поземка, и недавний след, оставленный подрезами риковских санок, заметен был только на крутых увалах, где дорога блестела, как стеклянная. Поначалу шли

угрюмые, насупленно глядя себе под ноги, молчали. Милиционер Ежиков часто скользил, нелепо взмахивал руками, отставал.

— Ты чего сзади идешь? Мы тебе что, подконвойные? — спрашивал Акимов. — Идут, молчат, будто и впрямь арестованные.

— Об чем говорить? — отозвался Звонцов.

— Сапоги, зараза, разъезжаются, что некованые копыта, — сказал Ежиков.

— А чего валенки не надел?

— Дак форма одежды. Все ж таки начальство вызывает.

Он был в шинели и в синем шлеме со звездой, незастегнутые суконные уши трепыхались на ветру, как белье на веревке. Его большой и широкий нос посинел, а белесые брови и светлые ресницы еще больше побелели.

— Мотри, не обморозь чего от усердия к начальству, — сказал Звонцов, поблескивая зубами. Черная борода его побелела и закуржавилась. — Застегни уши-то.

— Да хрен ли в них толку, — ответил Ежиков. — Их все равно продувает.

— Вот пошлют нас по домам излишки отбирать. Как, пойдешь? — спросил Акимов Ежикова.

— Пойду, — коротко ответил тот.

— А ты, Тима? — обернулся председатель к избачу.

— Дык ведь нельзя иначе, Евдоким Федосеевич. Поскольку комсомолец я... — Тима приосанился, вытянув худую шею из мохнатого ворота полушубка, как руку из рукава. — И другое сказать — я при должности. Как-никак — точка просвещения! Вся культурно-массовая работа на мне замыкается.

— Ну и стервецы вы, — плюнул под ноги Звонцов и отвернулся.

— Ты давай не стерви, — сказал Ежиков, насупившись. — Не то я тебе найду место.

— Всех туда не упрячешь!

— Но-но, не забываться у меня! — прикрикнул на них Акимов. — Поговорили, называется.

И опять замолчали до самого агроучастка.

Барский дом стоял на отлете в полуверсте от Веретья, дом большой, двухэтажный, низ кирпичный, верх из красного леса. Из бывших дворовых построек уцелели только каменные кладовые, в них размещался склад семеноводства. В торец к ним приляпан был дощатый

сарай для лошадей приезжего начальства. А от барских скотных дворов и конюшен, стоявших когда-то на берегу обширного пруда, остались одни фундаменты — стены раскатали по бревнышку и растащили еще в восемнадцатом году. И яблони в саду порезали, а то и с корнем повыкопали и растащили. О саде напоминали заломанная сирень да липовые аллеи.

По одной из этих аллей, ведущих на большак, и подошли к агроучастку гордеевские активисты. Их встретил у порога сердитый Возвышаев:

— К обедне, что ли, тянетесь? Могли бы и поторопиться...

В нижнем этаже, разгороженном как сарай, на промятом и потертом старом кожаном диване сидело четверо веретьевских во главе со своим председателем Алексашиным. Возле дубового двухтумбового стола, придвинутого к кафельной печи, стоял навытяжку председатель колхоза «Муравей» Фома Миронов. Распекал его Чубуков:

— Вы мне членораздельно доложите: кто позволил вам распоряжаться колхозным хлебом, как своим собственным?

— Дак он наш и есть, собственный.

— Собственность коллективная! Это ж понимать надо. Коллективной собственностью распоряжаются сообща.

— Мы и распорядились сообща. Собрание провели.

— А вышестоящие инстанции известили? Вы доложили в район, что хлеб везете на базар?

— Дак вы что, печати ставите на мешках-то?

— А вы что думаете, колхоз вам — анархия? Мать порядка, да? Нет, дорогой товарищ. Колхоз — это строгая дисциплина. Здесь все регламентировано. Хочешь чего сделать — сперва доложи. А за самовольство вы строго ответите перед законом.

— Егор, кончай! — оборвал его Возвышаев, подходя к столу.— Давайте, товарищи, берите стулья и присаживайтесь сюда, поближе. Мария Васильевна! — крикнул Возвышаев наверх.— Давайте сюда! Начинаем.

Сверху, по деревянной лестнице, огороженной точеными балясинами, спустилась Обухова, с ней был секретарь комсомольской ячейки веретьевский учитель Доброхотов, беленький, редковолосый, как молочный поросенок, молодой человек при галстуке. Они так и не успели провести комсомольское собрание.

— А где Радимов? — спросил Возвышаев, оглядывая всех.

— Уехал в сельпо за рыбой,— ответил Чубуков.

— Ладно. Без него начнем. Присаживайтесь!

Активисты разобрали венские стулья, стоявшие вдоль стен, и собрались до кучи к столу.

— Задача перед нами стоит ясная и понятная,— сказал Возвышаев.— Собрать пять тысяч пудов хлебных излишков. Это на первое. На второе — разберем вопрос о контрактации скота. Много разговаривать не станем. И убеждать вас не буду. Сами не маленькие — должны понимать: время подошло не разговоры вести, а дело делать. Вот и сдавайте излишки. А кто это задание не выполнит, тот не коммунист, а болтун и саботажник. То есть фактически работающий на линию классового врага. Правый уклонист! А с правыми уклонистами разговор известный — вон из партии! Вот и подумайте хорошенько, прежде чем отказываться от выполнения плана на хлебные излишки. Напоминаю план: Гордееву сдать две тысячи пудов. Веретью — две тысячи пудов. Шумахину и Лысухе — тысячу пудов. Эту тысячу мы соберем потом. И наконец, колхозу «Муравей» сдать пятьдесят пудов. Все. Вопросы имеются?

— Исходя из каких данных начислили Гордееву две тысячи пудов? — спросил Акимов.

— У вас без малого восемьсот хозяйств. Это ж получается по два с половиной пуда на хозяйство. Какие нужны еще данные, товарищ Акимов? — спросил в свою очередь сердито Возвышаев.

— Значит, это вроде дополнительного налога на каждое хозяйство. Дак что ж прикажете, по едокам обкладывать, что ли?

— Давайте не искажать политику обложения хлебными излишками! — встал Возвышаев и прихлопнул рукой об стол.— Вы что, первый раз на активе? Не знаете, на кого направлено острие политики партии? Тогда кладите на стол партбилет.

Акимов тоже встал, и широкое лицо его, мощная шея, выпиравшая из черного пиджака, налились кровью.

— Вы мне его не давали, и не вам отбирать его! Вы зачем приехали? Излишки собирать? Вот и собирайте.

— А вы что ж, в сторонке будете стоять? Да?

— Зачем же я пришел сюда, на актив? Вы спустили нам цифру, ее же распределить надо. Давайте вместе

прикинем — что к чему, а грозить нам нечего. Мы не из пугливого десятка.

— Чубуков, растолкуй им раскладку.— Возвышаев сел и стал смотреть в окно.

Чубуков посвистел горлом, хрипло откашлялся и, раскрыв перед собой картонную папку, стал читать:

— Значит, по Гордееву... Мы имеем более сотни отходников. Это раз. Каждый отходник обязан сдать десять пудов ржи или овса. Если не сдаст, в отход не пустим.

— За десять пудов надо целый месяц бревна тесать! — крикнул Звонцов.

Чубуков поднял голову и с удивлением посмотрел сперва на Звонцова, потом на Возвышаева.

— А ты думаешь, индустриализацию можно провести спустя рукава? — спросил Возвышаев Звонцова.

— Окромя индустриализации у каждого еще и семья,— ответил тот.

— А вы мне еще сказку расскажите, что у вас, мол, есть нечего,— сказал Возвышаев, обводя всех сердитым взглядом.— Нечего тут слюни распускать. Москва слезам не потакает. Читай дальше!

— Так, значит... по десять пудов каждый отходник. Вот вам тысяча пудов. Мельники, братья Потаповы, по двести пятьдесят пудов каждый. Вот еще пятьсот! Остальные пятьсот пудов наложить на владельцев молотильных машин.— Чубуков поглядел на Акимова и сказал: — По вашим данным, у вас имеется пять молотилок: две четырехконные, одна двуконная и две топчажные. Итого по сто пудов ржи на каждую молотилку. Задача ясная?

— Легко записать. Но где их взять, эти пуды? — спросил Акимов.

— Хозяева найдут сами. А мы им поможем,— ответил Возвышаев.

— Что ж мы, всей гурьбой по дворам так и пойдем искать? — спросил опять Акимов.

— Что вы, что вы?! Они так позарывали зерно, что ни одна собака не найдет,— воодушевляясь, сказал учитель Доброхотов, и глаза его лихорадочно заблестели.

— Искать ямы с зерном — последнее дело,— ответил Возвышаев.— У нас имеется власть. Вот и употребим ее. На всех, кто не сдаст хлебные излишки в срок, наложим штраф в пятикратном размере. Кто против?

Возвышаев вытянул подбородок и обвел глазами всех активистов. Никто не шелохнулся.

— Так. Начислять штраф из расчета по семь рублей за пуд ржи. Итого: по триста пятьдесят рублей на отходника-кустаря.

— А вот как быть с теми, кто у нас не отходит, но кустарничает на дому?—спросил избач Тима.—То есть кто гнет ободья колес, бондарничает, самопряхи делает?

— Правильно ставит вопрос комса!—Возвышаев указал на Тиму пальцем и сказал Акимову:—Вот у кого учиться политике обложения. Побочные заработки надо учитывать и облагать! Местные бондари, колесники и всякие прочие кустари должны быть обложены наравне с отходниками. Чубуков, запиши!

— Теперь насчет сроков. Хлебные излишки внести в течение двадцати четырех часов; считать с данного момента. Кто не внесет к завтрашнему обеду, будет немедленно обложен штрафом. А затем приступим к конфискации имущества. Ясно всем?—спросил Возвышаев.

И опять—молчание.

— Будем считать, что ясно. Алексашин?—обратился Возвышаев к веретьевскому председателю.—Поскольку ваше село такое же большое и отходников у вас примерно столько же, руководствуйтесь подсчетами Чубукова по Гордееву. Ясно?

— Ясно, товарищ Возвышаев!—Алексашин даже встал и руки прижал к полам полушубка.

— Мельницы у вас есть?—спросил Возвышаев.

— Есть! Целых две, одна ветряная и паровик.

— Обложить каждую по триста пудов.

— Есть!—отозвался Алексашин и головой закивал, будто кланялся; волосы у него слежались и блестели, как засалившийся чугун.

— А сколько молотилок?

— Шесть.

— По сто пудов на каждую.

— Есть...

— А неучтенные богатеи имеются? То есть такие, которые не подходили ранее под категорию обложения?

— Есть один.

— Кто такой?

— Бывший пастух. У него две коровы и три лошади.

— Наложить на него двести пудов.

— Есть! По какой линии отнесть? То есть как записать? — Алексашин все наклонял голову, и со стороны казалось, что милостыню просит.

— Сколько лет он пастушил?

— Много... Еще до революции начал.

— Так... — Возвышаев насупился, помолчал и, мотнув головой, решительно спросил: — А подпаска он держал?

— Держал... Потому как стадо большое, одному не справиться.

— Вот и запишите: занимался эксплуатацией наемного труда, то есть подпаска. Использовал батрака, понял?

— Понятно.

— Насчет обложения бывшего пастуха Рагулина вы правильно решили, — не удержался от восторга Доброхотов и тоже привстал: — Вы знаете, что он сказал? Он сказал... Куплю, говорит, трактор и всех этих чинодралов подавлю, как мухоту. Вот что он сказал.

— Мы его самого раздавим, как комара. — Возвышаев даже плечами передернул. — Можете ему так и передать. Садитесь!

Оба моментально сели.

— А теперь переходим ко второму вопросу. Насчет контрактации скота. Товарищи, вы все знаете, что вольная продажа скота у нас в районе запрещена. И что же мы наблюдаем: скот на базаре продается, а по контрактации государству не сдают. Разнарядки не выполняют! Более того, не сдают даже свиные шкуры и щетину. А ведь палить свиней запрещено! И даже мясо свиное продают с кожурой, совсем обнаглели. С завтрашнего дня всех свиней поставить на учет. И ежели кто не сдаст свиную шкуру — отдавать под суд. Ясная задача?

— Ясная... — разноголосо ответили активисты.

— Теперь давайте насчет контрактации. Проверьте всю наличность свиней. И если у кого обнаружится две головы — свинья и поросенок, одну голову, которую покрупнее, без разговора сдавать в счет контрактации. Покажите в этом деле личный пример. Сдайте свой скот сами. Если будет обнаружена утайка лишних голов, накажем со всей строгостью, невзирая на лица. Теперь давайте прикинем ориентировочно количество свиней для контрактации. По пятьдесят голов на Веретье и Гордеево — вполне сносно. Ваше мнение?

— Вполне, вполне,— подтвердил и Чубуков.

— Алексашин?

— Будем стараться,— кивнул тот.

— А ты чего молчишь? — спросил Возвышаев Акимова.

— Пожалуй, не наберем.

— Почему?

— Урожай в этом году неважный. Мало пустили свиней на племя. Надо бы раньше. Месяца два-три тому назад собрали бы,— ответил Акимов.

— Ты все поперек норовишь, все увиливаешь. Что ж, у тебя по всему селу и сотни свиней не найдется?

— Найдется, конечно. Но ведь зима же. Сколько им скормили? И нá тебе — сдавай в контрактацию. Кто согласится по своей воле сдавать?

— По воле не согласятся, пусть по неволе сдают. Нас это не касается.— И обернулся к Миронову, председателю колхоза «Муравей»:— А вам от колхоза сдать пять свиней.

— У нас всего шесть штук,— ответил тот, округляя глаза.

— Одну оставите, для приплода,— сказал Чубуков.— Хрюкать будет, и ладно. Х-хе!

— Ты давай не смейся, не то знаешь что?..— Миронов побледнел и взялся рукой за ворот, будто ему тесно стало, дышать нечем.

— А то что будет? — поднялся над столом во весь свой исполинский рост Чубуков.— Ты полсотни пудов спустил на базаре, как последний спекулянт... Вот и отдувайся теперь свиньями.

— Я не спекулянт. И хлеб, и свиньи наши, колхозные. И вы не имеете права распоряжаться ими,— Миронов тоже встал — худой, жилистый, с темным от зимнего загара лицом, с белой переслежиной на лбу от шапки, как шрам, с посиневшими от волнения губами.— Свиней не отдам!

— А мы и спрашивать тебя не станем. Считай себя отстраненным от должности за спекуляцию колхозным хлебом,— сказал Возвышаев.— А свиней сдадут другие.

— В таком случае я заколю их вот этой рукой! — Миронов яростно поднял кверху кулак, будто зажат в нем был сверкающий кинжал.— Всех до одной заколю!

— А ежели так... Ты никуда не выйдешь отсюда,— сурово сказал Возвышаев.— Мы тебя арестуем.

— Меня? Арестовать?! Ах, мать вашу перемать! Да я вас, живоглотов, расшибу...

Он бросился к столу, размахивая кулаками, пытаясь достать до Чубукова. Но Акимов схватил его за руки и в момент заломил их за спину:

— Ты что, Фома, белены объелся? С ума спятил?

— И ты заодно с ними? Ах вы, живодеры, ах, мироеды! — Миронов бился, крутил головой, старался вырваться из железных тисков Акимова.

— Ежиков, чего рот разинул? — крикнул Возвышаев на милиционера.— Связать его — и в кладовую. Ну, живо!

Ежиков вместе с Акимовым связали руки Миронову и потащили его к дверям. У порога Миронов изловчился и подножкой сшиб Ежикова. Тот, падая, головой растворил дверь, потерял в темных сенях шлем, искал его и матерился. Акимов же никак не мог перетащить через порог раскоряченного, упиравшегося ногами в косяки Миронова. Морозный воздух клубами валил в распахнутую дверь и текучей марлевой кисеей стелился по полу, забиваясь под столы и стулья.

— Вы долго будете возиться с ним? — крикнул Возвышаев.

Ежиков вынырнул из сеней, кулаком сшиб с косяка упорный валенок Миронова и затворил дверь.

— Там, в кладовой, холодно будет ночью-то,— сказал, поеживаясь, Чубуков в наступившей тишине.— Кабы не обморозился.

— Киньте ему тулуп, а руки развяжите,— сказал Возвышаев.— Всё! Совещание окончено. Расходитесь по сельсоветам и немедленно приступайте к выполнению указаний.

Все активисты дружно, толпясь у дверей, двинулись в сени, а Мария с Доброхотовым поднялись наверх. Через минуту, когда они спускались с лестницы одетыми, за столом сидели только Чубуков и Возвышаев.

— А вы куда, Мария Васильевна? — спросил Возвышаев.— Сейчас Радимов приедет, рыбы привезет. Уху будем варить.

— Я не хочу. Заночую в Гордееве у своей бывшей хозяйки,— сухо ответила Мария.

— Ну, вольному воля,— сказал Возвышаев.— Завтра к обеду быть здесь... На большой сбор.

2

Но собрались они значительно раньше.

Еще ночью Настасья Павловна разбудила Марию:

— Маша! Выйди на улицу, послушай, что творится.

— А в чем дело?—тревожно спрашивала Мария, торопливо одеваясь.

— Скот режут... И свиней, и овец... Кабы до коров не добрались.

— Кто тебе сказал?

— Свояченица прибегала за кинжалом. Хватилась свинью резать—и нечем. Все резаки, все колуны—всё в ходу.

— Да что случилось?

— Говорят—завтра свиней начнут отбирать, а потом, мол, и до коров доберутся.

— Кто говорит? Что случилось? Немец, что ли, идет войной или Мамай?

— Да ты что, милая? Или никак не проснешься? Вы зачем сюда пожаловали? Чаи распивать или уху варить?

Наконец-то дошло до Марии—что случилось вчера там, на агроучастке. Эта грозная команда—сдать хлебные излишки, сдать свиней—немедленно, как пожар по ветру, разлетелась по селу и полымем отчаяния охватила души поселян. Что в этой панической суматохе могут они натворить—одному богу известно. Мария в растерянности присела на кровать и опустила руки на колени.

— Что ж ты сидишь? Пойдем на улицу! Послушай, что творится...

Настасья Павловна взяла ее за руку и, как маленькую, вывела на улицу. Ночь была морозная, лунная, они остановились в тени под липой и замерли. С высокого приреченского бугра, на котором растянулись в два порядка гордеевские избы и сараи, всплескивались то в одном, то в другом месте, будто подстегивая друг друга, и неслись, ввинчиваясь в темное звездное небо, отчаянные свиные вопли; протяжно и утробно ревели коровы, точно картошкой подавились; блеяли беспрерывно, на одной ноте, словно заведенные, овцы; заполошным брехом заливались собаки. Местами на задах, возле темных банек поблескивали костры, и слабый низовой ветерок приносил оттуда горьковатый душок спаленной щетины и сытный запах прихваченных огоньком, подрумяненных свиных туш.

— Что творится, господи боже мой? Прямо варфоломеевская ночь для скота...— Настасья Павловна вздыхала и крестилась.

Мария стояла молча, слушала эту жуткую какофонию звуков и думала о вчерашней ночи, о том невероятном, мрачном откровении Успенского, и ей становилось тягостно и страшно. И хотелось плакать, как вчера.

— Пойдемте домой!—сказала она и, не дожидаясь согласия Настасьи Павловны, ушла первой.

Спать не ложились. Просидели до самого утра, пили чай, о чем-то говорили, плохо слушая друг друга. Утром, еще по-темному, пришел Акимов.

— Слыхали, что ночью творилось?—спросил он от порога.

— Слыхали,— сказала Настасья Павловна ровным голосом, не глядя на него.

— Что будем делать, Мария Васильевна?—спросил Акимов.

— Надо идти на агроучасток,— ответила она.

— Да, надо...— Он присел на стул и хлопнул себя по коленке.— Черт меня дернул прихватить с собой Звонцова! Это он пустил слушок, мол, вторую свиную голову, что покрупнее, заберут в контрактацию.

— Разве это неправда?—спросила Настасья Павловна Марию.— Ты же сама мне говорила?

— Правда,— ответила Мария, потупясь.

— Какой же это слушок? Он правду сказал,— обратилась Настасья Павловна к Акимову.

— Да не в том дело... Я сам знаю, что правда. Но нельзя было говорить об этом на селе.

— Ага, вы хотели, чтобы потихоньку отбирали свиней, да?

— Я ничего такого не хочу,— ответил Акимов.— Я выполняю приказание.

— Интересно, кто за вас думать станет?

— Настасья Павловна, мы вынуждены... Поймите, есть необходимость... Может быть, мы не так виноваты, как вам кажется.

— Ну и других винить нечего,— сухо сказала Настасья Павловна.

Акимов вскинул голову, как это делают, когда на ум приходит что-то неожиданное и веское:

— Доброхотов под утро к Тиме прибегал. Говорит, и в Веретьях такая же резня была.

— И там Звонцов виноват?—спросила Настасья Павловна Акимова.

Тот усмехнулся:

— Там председатель Совета Алексашин первым свою свинью зарезал. Ну и пошла катавасия... Представляю, как Возвышаев причастит его... Да и нам перепадет.

— А может быть, с Возвышаева и начинать надо?— сказала Мария.

Акимов крякнул и вопросительно поглядел на нее, потом заторопился:

— Ну, пошли! Там уж, поди, собрались.

На агроучастке их ждали. И Возвышаев, и Чубуков, и Радимов, одетые на выход, сидели за столом мрачные и курили. На приветствие вошедших никто даже не ответил.

— Чем нас порадуете?—спросил Возвышаев, и по тому, как был задан вопрос, и по выражению лиц сидевших было ясно, что им уже все известно.

— Подсчеты пока не проводили... Но прикинули... Свиней семьдесят за ночь закололи,—ответил Акимов.

— Чья агитация?—Возвышаев буравил глазами вошедших и даже сесть не предлагал.

— Думаю, что стихийно,—Акимов переминался с ноги на ногу, поглядывая на стулья.

— Думает знаешь кто? Боров на свинье!—взорвался Возвышаев и грохнул ладонью об стол.—Ты мне ответишь за каждую свинью персонально.

— Я вам что, пастух?—огрызнулся Акимов.

— Молчать!—рявкнул Возвышаев и встал из-за стола.

Мария рванулась от дверей к лестнице наверх.

— А вы куда?—остановил ее Возвышаев.

— Вы сперва научитесь разговаривать в присутствии женщин, а потом спрашивайте,—ответила она, глядя на него с вызовом.

— Мы сюда приехали не затем, чтобы давать уроки вежливости, а выполнять задание партии. Так вот, садитесь и ждите своего задания, если вы коммунист,— Возвышаев указал ей на стулья у стены.

Мария, стиснув руками поручень балюстрады, с минуту постояла в нерешительности и наконец отошла к стене, села.

Возвышаев кочетом прошелся вокруг Акимова, руки засунув в боковые карманы пиджака, словно прицеливался,—с какого бока взять его. Но тут растворилась дверь,

и вместе с клубами холодного воздуха в комнату вошла целая орава мужиков — впереди юркий Доброхотов, он в момент сорвал с головы заячью шапку и торжествующе оглядел всех вошедших, как отделенный своих солдат. Вот, мол, скольких привел я к вам на поверку. За ним вошли Алексашин, Ежиков и четверо активистов, все в нагольных полушубках красной дубки. Возвышаев, пятясь задом, как бы с дальнего расстояния оглядел всех и наконец разрешил садиться.

— Доброхотов, докладывайте! — Возвышаев и не поглядел на Алексашина, будто он и не председатель Совета и вообще его вроде бы тут и не было.

Доброхотов пригладил свои жидкие белесые волосенки, шапку кинул, руки по швам и, поблескивая голубенькими, невинными, как у младенца, глазами, начал шпарить, словно стихотворение читал:

— Наш комсомольский патруль за ночь дежурства установил: первое — зарезано свиней семьдесят четыре головы, притом все в нарушение постановления о сдаче государству шкур и щетины были опалены на огородах и в банях; второе — забито двенадцать бычков-полуторов и семнадцать телят; третье — зарезано шестьдесят две овцы и два общественных барана; четвертое — бывший пастух Рагулин забил одну корову, а двух лошадей отогнал в лес в неизвестном направлении и спрятал. Теперь он остался при одной лошади и при одной корове.

— Егор, запиши! — кивнул Возвышаев Чубукову.

— У нас все записано в точности и поименно.— Доброхотов распахнул пиджак, вынул из внутреннего кармана сложенную вдвое школьную тетрадь и подал ее Возвышаеву.

— Кто начал эту разбойную резню? — спросил Возвышаев.

Доброхотов стрельнул глазами в Алексашина и решительно произнес:

— Патруль зафиксировал первый свиной визг на подворье Алексашина, то есть председателя Совета.

— Так...— Возвышаев с выдержкой поглядел на Алексашина, тот еще более сгорбился...— Может, пояснишь нам, как ты понимаешь директивы вышестоящих органов Советской власти? Может быть, отменишь это указание насчет контрактации скота?

Алексашин, здоровенный мужик, сидел, как провинившийся школьник, опустив голову и пощипывая собачий

малахай, крупные капли пота сбегали по лбу и задерживались на бугристом переносье, покрытом сросшимися смоляными бровями.

— Чего ж ты молчишь? Расскажи, как выполнял директиву партии.

— Это не я колол свинью... Кум Яшка.

— А ты в окно глядел?

— Я был в Совете. Составлял список на контрактацию.

— Кто же твоим хозяйством распоряжается: ты или кум Яшка?

— Жена виноватая... Она сбегала за Яшкой... Говорит — пока он из Совета вернется, мы ее опалим да освежуем.

— Мать твою...— Возвышаев косо глянул на Марию и запнулся.— Мужик называется... С бабой совладать не может.— Он сел за стол и сказал иным тоном, обращаясь к Чубукову: — Запиши ему штраф в пятикратном размере от стоимости свиньи. И всем, всем! — Он поднял голову и поглядел на собравшихся активистов.— Сегодня же выдать штраф... Всем, кто забил хоть поросенка. В пятикратном размере. Деньги внести завтра же. А если кто не внесет, пеняйте на себя. И передайте на селе: завтра же начнем отбирать и распродавать имущество в счет оплаты штрафа. А этого бывшего пастуха наказать сегодня же. Сейчас! Ступайте к нему всем составом, отберите лошадь. Нет, погоди! Не лошадь, а корову. Лошадь ему до весны не понадобится. А вот пусть без коровы поживет, сукин сын. Взять корову. А если окажет сопротивление, арестовать и посадить в кладовую к Миронову. Ясная задача?

Активисты покашливали, двигали валенками, но молчали.

— Мне можно домой идти? — спросил Акимов.— У меня своих дел невпроворот.

— Нет, нельзя,— отрезал Возвышаев.— Пойдешь вместе со всеми. Это тебе наглядная агитация. Пример будет, как надо потрошить толстосумов. Завтра и за твоих примемся.

— Чубуков, Радимов, приглядывайте, чтобы все было как надо. И без пощады! В случае чего составляйте протокол и сюда его, в холодную. Проверьте наличность хлеба. Лишний отобрать. Ступайте! И вы идите,— сказал он Марии.— Вон, берите пример с Доброхотова. Он настоящий боец-комсомолец. Идите!

Шли толпой, молча, как на похороны. Даже Доброхотов, чуть забегавший вперед, с опаской оглядывался на сурово насупленных Чубукова и Радимова, пытался угадать — о чем они думают, хотел спросить — не прибавить ли шагу? Но побаивался рассердить их и тоже помалкивал.

На краю Веретья их встретила целая ватага ребятни и собак; словно по команде, забрехали собаки, забегая в хвост этой процессии, а ребятишки, охватившие ее по бокам, вприпрыжку носились вдоль по улице и голосили:

— Пастуха идут кулачить! Пастуха трясти идут...

Из домов, с подворий, от амбаров потянулись за активистами мужики и бабы, шлиназерком, держались на почтительном отдалении; кто семечки лузгал, кто был с лопатой деревянной, кто с вилами, кто с граблями. Негромко переговаривались:

— Свиней описывать, что ля?

— Говорят, к Рагулину, хлеб отбирать.

— Он вроде бы в лес уехал.

— Будто вернулся утром. Один, без лошадей.

— Лошадей-то продал...

— Кто их теперь купит?

— За бесценок возьмут.

Доброхотов свернул к пятистенному дому, обшитому тесом, с резными наличниками и звонко крикнул:

— А вот и Рагулин. Зайдем, товарищи!

Между кирпичной кладовой и домом стояли тесовые ворота и глухая высокая калитка, набранная в косую клетку. Чубуков подошел первым к калитке, взялся за литое медное кольцо и громыхнул щеколдой.

— Кто там? — донеслось басовито с подворья.

— Открывай ворота! — крикнул Чубуков.

— И в калитку пройдетя. Чай, не званые гости,— отвечал все тот же густой бас.

Чубуков толкнул плечом калитку — она оказалась не запертой. Вошли гуськом на подворье. Хозяин с вилами в руках, в расстегнутом овчинном полушубке, в новеньких лаптях — онучи белые по колена, подбирал овсяную солому. Гостей незваных встретил спокойно, будто ожидал их,— ни один мускул не дрогнул на темном, изрытом глубокими морщинами лице.

— Где ваши лошади и коровы? — спросил Чубуков.

— У меня одна лошадь и одна корова. Вон, в хлеву стоят.

— Врешь! У тебя было две коровы и три лошади.

— Ищитя, если мне не верите,— ответил кротко.

— Алексашин, Доброхотов, осмотрите хлев! — приказал Чубуков.— Ключи от кладовой!

Алексашин с Доброхотовым побежали в сарай осматривать хлева, а хозяин и не шелохнулся, стоял, опираясь на вилы, поглядывал с легкой усмешкой на грозного Чубукова, от расстегнутой груди его исходил парок — видно, что хорошо поработал.

— Ты чего стоишь? Кому сказано — принеси ключи от кладовой!

— А я тебе не слуга, дорогой и хороший. Ты у меня не работал, и делить нам с тобой нечего. Что ж я свои запасы тебе стану показывать?

— Ах, вот как! Ежиков, сходи в избу, принеси ключи от кладовой!

Ежиков козырнул, поднеся согнутую руку в варежке к шлему, и трусцой побежал к заднему крыльцу.

Из хлева на подворье вышли Доброхотов и Алексашин, сказали в один голос:

— Всего лошадь и корова... Больше никакой скотины. Даже овец нет.

— За самовольное разбазаривание скота, за саботаж по части сдачи хлебных излишков изъять корову! — приказал им Чубуков.— Возьмите веревку, выведите корову и привяжите вон, к воротам, пока мы осмотрим кладовую и прочие помещения.

Алексашин с Доброхотовым снова скрылись в сарае, на заднем крыльце появился Ежиков с ключами, за полу шинели одной рукой держала его Рагулиха, второй ухватилась за дверной косяк. Это была объемистая баба лет сорока в овчинной душегрейке. Она голосила на все подворье:

— Не замай ключи, окаяннай! Анчихрист лопоухай!..

— Отпусти шинель, ну! Кому говорят? А то в рожу заеду...— орал на нее Ежиков.

— Я те заеду, рыжий дьявол. Я те всю харю расцарапаю.

— Акимов, лови ключи! — Ежиков бросил с крыльца связку здоровенных ключей, они грохнулись со звоном об мерзлую землю.

Акимов поднял ключи и подал их Чубукову. Между тем Алексашин выводил упиравшуюся корову из сарая, а Доброхотов накручивал ей хвост. Наконец, промычав,

корова взбрыкнула задом и выбежала на подворье. Алексашин подвел ее к воротам и привязал веревкой за скобу.

Отвлеченные возней Ежикова с Рагулихой, и Чубуков, и Радимов упустили из виду самого хозяина. Рагулин появился перед ними внезапно с топором в руках. На лице его от давешней кротости и следа не осталось — прямо на них шел совсем другой мужик, отчаянный и яростный, шел, как жеребец на волчью стаю, осклабясь, раздувая ноздри, хватая мерзлый воздух посиневшими от бешенства губами, словно у него дыхание перехватывало. Активисты в полушубках, давя друг друга, бросились вон через тесную калитку; Акимов вбежал на крыльцо к Ежикову, Мария прижалась к завалинке, а Чубуков и Радимов, как немые, пятились задом к овсяной соломе, не сводя глаз с блестевшего отточенного лезвия топора. Но Рагулин прошел мимо них, подошел к воротам, перерубил веревку и повел корову обратно в хлев.

Радимов бросился на него сзади, подмял под себя, как медведь дворнягу, и зарычал:

— Р-растак твою р-разэдак... Я тебя расшибу в лепеху...— Топор вырвал и забросил на крышу сарая, потом схватил Рагулина за шиворот, встряхнул, как овчину, и поставил на ноги.

Все это произошло в какое-то мгновение. Рагулиха, онемев от ужаса, выпустила из рук шинель Ежикова. Чубуков стоял в той же позе, как пятился задом,— пригнувшись и руки растопырив, Мария сидела на завалинке, свесив ноги, а в калитку заглядывали побелевшие от испуга активисты.

— Ежиков, чего рот разинул? Возьми его,— сказал Радимов и на вытянутой руке повел Рагулина к воротам, подталкивая коленом под зад.

Все наконец оживились, замахали руками, затараторили, забегали... Доброхотов поймал корову и тащил ее к воротам, ему помогал Алексашин, Чубуков гремел ключами возле двери кладовой, Ежиков, придерживаясь рукой за кобуру, кричал на Рагулина:

— Ты мне не вздумай еще фортеля откалывать! Подстрелю, как воробья...

Наконец Чубуков открыл дверь кладовой и скрылся там вместе с активистами, увели присмиревшего Рагулина вместе с коровой, и на подворье остались только Мария с Акимовым, да на крыльце вопила в голос Рагулиха,

закрыв лицо руками, и робко тянули ее за подол высыпавшие из дому ребятишки; их было четверо, все босые, в полотняных порточках, в белесых застиранных рубашонках:

— Мамка, пошли домой... Дунькя плачет...

Но мать, будто не слышала их, закрыв лицо руками, голосила:

— Уж ты кормилец наш ненаглядна-ай!.. Да на кого ж ты спокидаешь нас, сиротинушек горьких? Да что ж мы делать-то будем без тебя, без хозяина? Иль нам по миру пойтить с сумой заплечна-ай... Ох ты, горе наше горькое... О-ох! О-ох! — вдыхала шумно, набирала воздуху и снова голосила тоненьким надрывным плачем: — Увели тебя, голубь ты наш сизокрылай...

— Ма-а-амка, пошли домой! Холодно здеся-а-а... Пошли! Там Дунькя плачет,— теребили ее ребятишки и тоже заливались на все голоса.

— Акимов! — крикнул Чубуков с порога кладовой.— Найди сбрую и запрягай хозяйскую лошадь. Будем хлеб возить. Здесь его не меньше ста пудов. Давай, шевелись! — И снова скрылся в кладовой.

— Я больше не могу...— с трудом сдерживая рыдания, сказала Мария.— Дайте мне свою лошадь... Или я в ночь уйду пешком прямо в райком. Этот разбой остановить надо!..

— Успокойтесь сначала... Ступайте на реку... Там вас никто не заметит. Идите вдоль берега в Гордеево. Ждите меня у Кашириной. В сумерках пригоню вам лошадь.

3

Рано утром явилась Мария в райком и ждала в приемной Поспелова. Увидев ее, он споткнулся на пороге — так и пригнулся и спросил тревожно:

— В чем дело? Почему здесь?

— Мелентий Кузьмич, это невыносимо! Так нельзя работать. Это ж грабеж среди бела дня! — Она резко встала и ринулась к нему, прижимая стиснутые руки к груди.

— Кто вас ограбил? — спросил он сухо в привычном официальном тоне, обходя ее, словно статую.— Проходите в кабинет. И давайте без этих самых жестов. Спокойствие прежде всего.

В кабинете сердито кашлял, долго наводил порядок на столе, перекладывал с места на место папки, пресс-папье, чернильницу, стакан с карандашами. Наконец указал Марии на стул и сам сел:

— Я вас слушаю.

Тот запал гнева и весь ее напор, с которым бежала из Веретья, ехала в полночь на одинокой подводе, вошла сюда, наконец, ждала и кипела... все это теперь, при виде постного лица секретаря, этого аккуратного пробора на голове, этих холодно блиставших стеклярусов, все улетучилось, и на душе ее стало пусто и тоскливо.

— Ну, докладывайте.— Поспелов снял очки и стал рассматривать их на отдалении, вытянув руки.

— У пастуха Рагулина отобрали корову и самого посадили в холодную. А у него дети малые...— вот и все, что вырвалось наружу.

— Во-первых, он бывший пастух. С двадцать восьмого года его хозяйство на положении кулацкого, мне доложили, во-вторых, он пустил в расход две лошади и корову, в-третьих, поднял руку на власть, то есть разгонял с топором в руках оперативную группу. Так что ж вы хотите? Оставить его на воле, чтоб он топором голову кому-нибудь срубил?

— Не на людей он кинулся с топором-то. Он корову освободил, веревку перерубил, и только.

— А какое он имел право? Если корова конфискована, она уже не его.

— Он же все налоги платил исправно. Вот выписка, я взяла в Совете.— Она достала из кармана жакета записку и прочла ее.— В этом году он уплатил сельхозналог в индивидуальном порядке семьсот восемьдесят рублей. Задание по самообложению триста девяносто рублей и сто восемьдесят два рубля, как не имеющий права нести обязанности сельского жителя. Ну, чего же еще надо?

— Я не фининспектор и не налоговый агент,— холодно ответил Поспелов.— Идите в райфо, пусть проверят — по закону обложен Рагулин или нет. И чего вы переживаете? Он же типичный перерожденец. Три лошади, две коровы... Ну?

— Он же все заработал своими руками. Что ж у нас получается? Ежели лодырь, беспортошник или кутила,— значит, наш. А ежели хорошо работает, деньги бережет, в оборот их пускает,— значит, не наш. Буржуй, да?

— Разговор на эту тему исчерпан.

Мария поняла, что ее опередили. Должно быть, Возвышаев позвонил и все пересказал в ином свете. Она только устало провела рукой по волосам и вздохнула. Поспелов даже и не смотрел на нее, упорно разглядывал свои очки.

— Что у вас еще?

— Возвышаев фактически ввел самовольно чрезвычайные меры... Штрафы в пятикратном размере с конфискацией имущества. Он же нарушил решение бюро райкома.

— Напишите рапорт, мы разберем его на бюро.

— Когда?

— Ну, когда будет объявлено... Не я один созываю бюро.

— Но, поймите же, там творится что-то невероятное. Скот режут, имущество распродают, людей сажают... Это ж остановить надо.

— Там находятся трое руководителей района, наделенных всей полнотой власти. Вот когда они вернутся с задания, с них спросят отчет. Думаю, что они отчитаются. А вам, товарищ Обухова, придется отвечать за самовольный уход с боевого поста. Вы были посланы туда не связным от райкома партии, а комсомольским помощником тройки.

— А если я не согласна с методом работы этой тройки, тогда как?

— Я же сказал — напишите рапорт. Разберем. Сколько скота забили? Сведения есть?

— По Веретью и Гордееву всего сотни полторы голов.

— Н-да, нехорошо.— Поспелов повертел в воздухе очками и сказал озабоченно: — Дурной пример заразителен. Эта резня и на другие села перекинулась. Классовый враг не дремлет. А вы, вместо того, чтобы пропаганду вести против этого безобразия, в панику ударились, в бега. Нехорошо, Мария Васильевна.

— Мелентий Кузьмич, я прошу вас, умоляю,— опять, как давеча, руки прижав к груди, подалась к нему Мария.— Остановите их! Иначе беда будет.

— Ладно, ладно,— примирительно сказал Поспелов, поднимая руки, словно заслоняясь.— Мы подумаем тут, посовещаемся. А ты ступай домой. Отдохни и проспись, а то у тебя вид какой-то ненормальный.

От Поспелова вышла, как после хвори — в сторону

шибало. Ехала сюда. Ехала, мерзла, всю ночь не спала, ярилась, подстегивая себя решимостью выступить против этой зверской расправы, крикнуть в лицо Возвышаеву, что он барский бурмистр, что он держиморда, и вот результат... Но пусть только бюро соберут, пусть только слово дадут ей. А там уж она не растеряется, как в этом кабинете перед холодными стеклярусами Поспелова...

Но кто соберет это бюро? Кто ее пустит туда? Кто позовет? Вот, может быть, Тяпина растормошить? Он поможет.

Она встретилась с ним в коридоре на нижнем этаже. Он куда-то торопился и в полусумраке чуть не столкнулся с ней.

— Маша, ты? Как ты здесь очутилась?—опешил, спрашивая в сердитом нетерпении, готовый сорваться.

— Я к вам, Митрофан Ефимович... Специально приехала.

— Да ведь некогда мне... Еду в округ на недельный инструктаж по сплошной коллективизации.

— А я сбежала из Гордеева... Не могу я так разбойничать...—И чуть не заплакала.

Тяпин испуганно оглянулся по сторонам—не слышат ли—и сказал:

— Ну ладно, зайдем на минутку ко мне. Только давай вкратце...

В кабинете Тяпина Мария рассказала, что там случилось, почему сбежала и что было у Поспелова, требовала собрать бюро, а тот не мычит не телится.

— Помоги! Слышишь, Митрофан Ефимович... Сходи к нему сам. Убеди его. Надо остановить Возвышаева...

— И не подумаю,—сказал Тяпин.

— Почему?

— Потому что прав Возвышаев, а ты не права. Во-первых, сбежала... А во-вторых, какое ты имеешь право требовать приостановить сбор хлебных излишков?

— Да это же разбой!—крикнула она.

— Извините... Это кон-фис-ка-ция. Понятно? И от того, что вы уклоняетесь от проведения этой самой конфискации, вы получите серьезное взыскание. Все, Маша! Я тебя предупреждал. Время теперь не то, чтобы нянчиться с тобой.

— Какое время? Что произошло, собственно? Война объявлена?

— Объявлена сплошная коллективизация. Это поважнее войны. Тут борьба не на живот, а на смерть со всей частной собственностью. Понятно?

— А в чем виноват этот Рагулин? А жена его, дети?

— Ты позабыла, что говорил на лекции Ашихмин? Мир единоличника обречен на историческую гибель. Понимаешь, историческая закономерность! Мы поднимаемся на новую ступень развития. Вперед к коллективному хозяйству! Это вчера еще мы колебались, как нам поступать с этим Рагулиным. А сегодня решение принято — сплошная коллективизация, и никаких гвоздей!

— Эдак можно и голову потерять.

— Почему?

— Я ж тебе сказала — резня идет в Гордеевском узле. Пока режут скот, а завтра начнут друг другу башки сносить.

— Ну это ты брось ударяться в панику.— Митрофан сердито посмотрел на нее, подумал и сказал: — Потери в борьбе неизбежны. Для того, чтобы выиграла рота, можно пожертвовать взводом, чтобы выиграла дивизия, можно пожертвовать полком, а чтобы выиграть всем фронтом, не жаль и армию пустить вразнос. Понятно? Это не нами сказано, не нам и осуждать.

— Таким макаром можно одержать и пиррову победу.

— Что это за пиррова победа?

— Полководец был такой в древности. Победу одержал ценой жизни своих воинов и в конечном итоге все проиграл.

На круглом добродушном лице Тяпина заиграла младенчески-невинная улыбочка:

— Дак он же с войском дело имел, а мы с народом, голова! Народ весь никогда не истребишь. Потому что сколько его ни уничтожают, он тут же сам нарождается. Народ растет, как трава. А войско собирать надо, оснащать, обучать и прочее. Так что твоя пиррова победа тут ни к селу.

Мария только головой покачала:

— Но сажать людей в холодную, зимой... Имеет он право или не имеет?

— А с этим вопросом обращайся к прокурору.

— Бюро надо созвать и всех туда вызвать. И прокурора, и Возвышаева, и всем вам собраться и взвесить все... Иди к Поспелову!

— Некогда мне бегать по начальству. Говорю тебе — еду в округ. Лошадей уже запрягают... Бегу! — И побежал.

Но бюро райкома пришлось собирать. Резня свиней охватила весь район, из округа экстренным образом приехал Ашихмин, он был теперь, кроме всего прочего, членом окружного штаба по сплошной коллективизации. Выездную тройку из Гордеевского узла отозвали. Но за четыре дня эта тройка успела много дел натворить: собрали четыре тысячи пудов ржи и овса, распродали в погашение штрафов восемь хозяйств, посадили в холодную пять человек, отобрали десять коров и двадцать две свиньи. Коров сводили под дырявый навес агроучастка, где они мычали дурным голосом и день и ночь. А свиней загоняли в кладовую, в соседний отсек с холодной, где сидели мужики.

Уезжая, Возвышаев распорядился: коров отвести в Нефедово, передать вновь созданному колхозу, свиней сдать на мясозаготовку, а нарушителей порядка выпустить на волю и крепко предупредить — ежели чего позволят себе, сажать немедленно.

Ашихмин привез с собой инструкцию насчет создания и деятельности районного штаба по коллективизации. Заперевшись с Поспеловым, они определили руководящую тройку штаба, наметили отчисления в денежный фонд для проведения коллективизации и решили — кому быть начальником штаба. Сам Поспелов от этой почетной должности отказался, жаловался на здоровье: «Не то аппендицит, не то желчный пузырь замучил. Врачи кладут в больницу. А если оперируют, то какой из меня боец на передовом посту? Пускай Возвышаев старается. Он человек решительный, принципиальный, молодой. Ему и карты в руки». Так и порешили — предлагать на бюро начальником штаба Возвышаева.

Кроме членов бюро на заседании присутствовали вновь назначенный заворг Самохин и председатель контрольной комиссии Рубцов, да пригласили прокурора Шатохина с судьей Радимовым.

Поспелов, щурясь сквозь очки, сказал:

— На повестке дня стоят два вопроса: первый — создание штаба для проведения сплошной коллективизации, и второй — о введении выездной тройкой чрезвычайных мер в Гордеевском узле. По первому вопросу сообщение сделает товарищ Ашихмин.

Ашихмин долго говорил об усилении классовой борьбы в связи с коллективизацией, о слабой работе по сбору хлебных излишков и что-де заем плохо распространяют, и виной тому старый либерализм и правый оппортунизм. Под конец он сказал:

— Мы здесь, совместно с руководством райкома, определили круг обязанностей и некоторые мероприятия для райштаба по сплошной коллективизации... А также прикинули состав его и денежный фонд. Разрешите прочесть.— Он взял из папки Поспелова бумагу и прочел: — «Для руководства сплошной коллективизацией, а также для подготовки и проведения весенней посевной кампании создать оперативный штаб:

1. Возвышаев (председатель штаба), Чубуков (заместитель), Самохин (секретарь). Остальных членов штаба подбирает руководящая тройка и подает на утверждение в райком.

2. Предложить оперативному штабу в семидневный срок разработать план сплошной коллективизации района и представить его на рассмотрение бюро РК.

3. Разработать календарный план по отдельным кустам не позднее 1 января 1930 года.

4. Для проведения курсов актива в районе и для покрытия расходов на коллективизацию создать фонд при штабе и предложить фракциям кооперативных и профессиональных организаций внести в фонд следующие суммы:

1.	Тихановское сельпо	—700 р.
2.	Тихановское кредитное об-во	—400 р.
3.	Степановское об-во потребителей	—500 р.
4.	Гордеевское об-во потребителей	—400 р.
5.	Тихановский раймолокосоюз	—300 р.
6.	Плодоовощсоюз	—300 р.
7.	Тимофеевское кредитное об-во	—500 р.
8.	Правление промкооперации	—700 р.
9.	Инвалидная кооперация «Окская переправа»	—300 р.
10.	Сапожная артель	—300 р.

Предложить вышеупомянутым учреждениям немедленно внести причитающиеся с них суммы».

Ашихмин сел.

— У кого будут предложения или дополнения? — спросил Поспелов и сделал паузу.— Нет предложений.

Тогда голосуем. Кто за резолюцию, прошу поднять руки! Голосуют только члены бюро.

Все шесть человек проголосовали «за».

— Так. Возвышаев, известите все упомянутые организации и соберите деньги,— сказал Поспелов.

— К завтрему соберем,— отозвался тот.— И без шума.

— Но со свиным визгом,— сказал Озимов.

И все засмеялись, а Возвышаев тягостно вздохнул.

— Теперь поговорим насчет опыта выездной тройки в Гордеевском кусте, поскольку поступило две жалобы от уполномоченного райкома комсомола т. Обуховой и председателя Гордеевского Совета Акимова. Частное сообщение сделает районный прокурор товарищ Шатохин. Пожалуйста!— Поспелов кивнул прокурору, тот встал.

Это был плотный крупноголовый мужичок в суконной гимнастерке защитного цвета. Он шустро встал, поворошил пятерней свои пышные рыжие кудри и зачастил словами, как из пулемета строчил:

— Ваше дело вводить или отменять чрезвычайные меры. Ваше дело решать — что отбирать: скот, зерно, недвижимое имущество. Все это ваше дело. Но сажать людей в тюрьму — наше дело. И если вы берете людей под охрану, то хоть задним числом согласовывайте с нами. Что же это получается? Вы там в Веретье самовольно открыли тюрьму, четверо суток продержали пять человек в холодной, и мне, прокурору, известно стало только от самих пострадавших на пятый день, да и то по звонку из области. Спрашивается, для чего я здесь торчу, в районе? Для насмешек от милиции?

— При чем здесь милиция?— прервал его Озимов.

— А при том. Ваш участковый Ежиков в ответ на заявление арестованных, что они пожалуются прокурору, похлопал себя по кобуре и сказал: вот он где у меня сидит, ваш прокурор. И какое он имеет право сажать людей без моей санкции?

— Ему приказали Возвышаев и Радимов. С них и спрашивайте,— сказал Озимов.

— Участковый не Возвышаеву подчиняется, а тебе.

— А мне что, разорваться? Я был в Степанове и не знаю, что творилось в Веретье.

— Товарищи, давайте поспокойнее.— Поспелов постучал о графин карандашом.

— Подумаешь, каких-то мерзавцев продержали три дня под арестом,— проворчал Возвышаев.

— Во-первых, не три, а четыре! — крикнул прокурор.— А, во-вторых, хочешь это самое вершить — бери мои полномочия и сажай. Хоть весь район посади.

— Мне и своих полномочий хватает,— упрямо твердил Возвышаев.— Если он кулак и саботажник... что прикажете делать? Ждать, когда сам Шатохин заявится? Да я любого паразита скручу в бараний рог, если он становится поперек директив.

— По какой директиве? — спросил Шатохин.

— Мы приняли на бюро постановление о введении чрезвычайных мер. Вот вам и директива. Чего же еще надо? — ответил Возвышаев.

— Ты позабыл ту формулировку,— сказал Возвышаеву Озимов и обернулся к Поспелову: — Мелентий Кузьмич, прочти ему то решение.

— А я так его помню,— отозвался Поспелов.— Штрафовать надо, но не в пятикратном размере, милицию использовать при конфискации, но в качестве охраны порядка...

— Во, слыхал? А ты что делаешь? — крикнул Озимов Возвышаеву.

— А мне плевать на эти либеральные установки.

— На ячейку плюешь!

— Товарищи, позвольте мне,— сказал Ашихмин. Поспелов кивнул ему, тот встал: — Спор получается до некоторой степени схоластический. После того бюро многое изменилось. Давайте посмотрим в корень вопроса. Мы в настоящий момент переходим от политики ограничения кулачества к политике ликвидации его как класса. Так в чем же дело? Если враг оказывает сопротивление, немедленно брать под арест, не обращая внимания на соблюдение формальных правил. Это пустая предосторожность. Тройка под руководством Возвышаева сделала большое дело — собрано четыре тысячи пудов хлеба! Это же достижение! За это хвалить надо людей, а мы вроде бы ругаем.

— Вот именно! — подхватил Поспелов и постучал карандашом.— Я предлагаю внести в резолюцию отдельным пунктом: одобрить в целом работу выездной тройки в Гордеевском узле, указав на оплошность по части временного содержания под арестом нарушителей порядка без разрешения прокурора.— Поспелов оглядел всех из-под очков и спросил: — Как, товарищи?

— А чего ж... Голоснем! — предложил Чубуков.

И снова все шесть голосов дружно объединились.

— Теперь насчет забоя скота. Нужны самые решительные меры пресечения. Иначе мы останемся без свиного поголовья,— сказал Поспелов.— Какие будут соображения?

— Овец тоже режут... И до рогатого скота добираются,— сказал Озимов.

— А милиция уклоняется... сидит сложа руки,— буркнул Возвышаев.

— Между прочим, в Гордеевском узле, с которого началась эта резня, шуровал ты. И нечего валить с больной головы на здоровую.— Озимов подался вперед и сердито нагнул голову, словно лбом хотел сшибить Возвышаева.

И тот подался всем корпусом:

— Я выполнял план контрактации, а ты по избам шастал и лясы точил.

— Может, обойдемся без выпадов? — Поспелов застучал карандашом о графин.— Какие будут предложения?

— Применить чрезвычайные меры к забойщикам скота,— сказал Чубуков.— Постановление разослать по району. У кого обнаружат забитую скотину — конфисковать. А самого посадить.

— Голоснем? Кто «за», прошу поднять руки. Так, единогласно... На «разное» у нас поступило письмо от Зенина, секретаря Тихановской ячейки,— сказал Поспелов.— Он просит бюро поставить вопрос о привлечении к судебной ответственности зачинщиков женской демонстрации против закрытия церкви и нападения на его жену, продавца местного сельпо. Какие будут соображения?

— Здорово живешь! — сказал Озимов.— Бюро не народный суд. Оскорбили его жену — пусть подает куда следует, где разбирают правонарушения. А нам и без того дел хватает. И потом — много чести для жены Зенина, чтобы ее стычки с прохожими разбирали руководители района.

— Товарищи, позвольте! — встал Возвышаев.— Тут дело пахнет политической провокацией. Нападение на жену Зенина совершено в тот самый день, когда закрывалась церковь.

— Какая политическая провокация?! Юбку стащили с нее,— сказал Озимов.— Не путай политику с дамской юбкой.

Все засмеялись, а Возвышаев скосил глаз и густо покраснел:

— Это называется притуплением бдительности на формы классовой борьбы. Я прошу бюро обратить на это внимание.— И, обиженный, Возвышаев сел.

— Вы расследовали, что там случилось?—спросил Поспелов Озимова.

— Кадыков занимался этим делом. Мелкое хулиганство. Перепалка была. Начала ее не кто иной, как жена Зенина. Смеялась над суеверием этих баб. Они ей стекла побили. Вот и вся история... Пусть подает в суд. Вон, Радимов разберется.

— Радимов, учтите такой оборот дела.

— Это мы в момент. Р-раз, и квас,—пробасил судья.

Поспелов снова обернулся к Озимову:

— А Кадыкова мы у тебя забираем.

— Куда?

— Пойдет председателем колхоза в село Пантюхино.

— А как же уголовный розыск?

— Подберите кого-нибудь. Сплошная коллективизация поважнее вашего уголовного розыска.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Накануне Нового года Соня Бородина получила письмо от мужа из Юзовки—едет. Батюшки мои! Что делать? Куда деваться? Деньги, что присылал он на кладовую,— без малого тысячу рублей,—все истратила. Занять на время, чтоб отчитаться? У кого? Кто даст? Бежать ежели в город... Чтоб устроиться. На какие шиши? Может, Паша поможет, посоветует, что делать...

С наступлением темноты она пораньше уложила ребятишек в постель и пошла к Семену Жернакову, у которого жил на квартире Кречев. Душой понимала— нельзя туда идти: хозяйка, Параня Жернакова, была взята от Бородиных и доводилась родной сестрой Михаилу. Что подумает она, как посмотрит? Поди, догадается—зачем припожаловала. Но что делать? Не ловить же Кречева посреди улицы или в сельсовете при честном народе.

Двухэтажный кирпичный дом Жернаковых стоял в

центре села, позади общественного трактира. На втором этаже, который занимал Кречев,— темно, внизу в двух окнах светился огонь. Входная дверь в нижний этаж вела прямо с улицы, как в кладовую. Раньше весь низ занимала бакалейная лавка — потому и не было сеней и вход был с улицы. Соня потянула на себя скрипучую дверь и нырнула вниз с высокого порога вместе с белым облаком морозного воздуха.

Паранька сидела в передней за столом, вязала чулок. Двое ребятишек под висячей лампой готовили уроки. Топилась грубка.

— Здравствуйте вам! С добрым вечерком! — Соня расстегнула верхний крючок шубенки и ослабила затянутую на шее шаль, оставаясь стоять возле дверей.

— Садись вон на скамью. В ногах правды нет,— сказала хозяйка, не отрываясь от чулка и не сделав ни малейшего движения навстречу гостье. У нее был высокий, как и у всех Бородиных, нос и впалые маленькие глаза, отчего она казалась подслеповатой. Ребятишки тоже исподлобья недружелюбно поглядывали на Соню.

Соня села на скамью и, опершись руками о колени, сделала как можно более озабоченный вид.

— Я эта... Посоветоваться к тебе, сестрица.

Паранька только головой мотнула, продолжала вязать, не глядя на нее.

— Письмо прислал Миша. Обещает к Рождеству приехать. Надо бы собраться по такому случаю. Я все наготовлю сама и вина накупила. Только изба-то у нас не для гостей — посадить негде.

И опять молчание...

— Хозяин ай со скотиной убирается? — спросила Соня.

— Где-то по дворам шастает,— ответила Параня.

— Вот я и не знаю... С ним бы посоветоваться. Может, у вас соберемся?

— Будет тебе дурака-то валять, Соня. Ты, никак, за один стол хочешь усадить мужа и полюбовника Кречева,— сверкнула на нее вспыхнувшими глазами хозяйка.

— Ой, что ты, господь с тобой! Какой он мне полюбовник? Так, языками треплют. А ты на веру берешь. У меня еще дело к нему.

— Эка приспичило на ночь глядя... Дело у тебя к мужику? Постыдилась бы.

— Ой, что ты, господь с тобой! Об чем ты все толкуешь? Я в Пугасово собралась назавтра съездить на базар. А он будто обоз с утра отправляет. Вот и хочу попроситься — может, разрешит с обозом. Я бы за ночь собрала кое-что. Где он? Дома, что ли?

Хозяйка помедлила и сказала:

— В клубе на заседании.

— Там вроде бы вечер сегодня. Представление.

— А кто их знает, басурманов. Пост, а у них веселье. Черти рогатые.

— Дык как же насчет сбора? У вас нельзя, значит?

— Семен говорил, будто бы Андрей собирает к себе. У них и горница попросторнее нашей,— нехотя отозвалась Параня.

— Андрею Ивановичу завсегда больше всех надо. Не мужик, а сваха,— проворчала Соня, вставая.— Ну, я пойду. На базар вот собираюсь, кое-что купить к приезду Михаила. Наш базар совсем разогнали, окаянные души.

— Нечего на нем продавать... Скот под запретом и зерно тоже. Все даром норовят взять. Времена подошли непутевые.

— Пойду поищу его,— сказала от дверей Соня.

— Ступай, ступай, милая. Авось обрящешь колотушкой промеж глаз.

Соня вышла на улицу с таким чувством, будто взашей ее вытолкали. И тошно совсем сделалось. Идти в клуб, на люди, ловить его за полу — последнее дело. Но иного выхода не было. С утра он уезжает в Пугасово. А там вернется к самому приезду Михаила. Об чем тогда говорить? Шла в клуб, а сердце колотилось в самой глотке, и ноги заплетались. Шла и злилась не на того, кто позор положил на ее голову, с кем деньги в кутежах промотала, а злилась на мужа, которого не видела почти два года.

«Эх, Тара головастый! — это прозвище Михаила.— Бросил меня на произвол судьбы и в ус не дует. Легко ли одной бабе горе мыкать? Я греха не искала, не шастала по гулянкам. Он сам нашел меня среди бела дня и свалил в одночасье. Разе устоять слабой бабенке безо всякой опоры и поддержки? Вон, святые апостолы и те в одиночку грешили. Господи, господи! Прости ты меня, Христа ради, окаянную. Вразуми, что делать? Куда деваться?..» — так думала она и шла прямехонько в клуб.

Это культурное заведение открыли в Тиханове еще в прошлом году — переделали старую кирпичную церковь, а летом пристроили еще большие деревянные сени и назвали их по-заграничному — фойе. Но тихановцы звали по-своему — фуе. К Новому году эти деревянные стены изнутри обклеивали шпалерами и вешали на них большие картины, писанные масляными красками, на тему: «За грибами в лес девицы гурьбой собрались...», «Охотник на зорьке возле озера», «Иван-царевич верхом на сером волке».

Девицы, собравшиеся по грибы, стояли возле леса в цветастых платьях и смотрели прямо перед собой большими белыми глазами; серый волк, на котором ехал Иван-царевич, похож был не то на безрогого козла, не то на карликовую лошадь, а охотник с бородой поэта Некрасова держал наперевес двустволку и тоже смотрел круглыми белыми глазами на клубную публику. Заведовал новым клубом сын Тараканихи — Ванечка Таракан. Он и в самом деле смахивал на таракана — худой, черноволосый, в длинном черном пиджаке из чертовой кожи, он вихрем носился по Тиханову, на лошади не догонишь. «Ванечка, пусти кино посмотреть!» — кричали ему ребятишки. «Приходите динаму крутить. Тогда пущу»,— отвечал он на бегу.

Возле клуба постоянно табунились безбилетники. Ванечка всех записывал в тетрадь и пускал по два человека в кинобудку — крутить динамо-машину. Одни упарятся — отваливают в сторону. Других пускает. Те крутят и смотрят в окошко кино до тех пор, пока не осоловеют. От охотников отбоя не было. В дверях стоял Макар Сивый, держал здоровенную запирку, пропускал только по билетам да по Ванечкиным запискам.

На этот раз наружные двери были раскрыты настежь, а возле внутренних, тоже незапертых, сидел на табуретке Макар и лузгал семечки.

Соня чинно поздоровалась с ним и спросила:

— Чегой-то нынче все ворота нараспашку? А говорили, будто представление новогоднее.

— Отменили представление. Собрание проводят, по случаю пятидесятилетия Сталина.

— Дык он чего, приехал, что ли?

— Ага. Верхом на облаке.

— Не пойму я чтой-то. Как же так, именины справляют, а именинника нет?

— А очень просто. Вредительство обнаружено.

— Игде? — испугалась Соня.

— А тута, в этом самом... в фуе.

— Какое ж вредительство?

— Стены обклеивали... Шпалеров не хватило. Дали газет. Ну, стали эти газеты сажать на кнопки. На газетах портреты Сталина. Кто-то и угодил ему кнопкой в глаз. Стал народ собираться. Смеялись. У него, говорят, чертов глаз. Как у филина. Сунься за ним... Он те, говорят, в преисподнюю затянет. Хишшник, одним словом, стоят смеются. А тут Зенин пришел. Это что, говорит, такое? Вместо новогоднего представления антисоветскую демонстрацию устроили. Наш Таракан с перепугу в щель забился. А Зенин отменил представление, сходил в РИК, привел оттуда начальство, и вот собранию устроили. Сходи послушай...

В фойе было безлюдно, в раскрытые двери из зала долетал громкий и сердитый голос Зенина. Соня подошла к дальней от сцены двери и, раздвигая тяжелую портьеру, заглянула в зал. На сцене за столом сидел Возвышаев с каким-то незнакомым кучерявым человеком. А на трибуне говорил Зенин:

— Это ж надо дойти до такого членовредительства, чтобы самому товарищу Сталину, вождю мирового пролетариата, на стенке в фойе глаз пришпилили. Они выбрали самый подходящий момент — когда вся страна отмечает торжественно пятидесятилетие дорогого вождя, решили такой зловредной выходкой скомпрометировать всесоюзное мероприятие. Здесь не простое хулиганство. Это явные происки классового врага. На эту вражескую выходку мы должны ответить еще более активным проведением сплошной коллективизации, сбором хлебных излишков и массовой контрактацией скота. Руководство нашего района сделает соответствующие выводы и проведет по всем селам собрания по чествованию товарища Сталина, по развенчанию культа рождества Христова, с одной стороны, и осуждению кулачества и его гнусных пособников — с другой...

В зале много публики — все молодежь; по ярким цветастым шаленкам видно было — на представление явились. Кречева не было ни на сцене, ни в зале. Соня вернулась к Макару и спросила:

— А чегой-то нашего председателя не видно?

— Он в кинобудке, Ванечку распекает.

Соня вынула из кармана шубы целую горсть подсолнухов и всыпала в необъятную пригоршню Макара.

— Ой, Макар, милый! Не в службу, а в дружбу, позови Кречева. Только не говори, что я его жду. Скажи, мол, из сельсовета рассыльная. Я и в самом деле из сельсовета,— соврала Соня.— Скажи, его по телефону вызывали. Пусть выйдет на час. Я подожду его на выходе.

Макар, тяжело подминая половицы, как медведь, косолапя чунями, пошел в кинобудку. Через минуту из клуба вышел Кречев и громко спросил с крыльца:

— Кто меня тут вызывает?

Соня вынырнула из-за двери и сказала игриво:

— Ой, какой ты грозный!

— Ты что, опупела?— Кречев сердито уставился на нее и запыхтел, будто его выдувало изнутри.

— Не сердись, Паша... У меня беда.

— А мне-то какое дело? Ты забыла, что я председатель Совета? И официально вызывать меня имеют право только должностные лица. Понятно? Что ты мой авторитет позоришь?

— Я же тебе говорю — у меня беда. Миша едет.

— Ну и что?

— Как — что? Нам поговорить надо, посоветоваться... Куда мне деваться?

— Ладно, завтра поговорим. А сейчас мне некогда.— Кречев направился к дверям.

Но Соня бросилась перед ним, загораживая дорогу:

— Ты же завтра уезжаешь с обозом!

— Приеду... Увидимся еще, не бойся...— Он хотел отстранить ее рукой.

Она поймала его за рукав пиджака и, приблизив к нему гневное лицо с блестевшими глазами, зло сказала:

— Если ты сейчас не пойдешь со мной, я тебе тут же, посреди клуба, такое представление устрою, что похлеще вашего митинга будет.

— Но-но потише... Ты что, или в самом деле тронулась?— опешил Кречев.

— Как по ночам шастать ко мне — здоровой была. А теперь тронулась?

— Ладно, говорю, ладно... Ступай домой. Я сейчас приду. Не вместе ж нам по селу топать.

— Если не придешь, завтра утром в сельсовете при всем честном народе опозорю...

— Приду, приду,— уже примирительно сказал Кречев и нырнул в двери.

Придя домой, Соня поставила самовар, накрыла на стол огурцов да грибов соленых, бутылку водки достала, попудрилась перед настольным зеркальцем, желтые косы венцом уложила, лучшую кофточку свою надела — белую, вязанную из козьего пуха, и, вся красная от волнения, не зная куда деть себя, стояла навытяжку, прислонясь спиной к теплой грубке, ждала, прислушиваясь к каждому шороху и скрипу. Вот зашумел самовар, и наконец трижды грохнула щеколда. Пришел!

Она бросилась сама раздевать его и виновато лепетала:

— Ты прости меня, Паша, милый... Я ведь по нужде великой потревожила тебя... Разве я не понимаю, что тебе нельзя со мной на людях показываться. Ведь ты большой начальник... А я кто такая? Последняя беспутная бабенка...

— Да не в том дело, голова два уха. Я не стесняюсь тебя и не боюсь никого, но просто форма службы такая. Ежели ты при должности, то веди себя осторожно насчет этого самого... Не то надают по шее да еще из партии исключат.— Кречев разделся, одернул гимнастерку, складки разогнал за спину и сказал: — Фу-ты ну-ты, лапти гнуты. А ты нынче фартовая. Прямо как сдобная булка из калашной. О! И пахнешь сытно.— Он сграбастал ее, как сноп, приподнял и поцеловал в губы.

Она обхватила его за шею, уткнулась в плечо и вдруг заплакала.

— Ну ладно, ладно... Чего ты заранёше времени слюни распустила,— утешал он ее.— Авось все обойдется...

— Убьет он меня... Братья всё знают... Отписали ему. Он даже в письме грозится — приеду, говорит, посчитаемся...— Запрокинула лицо, глотая слезы, жадно смотрела в глаза ему.— В последний разочек милуемся с тобой...

— Никуда ты не денешься... Увидимся еще — не раз.

— Нет, Паша, мне тут не житье. Уйду я, уеду...

— Куда ж ты уедешь?

— А куда глаза глядят. Вот ежели б ты перевелся в другой сельсовет... да меня забрал бы. Я бы тебе, Паша, всю жизнь вернее собаки была.

— Чудны́е вы, бабы! — усмехнулся Кречев, выпуская ее из рук.— Новая власть дала вам полное равноправие,

освободила от мужей. Хочешь уходить из дому — уходи. Дак вам мало того... Вы хотите, чтобы власти подчинялись вам, чтоб они переводили ваших ухажеров в те места, которые подальше, где бы мужья не мешали... Ну и бабы.— Он подошел к столу, откупорил бутылку, налил в стопки себе и Соне.— Давай за это самое, равноправие.

Соня поморщилась и выпила, потом пристукнула пустой стопкой по столу и с веселым отчаянием сказала:

— Я ведь все деньги промотала... На кладовую он присылал. Помог бы занять хоть полтыщи — на время, отчитаться...

— Ого! Я таких денег и во сне не видывал. Я ж половину получки домой отсылаю, отцу с матерью. А остальное на жратву еле-еле хватает... Где ж я тебе возьму?

— Ну посоветуй хоть, что мне делать?

— Вступай в колхоз. Мы тебя бригадиром сделаем. Комнатенку подыщем где-нибудь в помещичьем или в поповом доме.— Усмехнулся: — Устроим...

— На отлете да на подхвате, одних подгонять, другим угождать... Это тоже не житье. Хватит с меня, и так поболталась... Не вдова, не мужняя жена. Лучше в город подамся, на фабрику. Там хоть все такие бедолаги...

— Он же в суд на тебя подаст. Долги потребует.

— Как-нибудь выкручусь. Что-либо придумаю...— Приблизилась к нему, опять обвила шею и, азартно раздувая ноздри, поводя лицом, говорила: — Милый мой, желанный мой! Не затем я тебя позвала, чтобы деньги у тебя канюжить. Что деньги? Тьфу! Провались они пропадом. У нас целая ночь впереди... Наша ноченька. Последняя. Последняя! И я всего тебя возьму... Всего. И унесу с собой на веки вечные...

— Допустим, меня ты и через порог не перенесешь. Опузыришься... Во мне пять пудов.

— Зато любовь твоя легкая. Любовь с собой унесу...

— Это пожалуйста, бери, сколько хочешь, и уноси на все четыре стороны.— Кречев повеселел, и блаженная улыбка заиграла на его широких губах.— Только меня в покое оставь.

— Ах ты, увалень! Ты и в самом деле одними словами хочешь от меня отделаться...

— Это уж дудки! Это не в наших правилах.

Он легко приподнял ее, понес к кровати и бухнул на высоко взбитую перину.

— Лампу потуши, лампу... Не при свете ж нам...— шептала она, раскинув на подушке руки...

— Эх ты, Маланья! Все еще стыдишься.— Он прошел к столу и хакнул сверху на ламповое стекло.

Всю ночь она неутомимо тормошила его, не давая заснуть ни минуты, лепетала пересохшими от поцелуев губами:

— Пашенька, милый, пожалел бы меня... Взял бы с собой.

— К Параньке на квартиру, что ли? Или, может, в сельсовет, на столах спать будем? — грубовато отшучивался он.

— Пошли в Сергачево, к моей матери.

— Ага... И оттуда бегать буду на работу, как заяц.

— Ну поехали в Пугасово... Там тетка моя в буфете работает, при станции. Я в подсобницы поступлю. Прокормимся...

— Отстань! Я коммунист, а коммунисты с работы не бегают...

Заснул он после вторых петухов. Она встала, натянула валенки и в одной исподней рубахе пошла к печке.

— Ты куда? Иль на двор в таком виде? — хрипло, спросонья окликнул ее.— Простудишься.

— Спи, спи... Я самовар поставлю.

Из чугуна насыпала углей, зажгла лучины и приставила трубу. Подождав на скамье, пока угли не разгорелись, а Павел снова не затянулся мерным раскатистым храпом, она сняла самоварную трубу, вытряхнула в совок крупные горящие угли, накинула на голову шаль и вышла во двор. Совок с горящими углями положила в застреху рядом с наружной дверью и, увидев, как занялась солома, вернулась в дом, сняла валенки и залезла под одеяло к спящему Павлу.

Лежала навытяжку, напряженная, точно струна, вслушивалась, как за дверью в сенях погуживало, разгораясь, вольное полымя, как потрескивали, занимаясь, дубовые сухие сучья обрешетника, как заполошно закудахтали куры, заметалась, тревожно млякая, по двору коза. Дети спали тихо на печи, Павел храпел, как заведенный.

«Господи! — шептала она.— Прости меня, грешницу окаянную... Не людям зла желаю... Себя очистить огнем хочу. Запуталась я совсем, завертелась. Прости меня, господи!»

Приподняла голову, взглянула на окна — темень...

Детей бы успеть в окно вытащить, не то души невинные пострадают. Тогда мне и на том свете покоя не будет, думала с тревогой. Да где ж люди-то? Чего не бегут на помощь? Или дрыхнут все? О Павле не беспокоилась. Этот козел сам выпрыгнет, хорошо бы огнем щетину ему подпалить. Отметину от меня за обиду и поругание. Не то ему все можно, все сходит. Ну как же, он власть! А тот, бирюк, пускай теперь считает свои капиталы. На мужа злилась более всего. Замуж, называется, взял. Как собаку дворовую, на привязи оставил. Да еще посчитаться захотел. Ну посчитай угольки на по́гори.

Мстительное чувство словно пожаром охватывало ее душу, и, распаляя себя все больше и больше, она испытывала теперь какое-то знойное наслаждение от того, что она, маленькая и слабая, которую брали только для прихоти, рассчиталась с ними сполна, оставила всех в дураках.

В окно наконец громко застучали, и зычный Ваняткин голос прогремел набатом:

— Соня, вставай, мать твою перемать! Вставай, слышишь? Гори-ишь! — И опять трехэтажный заковыристый мат.

Кречев приподнялся над подушкой:

— В чем дело? Кто стучал?

В окно опять застучали, так что стекла жалобно затренькали.

— Иван Евсеевич стучит. Говорит, что горим,— спокойно ответила Соня.

С улицы опять послышались крики. Кречев, как кот с лежанки, спрыгнул с кровати и в одних кальсонах бросился к порогу и растворил дверь. На него в дверной проем хлынуло с мощным ревом и треском яркое пламя. Он моментально затворил дверь и заложил ее на крючок.

— В окно вылезай! — крикнул, натягивая брюки и хватая одновременно валенки.

— Паша, детей с печки сними!

— А, дети? — крутился по избе Кречев.— Давай их сюда!

Она залезла на печь и, всхлипывая, шмыгая носом, стала будить девочек и, сонных, подавать ему в руки.

Наконец с дребезгом и звоном вылетела оконная рама, и в избу, освещенную переменчивым красноватым отсветом пожара, всунулась Ваняткина голова:

— Соня! Да где вы там, мать вашу?!

— На, принимай ребятишек,— сказал Кречев, передавая ему сонную девочку.

— Никак, товарищ Кречев?— опешил Ванятка.— Как ты здесь очутился?

— Принимай детей, говорят тебе!— крикнул Кречев, озлясь.

Ванятка принял девочку, передал ее кому-то из рук в руки и наказал:

— Тащите ко мне в избу!

За ребятишками вылезли из окна Соня и Кречев в распахнутой верхней одежде. Кто-то хотел влезть в избу через окно, но его поймал за полу Ванятка и стащил, матерясь:

— Ты чего, поджариться захотел?

Пожар охватил не только двор, но и перекинулся на крышу дома. Солома горела весело и почти бездымно.

Стояло тихое морозное утро. На светлеющем синем небе густо роились, как светлячки, быстро гаснувшие искры. Мужики с длинными баграми, необыкновенно черные на фоне яростного пламени, уже растаскивали горящие бревна с дворовых стен. Пожарной бочки с насосом все еще не было. Да и где взять воды? До ближнего колодца никакая кишка не достанет. Зато много было снегу. Люди брали его лопатами и кидали в огонь. На соседние крыши, к счастью, покрытые снегом, успели забраться мужики и тоже с баграми и лопатами стояли наготове.

Соня, взяв за рукав Кречева, отвела его в сторону и робко спросила:

— Паша, может, теперь ты не оставишь меня?..

— Да иди ты к...— злобно выругался Кречев, поднял воротник и пошел прочь.

2

Пожар удалось погасить. Растащили да раскатали по бревнышку всю постройку. И к рассвету на месте бывшей избы дымились обугленные головешки да, грозясь в небо высокой черной трубой, стояла одинокая печь, на шестке которой каким-то чудом уцелели чугуны и заслонка. Соседи отделались легким испугом — крикливые и суматошные во время пожара, теперь они ходили от одной группы до другой и весело сообщали:

— Ай да мы! Ай да работнички! Как мы ее раскатали...
— А что ж вы хотите? На миру старались.
— Обчество, одним словом.
— А Степка мой... Вот дурень! Залез на печь, и ни в какую. Я ему говорю — слезай! Сгоришь, дурак... А он — пошли вы к эдакой матери,— радостно докладывал всем Кукурай.— Мы его впятером... Пять мужиков таш-шили с печки. Так и не стронули с места.
— Дык он, эта, Кукурай... Ты, чай, не заметил. Он хреном в потолок уперся,— сказал Биняк, и все загрохотали, зашлись до посинения.
А Чухонин еще добавил:
— В другой раз упрется — пилу прихвати и подпиливай...
От Степки-дурака перекинулись на Кречева.
— Эй, мужики! А ведь изба-то от трения возгорелась. Пашка Кречев с Соней искры высекали.
— Гы-гы-к!
— Поглядите, там на пóгори — секира его не валяется?
— Поди, обуглила-ась.
— Дураки! Она у него кремневая!
— Да нет... Это у нее лахманка загорелась...
— Вот дык поддал жару...
— Ах-гах-гах!..
— Хи-хи-ху-ху! Хи-хи-ху-ху...
— Соню попытайте, Соню. У нее, поди, зарубки остались.
— Тьфу, срамники окаянные! У человека горе, а они как жеребцы ржут.
— А где она? Уж не сгорела ли?
— Говорят, у Ивана Евсева.
— Там одни девочки. А Сони нетути.
Соня ушла... В разгар пожарной суматохи, когда все бегали и кричали, забрасывали снегом горящие бревна, она отошла в сторону и долго, тупо смотрела, как обнажались в яростном белом пламени из-под летучей красной соломы черные стропильные ноги и как они вспыхивали, потом со всех сторон сразу опоясывались проворными потоками змеистого огня и проваливались вниз, легко изгибаясь, как обтаявшие свечи; как наливалась изба внутри сперва черным дымом, оседавшим книзу, потом он клокотал и белел, словно кто-то сильно перемешивал его, взбивал невидимым огромным ковшом,

и наконец засветился красными вспышками и потек — заструился кверху широкими рукавами в разбитые окна. Потом как-то разом упали остатки крыши, потолок не выдержал, ухнул вниз, вздымая в небо огромный шар суматошных и быстро гаснущих светлячков. Ее никто не примечал, никто ни о чем не спрашивал, не подходил, будто изба эта не имела к ней никакого отношения. Она вышла на дорогу и ушла в Сергачево к матери.

Братья Бородины поспели на пожар к шапочному разбору — жили далеко и не сразу сообразили, что горит и где; узнав от Ванятки, как вытаскивали из окна Соню вместе с Кречевым, только отплевывались да матерились. Девочек разобрали по себе, а ее даже искать не стали.

Целый день гуляла по Тиханову развеселая молва про жаркую любовь председателя, от которой дом загорелся. А после обеда председатель РИКа Возвышаев зашел к секретарю райкома Поспелову.

— Придется отстранять председателя Тихановского сельсовета,— сказал Возвышаев.

— Почему?

— Застали по пожару в чужой постели.

— А где взять нового?

— Назначим из двадцатипятитысячников.

— Нам присылает Рязань всего десять человек. А мы создаем пятьдесят шесть колхозов. Эти председатели позарез нужны. Надо ковать их, и притом срочно, а ты готовых хочешь разбазарить.

— Я ж говорю — в чужой постели его застукали...

— Ну и что? Подумаешь... Мужик холостой. Ну просчитался. Ничего особенного. Злее будет. Пусть искупит свою вину на сплошной коллективизации,— решил Поспелов.

А вечером у себя дома пришедшему в гости Озимову жаловался:

— Слушай, этот Возвышаев с ума сходит — каждый день бегает ко мне с новыми проектами — кого снять, кого посадить. Сегодня требовал снять председателя сельсовета Кречева. А в чем дело, спрашиваю. У бабы, говорит, застукали. Эх ты, монах в синих штанах, думаю. То-то и беда, что тебя даже бабы стороной обходят. Потом, говорит, давай арестуем всю бригаду строителей, которые в фойе Сталину глаз прикнопили. Зачем же всю бригаду? Арестуйте обойщиков — виноватых, говорю. Кстати, откуда эти обойщики?

— Из Гордеева.

— Взяли их?

— Ашихмин вызвал гепеушника из Пугасова и двух стрелков из железнодорожной охраны. Они их и возьмут. Нам такое дело не доверяется.

— Тоже подкинули нам работенку... Вот мерзавцы. Это ж надо — прямо в глаз угодили. Весь клуб, говорят, потешался. Дураки. Чему веселятся...

— Это они всенародную любовь выражают,— мрачно сострил Озимов.

— Ашихмин предложил осудить как выходку классового врага. По селам собрания провести. Я согласился. Кабы в газету не прописали. А то и нам по шее надают.

— Не бойся. Эти щелкоперы не дураки. В газетах — курс на всенародную любовь к вождю мирового пролетариата. А ежели какой дурак и сунется с заметкой насчет проколотого глаза, так ему самому глаз вырвут.— Озимов был явно не в духе, тяжело вздыхал, задумывался, терял нить разговора.

Он получил под Новый год письмо от родственников из Пронского района. Писали, что дяде Ермолаю принесли твердое задание. Тот отказался платить, и его посадили. Просили заступиться. А что он может? И кто его послушает?

Они сидели на кожаном диване в просторном и светлом зале квартиры Поспелова. На подоконниках цвели «сережки» да герань, в кадках по углам стояли высокие фикусы, на полу лежали цветные дорожки, на стенах — коврики, репродукции картин, портреты вождей... От печи в цветных изразцах плыли мягкие теплые волны... От всего веяло покоем и уютом. Их жены гремели на кухне тарелками да ножами, изредка появляясь в зале с грибками, с мочеными яблоками или с копченой колбасой — ставили все это добро на обширный стол и снова исчезали за цветной занавеской.

«Умеет устраиваться этот тихоня,— думал про себя Озимов, испытывая раздражение от этих занавесочек да ковриков, от всей этой хитроумной, хорошо продуманной ворчливости самого хозяина.— Этот не возмутится, не грохнет кулаком по столу — скорее, уползет, как уж, если почует опасность. Он и теперь одним только озабочен — как бы ему самому по шее не перепало от этих сумбурных выходок своих подручных да всегда неожи-

данных вывертов мужиков, отписанных на его попечение. Чиновник, мать твою перемать»,— хотелось заматериться вслух, но Озимов сдерживал себя и хмурился, плохо слушая собеседника.

Сами они с женой жили в казенной квартире при школе. Жена его, Маргарита Васильевна, была и учительницей, и директором школы, целыми днями пропадала в классах,— дома было холодно, неприбрано, на столах и на диване валялись ученические тетради, классные журналы, глобусы с поломанными подставками, карты и всяческие наглядные пособия, вроде скелетов ящериц и лягушек. Озимов свыкся с этим беспорядком, не замечал его. По вечерам, приходя домой, снимал со стены гитару, настраивался то на грустный, то на веселый лад, и пели с Маргошей на два голоса романсы «Я встретил вас, и все былое...», «Утро туманное, утро седое...». А то уходили в канцелярию и там вместе с ребятишками сколачивали струнный оркестр. «Выйду ль я на реченьку, выйду ль я на быструю...»

Наконец вошли обе хозяйки вместе и доложили весело:

— Стол накрыт, кушать подано. Пожалуйста, господа мужчины!

— Вы эти старорежимные выходки бросьте,— сказал Поспелов, вставая.— Не забывайтесь — мы и дома коммунисты.

— Ты, Мелёх, и оделся-то как на парад,— сказал Озимов.— Уж подлинный коммунист.

— Все-таки сегодня Новый год. Именно Новый! А не святки и не Рождество...— На Поспелове был стального цвета коверкотовый френч с накладными карманами и темно-синие диагоналевые брюки. На ногах мягкие белые бурки в коричневом шевровом обрамлении.

И жена его, Римма Львовна, жгучая брюнетка с крупными, сочно накрашенными губами, была в темно-синем праздничном кимоно из набивного шанхайского шелка и в белых фетровых ботиках на высоких каблуках.

Озимов и в этом плане выглядел каким-то обойденным: на нем была обыкновенного сукна черная милицейская гимнастерка, а Маргоша надела серую шерстяную кофту да простые черные валенки. Но даже в этом обыкновенном одеянии ее могучего сложения фигура, ее строгое большое лицо с пышно взбитыми русыми волосами, в пенсне, ее белые красивые руки — все выдавало в

ней породу той категории русских женщин, которые, сами того не замечая, присутствием своим создают атмосферу взаимного почтения и предупредительности.

Мужчины пили водку, дамы — крымский портвейн. Разговор шел о политике, о последнем выступлении Сталина на совещании аграрников, о сплошной коллективизации. Ловко поддевая вилкой то соленый грибок, то коляску копченой колбасы, Поспелов говорил, похрустывая и причмокивая губами:

— Теперь все ясно и понятно. Товарищ Сталин поставил точки над «i». Одним — прямой путь в колхозы, других — за борт, как чуждые элементы.

— Это общие слова. Сталин такое не говорил. Я спрашиваю: кто имеет право распределять, кого туда, а кого сюда?

— Нам пришла инструкция от Штродаха насчет проведения коллективизации. Там так и написано — провести раскулачивание перед сплошной коллективизацией. Сигнал будет дан в свое время. И чтоб ни один кулак в колхоз не просочился.

— А как же насчет заявлений на Пятнадцатом съезде? — наваливаясь грудью на стол, спросил Озимов.— Помнишь, что Калинин сказал? «Наступление состоит не в том, чтобы насильственно экспроприировать кулака». Мол, такими методами военного коммунизма двигаться вперед нельзя. Ты помнишь эти слова Калинина?

— Помню. Но Калинин руководящих лозунгов не кидает. Должность не та.

— А Сталин что тогда говорил? Не правы, мол, те товарищи, которые думают, что можно и нужно покончить с кулаками административно, через ГПУ. Сказал, приложил печать, и точка... Это, мол, нарушение революционной законности. Мы на это не пойдем. Помнишь? А теперь он что говорит? «Можно ли раскулачивать в районах сплошной коллективизации?» И сам же отвечает: смешной вопрос. Очень смешно. Кабы нам не напустить полные штаны смеха.

— Федор! Подбирай выражения,— одернула его Маргарита Васильевна.— Ты не уважаешь хозяйку.

— Извините, пожалуйста,— буркнул он, взглянув на Римму Львовну.— Я потому горячусь, что не могу уяснить.— Он хлопнул себя по лбу ладонью.— Тут вот у меня не помещается — как можно одному и тому же человеку говорить такие взаимоисключающие слова?

— Ты не политик, Федор... Как был ты военным, так и остался,— со вздохом огорчения сказал Поспелов.— Если мы говорим — все течет, все изменяется, то это касается в первую голову политики. Сталин же в своей речи обьясняет это изменение позиции. А ну-ка, где у нас газета? — Он потянулся к книжной полке, снял сложенную «Правду», надел очки и быстро заскользил глазами по газетным столбцам.— Ага, вот оно! «До двадцать девятого года хлеба больше давал кулак, а теперь колхозы и совхозы дают больше хлеба. Т. е. у нас теперь есть материальная база, чтобы заменить кулацкое производство колхозным и совхозным. Вот почему мы перешли от политики ограничения к политике ликвидации кулачества как класса». Тут яснее ясного.

— Да мать твою...— Озимов хлопнул ладонью по столу и сам испугался, глянув на побледневшую Римму Львовну.— Извините, ради бога, Римма Львовна! Виноват, Маргоша! Больше не буду.— Опрокинул стопку водки в рот, выдохнул и, не закусывая, сказал, покачивая головой: — Эх, Мелёх! Разве ж это политика? Вчера ты давал хлеб, кормил нас — мы тебя щадили. А сегодня нам дядя Вавил больше посулил, так мы тебя за горло. Это не политика, а душегубство.

— В теории есть такое понятие — историческая целесообразность, или классовая обреченность. Пойми ты, друг мой. Не в том дело, что я питаю к какому-нибудь кулаку Тимофееву и к его семейству личную ненависть. Ничего подобного! Может быть, я даже уважаю этого Тимофеева. Но семейство Тимофеевых принадлежит к чуждому нашему обществу классу кулачества. Следовательно, вместе со своим классом обречено и это семейство. И жалость моя тут просто неуместна. Лес рубят — щепки летят. Мы расчищаем эту жизнь для новых, более современных форм. И оперируем целыми классами. Личности тут не в счет.

— Да кто же тот бог, который бросает людские головы, как щепки за борт, в канаву? Кто имеет право исключать из дела, из общества того же Тимофеева? Кто клеймо на него ставил?

— А у нас созданы специальные группы бедноты, актива, партячеек. Не боги, а народ.

— Так было ж это все, было! В девятнадцатом да в двадцатом годах было. Не народ там сидел, а сопатые зас...— Он осекся, скрипнул зубами и спокойно сказал: —

Шибздики там сидели. Головотяпы! Вот они и бузовали за коммунию сплошную, за продотряды, за раскулачивание. И до чего же дошли? До поголовного голода. Так ведь осудили же это! И опять за то же. Сплошная коллективизация!.. Раскулачивание!.. Трудовые отряды!! Так это же чистой воды троцкизм. Его перманентная революция. И опять она приведет нас к тому же — к голоду! А еще на съезде говорили — нас толкают к троцкизму, но мы туда не пойдем. Не то что не пошли, а поехали. Мы ж загоняем в колхозы, как в трудармию... Все темпы даем...

— А по-моему, ты паникуешь... Опять вспомнил узкие места Бухарина. Он же сам клялся в статье об инженерстве: я, говорит, напрасно сомневался насчет темпов коллективизации.

— Да он баба... Связался, говорят, с какой-то девчонкой... Да ну их всех к богу в рай. Давай выпьем!

Поспелов налил водки и сказал, вздыхая:

— Ты никак не хочешь понять простой истины: мы подошли к рубежу для решительного рывка — либо мы догоним за десять лет наших индустриально развитых врагов, либо они сомнут нас. А для такого рывка нужна концентрация всех сил, сплочение их в единый кулак. Нельзя совершать индустриальную революцию, оставляя раздробленным сельское хозяйство. Нельзя достигнуть высокой степени планирования и управления такой стихией мелких собственников. Вот для чего мы идем на сплошную коллективизацию. Это будет поистине революционный акт — в наших руках будут мощные рычаги управления крупными хозяйствами. Понял ты это?

— С чего ты взял, что мы таким макаром добьемся успеха? Ты позабыл, до какого развала докатились эти крупные хозяйства, созданные на «ура» в годы военного коммунизма? Резервный миллиард съели? Отвечай! — побагровел Озимов.

— Ну, съели... Чего ты орешь?

— А результат? Забыл про голод? Забыл главный вывод Ленина? Никаких иждивенцев! Смогут коммуны или артели сами себя кормить — пусть живут. Нет?! На нет и суда нет. Захребетников нам не надо. Фальшивые хозяйства развалились давным-давно. Настоящие, трудовые, живут и поныне. Сами кормятся и другим хлеб дают. Кто хочет объединяться — пожалуйста! Но по-деловому, чтобы работать, а не мясо жрать из общего котла. Какая

польза будет от такого объединения, куда всех толкают силой? С какой целью это делается? Чтобы руководить удобнее было или командовать?

— Да пойми ты, нельзя дальше мириться с двумя формами собственности: государственной и частнокооперативной. Международная обстановка требует консолидации внутри нашего общества. Ну что будет лет через десять или двадцать из этих кооперативных объединений? Акционерные общества? Или что-то в этом роде. Кому они на руку? Уж, по крайней мере, не нам, коммунистам, а хозяйчикам. И чем раньше мы ликвидируем эти остатки капиталистических форм производства, тем ближе будем к социализму.

— Вот ты и выговорился! Это же прямое отрицание ленинской кооперации. Ты позабыл его указание из брошюры о продналоге? Да нет, вы ничего не позабыли. Этого забыть невозможно. Вы просто плюете теперь на ленинские установки.

— Что значит «вы»? И какие установки? — Поспелов снял очки и сощурился.— Говори яснее.

— Скажу яснее ясного, словами самого Ленина.— Озимов стал врастяжку произносить слова, словно читал по писаному: «Поскольку продналог означает свободу продажи... излишков, постольку нам необходимо приложить усилия, чтобы это развитие капитализма — ибо... свобода торговли есть развитие капитализма — направить в русло кооперативного капитализма»[1]. Это все слова Ленина. Он же не требовал вместо развития этого «кооперативного капитализма» создать коммуны да колхозы, и дело с концом. Ты согласен? Или, может, проверить?

— Согласен, ну?

— Вот тебе и ну. На эти самые слова вы, леваки, и наплевали. Потому и упраздняете кооперацию как одну из форм капиталистического товарооборота. А Ленин говорил, что кооперация выгодна еще и потому, что она облегчает объединение всего населения поголовно, а это есть гигантский плюс с точки зрения перехода от государственного капитализма к социализму.

— Вот и наступил этот момент перехода к социализму. Будут коммуны и колхозы, все остальное побоку.

— Враз наступил? Приехали. По решению съезда —

[1] Ленин В. И. Полн. соб. соч., т. 43, с. 225, 226.

постепенная коллективизация, добровольная, на две пятилетки минимум. По пятилетнему плану — тоже. Теперь — все побоку? А где же лозунг, что нэп вводится всерьез и надолго? Еще в сентябре во всех газетах печатали его, а в ноябре сняли. Значит, в один месяц дозрели? Запретили продавать излишки. Базары отменили. И точка. А дальше — объявить высшую фазу, сразу в коммуны и в колхозы. Ввести простой продуктообмен. Ведь к этому дело идет. Ну, ладно, я еще могу понять, что Возвышаев и Чубуков верят: отмени, мол, торговлю, вместо торговли введи распределение по карточкам, по трудодням, по списку — и сразу наступит рай. Они и Ленина не читали, а если читали, так ничего не поняли, потому как дремучи, оттого и верят сказкам, что попроще. Но ты же образованный человек. Ты-то знаешь, что еще Маркс высмеял эту прудоновскую чепуху насчет банка с трудовыми эквивалентами. Ты забыл, как Ленин заканчивает статью о продналоге? Что мы должны использовать капитализм, и особенно кооперацию, как звено между мелким производством и социализмом, как средство, путь, способ повышения производительных сил. Или что? Уже повысили, теперь понижать надо?

— Я абсолютно убежден, что сплошная коллективизация не понизит, а повысит уровень развития производительных сил. Консолидация средств производства в одних руках, в государственных, можно сказать, великое преимущество по сравнению с простым кооперированием мелких собственников. Как ты ни крути, а здесь мы имеем дело с более высокой фазой социалистического производства. Вон, весь Ирбитский район вошел в один колхоз. Читаешь небось газеты? Сто тридцать пять тысяч гектаров земли в одном колхозе! Вот она, настоящая фабрика зерна. Это не выдумка, не мечта, а реальность. И через каких-нибудь полгода будут тысячи таких зерновых фабрик. Они-то и заменят миллионы мелких собственников.

— Говорят, там уже жрать нечего.

— Это — злостные слухи, наветы правых.

— То ты левых ругал, теперь правых... Эх, Мелентий! Лукавишь ты, плывешь по воле волн. Послушаешь вас, теперешних прогрессистов, которым не терпится поскорее перескочить в высшую фазу, и диву даешься: что вас, блохи, что ли, заели, что вам с разбегу хочется сигануть куда повыше? Ведь недавно же, совсем недавно принима-

ли мы новый курс «лицом к деревне», кооперацию вводили, нэп — всерьез и надолго. В статье о кооперации у Ленина что сказано? Главное — мы теперь нашли ту степень соединения частного интереса с общим интересом, которая раньше составляла камень преткновения для многих социалистов. Потому что на кооперацию у нас смотрели пренебрежительно, говорит Ленин, и в этом была главная ошибка. Одно дело фантазировать о построении социализма, другое дело строить этот социализм так, чтобы каждый мелкий крестьянин мог участвовать в этом построении. И это дает кооперация. Я ведь тебе Америку не открываю. Это все слова Ленина. И ты знаешь, что они не впустую были сказаны. Это кооперация укрепила нам валюту и сельское хозяйство. Помнишь из доклада Сталина? Девятнадцать с половиной процентов был прирост продукции только за двадцать шестой год. В двадцать седьмом году достигли уровня довоенного производства тринадцатого года. Вот что такое кооперация для сельского хозяйства. И теперь ее побоку?

— Она дает очень слабую степень взаимосвязи. Крестьяне фактически предоставлены сами себе.

— Врешь! У нас кооперировано более тридцати процентов крестьян. Это же на Пятнадцатом съезде сказано. Кооперация охватывает более половины всего снабжения и сбыта. Никакие другие премудрости, говорит Ленин, нам не нужны, чтобы перейти к социализму. Теперь нашим правилом должно быть: как можно меньше мудрствования и выкрутас. Это все его слова. Неужто ты позабыл про них? Помнишь ты и знаешь его статью о кооперации не хуже меня. Там все яснее ясного — надо строить социализм в деревне при помощи кооперации, иными словами — при помощи заинтересованного участия в получении прибыли каждого производителя. Ведь в том главное преимущество нэпа, говорит Ленин, что он приноравливается к уровню самого обыкновенного крестьянина, что он не требует от него ничего высшего. Но чтобы достигнуть через нэп участия в кооперации поголовно всего населения, потребуется целая историческая эпоха. Это слова Ленина. Давай проверим! Вон, сними с полки томик,— указал Озимов на книжную полку.

— Я не сомневаюсь,— поспешно остановил его жестом Поспелов.

— Ах, не сомневаешься? Так что ж, проскочили мы

эпоху всего за пять лет? А теперь давай собирай этих мужиков в новые фаланстеры?

— Ты не утрируй.

— Чего там утрировать! Сгонять до кучи со всего района всех мужиков — дело нехитрое. Но для чего? В поход идти или работать? Объяви ты их хоть фабрикой, хоть колхозом, но если они сошлись по команде сверху, то это не работники, а едоки. Это уже было! Это отрыжка, или разновидность военного коммунизма: опять классовая борьба, борьба за власть... Бюрократия любит такую взвинченность — легче командовать. А что Ленин сказал? Простой рост кооперации обусловит и рост социализма, и более того — изменит нашу точку зрения на социализм. И он же опять напоминал нам, что если раньше главный упор делался на политическую борьбу, то теперь он переносится на мирную культурную работу. То есть надо создавать материальную основу, обеспечить себя от неурожаев, от голода и так далее. Богатство надо создавать! А это значит, через кооперацию надо приобщать в дело каждого рабочего или крестьянина, где он будет пайщиком в деле, то есть заинтересованным в прибылях своего кооператива. Выше прибыль — и заработок выше. А мы чего хотим? Долой продналог, да здравствует продразверстка! Приехали?

— Да, колхозом и коммуной в той форме, в которой они намечаются, управлять будет проще,— сказал Поспелов.— Ты позабыл историю с колхозом «Муравей»? Ведь они не хотели сдавать хлебные излишки, а везли их на базар.

— Зато у них урожай был высокий. Они работали хорошо. И решили подкупить еще инвентарь и лошадей. С государством расплатились сполна. Они же хозяева! Так пусть сами и распоряжаются излишками. Зачем же отбирать их?

— Вот это и есть отрыжка капитализма, торгашества.

— А то, чем занимаемся мы, называется бюрократическим головотяпством.

— Ты все же подбирай слова... Я, по-твоему, головотяп?

— Ты не обижайся, как девица красная. Я про дело говорю. Ленин требовал создания кооперации в общегосударственном масштабе. И называл это целой эпохой. А это значит — пора покончить с административным командованием. Главной задачей Ленин ставил, чтобы перейти

ко всеобщей кооперации, полной переделке нашего аппарата, который никуда не годится и перенят нами от прежней эпохи. Вторая задача — культурная работа для крестьянства или экономическая цель, которая преследует создание именно кооперации, и больше ничего. И при кооперации были и колхозы, и коммуны, и ТОЗы — но все они были самостоятельными. Сами распоряжались своим делом через торговлю и продналог. Вот эту торговлю и продналог вы и хотите упразднить, ввести продразверстку, а там командовать, как при военном коммунизме. Вот в чем смысл всей затеи.

— Передовые идеи нашего времени требуют большей централизации и, прости за откровенность, ликвидации элементов капитализма.

— Я чую, кому ты подъелдыкиваешь, нападая на так называемые остатки форм капиталистического производства, то есть кооперацию. Вернулась мода третировать кооперацию, как в двадцатом году; она, мол, с капитализмом нас мирит. А мы не хотим. Мы-де передовее Ленина. Эти леваки всегда были «передовее» Ленина, по их собственной самоуверенности, только с голым задом оставались. А теперь и ты туда попёр. Так хоть не ломай комедию! Видите ли, теория у них теперь передовая. Знаем мы эту теорию — по продразверстке соскучились. Испугались переделки аппарата; боитесь, как бы вас не заставили работать, а вы привыкли командовать.

— В таком тоне я спорить не буду,— обиделся Поспелов.

— Не хочешь — не надо. Тогда давай пить!

Озимов пил водку не глотая,— в широко раскрытый зев опрокидывал стопку и коротко выдыхал. Его крутая шея и бритая голова наливались кровью, он заметно хмелел и становился все мрачнее.

— Я ведь чего тебе про эту продразверстку гудел... Меня ж после ранения списали в продотряд в двадцатом году. У-ух, нагляделся я на мужицкие слезы и наслушался бабьих воплей. Пришел в губком — переведите, говорю, в милицию. Не могу я с бабами воевать. Лучше за преступником гоняться стану. Уважили... Вроде бы душой отошел с той поры. И вот тебе — опять заставляют мужиков трясти.

— Будь философом, Федор. Смотри на жизнь проще. История не стоит на месте. У нее бывают приливы и отливы. Один период сменяется другим. Какой бы ни был

бурный водоворот, пройдет. Все успокоится и станет на свои места.

— Эх, Мелёх! Тебе что поп, что попадья... Лишь бы служба шла. Ты из чиновников. Ваш брат иной закваски. В минуту жизни трудную ты увильнешь. А мне хана. Я мужик. Нас судьба не милует, а бьет по лбу.

3

В самый сочельник Андрея Ивановича Бородина позвали в сельсовет.

— Сказали, чтоб немедленно притить,— докладывал от порога рассыльный Колёпа, щуплый подросток в подшитых растоптанных валенках и в полушубке с отцовского плеча.

— А что там стряслось? — спросила Мария Васильевна.

— Говорят, собранию готовят,— ответил Колёпа.

Андрей Иванович ушел прямо со двора — скотину убирал,— толком даже не переодевшись.

Возле сельсовета его встретил Федорок Селютан.

— И ты заседать? — спросил мрачно, нагнув голову. Того и гляди, лбом сшибет.— Заодно с этими обдиралами, в бога мать!..

— Не тронь богородицу, атаман. Ноне все-таки сочельник. Кто тебе не угодил? Что там за сборище? — кивнул на сельсовет.

— Зенин с Кречевым... сороки, Ротастенький, Левка Головастый — вся голова сопатая. Эх, волю бы мне! Я их, мать перемать... И ты прешь туда? Ну, Андрей, мотри! — Федорок скрипнул зубами и хватил кулаком по колену.

— Да что ты злобишься? Пошто собрались, спрашиваю?

— Щи варить да блох на м... давить! Чего спрашиваешь? Сам не знаешь?!

— Не знаю! — заорал Бородин.— Прилип как банный лист к известному месту. Отчепись!

Но Федорок ухватил его за отворот полушубка, пригнул к себе и совсем по-другому, морщиня лоб, как от головной боли, кривя и кусая губы, словно боялся расплакаться, хрипло выдавил:

— Андре-ей! Они, это самое... Иудину команду сколачивают — своих мужиков громить. Кула-ачить!

— Откуда ты знаешь? И тебя за этим вызывали?

— Меня-то? Меня, как апостола Петра, заставляют отречься.

— От кого? Среди нас вроде бы Христа нету.

— Да ты что, с неба свалился?—Федорок оглянулся— нет ли кого.— Зятя моего забрали... Из Гордеева. Говорят—он Сталина портрет подпортил. А тот ни ухом, ни рылом. Знать, говорит, не знаю, не ведаю. А эти,— Федорок кулаком погрозил в сторону сельсовета,— требуют, чтоб я осудил его на собрании. Выступил, значит. Вроде бы отрекся от него. Приперли меня... За грудки хватают. А я вроде бы онемел. Мычу, словно язык проглотил. Иди, говорят. До вечера тебе срок даем. Очнись. И заяви членораздельно, иначе—пеняй на себя. Вот я и собрался к тебе сходить, посоветоваться. Ан ты сам туда топаешь.

— Погоди меня! Я скоро обернусь.— Бородин легким поскоком, как тренированный конь, взлетел на высокое крыльцо и скрылся за дверью.

В сельсовете за обширным Левкиным столом, залитым чернилами и по краям заваленным газетами да брошюрами, сидел Сенечка Зенин и что-то писал. Кречев примостился сбоку, тянул шею к нему, как гусь, заглядывал в исписанный листок. Остальные активисты разместились вдоль стен по лавкам. Накурено было так, что сизый дым заволакивал дневной свет и над подоконником стелился слоями, как подвешенная кисея.

Бородина встретили так, словно на допрос вызвали: Зенин, отложив ручку, строго смотрел на него, подслеповато щурясь, задрав нос; сороки, Якуша, Левка—вся публика притихла и глядела на него так же строго, с вызовом, и только один Кречев сутулился, курил, пряча глаза.

— Товарищ Бородин, вы, как председатель комсода, за последнее время увиливаете от своих общественных обязанностей,— говорил Зенин прокурорским тоном.— Вам известно, что в связи с объявлением сплошной коллективизации мы имеем право привлечь вас к ответственности как союзника чуждых элементов?

— Это от чего же я увиливал и в чем союзничал с элементами?—спросил Бородин, нарочно глядя на Кречева, будто спрашивал его сам председатель, а не этот самозванец. Но Кречев по-прежнему глядел себе под ноги и курил.

Сенечка стал горячиться, повышать голос:

— Не прикидывайтесь невинной овечкой! Вы пришли в Совет, главный орган власти на селе. И давайте не разыгрывать тут сцены из детской игры — я, мол, вас не знаю и слов не понимаю.

— Вот пусть эта власть и спрашивает меня. А вам отвечать не стану.

— Я — секретарь партячейки!

— Вот и ступай туда и пытай своих партийцев, а я — беспартийный.

— Ну чего ты выдрючиваешься? — поднял голову Кречев. — Тебе ж русским языком говорят — увиливать теперь нельзя. Сам знаешь — какое теперь время.

— Дак от чего я увиливаю?

— Он еще спрашивает! — Сенечка усмехнулся и покачал головой. — Пленум по выявлению кулаков на предмет обложения индивидуалкой сорвал? Сорвал. Кто помог помещику Скобликову смотаться, уйти от расплаты? Не вы ли, товарищ Бородин? Кто увильнул от конфискации имущества кулака Клюева?

— А ежели он не кулак? — азартно, распаляя себя, спрашивал Бородин. — Тогда как?

— У нас есть пленум Совета, группа бедноты, партячейка, наконец. Если все они проголосовали, определили, что хозяйство данного лица является кулацким... То какой после этого может быть разговор? — накалялся и Зенин.

— Если вы сами судите, не спросясь мира, то сами и приводите в исполнение свои постановления. Я вам не исполнитель.

— То есть как? Вы хотите сказать, что отказываетесь выполнять постановление Совета? — Сенечка аж привстал над столом.

— Кто кулак, а кто дурак — определяет сход, а не группа бедноты. — Бородин покосился на Тараканиху да на Якушу Ротастенького.

— Было да сплыло такое правило, хватит резвиться кулакам и подкулачникам. Теперь мы хозяева! Беднота и актив! — крикнул Якуша со скамьи.

— Вот вы сами и ходите, кулачьте. А нас за собой таскать нечего. У каждого своя голова на плечах.

— Так, ясно. Разговор на эту тему дальше вести бесполезно! — сказал Зенин, и Кречеву: — Павел Митрофанович, поставьте перед ним конкретное задание и предупредите насчет ответственности...

— Андрей Иванович, мы тебя позвали, чтобы включить в список по раскулачиванию. Как представителя середнячества, председателя комсода то есть,— сказал Кречев.

— Напрасно звали. Кулачить я не пойду.

— Я тебя лично прошу подумать хорошенько, прежде чем отказываться.

— Спасибо! Твои личные просьбы вон на пóгори дымом обернулись.

Кречев налился кровью и расстегнул ворот гимнастерки, словно ему душно стало.

— Ладно... Тебе этот отказ боком выйдет.

— Ну чего ты уперся как бык?— сказала Тараканиха.— Не ты первый, не ты последний. Кабы без тебя не пошли кулачить — тогда другое бы дело. А то ведь все равно пойдут и без тебя.

— Вот и ступайте...

— Андрей Иваныч! Ты, поди, думаешь, что мы своих пойдем кулачить?— пропищал Левка Головастый.— Нету! Нас в другие села пошлют, а тех — к нам.

— Никуда я не пойду,— уперся Бородин.

— Ладно. Так и запишем,— сказал Зенин.— Но имейте в виду, чикаться с вами больше не будем. Привлечем к ответственности за отказ от содействия властям и посадим.

— Всех не пересажаете!

И — ни здоров, ни прощай — повернулся и ушел, будто и не люди сидели здесь, а так, какие-то шишиги.

Селютан ждал его на улице, подался к нему от палисадничка, возле которого стоял, прислонясь спиной к дощатой изгороди,— заглядывал в лицо, отгадать хотел — как он? что? Принял это сатанинское приглашение или отказался?

— Ну чего ты на меня посматриваешь, как нищий на попа: подаст или нет?— бросил раздраженно Бородин, отходя подальше от сельсовета.

Федорок, тяжело и часто шмыгая валенками, поспевая за Бородиным, довольно изрек:

— Вижу, что отказался. Молодец, Андрей, ёш твою корень!

— Посадить грозились... А я им — всех не пересажаешь...

— Имянно, имянно! Эх, знаешь, что?— Федорок поймал его за рукав:— Давай выпьем!

— Ты что, сбрендил? Ноне сочельник. Я зарок дал — до звезды ни есть, ни пить. И так уж опоганились совсем. Надо и о боге вспомнить.

— Тады сходим в поле, зайчишек погоняем. Вернемся по-темному — и не заметим, как день пролетит и запрет на еду отпадет.

— Не могу, Федор. Братья ко мне придут. У меня тут свой совет. Так что не могу...

— Эх, дуй тебя горой!..— с досадой и тоской в голосе выругался Федорок.— Чего ж мне делать? Куда деваться? Посоветуй хоть, как мне с зятем-то? Что им ответить?

— Да пошли ты их к...

— Да, да. Ты прав. Пошлю я их подальше. А посадят — ну так что ж? Семи смертям не бывать, а одной не миновать. Эх!..— И опять длинно, заковыристо выругался.

Пришел домой мрачный и решительный, с порога позвал кобеля. Тот явился одним духом — из защитки вынырнул и, отряхивая с шерсти соломенную труху, весело и преданно уставился на хозяина: «Ну, чего будем делать?» — спрашивал и скалил пасть, улыбался.

— Счас в поле пойдем, зайцев гонять. Сиди тут и жди,— строго наказал ему Федорок.

Собака моментально уселась на ступеньку и визгливо от нетерпения тявкнула.

— Счас, счас,— успокоил ее Федорок и скрылся в сенях.

Дома его ждали: хозяйка с дочерью сидели за кухонным столом, прямо у дверей, и обе встали при появлении Федорка. Авдотья, в грубошерстной черной кофте и в черном платке, горбоносая и длиннолицая, смахивала на монашку перед иконой, того и гляди, закрестится — и рука занесена с троеперстьем; дочь — полногрудая, круглолицая, с потеками от слез на белых ядреных щеках, часто моргала влажными бараньими глазами, готовая в любую секунду пустить новые ручьи слез.

— Ну, чего уставились? Думали — и меня забрали? Вот дурехи,— обругал их несердито Федорок, проходя в горницу, отгороженную невысокой дощатой перегородкой от передней.

— Дык чего сказали-то? Выпустят его, али как? — спросила сама.

— Ага, выпустят... После дождичка в четверг...

Дочь громко всхлипнула и заголосила тоненьким голоском.

— Отложи на завтра. Не то все слезы израсходуешь,— крикнул ей Федорок из горницы, проходя к дальней стенке, где висело ружье с патронташем.

Собственно, горницы никакой не было — отгороженная половина кирпичного дома смахивала скорее не то на валеную мастерскую, не то на дубильню. В углу, возле грубки, стоял огромный чан с квасцами, от него — во всю стену, до окна, дощатый верстак, на котором Федорок и овчины дубил, и строгал, и паял, и выделывал кожу. На полу валялись обрезки валенок да овчин, стружка. Даже деревянная кровать с высокими спинками была завалена свежевыделанными овчинами красной дубки. Посреди этой большой несуразной комнаты стоял дубовый толстоногий стол, ничем не покрытый, вокруг него табуретки, а еще скамьи вдоль стен. Вот и все убранство горницы. За этим столом было выпито столько водки, что она не уместилась бы и в чане. Случалось, что скорый на проделки Федорок не раз запускал медную кружку в чан за квасцами.

Однажды напоил своего приятеля, татарина Назырку из Агишева. Так перепились, что квасцы приняли за квас. Что было с Федорком, никто не знает, свалился во дворе и проснулся только наутро в прожженных штанах. А Назырка всем на потеху рассказывал:

— За Тимофеевку выехал — меня и понесло. Сперва столбы телеграфные считал, садился у каждого. За реку переехал — штаны не застегивал, из саней не вылезал — сплошной линией шла, от столба до столба...

Перетянув на животе патронташ, ружье закинув за спину, Федорок вышел на кухню. Тут его опять перехватила Авдотья:

— Дак чего сказали-то? Пошто молчишь? Иль не видишь — дочь зарёвана.

— Склоняли меня. А куда? Не спрашивай. Не то сама заревешь.

— Ты чего ж? Поддался им, али как?

— Ага! Держи хрен в руку. Я им так и поддамся...— длинное скверное ругательство Федорок завершил только на улице.

— Играй, пошли дармоедов гонять!

Рослый вислоухий кобель запрядал перед ним, заскакал на прямых ногах, выгибая дугой спину и махая

хвостом. Они двинулись в конец Нахаловки, в открытое поле.

Стоял тихий морозный день. Солнце светило тускло сквозь кучерявую заметь жиденьких облаков. В голубеньких просветах неба протянулись белесые пряди жидкой кудели, как переметы через дорогу. И дымы над избами тянулись невысоко; какая-то невидимая сила останавливала их, плющила и незаметно растаскивала во все стороны. «Снег пойдет,— думал Федорок.— Это хорошо, заяц теперь жирует перед метельной лежкой».

Он спустился в Волчий овраг и до самых Красных гор шел низом, обследуя каждую тальниковую поросль у застывших и занесенных снегом родничков и бочажин. Снег был неглубокий, с ломким стеклянным настом. Идти было легко, и Федорок в который раз перебирал в уме эту перебранку в сельсовете, когда они обступили его со всех сторон и теребили, как собаки медведя. «Твой зять вредитель... И ты хочешь туда угодить?» «Ты можешь показать свое честное лицо, если осудишь зловредную выходку шептунов и подкулачников». «Рабочее правосудие покарает двурушников и членовредителей». «У тебя есть только один путь честного примирения с народом — публично порвать связи с подозрительным родственником...»

Говорил больше все Зенин, а эти только подбрехивали ему: не будь, мол, дурнем, выступи на общем собрании, осуди предателей. И ты всем нам — товарищ и брат. «Кобель беспризорный брат вам и товарищ, брехуны сопатые,— ярился теперь Федорок.— Дали б только волю — всех вас в окна вышвырнул бы из Совета. Не позорьте Советскую власть!» И тошно ему было больше всего от собственного бессилия там, в Совете, от запоздалой этой вот ярости, от сознания невыносимой обреченности. Придут завтра так же за ним, как за Клюевым или как вот за его зятем и... Куда ты денешься, Федор Васильевич Сизов?.. И бежать тебе некуда... Ах ты, горе горькое! Доля ты наша мужицкая. Как собака на привязи. Куда ты от своего дома, от скотины своей, от землицы? И где ты нужен, кому? Работник в тебе состарился... И на чужой стороне ты всем чужой.

От горьких мыслей его оторвал Играй — он черным ястребом перелетел через рыжий тальничек и широким махом, пластая гибкое свое пружинистое тело, легко пошел наверх по крутому овражному взъему.

«Эх, мать честная!.. Кажись, на свежий след напал?» — Федорок азартно бросился наверх, на ходу взводя курки своей старенькой тулки. И уныние, и обиды его мгновенно растворились, будто их водой смыло, душа затрепетала, ожила, и сердце застучало горячо и сильно. В один момент, не чуя ни усталости, ни одышки, выбежал он на гору и увидел, как заяц, словно упругий мячик отскакивая от снежных валов, посверкивая ослепительно белым межножьем, летел по полю, вниз по угору, обходя правым охватом Пантюхино, удаляясь туда к темным ольховым зарослям и рыжим разливам камыша на Святом болоте. А за ним, саженях в ста, поспевая укачливым наметом, терзая и взбадривая душу Селютана отчаянно-звонким, высоким и частым гортанным лаем, уходил, как птица по ветру, его неутомимый Играй.

— О-лё-лё-лё! — загорланил Селютан им вдогонку и сам побежал с юношеской прытью.

«Значит, в ольхи упрет... Туда навострился. Куда ж ему податься?.. — думал на бегу Селютан. — Но шалишь, брат. Дудки! Там тебе не спрятаться. Играй выжмет тебя, ущучит...» И, соображая на бегу, что податься из ольхов зайцу некуда, кроме как в камыши, Селютан стал забирать влево, чтоб вперехват от ольхового леса выбрать себе позицию поудобнее и незаметнее на подходе к Святому болоту.

Хорошо держал гон его Играй, шел плотно за зайцем, и высокий, рыдающий от чудного азарта эдакий переливчатый лай, как серебряный бубенец, катился по широкому полю, удаляясь к ольховому лесу. Вскоре и заяц, и собака скрылись, пропали в темном частоколе далекого и слитного леса.

Селютан обогнул конец Пантюхина и по низу дошел до камышей, выбрал поудобнее бережок и залег в снегу, прикрывшись рыжей щетиной осоки. Отсюда хорошо было слышно, как звенел, то взметывая в радостных всплесках, то угасая, чистый голос Играя, работавшего в далеком лесу. Федорок ждал и надеялся, что от него не спрячется зайчишка, не уйдет, что он пригонит...

И дождался...

Пропетляв по голому ольховому лесу часа полтора и отчаявшись найти в нем надежную крепь, заяц выбежал на луговой простор, порыскал возле редких стогов и, заметив выскочившую из леса собаку, направился к болотным камышам. Шел ходко, выбрасывая округлую

лобастую голову и заваливая к спине чернеющие на кончиках уши.

Селютан лежал за высокими кочками выдвинутого вперед камышового клина и уложил его с первого выстрела.

Уж такой общительной души был Федор Селютан, что и малой добычей любил поделиться с добрым человеком. Куда идти? Назад в Тиханово — далеко. А Тимофеевка рядом, сразу за Святым болотом. Пошел туда, в гости к Костылину.

Ивана Никитича не застал дома. Фрося, как баба-яга, от печи руками замахала:

— Нету его, нету! И ждать нечего. Ему не до питья.

С трудом расспросил ее Федор, разузнал, что каких-то вредителей у них открыли и всех погнали на собрание или на митинг, чтобы голосовать против этих вредителей. Чтоб никакой пощады. Иван не хотел идти — силой утащили.

Ладно, хрен с вами. Пошел домой. Зашел в эту школу, где митинг проходил. На крыльце народ. Федорок поднялся на крыльцо. Двери раскрыты. Народ и в коридоре, и в классе. Но не густо, а так, вроде бы вразброд. Встал у порога, прислушался. Над столом, накрытым красным лоскутом, стоял председатель Совета. Знакомая личность. Молодой, с неокрепшим голосом, как у осеннего цыпленка-петушка, и кадык, как цыплячье гузно, выпирает. А кричит заполошно и кулаком размахивает:

— Никакой пощады вредителям и хулиганам, поднявшим руку на авторитет вождя мирового пролетариата! Осудим их всенародно, как осудили в свое время известных врагов по Шахтинскому делу... Пусть все наши супротивники, как внутри, так и за границей, содрогнутся от единства нашего гнева...

Федорок не сразу понял, что этот мальчик призывает всех поставить свои подписи под требованием высшей меры социальной защиты — расстрела то есть; призывал расстрелять тех самых, прикнопивших портрет Сталина. Расстрелять зятя его... В одну секунду он вспомнил и то, как его понуждали в Совете, и как, молитвенно складывая пальцы, тянулась к нему Авдотья, как с мольбой и отчаянием глядела дочь на него... Кровь ему ударила в голову, зашумело, зажухало в ушах, в глазах вроде потемнело. Он видел только — над стриженой головой председателя на стене маячил в застекленной раме

портрет Сталина; тот с насмешкой глядел куда-то в сторону, а сам вроде бы прислушивался, вроде бы сказать хотел — погоди, ужо я до всех до вас доберуся...

Федорок снял ружье, взвел оба курка, поймал на мушку висячую лампу-молнию, жарко пылавшую над головой председателя, а в створе ее портрет и выстрелил дублетом поверх голов. Раздался оглушительный грохот и звон разбитого стекла. И все погрузились в дымный мрак, запахло порохом и керосином. Наступила мертвая тишина, будто все онемели. Потом раздался высокий надрывный крик Родиона:

— Хули-иган! Заберите его! Заберите!

Но никто и не думал забирать Селютана. Все оставались на местах, как оглушенные, словно кто-то заворожил всех или отнял у них способность говорить и двигаться. Медленно растаял дым, разнося пороховую вонь по классу, сделалось повиднее — медленно вышел Селютан; а люди все сидели на местах, смотрели на пустую раму с изодранной в клочья бумагой, на разбитую, изрешеченную дробью лампу и молчали, будто парализованные не то удивлением, не то ужасом.

Дойти до Тиханова ему не дали. Встретили его на Пантюхинском бугре. В санях ехали. Двое в черных шинелях с наганами на боку, третий в полушубке и тоже с наганом на желтом ремне. Этот, что в полушубке, был вроде бы и знаком Селютану, где-то выступал у них, из ораторов,— черноволосый, с жаркими глазами в черных провалах подглазий, нос большой, а сам щупленький — соплей перешибить.

— Тпру! Эй, охотник, покажи дорогу на Агишево! Ты вроде бы Федор Васильевич Сизов.

— Ён самый.

Слезли, обступили его.

— А ты зайца убил. Молодец! Ну-к, что у тебя за ружье?

Один, что был в полушубке, потянул с него двустволку, ухватил за цевье.

— Но, но! Не цапай, а то руку потеряешь,— Федорок отшвырнул его, как щенка.

Тот полетел шага на три, растянулся на снегу и руки вразлет.

— Ах ты, мерзавец! Разбойник! Мало того, что в клубе стреляешь. Да еще драться. Взять его!

Оба в шинелях бросились на Селютана, как по

команде, схватили за руки. Федорок засопел, пригнулся, подставляя им спину, и окорячился, чтоб наземь не повалили. Они заводили, заламывали руки за спину, да силенок не хватало.

— Врешь, не возьмешь! — сипел от натуги Федорок, пытаясь стряхнуть с себя супротивников.

Вдруг один из них как заорет:

— Ай-я-яй! Собаку стащите, собаку... У, сволочь!

Играй вцепился ему сзади в ляжку и, рыча и мотая головой, старался вырвать клок штанины вместе с мясом.

— Ай-я-яй! — орал тот полоумно, растопырив руки.— Стреляй его, стреляй же!

Большеносый в полушубке успел выхватить наган и выстрелил в собаку. Играй взвизгнул, отскочил в сторону и завертелся на месте, пряча под себя голову, из которой хлестала кровь.

— Что ж ты делаешь, гад! Играй, собачка моя...— Федорок потянулся руками к собаке, опускаясь на колени. В этот момент кто-то сзади сильно стукнул его по голове чем-то твердым; в глазах вспыхнули, растекаясь, разноцветные круги, и он, теряя сознание, уткнулся в снег рядом с убитой собакой.

Брали его Ашихмин и два стрелка из железнодорожной охраны, дежурившие при местном отделении милиции.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Под вечер к Бородиным потянулись родственники; первыми зашли братья Максим с Николаем, потом пришел зять Семен Жернаков, высокий, узкоплечий мужик с луженым горлом.

— Сестрица! — крикнул от порога, обметая валенки.— Дык что, авсенькать или так подашь?

Не заметили, как и святки пролетели: на улице в этом году не было ни ряженых, ни гармоник, ни гулянок... Словно вымерло село.

Надежда, обернувшись от стола, сказала:

— Ноне не ждут, когда подадут. Теперь сами забирают.

— Лишь мы-ы-ы одни имеем пра-аво-о, но па-ра-зи-ты ни-ког-да! — пропел Семен нутряным басом.— Вот тебе и авсенька! — И стал снимать полушубок.

Братья Бородины сидели на скамье вдоль стенки, курили. Андрей Иванович отрешенно пощипывал ус, глядел себе на валенки и на дурашливое песнопение Семена не обращал никакого внимания. Его опять вызывали в Совет, требовали включиться в бригаду по раскулачиванию, он отказался. Какой-то приезжий из окружного штаба по сплошной коллективизации смерил его крутым взглядом жарких нездешних глаз и сказал: «Даем срок до вечера. Не согласишься — посадим». А вечером должен приехать Михаил. Ждали с часу на час. Зиновий с Федькой уехали за ним в Пугасово. Братья, еще не дожидаясь приезда Михаила, разделили по себе его детей — Андрей Иванович взял пятилетнюю Верочку, Николаю оставили младшую, Шуру, а старшую приняла теща Михаила, разумеется, детей взяли на время, до новой же́нитьбы Михаила. А вместо уплаты за прокорм к Андрею Ивановичу и к Николаю переходили поземельные наделы на девочек. Ждали Михаила, а разговор все клонился в сторону колхозов да скорого раскулачивания.

— Якуша Ротастенький вместе с сороками укатили на ночь глядя в Лысуху,— сказал Семен.— Говорят, громить начнут с лесной, с глухой стороны.

— Оно, конечно, безопаснее ежели ф с лесной,— согласился Максим Иванович.— Кто орать начнет — легче рот заткнуть. Там никто не услышит.

— Они и здесь не постесняются,— сказал свое Андрей Иванович.— Вон Федорка́ посреди бела дня взяли — и ни слуху ни духу. Все шито-крыто.

— Дык, Селютана за фулюганство взяли,— воспрянул Николай.— Он энтому Ашихмину как засветил промеж глаз, у того, говорят, аж кобура на задницу съехала.

— Селютан пошел по политической линии, как вредитель,— возразил Семен.— На него дело открыли.

— Какое дело? Он по чистой пошел! — раскалялся Николай.— Во-первых, применение оружия в общественном месте, то есть хулиганство; во-вторых, рукоприкладство.

— А я те говорю — на него дело составлено было,— брал на горло Семен.— Поскольку в связи с зятем как с вредителем. Понятно?

— Вы чего разорались, как на сходе? — цыкнула на

них Надежда.— Дети спать легли, а вы сцепились, что кобели из-за кости.

— Политика — штука горячая,— усмехнулся Максим Иванович.— Она сразу в азарт гонит. Намедни мы собрались всем колхозом, мужики то есть, в поповом доме. Сидим, вырабатываем линию — куда лошадей ставить, куда сено свозить. Вот тебе сцепились Маркел с Ротастеньким. Маркел говорит — всех лошадей свести во двор Клюева. Там сена хватит. А Якуша ему — сено Клюева сперва разделим по колхозникам, а потом внесем паи поровну и без обиды. Один орет — ты, мол, чужое прикарманить хочешь? А второй его за грудки хватает — ты свое не хочешь отдавать, так твою разэдак. Еле растащили их.

— Да, политика у вас, как у того Ивана,— где что плохо лежит, у него брюхо болит,— усмехнулся Андрей Иванович.— Как бы за счет чужого поживиться, а свое прикарманить — вот ваша политика.

— Ты, Андрей, против нас не греши. Мы не токмо что лошадей, коров, телят и даже курей — все решили свести до кучи. В общие дворы то есть,— сказал Максим Иванович.

— А баб, к примеру, не сгоните в общую избу? — спросил Семен и загоготал.— Я, пожалуй, Параньку свою свел бы туда. Глядишь, впотьмах и мне досталась бы какая помоложе.

— Тьфу! У самого рожа-то вон, как варежка изношенная, а туда же, за молоденькой. У-у, бесстыжие твои глаза! — сказала Надежда.

— Дак, сестрица, дело-то не в роже... Ты не гляди, что у меня нос набок свалился. Главное, чтоб корень стоял на месте.

— Бери быка за корень! — подхватил Николай, и они с Семеном, довольные собой, шумно засмеялись.

— Тьфу, срамники окаянные! — Надежда в сердцах встала и вышла в горницу.

Андрей Иванович хмуро покосился на Семена и спросил:

— Говорят, ты записался в бригаду по раскулачиванию. Это правда?

— Небось припрут к стенке — запишешься. Все-таки у нас лавка была. Супротив пойдешь — самого раскулачат.

— И кого ж ты пойдешь кулачить? Прокопа Алдонина? — раздувая ноздри, спросил Андрей Иванович.

— Дак не своих...— осклабился Семен.— Нас поведут в Еремеевку. Кто меня там знает?

— Значит, чужих трясти будешь. Китайцев, да?

— Кого прикажут, того и будем трясти,— озлобился Семен.— Чего ты прилепился ко мне?

— Подлец ты, Семен.

— Я подлец? — встал Семен, озираясь по сторонам и краснея до корней волос.

— Да, ты подлец.— Андрей Иванович тоже встал, глаза его округлились, нехорошо заблестели, и под скулами заходили бугристые желваки.

— Андрей, Андрей, садись давай! Чего ты взбеленился? — схватил его Максим Иванович за руки.

Тот вырвал руки и, опираясь кулаками на стол, подался всем телом к Семену:

— Уходи! Уходи сейчас же из моего дома...— И вдруг сорвался на крик: — Уходи, тудыт твою растуды!.. Или я тебя изобью, как собаку...

Семен отскочил от стола, как ошпаренный, с грохотом отлетела, падая, табуретка, и тотчас же в дверях из горницы выросла Надежда:

— Что это еще за погремушки?

Но на нее никто не глянул. Андрей Иванович сел за стол и устало прикрыл лицо руками, а Семен, бледный как полотно, долго не мог попасть трясущимися руками в рукава полушубка. Так и вышел, не успев как следует одеться.

— Вы чего тут не поделили? — опять спросила Надежда.

— Семен авсенькать приглашал, по дворам итить, а вон Андрей прочел ему одну авсеньку — тому не понравилось,— сказал Максим Иванович, ухмыляясь.

В сенях грохнули щеколдой и затопали по полу, заскрипели снегом.

— Что это еще за табун? — подалась к двери Надежда.

Но не успела она и до порога дойти, как дверь распахнулась и в избу ввалилась целая процессия; впереди шла Тараканиха в толстой клетчатой шали, в черной сборчатой шубе до пят, за ней в шапке с распущенными ушами Левка Головастый, потом еще Кулек в шинели и в буденовке со шлыком, и наконец пожаловал сам представитель окружного штаба по сплошной коллективизации Ашихмин — в кожаной кубанке, в белом полушубке и в белых с желтой ременной оторочкой бурках.

— Служить будете, или вам так подать? — недружелюбно встретила их Надежда.

— А мы не милостыню просить,— пропищал Левка Головастый,— мы по законному решению.

Ашихмин по-хозяйски прошел к столу, слегка отстранив Надежду рукой, как телушку, стоящую посреди дороги, и, поигрывая снятой кубанкой, не здороваясь, стал пристально глядеть на Андрея Ивановича.

— По какому случаю пожаловали? — спросил Бородин, исподлобья глядя на Ашихмина.

— А по тому самому... Вас предупреждали в Совете насчет уклонения от раскулачивания?

— Я присяги на раскулачивание не принимал,— ответил Бородин, набычившись.— И нечего меня предупреждать на этот счет.

— Извините! Вы являетесь членом сельсовета, председателем комсода. Уклонение от раскулачивания, как важнейшего мероприятия по сплошной коллективизации, рассматривается прямым саботажем. Вам это известно?

— Нет, не известно.

— Дак мы ж тебе сколько разов говорили, Андрей Иваныч! — ринулась в дело прямо с порога Тараканиха.— Не в свое село пошлем, а в чужое... Дак ты уперся, ровно бык. А глядя на тебя, и другие не идут — вон Вася Соса отказался, Макар Сивый, Сенька Луговой, Чухонин. Тебя, говорят, боятся.

— Чего меня бояться? Я не разбойник на большой дороге. Чужое добро не отымаю.

— Это что, намек? По-вашему, мы разбоем занимаемся? — повысил голос Ашихмин.

— Я знать не знаю, чем вы занимаетесь. Я только ноне и увидел вас. Чего вы ко мне привязались?

— Вон вы как заговорили! Мальчиком прикинулись. Ладно. Поглядим сейчас, каким вы голосом запоете. Федулеев, дай сюда решение Совета!

Левка моментально выхватил из папки исписанный листок с печатью и, услужливо пригибаясь, сунул его в руки Ашихмину.

— Вот решение Совета о том, чтобы изолировать вас от массы как разлагающий элемент! — Ашихмин положил на стол листок перед Бородиным.— Прочтите и распишитесь.

Андрей Иванович посмотрел на братьев, на жену, с

испугом глядевших на него, помедлил, свел плечи, словно его в холодную воду толкали, и начал читать вслух:

— «В связи с чрезвычайным положением, объявленным штабом по сплошной коллективизации, считать отказ от участия в раскулачивании члена сельсовета Бородина Андрея Ивановича как акт саботажа со всеми вытекающими отсюда последствиями. С целью изоляции от массы вышеупомянутого Бородина взять под стражу».— Бородин посмотрел с каким-то удивлением на Ашихмина и сказал: — А у вас нет такого права, чтобы сажать меня.

— Есть. Подписывайтесь!

— А я не стану подписывать.

— Заберем без росписи.

— Кудай-то вы его заберете? — спросила Надежда, подаваясь к столу.— У него пять человек детей. Давайте тогда и меня с ним забирайте. Мы чего делать без него станем?

— А это нас не касается,— отрезал Ашихмин.

— Как то есть не касается? — спросил Максим Иванович.— Это ж дети малые!

— Кто вы такой, чтобы задавать мне вопросы? — строго спросил Ашихмин.

— Мы, братья его, собрались на семейный совет... Дак что, и собираться вместе нельзя, что ли?

— Не мешайте нам выполнять государственные обязанности вашими дурацкими вопросами!

— Хорошие государственные обязанности — отца от детей забирать,— всхлипнула Надежда.

— Успокойся, мать,— сказал Андрей Иванович.— Наши дети по ихней теории в расчет не принимаются.

— Нашу теорию не трогай! Она в огне классовых битв проверена, и не вам ее порочить. Собирайтесь! — рявкнул Ашихмин.

— Значит, по теории меня берете? — Андрей Иванович смотрел на Ашихмина, насмешливо щурясь и не двигаясь с места.

— Да! По самой передовой, единственно правильной в мире. Берем и вырываем с корнем как защитника обреченного класса эксплуататоров.

Бородин сжал сухую с узловатыми пальцами руку в темный увесистый кулак, чуть пристукнул им по столу и сказал, раздувая ноздри:

— Не обманешь! Эта рука сама все делала. Мы за чужой счет не жили. Одно слово — крестьяне.

— Были крестьянами. А теперь кто будет колхозником, а кого и попросят удалиться.

— Куда это?

— Подальше от земли, чтобы не мешать на ней жить по-новому. Собирайтесь! Иначе силой уведем.

Кулек при этих словах кашлянул и подошел к столу, с готовностью глядя на Ашихмина. Бородин встал, оправил толстовку и пошел к вешалке. Надежда бросилась за ним, повисла у него на плечах, заголосила:

— Куда ж ты спокидаешь нас, кормилец наш ненаглядна-ай? Чего ж мы без тебя делать-то будем? Сиротинушки горькие...

— Надя, ну чего ты ревешь? — одернула ее Тараканиха. — Не в тюрьму, чай, забираем. Посидит в пожарке. Кампанию проведем и отпустим.

— А это что еще за информатор? Кто вас уполномочил разъяснение делать? — цыкнул на нее Ашихмин.

— Дак она, эта, боится, что его в тюрьму отправят, — оправдывалась Тараканиха.

— Не ваше дело! Собирайтесь! И поживее, — понужал Бородина Ашихмин.

Надежда затихла и спросила Тараканиху:

— А чего ему с собой дать?

— Ничего не надо. Понадобится чего — завтра скажут.

Андрей Иванович между тем надел полушубок, застегнул на все пуговицы, шапку натянул поплотнее, как в извоз собирался, и сказал жене:

— Ну, дак я пошел...

— Ступай, Христос с тобой, — Надежда перекрестила его и всхлипнула.

На пороге хозяин приостановился и вполоборота Максиму сказал:

— Михаила путем встречайте. Насчет девчонок его, значит, как договорились...

— Все уладим. Об чем разговор? — отозвался Максим Иванович.

Вот и проскрипела простуженным голосом избяная дверь, ударила с надсадным железным дребезжанием щеколда, пролопотали бормотным грохотком потревоженные в коридоре половицы, и смолкло все, затихло, как в погребе. Братья сидели за столом в тех же позах,

точно завороженные, глядели себе под ноги, будто стыдились друг друга, Надежда села на приступок у печки и тихонько плакала, уткнувшись в головной платок.

— Вот и встретили братца. Ничего себе пироги,— сказал наконец Максим Иванович.

— Да, повеселились в честь святок,— отозвалась Надежда, прерывисто вздыхая.

— Я вот что надумал, сестрица... Михаила я к себе заберу. Вам теперь не до гостей. А ежели что понадобится тебе, скажешь мне или Николаю — придем, поможем. И принесем чего, ежели...

— А что нам понадобится? У нас все есть, на год запасено. Спасибо! А со скотиной сами управимся.

— Держать его долго не станут. Разберутся и выпустят. Как-никак, он ведь активист, председатель комсода,— со значением на лице рассуждал Николай.

Но его не слушали; Надежда все плакала, всхлипывая и покачивая головой, а Максим Иванович сидел, сцепив руки на коленке, бессмысленно глядя в пол.

2

В тот вечер Мария не пришла домой.

Совещались долго, чуть ли не до полуночи. Из округа приехал представитель, давал инструкции — как проводить раскулачивание. Во-первых, начинать одновременно во всех селах, то есть не дать опомниться, застать врасплох. Иначе слухи поползут, и главы семейств могут сбежать на сторону. В каждом селе разбивать раскулачивание на две категории: в первую заносить особо опасных и богатых кулаков; этих — глав семейств и старших сыновей — брать под стражу и отправлять с милицией в райцентр или в Пугасово, семьи из домов выселять, с собой не давать никакой скотины, ни добра — вывозить из дому в чем есть, отправлять тоже в Пугасово к железной дороге. Во вторую группу заносить кулаков многодетных, разбогатевших в основном за счет больших земельных наделов и не имеющих заведений — мельниц, постоялых дворов, лавок и так далее. Этих сажать нельзя и обижать во время раскулачивания запрещается; у этих брать расписку, что все отобрали по-культурному, что грубостей не было и никаких оскорблений. У служителей

церковного культа, если они бедные, отбирать только предметы службы и домашней роскоши. Которые живут в плохих избах — тех можно не выселять.

Назавтра весь актив собирать с утра в райкоме, сюда же приедет делегация рабочих из округа для оказания практической помощи, а еще — отряд железнодорожной милиции. Во время раскулачивания по райцентру бесцельное хождение запрещается. Все улицы берутся под надзор. Объявляется боевая готовность номер один — круглосуточно. Оружие и боеприпасы, у кого еще не имеется, взять с утра в райкоме.

Долго прикидывали, спорили — кого куда послать, сёл много, уполномоченных не хватало. Мария заранее упросила Тяпина оставить ее дежурной по райкому. И все складывалось для нее по-задуманному. Но в последнюю минуту пришел из райкома Паринов и передал приказание Поспелова — выделить от комсомола одного руководителя тихановской боевой группы. В резерве оставалась только Обухова. Ее и назначили.

Как представила себе Мария завтрашний поход по настороженному, замершему Тиханову, женские вопли, причитания, детский плач... И проклятия на ее голову... И не дай бог встретиться на этой операции с разъяренной сестрицей своей. Проклянет ее Надежда. А то, чего доброго, и в волосы вцепится... И с какими глазами пойдет она домой с этого совещания? Что она скажет им? Куда спрячется от позора? А душу свою, душу как обмануть? Это что — венец борьбы за счастье народное? Детей малых на мороз выбрасывать для блага общего? Нет, эти дьявольские забавы, как говорит Митя, не для нее... Лучше с голоду помереть, чем своими руками выбрасывать детей на мороз...

Она дождалась в коридоре, пока все не ушли из зала, где проходило это совещание,— остались только Тяпин с приезжим инструктором, и постучала в дверь.

— Да! — послышался голос Тяпина.

Вошла как бы ненароком, замялась возле порога.

— Тебе что, Маша? — спросил Тяпин, не отрываясь от листка,— он расписывал рабочих по группам, диктовал приезжий инструктор.

— Мне с вами поговорить надо... Я подожду вас в вашем кабинете.

— Говори сейчас. Мы отсюда прямо в штаб — составлять боевое расписание.

Мария перевела дух, словно после перебежки, потом расправила плечи, подтянулась, как солдат в строю, и твердым голосом отчеканила:

— Митрофан Ефимович, я не буду завтра возглавлять эту группу.

— Почему? Это еще что за чепуха? — Тяпин глянул на инструктора и покраснел.— Ты что, Маша, не в себе?

— Я не пойду раскулачивать.— Она тоже вся раскраснелась, и глаза ее смотрели на них строго и возбужденно.

— Ты что, против линии партии? — спросил Тяпин с испугом.

— При чем тут линия партии? Я не хочу выбрасывать на мороз малых детей какого-нибудь Алдонина...

— Ну, знаешь, Маша! Эти твои штучки надоели. На этот раз твои капризы добром для тебя не кончатся. Распустилась, понимаешь,— Тяпин обрел наконец уверенность в себе и сделал строгое лицо.

— Интересуюсь, вы что же это, по убеждению отказываетесь или по стечению обстоятельств? — спросил приезжий инструктор, кривя в усмешке сухие нервные губы; он был строен, еще не стар, с короткой стрижкой седеющих волос, в суконной защитной гимнастерке и в щегольских сапожках. Только шпор еще не хватало для полного комплекта...

— Я считаю — война с малыми детьми, со старухами и со стариками не доставит чести бойцам революции,— волнуясь и загораясь до блеска в глазах, до дрожи в голосе, ответила Мария.

— Вон как! — иронически поглядывая на нее, протянул приезжий инструктор и, поскрипывая сапожками, вразвалочку двинулся к ней, сардонически усмехаясь: — А про кулацкие обрезы вы не слыхали? Про гибель активистов и селькоров вы тоже ничего не знаете?

— У нас таких случаев не было. А если они и были в других местах, так это еще не повод для расправы с невинными детьми, пусть даже и зачисленными по кулацкой линии.

— А вы ничего не слыхали про теорию и практику классовой борьбы? Вы думаете, с нашими детьми считались в гражданскую войну? Не выбрасывали их из домов и не рубили шашками только за то, что они комиссаровы дети?

— Во-первых, у нас теперь не война, а во-вторых, повторяю, дети Алдонина не виноваты в том, что

пострадали дети какого-либо красного комиссара. И оттого, что кто-то пострадал, я не стану выбрасывать на мороз этими руками,— Мария растопырила пальцы и потрясла поднятыми руками,— детей Алдонина, Клюева, Амбросимова и кого там еще. Не стану! Мне такой оборот классовой борьбы не подходит. Я не хочу в такой рай, который создается подобными методами! Не хочу! И возвращаю билетик обратно, как сказал Достоевский.

— Если вы заодно с этим мракобесом Достоевским, то нам вместе с вами делать нечего. Кладите партбилет!— Последнюю фразу инструктор произнес угрожающим тоном, словно команду подал.

Но Мария поглядела на щеголеватого полувоенного долгим взглядом сощуренных потемневших глаз и спокойно сказала не ему, а Тяпину:

— Партбилет я отдам, кому положено, если спросят. А вам, Митрофан Ефимович, я кладу заявление об уходе с работы.

— Ну и клади!— озлобился Тяпин.— Тебе уж давно пора выметываться из райкома. Скатертью дорога.

— К-кулацкие прихвостни,— процедил сквозь зубы приезжий инструктор вслед Марии.

Вот и все... Вот и все... Вот и все...— стучало у нее в груди, шумно отдавалось в висках, закладывало уши. Сознание непоправимой беды будоражило ее, что-то закипало там, в груди, подымалось кверху и застревало в горле, душило, и если бы не ярость на этого чистенького полувоенного, она бы присела на первую приступку выходной лестницы и разревелась, как бывало в детстве...

— А... чему быть должно, того не миновать,— произнесла она вслух, оказавшись на улице.

Морозный ветерок холодными иголками легкой поземки ударил ей в лицо и в шею, она перевела дух и только тут спохватилась, что вышла враспашку. Застегнулась, завязала пуховый платок узлом на груди...

Осмотрелась... Куда идти? Было уже поздно, во многих домах погашены огни, на пустынной сельской улице — ни души. Стояла мертвая тишина, лишь улавливалось легкое шуршание поземки о крышу да раздавался отдаленный одинокий собачий брёх, словно доносился из преисподней. Дома теперь гости — Михаил приехал, а ей что за веселье? Утром проснется — куда идти? Что

делать? У Бородиных ей теперь не житье. А в Тиханове делать нечего. Теперь только туда, к нему. Он — единственная отрада ее и спасение. К Мите!

Она шла по ночной и скучной зимней дороге и живо воображала себе, как напугает бабку Неодору своим поздним приходом, как прильнет к нему, прижмется всем телом и успокоится. «Ах, Маша! Милая Маша! — скажет он, радуясь.— Какая ты умница, что так сделала». И она ему скажет: «Я это сделала ради тебя. Я не могу без тебя. Я люблю тебя». И заплачет. И он станет утешать ее: «Глу-упая, успокойся! Радоваться надо, а не плакать. Мы славно заживем с тобой». И ей сделается хорошо, и она успокоится и уснет.

Все так и было, как она воображала себе,— и бабка Неодора испуганно лепетала за дверью:

— Что ты, Христос с тобой, в такую темень? Ай беда стряслась?..

И не удержалась она, расплакалась от расспросов у самого порога; и он обнимал ее, утешая, целовал в холодные губы, в мокрые щеки, в глаза. Когда же она сказала, что пришла к нему навсегда, что ушла с работы и что жить ей больше негде, он даже крикнул с притворной строгостью:

— Да что ж ты прямо не сказала? Чего нам в сенях-то хорониться? Пошли, жена моя, в светлую горницу, я тебя гостям так и представлю.

— Каким гостям? — испугалась она.

— Да все друзья наши... Роман Вильгельмович, Костя да Соня Макарова.

— Погоди ты, ради бога! Дай хоть я слезы вытру, в себя приду...

— Глупая, в слезах-то лучше... Люди сходятся и живут не столько в радости, сколько в муках.

— Типун тебе на язык!

— Пошли-пошли!

Он почти силой втащил ее в горницу и сказал от порога:

— Поздравьте нас, други. Вот — жена моя! — развязал платок на груди ее, снял пальто и, обнимая за плечи, провел к столу; она смущенно улыбалась, пожимая протянутые к ней руки.

— Кажется, хозяин обалдел от счастья? Но мы ему напомним, так это-о, сухая ложка рот дерет! — прыснул Роман Вильгельмович.

На столе стояли бутылка рыковки и бутылка портвейна.

— Ради бога, извините! — Успенский бросился наливать в рюмки вино и водку, себе плеснул в стакан.

— За счастье новоявленной четы Успенских, за вашу стойкую любовь в этом непостоянном мире! — сказал Костя, подымая рюмку.

— Так это-о, горько! — крикнул Роман Вильгельмович.

— Да, друзья мои, горек наш удел,— сказал Успенский, помрачнев.— Извини, Маша, но мы и в самом деле собрались здесь в минуту горькую — завтра начинают выселять из Степанова: двенадцать семей обречены на изгнание из родных домов. Двенадцать семей! И малые и старые... И не осуждай нас за эту вечеринку, мы пришли на помин по невинно осужденным.

— В Тиханове намечено к высылке двадцать четыре семьи,— ответила Мария, и слезы появились на ее глазах, задрожали губы, но она пересилила себя.— Я должна была возглавить одну из боевых групп по раскулачиванию... Но отказалась... Вот почему я здесь...

— Что за грех содеян, если искуплять его должны дети малые? — сказал Успенский.

— Да в чем родители виноваты? В том, что много работали? — спросила Мария, не вытирая слез.

— Маша, кулаки есть кулаки... В потенции они враги социализма,— ответил Герасимов.

— Да какие они кулаки! А если и кулаки, если и враждебны, так ведь враждебность — еще не вина! Вину доказать надо.

— Ты виноват уж в том, что я хочу есть, сказал волк ягненку, так это-о,— Роман Вильгельмович кривил губы, сдерживая неуместный смех.

— Да, товарищ волк неумолим,— грустно заметил Успенский.— И чудится мне, что за сим наступит и наша очередь...

— И тем не менее...— Роман Вильгельмович вскинул голову и прочел высоким голосом:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог,
И счастлив тот, что средь волненья
Их обретать и ведать мог.

Именно бессмертья! Ибо душа стремится изведать то, что гибельно для тела. Итак, что судьбой предназначено, то и встретим с открытым лицом. Выпьем же за любовь, которая не боится смерти!.. И еще раз — горько!

— Горько! — подхватили азартно Костя и Соня.

Мария с Дмитрием Ивановичем расцеловались, и все выпили.

На закуску были грибы да капуста. Но никто и не притронулся к ним. Набросились с расспросами на Марию: какие были директивы? Кто намечал сроки? Куда повезут раскулаченных? Что разрешается брать с собой? Откуда уполномоченные?..

Расспросы да разговоры затянулись за полночь, до третьих петухов.

— Как только он сказал про теорию классовой борьбы, так все во мне перевернулось,— рассказывала Мария, вспоминая о своей стычке с приезжим инструктором.— Ах вы, думаю, клопы на теле классовой борьбы! Присосались к большому делу, чтобы злобу свою утолять и сводить старые счеты? Ну нет, я вам в таком случае не попутчица. Слуга покорная...

— А между прочим, насчет теории он это искренно,— сказал Успенский.— Вся хитрость именно в теории, вернее, в искажении ее. В этом и собака зарыта.

— Перестань, Митя! — испуганно и с мольбой произнесла Мария.

— Именно, именно там вся причина. Ни Возвышаев, ни Тяпин, ни этот твой приезжий инструктор сами по себе ничего не значат. Ты напрасно грешила на Возвышаева, что-де он мстит за свое ничтожество. Он слишком глуп для этого. Просто он аккуратный и очень исполнительный, вернее, старательный человек. А если хочешь еще откровеннее — простодушный человек.

— Возвышаев простодушный! Ну, знаешь! — вырвалось у Марии.

— Да, да. Он уверовал в силу и беспорочность теории и полагает в простоте душевной, если все будет исполнено по-писаному, то оно сразу и настанет, всеобщее счастье. А потому — жми полным галопом.

— Ну где же, в какой теории написано про то, что надо мужиков разорять, выбрасывать на мороз малых детей? Опомнись, Митя!

— Полно тебе, Маша. Для таких, как Возвышаев, любая бумага — теория, а бумагу эту пишет порой писач-

ка, а имя ему собачка, как говорил Гоголь. Все дело в том, что разумеет каждый читающий, а еще страшнее — каждый трактующий ее, тот самый, кому дано право применять ее, накладывать, как трафарет, на живую жизнь. У кого какой замах. А простору для удара в ней хоть отбавляй.

— Выходит, опять виноват Ленин? Это уже старо, Дмитрий Иванович,— сказал Герасимов.

— Я этого не говорил,— ответил Успенский, как бы с удивлением.

— Ну как же? Если весь гвоздь в теории, а Ленин создатель государства... Следовательно?

— Да, Ленин создал государство и партию. И на сим пока поставим точку, так это-о...— сказал Роман Вильгельмович.— Что же касается теории, так она, батенька мой, создавалась еще задолго до Ленина и даже до Карла Маркса... Устроить жизнь человека без бога, без религии — давненько пытается так называемый прогрессивный материализм, понимаете ли...

— И Маркс, и Ленин были, пожалуй, слишком трезвыми реалистами по сравнению с теми, более ранними, фанатиками! — подхватил Дмитрий Иванович, загораясь.

— Какими ранними? Коммунизм как понятие начался с Маркса и Энгельса,— возразил Костя.

— Чего?! — удивился Успенский и поклонился в его сторону: — Здрасьте пожалуйста! Вы пришли, молодой человек, не на занятие кружка по изучению политграмоты... Так вот, запомните: отцом раннего коммунизма уже более ста лет считается Гракх Бабёф. Маркс был доктором, ученым человеком, его коммунизм не каждому понятен, он отодвигается в далекое будущее. А у того землемера все просто, как дважды два — четыре. Революция — ничто, пока она дает всем политические права. Зачем они? Надо всех уравнять имущественно! То есть не бедных подтянуть к богатым, а богатых низвести до уровня бедных. И сделать это немедленно, силой государственной власти. Посему требовал политической организации во имя переворота и введения диктатуры секретной директории при так называемом самодержавии народа. Самодержавие народа здесь пустая фраза. Никакое самодержавие одних невозможно при диктатуре других.

— Это был удивительный тип, понимаете ли! — поднял палец Роман Вильгельмович.— Когда якобинцы с

его теорией пришли к власти, он обвинял Робеспьера в тирании. А после казни этого практика, так это-о, когда сам Бабёф стал заговорщиком, он уже хвалил Робеспьера и обещал еще решительнее уравнять всех. Но не успел: самому голову отрубили! — Юхно прыснул и засмеялся.

— Так это ж буржуазная революция, а у нас пролетарская,— сказал Герасимов.

— Мы говорим о принципе, голова! — воскликнул Успенский.— А принцип того коммунизма таков: силою власти уравнять всех имущественно. Бабёф боялся даже интеллектуального неравенства, а потому требовал обучение свести до минимума. Он считал, что главная опасность идет от «умственного гения». И выдумал этот термин! Отсюда — всеобщее равенство при полном бесправии. Вот чью теорию развивали Петенька Верховенский и Шигалев из «Бесов», которые мечтали горы сравнять...

— Ну, то литературные персонажи. А наши реальные бесы: и Ткачев, и Нечаев, и Бакунин — разве не оттуда пошли? Уж кто-кто, а Маркс их не жаловал, хотя они и пытались прилипать к нему, так это-о...

— Конечно же оттуда! — подхватил Успенский.— Бакунин с его сатанинской формулой — в сладости разрушения есть творческое наслаждение — весь от ранних социалистов. Типичный революционер-космополит, ни в чем границ не признавал; быт, национальный уклад, географические условия — все отметал. Все упразднял: классы, расы, государства. Все поломать, а на обломках построить один образец рабочей жизни, общий для всех. Когда наша интеллигенция стала просвещаться насчет социализма в кружках Станкевича, Петрашевского и прочих, теория уже гуляла по миру в полной силе. В тридцатых годах Буонарроти теоретически развил Бабёфа, подновил его, ввел в моду. И прогрессисты радовались. Ну как же? Социализму возвращен его боевой характер, отнятый у него утопистами. Тот же Буонарроти считал, что частная собственность есть преступление против общества. Пьер Леру дошел до последней точки, говоря, что республика без социализма — абсурд. А там еще Луи Блан, Анфантэн, Прудон, Сисмонди... Да мало ли их! А вечный заговорщик Огюст Бланки любому нашему Нечаеву фору мог дать. И все эти просветители трубили в один голос: социальная революция есть только продолжение политической. Сперва власть взять в руки,

а потом уж устраивать рай земной по принуждению. Тех же, кто хотел это совершить мирным путем, окрестили ягнятами...

— И мирные социалисты тоже хороши, так это-о...— Роман Вильгельмович сделал значительное выражение и покачал головой: — Один Кабэ чего стоит с его трактатом или романом «Путешествие в Икарию». Его идеальная коммуна в сим произведении, понимаете ли, вырастает из диктатуры Добродетельного Икара. Все там живут по расписанию, как на поселениях Аракчеева: одеваются в одинаковую форму, сшитую из одной и той же эластичной ткани; дома все одинаковые, мебель, утварь тоже одинаковая. И улицы похожи одна на другую. Что надо читать, какие книги? А что не надо читать? Какие зрелища смотреть? Что варить? — все устанавливает начальство и одобряют комитеты, так это-о...

— А Кампанелла в своем «Городе Солнца» догадался ввести специальные ящики для доносов,— перебил его Успенский.— Каждый член коммуны должен писать доносы друг на друга и опускать их, как письма, в такие вот ящики. Вот откуда пошли эти бесы.

— Раньше, так это-о, раньше! — воскликнул Роман Вильгельмович.— Еще Платон сказал: мир идей не от мира сего. Мир идей есть образец для реального мира. Столяр делает стол по образцу идеи стола, так и Демиург создает видимый мир по образцу невидимого, то есть мира идей. Отсюда и модель его идеального государства, в жертву которого приносится все: свобода и права личности, упразднение семьи, собственности, введение общности жен и детей. Создав эту модель, Платон поторопился вручить ее сиракузскому диктатору Дионисию как лучшему практику, так это-о. Одначе диктатору быстро надоел словоохотливый философ, и он его продал в рабство.— Роман Вильгельмович коротко хохотнул и сердито нахохлился.— Неплохой урок, между прочим, для всякого идеалиста, плюющего на свободу во имя целесообразности. Вот от этого платоновского государства и пошли все эти «утопии» да «икарии», как слепки с одного образца.

— А нам говорят — Маркс,— сказал Успенский, обращаясь к Герасимову.— Маркс никогда не причесывал всех под общую гребенку, он требовал учитывать исторический опыт хозяйственного развития. По Марксу, роль и значение капитала в промышленности и в земледелии не одинаковы. Читайте третий том «Капитала»! На земле

требуются, писал Маркс, самостоятельно работающие руки мелких производителей-собственников! Или работа и контроль самих объединенных производителей. Самих! А не начальства над ними. Так ведь и у Ленина нет ни слова о сплошной коллективизации, да еще в таком повальном охвате. Так что наши левые коллективизаторы совершили прыжок через голову Ленина прямо в объятия этих европейских Добродетельных Икаров. Примитивная утопия взяла верх.

— Почему же это произошло? — спросил Герасимов.

— Однозначного ответа здесь нет,— сказал Успенский.— Но можно попытаться ответить.

— Погодите, так это-о! — Роман Вильгельмович поднял руку: — Я хочу вам досказать эту историю с Кабэ. Он устроил в Северной Америке коммуну по описанному образцу. И чем все это кончилось? Она погрязла в манипуляциях, воровстве, склоках и раздорах. А самого Кабэ судили как мошенника, так это-о...— Роман Вильгельмович весело оглядел всех и закатился тоненьким смешком.— Между прочим, один из петрашевцев еще в сороковых годах прошлого века сказал, что жизнь в Икарийской коммуне, или фаланстере, представляется ему ужаснее и противнее всякой каторги.

— Кто это? — спросил Герасимов.

— А Федор Михайлович Достоевский, так это-о...

— Ну, эдак мы уйдем далеко в сторону,— возразил Герасимов.— Дмитрий Иванович, ответь на мой вопрос: почему это произошло?

— Давайте попытаемся,— сказал Успенский.— Если общество не имеет контроля самоограничения, то оно обречено на всяческие злоупотребления и даже на застой. С этим вы хотя бы согласны?

— Допустим. Но у нас есть же критика и самокритика.

— Разговоры о критике! Применение критики надо утвердить законодательно, как право. Не разговоры о критике, а правовой порядок должен лежать в основе общества, ибо социальная дисциплина создается только правом. Соблюдение этого права гарантирует свободу, то есть свобода внешняя обусловливается общественной средой. О каком соблюдении права, о какой свободе, о социальной дисциплине можно говорить, если правопорядок публично поносится леваками? Слово «адвокат» стало ругательством. А еще ниже — «присяжный поверен-

ный», уж ничего уничижительней и быть не может, чем эти слова, понятия или обязанности по соблюдению правопорядка. Теперь другой лозунг опять выплыл из военного коммунизма — руководствуйся революционным сознанием! Что, мол, мне выгодно, то и нравственно. Мужики про это говорят: чего хочу, того и клочу́, то есть начальству все позволено. А кто с этим не согласен? Тот, кто сегодня поет не с нами, тот наш враг. А там — объявить врага социальным навозом — и к ногтю. Поймите же — это левой теорией освещено. Здесь не Маркс, а все тот же Бабёф, бабувизм. Ведь как просто — исполняй, руководствуясь революционным сознанием. Сознание же бывает разным: одни стыдятся безобразничать, другие усердствуют по святой вере, третьи по тупости, четвертые по хитрости... Так вот, Возвышаев твой усерден и туп, и жалость ему неведома,— обернулся он к Марии.

— Зато он чует, куда дело поворачивается, так это-о...

— Именно, именно! — подхватил Успенский.— В этом вся соль. Всего лишь два года назад на Пятнадцатом съезде и Сталин, и Калинин, да и другие говорили, что нас, мол, толкают к расправе административной с кулаком, но мы не позволим-де нарушать революционную законность. И что же? Не прошло и двух лет, как эту самую законность и не вспоминают, а расправу ведут публично — выбрасывают людей из квартир в городах, мол, нэпманы — не люди, о деревне и говорить нечего. И толкнули на это беззаконие именно партийная интеллигенция, леваки, все эти ларины, преображенские, каменевы да зиновьевы. Вспомните, что говорили они еще пять лет назад? А газеты? В последнее время они кишели этими подстрекателями. Все дело в том, что русская интеллигенция, я имею в виду атеистическую часть ее, радикальную, состояла из людей ни индивидуально, ни социально не дисциплинированных. От них все и пошло. Эта их любимая формула — опираться в действиях на революционное сознание — давно известна.

— Так это-о перефраз знаменитого клича разинской вольницы — «Сарынь на кичку!». Древняя замашка,— сказал Роман Вильгельмович и рассмеялся.

— Возможно... Хотя я как-то не думал о разинской вольнице,— отозвался Успенский.— Впрочем, у Костомарова писано об этом. Но сейчас я говорю про нашу радикальную, самовлюбленную, самоуверенную интеллигенцию. Она всегда стремилась вывести сознание из-под

контроля нравственности. Она плевала на религию, на семейные устои, на общественные традиции. Вспомните хотя бы Марка Волохова из «Обрыва»! Все его действия по этому новейшему сознанию оборачиваются жестокостью к людям, близким и дальним. Оно и понятно — автономность сознания таит в себе большую опасность.

— Прости, Митя! Ты же сам говорил мне, что интеллигент — это тот, кто борется за права человека.

— Милая моя, теперешний интеллигент, который говорит о правах человека,— это совсем другое. Интеллигент, не ставший бюрократом, отрезвел, он огнем очищен, он кается.

— Кается, отрезвел! — воскликнул Юхно.— Так это-о что-то значит? Видимо, не так уж плоха была интеллигенция, если кается и несет голову на плаху?

— А что ж они хотели? Посеешь ветер — пожнешь бурю. Или они полагали, что только народ будет расхлебывать заваренную ими кашу? Нет, сами хлебайте и помните, что потеряли. Ведь те, дореволюционные, интеллигенты, имели такие права, которые нам теперь и не снятся. Но им мало было... Я говорю о потрясателях основ, об этих наполеончиках, которые во имя-де общего блага плевали на свободу личности и на всякую духовную деятельность, требовали подчинения живой жизни казарменному распорядку согласно их партийным установкам. А либералы аплодировали им. Теперь они плачут.

— Но ведь это тоже борьба за права человека, Дмитрий Иванович! — перебил его Герасимов.— Право на свою партийную линию, право на эксперимент, в конце концов. Ведь это же задумано было для общего блага!

— Да, они тоже боролись за права человека.— Успенский нервно усмехнулся и с грустью поглядел на Герасимова.— Эх, Костя, душа доверчивая! Что толку в этих словах про общее благо, если сами эти ораторы ни в грош не ставили и не ставят уклад народной жизни? Да что знают о ней те же Преображенский да Троцкий? Мы-де желаем вам добра, как сами его понимаем, оттого и слушайтесь нас беспрекословно. Отсюда и нетерпимость, и насилие. Они и сами были гонимы, но, приходя к власти, тотчас становились гонителями похлеще прежних. Не только народу от них тошно — друг друга изничтожают...

— Так в чем же причина? — спросил опять Герасимов.

— Все в том же... Эта их гордыня непогрешимости... Сатанинская гордыня! И свои изречения объявили единственным источником истины! Все остальное подлежит истреблению... огнем и мечом! Вы посмотрите, что делают с церквами! А как громили поместья, библиотеки, монастыри — эти средневековые академии! Как уничтожают колокола, иконы, картины продают, сбывают древние предметы культа, рукописи, настенную живопись скалывают или замазывают. Как изгоняют священников, профессоров. И это марксизм? И это проповедовал доктор Маркс? Где же? От таких марксистов он открещивался, как от чумы. «Je ne suis pas marxiste!» То есть я сам не марксист, говорил он.

— Это же кокетство. Ты защищаешь Маркса, потому что сам был марксистом, так это-о...— усмехнулся Юхно.

— Дело не во мне, а в сущности. Нет, это не марксизм, а чистейшей воды бабувизм. За версту видна паническая боязнь все того же «умственного гения», интеллектуального превосходства тех, которые не на руководящей должности. А отсюда — все, что исходит не от нас, запретить! Мы одни хранители истины! Даже если бы знали истину?.. Ведь одно дело знать истину, другое — жить по истине. Вы посмотрите на них. Как взяли власть — сразу переселились в царские палаты да в барские особняки. Слыхали, поди, как Троцкого выселяли из Кремлевского дворца? Ленин в двухкомнатной квартирке живет, а этот — в апартаментах дворца. Полгода не могли вытащить его оттуда. Пайки для себя ввели, закрытые распределители! На остальных — плевать. А теперь что? Крестьянам говорят — сгоняйте скот на общие дворы, все должно быть общим. Для себя же — особые закрытые магазины, опять пайки, обмундирование. И все это во имя грядущего счастья? И это истина? Да кто же в нее поверит? Только они сами. Вот в чем гвоздь их теории: субъективизм выдавать за истину, за объективное развитие. Ото всех этих новых теорий всеобщего равенства скатились к старой бюрократической формуле — начальству виднее. Вот теперь их истина. А если такая истина не подлежит еще и независимой проверке, то пределы дозволенного в действии начальства имеют зыбкие границы. Каждый усердствует в угоду этому понятию. На остальное плевать. Это они переняли от наших чиновников. В старые времена еще посмеивались над этим. Знаете стишок?

По причинам историческим
Мы совсем не снабжены
Здравым смыслом юридическим,
Сим исчадьем сатаны.
Широки натуры русские —
Нашей правды идеал
Не влезает в формы узкие
Юридических начал.

И только в революцию, в гражданскую войну и потом мы увидели в полном размахе наше презрение к законности. И теперь нам не до смеха.

— Но, Митя, и этот стишок, и рассуждения твои о произволе в большей мере относятся к старой бюрократии, к офицерству, к народным низам. При чем же тут интеллигенция? Интеллигенция наша всегда жертвовала собой во имя народного счастья, шла на каторгу за убеждения, отказывалась от комфорта, даже от наследства. Одно это хождение в народ чего стоит! «Иди и гибни безупрёчно, помрешь недаром — дело прочно, когда под ним струится кровь». Вот стихи про нашу интеллигенцию,— сказала Мария.

— Правильно! — подхватил Роман Вильгельмович и погрозил пальцем Успенскому.— Ты делаешь упор на нигилистах, на шестидесятниках, на их нравственной расхлыстанности, на этом разумном эгоизме, но совсем умалчиваешь о семидесятниках, об их самоотречении, о знаменитом хождении в народ. Ты позабыл о земцах, друг мой! Уж их-то не оторвешь от почвенности; хотя и шли они туда с иной верой, но растворялись в народе. Все эти учителя, лекари, землемеры, строители перепахали Россию, создали ее культурный слой. Или они не работники, не подвижники? Так это-о. Ведь можно в оценке роли интеллигенции и до поношения дойти. Во всем виноваты, мол, студенты и еще евреи.

— Да вы меня просто не хотите понять,— с досадой сказал Успенский.— Я сам преклоняю колена перед земцами, перед чистотой и святостью этой идеи хождения в народ. И вовсе не пытаюсь свалить в кучу все, что связано с русской интеллигенцией. Я говорю не о мыслителях, но о трудовой и практической части ее, уходившей в народные низы на черную работу; я говорю о богоборческой стороне, о том бунтарском чистоплюйстве в среде этой интеллигенции, о вожаках ее, которые меньше всего думали о практической пользе; они как раз

презирали эту теорию малых дел, они и погубили ее своим терроризмом. Они вообще меньше всего задумывались над реальной пользой постепенного улучшения жизни народа. Именно их и боготворила определенная часть русской интеллигенции, более шумная часть, более назойливая. О ней-то я и говорю. Ей все враз хотелось перевернуть кверху дном. Я имею в виду ту самую нетерпимость, бесовскую наклонность к неприятию добрых начал в реальной жизни, которую высмеивал в русской интеллигенции Достоевский, а еще раньше Гоголь. У них, мол, мозги набекрень. У них все помыслы о будущем, а настоящего и знать не хотят. Дурак тот, кто думает о будущем мимо настоящего, сказал Гоголь. Да я вам сейчас прочту.— Он прошел к настенной полке, снял небольшой томик в зеленоватой обложке с черным переплетом, сплошь переложенный закладками из обрывков газет, раскрыл нужную страницу: — Вот оно! «От того и вся беда наша, что мы не глядим в настоящее, а глядим в будущее. От того и беда вся, что иное в нем горестно и грустно, другое просто гадко; если же делается не так, как бы нам хотелось, мы махнем на все рукой и давай пялить глаза в будущее. От того и бог ума нам не дает; от того и будущее висит у нас у всех, точно на воздухе... Оно, точно кислый виноград. Безделицу позабыли: позабыли, что пути и дороги к этому светлому будущему сокрыты именно в этом темном и запутанном настоящем, которого никто не хочет узнавать; всяк считает его низким и недостойным своего внимания...» — Он захлопнул томик, бросил его на стол, потом сел, устало сгорбившись, и сказал более для самого себя: — Нет, не увлекает таких вот деятелей настоящая реальная жизнь. Скорее бы перевернуть ее. И ничего не жаль ради этого призрачного будущего — ни средств, ни сил. И крови даже не жалели, ни своей, ни чужой. А что толку? Каков результат? Опять новые жертвы? И конца этому не видно.— Успенский свел брови и уставился куда-то в угол невидящим взглядом.

— Да, водятся грехи за русской интеллигенцией. Слишком доверялась она европейским поводырям, которые сами толком не знали дороги. Я не отвергаю твоего памфлета, и тем не менее ты упрощаешь, так это-о.— Роман Вильгельмович вытянул губы в трубочку, помедлил, погрозил пальцем и наконец изрек: — Ты умалчиваешь о первопричине распада и брожения: богатство и

неуступчивость одних и бедственное положение других. Вот на этой почве и вырастали, так это-о, и пугачевский бунт, и максимализм интеллигенции. Нельзя надеяться на взаимную любовь и согласие, когда в пределах одного и того же государства одни потеряли счет своим землям, а другим куренка некуда выпустить.

— А-а, это знакомый довод! — покривился Успенский.— Он мало что объясняет. У помещиков перед революцией было всего одиннадцать процентов земли.

— В умозрительном смысле процент этот успокаивает,— согласился Роман Вильгельмович.— Но если по соседству с графиней Паниной, так это-о, живут мужики какой-нибудь Гавриловки? У них по две десятины на семью, а у Паниной тридцать одна тысяча десятин. Тогда как? А сколько было десятин у княгини Волконской в вашем уезде?

— Двенадцать тысяч,— ответил Успенский.

— Вот оно — яблоко раздора! Мужики отняли эту землю, мужики же прогнали и офицеров, и казаков... Так это-о...— Роман Вильгельмович хохотнул и выкинул палец.— Белое движение погубил земельный вопрос, признался Деникин в своих мемуарах. А мы сможем добавить: и старое русское общество погубил земельный вопрос. То есть погубила неуступчивость русской бюрократии, косность и ее, так это-о, центропупизм... извините мне это грубое слово...

— Да я вовсе не хочу оправдывать бюрократию. Но откуда она бралась? — спросил Успенский.— С неба? Да оттуда же, из интеллигенции в основном. Интеллигенция порождала не только революционеров, но и бюрократию, а бюрократия, в свою очередь, насквозь пропитала своим бюрократизмом все интеллигентские кружки. Любят они бюрократию, а еще голодранцев, которые из бездельников. Ну, как же? Они-де Челкаши, вольные соколы да воры! Их Горький воспевал, а русского мужика дерьмом обмазал. Наши интеллигенты всегда были готовы ободрать крепкого мужика Хоря, чтобы поприличнее одеть какого-нибудь обормота Ермолая. Они сами такие же бездельники, как этот тургеневский Ермолай.

— Эдак, пожалуй, ты и нас всех зачислишь в покровителей Ермолая да Челкаша, так это-о,— сказал Юхно и засмеялся.

— А ты не смейся! Ты вот что заметь — район наш сельский, а кто из авторитетных мужиков в райисполкоме

сидит или в райкоме? Один Тяпин. Да какой из него мужик? Не абсурдно ли решать дела народные за народ? Для здравого смысла это — абсурд, для логики интеллигента — это все в порядке вещей. Потому что сии интеллигенты, а теперь надо понимать — коммунисты — они одни знают, что народу надо, а народ этого не знает.

— Но нельзя же коммунистов отождествлять с интеллигентами,— сказал Герасимов.

— Нельзя, конечно. Да я не о коммунистах. И потом, какие коммунисты Поспелов да Возвышаев? Чиновники! А Троцкий, а Зиновьев — коммунисты, да? — Он махнул рукой.— Я говорю о некоей общей интеллигентской тенденции: идеология наших левых партий и максималистские замашки — все оттуда, из интеллигенции. Если, не вдаваясь в подробности, определить главную отличительную особенность их теории, так вот она — полное пренебрежение к нашему национальному историческому опыту. Они не видят связи прошлого с настоящим. Все начинают заново, все от себя идет у них. Вот в чем суть. Высшая образованность должна являться естественным завершением народного быта, должна вырастать из него, как плод из семени, сказал один мудрец.

— Не только народного... Но и общечеловеческого познания! Это необходимое условие! — прервал его Роман Вильгельмович.

— Само собой...— Успенский упрямо нагнул голову и с силой произнес: — Так следовало бы. Но мы про общечеловеческое помним, а народный опыт отбрасываем прочь. Все, что связано с народом, с его укладом жизни, с верой, с религией,— все это чуждо для наших леваков. Они не приемлют не только веру народа, но враждебно относятся к высшим проявлениям национального духа его, для них Толстой — юродивый, Достоевский — мракобес, даже Пушкин — выразитель дворянской культуры. Я уж не говорю о ненависти ко всем русским философам от Хомякова и до Булгакова. Для них русский исторический опыт — всего лишь изгаженная почва, которую-де надо расчистить. Отсюда и идет эта историческая нетерпимость, отсутствие трезвости, стремление сотворить социальное чудо. Где уж тут считаться с малыми детьми или со стариками? Поскорее историю творить надо по собственному плану. Пока в него верят, а кто не верит — тех заставим... Вот-вот, еще немного — и придем к изобилию. Стоит только всех в колхоз загнать. Чудо подай,

чудо! Раз-два — в дамках. Вот что худо. Вот где собака зарыта.

— Но не одни же фокусы везде, Митя! — с досадой сказала Мария.— Ты посмотри, как строятся заводы, города растут. Какой энтузиазм! Ведь не кнутом же гонят народ на стройки? Сами идут.

— Идут...— устало ответил Успенский.— Народ у нас издавна тянулся к практическим знаниям, к техническому опыту, охотно шел в любое дело. И отчего же не идти ему? Тут все можно потрогать, сотворить своими руками. Народ и впредь будет идти туда, так что успех на стройках обеспечен. Но зато под завесой этого успеха еще крепче ударят по русскому укладу жизни, по русской культуре, мысли, по русскому национальному характеру... Нужны сильные потрясения, чтобы почва заколебалась под ногами нашими. Тогда вот и поймем, что исторический опыт народа есть единственная надежная опора. Тогда вот и вернемся к национальным истокам своим, поклонимся еще в ноги Руси-матушке.

— Крепко ты бьешь, крепко... Ничего не скажешь. Да, надо осуждать за грехи прошлые и настоящие. Но надо еще и понимать, почему становились на грешный путь, так это-о. Вот ты сказал, что интеллигенция скорее Ермолаю потрафляла, а не Хорю. Но почему? Объяснить можно. Наша интеллигенция сложилась идеологически в шестидесятые годы, когда ждали раскрепощения крестьян, боролись за это. И дождались, так это-о... От третьей части до половины всей земли оставалось помещику, а крестьянину выделялось с гулькин нос. Максимум на семью шесть-семь десятин, а минимум — половину этого надела... Да мало того! С крестьян еще требовали подати не только за пользование землей, но и от промысловых заработков. То есть фактически налагался платеж на трудоспособность крестьянина. Его заставляли заниматься отхожим промыслом и оплачивать свою независимость от барина. Короче, был установлен косвенный выкуп личности, так это-о! Вот почему бунтовали мужики, вот почему кипела и негодовала интеллигенция. Ведь эту же реформу ввел либеральный, лучший царь! Так это-о... Тут поневоле кинешься в объятия к самому дьяволу, если он посулит всех уравнять, понимаете ли.— Роман Вильгельмович прыснул и, довольный своим доводом, рассмеялся.

— А все-таки, виновата интеллигенция или нет? — спросил Успенский.

— Да, виновата. Но во всем ли? Она раскачивала стихию, толкала на бунты, но далее от нее мало что зависело. Не худо бы учесть тот исторический опыт, на который ты уповаешь. Вспомни хотя бы вольницу Стеньки Разина! И там, при Стеньке, казачество только начинало, а главной силой были мужики. Народ! Бунтовали повсюду... Бунтовали против чиновного люда, потому как заели. Уложение 1649 года — вот главная причина. Введение крепостного права! И некуда бежать. Ловили, как зайцев. Насмерть засекали. Вот и причина. А еще — раскол. В церквах запретили вести проповеди на мирские темы, то есть осуждать все те же бесчинства чиновников. Вот из-за чего и бунты. А порядки у Стеньки в кругу своей братии смахивали на интеллигентские диктатуры, так это-о... И там узришь всю ту же мерзкую нетерпимость и беспощадную жестокость. А ведь интеллигенции тогда и в помине не было. И Петра еще не было, ее родоначальника, так это-о.— Роман Вильгельмович оглядел всех лукаво и вытянул губы трубочкой.

— Да, нечто похожее было и в прежних смутах,— согласился Успенский и длинными сухими пальцами левой руки стал нервно пощипывать свою бородку.

— Стало быть, причина такой ожесточенности лежит глубже. Интеллигенция могла дать всего лишь толчок первоначальный. А далее все ускользает из-под контроля, так это-о... И не кто иной, как интеллигенты более всех поплатились своими головами за эту развязанную всеобщую потасовку. Искупили свою вину, так это-о. Вся беда в том, что мы ищем причины не в себе самих, а вне нас, в общественной среде, в идеологии и прочее. Мы натуру человека не учитываем, вот в чем беда, понимаете ли.

— Ты повторяешь мои мысли,— сказал Успенский.

— Это не твои мысли. Их высказал несколько раньше Христос. И еще Достоевский, так это-о.— Роман Вильгельмович прокурорским взором окинул всех и, раздувая ноздри, продолжал высоким голосом: — А ведь это она, натура человека, с ее необузданными страстями, сказывалась и в опричнине Ивана Грозного, и в диктатуре Стеньки Разина в кругу своей вольницы. Формально и там, у Стеньки Разина, все были равны, а правили людьми все те же страх, произвол, донос, пытки, казни. А почему? Да потому, что спадали вериги божеского ограничения, и все становилось дозволенным, так это-о.

— Но отчего же так получается? — спрашивал с отча-

янием в голосе Герасимов.— Что за круг заколдованный? Люди стараются устроить все лучше, разумнее, свободнее, но, взявшись за это, тут же все и ужесточают?

— А тайна сия велика есть,— ответил Успенский.— Христос не взял царства земного, то есть власти меча. Он полагался только на свободное слово. Те же, которые применяли насилие вместо свободного убеждения, в жестокости топили все благие помыслы. Ты прав, Роман Вильгельмович. Вот это нетерпение устроить все одним махом, перевернуть все с ног на голову и роднит вольницу Стеньки Разина с нашей радикальной интеллигенцией. Свободу внутри себя обретать надо — вот что главное. Ибо свобода духа есть высшая форма независимости человека. Вот к этой независимости и надо стремиться.

И воцарилась тишина такая, что слышно было, как потрескивало пламя в керосиновой лампе. Потом Роман Вильгельмович тихо, как бы самому себе, сказал:

— Кого больше любит бог, тому и страдания посылает... дабы очиститься в них и обрести смирение и разум.

— Да, и я так думаю,— поднял голову Успенский.— Несмотря на все эти страдания, народ наш не пропадет; он выйдет из них окрепшим духовно и нравственно и заживет новой разумной жизнью. Все дело в том — сколько продлятся эти испытания.

— Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе,— продекламировала молчавшая все время Соня, и все рассмеялись.

— Так это-о, устами младенца глаголет истина!

— А я думал — ты спишь,— глянул на нее Герасимов.

— Немудрено и заснуть. Пора и честь знать, понимаете ли,— сказал Роман Вильгельмович, вставая.

— Пора, пора! — заторопился и Герасимов.

Гостей провожали до околицы; на улице шел снег, было темно от низкого неба, и стояла глухая вязкая тишина. Распрощавшись, гости пропали в десяти шагах за оградой, как под воду ушли. Мария с Дмитрием стояли, обнявшись, возле околицы и с минуту смотрели еще в темноту, будто ожидали их возвращения.

— Митя, а почему ты оказался на стороне красных? Почему ты не пошел с офицерами в белую гвардию? — спросила она.

— Я не белый и не красный, Маша. Я слишком русский, жалею и тех и других. В этом все дело.— И замолчал.

Но в доме снова заговорил:

— Офицеры были разные, Маша... Вообще все смешалось, и офицеры потянулись в разные стороны. Осенью восемнадцатого года нас перебросили с Закавказского фронта на Кубань. Пешком топали... Пока пришли, а там уж власть сменилась. Опять погоны нацепили. Послали нас в станицу на бричке за продовольствием. Со мной еще двух офицеров. Молодежь. Поручик да подпоручик и я, только что произведенный в штабс-капитаны. Они в одну хату, я — в другую. Слышу — по соседству свинья визжит. Потом шум, крики. И вдруг выстрелы: бах-бах! И вопли на всю улицу. Подбегаю — мои офицеры застреленную свинью уж на бричку завалили, а хозяин у ворот валяется, и кровь из головы его хлещет. И баба над ним вопит. «Вы что,— говорю,— трам вашу тарарам?» — «Молчи,— говорят,— не то и тебя уложим, поповское отродье». А ведь сопляки еще мокрогубые. Но сколько гонору! И все то же невежество и та же злость, жестокость, но под другим лозунгом: бей озверевшего хама! Кого же вы бьете, говорю? Мужика? Кормильца?! И слушать не хотят. Тут же на меня донос, и дело состряпали. Ты погоны снимал? Снимал. Большевикам служил? Служил... Еле ноги унес. Целый месяц по ночам пробирался, как волк. Вышел аж на Донце Северском. И сколько радости было! Тут что ни говори, Маша, а централизованная власть была, дисциплина, государственность. Куда все пойдет, еще толком никто не понимал. Но республика стояла, землю роздали поровну, по едокам. И мужики шли на фронт. Воевали — будь здоров! — и верили в лучшее.

— А во что же нам теперь-то верить?

— И теперь верить надо в лучшее. Это, Маша, что болезнь,— нетерпение, озлобление, взаимная ненависть — все это вырвется, как магма при извержении вулкана, и пожжет все вокруг, и камнем затвердеет; но и на каменистой почве в свое время пробивается жизнь, если восходит животворное солнце любви. А пока — время соблазнам пришло, как пишет Аввакум в своем «Житии». Сами, мол, видят, что дуруют, а отстать от дурна не хотят. Омрачил диавол, что на них и пенять? И мы не будем пенять. Давай жить, любить друг друга, детей учить, людям помогать. Верить в лучшие времена.

— Ах, Митя, мне так страшно!

— Ничего, бог даст — все образуется.

3

Заседание районного штаба по сплошной коллективизации затянулось до глубокой ночи. Сперва закрепляли и расписывали уполномоченных по кустам, потом прикидывали и подсчитывали, сколько подвод надо для их доставки на места, потом считали — сколько подвод послать в Пугасово за рабочей делегацией да за охраной, да еще подводы нужны для отвозки семей выселенцев к железной дороге.

— А главы семей пусть топают пешком. Эти отъездились на рысаках да на тугих вожжах,— сказал Возвышаев.

Заседали в его кабинете; накурили так, что секретарша Зоя, сидевшая у телефона на приеме донесений из сел, стала кашлять и задыхаться. Возвышаев раскрыл настежь окно, и дым повалил наружу, как из трубы.

— А теперь марш по домам! Которые отъезжают, явиться сюда к пяти часам утра. Со мной останутся Чубуков, Радимов и Зоя. Для этих дежурство круглосуточное, отдых в пересменку.

Председатели ближних сельских Советов приезжали на доклад лично, дальние докладывали по телефону, под запись.

Тихановские явились вдвоем — Кречев с Зениным. Секретарь ячейки, несмотря на холод, был в кожаной фуражке со звездой; фуражку бережно положил на край стола, словно тарелку со щами поставил, из планшетки достал списки кулаков и передал в руки самому Возвышаеву, поясняя:

— Значит, процент, спущенный районом, перекрыт. Вы намечали двадцать четыре семьи по Тиханову, мы утвердили двадцать шесть. Этих вот на выселение с арестом глав семей, а эти пусть идут на все четыре стороны.

Возвышаев просмотрел списки с явным удовольствием.

— Молодцы! Кого добавили?

— Значит, дополнительно подработаны... столяры Гужовы. Живут на углу Нахаловки и Базарной. Дом о двенадцати окон, подворье обнесено деревянным заплотом, телеги там собирают. Очень может пригодиться для общественной конюшни.

— Правильно! — похвалил Возвышаев.— Я знаю этот дом. Богато живут.

— Исключительно! — подхватил Зенин.— Некоторые из нашего актива,— тут Зенин смерил взглядом Кречева,— пытались отвести эту кандидатуру на том основании, что, мол, кустари-токаря. Однако беднота не позволила. У этих токарей, оказывается, две лошади, два амбара, два молотильных сарая...

— Дак их же два брата! — словно в свое оправдание, сказал Кречев.

— А что беднота? — спросил Возвышаев, не глядя на Кречева.

— А беднота точно припечатала: оба брата повязаны, говорят, одной веревочкой — богачеством. Вот так...— И снова поглядел со значением на Кречева.

Тот стоял и комкал в руках снятый малахай, как нищий у порога.

— Правильно ответила беднота,— сказал Возвышаев.— А еще кого вывели на чистую воду?

— Еще вот этого кустаря-одиночку. Кирюхина! Некий фотограф.

— У которого баба толстая? — усмехнулся Возвышаев.— Знаю. Богато живет.

— За неделю барана съедают! — радостно подхватил Зенин.— Масло, сметану с базара ведрами тащат. И еще одна вскрытая беднотою порочная отрасль — у этого кустаря-одиночки не один, а два фотографических аппарата.

— И дом в три окна,— пробубнил от порога Кречев.

— А какой павильон отгрохал! — вскинул по-петушиному голову Зенин.— Крыша стеклянная!

— Дак ему фотографировать надо,— нерешительно оборонялся Кречев.

— Из двух аппаратов? Да еще в стеклянном павильоне? Обратите внимание, беднота этот павильон презрительно нарекла Аполеоном. Известно, в какую сторону намек! — Зенин выкинул палец кверху.

— Темнота и дурость,— твердил свое Кречев.

— Ты больно просвещенный у нас. От твоего просвещения чуть село не сгорело,— изрек Возвышаев, едко усмехаясь.

— А то, что жена этого кустаря-одиночки ежегодно на курорт ездит? Как вы этот факт расцениваете, товарищи либералы? — Зенин сперва строго посмотрел на Кречева, а уж потом, сменив выражение, расплываясь в лучезарной улыбке, обернулся к Возвышаеву.

— Я вам не либерал.

— Ты хуже. Ты примиренец, играющий на руку правым элементам. Учти, Кречев, если еще раз заметим, что ты занимаешься попустительством, снимем с работы с оргвыводами,— сказал Возвышаев.

В находолдавший кабинет вошли Радимов с Чубуковым, за ними, кутаясь в шаль, вошла Зоя. На ней были белые валенки и вязаная кофта.

— Ой, как вы тут можете? — сказала она.— Тараканов, что ли, морозите?

— Там Кадыков дожидается, который из Пантюхина,— сказал Чубуков, закрывая окно.

— Ладно, хорошо поработали,— сказал Возвышаев, пожимая руку Зенину.— Значит, до утра. Быть всем в Совете в шесть часов! И учти, Кречев, раскулачивать без мерехлюндий.

— Есть без мерехлюндий,— ответил тот по-военному и мешковато обернулся уходить.

— А ты сам проследи, чтоб во главе групп по раскулачиванию не было знакомых или приятелей кулаков.

— Принцип революционной бдительности и беспощадности будет строго соблюден,— ответил Зенин, прощаясь.

— Орел! — изрек Возвышаев, кивая на дверь, после того, как она закрылась за Кречевым и Зениным.

— Там Кадыков дожидается,— напомнил опять Чубуков.

— Хрен с ним, пусть постоит.— Возвышаев, довольный, потер руки и прошелся по кабинету.— По тому, как мы проведем эту операцию, дорогие товарищи, народ будет судить о нашем неуклонном движении вперед к счастливому будущему без эксплуатации и мироедов. А враги наши пусть содрогнутся не только повсюду на земле, но и в гробах.

— Это нам — раз плюнуть,— отозвался Радимов.

Чубуков, закрыв окно, раскуривал свою трубку, шумно, с потрескиванием посасывал ее. На всех на них были новенькие суконные командирские гимнастерки цвета хаки. Накануне Нового года все это добро завезли в районный распределитель.

Кадыков вошел без стука и, поздоровавшись, спросил от порога:

— Донесение кому сдавать?

— Ты как в лавку ворвался... без спроса, без стука,— проворчал Возвышаев.— Привыкли там, у себя в милиции, к разгильдяйству.

— Мне сказали, что сюда сдавать, вот я и вошел,— Кадыков протянул листок.

— А что это за список?—спросил Возвышаев, принимая бумагу.— Это не список, а плевок на всесоюзное мероприятие. Один кулак на все село?!

— Один. Мельник Галактионов. Больше кулаков нет.

— Это кто вам сказал? Зачем вас послали в Пантюхино? Колхоз создавать или кулаков прикрывать?— загремел Возвышаев.

— Вы на меня не кричите. Не то я повернусь и выйду.— Кадыков вскинул подбородок и насупился.— Это решение пантюхинского актива. Нет у нас больше богатых людей. Село бедное.

— А я вам повторяю: райштаб послал вас в Пантюхино не для того, чтобы определить—бедное село или богатое, а для выявления кулаков. Где у вас кулаки?

— В штанах у меня прячутся. На, обыщи!

— Возьми ты его за рупь за сорок... Да понимаешь ли ты, голова два уха, что есть завтрашний день?— Возвышаев сунул руки в карманы галифе, покачался перед Кадыковым, подымаясь на носки и, насладившись мертвой тишиной, назидательно изрек:—Завтрашний день есть исторический рубеж перехода в иную формацию. Понял?

— Нет, не понял,—ответил Кадыков.

— С завтрашнего дня начинается великий перелом, как сказал товарищ Сталин.

— Кто был ничем, тот станет всем!—подхватил Радимов и загоготал.

— Вот именно!—Возвышаев вынул одну руку из кармана и погрозил Кадыкову пальцем:—Кто этот исторический рубеж не в силах перешагнуть, тот будет отброшен в арьергард наступательным порывом пролетариата в союзе с беднейшим слоем крестьянства. То есть он окажется в хвосте событий заодно с правыми элементами. Понял? У нас так: либо туда, либо сюда, промежуточной фазы не терпим.

— Не понимаю, в чем вы меня обвиняете?

— А в том, что вы остановились на пороге событий.

— Дак вон он, порог-то, позади остался.— Кадыков кивнул на дверь.

— Не прикидывайтесь мальчиком из купеческого магазина. Времена не те. Наступила пора спрашивать и отвечать. Вот так. Спрашиваю я, а вы отвечайте. Почему не выявлены в вашем селе кулаки?

— Нет же их! Один мельник Галактионов. Больше нет.

— А поп, дьякон, псаломщик, староста церковный? А лавочники? Волгари-отходники!

— Попа посадили. Один лавочник разорился, второй сбежал. Дьякон — кладет деньги на кон. Он пьяница у нас.

— Что ж у вас, нет ни одного порядочного человека на всем селе? — спросил Радимов.

— Не то, что человека, у них ни одной порядочной лошади нет,— отозвался с подоконника Чубуков.

— Ладно... Допустим,— сказал Возвышаев, возвращаясь к своему столу,— попа посадили. А где весь церковный причт? Вот и внесите его в список. И потом этих самых, волгарей-отходников.

— А чего брать у этих волгарей? — спросил Кадыков.

— Посовещайтесь и найдете, чего брать. Они у вас вроде бы селедкой торгуют. Вот и обложите их налогом или отберите селедку. Не то открыли местный промысел. Срамота! Пойдешь на базар — а от них за версту ржавчиной воняет.

— Дак базар-то закрылся.

— Откроется! Не беспокойтесь. Так что составьте список заново. Утром явитесь сюда, поедете в Степаново с другой группой. А кампанию по раскулачиванию в вашем селе проведет председатель сельсовета.

— Он третий день пьянствует вместе с этим дьяконом,— сказал Кадыков.

— Как? Он двадцатипятитысячник! Он только из Рязани приехал? Ты не врешь? Когда ж он успел запить? — Возвышаев с подозрением глядел на Кадыкова.

— Как приехал, так и запил. Не верите, сходите проверьте. Сперва у попадьи пил, потом перешел к псаломщику, а эту неделю от дьякона не вылезал.

— Где ж вы его поселили?

— Нигде. Я ему говорю — живи хоть у меня. А он говорит: я человек легкий, где ночь застанет, там и

пересплю. Он вроде бы из столяров. В Рязани, говорят, по домам ходил, подряды брал. И тут пошел по домам.

— Радимов, придется тебе завтра подключиться к пантюхинцам. Поможешь организовать кампанию.

— За нами дело не станет,— отозвался Радимов.

Растворилась дверь, и вошел припорошенный снежком Ашихмин. Он снял с головы серую с кожаным верхом кубанку и кинул ее на диван. Довольно потирая руки, хозяйской походкой прошелся по кабинету и радостно изрек:

— Ну-с, фонарики-сударики, вот как надо работать! Полную пожарку натолкал. И мужиков, и баб — всякой твари по паре.

— Эксцессов не было? — спросил Возвышаев.

— Какие там эксцессы! Бабы пошумели да повыли. Это бывает. А мужики молчат да посапывают.

— Сколько взяли баб? — спросил Радимов.

— А всех, которых ты засудил. Одна зараза исхудалая, злая, что цепной кобель! Все за полушубок меня хватала. Вот ён, где кулак-то, говорит. Вот кого кулачить надо. А я ей — отчепись! Ты, говорю, полапала жену Зенина и схватила пятнадцать суток. А за меня десять лет получишь. Как контра пойдешь, говорю. А она мне — подойдет, говорит, время — свяжут вас с Зениным за муде и пустят по полой воде. Вот зараза! Ничего не боится.

— Это Авдотья Сипунова,— хмыкнул Радимов.— Когда я им зачитал приговор... По пятнадцать суток, говорю, за нападение на жену активиста. Она, эта Авдотья, мне говорит: мы вашу активистку в дерьме вымажем и по селу проведем.

— Дал бы ей года три в назидание потомкам,— сказал Возвышаев.

— Если б она что-нибудь против власти сказала. А то матерщина, мелкое хулиганство и больше ничего.

— А как Бородин себя вел? — спросил Возвышаев.

— Этот в усы фыркал, как кот. Все над нашей теорией посмеивался.

— А вот за это можно и дело оформить,— сказал Радимов.

— Он же не впрямую. Скользкий тип, все обиняком говорил. Не то я бы ему припаял... Ну, как бы там ни было, а дело сделано. Репетичку провели перед завтрашним мероприятием. Теперь и выпить не грех.— Ашихмин вдруг заметил Кадыкова: — Простите, а с этим товарищем мы не знакомы.

— Это из Пантюхина,— сказал Возвышаев, и Кадыкову: — Ты все понял? Ступай! Завтра к шести утра быть здесь.

Кадыков вышел. Возвышаев почесал за ухом и сказал Ашихмину:

— Наум Османович, а этих, ваших арестованных, придется выпускать. Завтра утром в пожарку пойдут кулаки, которых берем по первой категории.

— А тюрьма на что?

— Озимов заупрямился. Мне, говорит, воров некуда девать. Да и что у нас за тюрьма? В ней всего четыре места. А мы берем по первой категории сорок человек. В пожарку и то всех не поместишь. Придется еще и в склад сажать. Там у нас раньше артельная лавка была. Здание крепкое, не убегут.

— Делайте как знаете. Вам виднее. Только сперва пожрать надо. Вон, уже двенадцатый час, а я с обеда не емши.

— Радимов, может, к соро́кам пойдем? — спросил Чубуков.— Там и повеселиться можно.

— Они ж уехали в Лысуху. А при моей жене не больно повеселишься. Ты думаешь — она мне поверит, что с заседания пришли? Скажет — кобелировали. До утра доказывать придется.

— Ладно, пошли ко мне,— сказал Возвышаев.— Я холостой, мне отчитываться не надо. Водка есть, и закусь найдется.— Он перешел к угловой вешалке, где висел его полушубок, и сказал секретарше: — Зоя, держи ухо востро. Все телефонограммы записывай в книгу и обязательно выверяй. Смотри не засни! Часа в два приду, подсменю тебя.

4

Возвышаев родом был из Виленской губернии; отец его держал на большой дороге корчму и лавку, скупал у евреев-тряпичников всякий хлам, прессовал его в тюки и отвозил на ткацкую фабрику. Торговал еще дегтем, лесом, патокой, зерном. Сыну своему, Никанору, любил говаривать:

— Торговля, сынок, тем и хороша, что ты силу свою чуешь, власть над людьми. Тому в долг поверил, тому взаймы дал, того в компанию принял. И каждого видишь

насквозь: иной и хорохорится, а платить нечем, и водишь его, как шелешпера на уде,— хочу — дам подышать, а хочу и — насухо выброшу.

— Зачем она, власть-то? — спрашивал Никанор.

— А чтоб тебя все боялись,— отвечал отец.— Мир держится на страхе — либо ты боишься, либо тебя боятся.

Эту истину Никанор Степанович крепко запомнил. И когда в реальном училище учился, и когда учителем работал, и когда в армии в унтерах служил, и потом — в красных комиссарах, всюду замечал, что без страха нет никакой дисциплины, а стало быть, и не может быть никакого порядка. А порядок — основа основ и в жизни каждого человека, и даже в жизни целого государства. Когда рушится порядок, все идет колесом.

К четырнадцатому году отец его так разбогател, что мечтал переехать в город, купить собственный дом и открыть торговлю с размахом на купеческий лад. Но пришла война, дорогу забили войска и беженцы, торговля упала, а там и немцы, гляди, нагрянут. Под немцем Возвышаевым оставаться не хотелось — во-первых, немцы, по рассказам, народ строгий, подати накладывают большие; во-вторых, кругом литва некрещеная, мало того что на добро твое зарятся, но, гляди, еще и жизни лишат.

И подались Возвышаевы в Россию, надеялись: схлынет война — вернутся. Лавка пошла за бесценок. Корчму сдали на казенный кошт войскам для постоя. Не с подорожными бродягами двинулись на восток, а поехали поездом, как порядочные люди. В далекой Рязанской губернии, в городе Спасске, купили бакалейную лавку с деревянным верхом для жилья. Думали, что, торгуя, и время скоротают, и капитал сохранят. Не повезло — сгорела начисто целая улица, где стоял их дом. И пришлось самому хозяину идти на пристань грузчиком, а в зимнее время — рубить лес и жечь уголь. В восемнадцатом году, когда Никанор вступил в партию, он был уже чистым пролетарием. Подфартило Никанору с биографией: на законном основании писал он, что был сыном пролетария, бывшим учителем, красным комиссаром...

Но из-за этой проклятой косины не приняли его в высшую кав. школу. Потом демобилизовали... Жена попалась капризной да гулящей. Отказалась ехать из Крыма в Рязанскую губернию, куда направили его после демобилизации. Пришлось алименты платить дочери, да родителям посылать, да брату помогать учиться. Долгие годы

служил он в захолустной волости, сидел на семидесяти рублях. И понял, что вся его сила, вся его власть — в продвижении, а это значит — безупречная служба. Чем суровее он будет в деле, тем устойчивее его положение. Больше ему рассчитывать не на что...

Квартирная хозяйка его Гликерия Банчиха встретила всю компанию недовольным ворчанием:

— Эко вас черти по ночам таскают,— бормотала она в сенях, идя впереди гостей в избу.

— Ты, Гликерия Ивановна, таганок бы нам развела да поджарила бы картошки,— сказал Возвышаев.

— А то ни́ што! Таганок вам, непутевым, в полночь разводить. Поедите и холодное...

Сели за стол, в переднем углу, под божницей. Возвышаев принес из чулана две бутылки водки, колбасы нарезал; Банчиха слазила в подпол, достала квашеной капусты и огурцов, картошки холодной поставила в жаровне, потом загремела самоварной трубой, смилостивилась:

— Хоть и грех в полночь чертей на огонь сзывать... Да ладно уж, самовар поставлю...

— А мы не боимся чертей-то! Пусть слетаются,— бодро сказал Ашихмин.

— Знамо,— согласилась Банчиха,— вы сами антихристы. Одной канпании с чертями.

— Хх-а! — покачал головой Ашихмин.— Никакой воспитательной работы не проводишь ты в домашней обстановке. Учти, Возвышаев, коммунист начинается с подъема, с постели, а не только в кабинете.

— А что, и в постели на коммуниста норма выработки полагается? — гоготнул Радимов.

— Тебе и в постель подай, что пожирнее,— проворчал Возвышаев.

— И потолще,— просипел Чубуков, и все долго смеялись, довольные своим остроумием.

У Возвышаева не оказалось ни рюмок, ни стопок, разливали по граненым стаканам. По полному. И выпили залпом...

Выпитая на пустой желудок водка быстро ударила в голову, развязала языки, Возвышаеву все хотелось отметить торжественность момента, наступающий «великий перелом», и он, кося глазом в сторону и вверх, на божницу, кому-то грозил:

— Это им не мирная теория врастания кулака в

социализм. Здесь открытый бой, последний и решающий. Мы долго жили со связанными руками. Какая может быть революционная борьба за перестроение всего уклада, когда всякий мироед разгуливает у тебя перед глазами, а ты его пальцем тронуть не имеешь права? Ведь хочешь ты это признавать или не хочешь, а в социализм мы топали в теплой компании с кулаком и либералом, а проще говоря — с правыми элементами. И вот что противно, нас тут, на местах, сдерживали своими циркулярами высокие защитники этих правых.

— Да, это верно... Долго в цепях нас держали, как в песне поется.— Ашихмин обвел застолицу блестевшими от возбуждения глазами.— Думаете, вам здесь было труднее, чем там, наверху? Нет, дорогие товарищи, ошибаетесь. Нам, разрабатывающим теорию классовой борьбы в текущий момент, было еще труднее. Замечательный теоретик, секретарь ЦК, товарищ Преображенский еще в двадцать четвертом году в своей знаменитой брошюре доказал, что деревня, то есть богатая часть ее, должна стать тем капиталом, который надо потратить для построения социализма. А откуда еще взять этот капитал? Ведь колоний теперь у нас нет. Ту самую роль, которую играли при капитализме колонии, теперь должна сыграть деревня. Иного выхода нет. Но вся эта сволочь во главе с Бухариным подняла вопли: как? вернуться к военному коммунизму? Середняка обидели, кулака жаль! Ну ты сегодня пожалей кулака, а завтра он тебе горло перережет. Ведь говорили же им, говорили! Так нет, не послушали. Самого товарища Преображенского за борт! Троцкистом объявили. Да мало ли светлых голов, непримиримых борцов за истинный социализм посписывали со счета... Но товарищ Сталин теперь всех восстановил: и Пятакова, и Смилгу, и Преображенского. Наконец-то разобрались, кто враг, а кто друг. И теперь враги наши на собственной шее почувствуют наш объединенный удар.

— Это кому ж вы собрались шею-то мять на ночь глядя? — спросила Банчиха с печки.

— Ты, старая, посапывай в две ноздри. Не то я тебя за ноги стащу и на мороз выставлю,— сказал Радимов.

— Ах ты, собачий твой корень! Да я тебя сама выгоню. Вон, возьму кочергу и по башке.

— Я собачий корень? Да я тебя, в душу мать...— Радимов вскочил из-за стола.

— Охолони малость! — осадил его Возвышаев.— Сядь! Во-первых, ты у меня в гостях и не лезь в пекло поперед батьки. А во-вторых, с представителем беднейшего крестьянства разговоры вести в тоне разъяснения и убеждения, а не грубым окриком.

— Какая она беднейшее крестьянство? — ярился Радимов.— Это ж чистой воды кулацкое отродье. Или подкулачник.

— Вот вы и есть татарское отродье... Сказано — незваный гость хуже татарина,— ворчала свое с печи Банчиха.

— Опять! — грохнул табуреткой Радимов.

— Тише, тише...

— Я тебя не понимаю, Возвышаев,— сказал Ашихмин.— Ты вроде бы прикрываешь вылазки шовиниста...

— Какой она тебе шовинист? Это ж русская поговорка обзывать татарином.

— Хорошенькая поговорка! За такие поговорки судить надо по статье...

— Гляди-ка, какой вострый! Откелева он залетел к нам, этот воробей?.. Ишь перья-то распустил! Чирикает.

— Гликерия Ивановна, вы давайте без выпадов и оскорблений. Как-никак — все ж они гости,— посовестил ее Возвышаев.

— Гости гложут кости. А эти — сами за стол, а хозяйку в хлев норовят запереть. Это не гости, а разбойники с большой дороги.

Чубуков вынул изо рта трубку и сказал:

— Никанор Степанович, или ты уйми эту ведьму сам, или я ее в сугроб, а трубку вставлю в заднее место, чтоб не задохнулась. Слышь ты, кочерга старая? В бога мать...

— Ах вы, оторвяги каторжные! Сидят под божницей, в красном углу, и в бога костерят...

Банчиха колобком скатилась с печки, прошмыгнула под занавеску в чулан и вдруг вымахнула оттуда с ухватом наперевес, как с рогатиной:

— Вон из моего дома, супостаты краснорожие! Или счас караул закричу. Все село соберу... Пусть народ полюбуется — чем вы тут занимаетесь посреди ночи...

Не ожидав такого скверного оборота, веселая компания смолкла, как пораженная громом,— все смотрели на Возвышаева с немым вопросом и осуждением.

— Ладно, Гликерия Ивановна! — примиряюще сказал он, обращаясь к хозяйке.— Ну, погорячились ребята

малость... Так ведь целый день не евши. Вот и опьянели со стакана. А пьяный, что малый. Какой с него спрос? Успокойся да и полезай на печь.

— Ишь ты, ягненком заблеял. Присмирели... Нет уж, дудки! Меня такие оборотни не разжалобят. И черт котенком прикидывается. Уходитя! — Она постучала ухватом в пол, подошла к порогу и ухватилась за дверную ручку.— Уходитя! Или счас иду к соседям. Всех соберу...

— Ладно, уйдем!..— сказал Ашихмин, вставая.— Но учти, Возвышаев, эти выпады мы оформим по всем статьям. Вот они, свидетели, подпишут. И посадим эту ведьму.

— Мотри, сам не сядь в лужу посреди дороги,— крикнула от порога Банчиха.

— Хватит шуметь! — успокаивал ее Возвышаев.— Обидели, бедную. Нехорошо из своего дома прогонять гостей.

— Это не гости, а шаромыжники...

— Пошли, пошли! — поторапливал Ашихмин, берясь за полушубок.— Это уж не хулиганство, а сознательный выпад. Ну, мы ей покажем...

— Водку забери! — сказал Радимов Возвышаеву.— В кабинете допьем.

— А стаканы? — спросил Чубуков.

— Стаканы не трожьтя! — крикнула от порога Банчиха.

— Хрен с ними,— сказал Возвышаев, вставая.— Обойдемся крышкой от графина.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Гордеевский подрядчик Федор Звонцов ночью приехал в санках на хутор к Черному Барину. Заиндевевшего в пахах рысака привязал к плетню, накрыл тулупом и постучал кнутовищем в окно.

Сперва вспыхнул свет в избе. Потом на крыльцо вышел Горбун в накинутом на голову, точно шаль, полушубке. Отталкивая назад, в сени, рвавшегося с глухим сиплым лаем старого кобеля, спросил:

— Кого там нелегкая принесла?

— Ты что, Сидор, своих не узнаешь? — ринулся от окна приезжий.— Я ж Звонцов, из Гордеева. Мокей Иваныч дома?

— Федор Тихоныч? Проходитя в избу...

Сидор взял собаку за ошейник и пошел впереди. В избе горела висячая лампа, тускло освещая голые стены, на которых висели на гвоздях шубы, шапки, хомуты и седелки вперемешку с пучками засушенной травы. В переднем углу была божница с богатыми иконами в серебряном окладе, с которых взыскующе смотрели строгие темные лики.

У Черного Барина оказался Васька Сноп; с печки слез взъерошенный, со вздыбленными нечесаными волосами, с опухшим лицом, спал в портках и в валенках. И хозяин сам телогрейки на ночь не снял, тоже валялся в валенках на кровати. Видно было по всему, что завалились спать в чем были, крепко набравшись. На столе стояли пустая четверть да высокая глиняная поставка с медовухой: огрызки хлеба валялись по столу, на деревянных тарелках лежали соленые огурцы, капуста квашеная, яблоки моченые.

— С какой радости пировали? — спросил Звонцов.

Хозяин, тяжело опираясь на локти, привстал с кровати:

— Погоди до утра — завтра сам узнаешь.

— А я не хочу годить. Затем и приехал...

Черный Барин, как бык, подминая поскрипывающие половицы, прошел к столу, сел на скамью, кивком головы приглашая остальных. У него были рыжие с проседью короткие усы и темное морщинистое лицо. Возле отлежанного красного уха в седых волосах торчало черное перо, видно, из подушки, ворот синей косоворотки осел и скрутился жгутом. Глядел он хмуро красноватыми, как у старого кобеля, глазками; тот лежал у порога, бдительно смотрел на Звонцова, и казалось, что вот-вот забрешет.

— Квашнина посадили,— сказал хозяин,— вон, Васька приехал... В ихнем районе уже началось.

— Самого в тюрьму посадили, в Пугасове... а детей, жену, тещу отвезли в теплушки. На путях стоят... С собой ничего не велели брать. Взяли их — кто в чем был.— Сноп присел на край скамьи и тупо глядел куда-то в дальний угол, словно думал совсем не о том, про что говорил.

— А хутор? — спросил Звонцов.

— Туда отобранных лошадей сводют,— ответил Васька.— Ссыпной пункт хотят сделать.

— Дак чего ж! И мы ждать будем, когда нас повезут на убой, как баранов? — спросил Звонцов и со злостью сильно выдыхнул, потом выругался.

— А что поделаешь? Плетью обуха не перешибешь,— как бы на свои мысли ответил Черный Барин.

— Ты хоть замахнись! Покажи, что человек, а не безответная скотина.

— На кого же замахиваться?

— Как на кого? На всю эту сволочь... Башки им сворачивать надо и отбрасывать прочь,— Звонцов скрежетнул зубами, бросил с силой об пол кнут и застонал, мотая головой.

— Кто им башки сносить будет? Кто? Я да ты, да мы с тобой?

— Как кто? Ты, верно, ослеп и оглох на своем хуторе? Весь народ колобродит, как брага в кувшине. Того и гляди, стенки разорвет. Погоди малость — увидишь, какое веселье пойдет. Вот погоди... Нас уберут — и за народ примутся, начнут всех бузовать в колхоз. Тогда и начнется.

— Не пойму чтой-то... Мы-то с тобой с какого бока припека? Пока наши мужики раскачаются — нас и вспоминать не будут.

— А чтоб не позабыли про нас, мы им всем покажем кузькину мать. Дворы наши пожгем, чтоб ни нам, ни им. А сами уйдем в лес.

— Куда в лес? — Черный Барин ворохнулся, как спросонья, и удивленно посмотрел на Звонцова.

— За кудыкины горы... Чай, у тебя найдется укромное местечко, как-никак — на краю леса живешь. Затем и приехал к тебе.

— Пустое дело, Федор. Мы не медведи, в лесу не проживем.

— Я ж те говорю — на время схорониться. А начнется — тогда поглядим.— Звонцов азартно подался грудью на стол.— Мокей Иваныч, посадят ведь! Все равно конец решающий подходит для нас с тобой. А ежели помирать, так с музыкой. Запалим... туды ее в душу мать! А-а? Пусть веселятся...

— А грех-то, грех на душу ляжет... Как с грехом-то быть, а? — спросил Горбун, он как вошел, так и стоял у порога, ухватясь одной рукой за спинку деревянной

кровати. Голова его чуть возвышалась над этой спинкой, но руки были длинные, сильные и плечи широкие, а губы вперед и навыворот, как у мулата.

— Ты молчи, блаженный! — цыкнул на него Звонцов.— Тебя все равно не тронут, как убогого. Пойдешь по миру с сумой, молиться станешь, грехи наши замаливать.

— Нет, Федор, в таком деле я тебе не помощник,— сказал Черный Барин, глядя на свои руки, сложенные крестом на столе.— Сжечь все, что сам обтесывал, выкладывал по бревнышку... А сад, питомник? Ежели спалить дом, и сад погибнет. Кто за ним тут будет присматривать?

— Эх, голова два уха! Да ты что, спишь? Не до поросят, когда свинью палить тащат. С самого голову сымут, а ты об саде заботишься!

— Я не бессмёртный. Рано или поздно — все равно помру. А сад пущай стоит. Это живое дело. Дерево, оно от бога. И само по себе ценность имеет, и людям на радость.

— Истинно, Мокей! Право слово, истинно! — сказал Сидор.

— О, кулугуры упрямые! — выругался Звонцов.— Их, как баранов, на убой поведут, а они заботятся, чтобы хлев опосля них в запустение не пришел. Эх-х вы, агнцы божие! Оттого и бесы разгулялись, что такие вот беззубые потачку им дают, нет чтоб по рогам их, по рогам.— Он стукнул дважды кулаком по столу.— Да все пожечь, так чтобы шерсть у них затрещала... Глядишь — и провалились бы они в преисподнюю.

— Нет, Федор, подымать руку на людское добро — значит самому бесом становиться...

— О душе-то, о душе подумай! — сказал опять свое Сидор.

Мокей Иванович тоскливо взглянул на брата и вздохнул, а Звонцов крикнул в лицо Черному Барину:

— Значит, все им отдать? Передать из рук в руки? Так лучше, да?

— На все воля божья,— ответил тот.— Но руки подымать на свое добро не стану. Грех.

— Ну, ну... Давайте, топайте в рай в сопровождении милиционера.— Звонцов встал, поднял кнут, щелкнул им в воздухе и выругался:— Так иху мать! От меня они не разживутся. Пойду — и все пущу на воздух.

— А ты об жене подумал? — спросил Мокей Иванович.— Сам в лес, а ее куда?

— К сыну ее отправил в Нижний.— Звонцов опустил голову, помолчал.— Поди, до них не доберутся? — Потом махнул рукой: — А, всем один конец. Я пошел...

— Спаси тебя Христос! — Сидор занес руку с двоеперстием.

Но Звонцов отстранил его крутовищем:

— Да пошел ты!..— И вышел, хлопнув дверью.

На улице валил снег, метелило. И тулуп, и грива лошади побелели. Звонцов отряхнул рукавицей гриву, снял тулуп, бросил его в санки и, отвязав вожжи от изгороди, еле успел повалиться на бок, накрыть ускользающие санки — Маяк взял с места рысью.

«Ах, Федор Звонцов, Федор Звонцов! Думал ли ты, что доживешь до такого дня, когда руку свою занесешь на собственное добро? Зверем побежишь из родного села в лесную глушь хорониться от глаза людского. Людей добрых подбивать станешь на злое дело, скотину невинную, тварь бессловесную огню предашь. И свет белый станет не милым, и жизнь тягостной, невыносимой...» — думал про себя, рассуждал, спрашивал себя же, как постороннего человека, Федор Тихонович...

Вспоминался ему восемнадцатый год, самое начало новой жизни. Он — еще молодой и крепкий тридцатипятилетний мужик, из унтеров, прошедший всю войну, вернулся домой самоходкой. Здесь верховодили левые эсеры; и милиция, и Совет — все было в их руках. Впрочем, всех их называли одним словом — социалисты. Называли с почтением, с восторгом. Как же! Они заступники народные. Землю делили по едокам, добро барское раздавали. Федор Тихонович с ходу пошел в дело — старого князя выселил из большого дома. У того уж ноги отнялись от старости — в коляске ездил, кормила и обихаживала его экономка Устинья, гордеевская баба.

«Куда вы его перетаскиваете, ироды! — шумела она на гордеевских мужиков.— Дайте человеку помереть спокойно. Ему больше одной комнаты и не надо».

«Возьми его себе в избу заместо телка,— смеялись мужики.— Не все ли равно тебе, где подтирать — в своей избе или в барском доме». И он смеялся, Федор Звонцов. Молодой, крепкий... Вся власть таперика наша, чего хочу, того и клочу́...

Он даже на эсеровском съезде был в селе Степанове. На том самом съезде, который высмеял тихановский начетчик Иван Петухов по прозванию Куриный Апостол — «Собаки лают — ветер уносит». И забирал его Федор Звонцов, понятым приходил с милицией. И злил его невозмутимостью своей, непостижимым спокойствием этот Куриный Апостол. «Дед, чего ты посмеиваешься? И книжки твои, и тебя забираем, понял?» — говорили ему. А он в ответ: «Беритя, беритя! Дураки вы, робятки, дураки и есть... Сперва меня заберете, потом вас возьмут. Вон у меня старуха картошку в подполе выбирает: с осени покрупнее берет, а к весне, когда поголоднее, и мелочь забирает... Так вот... Сперва меня, а время подойдет полютее — и вас, мелочь пузатую, заберут». Вот те и Куриный Апостол! Он и впрямь обернулся Иваном-пророком. А ведь смеялись над ним, как над шутом гороховым.

Но были времена, когда Федору Звонцову было не до смеха; летом восемнадцатого года он уже в Красной Армии служил, усмирял офицеров на Дону, потом на Кубани... Гонялся за казацкими шайками, громил мятежные станицы. Под Новороссийском попали в окружение, а потом и в плен к белым. Ходил все лето девятнадцатого голодранцем, босым, копался в помойных ямах, побирался. Видел, как расстреливали матросов на окраине Новороссийска... Полный ров набили, больше тысячи. Прапорщик молоденький, худенький — соплей перешибить... И револьверчик у него вроде игрушечный. Подойдет к матросу, щелк ему в затылок — и в яму. И зарыть как следует не сумели — те суток двое ворочались в этом рву. Потом разлагаться начали, вонять. Их же, пленных солдат, заставили выкапывать убитых и хоронить где подальше... На этой работенке и осатанел Звонцов. Потом, когда отбили у белых Новороссийск, на вопрос: «Кто добровольно желает расстреливать офицеров?» — Звонцов вышел первым.

И так ему обрыдло на этой войне, так надоело слушать команду и самому гавкать, что, придя домой, он отказался от всякой службы. А предлагали ему работать и в сельском Совете, и даже в волости...

Был он смекалист и мастер на все руки — и плотничал, и штукатурил, и сапоги тачал, и бондарничал. Потом бригаду сколотил, подряды брал... Зажил на широкую ногу. Дом себе поставил пятистенный, двенадцать на

десять аршин, на каменном фундаменте, под железной крышей, под зеленой. Строился в двадцать втором году, когда все на пуды покупали. За одни тесины под наличники заплатил двенадцать пудов проса. Зато уж и наличники получились во всю стену, как вологодские кружева...

Ехал Звонцов домой по лесной дороге, занесенной рыхлым снежком, как лебяжьим пухом,— ни скрипа, ни стука, ни раскатов, только глухое пощелкивание подков о невидимый санный путь, всхрапывание рысака, идущего машистой рысью.

Когда подъезжал к селу, в белесовато-мутном небе показалась тусклая, расплывчатая луна, словно кто рядно на нее накинул. Ветер поутих, но снежок все летел на землю, медленно кружась и снова разлетаясь, подкинутый ударами лошадиных копыт. «Это хорошо, что снежок идет,— думал Звонцов,— не успеешь от села отъехать, как и след занесет». Он решил податься в лесную деревеньку Новый Свет к сотоварищу своему по бондарным делам, куму Яшке.

В Гордеево въехал глубокой ночью — ни одна собака не гавкнула, будто вымерло село. Маяк одним дыхом пронес его по селу, сам свернул к дому и замер у тесовых ворот, кося глазом на хозяина и поигрывая ноздрями, тихонько заржал.

— Нет, брат, погоди... На двор тебе пути заказаны,— сказал вслух Звонцов, вылезая из санок.— Нет у нас с тобой больше ни двора, ни дома. Вот так, Маячок... Поедем дальше... К чужим людям горе мыкать.

Звонцов бросил вожжи и, не привязывая лошадь, прошел в сени. Сперва вынес седло и неполный мешок овса. Мешок поставил перед мордой жеребца и, пока тот ел, распряг его и приторочил на спину ему седло.

Потом спустился в подпол, достал бидон с керосином, вышел во двор. С подворья прошел в сарай — здесь было тепло и сумрачно. Вычеркнул спичку. В шатком мигающем свете увидел корову с телком, стоявших в углу, овец, брызнувших от него к дальней стенке,— те смотрели на него настороженно, недвижно и только хвостами дрыгали.

Почуяли, поди, зачем пришел... Ишь, как уши навострили. Вот и дожил, Федор... Злодеем обернулся для своей же скотины. Пришел, как вор, как душегубец, на собственный двор.

Звонцов залез по лестнице на сушилы, снял охапку сена, положил ее возле ворот и поджег. Ворота притворил, чтоб до поры огонь не заметили с улицы.

На пороге в сенях услышал тревожное мычание коровы, сердце больно сжалось и зачастило, отдаваясь где-то в глотке. Приостановился, простонал глухо, как раненый зверь... покачался, сцепив зубы... Но нет, не вернулся назад, пересилил себя, хлопнул избяной дверью, пошел на выход.

Маяк, накрытый тулупом, спокойно ел овес из мешка. Звонцов резко дернул за повод, оторвал лошадиную морду от овса, завязал мешок и кинул его на холку жеребцу. Ухватился за стремя и вдруг заметил санки. Мать перемать... Достанутся какому-нибудь риковскому начальнику. Ну уж, дудки!

Санки были беговые, с выносным полозом, с гнутыми железными копылами, с плетеным расписным задником. Игрушка — не санки. И чтоб такое добро оставить на улице?

Кряхтя и матерясь, Звонцов перелез через высокий тесовый забор на подворье, открыл наружные ворота, взял за оглобли санки и притянул их, прислонил к самому сараю. Там, в сарае, что-то гудело и потрескивало, вовсю бушевало пламя, бросая в щели притвора и в подворотню дрожащие багровые отсветы. Трубила протяжно корова, блеяли овцы, прядали, бились о дощатые стенки. Звонцов, пятясь задом, словно с перепугу, вышел с подворья, закрыл за собой наружные ворота, прыгнул в седло и вылетел из села галопом.

2

Прокопа Алдонина забрали вечером, в тот самый момент, когда он собирался как следует поработать — порастолкать да попрятать куда подальше свое добро, чтобы встретить утречком ранним незваных гостей. Что гости нагрянут, знал наверняка — Бородин шепнул ему. Позавидовал Прокоп Сеньке Дубку, церковному старосте,— тот загодя все растащил. Когда забирали отца Афанасия, Семен в церковь проник — у него ключи вторые были — и за ночь обчистил ее за милую душу. Утром власти явились — опись составлять. Где церковная утварь? Позвать сюда старосту! Привели Дубка. А я

почем знаю, говорит. За нее поп отвечал. Дело было осенью, ни следов не оставил, ни примет. Поди докажи...

А утварь была богатая — один крест чего стоил! Золотой, с дорогими каменьями. Ваза серебряная, крапильня. А сколько блюд дорогих! И деньги были...

«Семен — атлёт. Заранее все учуял. А я ушами прохлопал»,— с досадой думал Прокоп.

Когда узнал он, что его громить будут, как на чужих ногах, еле до дома дошел. Хоть посреди улицы ложись и вой. Матрена — баба сырая — и так нерасторопная, а тут — села на скамью и ни с места. Только глазами хлопает да носом шмыгает. «Куда все девать? Что делать?» — спрашивает Прокоп. «И делать нечего, и деваться некуда. Одно слово — конец приходит решающий...» — «Ну, нет! Не на того напали...»

Прокоп запряг лошадь и по-темному, через задние ворота, вывез на одоньи двигатель и зарыл его там в солому. Успел ружья спрятать в наружную защитку сарая, чтоб легче взять, ежели из дома выгонят... Хотел еще сундук Андрею Ивановичу свезти, да лошадей отогнать в Климушу, другу-однополчанину, да хлеб зарыть в сарае...

И вдруг — пришли вечером, Якуша науськал: «Прокоп за ночь и добро растащит, и сам сбежит». Ашихмин с Левкой Головастым свели его в пожарку под охрану Кулька. В пожарке встретили песней:

Идет, иде-о-от наш ненагляа-а-адный
И хрен воротится на-зад...

В пожарке на голой кирпичной стене висел фонарь «летучая мышь». Возле пожарных бочек, прямо на полу, на сене расположилась арестантская братия — человек десять тихановских мужиков.

Охранявший их милиционер Кулек сидел тут же, на бочке. Арестованных баб держали отдельно, в хомутной, под замком.

Главный пожарный, он же и клубный вахтер, а теперь арестованный Макар Сивый, пек картошку в горячей золе, выкатывал ее из грубки в широкую, как лопата, ладонь и, перебрасывая с руки на руку, приговаривал:

— Ну, кому с пылу с жара от архангела Макара?

— В преисподней не архангелы прислуживают, а черти,— мрачно сказал Прокоп.

— Ишь ты, какой апостол кислых щей! — удивился

Макар.— Нет тебе святого причастия. Держи, Андрей Иванович! — и бросил картошку Бородину.

Кроме Андрея Ивановича тут были Четунов, Вася Соса, Тарантас, Бандей, Барабошка и Андрей Кукурай. Сидели больше всё отказчики — одни отказались идти кулачить, другие — излишки сдавать. Кукурай за хулиганство попал — вымазал дегтем ворота Зенину. А Мишку Бандея забрали сразу по двум статьям: на заем не подписался и лыжи навострил — поймали возле кладбища, на паре ехал. «Ты куда?» — «К свату на крестины, в Гордеево».— «А рожь на пропой везешь?» — «Рожь на мельницу».— «Ты что, ай позабыл, что все мельницы закрыты?» — «А хрен вас знает. У вас семь пятниц на неделе».— «А ну, заворачивай оглобли!»

Рожь отвезли на ссыпной пункт, лошадей оставили на бывшем поповом дворе, а Мишку в пожарку проводили. Поймали его Чубуков с милиционером Симой; Сима на повозку сел, а Чубуков наганом подталкивал Бандея — ступай, говорит, веселее, не то люди подумают, что ты не по своей охоте рожь сдаешь.

Бандей матерился на всю пожарку:

— Мать твою перемать!.. Олух я царя небесного! Большаком поехал, а! Надо же! Не голова, а чурка с глазами.— И бил себя ладонью в лысеющую голову.— Надо бы мне, дураку, по той стороне оврага, поповым полем... Не то бы свез Пашенковым... Лучше в карты проиграть.

— Садись, Прокоп Иванович! — потянул Алдонина за полу полушубка Бородин.— В ногах правды нет.

— Еще насижусь, Андрей Иванович! Ты-то как здесь очутился?

— По ордеру... Отказался идти кулачить.

— Не пойму, что за балаган? — сказал Прокоп, качая головой.— Ладно, меня кулачить собрались, ты отказался кулачить. А вон Кукурая зачем сюда притащили?

— Я Зенину на воротах «анчихриста» написал дегтем,— вскинул тот подслеповатое лицо.

— За религиозную пропаганду пошел? — усмехнулся Бородин.

— Кукурай идет по политической линии,— отозвался от печки Макар, дуя на очередную картошку.— Его бы надо к бабам в хомутную, поскольку он с ними заодно, за церкву страдает. Да бабы отказались пущать. Сперва, говорят, охолостите его. А у нас коновала нет.

— Нащет политики прошу не выражаться,— строго предупредил с бочки Кулек.

— А ты не имеешь права разговаривать, поскольку на посту стоишь! — крикнул Бандей Кульку.

— У меня такое право — что хочу с тобой, то и сделаю,— сказал Кулек.

— Ты? Со мной? Да плевал я на тебя. Он сделает, что хочет?.. Да ты даже выгнать меня отсюда не имеешь права. Это я захочу — и начну вот над тобой изгиляться, а ты меня не выгонишь...

— Э-э, как она, как ее... Мужики, хватит ругаться. И так тошно.

— Андрей Митрич, а тебя пошто приволокли? — спросил Прокоп Барабошку.

— Не говори и не спрашивай...— Барабошка только рукой махнул, но после паузы с жаром заговорил: — Э-э, как она, как ее... Подлец Якуша Ротастенький, какой подлец!.. Доказал на меня, будто я прячу кирпич артельный в сарае тестя. Но какой же он артельный? Когда еще выкупил я его! Спросите, говорю, Успенского или Алдонина, они подтвердят. А мне говорят: те элементы лишены голоса. Их показания недействительны.

— Они всем глотку затыкают,— сказал Вася Соса.— Сами дерут и сами орут.

— Э-э, как она, как ее... Смеются! Сарай, говорят, тестя, кирпич артельный, а ты вроде за сторожа. Я берег его на дом, говорю. Не слушают: артельный кирпич, и все тут. Так и отобрали. Зенин приехал, Ротастенький да Ванятка Бородин. А мне, значит, в насмешку суют бумагу: подпиши, говорят, что добровольно сдал кирпич. Такое зло взяло... Плюнул я в рожу Зенину. Вот за это и забрали меня.

— Ротастенький — вор отпетый... А Ванятка Бородин... Мать его перемать! — заскрипел зубами Вася Соса.— Не при тебе будь сказано, Андрей Иванович... Все ж таки он тебе братец. Ему бы не только яблони посечь — голову оторвать и бросить в болото.

— Попрошу прекратить выпады нащет политических угроз! — повысил голос Кулек.

— Да пошел ты к...— Вася выругался, опять скрипнул зубами и стукнул пятерней себя по коленке.

— Что Ванятка? Не в нем суть. Не сивый мерин, так чалый найдется. Все равно запрягут и поедут,— отозвался Бородин.— Ты соображай про тех, которые погоняют.

— Нет, мил моя барыня! И те, кто погоняют, и те, которые везут,— все виноваты,— живо отозвался Тарантас.— Мы вот здесь за что с тобой сидим? А за то, что телегу отказались везти с конфискованным добром. Вот если б все в один голос отказались, тогда б небось они б запели лазаря, эти погоняльщики.

— Да, тасуют нас, как колоду карт; кто против кого ляжет, тот того и за глотку берет,— сказал Андрей Иванович.— Сплошные черви козыри. Эх, воля-воля, всем горям горе, как говорил Иван-пророк, подойдет время — взыграет собачье семя. Вот оно и взыграло, и грызем друг друга...

Прокоп сел на корточки, прислонясь спиной к колесу пожарной повозки, вынул кисет, стал скручивать «козью ножку». К нему живо потянулись со всех сторон:

— Дай-кать затянуться.

— Не жизня — тоска зеленая.

— Что ж вы на дармовщину-то летите, как мухи? Ай свой табачок бережете?

— Вы-ыкурили! — отозвался за всех Макар.— Только и смалят махру да языками чешут.

— А чего ж делать? Каб работа была...

— Скажи спасибо, что печь топится. Вытягивает. Не то бы мы все здесь от табачного дыма задохнулись.

— А вот, мил моя барыня, кабы за стол мужика посадить энтим начальником. Скольки бы табаку он высадил за день?

— Фунт!

— Кило!

— Полпуда!!

— Насчет веса не скажу в точности... Но жалованья на табак не хватило бы.

— Женшшыны, как мухота, задыхались бы.

— Га-га-га!..

— До смеху ли теперь? — в сердцах сказал Прокоп и плюнул.— Глупый народ!

— Ото́ верно, Прокоп Иванович,— согласно кивнул Тарантас.— Здесь всё глупцы сидят, которые отказались. Умные на печке спят, а завтра пойдут кулачить.

— Прижмут — пойдешь... Куда денешься... как она, как ее... Не один, так другой.

— А что мне другие? — вспыхнул опять Вася.— Я не хочу грех брать на душу, понял? А ежели завтра заставят

тебя бить? Бить меня, к примеру? Ты чего ж, станешь бить? Чего молчишь?

— Что ты пристал к нему? — осадил Бородин Васю Сосу. — Доживем до завтра и увидим, кто кого бить станет, а кто и сдачи даст.

— У нас сдачи? Ну нет, мил моя барыня... Были мужики... А теперя не народ, а телята комолые. Их с одной палкой куда хошь загнать можно.

— Хотел бы я посмотреть, как ты палкой детей моих погонишь из дому! — покрываясь багровыми пятнами, зло проговорил Прокоп.

— А что ты сделаешь? — спросил Тарантас, угрюмо глядя на Прокопа и тоже накаляясь внутренним жаром до красноты на скулах.

— Застрелю как собаку! — сорвался на фальцет Прокоп и дернул пальцем, словно его ожгло.

Кулек, успевший задремать, при этом пронзительном окрике спрыгнул с бочки и, ошалело ворочая белками, не понимая, кто и что говорил, рявкнул сразу на всех:

— Ма-а-алчать! Не то всех пересажаю!..

— Куда? На бочку, что ли? — спросил Бородин, и все загоготали.

Прокоп встал от колеса, с видного места, и прошел в угол за печку, а Кулек снял с головы синий шлем и стал закатывать тряпичные уши, чтобы лучше слышать, потом водрузил его на самую макушку.

— Прекратите разговоры! — наконец изрек он, снял с передней стенки фонарь и отнес его, повесил над входной дверью. Теперь на мужиков падала громадная тень от повозки с бочкой, и они задвигались, зашуршали сеном, укладываясь на сон грядущий.

Прокопу спать не хотелось. Поначалу досада брала: эко сорвался! Как мальчишка сопливый. И Тарантас тут ни при чем. Был бы он подлецом, небось не сидел бы в пожарке. Чего же на него яриться? И тем не менее мысль, что все, мол, трусы паршивые, так в упор брошенная в лицо ему Тарантасом, была обидной и такой неотступной, хоть кричи. А что ты сделаешь, когда и в самом деле твоих детишек, как поросят, с визгом и гоготом станут ловить по дому и таскать в сани под охрану милиционеров? Будто кто и в самом деле спрашивал его и в уши дул: «Ш-што-о? Ш-што-о?» — так все шумело в них и жухало в висках, и грудь теснило до тошноты. Васька Сноп рассказывал, будто у Квашнина

ребятишек прямо из кровати таскали, одеться толком не давали, завертывали в тряпье — и в сани. А чтоб не кричали — конфетки в рот совали. Погремушками гремели перед теми, которые сопли не умели подтирать. Ай-я-яй! До каких страстей дожили? Вот подгонят утречком подводы, всю его шатию с Матреной во главе посадят и увезут, а ты здесь будешь сидеть, как бугай в загоне. Ори — не ори, хоть на стенку кидайся, кто тебя тут услышит?

И чем дальше думал он про это, тем невыносимее казалось ему теперешнее положение, но как выйти из него? Как сбежать отсюда? Окна были под железной решеткой, дверь в воротах заперта на здоровенный замок — ключ у Кулька. Тот ходил, как заведенный, перед воротами и чертил острой тенью от шишака шлема по стенам и потолку. Только заворочайся — он сразу заорет во все горло и всех подымет на ноги. Не токмо что спать — ни лежать, ни сидеть не хотелось. И все клял себя за ротозейство. Ведь смог бы, смог попрятать, пораспихать кое-что. Авось вернутся еще? Что-то, глядишь, и уцелело бы. А теперь что? Выведут голеньких из дому и все добро порастащут. А вернешься — где искать? С кого спрашивать?

Так и ворочались его тяжкие думы вокруг дома, как мельничные жернова; и он, все так же, сидя в углу за печкой, уронив голову на грудь, забылся уже под утро, после вторых петухов. Ему снилось, что они с Матреной в подвенечном платье подымаются на церковную паперть. Народу кругом, как на празднике каком, и все разряжены, шумные, веселые. И на него пальцем показывают да смеются. «Вот счас его женят, вот женят!» — кричат все. Растворяются железные врата, а там не храм божий, а какой-то сарай, и печь топится. Макар Сивый, грязный как черт, лопатой угли выбрасывает на пол и смеется. «Становись! — говорит.— Мы те счас обвенчаем». Он глянул себе на ноги — и с ужасом увидел, что стоит босым. Бежать! Ноги не слушаются. А его подталкивают прямо на горячие угли. «Становись, становись! — кто-то приказывает ему.— Привыкнешь...» Он глянул на Матрену, а это, оказывается, Якуша с ним стоит и подмигивает ему... Давай, давай! И тоже толкает его на угли...

Разбудил его скрип отворяемой двери. В заснеженной шапке, в белых бурках стоял на пороге Возвышаев и громко спрашивал:

— Сколько арестованных?

— Так что девять человек,— по-солдатски отвечал Кулек.

— Всех поднять!

Кулек хлопнул пятерней о бочку и крикнул:

— Подымайсь!

Вставали нехотя, кряхтя и матерясь, кривя рожи, прикрываясь от света кто ладонью, кто шапкой.

— Попрошу не выражаться! — крикнул опять Кулек.

— Что, недовольны ранней побудкой? — спрашивал Возвышаев, прохаживаясь перед мужиками.— А ну, построиться!

— Разберись по порядку! — скомандовал Кулек.

Мужики растянулись в кривую шеренгу; справа стоял Бородин, слева замыкал ее Прокоп Алдонин. Возвышаев, сунув руки в боковые карманы полушубка, поднимаясь на носки, слегка покачиваясь, как петух перед тем как закукарекать, спросил:

— Ну как? Хорошо ночевали? — И, презрительно усмехнувшись, что никто не отвечает, изрек: — Ишь ты, какие невеселые!.. Ничего, мы вас сегодня развеселим. Которые петь с нами не хотят и другим не велят, мы их ноне соберем и отправим куда подальше.

— Лиха беда начало,— отозвался Бородин.— У нас был такой мужик, по прозвищу Иван-пророк. Так вот, когда его брали, он и сказал: сперва нас возьмут, которые покрупней, потом и до вас дойдет очередь, до мелочи пузатой.

— Ты на что это намекаешь?

— А чего мне намекать! Я про Ивана-пророка говорю. А он русским языком сказал, без намеков: сперва нас возьмут, потом вас!

Вынув правую руку из кармана, сжав ее в кулак и потрясая им в воздухе, Возвышаев крикнул:

— И я тебе скажу без намеков, кулацкий подпевала, пока до нас доберутся, мы вас всех передавим, как клопов.

— Полегче, гражданин начальник,— сказал Прокоп, буровя глазами Возвышаева.— Я всю гражданскую проломал. В восемнадцатом году землю делил. А теперь неугоден для вас? Теперь меня в расход?

— Ты землю делил по поручению левых эсеров. Они тут хозяйничали весной восемнадцатого.

— Дак я их сюда приглашал? А? В ту пору они с вами

заодно были. А теперь мы, мужики, и виноваты? Значит, нас в расход? — распалялся Прокоп.

— Осади назад! Никто тебя в расход не пускает. А ежели имущество заберут, так поделом тебе. Поменьше хапать надо.

— Я его где нахапал? Вот оно у меня где выросло.— Прокоп стукнул себя по загорбине.— На горбу нажито! Имейте в виду: на чужое позаритесь — свое потеряете.

— А нам терять нечего,— холодно ответил Возвышаев.

— Это верно. У иных даже совести нет.

— Чего, чего? Ты это про кого?

— Про барина своего, который на худое дело людей подбивает. Вот ему-то есть чего терять.

— А ну, заткнись! — цыкнул Возвышаев.— Довольно! Поговорили. Ступайте по домам и помните — за отказ властям будем и впредь карать жестоко. И не на ночь забирать... Сроки давать будем. Хватит шутки шутить. Время теперь боевое. Революцию никто не отменял.— И, показав рукой на дверь, пропускал всех мимо себя, считал, как баранов. Последнего, Прокопа, приостановил: — Приготовьте угощение, Алдонин,— сказал с улыбочкой.— Гости придут.

— Встречу горячими блинами,— мрачно ответил Прокоп.

3

Шел торопливо по ночной притихшей улице, резко скрипел под валенками снег, да кое-где со дворов лениво тявкали собаки, но даже из подворотни не высовывались — глухая пора, самый трескучий мороз и сладкий предутренний сон.

При виде своего крашенного суриком пятистенка Прокоп взялся за грудь — в левой стороне больно кольнуло и тягостно заныло, отдавая куда-то, не то в позвоночник, не то в лопатку. Три горничных окна, выходившие на улицу, тихонько светились неровным светом, словно падал на них переменчивый отблеск далекого костра. Свечка горит на божнице, сообразил Прокоп. Лампаду не зажигали в последнее время — деревянное масло пропало. А свечка горит неровно — вечно на нее дует откуда-то.

Дверь открыли сразу. И по тому, как Матрена была одета и обута во все верхнее и теплое, Прокоп понял —

не спала. В доме, у порога, прильнула к нему, упала головой на плечо и тихонько завыла, причитая тоненьким голоском:

— Ах детушки наши, несчастные сиротинушки. Пропадут они совсем, пойдут по миру... Заберут от нас тебя, Прокопушка, сведут со свету-у...

— Ты чего отпеваешь меня, мать?

— Ой, Прокопушка, милай!.. Заберут тебя, забе-еру-ут. Санька Рыжая приходила ночью. Говорит, Прокопа в тюрьму отправят. А вас всех скопом на чугунку... А что я с ними делать буду? Я ж растеряю их в дороге-то... Господи, господи! За что ты нас предаешь на муки смертные?

— Постой, постой...— Прокоп, стараясь освободиться от цепких объятий жены, чуял, как боль в левой стороне груди все нарастает, словно кто туда сунул раскаленный жагал. «Как бы не свалиться ненароком,— подумал он,— вот будет катавасия!»

— Счас, я счас испью маленько. Что-то придавило меня,— он наконец освободился от жены, прошел в чулан к печке, задел ковш свежей воды из кадки, жадно выпил, перевел дух. Вроде бы полегшало...

— Что тут у вас?

Матрена, прикрывая опухшие глаза концом клетчатой шали, рассказывала:

— Сказали, что придут рано утром. Тебя посадят.— Опять, глубоко и прерывисто втягивая воздух, всхлипнула:— А ребят возьмут в чем есть. Я вот и одела их ночью... По два платьишка, да рубашонки, которые потеплее, натянула... Авось не станут их ощупывать.

Прокоп прошел в горницу — ребятишки, все пятеро, в шапках, в валенках, в шубенках и даже в варежках лежали поперек кровати, как мешки вповалку... У него вдруг задергались веки, перекосились губы и, ловя правой рукой теснивший ворот, поводя подбородком, словно желая вылететь из себя, он сдавленно произнес:

— Ладно... Я их встречу... мать их перемать!.. Все равно уж — семь бед, один ответ.

Он сходил во двор, достал из защитки ружье и вместе с патронташем повесил на косяк у наружной двери в сенях. Потом пришел в избу, разделся и сказал как можно спокойнее:

— Давай-ка, мать, позавтракаем. А то бог знает, когда и где обедать придется.

Пришли к ним еще до свету; дети спали, а Прокоп с Матреной, не зажигая огня, суетились по дому, собирая узелки на случай, если заберут,— Матрена увязала мешочек сухарей, два бруска сухого, пересыпанного крупной солью свиного сала, чулки шерстяные, варежки, детскую одежонку; узелков пять навязала, чтобы на случай сунуть каждому ребенку,— авось у детей малых не отберут, постыдятся. Прокоп же нарубил махорки и натолкал ее в узкий длинный мешочек, как в штанину. Еще хотел сбегать к Андрею Ивановичу, попросить ковригу хлеба на первую дорогу. Матрена оплошала — всю ночь суетилась да переживала, начисто позабыв, что хлебы кончились. Сунулся было Прокоп на крыльцо — и они тут как тут...

Шли гуськом посередине пустынной улицы, впереди Зенин в кожаной кепке, шел бойко, поскрипывая на снегу бурками, поочередно хватаясь варежкой за уши, за ним высокий погибистый рабочий из Рязани, одетый в сборчатку, с кобурой на бедре, потом Левка Головастый с картонной папкой под мышкой, Санька Рыжая в плисовом сачке мела снег подолом полосатой поньки, потом милиционер Сима в форме, и кто-то еще сидел на подводе...

Прокоп попятился в сени, прихлопнул дверь и запер ее на стальной засов. Дома прильнули с Матреной к окну и смотрели, затаив дыхание, как подтягивалась вся шеренга, огибая кладовую, сгруживалась у крыльца.

Наконец затопали по приступкам, застучали в дверь.

— Хозяин, открывай! — донесся звонкий голос Зенина.

Матрена метнулась к двери.

— Куда? — осадил ее Прокоп и, отступив от окна, процедил: — Не замай... Пускай чуток померзнут.

— Дак двери высадят...

— Я им высажу.

Постучав кулаком и ногами в дверь и не дождавшись никакого отзвука, Зенин подошел к окну и так грохнул в переплет, что звякнули, дребезжа, оконные стекла.

— Вы что там, повымерли все?

— Прокоп, открой! Стекла побьют,— сказала Матрена.

— А дьявол с ними. Они теперь не наши.

— Заходи от ворот!.. Чай, ворота не заперты,— бабьим голоском крикнул Левка.

И все потянулись к другой стороне дома, где вход в подворье преграждали высокие тесовые ворота с козырьком. Ударили медным кольцом о ворота, загремели щеколдой.

— Отворяй, или стрелять будем! — крикнул Зенин и вынул из кармана галифе наган.

— Стреляй, мать твою перемать,— выругался Прокоп, потом сходил в сени, вернулся с ружьем и подошел к окну.

— Прокоп, что ты, господь с тобой! — метнулась к нему Матрена.

— Отстань! — цыкнул он на жену.

Зенин выстрелил в тесовый козырек — пуля чиркнула по крыше, и с обреза козырька посыпалась снежная пыль.

— Ах ты гад! Напужать хочешь...— Кривя губы, Прокоп вскинул ружье и выстрелил в окно.

Раздался оглушительный грохот, со звоном посыпалось стекло, заплакали, закричали дети, и горницу наполнило белым удушливым дымом. Зенин с подручными сыпанули, как воробьи вразлет, и спрятались за кладовую. Лошадь, стоявшая у крыльца, взметнулась на дыбки и, азартно храпанув, бросилась галопом поперек улицы. Седок вывалился из саней и тоже спрятался за кладовой...

— Что ты наделал, отец? Что ты, господь с тобой,— подступала к нему Матрена, как к дитю малому.— В своем ли ты уме? Дай сюда пужалку-то! Дай сюда, говорю!..

Она взяла из вялых, трясущихся рук Прокопа ружье и выбросила его в разбитое окно. Прокоп, криво, виновато усмехаясь, вынул кисет и, просыпая на пол махорку, прыгающими пальцами стал скручивать цигарку. Давешняя боль, отступившая было под утро, опять стянула ему всю левую половину груди и сверлила, прожигала спину и лопатку... Он с трудом держался на ногах и все никак не мог слепить цигарку — во рту было сухо, и язык не слушался...

Между тем из соседних домов стали выходить люди. Зенин, размахивая наганом, закричал от кладовой:

— А ну, по домам! Или всех арестует конная милиция!

На улице и в самом деле появился верховой в шубе и с винтовкой через плечо; он подъехал к кладовой и стал совещаться о чем-то, наклоняясь с седла к Зенину и к рабочему в сборчатке.

Поселяне, опасливо поглядывая на верхового, держались поближе к заборам.

На крыльцо Алдониных вышла Матрена и крикнула:

— Заходитя в избу! Он не тронет. Ружье вон выбросили.

Из-за кладовой высунулись Зенин и рабочий в черной сборчатке.

— Пускай сам выходит на крыльцо! — крикнул Зенин.— Не то стрелять будем по окнам!

Матрена скрылась за дверью, а через минуту вышел и Прокоп; слегка покачиваясь, как пьяный, он стал спускаться по ступенькам, придерживаясь рукой за перила.

Направив на него наганы, подошли Зенин и высокий приезжий, за ними, опасливо ступая по снегу, приближались Левка и Санька Рыжая. Верховой, терзая лошадь удилами, помахивая нагайкой, стал наезжать на зевак — те бросились, как овцы, по дворам. Сима и ездок с подводы (а это был Максим Селькин) ловили напуганную лошадь с санями.

— Связать ему руки! — приказал Зенин.

Левка тотчас снял с себя ремень и подал его рабочему в сборчатке. Тот, положив наган в кобуру, сказал Прокопу:

— А ну, руки назад!

Заломив Прокопу за спину руки, он обернулся к Левке:

— Помоги связать!

И вдруг Прокоп, закатив глаза, вяло опустил голову и, подгибая колени, стал валиться прямо лицом в снег.

— Чтой-то с ним? — опешил рабочий в сборчатке.

— Отойдет,— процедил сквозь зубы Зенин.— Это он от жадности зашелся. Отнесите его на двор. Пусть охолонет. Да руки ему свяжите! Не то еще чего-нибудь выкинет.

Несли втроем. Прокоп был сух и легок, как старый петух. Положили его посреди двора на охапку сена, руки сложили на животе и связали Левкиным брючным ремнем. Потом вошли в дом делать опись и выпроваживать семью.

В доме было сумрачно и все еще пахло порохом. Дети сидели на печи, младшие дружно ревели. Матрена присела на приступок подпечника и тоже голосила. Один только Петька, подросток лет четырнадцати, крепился; он сидел на краю печки, свесив ноги, и хмуро смотрел на вошедших.

— Зажгите огонь! — приказал Зенин.

Санька Рыжая бросилась зажигать висячую лампу, а Левка по-хозяйски расположился в переднем углу за столом и раскрыл свою папку:

— С чего начнем опись?

— Подожди ты с описью,— сказал Зенин и, поглядев в окно, обрадованно произнес: — Ага, лошадь подогнали. Давай сперва помещение освободим.

— Куда ж вы нас на мороз-то выселяете, люди добрые? Али мы злодеи какие? Хоть малых детей пожалейте! Ахти! Боже наш милостивый!.. Заступница небесная!.. Вразумитя их, вразумитя! Не дайте погубить души невинные! — Матрена встала перед печкой, раскинула руки и заголосила пуще прежнего.

Зашевелились на печи, сбились в кучу, как ягнята, ребятишки и с отчаянными воплями отодвинулись в дальний угол. И только один Петька не тронулся с места; побледнев, как полотно, покусывая губы, он все так же сидел, свесив ноги и скрестив на груди руки.

— Ну, чего сидишь, как истукан? — крикнул на него Зенин.— Подавай сюда ребят!

— Не трогайте их! Не трогайте! — пронзительно закричала Матрена и стала биться головой о печку.— Ироды проклятые! Креста на вас нету... Душегубцы окаянные!..

В избу вошли Сима и Максим Селькин.

— А ну, взять ее! — приказал Зенин.

И четыре мужика, ухватив Матрену за руки и за ноги, поволокли на улицу. Но на крыльце идущий впереди Максим Селькин оступился, нырнул вниз по ступенькам и выпустил правую руку Матрены. В тот же миг Матрена мощной затрещиной отбросила прочь Левку и, обхватив руками за шеи Зенина и рабочего в сборчатке, съехала вниз по ступенькам, подмяв их всей тяжестью своего шестипудового тела. Разбросав их по снегу, отбиваясь, как медведица от наседавших собак, она поднялась на крыльцо и у самого порога упала, сбитая подножкой. Ее снова тащили волоком до самых саней...

— Детей ведите сюда! — хрипел Зенин, заламывая ей руки.— Куда? — остановил он Симу.— Держите ее... За детьми пусть идут Бородина и Федулеев.

Когда те пошли в избу, Петька уже стоял возле дверей, готовый к выходу; в руках, в охапке держал узелки, собранные матерью в дорогу.

— А это зачем? — ткнул в них пальцем Левка. — С собой ничего брать не разрешается.

— Еда здесь у нас, — сухо сглотнув, сказал Петька.

— И еду нельзя.

— Да ты что, ай очумел? — набросилась на него Санька Рыжая. — Им же до Пугасова ехать... Чай, не в гости на пироги едут! Забирай, забирай! И все выноси в сани. Там тебя мать ждет, — выпроваживала она старшего с узелками.

Потом взялась за малышей, все еще кричавших на печи:

— А кто вас обидел? Кошка? Ох, какая нехорошая кошка!.. А вот мы ей сделаем ата-та!.. Слезайте, слезайте смелее... Там вас мамка ждет. Поедете в новый дом. Здесь же вон — холодно. Окна разбиты. Здесь нельзя оставаться... Идите, идите! Вас мамка зовет.

Так и вывела всех, подбадривая, подталкивая, уговривая:

— Кататься поедем... Лошадка запряжена, хорошо-то как! И дом у вас будет новый. И никто вас там не тронет...

Когда детей усадили в сани, Матрена затихла, смирилась со своей судьбой, только трудно и шумно всхлипывала и вздыхала.

— Везите их до райисполкома, — приказал Зенин Симе. — Там в штабе скажут, куда ехать дальше...

— Куда ж вы хозяина дели? Ай в конюшне заперли? — спросила под конец Матрена.

— Не ваше дело, — ответил Зенин.

И, уже входя в избу, наказал Саньке:

— Сходи-ка, посмотри... Не удрал он?

И в доме, дуя на руки, с видимым облегчением сказал Федулееву:

— Вот теперь можно и опись составлять, — прошелся по избе, по горнице, глянул на висячее зеркало в деревянной резной раме, подмигнул себе и, удовлетворенный собственным отражением, изрек: — Лиха беда начало. Много добра колхозу отпишем. Все, что здесь есть, это теперь наше.

— Да здесь, кроме зеркала да деревянной кровати, и нет ни хрена, — сказал рабочий.

— А скотина, молотилка, кладовая?

— С чего начинать? — спросил Левка.

— Начинай с самого начала, с дома. Так и пиши:

пункт первый — дом пятистенный, красного лесу, на каменном фундаменте...

Его прервала Санька Рыжая, влетев на порог, часто дыша, как от дальней пробежки, она сказала с ужасом на лице:

— Мё-ортвай он! Мёртва-ай! И глаза застекленели, и руки холодные... Батюшки мои! Что ж мы наделали?

— Ничего особенного. Одним классовым врагом стало меньше,— спокойно возразил Зенин.— Ступай в райштаб, доложи Ашихмину... Пусть пришлет фельдшера, чтобы акт составить.

— А ты куда? — крикнул на вставшего из-за стола Левку.— Ты сиди, сиди... Опись надо составлять. У нас с вами дела неотложные. Нас никто от них не освобождал.

4

Поскольку число кулаков в Тиханове перевалило за плановую цифру, утром сколотили еще одну группу по раскулачиванию, четвертую: из группы Чубукова взяли Кречева, из тяпинской — Ванятку Бородина да подключили к ним Василия Чухонина, Семена Жернакова и Тараканиху.

Последней троице поначалу было обещано чужое село, поэтому они упирались:

— Не пойдем трясти своих... Тады нам в глаза наплюют.

— Кто? Классовые враги? — спросил Возвышаев.

— Дык для тебя они классовые, а для нас хоть и поганые, а все ж свои,— ответила Тараканиха.— И в поле вместе, и в лугах, и на посиделках, и на сходах, а теперь трясти?

— Вы что, не понимаете, какой исторический рубеж подошел? Мы входим в новую эру... Великий перелом начинается! А посему всех эксплуататоров к ногтю. Всех! И своих, и чужих... Они все одинаковые — с черным нутром.

— Насчет черного нутра и великого перелома мы не против,— сказал Биняк.— Только давайте мы пойдем трясти чужих чернонутренних. А наших пущай кто-нибудь из вас идет.

Сошлись на том, что эта группа пойдет кулачить на Выселки братьев Амвросимовых и Черного Барина. А уж

по дороге им навязали фотографа Кирюхина. Жил он в Нахаловке, возле Андрея Ивановича Бородина. С него и начали...

Но случилось так, что милиционер Кулек, сопровождавший эту группу на подводе, уехал раньше в Выселки. За ним послали верхового с приказом ехать в Нахаловку и ждать всю группу возле дома Кирюхина. Кулек вернулся в Нахаловку и остановился напротив Андрея Ивановича Бородина, поджидая все свое начальство посреди дороги. Уже развиднелось — и подводу, и человека в санях хорошо было видно из окон. Люди припадали лбами к оконным рамам, находя проталинку в оконном стекле.

Надежда первой увидела эту страшную подводу с милиционером напротив своего дома и обомлела:

— Андрей, да ведь это они к нам! Батюшки мои, куда деваться? — всплеснув руками, ринулась от окна Надежда и бестолково засуетилась по избе, сняла с ребра печного ключ от кладовой, сперва спрятала его в нижнем кармане кофты, потом отнесла в горницу, сунула под перину.

Андрей Иванович, еще толком не успевший прийти в себя после ночевки в пожарной, испуганно метнулся к окну и, побледнев до синевы на скулах, глазел сквозь оконную проталину на подводу с милиционером, как кролик из клетки на подоспевшего барбоса,— бежать бы, да некуда. Услыхав, как хлопнула дверью вышедшая из горницы Надежда, спросил:

— Может, они за сундуком Семена Дубка?

— Дак он же пустой!

— Как пустой? — оглянулся Андрей Иванович.

— Забрали добро... Ночью ноне приходили Лукерья Тычка и Лёня Горелый. На двух салазках увезли.

— А Семен что? — спросил Андрей Иванович, повышая голос.

— Что Семен? Поди Лукерья-то женой ему доводится,— ответила Надежда.— Как-нибудь дома промеж себя разберутся.

— Промеж себя! А про нас позабыла? Ежели Семен покажет, что сундук к нам отвез? Энтот все может. Как быть тогда? Ведь не пустым же, скажут, привез он сундук в кладовую? Церковную утварь ищут. Понимаешь ты, голова два уха?

— Да плевала я на вашу утварь! У меня и без нее голова кругом пошла. Или ты позабыл, где ночевал-то?

— Сказала бы им, чтоб и сундук забирали. Зачем они его оставили?

— Дался тебе этот пустой сундук! Ты об своем добре-то подумай, пустая голова. Вот они нагрянут сейчас — и все пропадет. Ведь ничего убрать не успели!

Андрей Иванович глянул с опаской в окно и выругался:

— Ах, мать перемать! Это Возвышаев прислал в отместку мне за Ивана-пророка,— высказал он новую догадку.

— Какого еще Ивана-пророка?

— Да Куриного Апостола... Возвышаев говорит: ноне всех заберем, которые элементы чуждые. Ну, я и скажи ему энти слова Ивана-пророка: сперва вы заберете, а потом и вас заберут. Он и взбеленился.

— Язык тебе мало отрезать. Вечно ты суешься с ним куда не надо. Что теперь делать?

Кулек меж тем вылез из саней и стал оправлять сбрую на лошади, поглядывая в сторону сельсовета, откуда должна была подойти вся боевая группа.

— Ей-богу, к нам! — упавшим голосом сказал Андрей Иванович.— Вон, поглядывает — остальных поджидает.

— Что ж теперь, выселят нас? — Надежда, опираясь руками о подоконник, глядела на эту подводу, на милиционера с испугом и азартным вниманием, как ребенок на огонь.

— Насчет выселения вроде бы постановления не было,— отозвался Андрей Иванович, тоже глядевший с напряжением на Кулька.— Но скотину могут описать. Потом отберут.

— Тогда эта... Чего ж ты стоишь? Ступай на двор! Может, чего-нибудь успеешь убрать.

— И в самом деле. Чего я как ополоумел? — отрываясь от окна, сказал Андрей Иванович.

Схватив с вешалки полушубок, кинув на голову шапку, одеваясь на ходу, сказал от порога:

— В случае чего, ежели нагрянут... Ты задержи их в избе. Я скоро обернусь.

Вышел на заднее крыльцо. Не успел опуститься по ступенькам, как сбежались куры и гуси с кагаканьем, с хлопаньем крыльев, с шипением и кудахтаньем, лезли друг на друга, клевали, щипали, преграждая дорогу и себе, и хозяину. Гусей в зиму пускали две партии — три пестрых гусыни с приземистым короткошеим задиристым

гусаком тульской породы и четверку белых шишконосых голландских гусей с длинными шеями и тяжелыми, почти по земле таскавшимися подгузками. Да два десятка кур с петухом. Прожорливая горластая орава! Обычно, выходя на двор, Андрей Иванович всегда выносил для них в кармане какие-нибудь обсевки или ухобот — вот и привыкли встречать его толкотней да гомоном.

— Ну-ну, пошли прочь! Не до вас...— расталкивал он эту подвижную горластую толчею.

Возле дровосека взял топор, прошел в сарай. С пронзительным скрежетом раскрылись ворота. Андрей Иванович невольно вздрогнул и оглянулся назад, потом выругался про себя... Своих ворот испугался!

В утренней су́темени по плетневым закуткам и бревенчатым хлевам стояла и кормилась вся его скотина. Обе лошади ели месиво в желобе и, помахивая хвостами, поочередно оглянулись на хозяина. С досадой подумалось: «Прохлопал ушами, растяпа... О двух лошадях остался. Каждому громиле на зависть. Да и какую продавать? Рыжую? В работу — жаль... На выезды ежели? Да кто теперь возьмет? И Белобокую не продашь. Сколько еще протянет рыжая Веселка? Три-четыре года?»

Заметив в руке топор, пошел к яслям, где стояли овцы и корова с телком. Кого забить? Овцы сукочие, бокастые... Каждая по двойне принесет. Телка́ ежели?

Увидев хозяина, тот мотнул головой и побежал ему навстречу. Совсем недавно, в рождественские морозы, брали его в избу, поили из ведра... Вместо сиськи палец совали ему и так, с пальцем, толкали мордашку в ведро с пойлом... Трехнедельный младенец. Чего тут резать?

— Ме-е-е! — мокрогубый полез целоваться.

— Эх ты, жисть окаянная! — скрипнув зубами, Андрей Иванович глянул на топор, оттолкнул телка и вышел на подворье.

Хваткий приземистый гусачок-тулячок тут как тут — первый встретил хозяина и с назойливым лопотаньем полез ему в ноги.

— Да пошел ты! — оттолкнул его Андрей Иванович.

Потом неожиданно поймал за шею, поднес его к дровосеку и с хаканьем отсек голову. Затем порубил головы трем пестрым гусыням, отнес их в хлев и привалил в самом углу свежим плитняком навоза.

— Андрей! — встретила его на подворье радостным окриком Надежда.— Оказывается, это не к нам... Соседей кулачат. Кирюхиных!

Андрей Иванович приостановился, словно лужа перед ним была, и с удивлением глядел на жену.

— Господи! Чего у них брать-то? — и вдруг рассмеялся, сгибаясь в поясе.

— Ты что это, ополоумел? Чужой беде радуешься?

— Да не в том дело... Над собой я... Ты знаешь, что я сделал?

— Что ты сделал? — холодея, спросила Надежда.

— Партию гусей зарезал и в навоз закопал.

— Каких гусей?

— Тульских.

— Ах ты, балбес!.. Лучше бы голландских. Тульские гусыни и неслись хорошо, и всех гусенят выводили...

— Ладно, в другой раз голландских порешим...

— В другой раз нам самим головы отсекут и в навоз кинут.

— Не каркай с утра пораньше...

Так, перекоряясь, вышли на улицу. Возле кирюхинского палисадника стояла давешняя подвода, но Кулька в ней не было. И хозяева, и приезжие толпились в воротах, никак не могли договориться.

— Вот постановление на конфискацию вашего имущества. Понятно? — Кречев совал бумагу хозяевам.

Но те не брали ее. Антонина Васильевна, женщина властная, толстая, загородила собой, как телега, весь проход, важно качала головой и твердила заведенным голосом:

— Нас дело не касается, поскольку мы кустари-одиночки. У нас паспорт, заверенный властями и под круглой печатью.

— Правду мать говорит, правду,— согласно кивал фотограф Яков Парфеныч, сутулый мужик с желтым и сухим лицом.

— Дак пойдемте в избу, там и разберемся! — настаивал Кречев.— Не то еще простудитесь. Вон как легко одеты!

На Антонине Васильевне была шубная безрукавка и черные стеганые чувяки, а Яков Парфеныч стоял в обрезных чунях на босу ногу и в черном легком пиджачке, обтянувшем его острые выпиравшие лопатки.

Меж тем на улицу вышли соседи: Маркел с Фросей, через дорогу топал в лаптях Ванька Вожак, жуя и застегиваясь на ходу.

— Ладно, взайдем!—согласилась наконец Антонина Васильевна.—Но пусть пройдет с вами вместе и народ.

— Какой народ?—спросил Кречев.

— Который здесь собрался... Чтоб обману от вас не было.

— Ну что ж, пусть идут,—нехотя согласился тот.

Андрей Иванович, переглянувшись с Кречевым и Жернаковым, отвалил домой, а Надежда, напротив, охотно пошла к соседям. За ней потопали Маркел с Фросей и Вожак.

В небольшой, но опрятной, надвое перегороженной избенке фотографа стало тесно от людей и остудно.

— Я вам официально заявляю,—перешел на строгий тон Кречев,—ежели ф вы будете оказывать сопротивление насчет конфискации имущества, мы вас арестуем и отправим в милицию.

— А какое такое имущество вы станете отбирать у нас?—спросила с вызовом Антонина Васильевна.

— Всякие драгоценные вещи, золотые то есть, а также фотографические аппараты. Имеются ли у вас драгоценные вещи?

Никаких драгоценных вещей у Антонины Васильевны отродясь не бывало, но признаться в этом перед властями и перед соседями ей казалось стыдно—могли бы подумать, что весь заработок фотографа она просто проедала и проматывала на курортах. Ни скотины, ни двора, избенка на восемь аршин и четыре окна, правда, были хорошие теплые сени да еще остекленный сверху и с боков просторный коридор, в котором работал Яков Парфеныч. Куда деньги девала, спросят. Ведь к Якову Парфенычу каждый базарный день шли посетители, что в твой трактир. И Антонина Васильевна, важно поджимая сочные вишневые губы, сказала:

— Золотишко у меня, конечно, есть, да не про вашу честь. Ищите!..

— Имейте в виду, ежели обнаружится тайное укрытие, вина ваша усугубляется,—предупредил Кречев.

— Ищите, ищите!—уже войдя в азарт, с пылающим румянцем во все щеки, королевским жестом растворяя руки, говорила Антонина Васильевна.

— Тут ни токмо что искать, повернуться негде,— хмыкнул Биняк.

— Поглядите в комоде, в сундуке... На чердак слазайте,— приказал Биняку и Тараканихе Кречев, потом Ванятке: — А ты сходи в баню... в каменке посмотри как следует. А ты в подпол слазай! — это Жернакову приказал.

— А мне что делать? — спросил Кулек.

— Ты его в сортир пошли,— сказал Маркел Кречеву.— Пущай понюхает, как у них золото пахнет.

— Молчать! Вас пустили сюда хулиганить?

— Кто фулиганит, а кто и смотрит.

— Это кто ж по-твоему хулиганит? Мы, что ли?

— Я ничего такого не говорил.

— Вот и заткнись!..— и потом хозяину: — Яков Парфеныч, где у вас фотографические аппараты?

— В павильоне.

— Проводите нас туда! — Кречев махнул рукой Кулько и они вдвоем пошли за хозяином.

Один аппарат стоял на треноге посреди коридора, второй лежал в черном футляре возле стенки.

— Так... Значит, оба аппарата и треногу мы у вас забираем.

Худое длинноносое лицо Якова Парфеныча еще более вытянулось:

— Как — забираете? А чем же я буду работать?

— Обращайтесь в райисполком. Там скажут.— Кречев вынул из планшетки заготовленный акт конфискации фотоаппаратов, положил оба экземпляра на столик.— Вот, распишитесь... Значит, претензий насчет грубости у вас нет?

— Какие могут быть претензии? — растерянно пролепетал фотограф.— Я только насчет аппаратов.

— Вот и чудненько! Возьмите один акт себе... Так... И еще вот что учтите... В течение двадцати четырех часов вы должны очистить помещение.

— Какое помещение?

— Вот это самое. Ваш бывший дом. Поскольку выселять в отдаленные места вас не станут, значит, вы имеете право забрать все, что хотите. Считайте, что вам повезло.

— А куда ж нам итить?

— Куда хотите. Проситесь на квартиру. А ваш дом пойдет под заселение.— И, обернувшись, крикнул Кульку: — Бери аппараты!

Кулек подошел к треноге, ухватил ее, как связку жердей, и взвалил на плечо, аппаратом за спину.

— Да кто ж так с аппаратом обращается? — всплеснул руками Яков Парфеныч.— Это ж оптика! Вы имеете дорогую вещь... Дайте сюда!

Он снял у Кулька с плеча треногу, ловко отвинтил аппарат, уложил его в ящик и спросил с готовностью:

— Куда нести?

— В сани! — приказал Кречев.

Яков Парфеныч сам отнес оба аппарата в сани, переложил их сеном, чтоб не бились друг о друга, и все приговаривал:

— Оптика — вещь хрупкая. Она требует к себе мягкого обращения.

— Вот чудак-человек! — усмехнулся Кулек.— Тебе-то от того какая выгода? У тебя же их отобрали! Насовсем отобрали, понимаешь?

— Отчего ж не понимать,— отвечал Яков Парфеныч и жалко улыбался.— Авось еще возвернут.

— Ага, возвернут, после дождичка в четверг...

— Ты вот что, отвезешь в райштаб аппараты и валяй прямо на Выселки, к дому Матвея Амвросимова,— сказал Кречев.— Здесь больше делать нечего.

— А вдруг золотишко отыщется? — осклабился Кулек.

— В кармане унесем. Езжай!

В сенях Кречева встретили гомоном и смехом столпившиеся бабы и мужики.

— Вы чего тут, или нашли что?

— Тонино золото. Вот оно, смотри,— сказал Биняк, указывая на две кучи странных предметов.

Приглядевшись, Кречев увидел целый ворох опаленных овечьих ног и еще кучу драных шерстяных чулок и носков.

— Это что такое? Откуда?

— С чердака скинули,— сказал Биняк.— Это ж надо! Шестьдесят четыре ноги. Шашнадцать баранов с осени съели.

— Батюшки мои! Они их, чай, живьем глотали...

— Яков Парфеныч, а вы их, случаем, не на мыло перегоняли, баранов-ти?

— Дак ведь гостей много бывало... Каждый базарный день все гости,— смущенно оправдывался Яков Парфенович.

— А чулки драные тоже гости вам набросали?

— А може, черти в них бегают по чердаку-то?

— Эдак на чертей да на баранов век не наработаешься...

— Им теперь не страшно и на поселении жить — одними бараньими ногами прокормятся...

Из дверей выглянула пылающая Антонина Васильевна и гневно крикнула:

— Какое ваше дело до моей жизни? Вы зачем сюда пришли? Чертей да баранов переписывать? Или издевательствами заниматься?

— Ой, гли-ка, напужала!

— Ты не кричи, Фефёла! Тебе дело говорят...

— Граждане и товарищи! — повысил голос Кречев.— Немедленно прекратите выпады насчет оскорблений! Нам такого права никто не давал. Боевая группа задание свое выполнила... Всё! Прошу очистить помещение. А вас, товарищи Кирюхины, еще раз предупреждаю — в течение двадцати четырех часов вы здесь полные хозяева. Задержитесь дольше означенного срока — пеняйте на себя.

Из братьев Амвросимовых первым решили брать старшего, Матвея, жившего в двухэтажном кирпичном доме. Встретили их чинно, вежливо за стол посадили; только угощать не стали. Хозяин дома, Матвей Платонович, словно ходячий шкап, громоздкий, неповоротливый мужик с бритым кирпичного цвета лицом, прошел в передний угол, сел под образами и, сложив на коленях заскорузлые руки, спросил:

— Постановление насчет конфискации имущества имеется?

— Вот... Пожалуйста.— Кречев достал из планшетки постановление актива сельсовета и подал хозяину.

Матвей Платонович достал с божницы картонный футлярчик, вынул очки в тонкой стальной оправе, неторопливо приладил их на крючковатый нос, стал читать.

Хозяйка, бледная, с испугом на лице, стояла возле деревянной лестницы, ведущей на второй этаж, и глядела в каменно-неподвижное лицо хозяина, готовая мигом сорваться с места, чтоб исполнить любой приказ его. На ней была простенькая ситцевая кофточка, в горошинку фартук и полосатая понёва свойского тканья. На ногах полусапожки с высокими боковыми резинками. Сверху

в пролет лестницы с таким же испугом и выжиданием глядела на родителей дочь-невеста, желтокосая, в цветастом сарафане. И вся эта семейная троица была спаяна не только страхом выжидания, но и твердой, отчаянной решимостью — встретить стойко, с достойным спокойствием свою нелегкую судьбу.

— Так, так... Значит, дом и все имущество — и движимое, и недвижимое.

— Так точно... Раскастрация всего имущества,— подтвердил Ванятка Бородин.— Чтобы, значит, раз и навсегда искоренить всякую заразу частной собственности.

— А на каком таком основании у меня решили сделать эту самую раскастрацию, а вот у него, у Ванятки, ничего не трогать? — спросил хозяин Кречева.

— А чего у него брать-то? Охапку шоболов? — хмыкнул Кречев.

— Дак что ж выходит, вы его шоболами брезгуете? Раз всех решили объединять в колхоз, тогда и всякое имущество валите в одну кучу.

— Когда очередь дойдет до колхоза, все соберем. Но вас допускать до колхоза не имеем права,— ответил Кречев.

— Почему? Или я рылом не вышел? Или работник плохой?

— Потому как вы идете по кулацкой линии, то есть эксплуататор человеческого труда.

— Кого же я исплуатировал? Мы работников отродясь не держали. В артели нас было три брата с семьями.

— Вот братьев своих и семью вы это самое... эксплуатировали.

— Как? Разве они одни работали, а я прохлаждался? Спроси вон Феклу,— кивнул он на хозяйку.

— Ей веры нет. Потому как она тоже член кулацкой семьи. И пойдет заодно с вами.

— А братья мои?

— И они тоже подлежат конфискации.

— А их за что?

— За то же самое. У них тожеть дома двухэтажные и дворы каменные.

— Да кто же кого у нас в артели исплуатировал?

— Пустой разговор ведем. Постановление есть ясное и понятное: кто нажил не своим трудом большие средства — раскулачить.

— А чьим же трудом я наживал все это? — Матвей Платонович округло обвел руками, указывая на просторный кирпичный дом, хорошо оштукатуренный, с фигурными наплывами на потолке под висячей лампой, с широким карнизом, с крашенной в голубой цвет дощатой перегородкой, с широкой железной кроватью со светлыми шишечками, с тюлевыми занавесками на окнах, с венскими стульями вокруг тяжелого дубового стола.— Может, ты мне помогал построить все это и нажить? Или Ванятка, или вон Биняк?

— Оно и то сказать, что не в одной артели ты старался, а и на торговле подрабатывал,— отозвался Биняк.

— Верно. Хлебом торговал. Скупал на базаре, нанимал обозы, перевозил на пристань, на Ватажку. Вон, Семен Жернаков подтвердит. Он тоже торговал.

Жернаков густо покраснел и отвернулся к окну.

— По три, по четыре тысячи пудов за базар брали с братом. Полны амбары семейные насыпали. Барыш — копейка за пуд. Тридцать, ну, сорок рублей на двоих заработку. Дак это ж работа! Мы ж не гноили хлеб-то, а сухоньким доставляли его на речные суда. В города отсылали... И за это нас теперь казнить надо?

— Никто вас не казнит,— потупился Кречев,— а только в колхоз не велено пущать. Поскольку вы идете по статье зажиточных. Сам товарищ Каганович указание давал. И товарищ Штродах из Рязани присылал инструкцию. Чтоб не смешивать с трудящимися, с бедняцко-середняцкою массой, а отправлять вас на поселения...

— Каганович да Штродов? Что-то не слыхали мы этих фамилий, когда в гражданскую казаков ломали. А теперь, вишь ты, сыскались... Инструкцию дают — не смешивать с массой. А чего ж тогда мешали? Говорили — все равны. Землю по едокам! А теперь — бей по дуракам, которые поверили!

— Не надо было заживаться, Матвей Платонович,— сказал Биняк.— Для чего ты такие хоромы сгородил? Конюшни кирпичные! Две лошади, три коровы...

— Дак у тебя вон один мерин, и тот ходит по базару и по чужим кошовкам кормится. Раз ты его прокормить не можешь — отдай в Совет.

— А на ком загоны пахать? На бабе, что ли?

— Ты не пашешь, а за сохой пляшешь... Языком молоть ты умеешь. Ежели из таких вот пустобрехов

колхоз соберут, то и хоромы мои вам не помогут. Все прахом пойдет.

В сенях проскрипели шаги, с треском распахнулась обшитая жестью дверь, и на пороге в клубах пара вырос Кулек в шинели.

— Ну вот, поговорили — и будя,— сказал Кречев, вставая.— Поскольку вы идете по первой категории, стало быть, собирайтесь в чем есть и немедленно очистите помещение.

Встал и хозяин, он был в валенках, в стеганых штанах и в черной фуфайке.

— Дак что ж нам — из вещей ничего нельзя брать? — спросил он.

— Ничего... В чем вас застали, в том и поедете. Верхнюю одежду возьмите, шапки, варежки. А более ничего,— повторил Кречев.

— Фекла, вынь из сундука крытые шубы и пуховые платки возьми! — приказал хозяин.

Фекла метнулась за дощатую перегородку к высокому, окованному полосовым железом, набитым в косую клетку, сундуку. Но перед ней вырос Биняк:

— Извиняюсь, из нарядов ничего брать не положено,— криво усмехнулся он.

— Не ехать же нам в драных шубняках! — сказал Матвей Платонович Кречеву.— Еще не примут нас... скажут — батраков привезли.

— Ладно, выдай им шубы и платки! — распорядился Кречев.

Биняк отошел в сторону, но зорко поглядывал, как Фекла доставала большие, крытые черным блестящим драп-кастором шубы, с длинным козьим мехом, пуховые оренбургские платки и клала их на откинутую крышку сундука. В ноздри резко шибануло нафталином и потянуло затхлым удушливым запахом лежалых вещей. Когда Фекла вынула из сундука еще шерстяную розовую кофту, Биняк поймал ее за руку:

— Э-э, стоп, машина! Кофта к верхней одежде не относится.

— Пусти руку, страмник бесстыжий! — рванулась злобно Фекла и наотмашь закатила ему звонкую затрещину.

— А я говорю, кофту отдай! Отдай, кулацкая твоя образина! — заблажил Биняк, махая руками, пытаясь поймать мелькавшую перед его глазами кофту, но Фекла перебросила ее через плечо подоспевшей дочери. Та,

поймав кофту, мгновенно прижала ее к груди и бросилась к отцу:

— Папаня, родненький! Что же это делается?— закричала пронзительно и залилась слезами.

— А я те говорю — кофту отдай! — Биняк нагнал ее и прижал к перегородке, тискам, сопя и ругаясь.

— Папаня, папаня! Миленький мой!.. Помогите ж мне! Помогите! — отбивалась она и вскрикивала, поглядывая на отца.

Но Матвей Платонович истуканом застыл на месте, скрестив руки на груди, и только глаза затворил, как от головной боли, да под скулами вздулись и побелели каменные желваки.

— Оставь ты девку! — крикнул Кречев на Биняка.— Совсем офонарел? — И, взяв за шиворот, оттолкнул его к порогу.

— Дак я эта!.. Согласно инструкции, значит. Поскольку не положено брать наряды...— заплетаясь языком, бормотал он, красный и смущенный.

— Дайте собраться людям! Сядьте все за стол! — скомандовал Кречев и, обернувшись к хозяину: — Собирайтесь! А мы подождем...

Через несколько минут они оделись, преображенные, печальные и строгие, как на богомолье собравшись, вышли к порогу.

— Куда нас поведут? — спросил Матвей Платонович.

— Тебя здесь оставят. А их в Пугасово,— ответил Кречев.

— Дак как же мы врозь-то, отец? — всхлипнула Фекла.— Мы с Варькой дальше Тихановского базару и не бывали нигде...

— Господь поможет,— сказал хозяин и осенил себя широким крестом, глядя на божницу.

Варька, прикрыв лицо цветной варежкой, тоже всхлипнула.

— Привыкнете,— сказал Кречев, вставая.— Там не волки, а тоже люди будут...— И, обернувшись, наказал Ванятке:

— Опись построже составь. Все имущество на твою ответственность.

— Крупное опишем, а насчет мелочи — сами забирайте в Совет. Там и переписывайте, и делите. Чего хотите, то и делайте.

— Ну, лады! Через час вернемся.

Кречев с Кульком вышли вместе с хозяевами. Феклу с Варькой усадили в сани, Кулек сел в головашки править, а Кречев с Амвросимовым пошли пеш. В Выселках и на выгоне было безлюдно, но, когда въехали в Нахаловку, вокруг саней закружились ребятишки. Побросав игру в чижики, они долго сопровождали подводу с милиционером и самим председателем Кречевым, звонко, на всю улицу покрикивая:

— Эй, ребята! Кулаков везут!

— Кулаки — дураки, кулаки — дураки!

— Которые кулаки, а которые дураки?

— Кулаки едут, а дураки пеш идут.

— Кулек нешто кулак?

— Кулек — шишак...

— Баран, а ты пустишь нырок промеж саней?

— Пущу!

— А Кульку под задницу?

— Пущу!

— Я те пущу кнутом по шее, — кричал Кулек из саней.

Бабы выходили на крыльцо, выглядывали из калиток, плющили носы об оконные стекла, вздыхали, крестились, жалея одних и посылая негромкие проклятия другим:

— А чтоб вас ро́зарвало! Погромщики! Утробы ненасытные...

— Спаси и помоги им, царица небесная!

— Осподи, осподи! И малого и старого волокут...

— Под корень рубят, под ко-орень...

Матвей Платонович даже рядом с дюжим Кречевым шел молодцом — в черной как смоль длинной сборчатке, в огромных белых валенках, малахай, что решето, на голове... Богатырь!

— Эдакого хозяина вырвали!

— Это дерево из всего лесу.

— Да-а, прямо — купец Калашников!

— Под корень секут, под ко-орень, — доносилось с крылец и от калиток.

А перед райисполкомом целая вереница подвод, как на торгу; вдоль зеленой железной ограды, возле коновязи стояли подводы вперемежку с оседланными лошадьми; на многих санях валялись тулупы, а на них и на сене лежала посуда всякая — и фарфоровая, и стеклянная, самовары, сапоги, крытые сукном и драпом шубы, гармони, иконы и даже бронзовые кресты и паникадила; тут же, возле саней, топали, толкали друг друга, грелись железнодо-

рожные охранники в черных нагольных шубах и с винтовками за спиной. Возчики в красных полушубках и бурых чуйках, подняв воротники и растопырив руки, стояли смирно возле своих лошадей и смотрели на все посторонними глазами.

А поодаль, на высоком просторном каманинском крыльце, толпились рабочие в пиджаках, штабисты в белых полушубках, милиционеры в синих шлемах и в длинных серых кавалерийских шинелях чекисты, приехавшие из Пугасова конным строем. Тут же, на крыльце, на выносном столике, стоял ящик красного дерева, и в широкую, как матюгальник, зеленую трубу с шипением и хрипом вылетали сдавленные звуки, по которым с трудом угадывался голос Шаляпина:

Жил-был король когда-то.
При нем блоха-а-а жила-а-а.
Милей родного бра-а-а-ата
Она ему была-а-а.
Блоха? Ха-ха-ха-ха!
Блоха! Ха-ха!
Ха-ха-ха-ха!

Заразительно и неистово смеялся хриплый заведенный голос. Окружившая этот конфискованный граммофон публика тоже шумно смеялась, притопывала сапогами, валенками, била в ладони и дула на пальцы.

Кулек перед самым крыльцом остановил лошадь.

— Куда везти? — спросил Кречева.

— Сейчас! — Кречев протолкался на крыльце и спросил Ашихмина, заводившего граммофон: — Куда девать очередную семью?

— Какая категория? — спросил тот.

— Первая,— ответил Кречев.

— Так, хозяина веди в пожарку, а семью — во двор.

— Какой двор?

— Риковский!

Кречев повернулся уходить, но его остановили.

— В пожарке полно,— сказал кто-то от дверей.

— Тогда веди в лавку... как его...— запнулся Ашихмин.

— Рашкина! — опять крикнул кто-то от дверей.

— Дак там же распределитель?

— А ты в другую половину. В ту самую, где потом артельный склад был,— сказал от дверей опять тот, невидимый.

— Ясно! — Кречев вернулся к подводе и передал Кульку: — Лошадь привяжи у коновязи. Хозяина,— кивнул на Матвея Платоновича,— в бывший артельный склад... Там сдашь его под роспись.

— Я вам бык, что ли? — с горькой усмешкой сказал Амвросимов.

— Молчать! — рявкнул Кречев. Он волновался от присутствия множества людей, которые глядели теперь на них с крыльца, и торопился: — Давай, давай! Чего возишься? — ругал он Кулька.— Растопырился, как баба.

— Вот это кулачина! — крикнули с крыльца.

— Сазон так Сазон...

— На ём пахать можно...

— Эге! Бочку пожарную возить. Во отъелся за щет рабочего класса...

— И трудового крестьянства...

Кречев подтолкнул под локоть робко стоявшую возле мужа Феклу:

— Пошли, пошли... Чего глаза-то пялить без толку?

— Матвей! Как же нам теперь без тебя-то? Неужели не свидимся? — Губы ее тряслись, глаза наполнились слезами, а рука правая, сложенная в троеперстие, машинально и быстро крестила его мелкими крестиками.

Варька, глядя на мать, тоже начала давиться слезами и гукать, глотая рыдания.

— Будет, мать, будет,— сказал Матвей Платонович, хмурясь и косо поглядывая на гоготавшее крыльцо.— Постыдись плакать перед ними-то... Бог не выдаст — свинья не съест. Спаси вас Христос!

Кречев подвел Феклу и Варьку к высоким тесовым воротам, ведущим в просторные каманинские конюшни. Его встретил охранник в черном полушубке, вкось перехваченный ремнями, с наганом на боку.

— Фамилия? — строго спросил не Феклу, а Кречева.

— Амвросимовы... Фекла и Варвара...

— Так! — Тот открыл черную, в картонном переплете тетрадь, заскользил глазами по страницам.— Так... Вот они! Запомните, поедете на шестой подводе. Возчик Касьянов из Пантюхина. А теперь марш на место!

Он растворил ворота и пропустил в конюшню Феклу и Варвару. В полусумрачном сарае Кречев увидел множество людей, сидевших и валявшихся прямо на полу, на свежей соломе. Разговаривали тихо, многоголосо, и отто-

го слышался один слитный и протяжный гуд, как шмели гудели: бу-бу-бу-бу...

Где-то раздавались слабый детский плач да робкое назойливое упрашивание: «Мамка, пусти на улицу! Мамка, на улицу хочу!» На вошедших никто не взглянул, и никто их не спросил ни о чем. Постояв с минуту возле ворот, они сиротливо опустились на солому тут же, возле стенки.

— Ну чего, закрываем?—спросил охранник зазевавшегося Кречева.

— А? Ну да, закрывай.— Кречев как-то содрогнулся весь, словно чем напугал его этот охранник.— Закрывай!—повторил он со вздохом и пошел прочь от ворот.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

Ударная кампания по раскулачиванию в Тихановском районе благополучно завершилась за две недели. Всех, кого надо было изолировать,— изолировали, кого выслать за пределы округа,— выслали, кого переселить в пустующие теперь уж государственные, а не кулацкие дома,— переселили, которые дома занять под конторы — заняли. Райком и райисполком, избавившись от других контор, вольно расселились по двум этажам просторного каманинского дома. И облик районного центра Тиханова принял свой окончательный вид: на домах беглых купцов и лавочников, на заведениях трактирщиков, колбасников, калашников, сыроваров и маслобойщиков, на просторных сосновых и кирпичных мужицких хоромах, окрещенных кулацкими гнездами, теперь появились вывески, писанные бывшим степановским богомазом Кузьминым с одним и тем же заглавным словом «Рай», возвещавшие миру о наступлении желанной поры всеобщего благоденствия на этой грешной земле.

А над высоким бетонным крыльцом старого каманинского магазина повесили воистину волшебную картинку с нарисованной колбасой и магическим словом «Раймаг». Мужики посмеивались, подходя к пустым прилавкам:

— А вы ту колбасу, с вывески, сымите и нарежьте мне. Я заплачу, чего стоит.

— Дурак! Та колбаса обчественная, смотри на нее даром и ешь, сколько хочешь, глазами. А рукам волю не давай.

— Дак мы теперь на какое довольствие перешли? Око видит, а зуб неймет?

— Во-во. Погляди да утрись.

Но питались мужики в эту зиму — дай бог каждому. Недаром цена на кадки подскочила вдвое — всякая посудина шла под засол мяса. И солили его, и коптили, и морозили. От бань по задворкам чуть ли не каждый вечер тянуло паленой щетиной; и горьковато-пряный дымок горевших ольховых полешек отдавал приторно-сладким душком прижаренного сала. Окорока коптили! Все районные ветеринары: и врач, и фельдшер, и бывший коновал, работавший санитаром при случном пункте, ходили в дымину пьяными, они открыли новую болезнь — «свиную рожу», по причине которой разрешалось не только забивать скотину, но и палить свинью, дабы при снятии шкуры не заразиться. А ежели хозяину хотелось продать свинину, так сдирали прикопченную шкурку, и на свежий сальный обрез тот же ветеринар ставил чернильное клеймо — «К продаже подлежит. Здоровая».

Зато уж к масленице тишина установилась на селе благостная: со дворов ни свиного визга, ни телячьего рева, ни блеяния ягнят, ни гусиного кагаканья — лишние голоса были убраны.

Оно и то сказать: не так голос был страшен, как лишняя голова. Все, что появлялось на крестьянском дворе, попадало в опись и подлежало учету и налоговому обложению. Да не только налоги пугали... Ходили слухи, что по округу вынесено постановление — к двадцатому февраля всех загнать в колхоз. Значит, всякая животина на твоем дворе, считай, что уж и не твоя. А поскольку появление на свет божий новой головы пока еще происходило без свидетелей, так и старались прибрать ее вовремя.

У Бородиных ожеребилась Белобокая.

— Боже мой, к двум лошадям да еще третья!.. На тебе креста нет,— бранила мужа Надежда.

— Я, что ли, виноват, что кобыла ожеребилась?

— А кто же?

— Окстись, Маланья! Я тебе кто, производитель?

— Ты чурбан с глазами! Вот запишут на нас три

лошади да раскулачат. Что тогда скажешь? Каким голосом запоешь?

Мир в семейство принес Федька Маклак. Он пришел из Степанова на воскресный отдых и, послушав перебранку родителей, сказал:

— Жеребенка могу продать.

— Кому?

— Ваньке Вожаку и Андрею Слепому.

— Он им на что? По избе в иго-го играть?

— Зарежут да съедят.

— Вот и слава тебе господи! — обрадовалась Надежда.

— Жеребенка резать? Да вы хуже татар! — сорвался Андрей Иванович.— Из него лошадь вырастет... Лошадь! Понимаете вы, тыквенные головы?

— А вот как раскулачат и посадят тебя за трех лошадей... Из тебя самого лопух вырастет. Продай от греха! Какое твое собачье дело, на что он пойдет?

Продали. Вечером Федька накинул жеребенку на шею аркан и отвел напротив, к Слепому. А утром чуть свет Вожак стучится в дверь:

— Андрей Иванович, отдай деньги! А мясо назад возьми.

— В чем дело?

— Он у вас заразный. Как наелись с вечера этой жеребятины, так всю ночь со двора не сходили.

— Проваривать надо мясо-то, печенеги...

Потом целый день вся Нахаловка потешалась:

— Ты слыхал, ночью Слепой с Вожаком волком подвывали?

— С чего это они? Ай с ума спятили?

— Жеребятины сырой наглотались.

— Эка, дорвались, родимые, дó дешевизны-то.

— Да, за бесценок и мясо впрок не пойдет.

— Жеребятина что за мясо? Ее татаре только переваривают. Дак у татарина не желудок, а требуха.

— Гли-ко, говорят, что ежели собака волком завыла — быть покойнику. А человек ежели волком завыл? К чему бы это?

— К войне. Ай не слыхали — Китай опять подымается.

И слухи, слухи по селу ходили странные... Говорили, будто на лесных Пугасовских выселках одна баба тройню родила — головы и руки человечьи, а задняя половина

туловища у новорожденных собачья, шерстью покрыта. И с хвостами! А еще будто божий человек появился, по селам ходит. Увидит какого ребенка и скажет: «Дайте мне эту девочку поносить!» Очень мне, говорит, девочка понравилась. А уж какого ребенка возьмет на руки, так тот и помирает. Маленький такой мужичонка, калека убогий. А силу притяжения большую имеет.

Пугали войной, а более всеобщим колхозом и концом света. Слонялись мужики без дела, засиживались вечерами у соседей, а которые побойчей, одержимые беспокойным желанием узнать «судьбу решающую» поскорее, собирались возле бывшего трактира, а теперешней почты. Распивали самогонку и медовуху, принесенную в бутылках, заткнутых тряпичным или бумажным кляпом, закусывали курятиной, которую бабы из-под полы продавали возле раймага. Судачили.

— И откуда курятина появилась?.. Скажи ты на милость — пост на дворе, а они кур продают!

— До поста не доживем. Говорят, двадцатого февраля наступит сплошной колхоз. Конец света то ись.

— А куда же все денется?

— Все, что ходит на четырех ногах, будет съедено. Гы-гы.

— А потом что? Куда мы все денемся?

— Известно... Разбегимся...

— Куда ж ты разбежишься?

— Известно куда. На трудовой фронт. Давать пятилетку в четыре года.

— Во-во... С рабочего плеча.

— А скажи ты, сколько будет этих пятилеток?

— А сколько в лапте клеток.

— Одни лапти износим — другие дадут. Так и с этими пятилетками: из одной вылезешь — в другую сунут. Теперь не вырвешься до смерти до самыя.

— Это верно. Пока будут пятилетки — хлеба досыта нам не едать.

— Почему?

— Потому как окружение мировой буржуазии вредит.

— А при чем тут хлеб?

— Как при чем? Ежели бы у нас хлеба не было, они бы и не вредили нам. То ись не выколачивали бы из нас этот хлеб. Никто бы никого не раскулачивал.

— Это верно. За свое добро страдаем.

— Э-э, об чем тужить! Двум смертям не бывать,

дальше Сибири не пошлют. А ежели захотят, чтоб мы работали, накормют. Вон столовую открыли.

Столовую открыли в Капкиной чайной. Клубный активист, комсомолец Андрей Пупок, нахрапистый малый с красным лицом и светлыми свиными ресницами, стал директором столовой. А Тараканиха пошла поварихой. Говорят, с ковшом в руках посреди обеда засыпает, прямо стоя у котла. А Кулька поставили начальником тюрьмы. Из калашной сделали тюрьму; сломали печи в полуподвальном этаже, ногородили камер, окна забрали железными прутьями, а снаружи все здание обнесли высоким плотным забором.

Но главное, главное — почти в каждом селе появился колхозный скот, общие дворы и недвижимый инвентарь — зачаток колхозного строя. И к февралю месяцу количество объявленных колхозов по району подошло к плановой цифре.

Но вот беда: колхозов много объявилось, да колхозников в них было маловато; по двадцать, по пятнадцать, а то и по десять семей приходилось на колхоз. А в Гордееве, Веретье и в Пантюхине колхозов вовсе не было создано. Руководители этих Советов были взяты на особую заметку. Да и в самом Тиханове туго шло дело: за всю эту бурную пору ни одного семейства не прибавилось в колхозе — как было двадцать шесть, так они и остались. Их еще окрестили бакинскими комиссарами и название предлагали колхозу дать — имени Бакинских Комиссаров. А другие требовали — нет, осудить надо интервентов, которые расстреляли тех комиссаров. Потому колхоз назвать «Ответ интервентам». Чтоб международная контра не забывала о том, как новые ряды встают над павшим строем.

Но Сенечка Зенин настоял на своем: назвал колхоз «Светлым путем», ибо всем колхозникам теперь нужно учиться не только ненависти к врагу внутреннему и внешнему, но и любви и нежности по пути ко всеобщему братству.

Оно бы, может, и привилось с ходу, это чувство любви и нежности по пути ко всеобщему братству, кабы не помешало тому вспыхнувшее невесть по каким законам повальное воровство. Первым делом растащили мед, оставшийся от кулаков. У деда Вани Демина было девяносто ульев, да у Черного Барина тридцать, да у братьев Амвросимовых сорок, да у Костылиных более

полсотни... И вот какие чудеса: когда брали хозяев, все ульи пересчитали и в описи внесли, омшаники опечатали, а через несколько дней сунулись с проверкой — и печати, и все ульи стояли на месте, но меду не было.

«Он утек медовухой прямо в шинки»,— смеялись мужики. И пьянь такая пошла, хоть колхоз закрывай.

Вся эта мелочь конфискованная: куры, гуси, утки, поросята, ягнята, овцы — все это уменьшалось в числе и появлялось в жареном виде в корзинах да в туесах возле магазинов на мимолетных толкучках. Главное, некуда девать было эту мелочь. Не соберешь ведь на одном дворе всех чужих кур, гусей и уток вместе. Передерутся, перетопчут друг друга. Раздавать по домам колхозникам — тоже нельзя. Держали их пока на своих местах да рассовали частично по лошадиным дворам. Вот тебе каждое утро двух, а то и трех голов не хватает. Куда делись? То хорек утащил, то лошади затоптали...

С крупной скотиной полегче было. Оставшихся от кулаков коров да телят свели на дворы братьев Амвросимовых и объявили это скопище — мэтэфэ. Мало кто знал, что значили эти таинственные буквы. Но догадывались, что молоко от коров пойдет в столовую при райисполкоме, а еще в маслобойку сосланного Арсения Егоровича, где теперь хозяйничал человек, приехавший из города. Главной дояркой на этой мэтэфэ поставили Саньку Рыжую, а в помощницы ей назначили Настю Гредную и Козявку.

Настя доила два дня, на третий забастовала. «У меня,— говорит,— всего один глаз».— «Ты что, глазом доишь?» — ругается Санька. «Я,— говорит,— смотреть устаю, потому сиськи в руках путаются». Эту прогнали, привели Матрену Селькину. Тут Козявка заупрямилась. Я, говорит, не могу избу свою на произвол судьбы бросать, потому как мужа отослали сторожем на хутор Черного Барина.

Иван Евсеевич Бородин зашел к Якуше Ротастенькому: «Посылай свою Дуню!» — «Ой, что ты, Иван Евсев! Она у мяня с грыжей. На барском поле надорвалась».— «Ну, мать перемать, тогда иди сам дергай коровьи сиськи!» — «Какие сиськи? На мне вся беднота замыкается! Я свой пост не могу добровольно оставить — меня райком ставил. Я все ж таки партейный» Выручила Авдотья Сипунова, жена Сообразилы.

Лошадей, которые получше, отобрал для себя РИК.

Остальных передали в колхоз. И с лошадьми морока — их более тридцати голов, а дворы маленькие. Пришлось размещать в трех местах: на дворе Клюева, Алдонина и Успенского. А все, что осталось от кур, гусей, поросят и прочей мелочи,— отвезли на хутор Черного Барина. Сторожами послали туда мужа Козявки, Ивана Маринина, прозванного Котелком, и Сообразилу.

Поскольку многие кулацкие дворы заняли под свои нужды всякие конторы, у которых тоже появились и лошади, и телеги, то личный скот колхозникам велено было держать пока при себе.

— Обождите малость,— сказал Возвышаев Кречеву и Бородину,— вот подготовим общие стойла и кормушки для всего села — тогда и соберем весь скот. Сплошной колхоз будет, на целый район. А пока существуйте как база для наступления на единоличный сектор.

Эта раскиданная по всему селу база доставляла много хлопот Ивану Евсеевичу Бородину: то гуси пропадали, то поросята, то молоко браковали. И за все в ответе председатель.

Вызывают на молокозавод. Явился:

— В чем дело?

Мастер в белом халате, лицо строгое, как у доктора, подводит его к одной фляге, крышку открыл:

— Нагнись, понюхай!

— А чего там нюхать? Молоко, оно молоко и есть.

Подает ковш:

— На, зачерпни со дна! Тогда узнаешь, что за молоко.

Зачерпнул. Мать честная! Коровий навоз!

— Ты что, классовую вражду через навоз выражаешь?

И пошел материть на чем свет стоит. А что ты ему скажешь? Он прав. К тому ж он — представитель рабочего класса, из округа приехал. Хоть и не шишка, а место бугроватое.

Не успел с молоком скандал уладить, вот тебе — заявляется под вечер на дом Максим Иванович Бородин, старший над всеми конюхами.

— Иван Евсев, а на дворе Успенского кормить лошадей нечем.

— Как нечем? А где сено Успенского?

Мнется.

— Ты чего, мать перемать, али язык проглотил?

— Дак там до нас лошади райзо стояли... Вот они и травили сено, что на сушилах лежало.

— А в саду два стога стояло? Там не менее десяти возов было.

— Те стога увезли...

— Кто увез?

— А я почем знаю? Утром ноне пришел — от стогов одни поддоны. Я вам не сторож.

— Это ж грабеж при белом свете! В милицию заявлял?

— Я — человек маленький. Ты хозяин, ты и ступай в милицию.

Два дня путались с этим сеном. Так и не нашли. Да что на нем, метки, что ли, оставлены? Кулек сказал:

— Сено, оно сено и есть; перевезли с места на место, с другим смешали — и вся недолга...

Заикнулся было — собрать со всех колхозников по возу сена. Куда там! Шумят:

— Бери тогда все, и скот наш забирай! Кормите, как хотите!

Отбились.

Так и пришлось Ивану Евсеевичу свое сено отдать, отвез пять возов. И лошадь свою на общий двор отвел, а корову на солому поставил.

— Иван, она у нас совсем обезножеет на соломе-то,— сказала Санька.

— Ничего, мать, не сдохнет, до сплошной коллективизации как-нибудь дотянет. Тогда на общем сене поправится. И мы вздохнем. А пока идет промежуточная фаза, как Возвышаев сказал, значит, надо терпеть.

Но в эту промежуточную фазу судьба поставила запятую Ивану Евсеевичу. Случилась эта оказия, можно сказать, из-за проклятых конских хвостов.

Всем конфискованным лошадям, переданным в колхоз, Сенечка Зенин приказал обрезать хвосты и гривы. Сам принес овечьи ножницы, отмерял, до коих пор хвосты обрезать, указывал, как из длинной перепутанной гривы делать прямую, короткую, аккуратную щеточку. Чтобы лошади колхозные не походили на стариков-староверов, а все как одна имели юный вид, точь-в-точь — московские юнгштурмовки в коротких юбочках. Обрезать заставляли Максима Ивановича Бородина. Сам Сенечка к лошадиному заду не подходил, примерку делал сбоку, чтобы не уронить партийного авторитета на случай непредвиденного взбрыкивания какой-нибудь норовистой кобылы.

Ладно. Обрезали хвосты по самую сурепицу, так что

теперь они стали похожими на кропильные кисточки. И тут приказ поступил — ехать за дровами для РИКа.

Поехали на трех подводах: сам Иван Евсеевич, Биняк и Максим Селькин. Доехали до Гордеева легко и радостно — дорога накатана до блеска, лошади сытые, сами в кулацких тулупах — не токмо что мороз, буран не страшен. Замахивай полы, закрывай воротник и дуй хоть до Москвы...

В Гордееве это благостное настроение улетучилось как прах. Сперва их стали дразнить пацаны: кружились возле подвод, как воробьи у навозной кучи, кричали неперебой и бросали в лошадей и ездоков конские мороженые катухи:

— Куцехвостые едут! Куцехвостые! Свиньи, свиньи куцехвостые... Бейте их! Бе-эйте!

Биняк не раз выскакивал из саней и, размахивая кнутом, разгонял эту ораву. Одни убегали вперед, другие назойливо, неотступно преследовали их и бросали с дальней дистанции оледенелые комья снега в смиренно ехавшего последним Максима Селькина.

На выезде из села, возле старого барского сада, их остановили — поперек дороги протянута была слега, одним концом упиравшаяся в ветхий забор, вторым — в развилку раскоряченной придорожной ветлы. Биняк выпрыгнул из саней и побежал к слеге. И тотчас из-за придорожных кустов, от забора, из сада налетела ватага подростков с палками и кольями в руках, и все вокруг загудело, защелкало, заухало.

— Ах вы, туды вашу, растуды вашу мать! — Иван Евсеевич моментально скинул тулуп, по-разбойничьи оглушительно свистнул и прямо из саней в длинном прыжке настиг двух парней и подмял их под себя, как волкодав пару щенков. Но не успел он оторваться от них, как сверху точно громом небесным шарахнуло его так по голове, что шапка отлетела в снег, и в ушах загремело, и в глазах вспыхнули, закружились огненные шары. Он оглянулся и увидел здоровенного верзилу с колом в руках, занесенным в высоченном замахе, и лицо в остервенелой, зверской усмешке. «Ах ты, гад! Ах ты, паскуда! Насмерть бьешь? Ну, лады...»

Иван Евсеевич нырнул под несущийся со страшным свистом кол и снизу сильно ударил парня под дых. Тот выронил кол, схватился руками за живот и, переломившись в поясе, повалился в снег. Увидев сраженного

наповал своего заводилу, ребятня с тем же гиком и уханьем бросилась врассыпную, оставляя на снегу трех подбитых товарищей.

— А ну-ка, давай их в сани! — кричал Биняк.— В милицию их, стервецов, свезти! Пусть отцов вызовут. Это ж кулацкая вылазка на классовую вражду!

У него красовался под глазом здоровенный синяк и губы кровоточили. Максим Селькин сидел все так же на санях с оторванным рукавом тулупа и виновато улыбался:

— Имушшество колхозное попортили, вот пострелята... Как теперь с этим делом поступать будем?

— В милицию! — кричал Биняк.— Пр́отокол составим. И штраф в пятикратном размере... А то родителям твердое задание... Подчистую штобы.

Иван Евсеевич осмотрел валявшихся ребят. Притворились подшибленными... Глаза украдкой поблескивали. Ясно, что боятся, кабы не забрали их...

— Поехали! — скомандовал Бородин.

— Куда? — переспросил Биняк.

— За кудыкины горы! Ты забыл, куда мы едем?

— Дак теперь важнее классовый карахтер проявить. Насчет политической линии. Надо в милицию заворачивать.

— Я те заверну кнутом по шее. Поехали! — Иван Евсеевич тронул вожжами лошадь и поехал первым.

Не успели они толком отъехать от места стычки, как лежачие поднялись и стали ругаться:

— Свиньи куцехвостые! Свиньи! Вот погодите, мы вас на обратном пути встренем... Еще посмотрим, чья возьмет.

Пока дрова пилили, да укладывали, да возы утягивали — стало смеркаться. И Биняк, и Селькин забастовали:

— Обратно через Гордеево не поедем. Нам головы посшибают в потемках-то. Поехали в объезд через Климуши, на Черного Барина.

Иван Евсеевич давно уж собирался съездить на хутор, поглядеть, как там хозяйствуют Котелок и Сообразило. И он согласился.

Почти всю дорогу, и полем до Климуши, и лесом до самого Черного Барина, Иван Евсеевич шел обочь саней, тулуп кинув на воз. И уже на подъезде к хутору его стало поташнивать, и голова кружилась, и вроде бы ознобом пробирало. Он завернулся в тулуп и сел на воз. Так, сидя на возу, и подъехал к околице Черного Барина.

Откуда-то из темноты ошалело заорал Сообразило:

— Стой! Кто идет?

— Свои,— ответил Бородин.

И в этот момент блеснуло прямо перед лошадиной мордой острым змеиным языком короткое пламя, и оглушительно грохнул выстрел. Лошадь пронзительно заржала, взвилась на дыбки и бросилась в сторону. Не успел Иван Евсеевич толком сообразить, что к чему, как почуял, что валится вместе с возом наземь. Только дернулся было в сторону, но тулуп за что-то зацепился. Его потянуло, подмяло под воз, и мгновенная, как вспышка выстрела, жгучая боль пронзила правую ногу и разлилась по всему телу.

— Стой, окаянная! Стой, дьявол! — орал Биняк, ловя лошадь Ивана Евсеевича.

Лошадь быстро поймали, успокоили. Воз поставили на место. И тут Иван Евсеевич с удивлением заметил, что валенок его правой ноги как-то навыверт торчит в сторону. Его подняли под руки. Стиснув зубы от боли, он материл почем зря оторопевшего с ружьем в руках Сообразилу:

— Ты что, баламут недоделанный, спектаклю решил устроить? Или покушению задумал? Говори!

— Обознался я, Иван Евсеевич.

— Врешь, кобель подзаборный! Ты что, голоса моего не узнал? Иль не видел, что лошадь спереди обстрижена, как баба паскудная?

— Темно ведь...

— А вот отдадим тебя под суд, там тебе посветлеет...

Внесли Ивана Евсеевича в дом — и там все сразу прояснилось. Посреди избы на раскаленной чугунке стоял обливной бак, от него в открытый таз с холодной водой отходил медный змеевик, с конца которого, из краника, капала самогонка в подставленную бутыль. Рядом стояла целая кадка медовухи.

Иван Маринин, по прозвищу Котелок, щуплый мужичонка с печальным морщинистым личиком, сидел на кровати, свесив короткие ноги, и с испугом глядел на вошедших.

— А ну-ка, брысь с кровати! — цыкнул на него Биняк.

Тот спрыгнул с кровати и сел на скамью у стенки. Ивана Евсеевича положили на кровать, осторожно подправили отогнутый валенок. Кривясь от боли, он приказал:

— Подушки мне под спину! Так...— И, глядя на самогонный аппарат, спросил: — Чья работа?

— Николай Жадов и Вася Соса старались,— ответил с готовностью Котелок.

— Так... Понятно. Василь Оськов,— сказал он Чухонину,— отпрягай лошадь, садись верхом и дуй в милицию. Пусть Жадова заберут. Кража меда — его работа.

— Холодно верхом-то,— сказал Биняк.— Я лучше в санях.

— Где ты их возьмешь?

— Счас, воз развалю... И вся недолга.

— Пока ты воз будешь разваливать — он уйдет.

— Ночью все равно не поймают,— говорил свое Биняк.— Да и в милиции никто сейчас и не почешется, ночью-то.

— Езжай, говорят, в милицию! Понял?

— Я сей минут,— сорвался Биняк и скрылся за дверью.

— Значит, Жадов тебя поставил на часах возле околицы? — спросил Сообразилу Иван Евсеевич.

— Он. Наказал стрелять, кто бы ни появился.

— Ах ты, матаня саратовская! Вас зачем сюда поставили? Добро колхозное на самогонку перегонять?

— Это не мы...— ответил Сообразило.— Они нам приказали...

— А у тебя что на плечах, башка или кочан капусты? Ты думаешь, тебе все с рук сойдет, поскольку колхозник? Нет, мать перемать, мы тебя под суд отдадим за одну компанию с этими живоглотами. Пойдешь, куда Макар телят не гонял. Понял?

— Понял, понял, чем мужик бабу донял,— бубнил свое Сообразило.— Говорю тебе, не по своей воле я. Они меня силком принудили. Ты эта... Давай перекуси чего-нибудь. Поди, весь день не емши и назяблись. Нога вон тоже... Ишь, как вывернуло...

Сообразило начал ставить самовар, а Иван Евсеевич вдруг откинулся на подушки и не то заснул, не то впал в забытье.

Приехали за ним уже под утро на больничной лошади. Фельдшер Семен Терентьевич как глянул, так и валенок сымать не стал — перелом голени. Потом приехала милиция, Кулек и Сима, вдвоем. Рассказали, что ходили с обыском на дом к Сосе и Жадову. У Жадова в

подполе оказался тайник. Там нашли пять кадок сотового меда, перемешанного с пчелами, а еще нашли много всякого добра.

Самого Жадова и след простыл. С той поры его никто и никогда не видел в Тиханове.

Сообразилу и Сосу судили, дали им по году принудиловки. А Ивана Евсеевича Бородина положили в тихановскую больницу на долгие месяцы...

2

Одна кампания — по раскулачиванию — пошла под уклон, вторая же — по коллективизации — набирала силу и страсть. Летели одна за другой вперехлест телефонограммы, требуя сводок и отчетов, стучали телеграфные аппараты, выбивая срочные директивы и постановления, бушевали на страницах окружных, областных и центральных газет призывы и лозунги.

«Героев черепашьих темпов коллективизации — под бич пролетарской самокритики». «Дни и часы сосчитаны: не позднее 20 февраля полностью засыпать семенные фонды!» «Корову и лошадь — под крышу колхоза...» «Борьбу с убоем скота не прекратишь одними административными методами. С этим злом надо бороться только массовым обобществлением скота и массовой контрактацией». «Довольно церемониться с волокитчиками!» «Те же, кто не успеют засыпать до 20 февраля семфонды, ответят пролетарскому суду за срыв и невыполнение директив правительства» [1].

В Тихановский райисполком пришло постановление окружного штаба по сплошной коллективизации:

«1. В Сапожковском, Сараевском, Ерахтурском районах сбор семфонда проходит неудовлетворительно. Если в ближайшие дни не будет достигнуто резкого перелома, членов райштабов с работы снять и предать суду.

2. Имеют место множественные обследования всякого рода учреждениями хода кампании по коллективизации... Без ведома РКИ никакие обследования по коллективизации не проводить.

---

[1] Газета «Рабочий путь». Рязань, 1929, ноябрь.

3. Одобрить мероприятия прокуратуры по привлечению к ответственности работников, допустивших бездействие и халатность в выполнении директив по коллективизации и посевной кампании.

Окрштаб по коллективизации. *Штродах*»[1].

Возвышаев приказал размножить это постановление и послал с ним уполномоченных по селам.

В Пантюхино к Зиновию Тимофеевичу приехал завроно Чарноус. Кадыковы сидели дома, ужинали при висячей лампе-семилинейке. Чарноус, сняв пушистый заячий малахай, поздоровавшись, сказал от порога:

— Раненько вы за ублажение собственного чревоугодия садитесь.— Черные, прищуренные глазки, вздернутый носик с открытыми ноздрями, да черные усики вразбег от ноздрей, да маслянисто блестевшие волосы на круглой голове придавали ему сходство с котом, вставшим на задние лапки.— Не такое время теперь, дорогой Зиновий Тимофеевич, чтобы с наступлением сумерек забиваться в теплые норы... Работать надо, работать...

— А нам, Евгений Павлович, и работать негде. Разве что на дому,— отвечал, виновато улыбаясь, Кадыков. Он встал от стола, принял от Чарноуса черный полушубок с белым от наметенного снега воротником и, приглашая к столу, все тем же виноватым тоном продолжал пояснять: — Создавайте, говорят, колхоз, а меж тем последнюю контору отобрали. Нам сперва отдали дом Галактионова, раскулаченного. А потом выгнали оттуда. Райпотребсоюз отнял под сыроварню...

— Располагайтесь пока в сельсовете.

— Там только дратву сучить да лясы точить. У нас сельсовет что посиделки — то выпивка, то спевка, а то девок щупают...

— Как это так? Сельсовет — и посиделки?

— Так вот... Председатель попался нам веселый...

— Помилуйте, что вы говорите? Он же двадцатипятитысячник!..

— Не знаю. Я эти тыщи не проверял. Садитесь к столу, вместе поужинаем. Нюра, ложку для гостя!

Анна Петровна встала со скамьи и потянулась к подвесной зашторенной полочке.

— Не надо! — остановил ее жестом Чарноус.— Я уж

---

[1] Газета «Рабочий путь». Рязань, 1929, ноябрь.

поел. Да и не ко времени за ужином восседать. Сперва прочти-ка вот это.— Чарноус вынул из портфеля выписку из постановления окружного штаба, подал ее Кадыкову, а сам сел на скамью у окна.

Кадыков поднес бумагу к висячей лампе и прочел.

— А к чему она, эта штука? То есть какое нам задание от этого? — спросил Кадыков.

— Задание вот какое — к двадцатому февраля весь наш район должен быть коллективизирован.

— Это легко сказать.— Кадыков вернул Чарноусу бумагу и, весь погрузившись в собственные мысли, спросил скорее себя самого: — А как это сделать?

— План продуман и весь в целом, и по отдельным мероприятиям,— ответил Чарноус.— Затем и приехал — ввести вас в курс дела. Сперва проводим сбор семфонда. Значит, семена зерновых каждый засыпает в собственные мешки, и все сносят в общие амбары.

— Нет у нас общих амбаров!

— Нет? — Чарноус с удивлением поднял брови и сказал: — Сегодня будут.— Потом снисходительно пояснил: — Амбар — не скотный двор. Семена не лошади, не коровы. Положил их вместе — будут лежать. А где? Куда складывать? Решим сегодня же вечером. Вот сейчас пойдем в Совет и решим. В Пантюхине много амбаров. Почитай, у каждого жителя амбар, а то и по два. Да еще кладовые есть...

— Понятно... Но, собрав семена, еще не создашь колхоза.

— Не торопитесь... Все надо раскладывать на этапы и решать по пунктам. Итак, первый пункт — сбор семян, то есть создание колхозного семфонда. Конечно, пока мы его не объявляем колхозным. Просто — общий семфонд. Мы заботимся только о весенней посевной, посему у каждого крестьянина семена должны быть налицо. И хранить их надо в надежном месте. Понятно?

— А вы думаете, мужики не догадаются, к чему эту карусель затеваем? — с усмешкой спросил Кадыков.

— Догадаются они или нет — к нам это не имеет никакого отношения. Наша задача — к двадцатому февраля в Пантюхине создать всеобщий колхоз. Так вот... К завтрашнему утру пункт первый должен быть выполнен, то есть семфонд собрать за ночь.— И сделал выдержку.

— Ничего себе заданьице,— сказал Кадыков и почесал затылок.

— Второй пункт — собрать общее собрание и проголосовать за сплошную коллективизацию. Но для проведения этого мероприятия приедет к вам особый уполномоченный. С ним решите — на чьи дворы сводить коров и лошадей, то есть: где строить кормушки. И наконец, третий пункт — свести скот и собрать инвентарь в означенных дворах. Это вы и сами сможете сделать. Обойдетесь без посторонней помощи. Как видите, все разработано на законном основании. По науке.

— Н-да.— Кадыков только головой крутил и посмеивался: — Весело, ничего не скажешь. Кабы только напоследок не расплакаться?

— Замечание не по существу.— Чарноус встал и направился к порогу.— Я иду в сельсовет. Скажу председателю, чтобы актив собирал. Приходите поскорее.

— Чего уж там. Вместе пойдем. Я поужинал, можно сказать.

Шли темной дорогой посредине села, но Кадыков чуял, как смотрели на них невидимые мужики и бабы от каждой околицы, с каждого крыльца. Догадался по тому, как ребятишки толпились возле его дома и сопровождали их шумной толпой до самого Совета. Даже снег и ветер, подымавший сухую поземку, не мог разогнать их по домам.

Председателя Ухарова в Совете не было. Епифаний Драный с рассыльным Родькой Киселевым сидели за столом и резались в шашки. На вошедших — ноль внимания.

— Надо все ж таки здороваться,— сказал Кадыков.

— Иль я тебя не видал? — отозвался Епифаний.

— Я не один... Со мной представитель из района. Что подумают о нас там, в районе?

— А что им думать? Им ни жарко ни холодно. У них одна думка — как бы поскорее нас в колхоз загнать.

— Ну хватит! Распоясались, понимаешь.— Кадыков смешал шашки на доске и приказал Епифанию: — Разыщи Ухарова. И чтоб одна нога здесь — другая там, понял?

Епифаний натянул на голову тряпичную шапку и поспешно вышел.

— А ты давай за членами сельсовета! — наказывал Кадыков Родиону.— Тяни всех десятидворцев. И чтоб живо!

— Что это за десятидворцы? — спросил Чарноус, когда вышел рассыльный.

— Все село разбито на тридцать десятидворок. Во главе каждой десятидворки стоит выборный человек. Вот эти десятидворцы и есть члены сельсовета, наш актив.

— Странно! — усмехнулся Чарноус.— А где же классовый подход?

— Вот это и есть классовый! В нашем селе только один класс — крестьянский.

— А как же беднота? Она, что ж, в стороне у вас?

— Почему? Беднота имеет свою группу. Так и называется она — группа бедноты. Во всех делах они тоже принимают участие.

— Вот члены этой группы бедноты и должны стоять во главе десятидво́рок.

— Э, нет. Не пойдет такое дело.

— Почему?

— А потому, что десятидворки созданы не для игры, а для работы. То есть гати гатить, луга чистить, болота, мосты строить. Тут надо, чтоб каждый десятидворец шел в дело во главе своей десятки, на своей подводе. Тогда за ним и другие потянутся. А если он выйдет с одним прутиком в руках — кто за ним пойдет? А что у иного бедняка, кроме лаптей?

— Выходит, вы не очень-то жалуете бедноту,— усмехнулся Чарноус.

Кадыков вскинул подбородок и зачастил по-пантюхински, с распевкой в конце фразы:

— Не надо читать нам политграмоту, радима-ай. Мы ее в гражданскую на пузе с винтовкой в руках усвоили. Я тебе лучше вот какой вопрос задам: Советская власть землю разделила по мужикам или нет?

— Разделила,— обиженно ответил Чарноус.

— Ага! С энтой самой поры бедняками остались у нас либо калеки да убогие, либо те пустобрехи, которые хотели бы эту землю ложками хлебать, словно дармовую кашу, да пузо на печке греть, а не работать на этой земле до седьмого пота...

— Но позвольте, позвольте! — вспыхнул и Чарноус, поддавшись азарту Кадыкова.— Кроме земли есть еще и производственные условия: нужен инвентарь, скот рабочий...

— А еще ангел божий, который принес бы этот инвентарь и сам бы землю вспахал. Вы что, не слыхали про сельковы, про кредитные товарищества? Нужен тебе плуг — бери. Денег нету — в кредит дадут. Не только плуг

или борону... И сеялки брали, и веялки, и лошадей, и коров! Я сам лошадь в кредит брал, в двадцать втором году. И за год оправдал ее в извозе. Погасил кредит. Чего еще надо? На что жаловаться? На лень-матушку? На этот счет намеков у нас не любят.

— Вы упрощаете вопрос классового расслоения,— строго заметил Чарноус и умолк, отвернувшись к окну.

Кадыков вышел на крыльцо покурить и столкнулся с Ухаровым.

— Что за новости на старом месте? Пошто народ честной тревожим по ночам? — весело спрашивал тот, подымаясь по скрипучим ступенькам, заслоняя собой весь крылечный проем.

Он был в пиджаке и в чесанках, котиковая шапка с распущенными ушами и такой же черный воротник были чисты от снега. Значит, у дьякона сидел, сообразил Кадыков, третья изба от Совета. «Экий несуразный верзила, не успеет выпить, а грохочет на все село»,— подумал о нем неприязненно Кадыков, но ответил сдержанно:

— Приказано собрать семена.

— Ну и что? Время подойдет — соберем.

— Оно подошло. Собирать будем ноне.

— Ночью, что ли?

— Да.

— Ё-о-моё! — Ухаров свистнул и засмеялся.— А ну-ка мы рожь с ячменем в потемках перепутаем? А еще хуже, ежели мужика с бабой!

— Прислали к нам человека из района, который вразумит нас, дураков... Пошли!

Ухаров при свете лампы да в присутствии маленького Чарноуса казался еще более громоздким и горластым; дружелюбно протягивая руки и смеясь, как это делают все подвыпившие люди, он говорил Чарноусу:

— Это вы нас поведете ночью по избам? Извиняюсь, я впереди не пойду — здесь собаки злые.

Руки у него были большие и красные, с длинными узловатыми пальцами и далеко высовывались из пиджачных рукавов. Чарноус уклонился от его рукопожатий и, держась за свой портфель, перешел на другую сторону стола.

— Да вы меня не бойтесь! — засмеялся опять Ухаров.— Мне ваш портфель не нужен. Между прочим, знаете, как зовут эту штуку здешние мужики? — ткнул он

неуважительно пальцем в портфель и сказал: — Голенищей.

— Иван Иванович, пока нет посторонних, давайте обговорим, как нам дело делать,— сказал Кадыков, с трудом сдерживая себя, чтоб не рассмеяться, видя, как опасливо отступал Чарноус, готовый в любую минуту дать стрекача от наседавшего на него Ухарова.

— Да какое это дело? — отозвался опять со смехом Ухаров.— Дело, это когда человек трудится. А когда по чужим сусекам лазают, это не дело, а дельце, и его не делать надо, а обтяпать. Значит, обтяпаем это дельце,— он довольно потер руки и сел на табурет к столу.— Присаживайтесь, товарищи! Вы здесь гости, а я — хозяин.

— Установка райисполкома жесткая,— сказал Кадыков, присаживаясь на табуретку,— к утру собрать весь семфонд. Вот Евгений Павлович привез указание.

Чарноус положил на стол перед Ухаровым выписку из постановления окружного штаба и добавил от себя:

— За невыполнение задания в срок приказано снимать с работы и отдавать под суд.

Ухаров прочел эту бумагу и сразу протрезвел. Его шалые, озорные глаза в темных окружиях подглазий невидяще уставились в занавешенное красным лоскутом окно, и он произнес скорее для себя:

— И рожь, и ячмень, и овес, и просо, и всякое прочее... И все это собрать за одну ночь?

Чарноус переглянулся с Кадыковым и с многозначительной улыбкой произнес:

— Уважаемый товарищ Ухаров, в здешних местах ячмень не сеют, а рожь бывает только озимая. То есть она давно уж посеяна. Так что следует собрать только семена яровых. А их не так много в каждом хозяйстве.

Ухаров вопросительно посмотрел на Кадыкова.

— Да, семян немного,— подтвердил Кадыков,— мешок, от силы два, на хозяйство. Овес, просо, еще лен, конопля. Мелочь.

На лице Ухарова снова блеснула озорная усмешка.

— А не получится у нас такая ж катавасия, как с волгарями-отходниками? Мы отобрали у них по мешку селедки,— обернулся он к Чарноусу,— судья Радимов приказал. Складывали эти мешки в сельсовете, в сенях. У нас чулан есть. Куда их девать? В районе не берут. По мужикам раздать — не разрешают. Они и валялись три недели в сельсовете. Все стены селедкой провоняли.

Пришлось уговаривать этих волгарей, чтоб назад забрали.

— Семена не селедка, они не завоняют,— глубокомысленно изрек Чарноус.

— Это верно,— подтвердил Ухаров.— А если мужики не согласятся сдавать семена?

— На этот счет есть приказ: тут же, на месте, составить акт и конфисковать муку, рожь — все, что под руку попадет. Для этого я и приехал.— Чарноус сделал паузу, в упор посмотрел на Ухарова и добавил: — А вы исполнять будете... мой приказ.

— Приказ, оно, конечно, исполнять надо. Кабы только по шее не надавали этим исполнителям. Вы у себя живете, а я по домам шляюсь... Вижу и слышу, как народ обозлен.

— Так что ж, из-за ваших сомнений отказаться от исполнения директивы? — строго спросил Чарноус.

— Не об этом я... Народ, говорю, обижаем. Вместо того чтоб по-душевному подходить, мы с матом да с дубинкой. А враги наши не дремлют. Вот глядите, какую прокламацию я получил. На телеграфном столбе наклеена была.— Ухаров достал из бокового кармана тетрадный листок, развернул его перед собой и стал читать: — «Дорогие товарищи! Граждане православные! Пока посылаю я вам из небесного царства письмо, в котором прошу не вступать в колхозы, а которые взошли, пусть выходят. Всех прошу принять на себя ударную работу по развалу своего колхоза. Кто не поставит себе эту задачу, тот пойдет в ад, а кто поставит, тот будет принят мною в святые угодники и получит царствие небесное».

— Кем подписано? — спросил Кадыков.

— Бог подписи не ставит,— усмехнулся Ухаров.

— Безграмотная галиматья,— сказал Чарноус.

— Насчет грамотности не спорю, а вот галиматья это или нет, покажет время.

Распахнулась дверь, и вошел Родька Киселев с первой группой десятидворцев. Сидевших за столом обдало холодом, и снегом запахло. Шапки у многих мужиков были сильно заснежены. «Ждали друг друга на улице, по одному не хотелось идти»,— подумал Кадыков. Возле порога обметали валенки, выбивали шапки, не торопились проходить. Только Родька-рассыльный сел на табуретку и весело доложил:

— Всех обошел. Этих с богатовского конца приволок.

Счас придут и с другого конца, возле дьякона собираются. Драный их приведет.

Зиновий Тимофеевич приказал внести из сеней пару скамеек и поставить их вдоль стен. Мужики все делали молча, смотрели как-то вкось, под себя, и даже между собой не переговаривались. Чадили все самосадом, покашливали, как спросонья. Не оживились даже, когда подошла вторая группа с Епифанием Драным.

— Все собрались?—спросил Ухаров, отрываясь от бумаги, привезенной Чарноусом.

— Вроде бы все,— ответил Епифаний.

— Рассаживайтесь товарищи! Сейчас представитель района, заведующий роно товарищ Чарноус, поставит перед нами боевую задачу.

Чарноус поднялся над столом и, опираясь на свой кожаный желтый портфель, коротко сказал, что теперь нет важнее в районе задачи, чем встретить весеннюю посевную кампанию во всеоружии. А посему необходимо сегодня же собрать весь семфонд и доложить об исполнении к завтрашнему утру.

— А чего такая спешка? Иль село горит? Иль сеять завтра, по снегу?—спрашивал Епифаний Драный, оглядываясь на мужиков, как бы ища у них поддержки.

— Это не спешка, а организованное проведение соцсоревнования. Кто быстрее всех засыпет семфонд, тот попадет на Красную Доску почета,— ответил Чарноус.

— А куда их ссыпать, семена-то?—спросили со скамьи.

— Под семфонд выделяются амбары десятидворцев,— ответил Кадыков,— ваши то есть.

— А с ключами как быть?

— С какими ключами?

— С амбарными. Он принесет ко мне на хранение семена, а ежели что случится? Или крысы их поточут? Тогда с ним не разделаешься.

— Да не в ключах дело... Вы ответьте: зачем семена собираете?

— То ись под каким предлогом?

— А зачем вам предлог понадобился?—спросил Ухаров, обращаясь к мужикам.

— Нам ничего не надо. У нас все есть. Это вам наши семена понадобились,— загалдели мужики.

— Скажите прямо—в колхоз будете загонять?

— Али, может, в город их отвезете?

— Товарищи, товарищи, что за ералаш? — встал Чарноус и строго вразумлял мужиков: — Кому пришла в голову такая чушь? Семена в городе не нужны. Они нужны здесь, чтобы организованно встретить весеннюю посевную. Пока есть еще время — надо все привести в боевую готовность — сперва семена, потом инвентарь...

— А потом и нас заобратаете и в колхоз потащите, — перебили его.

— Я попрошу не распускать эти классово чуждые мотивы! — повысил голос Чарноус. — За враждебные слова мы так же наказываем, как и за враждебные действия. Что за распущенность? Никто вас насильно в колхоз не потянет. Подойдет время — проголосуете сами. А сейчас речь о сборе семфонда. Мы не имеем права пускать весенне-посевную на самотек. Семена должны храниться под строгим надзором. Ключи от амбаров сдать секретарю партячейки Кадыкову. В надежном месте семена не пропадут. Перед севом каждый получит свои семена под роспись... Говорить больше не о чем. Предупреждаю — всякая попытка оказать сопротивление сдаче семфонда будет строго пресекаться. А теперь попрошу разбиться на две группы и приступить к делу.

Решили собирать семена с обоих концов Пантюхина сразу. Одну группу возглавил Ухаров, от помощи Чарноуса он отказался, проворчав: «Обойдемся и без погонщиков».

Чарноус надулся и пошел вместе с Кадыковым. Вперед себя послали десятидворцев — оповещать каждого мужика, чтоб семена готовили. Прихватили лошадь с розвальнями — мешки с мукой или с рожью положить на случай конфискации.

А случай такой выпал на их долю: в первой же избе с краю села заупрямился хозяин. Зиновий Тимофеевич знал его как мужика тихого, справного в деле, хотя и скуповатого. Он принял начальство радушно, в подвал провел, показал, в каких мешках хранятся семена проса и овса, но сдавать их, везти в общий амбар отказался наотрез.

— Здесь они на моих глазах целее будут.

— Терентий Семенович, постановление свыше обсуждению не подлежит, — уговаривал его Кадыков. — Если добром не повезешь, силой заставим.

— А сильничать надо мной — у вас таких правов нету, — отвечал Терентий Семенович. — Я крестьянин-

трудовик, чужих людей не ксплуатировал. Сам из бедноты только выбрался.— Он был хмур, волосат, в просторной рыжей свитке, в лаптях, смотрел на них с детским недоумением, как на чудаков, которые простых вещей не понимают.

— Терентий Семенович, мы вынуждены акт составлять,— доказывал ему терпеливо Кадыков,— что ты уклоняешься. Некогда нянчиться с тобой...

— Это — пожалуйста, составляйте ваши акты. Только сильничать не имеете права.

— Хватит с ним в прятки играть! Иль не видишь — он же придуривается? — в сердцах сказал Чарноус и, вынув из портфеля листок бумаги, сел за стол писать акт.— Ваша фамилия?

— Свиненковы мы прозываемся...— Хозяин стоял за спиной Чарноуса и смотрел, как тот водит по бумаге карандашом, и приговаривал:— На то вам и грамота дана, чтоб разобраться по совести. Бумагу, значит, составить. А сильничать нельзя.

— Вот здесь подпишись, что отказываешься семена сдавать.— Чарноус ткнул карандашом в бумагу.

— Мы безграмотные,— ответил хозяин.

— Ну ставь крест, какая разница?

— Это можно,— хозяин старательно вывел каракулю и, довольный собой, уселся на скамью.

— Зиновий Тимофеевич, и вы... Как вас, простите? — обратился Чарноус к десятидворцу, стоявшему возле порога.

— Игнат! — с готовностью отозвался тот.

— И вы, Игнат... Ступайте в подвал, возьмите мешок муки и мешок ржи, уложите на сани и отвезите в общий амбар. Не возвращать хозяину до тех пор эти мешки, пока не сдаст семена.

У хозяина вытянулось лицо и часто заморгали глаза, а с печки раздался сперва приглушенный женский плач, потом вразнобой заревели детишки.

— Терёха-а! Куды ж нам без хлеба-то податься? Ой, матушка моя родная!.. Мы ж до нови не дотянем.

Терентий Семенович попытался слабым голосом возразить:

— То ись по какому такому праву?..

Но его никто не слушал. Все трое (Игнат прихватил с собой фонарь) прошли в подвал, взяли мешок муки да мешок ржи, положили их на розвальни и поехали.

Напротив соседней избы их нагнал Терентий Семенович; он бежал без шапки с развевающимися на ветру волосами и кричал во все горло:

— Зиновéй Тимофеевич! Стойтя-а! Зиновéй Тимофеевич, остановитя-ась!..

И, раскинув руки, словно пытаясь заслонить телом своим эти мешки на розвальнях, нагнувшись над ними, торопливо говорил:

— Вы эта, везите назад их... Я сдам семена-то, сдам... Только погодитя малость, баба мешки зашьет. Да метки свои поставим фимическим карандашом...

3

Самым тугим, упорным и неподатливым звеном сопротивления всеобщему движению к сплошной коллективизации оказался Гордеевский узел. За три дня до окончательного срока по засыпке семенного фонда Возвышаев сам выехал туда во главе судебно-следственной бригады. Накануне выезда он собрал заседание райштаба и, потрясая над головой газетой «Рабочий путь», произнес пламенную речь:

— Что сказано в этом окружном директивном органе? А здесь вот что сказано — дни и часы сочтены — не позднее двадцатого февраля полностью засыпать семенной фонд. Но это еще не все, дорогие товарищи. Главное — корову и лошадь под крышу колхоза! То есть в эти считанные дни все деревни и села должны быть охвачены сплошной коллективизацией. Некоторые районы нашего округа уже отрапортовали о стопроцентном сведении скота на общие дворы. А мы с вами все еще с кормушками возимся. Нет кормушек? Не успели построить? Плюньте на кормушки! Сводите так. Назначайте общие дворы по списку, а сено скармливать через двор, в очередном порядке. Понятно? Имейте в виду — никакие оправдания о затяжке кампании в расчет не принимаются. Любые препятствия опрокидывать безоговорочно. Вот вам на этот счет прямая установка...— Возвышаев раскрыл газету и прочел:— «Осталось только семьдесят два часа... Несмотря на то что двадцатое февраля для округа является крайним сроком по засыпке семфонда, все же отдельные районы до сих пор ведут работу безобразно медленным темпом. Те же, кто не успеет

засыпать до двадцатого февраля семфонд, ответят пролетарскому суду за срыв и невыполнение директив правительства». Все слыхали? Это не выдумки наши, а руководящая директива, спущенная по области самим товарищем Кагановичем. Снисхождения никому не будет. Итак, шестнадцать бригад на шестнадцать кустов. Три дня вам сроку. Девятнадцатого февраля приедут к нам на помощь из округа еще сорок человек. Двадцатого февраля все должны быть в колхозах! Не проведете в срок кампанию — захватите с собой сухари. Назад не вернетесь.

На этом заседании никто не перечил Возвышаеву, никто не поправлял его, не одергивал: Озимов уехал в Желудевку расследовать ограбление магазина сельпо, а Поспелов опять слег в больницу. Накануне вечером скрутила его в три погибели загадочная внутренняя болезнь — не то язва желудка, не то воспаление желчного пузыря. Врача вызывали прямо в кабинет, отсюда же, из кабинета, переселился он в больницу. Возвышаев хоть и посмеивался над этой болезнью Поспелова, называя ее внутренним оппортунизмом, втайне был доволен: баба с возу — кобыле легче. Гнать надо было во весь опор. И никто не мешал ему теперь.

Еще по телефону из Тиханова перед самым отъездом он приказал председателю Гордеевского Совета Акимову собрать к шести часам вечера всех жителей села. «По какой причине?» — спросил тот. «Буду сам выступать,— ответил Возвышаев.— На предмет организации колхоза. Обеспечьте явку каждого жителя!» Акимов сказал, что всех до кучи собрать никак нельзя по причине отсутствия большого помещения: «При барском доме был клуб, да сгорел. А в школе, в самом большом классе и в смежном коридоре, помещается только четыреста человек. Всех же хозяев на селе насчитывается семьсот семьдесят шесть душ. Может, в церковь собрать?» — «Вы что, с попом меня перепутали? — рявкнул Возвышаев.— Рекомендую шуточек насчет проведения ответственного мероприятия не отпускать».— «Какие шуточки? Говорю, людей негде собирать».— «Собирайте в школе».— «Дак что, в два захода? Село пополам делить?» — «Кончай базар! Всех оповестить и собрать к шести часам в школу!»

Возвышаев забрал с собой Чубукова, Радимова и нарследователя Билибина. Поехали на двух подводах; Возвышаев рассчитывал все сделать за сутки: организо-

вать всеобщее голосование за вступление в колхоз, определить сроки сбора инвентаря и скота на общих дворах, главное — лично сдвинуть с мертвой точки сбор семенного фонда, а там — поручить судебно-следственной бригаде следить за исполнением принятых решений, самому же вернуться в Тиханово и взять под контроль дела в остальных пятнадцати кустах.

Ехал он на передней подводе, Чубуков правил, сам же Возвышаев завернулся в тулуп и улегся в задке санок, чтобы поспать в дороге. Устал он, мотаясь за последнюю неделю, и осунулся так, что щеки провалились и черные подглазья еще резче оттеняли лихорадочный блеск его постоянно взбудораженных серых глаз. Какое-то общее выражение мрачной решительности появилось теперь на хмурых лицах Возвышаева и Чубукова, и даже скулы одинаково обозначились у них, потемнели и шелушились от ветра и мороза в постоянных разъездах. И день и ночь тормошили они, подгоняли сельских активистов, заставляя собирать семена, строить кормушки, готовиться к великому дню всеобщего объединения в сплошной колхоз. Все шло по задуманному плану — сперва собрать семфонд, подготовить общие дворы, потом одновременно по всему району провести собрания, проголосовать и в течение двадцати четырех часов согнать весь скот. И вдруг — осечка! Ни в Гордееве, ни в Веретье не сдают семена. Кормушки построили, но семена не сдают. Уполномоченные силой пытались взять. Так мужики все дружно стеной встали. В чем дело? А мы, говорят, построили кормушки для тех, кто хочет в колхоз идти, то есть сделали дело общественное. А семена — дело частное, это касается каждого из нас. Поскольку мы единоличники, то каждый старается для себя — где хочет, там и хранит, и отбирать — не имеете права. Выход нашел из этого тупика путем правильных логических рассуждений сам Возвышаев: раз не хотят сдавать семена как единоличники, то сдадут их как колхозники. Так и сказал он на заседании районного штаба: «Весь Гордеевский куст за считанные часы должен сделаться сплошным колхозом. И начнем собирать семена законно, то есть не как с единоличников, а как с колхозников, привлекая в дело судебно-следственную бригаду. Это и будет первая репетиция всеобщего мероприятия».

— Никанор Степанович, ты спишь? — спросил Чубуков с облучка.

— Нет. А что?—откликнулся Возвышаев из-под тулупа, не откидывая воротника.

— А вдруг мы их не уломаем?

— Кого?

— Да мужиков. Упрутся, не пойдут в колхоз, и шабаш. Как тогда быть? Ведь опозоримся на весь район. И потом—какой пример будет для других? Они же враз по бабьему телефону разнесут по всем селам. И другие бригады провалятся.

Тулуп заворочался, откинулся воротник, и из мохнатой овчинной глубины вынырнула голова Возвышаева в черной котиковой шапке.

— Ты один придумал эту несуразность или с кем обговаривал?—строго спросил Возвышаев.

— А что?

— А то самое... Едешь на боевое задание с оппортунистическим настроением—это и есть внутренняя капитуляция перед крепостью под названием «частная собственность».

— Ну, это ты брось!—Чубуков в одну руку переложил вожжи, другой взял изо рта трубку и стал возбужденно говорить, размахивая ею, как дымящейся головешкой:—Я эту частную собственность шуровал еще задолго до революции, когда ты под стол пешком ходил. Я через нее в тюрьме дважды сидел и ненавижу ее как самую главную заразу на земле. Не то чтоб отступать перед ней... Вот этой рукой смогу запалить с обоих концов любое село, сжечь все до последнего овина,—он погрозился трубкой,—если это понадобится для искоренения всех отростков частной собственности в пользу мирового пролетариата. Я не в том смысле тебе говорю, что испугался отобрать что-либо из мужицкого барахла. У меня рука не дрогнет. Я тебе о дьявольском упрямстве этих мужиков. Ну, семена отберем... Надо—штаны с них посымаем. Но если мужик не запишется в колхоз, что ты с ним сделаешь?

Возвышаев покачал головой и сказал с горькой усмешкой:

— Вот что значит теоретическая слепота в проведении политики дальнего прицела. Ты что думаешь? Неужто мы будем ждать мужицкого всеобщего согласия на поворот лицом к сплошной коллективизации? Да какой же политик ждет всеобщего согласия, когда задумал прочертить линию главного направления? Пока он будет

ждать всеобщего согласия, он и сам состарится, и народ обленится до безобразия. Всеобщего согласия не ждут, его просто устраивают для пользы дела.

— Но как ты его устроишь? Ведь это не то чтоб отобрать имущество или там раскулачить, сослать?

— В теории есть доказательство от противного, то есть вовсе не обязательно заставить всех кричать: «Мы за колхозы». Вполне достаточно, чтобы никто не говорил: «Мы против колхозов». А если кто скажет,. взять на заметку как контру. Понятно?

Чубуков от неожиданности даже рот раскрыл.

— Это и в самом деле просто,— только и выдавил из себя.

— И сегодня в Гордееве ты увидишь, как это делается, а завтра утром проделаешь все то же самое в Веретье. Вот так. А теперь гони! — Возвышаев снова завернулся в тулуп и успел даже соснуть до Гордеева.

Подъезжали к селу уже ввечеру; на высоком церковном бугре на черных липах дружно, картаво кричали галки, зеленый купол колокольни, золотая луковка и крест блестели в жарких отсветах кровяного заката, и сумрачная длинная тень от огромной белой церкви пропадала в дальних пределах тускнеющих снежных полей. Было что-то тревожное и в этом заполошном гортанном птичьем гаме, и в широком зареве полыхающего ветреного заката, и в ритмичном покачивании оголенных черных лип.

— Что, подъезжаем? — спросил Возвышаев из тулупа.

— Да, гордеевская церковь,— отозвался Чубуков.

— А я вроде бы и не спал...— сказал Возвышаев, откидывая воротник тулупа.— Думал, что все еще лес — санки идут ровно, ни заносов, ни раскатов.

— Ветер только начинается. За ночь заметет — и не выберешься отсюда.

— Ну уж это отойди проць! Как говорят в Пантюхине. Если понадобится, верхом — и то уеду. А то обе лошади запрягу в одни санки.

— А нам чего без подводы делать? Гордеевский куст большой.

— Достанете подводы. Вы тут останетесь полными хозяевами.

С высокого церковного бугра все село видно было как на ладони: два бесконечно длинных порядка домов по берегам извилистой Петравки; внизу, у самого речного

приплеска, в окружении ветел и тополей, за тесовой оградой,— деревянная, крашенная охрой школа, возле которой густо толпились мужики в бурых свитках, в черных и рыжих шубах, в лаптях и белых онучах, высоко ухлестанных частой клеткой обор.

— Ну, Чубук, веселый будет разговор,— сказал Возвышаев, глядя на мужиков.— Гони!

У школьной околицы встретил их Акимов, взяв под уздцы разгоряченную лошадь, он провел ее сквозь узкий проезд в ограду и крикнул избачу, стоявшему в толпе мужиков:

— Тима! Тащи сена! — Привязав лошадь к поперечно закрепленному бревну, подошел к начальству: — С приездом вас, Никанор Степанович!

Возвышаев уже вылез из тулупа и прыгал возле санок, разминая озябшие ноги в высоких хромовых сапогах; на нем была приталенная защитного цвета бекеша, отороченная кенгуровым мехом. Поздоровавшись с Акимовым, спросил:

— Всех собрал?

Тот пожал плечами и сцепил на животе толстые пальцы:

— Оповестил всех.

— Имей в виду, никаких скидок мужикам на то, что отсутствовали, не будет.

— А по какому поводу собрание?

— В колхоз будем принимать.

— Кого?

— Всех.

На круглом и красном лице Акимова расплылась добродушная широкая улыбка:

— Всех сразу не примешь.

— Почему? — строго спросил Возвышаев.

— Дак ведь почти восемьсот человек... До свету не перепишешь всех-то.

— А у нас не церковь. Мы не записываем каждого в отдельности ни во здравие, ни за упокой.

— А как же?

— Всех сразу.

Акимов вытаращил белесые глаза, тревожно оглянулся на Чубукова. Не шутят ли? Нет. Чубуков распускал чересседельник, пыхтел трубкой и хмуро насупился... Подъехала вторая подвода. Радимов выскочил из санок в тулупе, в валенках, громоздкий, как медведь, сам стал

распутывать повод, привязывать за коновязь лошадь и балагурил:

— Теперь бы горячих щец да помягче бабец, вот и погрелись бы. Чего это мужики у тебя на улице мерзнут, а в школу не идут?—спросил у Акимова.

— Не помещаются все в школе-то.

— А надо их бабами да девками перемежать. Уплотнились бы,—засмеялся Чубуков.

Тима принес из школьного сарая огромную охапку сена, положил ее перед лошадиными мордами, подошел к Акимову и что-то зашептал ему на ухо.

— Что у вас за секреты?—сказал Радимов.—Перед судебно-следственной комиссией все должны быть откровенны, как на исповеди.

— В Веретье появился беглый кулак,—сказал Акимов.

— Кто такой?—Возвышаев перестал прыгать, насторожился.

— Бывший подрядчик Звонцов.

— Ах этот, который дом свой сжег!—воскликнул Радимов.—Взять и немедленно доставить в тюрьму.

— Ага, возьмешь воробья за хвост,—усмехнулся Акимов.—Сперва поймать надо.

— А где Ежиков? За чем смотрит? Сейчас же пошлите туда уполномоченного, и пусть немедленно арестует,— приказал Возвышаев.

— Я ж вам говорю—скрывается он. По слухам, там... А где он прячется—никто не знает.

— Эх вы, растяпы!—сказал Возвышаев.—Пошли в школу.

Входили с заднего крыльца, через учительскую; оба класса и коридор битком были набиты мужиками, накурили так, что подвесные керосиновые лампы светились мутными шарами, как бакены в речном тумане. Приглушенный говор, как шмелиный зуд, немедленно стих при появлении длинной шеренги начальства. Впереди шел Акимов и короткими мощными руками раздвигал толпу, как табун лошадей, приговаривая:

— Прошу осадить к стенке!..

В классе стояли рядами скамьи, люди сидели на них густо, словно снопы на току. Приезжие прошли к учительскому столу, расселись на стульях. Возвышаев вынул из черного портфеля красную папку и раскрыл ее перед Акимовым со словами:

— Тут все заготовлено. Так что открывай собрание, а все остальное я скажу сам.

Акимов встал, позвонил звонком, давая рукой знаки задним рядам, ломившимся из коридора, успокоиться; когда все смолкли, сказал:

— Граждане односельчане, причина схода нашего села известная — выслушать сообщение товарища Возвышаева на предмет вступления в колхоз. Прошу, Никанор Степанович.— Акимов сел, расстегнул полушубок черной дубки, вынул из бокового кармана атласный синий кисет и стал скручивать цигарку.

Возвышаев недовольно покосился на него, но встал, спросил, обращаясь к мужикам:

— Товарищи, вы не считали, сколько здесь присутствует?

— Пятьсот десять человек!

— Четыреста восемьдесят два...

— Четыреста семьдесят три...

Раздались голоса из коридора.

— То есть абсолютное большинство. А если так, то мы имеем право решать вопрос исключительной важности для всего вашего села. Вопрос этот продуман окончательно; значит, выступать против колхоза — все равно что выступать против Советской власти.— Сделал внушительную паузу, обвел всех присмиревших мужиков косо расставленными глазами и потом добавил: — Со всеми вытекающими из этого последствиями. Агитировать за колхоз я вас не стану — время агитации на этот счет истекло. Вам всем рассказали, куда вести лошадей, куда коров, где свиней держать и птицу, куда инвентарь свозить. Дело осталось за вами. Кормушки вы сами строили, дорогу к ним знаете. А посему приступим к голосованию: кто против директив правительства, то есть против колхоза, прошу поднять руки!

Воцарилась мертвая тишина. Акимов даже курить перестал, так и застыл, приоткрыв рот, глядя на Возвышаева. А Никанор Степанович, подымаясь на носки, вытягивая шею из полурасстегнутого узенького воротничка бекеши, спрашивал:

— Посмотрите там, в коридоре! Никто не поднял руку? Так, никто... Значит, все за. Таким образом, объявляю вас всех колхозниками.

Тут все словно проснулись и зашумели разом:

— Это по какому закону?

— Иде список? Поимённай!..

— Я подписи своей не ставил. Не имеете такого права.

— А ежели ф в Москву напишем?

— К Калинину пойдем, к Калинину!..

— Тихо! Я еще не кончил,— поднял руку Возвышаев.

Акимов схватил со стола звонок и замотал им над головой. Шум постепенно стих.

Возвышаев взял лист бумаги из раскрытой папки и стал читать:

— «Мы, граждане села Гордеева, постановили сего числа, то есть семнадцатого февраля, в девятнадцать ноль-ноль, организовать сельскохозяйственную артель, или колхоз, и вступить в таковой всем членам, а также считать фактически членами и не присутствующих на данном собрании. Нежелающим вступить в колхоз предоставить право подать в течение двадцати четырех часов заявление о выходе из артели. В случае же неподачи заявления в указанный срок считать всех автоматически членами данного колхоза. Тех же, которые подадут заявления на выход, считать как злостных противников колхозного строя и Советской власти, а посему земельно-луговой надел выделять таковым весной тридцать пятого года». Всем ясно?

И, не давая опомниться мужикам, покрывая разноголосый гомон, сам затряс звонком, пока снова не притихли все.

— Получите первое задание: поскольку вы теперь все колхозники, в течение восемнадцати часов, считая с этой минуты, собрать семенной фонд, скот и сельхозинвентарь. Все население объявляется мобилизованным с запрещением выезда из села до известного срока, который будет установлен особым решением. Кто воспротивится сдавать семфонд или скот, будет привлечен к ответственности судебно-следственной бригадой. Представляю членов бригады лично: нарсудья товарищ Радимов, нарследователь товарищ Билибин и заведующий райзо товарищ Чубуков.

Каждый из поименованных привстал и поглядел строго в зал.

— Им будут помогать товарищ Акимов, милиционер Ежиков и члены гордеевского актива. Всех предупреждаю — жаловаться некуда. Выше нас власти нет. Всё! А

теперь расходитесь по домам и приступайте к выполнению задания.

Из передних рядов встал старик в свитке и, подняв над головой зажатую в кулаке шапку, замахал ею, обращаясь к односельчанам:

— Обождитя, мужуки! Сто-ойтя!

Возвышаев спросил на ухо Акимова:

— Кто такой?

— Бондарь.

— Возьми на заметку!

— Он и так никуда не денется.

Старик, осадив поднимавшихся было мужиков, обернулся к Возвышаеву:

— Все, что вы тут читали нам, это вы сами и написали. А когда же напишут и скажут по-нашему?

Старик был худ, высок, с открытой, жилистой шеей и смоляными горящими глазами.

— Сперва надо представиться — кто ты есть? — сказал Возвышаев.

— Прозываюсь Петрусевым,— ответил старик.— Авдей Исав.

— Итак, чем вы недовольны, Авдей Исаевич? — спросил строго Возвышаев.

— Я-то всем доволен. У меня все свое. А вот вы ответьтя, по какому праву нарушаете закон?

— Какой же это закон мы нарушаем?

— Тот самый. Ленин дал нам волю или нет? Отвечайте!

— Ну, дал.

— А вы ее уже однава отбирали.

— Когда же у вас отбирали эту волю? Каким образом?

— Таким же самым... Значит, какое равноправие дал нам Ленин? Голосовать! А вы помимо его воли, без нашего голосования, отбирали у нас и хлеб, и скотину в эти самые годы... Ну, когда денег не было, а вся торговля шла на хлеб.

— В комунизьму! — крикнули из коридора.

— Во-во! В эту самую комунизьму,— подхватил старик.— Потом вашего брата за это ж наказывали. А сколь мужиков погубили? За что, спрашивается?

— Вы мне тут кулацкие речи не пускайте! Вы знаете, что бывает за саботаж решения партии и правительства?

— Ты не грозись, а прочти нам, что Ленин написал или теперешний главный начальник, Сталин.

— А я вам что читал?

— Это вы сами написали! — закричали уже со всех сторон.

— Сталин не говорил, чтоб загнать всех разом за сутки.

— Тут омман, мужики... Озорство, одним словом.

— Так ведь мы ж не с потолка брали. Нам директива спущена, от правительства! Вы что, газет не читаете?

— В газете Штродов насочинял.

— Игде директива Сталина? — кричали из коридора.

— Директива в книжке пропечатана. Закон! А вы нам свою бумажку прочитали, — торжествующе, покрывая шум, сказал Петрусев и сел.

Возвышаев, красный от негодования, схватил звонок и долго тряс им, потом грохнул наотмашь кулаком по столу и закричал:

— Вы что, бунтовать сюда собрались? Рекомендую одуматься и разойтись по домам. Всё! Сход окончен.

— Нам итить некуда — ноне дворы отобрали, завтра выгоните из домов.

— Прекратите базар! Хорошо, кто против колхоза, напишите здесь же заявления. Даем вам сроку час. Через час судебно-следственная бригада примется за дело. Помните, каждого, кто напишет против колхоза, расцениваем как противника Советской власти со всеми вытекающими последствиями.

И сразу все смолкли.

— Акимов, принесите им сюда на стол несколько тетрадей, пусть пишут заявления о выходе из колхоза, а мы подождем в канцелярии.

Не давая опомниться притихшим мужикам, все начальство длинной вереницей вышло в учительскую. Возвышаев, вращая разбегающимися от негодования глазами, набросился на Акимова:

— Сколько выслали кулаков?

— Семь семейств.

— Это на восемьсот хозяйств? Меньше одного процента! Вот он, либерализм, боком выходит для всего района.

— Выслали согласно директиве — двух мельников, пять владельцев молотильных машин. Подрядчик сам сбежал.

— А бондари? А колесники? А санники? Имей в виду,

Акимов, если сорвете план сплошной коллективизации, собственной головой поплатитесь.

— Я его чем сорву?

— Либерализмом! Вот ваша главная прореха в классовой борьбе. Слушайте инструкторов. И выполнять все без оговорок. Никакие объективные причины в счет не принимаются.

Возвышаев долго и строго наказывал, как надо собирать семфонд и сводить скот на общие дворы; он разбил судебно-следственную бригаду на две группы, укрепил ее гордеевским активом и приказал начинать одновременно с обоих концов села. Взять с собой по три-четыре подводы, сперва семена собрать. Если откажутся выносить ключи, сбивать замки с амбаров. Кто окажет сопротивление, немедленно брать под арест. Арестованных запирать в кладовые, штрафовать, не стесняясь. Весь скот должен быть сведен на общие дворы к утру. На всякие мелочи остается Акимову еще восемь часов. К вечеру колхоз должен быть создан фактически.

— В восемь утра докладываешь мне лично о сборе семфонда, понял? — сказал он Чубукову.— К двенадцати бригада переезжает в Веретье, проводит по такому же образцу общее собрание и за двадцать четыре часа создает всеобщий колхоз. Остальные, мелкие, села привести в соответствие за оставшиеся сутки. Утром двадцатого отрапортовать в район, что весь Гордеевский куст превратился в сплошной колхоз. Ясная задача?

— Ясная,— разноголосо ответили судебные исполнители.

Потом послали избача Тиму к мужикам в класс принести заявления о выходе из колхоза, ежели таковые окажутся. Тима принес целую пачку заявлений. У Возвышаева брови полезли на лоб.

— А ну, дай сюда! — Он сгреб всю эту пачку и быстро стал прочитывать одно заявление за другим, губы его дрогнули в кривой усмешке и расплылись во все лицо.

— Струсили, мерзавцы! Нате, читайте! — раскинул он всю пачку по столу, словно колоду карт.

Все заявления были написаны по единому образцу, хотя и разным почерком: «Я, гражданин такой-то, не против колхоза и Советской власти, но прошу мое вступление отложить до будущего года».

— Акимов, напиши резолюцию — в просьбе отказать. Всем! И приступайте к делу.

Сам Возвышаев уехал на агроучасток, завалился на кожаный диван и заснул праведным сном хорошо поработавшего человека. Ему приснился сон, будто он оказался в Москве, на Красной площади. Идет чинно, строевым шагом печатает сапоги на брусчатке, так что гул идет. Подходит к проходной у Спасской башни к часовому с винтовкой и спрашивает: «Я на доклад к самому Сталину».— «Что за доклад?» — спрашивает часовой. «Я весь район к коммунизму привел, первым».— «А где твои люди?» — «Они уже там, за воротами». Вдруг раскрываются кремлевские ворота, и оттуда вылетает табун разъяренных лошадей, и все бросаются на него, Возвышаева. Он было хотел увернуться от них, в будку к часовому прошмыгнуть, но часовой схватил его за плечи и давай толкать под лошадей. У Возвышаева сердце зашлось, он хотел крикнуть во все горло, но грудь его была сдавлена, воздуху не хватало, и он только слабо промычал и очнулся. Перед ним стоял одетый Чубуков и тряс его за плечи:

— Очнись же, Никанор Степанович!

— В чем дело? Что случилось? — Возвышаев сел на диване, огляделся — в комнате горела настольная лампа, в окнах чернота, Чубуков весь в снегу.

— Беда! Веретье взбунтовалось,— сказал Чубуков, садясь на стул.— Одевайтесь!

— Что? — Возвышаев глянул на карманные часы — он в брюках спал — было шесть часов утра. И заторопился: скинул одеяло, босым в два прыжка достиг порога, мигом натянул сапоги и, на ходу застегивая френч, натягивая бекешу, спрашивал:

— Подробности? Живо!

— Прибежал Доброхотов под утро к нам, в Гордеевский Совет. Говорит, что вечером пришли к ним в Веретье гордеевские мужики и рассказали, что их в колхоз загоняют. А завтра, мол, и за вас примутся. Ночью все Веретье взбудоражилось — бабы, старухи поднялись и пошли общественные кормушки ломать. Все переломали и доски выбросили на дорогу.

— Ну и черт с ними, с кормушками! Новые построим. Все равно проводите в двенадцать собрание. И собирайте семфонд, скот и все такое прочее.

— Не с кем проводить собрание-то! Мужики все сбежали.

— Куда? — рявкнул Возвышаев, проверяя барабан нагана.

— В лес.

Только теперь дошло до Возвышаева. Он обалдело поглядел на Чубукова, спрятал в карман наган и сказал:

— Соедините меня с районом. С милицией!

— Телефон не работает. Между Веретьем и Гордеевым столб повален, провода порваны.— На мрачном лице Чубукова застыла смертельная усталость.

— Так... Тогда я сам поеду.

— Езжайте в объезд, через мельницу. Гордеевым ехать не советую. Там тоже неспокойно.

— Так... Ясно... Семфонд собрали?

— Собрали. Наложили пятнадцать штрафов, провели десять конфискаций. Четверо оказали сопротивление. Взяли их под арест. В кладовой сидят. Может, выпустить? — Чубуков медлил, боялся сказать, что их могут освободить силой, потому смотрел себе под ноги.

— Ты чего, или боишься?

— Когда мужики всем миром подымаются, тут все может быть... Бывало, они нашего брата живьем закапывали.

— Не бойсь. Теперь земля мерзлая,— нервно усмехнулся Возвышаев.— Сидите здесь, на агроучастке. Вы все вооружены, кто вас тронет? К вечеру привезу подкрепление. На десяти подводах. Всю милицию на ноги поставлю. К двадцатому февраля весь куст должен быть коллективизирован. Точка. Пошли запрягать.

Возвышаев задул лампу, и они вышли во двор.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

Перед высоким резным крыльцом Кадыковых, на всем скаку осаженный ездоком, намертво остановился вороной риковский жеребец Голубчик.

Зиновий Тимофеевич глянул в окно, и сердце его тревожно екнуло: из санок вылезал сам Озимов в шинели и в серой каракулевой папахе. К чему бы это? Озимов по пустякам не приедет.

Кадыков в одной косоворотке выбежал в сени и, пожимая холодную могучую ладонь своего бывшего начальника, тревожно спросил:

— Что случилось, Федор Константинович?

— Пошли в избу! Ты чего, как пионер, чуть ли не без порток выбежал? Еще не хватает простудиться.

В избе чинно поздоровался с хозяйкой, но от угощения отказался и раздеваться не стал. Сняв папаху, сел на скамью возле стола, озабоченно спросил:

— Как у тебя с колхозом?

— Все в порядке. Вчера свели лошадей, инвентарь собрали. Коров пока держат на своих дворах.

— Кто проводил собрание?

— Прокурор Шатохин.

— И как он его проводил? Что говорил-то?

— Ничего особенного и не говорил. Собрались. Мужики молчат. А бабы зашумели: не надо нам колхоза! Мы, говорят, и так из лаптей не вылазим. Ухаров еще говорил. Я... Кузнец наш, Савелий. Агитировали. Мол, в колхозе легче — машины будут, налоги отменят. Ну и прочее... А потом встал Шатохин и объявил голосование: кто против колхоза, просил поднять руки. Ну, кто подымет руку? Он встал, шею вытянул, как гусь... Не токмо что лицо, ширинку видит у каждого. Молчат. Тогда он объявил всех колхозниками. И велел сводить лошадей. Кто откажется — под суд.

— И всё спокойно?

— А чего ж? Кто не доволен — дома ругается. А на улице тишина и порядок.

— Н-да, дела. А я к тебе по нужде. В Красухине избили уполномоченного, нашего Зенина. Держат его на почте мужики, под охраной. А председатель Совета сбежал. Прошу тебя съездить туда, провести дознание и освободить его.

— Что ж, или во всей милиции не нашлось, кого послать туда? У нас самая горячая пора. Колхоз пока лишь на бумаге.

— Знаю, брат. Но некого больше послать. Выручай.

— Куда же все ваши подевались? Говорят, теперь еще и уполномоченный ГПУ есть?

— Станицын? Все выезжаем в полном составе в Гордеево. Там буза... Возвышаев кашу заварил, а нам ее расхлебывать. Ты вот что, надень форму. Оружие в порядке?

— Да, — кивнул Кадыков.

— Расследуешь там дело и вечером давай в Горде-

ево, на почту. Присоединишься к нам. Мы там заночуем, а может, и на несколько дней задержимся. Дело серьезное.

— А почему на почте?

— Узел связи охранять надо. И помещение просторное. Митинг там решили провести. Терраса высокая, что твоя трибуна. Приедут из Рязани. Авось все образуется.

— Ну что говорить? Раз надо — я поеду.

— Спасибо! — Озимов встал и пожал руку Кадыкову.— Формально я не имею права срывать тебя. Но сам понимаешь, посылать больше некого! Да и в Гордееве понадобишься.

— Об чем говорить! — Кадыков проводил Озимова и, возвратясь, крикнул с порога: — Нюра, сходи в кладовую и принеси мою портупею!..

А через час, наскоро пообедав, затянувши свою потертую милицейскую шинель широким желтым ремнем, в черной шапке со звездой на лбу, он лежал, откинувшись на бок, в похрустывающей кошеве, набитой до краев пахучим сеном, и лихо погонял рыжего, теперь уж не своего, а колхозного мерина.

Поехал низом, по тимофеевским лугам, на Желудевку, оттуда Касимовским трактом до самых мещерских лесов, а потом еще в сторону, в лесную глухомань. Дорожка дальняя, верст на двадцать пять протянулась, только-только к вечеру и добраться. За ночь нагулялась метель, и косые языки переметов то и дело укрывали дорогу. От мороза они загустели, уплотнились и глушили всякое движение. Сани вязли в них, как в песке; широкие копыта мерина, бухавшие и скрипевшие на открытой дороге, здесь становились неслышными, будто погружались в вату.

«Это ж надо, до чего дожили? За целый день ни одна подвода не прошла по дороге. Будто села вымерли и лошади все передохли,— думал Кадыков.— Ведь об эту пору, в сырную седмицу, на масленицу, бывало, стоном все стоит. А уж по дорогам-то и днем и ночью катания да гоньба — и на рысаках, в легких саночках, и на санях... А уж в гости не токмо что в одиночку — поездами ехали, с бубенцами под дугой, а то воркуны на хомутах, ленты в гривах; летят от села к селу с гиканьем, с песнями — гармошки во всю грудь: ливенки, хромки, а то саратовские, с колокольцами... Мать честная! Все сразу пропало, будто корова языком смахнула».

Поднявшись на высокие желудевские увалы, Кадыков увидел наконец людей; но странно, они шли и бежали не по дороге, а низиной, овражками, широким прогоном, обозначенным в снежном пространстве низкорослыми чахлыми кустиками, стравленными скотиной. Бежали кратчайшим путем от окрестных деревень — Платоновки, Ефремовки, Ухова — к своему бывшему волостному центру, огромному селу Желудевке, спадающему по косогорам в безбрежные просторы луговых угодий Прокоши. Шли и бежали кто с вилами, кто с багром, кто с топором. «Куда это они? Как на пожар»,— подумал Кадыков.

Он привстал в санях и поглядел в сторону Желудевки — не горит ли где? В низком сером небе таяли редкие белесые дымки над заснеженными крышами домов. Глянул на далекую белую колокольню, откуда неслись частые удары колокола, и вдруг сразу понял: «Это ж набат! Ё-моё... набат гудит!..» От этой жуткой догадки Кадыков зябко передернул плечами, натянул тулуп, валявшийся в ногах, огрел кнутом мерина и крупной, машистой рысью шибко поехал под уклон. Но с мужиками разминулся — они спустились вниз по оврагу и скрылись за поворотом. Подумалось на минуту: не свернуть ли в Желудевку? Но мысль эту, как не лишенную праздного любопытства, прогнал прочь.

На следующем перевале встретился со стариком. Он также бежал полем в лаптях, полушубок расстегнут. Борода на ветру летит, что твоя кудель, в руках топор, и голицы белые с раструбом, по локоть. Здоровый старик — мерина сшибет с дороги.

— Здорово, отец! — сказал Кадыков, натягивая вожжи.— Куда бежишь?

— Ты ай не слышишь? Набат гудёт. Сзывает!

— Зачем?

— Бить, сынок, бить...

— Да кого бить-то?

— А это уж кто под руку попадет. Вчерась веретьевские кормушки поломали. Таперика мы бегим ломать сатанинскую затею. Не то завтра всех лошадей и коров наших сведут.

— А вдруг задавите кого? Ведь грех же... А то еще посадят!

— Эх, сынок! На миру и смерть красна. Раз созывают в набат — надо итить, дело божеское.

— Ну, садись, подвезу. Я мимо Желудевки поеду.

— Нет, нет. Я тороплюсь. Христос с тобой! — и побежал.

«Да, вот такому деду попадешься в руки — так натерпишься муки,— подумал Кадыков, провожая глазами этого былинного Микулу Селяниновича, сменившего деревянную сошку на боевой топор.— Кажись, довели мы русского мужика до смоляного кипения. Кабы красного петуха не пустили. Все села пожгут...»

На Касимовском тракте, у самого поворота в лесную сторону, Кадыков нагнал легко шагавшего паренька в пиджаке и валенках. Посадил. Разговорились. Оказался продавцом красухинского магазина сельпо, ходил в Желудевку заявление делать, что в Красухине магазин растащили.

— Как растащили?

— Да так. Утром взбунтовались, кормушки поразбили, заодно и магазин обчистили.

— А говорят, уполномоченного избили?

— О-о! — парень только рукой махнул, достал кисет и стал скручивать цигарку.— Тут целая история... Довели мужиков, дов-вели...— Прикурил, жадно затянулся, откидываясь на локоть, и сардоническая торжествующая усмешка заиграла на губах его. Но вдруг, заметив под тулупом отворот шинели и звезду на шапке Кадыкова, осекся, будто рукавом стер с лица улыбку, и спросил с почтением: — А вы кто сами будете?

— Из уголовного розыска. Из милиции.

— А! Это другой оборот. Значит, мой магазин осматривать? — обрадовался парень.

— И магазин твой осмотрю. И уполномоченному помочь надо.

— Это само собой. А я уж испугался — не из этих ли, думаю... Замаскировался под начальство.

— А чего ж ты испугался?

— Дак вон что творится! А ну-ка, да возьмет меня в оборот в лесу-то. Я ведь комсомолец. Продавец сельпа! — Парень важно надувал губы, сводил свои белесые жидкие брови, стараясь сгладить первоначальную оплошность своей готовностью услужить милицейскому начальству.

— Что в Желудевке? Я слыхал набат.

— Кормушки ломают. А начальство разбежалось.

— Никого не били?

— Нет. В сельсовете окна разбили и бумаги все сожгли. Никаких, говорят, колхозов! Мы теперь чистые.

— А у вас что было?

— О-о, тут целая история...— Парень опять махнул рукой и стал рассказывать: — Утречком ранним, еще до свету, разбудил меня шум под окном: вроде бы на гулянку сошлись девки с парнями — гужуют, только гармошки не слышно. Глянул на часы — седьмой час утра. Да и в окнах сереет. Чего это, думаю, загуляли с утра пораньше? Надел на босу ногу валенки, пиджак внакидку, шапку в охапку — выбегаю. Вот тебе, посреди улицы — не ребята, а мужики и бабы толпятся; галдеж, как на базаре. Особенно бабы старались: у каждой в руках или ухват, или кочерга, а то и вилы. В Веретьях кормушки поломали, говорят, а мы что, ай хуже? А ежели ф милиция или войска пригонют? Да мы их ухватьями забодаем. Старики, которые поумней, осаживают их: посадят вас, дуры. А они: ежели нас посодят, тады вам юбки надевать и детей малых сосками кормить. Молока-то все равно не будет. Какое молоко, ежели коров сведут со дворов? Ну, мало-помалу и разожглись: сейчас же идем кормушки ломать, кричат бабы, а те мужики, у которых штаны ишо держатся и сухие, давайте за семенами. Штоб к вечеру семена дома были. Побежали мужики к председателю сельсовета, у нас его прозывают Степкой Похлебкой. А он с перепугу на сушилы залез, в сене спрятался. Где хозяин? Где уполномоченный? В рийон уехали ночью. Врешь! Ишшитя, говорит хозяйка. Они сунулись в сени, во двор, на сушилы заглянули — нет. Где ключи от семенного амбара? С собой носит. Да хрен с ними, с ключами. Сняли бревно из заплота у того же Похлебки и пошли к семенному амбару. Человек десять раскачивали бревно под запев частушки: «Десятичник — парень ловкий, утонул в м... с головкой... Эх, р-раз, да еще раз!» Звездарезнули раза три концом бревна — и замок слетел, и дверь с петлей сорвали. Ну, а семена растащить — дело плевое каждый знал свои мешки, метки ставили... А энтот уполномоченный, видать, сердцем переживал. Степан Николаич говорит Похлебке, не дело в сене-то отлеживаться. Под пулями, в бою, говорит, и то свою линию держат. Пошли хоть кормушки отобьем. Не то что ж мы в районе доложим? Завтра лошадей сводить, а у нас кормушек нет. «Что в бою? — говорит Похлебка.— Пуля — дура, пролетела, вжикнула, и нет ее. А тут согнут тебя в три погибели, оторвут муде и привяжут к бороде. Лучше не ходи». А тот пошел. Говорят, тихановский,

Зенин по фамилии. И мужичонка-то лядащий, щуплый, а пошел. Дорогие женщины, на классово чуждую стихию, говорит, работаете. Эти кормушки приведут вас к счастливой жизни и полному довольствию. Это вы, говорит, окно в новый мир ломаете. Они и поднялись: вы что, хотите из этих кормушек и нас кормить? Да мы тебя счас самого накормим. Вяжите его, бабы. Связали по рукам и ногам, подтащили к кормушке, овса всыпали. Пусть жрет! Ах, не ест? Сами они рыло воротят, а нас в комунию толкают. Всыпать ему! Сняли с него штаны, спину заголили, растянули на скамье и давай молотить прутьями из метлы. Да не жидкими концами, а комлями били. Всего его в кровь расписали. Он и пищать перестал. Водой окатили — ожил. Молись, отродье антихристово! Кайся перед богом, что с сатаной связались... Икону принесли. Кайся, что по наущению дьявола в колхоз нас загонял. Кайся, не то живота лишим! На колени его поставили перед иконой, лбом обземь били. Он и сознание потерял...

— Значит, везде успевал: и за мужиками бегал, и баб не прозевал...

— Да я один, что ль? Все ребята и девки там были.

— А магазин? Иль за ним тоже парни и девки приглядывать должны?

Парень залился краской и смущенно потупил глаза:

— Я эта... не знал, что так обернется.

— Когда обокрали магазин?

— Кто его знает... Понесли этого Зенина на почту... Тут я и заметил, что дверь в магазине растворена. Замок вместе с пробоем выдрали.

— Что украдено?

— Восемь ящиков водки... Да кое-что из одежды. Хозяйственные товары, утварь всякую, хомуты — вроде бы не тронули.

— Эх ты, Ротозей Иваныч! Вместо того чтобы на своем посту стоять, бегал на поглядку, как сопливый мальчишка.

В Красухино приехали еще засветло. В селе тишина и спокойствие, от заборов и околиц, лениво отбегая, побрёхивали собаки, у одного колодца с высоким журавлем мужик в нагольной рыжей шубе поил лошадь из ведра и равнодушно глядел на чужую проезжую подводу; мальчишки в лапоточках и в развязанных заячьих да собачьих малахаях играли в чижика,— ничто не говорило

о недавнем кипении страстей человеческих. Да и сам рассказчик как-то сник после давешнего возбуждения и лениво, скучно глядел по сторонам. Остановились возле почты, обшитого тесом здания, покрашенного давным-давно в бурый цвет, с овальной железной дощечкой на карнизе: «Российское страховое общество». Палисадник с чахлой сиренью... Старое наследие от земских заведений.

Кадыков кинул сено лошади, отпустил чересседельник, потом накрыл ее тулупом и в шинели, подтянутый и строгий, вошел в помещение. Его встретила у самого порога молоденькая телефонистка в серой кофте, вязанной из козьего пуха, и черных валенках. Глядела с испугом и любопытством. «Еще что случилось?» — написано было на ее смуглом кругленьком личике.

— Где уполномоченный? — спросил Кадыков.

— Увезли его. Председатель Совета посадил на свою лошадь и отвез в степановскую больницу.

— Так... А что в селе?

— Все в порядке.

— В порядке! — Кадыков хмыкнул и покачал головой.— Телефон хоть работает?

— Да.

— Вас не трогали?

— Нет, нет,— ответила поспешно, словно боялась, что не поверят.

— Ладно. Работайте...

Кадыков с продавцом осмотрели магазин. Пробой и замок были сорваны, а так вроде бы все было на месте. Только водку украли, два полушубка да валенки. И тут — «Все в порядке» — вспомнил он фразу телефонистки. Вроде бы и в самом деле ничего тут не случилось, и парень этот просто сочинил ему забавную историю. «Вот так и ухлопать могут и скажут — все в порядке»,— невесело подумал Кадыков. Он составил протокол на взлом и кражу, расписался сам, ткнул пальцем — где продавцу расписаться, и стал собираться в дорогу. Паренек робко предложил ему:

— Может, у нас заночуете? Поужинайте с дороги-то... И отдохнете.

— Спасибо! Мне, брат, не до отдыха.

Увидев своего хозяина, мерин поднял от сена голову и тихо заржал.

— Сейчас, Мальчик, займусь тобой! — сказал Кадыков, оглаживая мерина по тугой шее.

Потом взял ведро у телефонистки, сходил к колодцу с журавлем, принес воды и, пока лошадь пила, гулко катая водяные шары по глотке, все думал об этом странном покое русской жизни; еще с утра все тут бушевало — растащили семфонд, кормушки поломали, а вместе с этими кормушками поломали все планы и расчеты начальства на скорую коллективизацию, избили уполномоченного из района и успокоились... А завтра приедут власти, заберут этих зачинщиков, опять покричат, поплачут и успокоятся... И снова будут отвечать: все в порядке! Воистину непостижимо наше сонное царство...

К Веретью подъехал затемно, в село въезжал с опаской — думал, посты выставлены у бунтовщиков, встретят посреди дороги, и поминай как звали. Нет. Все тихо, мирно... У редких колодцев бабы звенят ведрами, побрёхивают собаки, посвистывает в оголенных ветлах да тополях поднявшийся ветер. В доме председателя Совета Алексашина будто вымерло все: окна темны, двери заперты. Кадыков, поднявшись на крыльцо, постучал щеколдой — никакого отзвука. Он уже собрался отъезжать, да заглянул с проулка — в одном окне откуда-то снизу, из-за подоконника, подсвечивало в узкую щель. «Эх, вот так занавесились! — сообразил Кадыков и, стукнув кнутовищем в наличник, прокричал в оконную шибку:

— Семен Васильевич! Это я, Зиновий Кадыков из Тиханова... Откройте!

Хозяин долго гремел запирками за дверью, наконец выглянул в притвор:

— Это ты, Зиновий Тимофеевич? Проходи!

В избе тишина — ребята с печки поглядывают, как галчата, хозяйка, хоронясь, выглянула из-за печки. Окна занавешены одеялами.

— Беда, Зиновий Тимофеевич,— только и сказал Алексашин, кивком указывая на окна.— Как ты догадался, что мы дома?

— По просвету в том окне. Снизу.

— Ой, мать честная! — хозяин бросился вновь занавешивать окно.

— Тебе что, грозили? — спросил Кадыков.

— Меня-то еще милуют... Только в Совет не пускают — ты, говорят, самозваным путем в председатели вышел. И ключи у меня отобрали. А учителя нашего, Доброхотова, искали. Говорят — на колодезном журавле

повесим. Он сбежал на агропункт и сидит там под охраной милиционера Ежикова.

— Да вы проходите к столу,— сказала хозяйка, слегка кланяясь.— Может, поужинаете?

— Нет, спасибо. Я тороплюсь. Где теперь начальство районное?— спросил Кадыков.

— В Гордееве на почте. Там нонче вечером митинг проводят. А завтра у нас. Говорят, и наши подались туда,— торопливо отвечал хозяин.

— Значит, кончили бунтовать?

— Ну что ты! Они знаешь что удумали? Хотят новые перевыборы в Совет провести! И чтоб по инструкции Калинина, как в двадцать пятом году. Без посредников, то есть без избирательной комиссии. Сами хозяева — сойдемся на сход и проголосуем. Вот чего удумали!

— А может, это не страшно?

— Что ты?! У нас в те поры ни один член партии не прошел в Совет. Вот и хотят повторить. А потом, говорят, за колхоз проголосуем. И чтоб по воле каждого. И никаких лишенцев. Все, мол, равны.

— Кто ж у них верховодит?

— Подрядчик Звонцов и Рагулин. Энтот сбежал от раскулачивания. А Рагулина пощадили, как бывшего пастуха. Его, мол, и так наказали — корову отняли, хлеб... Правда, один Доброхотов все настаивал — выселить его как кулака. Вот он и гоняется теперь за ним... Повешу, говорит, на колодезном журавле.

— Дела...— покачал головой Кадыков и заторопился уходить.— Ну, я поехал. На почте, говоришь, все?

— Да. Поезжай низом, по Петравке. Не то еще задержут в селах-то.

— Дак пусто! Как будто вымерло все село.

— Оно так, вроде бы тихо. Да тишина-то обманчива, как на вешней реке в половодье. Глядишь — все подо льдом, от края и до края. Мертво. А через минуту — треск и грохот, и льдины друг на дружку поперли. Ну, поезжай с миром! Удачи тебе,— провожал в сенях, на крыльцо хозяин так и не вышел, только голову высунул, как давеча.

Нижней дорогой, по замерзшей Петравке, Кадыков, так и не встретив на всем пути ни одной живой души, выехал прямо на почтовое задворье и удивился — как много стояло здесь подвод вдоль длинного и высокого

плетневого забора; лошади в упряжи, даже хомуты не рассупонены, только вынуты удила да отпущены чересседельники. «Готовность номер один»,—отметил про себя Кадыков, вылезая из саней.

— Кто такой?—окликнул его знакомый голос.

Оглянулся: «Ба, Симочка!»

— Здорово, Зиновей Тимофеевич! Какими судьбами?—удивился Субботин.

— Все такими же, как ты. Охраняешь небось?

— Охраняю. Наше дело известное.

— А где начальство?

— На митинге. Ступай в обход, мимо дворов. Там возле почты увидишь. На террасе стоят, что на трибуне.

Кадыков привязал к плетню лошадь, кинул ей сена, хотел накрыть ее тулупом. Но Сима остановил его:

— Тулуп забери с собой. Спать придется на нем.

Так, в тулупе, с кнутом в руках (позабыл оставить в санях), Зиновий Тимофеевич, словно извозчик, вышел на почтовую площадь. Вся она вплоть до попова дома, стоявшего напротив, была запружена народом—и всё мужики, ни одной бабы. А на террасе, огороженной фигурной балюстрадой, стояли, освещенные подвешенным к потолку фонарем «летучая мышь», районные и окружные руководители. А было их человек десять, да милиционеров не меньше. Тут и Возвышаев, и Радимов, и Тяпин, и Билибин, и какие-то незнакомые, видать, из округа. Вход на террасу преграждали два милиционера; один из них Кулек, второй молоденький, кто-то из новеньких. Озимов, в высокой папахе, стоял с краю, сразу за милиционерами. Ораторствовал Ашихмин; на нем была новая кожанка с меховым воротником, блестевшая, будто оледенелая, шапку зажал в кулаке и, грозясь ею, кидал в толпу сердитые слова простуженным, охрипшим голосом:

— Нельзя цепляться за несправедливый, осужденный на слом самой историей распорядок жизни, основанный на частной собственности! Нет более скверной заразы, уродующей души и сердца, чем частная собственность на землю и средства производства. Успешно избавившись от нее революционным путем в промышленности, мы все еще никак не сможем скинуть ее с плеч наших, как гнетущую ношу, в сельском хозяйстве. Источник зависти и злобы, междоусобиц и конкуренции, алчности и коры-

столюбия, жестокости и человеконенавистничества — вот что такое частная собственность в сельском хозяйстве, с которой призываем мы вас покончить. Поймите же наконец, что нельзя быть сознательным строителем светлого будущего коммунизма, невозможно бескорыстно любить, как товарища и друга, соседа своего, владея собственным наделом и двором, полным скота и всякой живности. К собственной скотине такой владелец поневоле питает больше заботы и любви, чем к соседу своему или просто односельчанину. Даже попы это признают; недаром говорят они, что Христос учил-де, богатому легче пролезть в игольное ушко, чем попасть в царствие небесное...

— Христос не гонит нас палкой в царство небесное! — крикнул кто-то из толпы звонким голосом, и вся эта темная застывшая масса народа дружно загоготала и закашляла. Заматерилась на разные голоса.

— Я приглашаю этого говоруна подняться вот сюда.— Ашихмин указал шапкой себе под ноги и добавил:— Если он не трус. И поговорим откровенно перед всем народом о том, что царствие небесное есть поповская выдумка, церковный обман, а светлое будущее коммунизма научно обосновано и доказано, это — самое справедливое общество на земле, несущее всеобщее счастье, равно как и счастье каждому в отдельности. Но нельзя его построить, повторяю, идя к этой цели кто в лес, а кто по дрова. Надо сплотиться всем в колхозы и дружно, под руководством испытанной в боях партии большевиков, единой колонной одолеть остаточную от прошлого строя бедность и прийти ко всеобщему изобилию. А для этого мы призываем вас осудить зловредные действия веретьевских крестьян, поломавших кормушки, вернуть семфонд, растащенный сегодня вами по наущению злонамеренных элементов, и завтра же свести наконец лошадей и коров на общие дворы...

— Дык чаво завтрева ждать? Давай счас начнем! — крикнул из первого ряда от террасы старик в ветхом зипунишке и в древней войлочной шляпе пирожком.

— Верно, товарищ! — сказал Ашихмин, перегибаясь к нему через балюстраду.— Вполне понимаю ваше нетерпение. Желающие могут сегодня же сводить лошадей и нести семена.

— Я ж те говорю, я счас желаю! — крикнул опять старик.

— А вот заканчиваем митинг и — пожалуйста,— ответил Ашихмин, улыбаясь.

— Вот и спускайся сюда! Раз мы все равны и всё у нас таперика общее, сымай с себя кожанку и давай ее мне. А я тебе свой зипун отдам.— Старик проворно снял с себя зипун и протянул его Ашихмину.— На, возьми и носи на здоровье! А я в твоей кожанке пойду... Мы ж таперика в одном строю... к общей цели, значит...

Последние слова Кадыков не расслышал — все потонуло в гоготе и реве. Над морем заволновавшихся голов висел поднятый зипун, держала его сухая старческая рука; рукав посконной рубахи спал, оголяя ее до самого плеча.

Ашихмин переждал первые взрывы хохота и сказал ласковым голосом:

— Ты, папаша, перепутал божий дар с яичницей. То частная собственность, а то личная. Разница колоссальная. Большевики личную собственность признают и уважают. Так вот, кожаный пиджак, тот, что на мне,— он ткнул себя в грудь,— это есть личная собственность. Понял?

— Ага! Значит, что на тебе, то твое, личное. Это не тронь. А что у меня на дворе, то — безличное, то отдай! Так выходит?

— А то чаво ж? У них одна задача — замануть и обчистить.

— Не верьтя им, мужуки! Не ве-ерьтя!

— Ванька, бей! Бей, Ванька!

Толпа заколыхалась, задвигалась, как живое темное чудище, выплывая пузиной на верандное крыльцо.

— Стоять! — крикнул Кулек и сошел с верхней ступеньки крыльца, придерживаясь за кобуру.

Во тьме у подворья затрещал плетень, и Кадыков увидел, как от плетня с кольями наперевес кинулись в толпу трое мужиков.

— Товарищи, митинг окончен! — сказал сверху Возвышаев.— Прошу расходиться по домам.

— Что, али крыть нечем? — крикнули из толпы.

— Тады спускайтесь сюда! Пошшупаем, что на вас за коленкор!

— Подскажите, игде одежку брали? Мы тож туды сходим. Таперика мы бра-атья...

— Товарищи, митинг окончен. Прошу расходиться по домам.

— Ванька, бей!

— Товарищи!..

— Пес тебе товарищ...

— Бей, Ванька!

Кто-то дурашливо, раздирающим голосом замяукал по-кошачьи, и в ту же секунду здоровенный кол, пущенный из толпы, с треском выбил три балясины и загрохотал по полу террасы. Вся многочисленная толпа начальников хлынула к стенке, как стадо овец от удара кнута. Кулек вырвал наган из кобуры, взвел курок и, направляя в толпу, крикнул:

— Пре-екра-атить! Всех пересажаю!..

Озимов быстро подошел к нему, взял его за локоть и приказал:

— Спрячь оружие! — Потом спустился вниз, в толпу.— Ну, где Ванька? Бей! — сказал он.

Передние попятились от него, и толпа стала разваливаться на две половинки, словно кто-то невидимый расшвыривал всех направо и налево. Озимов шел по этому людскому коридору, заложив руки за спину,— там, в конце этого прохода, стоял детина в расстегнутом полушубке, в заломанной на затылок шапке и держал в замахе кол.

— Ну, что же ты стоишь? Бей! — подходил к нему Озимов.

Все замерли — и там, наверху, и в толпе; слышно было, как сухо и отрывисто скрипел снег под сапогами Озимова.

— Бей же!

Порень попятился и закричал диким голосом:

— Сатана!

Потом кинул кол и бросился бежать...

Через несколько минут на почте, в оживленном, взбудораженном говоре, перебивая друг друга, как это бывает с людьми, пережившими опасность, все пытались враз высказать Озимову и свое восхищение, и благодарность, и признательность.

— Если бы не ваш психологический этюд, то все могло бы кончиться крупной потасовкой,— говорил Ашихмин, потными, холодными пальцами пожимая запястье Озимову.— Вы просто герой...

— Да ничего особенного,— кривился Озимов, отнимая руки; ему было неприятно это липкое прикосновение холодных пальцев.

— Как — ничего особенного? — грохотал Радимов.—

Ты же митинг спас! Кабы не ты, стрельбу открыли бы. И что потом? Войска вызывать?

— Войска и так вызывать надо,— сказал Возвышаев.— Здесь непокорство глубоко пустило корни. Надо многих злодеев вырвать из этой среды, и чем быстрее, тем лучше. Одним нам не справиться.

— Мы обязаны успокоить народ, разрядить обстановку. А потом взять виновных,— сказал Озимов.

— Куда ты поспешаешь?— таращил глаза на Возвышаева Ашихмин.— Вызвать войска — значит расписаться в своем бессилии. И мало того, это значит — скомпрометировать всю идею сплошной коллективизации. Ты думаешь, нас погладят за это по головке? Да окружной штаб под суд нас всех отдаст. И правильно сделает. А! Как вам это нравится?

— И я думаю — сами справимся,— согласился Озимов.— Только надо изменить порядок работы: выступать на митинге не одним нашим, но и крестьян привлекать.

— Дак мы предлагали: выделяйте ораторов, мы их проверим — и пожалуйста. Только заранее, чтобы мы знали, с кем дело имеем,— сказал Чубуков.— Дак не хотят.

— Не заранее, а прямо из толпы брать надо. Все претензии пусть на людях выкладывают. И тут же решать будем. Вот как надо,— сказал Озимов.

— Анархию разводить?— спросил Возвышаев и головой покачал.— Извините. Пока еще я начальник штаба, и анархии я не допущу.

— Ну, как знаете...

Озимов с милиционерами остались ночевать на почте, остальные пошли в школу. Договорились — утром ехать в Веретье, на агроучасток. Акимов с Тимой принесли два ведерных самовара и связки сушеного зверобоя.

— А веники для чего? Париться, что ли?— смеялись милиционеры.

Чай заваривали прямо в самоварах, открывали крышки и окунали зверобойные веники в кипяток. Из крана в стаканы выливалась алая кровь, потом на глазах у всех желтела, желтела и превращалась в душистый, слегка вяжущий чай.

Спали на полу вповалку — расстилали тулупы и укрывались тулупами. И к лошадям, и возле почты, и у школы выставляли охрану. Посты менял сам Озимов: и милиционеров будил, и сена лошадям давал, и ватолами накры-

вал их, и даже на водопой водил утром на Петравку, к проруби. Он почти и не спал в эту тревожную ночь.

Тишина стояла мертвая, вызвездило на мороз так, что чернота небесной тверди почти сплошь закрывалась алмазным блеском, и с почтовой террасы слышны были лошадиные вздохи, сухой шелест сена и поскрипывание снега под ногами часовых. Озимов останавливался покурить на террасе, прислушивался, глядел на черные дома, раскиданные по косогорам, на яркие звезды, вспоминал такие же тревожные, военные ночи, пережитые бог знает где и когда, и ему стало казаться, что он уже лет сто прожил, не вылезая из этой грубой жесткой шинели, стянувшей усталые плечи, из этих тесных сапог, в которых занемели ноги, и все ждал и ждал, когда и чем кончатся эти тревоги, эта усталость, напряжение, постоянная грызня, потасовки, когда все угомонится, уляжется по своим местам и начнется обещанная счастливая жизнь? Какая она, эта счастливая жизнь? Хоть бы одним глазком поглядеть на нее. А может быть, той, обещанной-то, и не будет никогда? Может быть, это и есть она, та самая, и никакой другой нет и быть не может, а все эти ожидания наши — жалкий самообман... Так думал он, и ему становилось грустно.

2

Выехали в Веретье на двенадцати подводах еще утром, на рассвете. И странно было видеть, как по дороге то и дело обгоняли идущих толпами мужиков и баб; шли из Гордеева, из далекой Климуши, от лесной, затерявшейся в глухомани Берендейки, из Нового Света.

— Куда путь держите? — спрашивали, обгоняя мужиков.

— На митинг в Веретье,— отвечали и сами спрашивали простодушно: — Говорят, колхозы отменять будут?

— Ага! Колхозы на принудиловку менять будут,— посмеивался Радимов.

Озимов вылез из передних саней, где они ехали вместе с судьей, пропустил две подводы, с Возвышаевым да Ашихминым, и прыгнул в кошевку к Кадыкову.

— Повтори-ка мне, что за перевыборы готовят веретьевские мужики? Я вчера не больно уяснил.

— Алексашин мне говорил, будто собираются сельсовет переизбрать по инструкции двадцать пятого года.

— Это вциковской?

— Да. Чтобы без посредников и не по одному списку, а врозь. А потом на сходе в присутствии любого начальства будем, мол, решать вопрос о колхозе.

— Любопытно...— Озимов покусал травинку и спросил с усмешкой:— Выходит, помнят... добрые дела?

— Народ грамотный!— сказал Кадыков.— Этот Звонцов, что в коноводах у них, подрядчиком был, а потом в селькове работал, лес заготовлял, ободья гнул. Деловой народ.

— Может, столкуемся?

— Надо бы все решить миром.

— Ну, поглядим.

На подворье агрономического участка этот длинный обоз встречали милиционер Ежиков и учитель Доброхотов; растворив околицу, Ежиков взял под козырек — он был одет по всей форме и в шлеме с закатанными ушами, только рыжая щетина заметала его щеки по самые глаза, а так — хоть на парад.

— Что скажешь?— спросил, подходя, Озимов.

— Все в порядке!— рявкнул Ежиков и улыбнулся во все лицо.

— Чему ты радуешься?— поморщился Озимов.— Что на селе?

— Народу очень много собирается,— вынырнул из-под руки Ежикова Доброхотов, испуганно округляя глаза.— Со всех сел сходятся. И много есть пьяных. Религиозный дурман, извините,— масленица!

— А на завтрак есть у вас какая-нибудь жратва?— спросил Озимов.

— У нас здесь окружной начпрод,— сказал за его спиной Ашихмин и крикнул:— Борис Петрович!

Из саней вылез долговязый хмурый человек в валенках и в сборчатой черной шубе с командирской планшеткой на боку.

— В чем дело?

— Надо завтрак организовать. Сообрази!

Пока тот писал на листе из блокнота, положив его на планшетку, склонившись так, что щеки серые мешками отвисли, Ашихмин пояснял:

— Этот все из-под земли добудет. Главный снабженец из колхозсоюза. Высокая марка!

Главный снабженец меж тем подал Озимову листок с размашистой росписью:

— Отвезите продавцу магазина сельпо. Пусть выдаст по этой записке тридцать килограммов рыбы.

— Магия! — сказал Ашихмин.

Ежиков протянул было руку за распиской, но Озимов положил ее в карман.

— Ты здесь понадобишься. За рыбой поедет Кадыков...

Но вдруг Доброхотов, изменившись в лице, ткнул в спину Ежикова и стал указывать рукой на дорогу.

— В чем дело? — спросил Озимов.

— Делегаты от бунтовщиков, товарищ начальник,— ответил Доброхотов, кивая на двух мужиков, подходивших к околице.

Эти бунтовщики скорее смахивали на провинившихся шалунов — подходили неверным шагом на полусогнутых от страха ногах, озираясь по сторонам, готовые в любую минуту дать стрекача от одного грозного окрика: «Куда?»

Но на них никто не кричал, и они шли вперед, тихо и безвольно переступая ногами, как обреченные на казнь. Первый, постарше, вислоусый, с морщинистыми щеками, снял малахай и слегка наклонил русую нечесаную голову. Второй, тугощекий, краснолицый, стоял прямо, как аршин проглотил.

— Чего вам? — спросил Озимов.

— Мы от обчества,— сказал старший.

— Не от общества, а от бунтовщиков! — рявкнул на него подоспевший Возвышаев.

— Это старухи у нас бунтовали... то есть кормушки поломали. А мы закон блюдем.

— Блюдете закон! А кто сельсовет разогнал? — вынырнул опять из-за Ежикова Доброхотов.

— Они сами разбежались...

— Вы зачем пришли? — спросил Возвышаев сердито.

— Мужуки нас послали... Поскольку вы митинг собираете, вот и надо бы поговорить.

— Приходите на митинг, вот и поговорим,— сказал Ашихмин.

— На митинге какой разговор? Там речи произносят,— ответил старший и опять слегка наклонил голову.— Пожалуйте, которые начальники, в Совет. Поговорить надоть. Тады и на митинг все придем.

— У них заправляет всем беглый кулак Звонцов. Не ходите! — сказал Доброхотов.

— Никакой он не кулак,— отвечал мужик.— Он в селькове работал. Он выборный.

— Он дом свой сжег! — торопился Доброхотов, но его не слушали.

— А если мы не придем? — спросил, усмехаясь, Ашихмин.

— Тады и мы не придем.

— А! Слыхали? Как вам это нравится?

— Ладно, поговорим. Пускай ваши сюда приходят,— сказал Возвышаев.

— Вы их заарестуете, и никакого разговора не выйдет.

— Чего с ними лясы точить? — загремел Возвышаев.— Арестовать как бунтовщиков!

— Воля ваша...— Мужик уже не кланялся; брови его сошлись на переносице, и черные дробинки зрачков в упор нацелились на Возвышаева.— Тады и митинг нечего созывать. Берите всех подряд — и дело с концом.

— Молчать!

— Не горячись, Никанор Степанович.— Ашихмин взял за плечо Возвышаева и, поглядывая на Озимова, словно ища у него поддержки, сказал: — Надо идти. Это в наших интересах. Может, пойдем?

— Я готов,— ответил Озимов.

— Возьмите с собой милиционеров,— сказал Возвышаев.

— Ни в коем случае! Разговор должен быть доверительный. По душам. Так я вас понял? — спросил Озимов мужика.

— Так точно. Они ждут вас в Совете.

— Едем! — сказал Ашихмин.

— Кадыков! — крикнул Озимов.— Давай сюда!

Мужик удовлетворенно вздохнул, как конь после выпряжки, надел наконец шапку и сказал, обращаясь к Озимову:

— Надо бы церкву открыть, товарищ начальник. Обедню отслужить. Ноне масленица, народ просит.

— Это можно,— поторопился Озимов, чтоб Возвышаев не успел отказать.— Только уговор — сперва на митинг, а уж потом обедню служить.

— Само собой,— сказал мужик.

— Где ключи?

Ежиков вынул из кармана шинели целую связку ключей на медном кольце и, тряхнув ею, передал мужику.

Подбежал Кадыков.

— Лошадь еще не распряг? — спросил его Озимов.

— Нет.

— Возьми с собой человека и вот по этой записке,— Озимов передал ему бумажку начпрода,— поедешь в магазин и получишь тридцать килограммов рыбы на завтрак. И по пути завезешь нас вот с Ашихминым в сельсовет.

— Есть! — сказал Кадыков.— А кого взять еще?

— Вот хоть учителя,— сказал Возвышаев.

— Нет, я не могу! — испуганно отпрянул Доброхотов.— У нас личная вражда...

— С кем, с Кадыковым? — удивился Озимов.

— Там, в селе...— махнул рукой Доброхотов и судорожно передернулся.— Я прошу вас... Не могу...

— Ладно. Пусть Тима-избач съездит,— сказал Ежиков.— Он знает, где продавец живет.

Кадыков в момент обернулся с лошадью, все седоки попрыгали в кошевку и поехали.

На селе — толпы народу, будто на базаре или в ожидании выноса покойников,— смотрят сумрачно, нехотя дорогу уступают, молчат. И только ребятишки суматошной стаей носятся вокруг них и пронзительно кричат:

— Ты, татарин гололобый, не ходи чужой дорогой...

— Коммунист, коммунист... вместо дела один свист...

— Ну и село... Прямо кулацкое гнездовье,— негодуя, качал головой Ашихмин и плевал на дорогу.

Озимов мрачно молчал, а Тима-избач, прикрываясь варежкой, тихонько посмеивался.

Возле Совета, над крыльцом которого на палке трепыхался красный флаг, Ашихмин с Озимовым слезли. К ним навстречу тотчас вышли на крыльцо два мужика в нагольных полушубках, но без шапок и, придерживая растворенной дверь, стояли, как часовые, возле косяков до тех пор, пока не прошли Ашихмин с Озимовым.

В сельсовете за мощным двухтумбовым столом из мореного дуба, притащенного из барской усадьбы, сидело еще четверо мужиков; один из них, в центре, был в добротном суконном пиджаке с серым смушковым воротником, чернобородый, с открытым и дерзким взглядом

смоляных цыганских глаз. Он и указал рукой на стоящие венские стулья у стены, приглашая вошедших:

— Прошу садиться!

— Вы, должно быть, Звонцов? — спросил его Озимов, присаживаясь.

— Да, ён самый,— ответил с усмешкой, гордясь и собой, и вызывающим тоном своим.

— Говорят, вы свой дом сожгли?

— Чепуха! Он сам сгорел, и дыму не было,— Звонцов глянул на друзей своих, играя желтоватыми белками, и те дружно засмеялись.

— А еще будто вы оказались в беглых кулаках? — продолжал спрашивать Озимов, не обращая внимания на смех.

— Откуда вы это взяли?

— Говорят...

— Говорят, что в Рязани пироги с глазами, их ядят, а они глядят,— бойко ответил Звонцов, и напарники его опять засмеялись.— Чепуха все это. Дом у меня сгорел, это верно. Я в те поры в лесу был... Приехал, поглядел на пепелище да утерся. Ну какой же я кулак, если у меня ни кола ни двора? Жил две недели у кума Степана, в лесу. Вот, мужики позвали меня в Веретье. Хотят председателем Совета сделать. Изберут — буду работать, ежели вы утвердите.

— Значит, вы и проект решения подготовили? Ловко! — сказал Ашихмин.— А где же ваша партийная организация? А Совет? Или у вас их не было?

— Были да сплыли. Их корова языком слизнула,— ответил Звонцов, и за столом опять засмеялись.

— Что-то вы больно веселые,— сказал Озимов.— Не рано ли смеяться? Кабы плакать не пришлось.

— А нам теперь и смех, и слезы — все вместе с вами делить придется.

— Как это — с нами делить? — спросил Ашихмин.

— А так. Сумеем договориться — вместе посмеемся. Не сумеем — плакать будем и мы, и вы.

— Думаете, мы пришли, чтобы плясать под вашу дудочку? — усмехнулся Ашихмин.— А если мы просто посмеемся над вашими условиями?

— Потом же и плакать будете,— ответил Звонцов.— Вместо митинга будет буза. Справиться с такой оравой мужиков вы не сможете. Придется войска вызывать... И думаете, вас по головке за это погладят? Посадят вас за

подрыв авторитета Советской власти. А нам терять нечего, окромя своих цепей. Дак вы согласны говорить с нами?

— Ладно,— сказал Ашихмин.— Какие ваши условия?

— Очень простые. Поскольку Совет наш оказался никудышным, мужики просят сделать перевыборы. Сегодня же.

— Чем же неугодны вам члены сельсовета? — спросил Ашихмин, недовольно кривясь.

— А всем. Алексашин хвастун и помело. Кто его к своей палке привяжет, тот и делает с ним что хочет, может пол подметать, а может заставить и по мордасам бить. Энтот все сделает, как скажут. А учитель Доброхотов — подлец и предатель-иуда. Через его доносы пять семей ни за что ни про что выслали. Что ему наши мужики? Он чужой. Ему в начальники хочется выйтить, а нам слезьми своими приходится оплачивать его охоту. Так что им полный расчет дали мужики.

— Но вы же их сами выбирали?

— Э, нет,— сказал Звонцов.— Этих не выбирали. Мы в двадцать шестом году выбирали... Вот по этой инструкции ВЦИК, подписанной товарищем Калининым.— Звонцов вынул из ящика стола тоненькую сшивку журнальных листов и подал ее Озимову.— Может, помните такую?

— Известная,— сказал Озимов, передавая брошюру Ашихмину.

— Выбрали тогда в сельсовет толковых мужиков, и все были довольны. А через год понаехали от вас какие-то представители, наших всех посымали, а этих поставили...

— Вы-то и за этих сами голосовали? — спросил Озимов.

— Э, нет. Не сами. Нам их навязали силой,— ответил Рагулин.— Приехал из уезда представитель этой самой... избирательной комиссии. Список нам прочел и говорит: «Вот за этот список и голосуйте. Сразу за всех!» А мы говорим: «Не хотим за всех сразу. Это всё шаромыжники». Тогда он разогнал собрание. Пять раз собирал и пять раз разгонял нас. Потом объявили полсела лишенцами, ну, остальные испугались и проголосовали за этот список.

— А в этой инструкции прямо сказано — лишенцев не должно быть,— сказал Звонцов.

— Она устарела и даже запрещена,— бросая на стол инструкцию, сказал Ашихмин.

— Это ее троцкисты требовали запретить. А теперь самих троцкистов разогнали. Значит, инструкция правильная,— стоял на своем Звонцов.

— Против нее Карпинский выступал, заведующий деревенским отделом «Правды»,— сказал Ашихмин.

— Давайте не спорить, а говорить по существу,— сказал Озимов.— Что вы предлагаете?

— Вот именно!— подхватил Звонцов.— Бог с ней, с этой инструкцией. Вы видели, что на селе творится? Успокоить надо народ. Вот мы и предлагаем — ноне же собрать сход и выбрать новый сельсовет.

— Ну что ж, мы соберем партячейку, обсудим кандидатуры и предложим вам их на сходе,— ответил Ашихмин.

— Э, нет! Так не пойдет,— Звонцов подвинул к себе брошюру и прихлопнул по ней ладонью.— Уж если голосовать, так по всем правилам. Нам с ними жить, нам и выбирать их. Тут ведь,— ткнул он в брошюру,— все было писано при Советской власти. Ну и что ж, что устарела? Она ж не против, а за. Пока другой нет, сделаем, как тут сказано: никаких лишенцев и никаких списков. Мы сами назначаем и сами выбираем в отдельности каждого. А вы будете сидеть и смотреть, чтоб мошенничества не было.

Ашихмин только головой покачал:

— Значит, все пустить на самотек? А с митингом как? А с колхозом?

— Ежели вы согласны на перевыборы, мы скажем мужикам — все придут на митинг честь честью. А потом, на сходе, при новом Совете, и за колхозы проголосуем. Все по закону, кто пожелает, тот и вступит. И все будет тихо.

В это время гулко ударил колокол, все невольно вздрогнули и посмотрели на окна; не успел замереть густой тягучий звон, как ударил еще один мощный всплеск, потом еще, и все загудело, слилось в один сплошной клокочущий тревожный гул.

— Набат!— крикнул кто-то из сеней.

— Кто им разрешил? Так их и разэтак...— загнул заковыристым матом Звонцов.

— Обманщики, мерзавцы!— крикнул Ашихмин, бледный весь, вскочил, затравленно озираясь, дико выпучив

глаза, еще раз крикнул: — Мерзавцы! — и бросился бежать.

— Стойте! Мы ж не договорились! В набат сумасброды ударили... Митька, задержи его! — кричал Звонцов.

В растворенную дверь Озимов видел, как в сенях на пути Ашихмина вырос здоровенный детина в расстегнутом полушубке.

— Прочь с дороги! — в одно мгновение Ашихмин вырвал из кармана руку с наганом.

— Ашихмин, стойте! Остановитесь!! — закричал Озимов, вставая.

Но грохнул выстрел, парень схватился руками за лицо, слепо шагнул вперед и стал шататься, как подпиленное дерево; все замерли и смотрели, как сквозь его сцепленные пальцы стала просачиваться и стекать струйками по рукам, по синеющему подбородку и капать на шубу, на пол пронзительно-красная кровь. Потом он рухнул, как дуб, не сгибаясь, и глухо стукнулся лбом об пол.

Ашихмин легким поскоком вылетел в наружную дверь и затопал по ступенькам крыльца, уменьшаясь в росте.

— Держите его, ребята!

— Бей их, сволочей! — закричали от стола, и все бросились в сени, опрокидывая стулья.

— Стойте, мужики! Одумайтесь! Не губите себя! — В наружной двери стоял Озимов, заслоняя собой весь проем. — Никуда он не уйдет... Мы судить его станем.

— Знаем мы ваш шамякин суд, — Звонцов приблизил к нему свое бледное, искаженное гневом лицо. — В дураках нас хочешь оставить, кабан раскормленный? Не замай дверь!

Он схватил Озимова за отворот шинели и резко рванул на себя. Раздался сухой треск раздираемой материи, Озимов качнулся и правой рукой с разворота сильно ударил Звонцова прямо в бороду. Звонцов как-то звучно хрюкнул и, подгибая коленки, стал приседать и тянуть к полу за отворот шинели Озимова. Тот хотел сбить клешневатую, оцепеневшую в мертвой хватке руку, но в это мгновение что-то оглушительно треснуло у него на затылке, яркой вспышкой ослепило ему глаза: Озимов почувствовал, как ватными становятся ноги, и, теряя сознание, начал падать, отваливаясь спиной к стенке.

3

Вечером того же дня на квартиру Успенских зашел Костя Герасимов. Дмитрий Иванович сидел за столом, что-то записывал в тетрадь, перед ним лежала раскрытая книга. Мария сидела в качалке возле топившейся грубки и вязала кофту.

— Костя, раздевайся, присаживайся и слушай! Вот новинка из нашей библиотеки: «Любовь людей шестидесятых годов»,— Успенский приподнял новенький томик в мягкой обложке.— Составитель Богданович. Тут переписка Чернышевского, дневники его, всякие изречения Шелгунова, Сеченова... Прелюбопытно! А между прочим, какое главное правило поведения «новых людей» Чернышевского?

— Как приятнее, так и поступаешь,— ответил Герасимов без запинки, присаживаясь на стул.

— Ну, силен! Ты, брат, знаешь «Что делать?».

— А как же? На том и стоим.

— Ты, видать, тоже из новых людей. Значит, что приятнее, что выгоднее для тебя, то и делаешь?

— Ну, уж так упрощать всё!

— Извини, я нисколько не упрощаю. Вот послушай,— он открыл нужную страницу и прочел:— «Человек поступает так, как приятнее ему поступать, руководится расчетом, велящим отказаться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды и большего удовольствия».

— Иди ты! Кто это написал?—удивился Герасимов.

— А это цитата из Чернышевского. Его кредо, так сказать.

— Митя уже выводы сделал,— засмеялась Мария.— Завтра, говорит, пойду не в школу, а в кабак, поскольку удовольствия в кабаке получаю больше.

— А что? С точки зрения разумного эгоиста можно и не то себе позволить,— сказал Успенский.— Вот здесь выписка из дневника. Чернышевский был еще учителем гимназии и признается, как мошенничал, выставляя пятерку в журнал братцу своей возлюбленной. Вот это место.— Успенский полистал книжку и прочел:— «Спрашиваю уроки у 4—5 человек, спрашиваю наконец его и потом снова других. Венедикт ничего не знает. Все-таки я ставлю ему 5».— Успенский отложил книгу на стол, усмехнулся.— Потом отсылал журнал своей возлюб-

ленной; тайно выкрал его из канцелярии и послал, чтобы она смогла убедиться в том, что он сделал все, как она велела. А, каков? И возлюбленная его, будущая жена, тоже хороша: если хочешь доказать, что любишь меня, сделай подлость. Вот так, Маша, новые люди-то любят. А ты? Нет чтобы испытать меня. Ну, послала бы хоть в амбар к кому-нибудь залезть.

— По амбарам лазить — преимущество хвостатых, милый мой. А мы с тобой безхвостые, рылом не вышли.

— И что же он? Показал журнал с фальшивой отметкой — и хоть бы хны? — спросил Герасимов.

— Признается, что поначалу взяла его некоторая робость. Но он быстро справился с собой. Он же сильная личность, проповедник! Новый человек! Кому нельзя подличать, а ему можно. Да он и не считает это подлостью — он же делает удовольствие близкому человеку, следовательно, и себе самому. Как приятнее, так и поступаешь. Вздумал сделать — сделаю. Конфетки получил в награду от нее, съел их с удовольствием. Так и пишет... А гнусность самого поступка? А муки совести? Их нет и в помине. Он же сильная личность, он готовится на великие дела. Поэтому можно плюнуть на общие правила.

Герасимов хмыкнул и покачал головой:

— Хороший пример для школьников.

— Черт знает что! — сердито сказал Успенский.— Всякую чушь собирают. Ладно, издавай. Но хоть возражай, комментируй. Герцен в свое время называл подобные проповеди нравственным развратом. А Богданович теперь радуется. Хорошо! Валяй, ребятки, читай и подражай: что нравится, то и любо, что выгоднее, слаще — то и подай. На остальное — плевать.

— Я ведь по делу к тебе, Дмитрий Иванович,— сказал Герасимов.— После уроков мы собрались в учительской. Хватились — тебя нет.

— У меня всего три урока было. Зашел в библиотеку, взял вот эту книжицу — и домой.

— Вот какое дело... Дмитрий Иванович. Вести получили тревожные...

— Из Желудевки? — перебил его Успенский.— Вроде бы там успокоились.

— Веретье взбунтовалось... И, говорят, жертвы есть.

— Откуда вы знаете?

— Оттуда двух привезли к нам в больницу... Но это

еще не все — в Еремееве в набат били. А завтра наши, степановские, собираются идти кормушки ломать. Вот и обсуждали — как быть?

— Надо попытаться отговорить их,— сказал Успенский.

— Это бесполезно. Мужики решили на самовольном сходе — завтра выходить на площадь к церкви. Ну вот... Мы посовещались и пришли к выводу: на площадь не ходить даже с благим помыслом — уговаривать крестьян воздерживаться от насилия!

— Почему?

— Потому что на многих учителей народ обозлился. И нас могут просто избить. Кроме того — есть сведения, что на завтра вызваны войска.

— Так надо сказать мужикам!

— Ни в коем случае! Во-первых, никто этого не знает в точности, а во-вторых, это может вызвать панику, мужики убегут в лес, и нас попросту посадят как провокаторов.

— Я не понимаю, что ж вы хотите? Или что вы решили?

— Мы решили на завтра отменить занятия и не выходить из домов.

— А школьники знают об этом решении?

— Да.

Успенский встал из-за стола и, заложив руки за спину, прошелся по горнице. Мария, прервав вязание, тревожно смотрела то на него, то на Костю.

— Я вам ничего не обещаю,— ответил он наконец.— Если завтра события обернутся так, что нужна будет моя помощь или участие, то я пойду и на площадь, и вообще куда угодно.

— Но это может бросить тень на весь коллектив, на всю школу...

— Оставьте, пожалуйста, ваши групповые игрушки,— покривился Успенский.— Я хоть и не разумный эгоист, но тем не менее так называемый интерес нашего коллектива в этом случае блюсти не стану.

— Почему же? — спросил Герасимов.

— А потому, что есть другой коллектив, в сотни раз больший,— это жители села Степанова. Вот судьба этого коллектива для меня теперь важнее, потому что село в опасности. А вы как-нибудь уж переживете мою оплошность.

Мария слушала, сцепив ладони и прижав их к груди, только смертельная бледность лица выдавала ее волнение.

— Тогда вот что... Я иду в больницу наведать тех пострадавших в Веретье. Может, со мной пойдете? По крайней мере кое-что прояснится и для вас. Узнаем, чем все это пахнет.

— Идем, и немедленно.

Когда одевались, Герасимов вдруг хлопнул себя по лбу и рассмеялся:

— Эх я, растяпа! Я уж совсем забыл рассказать вам новость: в Красухине старухи связали Зенина по рукам и ногам, сняли с него портки и выпороли. Он теперь в нашей больнице лежит на животе, стонет и матерится.

В больничном саду им встретилась Соня Макарова, тихо сказала: «Здрасьте!» — и молча повела в родильное отделение.

— Ты куда ведешь нас? — спросил у подъезда Герасимов. — Мы вроде бы не беременные?

— Чш-ш! — Соня прижала ему палец к губам и оглянулась по сторонам: в саду было темно и шумно от деревьев.— Они здесь лежат. Мы их прячем,— сказала шепотом.

— От кого? — тихо спросил Успенский.

— Рыскали тут всякие...— и махнула рукой.

В палате висела лампа-молния, окна были плотно занавешены байковыми одеялами. Пострадавшие лежали на трех койках; у одного была толстая в гипсе нога, задранная на спинку койки, второй лежал на животе и шумно сопел, третий, закрыв глаза и выпятив острый подбородок, тихо постанывал. Успенский остановился возле третьего и удивленно воскликнул:

— Батюшки мои! Да это ж Зиновий Тимофеевич! Кадыков?!

Больной открыл глаза и, узнав Успенского, слабо улыбнулся:

— Здорово, брат!

— Откуда вы, голубчик? Что с вами?

— С того света, почитай,— пошутил Кадыков и, кривясь от боли, поправил подушку, чтобы лечь поудобнее.— Да вы садитесь!

Соня подала две табуретки. Герасимов и Успенский

сели. Лежавший на животе больной открыл левый глаз, поглядел на вошедших и отвернул лицо к стенке. Это был Зенин.

— И вы здесь, Семен Васильевич?—спросил Успенский.

— Как видите,—ответил тот нелюбезно.

— Дак что с вами? Как вы здесь очутились?—спрашивал Успенский, придвигаясь к Кадыкову.

— Ребра мне поломали,—ответил тот,—в Веретье.

— Но за что? Как это случилось-то?

— Мужики взбунтовались... Ударили в набат... А мы вон с Тимой,—он кивнул слегка в сторону третьего больного с загипсованной ногой,—ездили как раз в это время в магазин за рыбой. И продавца, как на грех, нет. Поехали к нему на дом. Его и там нет. Ну, ездим по селу, а нас матерят со всех сторон. Еще, мол, дразнятся, сволочи. Это на нас. И тут набат ударил. Мужики совсем озверели. Вот тебе из сельсовета выбежал Ашихмин, с ходу прыгнул к нам в сани и крикнул: «Гони!» А за ним выбежали двое мужиков из Совета и тоже кричат: «Держите их! Бейте их!» Я стеганул мерина, он сразу в галоп взял. Которые из мужиков похрабрее, пытались остановить лошадь, за уздцы схватить на полном скаку, но отлетали прочь. Так мы и мчались по селу к агропункту, где наши были. Я еще спросил Ашихмина: «А где Озимов?» Они вместе с ним в сельсовете были. «А он,—говорит,—в сельсовете сидит. Мы его выручим потом». И тут в конце села вынесли длинную жердь и бросились с этой жердью нам наперерез, загородив ею всю дорогу. Мерин захрапел, сбился с галопа и стал оседать на круп. Я его стеганул раза два—не помогает. Ну, сани остановились... Мужики бросились на нас. Ашихмин, правда, успел выстрелить, пробил одному плечо. Я видел, как шерсть клоком торчала из пробоины со спины. Мужик завыл и схватился за плечо. Ну, остальные смешались, а наш Ашихмин дал такого стрекача... Прямо как заяц, чудом каким-то выскочил на дорогу и почесал к агропункту, только пятки засверкали. А нас и взяли в оборот. Я боялся только одного, чтоб из моего нагана нас же и не постреляли. Я схватил его вместе с кобурой, прижал к груди и лег в кошевку животом вниз. Меня сначала по затылку били, по спине. Потом перевернули и стали наган вырывать. Один мужик руки мне всё кусал. Вон, видишь!—он показал синие, в кровавых

рубцах руки.— Как собака изодрал. А другой парень стал бить сапогом в грудь. Тут я сознание потерял. Очнулся только на агропункте, часа через два. Нас выручили милиционеры; они бежали с агропункта и стреляли прямо на ходу. Мужики бросили нас и разбежались. Мне ребра переломали; доктор говорит, четыре ребра повредили. А Тиме ногу поломали.

— А где же Озимов? — спросил Успенский.

— Вот неизвестно. Пытались выручить его — не тут-то было. Сунулись с этого края — улицу загородили санями да телегами без колес. С ружьями появились: «Вы,— говорят,— стрелять, и мы — стрелять». С другого конца хотели взять их — и там загородили всё. Народищу сбежалось — тыщи! Ну и вот... колобродили. Ашихмин и Возвышаев войска вызвали... А нас отправили сюда кружным путем... Хотели было через Гордеево. Да прибежал Акимов: «Куда вы? — говорит.— Там следователя избили». Мы низом, вдоль Петравки. Выехали на Климуши — и там мужики с дубьем. Так мы лесом по дровяным дорогам, а то и це́ликом ехали...

— А где же был Семен Васильевич? — спросил Успенский, кивнув в сторону Зенина.

Зенин не отозвался, а Кадыков ответил после минутной паузы:

— Он в Красухине пострадал. Его бабы скрутили, сняли штаны, рубаху заголили и выпороли розгами. Теперь у него и спина, и все остальное вздулось, как подушка.

— Чего это вы распелись? — сердито сказал от стенки Зенин.— Я вам, кажется, не поручал делать за себя отчет.

— Дык спрашивают,— оправдывался Кадыков.

— Ну и заголяйте им свои руки да грудь... Рисуетесь, как баба...

— Вы уж помалкивайте! А то и про бога могу сказать,— огрызнулся и Кадыков.

Вошла Соня в белом халате, стала раздавать градусники и строгим голосом сказала:

— Поговорили, и будет! Им отдыхать надо.

Успенский и Герасимов стали прощаться; Кадыков протянул им локоть, Тима весело помахал рукой, все время, пока они сидели, он приветливо поглядывал на всех, чувствовалось, что рассказ Кадыкова про их мытарства доставляет ему истинное удовольствие; а Зенин не обернулся, он стыдился своего унизительного наказания и

злился на пришельцев, невольных свидетелей его беспомощной позы.

Дома, когда Успенский рассказал о своем посещении родильного отделения и о том, как наказали Зенина и как лежит он, Мария стала так смеяться, что с ней сделалась истерика, и она заплакала, повалилась на кровать.

Успенский испугался, принес кружку воды и, брызгая ей на лицо, все приговаривал:

— Маша, милая, что с тобой? Успокойся же, успокойся!

— Я боюсь, Митя!.. Боюсь я, боюсь! — Она порывисто подымалась, обнимала его, прижимаясь мокрым лицом к его груди, и опять вскрикивала: — Боюсь я! Они убьют тебя! Убьют!..

— Да успокойся, глупая. Кому я нужен? Кто меня убьет?

— Ты мешаешь им... И тем, и другим. Они же все осатанели...

— Ну что ты, что ты, господь с тобой! Разве можно так говорить? Люди добры, Маша, добры. Просто они теперь как в бреду, как в горячке. Это все пройдет, все успокоится.

— Ах, боже мой! Ах, боже мой! — вскрикивала она, и приступы рыдания все душили и душили ее с новой силой.

Наконец она утихла, откинулась на подушки и смотрела на него расширенными зрачками, оглаживала щеки его, лоб, бороду.

— Какая у тебя мягкая, шелковистая борода...

— Ну вот и слава богу... Вот и хорошо, — говорил он, ловя и целуя ее руку. — Все будет в порядке...

— Ты не ходи завтра... Никуда не ходи!

— Ладно, не пойду.

— Мне давеча нехорошее привиделось... Когда тебя не было. Я выходила крыльцо подмести. Вернулась — смотрю, перед божьей матерью лампада горит. Кто ее зажег? Спрашиваю Неодору Максимовну: «Это вы лампаду зажгли?» — «Нет, я, — говорит, — не зажигала». Вошли мы с ней в горницу... и в самом деле — не горит. Что за чудеса? Я ж видела огонь лампады! И вроде бы дымок такой сизый, и будто ладаном пахло... А Неодора Максимовна: «Это тебе повержилось, — говорит. — Это, — говорит, — не к добру».

— Просто нервы шалят, Маша... Нервы.

Лежали молча, Мария все вздыхала, как ребенок после плача, и вдруг спросила:

— О чем ты думаешь?

— Думаю, что не уступят они. Ничего не даст это волнение... Бедные мужики.

— Почему?

— Так. По логике вещей. Чернышевского вспомнил. И надо же, в какой момент попал он мне под руку? Ты обязательно прочти эту книжку.

— А что там?

— Да вроде бы к тому, что сейчас происходит, отношения не имеет. И тем не менее... Какая сильная натура, и трагическая одновременно.

— Кто?

— Да Чернышевский... И все они там друг на друга похожи. Эта их поразительная вера в чудодейственную силу голого рассудка. И какая сухая, кованая вязь схоластики. И фанатизм... Шар земной тресни, а они на своем стоять будут. Хоть Чернышевский... Придумали себе разумный эгоизм: цель, мол, предписывается человеку рассудком, потребностью наслаждения. Эта цель и есть добро. Так вот. Не любовь к ближнему, не сострадание, а потребность в наслаждении и есть добро, говорит он. И далее у него идет чистый бред схоластики: расчетливы-де только добрые поступки. Чепуха собачья! Добра без любви да по расчету быть не может. Добрый поступок только тогда и добр, когда лишен расчетливости, прямой или косвенной выгоды. А так что за доброта? Погоня за наслаждением — и все. Даже собственная жена его бессовестно пользовалась этой погоней и крутила в открытую, направо и налево. А он страдал... Но делал даже вид, что счастлив. Ну как же? Она по теории разумного эгоизма живет, что думает, чего хочет — то и делает, все — в удовольствие. Декабристки-христианки поехали к мужьям на каторгу. Эта же — и не подумала. Даже детей своих, как кукушка, отдала на воспитание Пыпиным, родственникам его, чтоб не мешали наслаждаться. А Шелгунова вела себя еще гаже. Мужа — в ссылку, а она — за границу, гулять. Он годами зовет ее, ждет в Тотьме, в Вологде, а она бесстыдно в письмах хвастается своими любовными похождениями и деньги из него выколачивает. То Михайлов, то Серно-Соловьевич... Тьфу!

— Тебе это не грозит, Митя. Я за тобой не только на каторгу, я и на тот свет готова пойти...

— Ну уж это — глупость.

— Молчи! Я клянусь тебе: если с тобой что случится, буду вечно ждать тебя...

— Зачем ты об этом, Маша? Это я сам виноват... Занесло меня в рассуждении не в ту сторону. Я не про жен тебе хотел сказать. Я вот про что думал: ведь Чернышевский хоть и выдумал эту теорию разумного эгоизма, но сам оставался, в общем-то, порядочным человеком, для себя он делал исключение, я, мол, проповедник, я должен жить строго. У него еще каждый человек — личность с правом на собственный выбор. Но для разумного эгоиста нет общих правил. Он сам себе правило. Где он стал, там й законное место, чего захотел, то и подай. Он только своим рассудком руководствуется, а рассудок ищет закон целесообразности. И через какие-то десять лет эти «разумные» эгоисты вроде Ткачева и Нечаева быстро нашли и утвердили закон целесообразности для всех: топай, куда скажут, живи так, как мы расписали. Нечаев даже ввел три разряда, подлежащих поголовному истреблению. А чего с ними церемониться? Враги народные! Весь ужас в том, что все эти схемы насчет улучшения жизни составлены не по любви к ближнему, не по нравственным соображениям, не по соблюдению очевидных законов, а по голому расчету — все, что им самим кажется полезным и нужным, то и нравственно. Следовательно, нет и не может быть ни жалости, ни сострадания, ни снисхождения. Это какое-то всеобщее заблуждение, помутнение ума, вроде болезни... И жать будут до тех пор, пока не развалится все. И что удивительно! Все эти схемы ужасно живучи. Недаром Владимир Соловьев сказал, что утопии и утописты всегда управляли человечеством, а так называемые практические люди были их бессознательными орудиями. Там бабувизм, тут троцкизм... А где-нибудь это вылезет под другим названием. А внутренняя суть, требуха все та же... Ладно, давай спать. Утро вечера мудреней.

Разбудила их Неодора Максимовна утром: робко постучала в дверь. Мария бросилась с кровати к халату:

— Иду, Неодора Максимовна! А ты еще полежи. Я сейчас вернусь к тебе,— говорила, торопливо застегивая халат, надевая валенки.

Но, как только ушла она, Дмитрий Иванович встал и также торопливо начал собираться. Там, за неплотно прикрытой дверью, на половине Неодоры Максимовны,

раздавались женские голоса, и один из них вроде бы хрипловатый голос Сони. Чего это она в такую рань? Что за нужда?

В окна пробивался серенький зимний рассвет, все предметы в комнате хорошо угадывались, и Дмитрий Иванович не стал зажигать лампы.

Когда встревоженная Мария появилась на пороге, он уже был одетым.

— Что тут у вас происходит?—спросил он, сам проходя из горницы в избу.

— Беда, Дмитрий Иванович, беда!—сказала Неодора Максимовна.—Все село поднялось. Бабы кормушки ломают и все доски на улицу выбрасывают, а мужики собрались на площади. Требуют церковь открыть и кладовые, где семена хранятся...

— Пробовали кладовые взломать,—сказала Соня, она сидела на скамье рядом с Неодорой Максимовной,—да не получается: двери железные, стены каменные...

— А у кого ключи?

— У председателя Совета. Все село обыскали, а его не нашли. И Герасимова нет. Говорят, они в район уехали, ночью. Я ведь по вашу душу, Дмитрий Иванович,— сказала Соня.

— А что такое?

— Мужики в больницу прибегали, двери взломали в хирургическом отделении. Все там вверх ногами поставили. Украли хирургический инструмент, ножи, пилки. Искали Зенина да Кадыкова. Никто ж не знает, что они в родильном помещении прячутся.

— Ну и что?—тревожно спросил Успенский.

— Кадыков и Зенин после этого налета оделись и убежали из больницы. А Тима остался и плачет. Да и мне страшно... А вдруг пронюхают и опять явятся.

— И что надо сделать?—спросил Успенский.

— Помогите перевести его ко мне домой.

— Но ведь лошадь нужна!

— А мы на салазках. Я большие салазки достала и тулуп. Завернем его в тулуп и мешковиной покроем сверху. Повезем, как муку или картошку.

— Соня, мы с тобой это сами сделаем,—сказала Мария.—А ему нельзя на улицу. Постановление в школе вынесли.

— Маша! Что ты говоришь?—сказал Успенский.

— Я дело говорю...—заупрямилась Мария.

— Маша, не дури! Мы отвезем его, и я сейчас же вернусь,— сказал Дмитрий Иванович.

— Хорошо! Тогда пойдем все вместе.

— Это же упрямство, Маша!

— Нет. Я пойду вместе с тобой.

— Ну, тогда пошли все, и поскорее! Не то совсем развиднеет,— сказала Соня, вставая.

Шли кружным путем по дорожному распадку, огибая церковную площадь. По дороге, спускаясь к реке Петравке, видели в рассветном полумраке, как люди шли толпами и в одиночку по речному льду, карабкались на высокий церковный бугор — все торопились туда, на площадь, где стояли бывшие каменные лабазы, а теперь общественные кладовые с семенным фондом.

— Это хорошо,— говорила Соня,— все ринулись к лабазам, а в нашем конце село будто вымерло. Проскочим незаметными.

Больница стояла на том берегу Петравки, на отшибе от села. Заснеженные бревенчатые здания тонули в черном кружеве оголенных липовых ветвей, сгущавших рассветный полумрак. Здесь все было тихо, безлюдно.

От реки поднимались тропинкой к больничной железной ограде с каменными столбами. Калитка, ведущая в больничный сад, была настежь раскрыта.

— Странно,— сказала Соня.— Я запирала ее, уходя.

В снегу возле тропинки валялся небольшой замок со скрюченной дужкой.

— Странно! — опять сказала Соня, подымая замок.

Возле родильного отделения их встретило четверо: двое стояли по углам, а еще двое ковырялись в дверях.

— Что вы тут делаете? — закричала Соня.

— А ну заткнись! — цыкнул на нее ближний, стоявший возле угла, и двинулся навстречу.

Это был цыганистый парень в черном полушубке с отворотами на груди; густые кудри выбивались сбоку из-под шапки. Глаза наглые, белозубая улыбка во весь рот, руки в боковых карманах.

— Ключи у тебя, голуба? Или у этого фраера?

Те двое, копавшиеся в дверях, тоже двинулись сюда.

— Что вам нужно? — опять крикнула Соня.

— Потише, дорогуша! — сказал ближний парень.— Нам нужны ключи от этих дверей.

— Вам незачем туда идти. Это же родильное отделение! — сказала Соня, отступая к Успенскому.

— Там скрываются два сукиных сына,— сказал, подходя, второй парень с гвоздодером в руках; этот был в кожанке и в мохнатой кепке, на шею брошено белое кашне, лицо скуластое, злое.— Ключ, живо! Не то хуже будет.

— Послушайте, ребята! В больнице нет сукиных сынов. Здесь только больные люди,— сказал Успенский.

— А ты не вякай! — метнул на него злобный взгляд тот, в кожанке.— Тебя не гребут, и хвост не подымай.

— Митя! — Мария поймала Дмитрия Ивановича за руку и сильно стиснула ее.— Прошу тебя...

— Погоди, Маша...— он высвободил руку и шагнул вперед, заслоняя собой Соню.— Еще раз повторяю — здесь больница. И нападать на больных или на медсестер — бесчестно!

— Кто этот фрукт? — спросил своих человек в кожанке.

— Из учителей,— ответил третий. Этот был худ, высок, в белых валенках и в стеганой фуфайке, он стоял, блаженно улыбаясь, и чистил финкой ногти.— Скажи им, Вася,— обернулся он к скуластому в кожанке,— вы люди пришлые, вас попросили привести вышепоименованных сукиных сынов Зенина и Кадыкова на церковную площадь. С ними народ будет говорить. А требование народа — закон для всех. Так или нет?

Скуластый поглядел на Марию, потом на Соню, усмехнулся и сказал:

— А мы немножко изменим программу представления. Пускай этот фраер идет домой, а лэди пройдут с нами,— он нагло подмигнул Марии и кивнул на дверь.

— Об чем речь! — высокий в фуфайке в два прыжка приблизился к Успенскому и, приставив финку к его груди, скомандовал: — Кругом! Шагом арш!

Дмитрий Иванович левой рукой снизу толкнул его под локоть и правым коленом с силой ударил в промежность. Парень вскрикнул диким голосом, выронил финку и, схватившись за живот, упал головой в снег.

— Семен Терентьевич! Семен Терентьевич! На помощь! — Соня с криком бросилась по тропинке к раскрытой калитке.

За ней побежал цыганистый парень в полушубке:

— Стой, курва!

— Догнать ее! — скверно ругаясь, прорычал скуластый парень в кожанке и с гвоздодером в одной руке, с ножом в другой пошел на Успенского.

— Ми-тя, беги! — закричала Мария.

Но Успенский поднял финку и сам, осклабившись злобно и пригнувшись, двинулся ему навстречу.

Так они сходились, согнувшись, раскорячив ноги, словно совершали какой-то странный обряд перед дикой, непонятной игрой.

И в этот момент откуда-то сверху, как пушечный выстрел, ударил колокол, и медный тягучий гул поплыл над землей, вселяя тревогу и смятение.

В саду от калитки раздался пронзительный свист, и тот цыганистый парень заорал:

— Шухер! Войска идут!

Скуластый мгновенно распрямился и бросился бежать.

— Где войска? Где они? — спрашивала Мария, одновременно тревожась и радуясь, что поножовщина, грозившая им, так внезапно была прервана этим могучим и грозным ударом колокола, словно глас божий, грянувший с низких сумеречных небес.

За первым ударом с долгой оттяжкой, будто нехотя, ахнул второй, потом третий... и забухало внахлест, удар за ударом, загудело тревожным суматошным гулом все — и небо, и деревья, и земля.

— Набат, Митя, набат! — пролепетала Мария в ужасе.

— Да, это набат...— Успенский машинально отбросил финку и посмотрел на церковный бугор; там, на краю, возле самого откоса, толпился народ — все глядели куда-то за реку.

— Ты не туда смотришь! — потянула его за руку Мария.— Вон куда смотри! За реку, на ту сторону.

Он обернулся и увидел: по длинному пологому съезду, растянувшись на полверсты, спускался к реке обоз. В каждых санях сидело по нескольку человек военных, но правили подводами мужики в тулупах. Впереди обоза рысили четверо верховых в серых шинелях, трое из них были с винтовками за спиной. Они то отрывались от передней подводы, то возвращались снова к ней. Видимо, передовой ездок не хотел торопиться под уклон и, не слушая всадников, осаживал свою лошадь, не давая ей разогнаться.

— Наши, Митя, наши! — радостно приговаривала Мария и движением глаз, бровей — всего лица — как бы

приглашала его глядеть вместе с ней туда, на дальнюю дорогу, и так же радоваться.

— Здесь все наши,— сдержанно ответил Успенский и, хмурясь, озабоченно сказал: — Надо бежать на площадь.

Он вмиг сообразил, что ему от больницы через реку ближе к церковной площади, чем им, и что он сможет опередить их, унять народ, остановить набатчика, уговорить его, чтобы сматывался восвояси, иначе ему несдобровать.

Когда Успенский сообразил это, ему стало легко и жутко одновременно, и он бросился бежать по тропинке к церковному бугру.

И в это же время верховые, словно разгадав его намерения, оставили обоз и поскакали наметом по объездной дороге туда же, к церкви.

Мария увязалась за Успенским; она кричала ему, пыталась остановить его, задержать, но он ее не слушал — легко и прытко бежал вверх по откосу.

Когда он прибежал на церковную площадь, верховые были уже за оградой; трое из них спешились и бросились по ступенчатой паперти наверх, в церковь; а четвертый, с наганом на ремне, крутил лошадь перед огромной толпой и кричал звонким мальчишеским голосом:

— А ну, р-расходись! Р-расходись по домам, мать вашу перемать!..

А сверху, удар за ударом, падал тяжелый медный гул, подминая и ропот толпы, и эти петушиные выкрики верхового, и лошадиный храп и фырканье.

И вдруг смолк этот тяжкий звон, будто кто-то невидимый заткнул огромный медный зев, откуда исторгались тревожные оглушающие звуки; и толпа замерла, и даже верховой перестал материться и дергать лошадь и застыл от удивления с раскрытым ртом.

Там, на высоте, в проеме колокольни, показался маленький черный звонарь; он был в шапке с завязанными ушами и без рукавиц. Скинув валенки и побросав их в толпу, оставшись в одних носках, он, по-кошачьи пластаясь вдоль стены, цепляясь красными руками за белые штукатурные русты, стал спускаться с колокольни на церковную крышу.

Успенский сразу узнал его — это был Федька Маклак. «Ах, стервец! Ах, мерзавец!» — ругаясь в душе и любуясь удалью и ловкостью этого шалопая, Дмитрий Иванович сообразил, что беглец ускользнет от стражи: спрыгнет

сейчас на крышу и там шмыгнет за колокольню, сиганет сверху в толпу и — поминай как звали.

— Сюда спускайся, сюда, голубь!

— Вклещись хорошенько в стенку-у! Не то вознесешься со святыми упокой!

— Ребята, заслоните верхового!

— Лошадь под уздцы возьмите! Держите лошадь! — заревела толпа. Кто-то поймал поводья и потянул в сторону лошадь, пытаясь повернуть ее задом к церкви. Но верховой выпростался из седла, спрыгнул наземь, в мгновение ока выхватил наган и стал целиться в Федьку.

Успенский оказался возле него. Он схватил стрелка за руку и потянул ее книзу:

— Что вы делаете? Опомнитесь! Это же школьник. Мальчишка!

— Не сметь! Отпусти, говорю! — закричал стрелок, выпучив белые от страха глаза.

У него были пухлые розовые губы, и такие же розовые вислые мочки ушей, и белый пушок на щеках, еще не тронутых бритвой. «И этот мальчишка», — с горечью подумал Дмитрий Иванович.

— Да не бойтесь вы, не бойтесь... Никто вас не тронет, — приговаривал он, выкручивая руку стрелку.

Но тот изловчился, перехватил наган в левую руку и выстрелил в Успенского, прямо в грудь.

Дмитрий Иванович как-то странно всхлипнул, сдавленно замычал и, косо разворачиваясь, стал боком падать в снег.

Когда подбежала Мария, он был уже недвижим, лежал лицом вниз, и серое пальто его было продрано на спине, словно он задел о гвоздь на заборе.

— Митя, Митя! — позвала она тихо, еще не понимая того, что произошло; и заметив, как эта рваная дыра стала темнеть, набухая от крови, закричала страшным голосом: — Спасите его! Спа-асите!

4

Хоронили Озимова и Успенского в один день. Похороны, как и свадьбы, одинаковыми не бывают. Озимов лежал в просторном гробу, обитом красным сатином. Его крупное, носатое лицо выражало крайнюю степень усталости и безразличия, будто он сделал все, что следовало

сделать, и теперь успокоился, равнодушный ко всему тому, что отвлекало его от этого покоя. Гроб стоял посреди клубной сцены, на длинных столах, покрытых все тем же красным сатином. У изголовья стояли часовые в милицейской форме с винтовками и с примкнутыми штыками. По углам сцены висели красные флаги с черной каймой. И в клубных дверях стояли также по два человека, как часовые, только без винтовок, а с красной повязкой на рукаве, окаймленной черной полосой.

Народ шел густо — и старый и малый — поглядеть на невиданную доселе, торжественную церемонию; старики и бабы, проходя мимо гроба, крестились и пугливо поглядывали на часовых.

Это торжество будто завораживало всех в клубе и заставляло быть строгими и сдержанными. Только за порогом, на высоком крыльце, бабы и старухи всхлипывали, как бы украдкой, быстро вытирая слезы. А по выходе из клуба торопливо пересказывали, как важно и строго лежит покойник: и форма на нем хорошая, и руки по швам держит. Ну как живой! И обязательно про часовых рассказывали: «Стоят — не шелохнутся и даже не моргают. Истинный бог! Муха сядет ему на лицо, а он хоть бы хны — не сгонит. Вот с места не сойтить, если вру! Ни рукой не махнет, не дунет и глазом не моргнет».

— Ах, добрый человек погиб! И за что, спрашивается?

— А это уж по закону вредности — гибнут лучшие...

— Всё злоба наша да сумление.

— Оно ить и то сказать — озверел народ.

— А хто виноват? Хто?..— гомонили у клубного крыльца мужики.

Никто не слыхал ни плача, ни причитаний, будто не было ни родных, ни близких, и все время, пока люди приходили к нему прощаться, там, в просторном фойе, в окружении глазеющих ребятишек, играл духовой оркестр.

И оттого, что гроб везли на кладбище на диковинном катафалке и лошади ставили согласно, как по команде, свои ноги и картинно изгибали шеи, покачивая головами в такт траурного марша, смерть казалась совсем не страшной. И словно понимая это и боясь нарушить общее настроение, вдова его, Маргарита Васильевна, за всю дорогу до самой могилы, идя за гробом, не издала ни одного вопля, не выронила ни единой слезы: и только по

сухому, горячечному блеску ее глаз, по мертвенной бледности щек и по крепко сжатым, чуть подрагивающим губам можно было догадываться — чего стоит ей это каменное молчание.

Молчала всю дорогу, идя за гробом Успенского, и Мария. Гроб несли на полотенцах учителя, впереди шел псаломщик, одетый в поповскую рясу, и читал слабым голосом молитвы. Школьники несли крышку гроба, самодельные цветы, и темной длинной вереницей шел за гробом народ. Молчание было такое глубокое, что улавливалось каждое слово, торопливо, нараспев произносимое псаломщиком, и короткие всплески тоненького, заупокойного вопля Неодоры Максимовны, шедшей за гробом под руку с Марией.

Но Мария никого не слышала, она вся ушла в себя, в свои воспоминания и думала о нем, смотрела на него. Она и узнавала его, и нет. Его обычно подвижное и нервное лицо было покойным и величавым, будто все, что казалось ему ранее, при жизни, темным, загадочным, непостижимым в своих противоречиях, теперь прояснилось, согласовалось и стало доступным его пониманию. И легкая радость сквозила в его чуть заметной улыбке, будто хотел сказать он, что ушел т у д а и нисколько не жалеет об этом.

Двое суток, и день и ночь, не смолкали над гробом Дмитрия Ивановича молитвы и песнопения; кроме псаломщика, читали и пели бесконечной чередой приходившие женщины: и старые, и молодые, и совсем юные... Из этого потока скорбных и светлых слов Марии запомнился один стих, поразивший ее: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете...»

«Да, он знал, что это время подошло, и пошел сам т у д а, и я не удержала его», — думала она, идя за гробом.

Перед кладбищем, чуть сойдя с дороги, поставили гроб на табуретку, чтобы пересменить носильщиков и взять гроб на плечи.

Тут нагнали похоронную процессию арестанты из Степанова и окрестных сел. Они шли, сбившись тесной толпой, в окружении конвоиров. Впереди ехала подвода с их заплечными мешками, а над санями на двух укрепленных вертикально палках висел красный плакат: «Вот оно, лицо кулака, злейшего врага колхозного строя».

Погода была хмурая, моросил мелкий дождь ранней оттепели, и шубы, армяки и свиты на плечах арестантов потемнели, придавая всей этой массе людей, сбитой в колонну, особенно мрачный и унылый вид.

Поравнявшись с покойником, первые ряды сняли шапки и стали торопливо креститься. За ними последовали остальные, и в одну минуту весь строй обнажил головы.

— Отставить моленье!

— Шапки надеть!

— Марш, марш! — подгоняли их конвойные.

Мария смотрела им вслед, не вытирая обильных слез, хлынувших разом, растворяя острую, тугую боль в груди. И поднялось из самой глубины души ее это древнее русское заклятие, и вечный вопрос, и мука смертная:

— Господи! Боже милостивый! За что же? За что?!

ЭПИЛОГ

Дней через десять после описанных событий появилась известная статья Сталина «Головокружение от успехов», и в Тиханове впервые за три месяца собирался базар. Люди шли пешком или везли на салазках кто поросят в корзине, кто мясо, обернутое в чистый холст или клеенку, кто мешок муки или ржи. Редко кто приехал на базар на лошади — колхозам везти на базар нечего было, а колхозникам на личные нужды лошадей, да еще на базар, не давали.

Неведомо откуда появились на базаре городские агитаторы, все больше из рабочих, в котиковых шапках, в маленьких кепках-шестиклинках, в пиджаках из чертовой кожи, в стеганых фуфайках да сапогах. Они становились на кадки, на ящики, на прилавки ларьков, на дощатые стеллажи торговых рядов и, размахивая газетой со статьей Сталина, говорили, что рабочие и крестьяне — родные братья, что бюрократы с партийными билетами в кармане пытаются поссорить их, загоняя всех крестьян поголовно в колхозы. Это и есть, мол, головокружение от успехов, то есть голое озорство, перегибы и вредительство. Вот почему товарищ Сталин осудил этих головотяпов и разъясняет еще раз крестьянам, что вступление в колхоз — дело добровольное. Туда можно не только вступать добровольно, но и выходить оттуда добровольно.

Базар после этих митингов тотчас разошелся — люди торопились по своим деревням да селам, и неведомо как молва опережала самых быстрых ходоков. Иные приходили домой, а лошадь и корова были уже на собственном дворе, приведенные расторопной хозяйкой.

К вечеру того же дня весь пантюхинский колхоз разошелся по своим домам. А в Тиханове в колхозе остались все те же двадцать шесть закаленных, стойких семей. Но и они на общих дворах оставили только лошадей, всю же остальную скотину развели по собственным дворам. И процент сплошной коллективизации с немыслимой высоты скатился опять к изначальной цифре неполного десятка.

Так закончился великий эксперимент — в считанные недели добиться всеобщего счастья за счет имущественного уравнения крестьян и встретить весеннюю посевную тридцатого года в едином, сплошном колхозе. Даже название само — «районы сплошной коллективизации» (а Московская область была одним таким районом из восьмидесяти) — было вычеркнуто из официальных директив и донесений.

Конечно, колхозы есть колхозы; они созданы были и существуют до сих пор. Но это уже другие колхозы, и складывались они по-другому: медленно, мучительно и долго, вплоть до весны тридцать пятого года. Соблазнительная же теория вселенского Добродетельного Икара — сделать всех счастливыми в один всеобщий присест за длинные фаланстерские столы с небесной манной, распределенной на равные доли все тем же Добродетельным Икаром, была погребена на нашей земле русскими мужиками и бабами под обломками бурных февральско-мартовских событий тридцатого года.

Но всякая утопия тем и сильна, что, словно бессмертный чертополох, заваленная в одном месте, она может вынырнуть совершенно в другом. Так проклюнулась и эта уравниловка незабвенного Добродельного Икара и распустилась пышным дурноцветом под благостным солнцем великого Мао в годы его большого скачка и «культурной революции», но и ему не удалось дождаться всеобщего действия ее губительного созревания. По-всякому это называлось: и бабувизмом, и троцкизмом, и маоизмом... Или как там еще?

Впрочем, какое нам дело до вселенских утопий о скором приходе всеобщего равенства и счастья?! Автору

хотелось рассказать о русской деревне, о жизни обитателей ее в трудную пору «великого перелома». И рассказ этот подходит к концу.

Разумеется, не всякого читателя устроит такой конец. Иной спросит: «А как же колхоз? Что с ним было? Как он рос? А что Бородины? Так и остались посреди дороги? Куда же их девать: «туда» или «сюда»? На эти вполне резонные вопросы могу ответить вот что: я писал роман-хронику, строго ограниченную определенным временем, а не эпопею о становлении колхоза или о судьбе главного героя. Потому и не было у меня такого главного героя, а все были вроде второстепенные. Рассказать же о том, куда они все подевались и что случилось с каждым из них впоследствии, просто невозможно.

Однако к семье Бородиных я намерен вернуться. Главные события для них впереди. Но то будет другая история и вещь другая. А эта кончилась. Первый перевал Бородины миновали благополучно, если не считать того, что Андрея Ивановича исключили из состава сельсовета. Но это уже мелочь.

Похоронив Успенского, Мария уволилась с работы и уехала из родных мест навсегда. Из вещей Дмитрия Ивановича взяла только книги да синюю тетрадь.

Распрощались они с Надеждой по-доброму: обнялись да расплакались. Нет, не удерживала ее старшая сестра. На кой ляд! Вся жизнь в Тиханове поднялась на дыбы, как норовистая лошадь. Впору хоть самой бежать, да некуда. И хвост велик — не подымешься.

А тихановских перегибщиков судили. На скамью подсудимых во главе с Возвышаевым село двенадцать человек. Судила их выездная сессия Коломенского окружного суда. В газетах того времени появились шапки: «Тихановские коллективизаторы перед пролетарским судом», «Перегибщиков — к ответу». Вот тут и вспомнилась поговорка: на что прыткие были воеводы, а все побледнели, когда пришла царская расправа!

Мужики и бабы битком набивали тихановский клуб, где шел этот громкий процесс, и с удивлением видели, какими смирными сидели за отгородкой под стражей милиционеров их бывшие грозные начальники; какими невинными глазами смотрели они на судей и в зал; какими добрыми, мягкими голосами признавались в своих грехах, каялись, но все как один говорили, что выполняли приказы, то есть что их преступления в

той или иной форме «базируются на законном основании».

— Да, мы оторвались от масс, да, нарушили принцип добровольности при создании колхозов,— признавался Возвышаев, глядя одним глазом на судью, а другим отваливая к народу.— В пылу практической работы нами допущен ряд грубейших ошибок и перегибов. Но я не социально опасный человек, а до мозга костей преданный социалистическому строительству. Поэтому предъявлять мне строгое содержание с изоляцией, как это сделал прокурор, несправедливо. Я директивы исполнял.

— Да, кавалерийским наскоком в работе мы преступно извратили политику партии,— сказал Чубуков.— Но делали мы это без задней мысли, то есть без цели, потому как поддались всеобщему настрою. Или, как сказал товарищ Сталин, головокружению от успехов. Я клянусь перед партией, правительством и пролетарским судом в том, что в будущем искуплю свою вину, на какую бы работу меня ни послали. Что прикажут, то и сделаю.

— Да, я действительно являюсь юристом в кавычках,— признался Радимов,— как обозвал меня здесь общественный обвинитель, потому как, вместо того чтобы бороться за соблюдение законов, сам их нарушал. Но, дорогие товарищи! До двадцать четвертого года я батрачил. Никакого образования не получил, окромя трехмесячных курсов. Спрашивается: разве я сознательно нарушал законы? Я это сделал исключительно по усердию. Одно мое старание, и больше ничего. Такой был настрой.

Весь процесс достойно завершил общественный обвинитель Филипп Абрамкин, заведующий окружной совпартшколой.

— Данный процесс имеет огромное политическое значение, поскольку вскрывает корни отрицательной деятельности отдельных звеньев тихановского аппарата. Возвышаев и Чубуков, вместо того чтобы признать безоговорочно свою вину, пытались доказать, что их преступность в той или иной мере базируется на законном (в кавычках) основании. Тем самым подсудимые вновь порочат политику партии и Советской власти. Нет, действия их были диаметрально противоположны и политике партии, и всему нашему законодательству.

На том и порешили: Возвышаеву дать пять лет исправительно-трудовых работ, Чубукову — три года, Радимову, Билибину, Доброхотову, Алексашину — по одно-

му году. Остальным дали кому полгода принудиловки, кому год условно.

Не обошли вниманием и секретаря райкома: «Поскольку т. Поспелов проявил недостойное попустительство агрессивно настроенным элементам, но учитывая его постоянное отсутствие по причине слабого здоровья, объявить ему выговор и перевести с понижением в должности в другой район».

Сенечку Зенина для «излечения его от нанесенного не столько физического, сколько морального ущерба» откомандировали на учебу в совпартшколу. Он тотчас уехал из Тиханова, уехал навсегда, оставив на произвол судьбы жену свою Зинку, с которой, впрочем, так и не успел расписаться.

Наказаны были и крестьяне, замешанные в беспорядках. И только один Федор Звонцов ушел от возмездия. Когда конный отряд окружал бунтовавшее Веретье, он прыгнул на своего Маяка, стоявшего под седлом на крайнем дворе, птицей перемахнул через прясла и пошел низом, по льду Петравки.

За ним погнались с полдюжины вооруженных конников: но не тут-то было! Маяк оказался резвее казенных лошадей, и потом — Петравка сразу за Веретьем круто изгибалась, и не успели бойцы снять винтовки, как Звонцов умчался за кривун.

Тогда они решили скрадывать его и поскакали вперехват, чистым полем. Но перед лесом, куда уходила Петравка и куда мчался по льду Звонцов, они попали в сугробы и увязли в них. Так он и ушел в мещерские непроходимые леса.

С той поры никто не видел его в здешних местах; одни говорили, что он проживал в Баку под чужой фамилией, другие — что ушел за границу.

А жеребец вернулся... Пришел в Гордеево через неделю такой исхудалый, что мослы на крестеце выщелкнулись. Отыскал свою усадьбу. Тут и взяли его; утром стоял на пепелище возле старой ветлы, понуро свесив голову.

Ноябрь 1978 г.— март 1980 г.

ПО ДОРОГЕ В МЕЩЕРУ

Она проходила мимо нашего села и называлась столбовой дорогой, большаком, Касимовским трактом, Крымкой, Владимиркой, Муромской дорогой. По ней возили пшеницу и рожь с юга на Меленки, Муром, Павлово; по ее широкому, обвалованному от полей прогону гнали скот из Тамбова на Егорьевск, на Москву. Шли по ней странники, нищие, богомолки. По ней уезжали на заработки, в одну сторону — до Москвы, до Питера, в другую — на Оку, на Волгу, на Каспий.

На Муромской дорожке стояли три сосны,
Со мной прощался милый до будущей весны...

По ней гуляли отчаянные головы с топором за поясом да с кистенем в кармане, поджидали в темном месте богатых гостей.

Едут с товарами в путь из Касимова
Муромским лесом купцы...

Это все про нее поется. Грабили да убивали в распадках да в оврагах, возле узких мостков — особенность повадок русских разбойников, подмеченная еще Тургеневым. Я и сам давным-давно, подростком, проходил частенько мимо таких мосточков в чистом поле,— тут вот ветеринар был застрелен, а там барин убит молотком по голове. И передавалось это из уст в уста так живо и подробно, будто бы случилось все только вчера. «Запутались кони в веревках. Почуяли неладное, забились, заржали. И он, барин-то, видать, почуял конец решающий, застонал, заухал, как леший. Коней они выпростали, не тронули. А барина молотком по голове. Заодно и кучера прикончили. Плакал кучер-то, на коле-

нях елозил, умолял. Что я вам, говорит, сделал? За что вы душу губите? Они ему — чудак человек, душу мы твою не тронем. Она в рай пойдет, потому как сам ты невиновен, а пропадешь за компанию». Многое что делалось на Руси за компанию да на артели.

От Касимова дорога разветвлялась: налево шла на Туму и на Владимир, направо же — в Муром, Павлово, Нижний, Саратов, Самару. На широкие волжские плесы, в бескрайние степи, на вольную волюшку. По ней возвращались по осени бурлаки, в сапогах да в пушистых малахаях шли удоволенные, хмельные. «А мы, ребятишки, гурьбой за ними, ловим за разноцветные шарфы, по домам зазываем: дяденька, остановитесь у нас! Горница просторная, лежанка возле грубки, брага есть»,— рассказывала тетка моя, теперь уж покойная. Ах, дорога, дорога! Сколько по тебе прошло и проехало люду всякого роду-племени в ту страну, откуда уж никто никогда не возвращался?

Шли по ней обритые арестанты в тюремных армяках, гремя кандалами, шли этапом от ночлега до ночлега, то есть от тюрьмы до тюрьмы — Шацк, Сасово, Нестерово, Касимов... Эти тюрьмы еще стоят вдоль дороги — громоздкие побеленные каменные кубы с квадратными черными прорубями окон. Нестеровскую тюрьму после упразднения этапа еще в прошлом веке купил помещик Воейков и перестроил в спиртзавод. С той поры эта бывшая тюрьма и площадь вокруг нее стали бойким местом, соблазном для окрестных мужиков: возили сюда картошку и свеклу, рожь и даже просо, увозили потихоньку от баб, продавали по дешевке и тут же пропивали выручку. А лет через тридцать, через сорок сюда же шоферы-леваки привозили колхозную картошку и тоже пропивали. Помню, как в шестьдесят первом году в Юрьеве на заседании правления колхоза отчитывали одного орла; он стоял у дверного косяка, свесив голову, держал в руках шапку, пощипывал мерлушку и скатывал шарики...

— Ты с какой целью отвез колхозную картошку на спиртзавод? С целью воровства?

— Нет... Отвез просто так, без цели.

По этой дороге привозили к нам на базар из глухой лесной стороны всякую всячину: кадки и самопряхи, донца, воробы, ступы, пехтели, лапти, онучи, мед, пеньку, веревки, дуги расписные, колеса окованные, телеги на

железном ходу, шостинские телеги! А то касимовские сани, подсанки, саночки с расписным задником, с гнутыми копылами, с подрезами. Садись и лети хоть в Москву, хоть катай до самой Сибири — на любом ухабе не опрокинутся.

Помню, в тридцать пятом году на подворье нашем тумская артель тесала сани. Не только что подворье — весь сад был заставлен штабелями гнутого дубового полоза. «Батюшки мои! — удивлялась мать.— Экая сила! Тут на пять лет тесать, не перетесать».— «Эх, кума! — весело отзывался старшой, дед Иван.— Быка не успеем съесть, как все сани разлетятся».

По четыре, по пять саней в день слаживали. А было всей артели два мужика и два подростка: Ванька да Спиряк. Спали ребята вместе с нами на печи, мужики — на полатях. Длинными осенними вечерами Ванька любил сказки рассказывать все про охотника да про волшебника:

— Настрелял он гусей да уток столько, что всю светелку забил пуховиками. И говорит своей жене Марье Красной Ягоде: «Спи хоть на кровати, хоть прямо на полу — везде мягко будет». Ушел он за тридевять земель в тридевятое царство — перо Жар-птицы искать, а к ней подмулился волшебник-чародей...

— Баба, она что лошадь. За ней глаз нужен. Дай ей волю — поперек борозды пойдет. Всю тебе картину распишет,— отзывался с полатей дед Иван.

Дед, потому что бороду носил, поддевку да лапти. А так — мужик мужиком, не более пятидесяти лет. Тихон был помоложе, брился, носил пиджак, сапоги, на фабричного смахивал, но лицом темен, хмур. Слова из него клещами не вытянешь.

Однажды мать вышла на заднее крыльцо позвать мастеров на обед и удивилась:

— Гляди-ко! Да вы до обеда четверо саней вытесали. Эдак вы и до зимы управитесь.

Наутро Тихон не встал с полатей, лежал кряхтел, охал и матерился:

— Поясница отнялась... Сглазила меня баба, туды ее растуды...

— Да что ты, Христос с тобой! Чтоб сглазить, черный глаз нужен, тяжелый. А у меня не токмо что глаз, рука легкая. Случается курице голову отсечь — час трепыхается. А ты — глаз дурной. Что ты, Христос с тобой?!

— Нет, сглазила. Умывай меня!

Пришлось умывать... «А чтоб тебя скосоротило!» Так мало того, ведите ему бабку, пусть банки ставит, пятки керосином смазывает да отчитывает.

Приходила бабка Катя Кирюшина... И банки ставили, и пятки керосином смазывали, и в спальную уложили его, на хозяйскую кровать, на перину. И доктора вызывали. Пришел Семен Терентьевич, осмотрел. Радикулит, говорит. Не надо в одной рубахе на ветру работать. А тот все свое — сглаз, туды ее растуды! Так и уехал в свою Туму, не простив этого «сглаза».

Тумак, он тумак и есть. Сказано — глухая сторона. Лешаки да разбойники.

Давно меня влекло в ту сторону, где когда-то разбойники водились. «Проедешь от Тумы до Окатова — доедешь до Саратова»,— говаривали в старину про те места.

«Тума железная, а люди в ней каменные» — это Куприным записано. Бывал он там, жил в барском доме в Ветчанах, описывал окрестные столетние боры, местное население, которое «говорит непонятным для нас певучим цокающим и гокающим языком и смотрит на нас исподлобья, пристально, угрюмо и бесцеремонно».

Однажды в начале шестидесятых годов случилось мне ехать на электричке из Москвы в Рязань. В вагонном тамбуре я наткнулся на груду мешков, возле которых стояли трое мужиков и бойко отбивали нападение кондуктора:

— Да ничего твому вагону не сделается.

— Ничаво, ничаво...— передразнивал их молодой щеголеватый кондуктор.— Одного мусору после вас останется ворох.

— Веник дашь, сами и заметем. Делов-то, тьфу!

— А ты не плюйся.

— Это я к примеру.

Пассажиры были в стеганках, ватных брюках и в валенках. Лица давно не мытые, усталые, но довольные, радостные.

— Чего везете? — спросил я.

— Пашано,— ответил тот, что был постарше.

— Куда?

— Домой, в Тумский район.

— Неужто в Москву за пшеном ездили?

— Да мы попутно. Из лесу едем, домой на побывку. В отходе мы. Нас тут целая артель.

Мы разговорились. Работали они на лесозаготовках где-то в Костромской области. Чем дольше я разговаривал с ними, тем все более и более удивлялся. Колхоз у них большой, одних мужиков более трехсот человек. С осени большинство колхозников отправлялись в отхожий промысел до июня. Работали, кто где устроится: и на стройках, и в лесу, и где бог даст. Приезжали домой на праздники да на уборочный сезон.

— А почему не занимаетесь этим промыслом у себя дома? — спросил я. — И лес есть, и мастера.

— Дома-то запрещают.

Была та самая пора, когда считалось — все беды в сельском хозяйстве происходят от нерадивости крестьян. То бишь эти колхозники да совхозники все больше на сторону глядят, промыслом занимаются; да своими огородами, да личным скотом. А вот как сведем у них этих коров да поросят, да огороды отберем, да промыслы всякие отберем, так волей-неволей будут смотреть крестьяне только в землю, кормиться от земли — то есть лучше будут ее обрабатывать, стало быть, больше давать государству продуктов. Все казалось вполне логичным. Но элементарная логика для земли — вещь лукавая. Сельское хозяйство не семинария, здесь универсальную логическую фигуру не подберешь. Словом, промысел отбирали у колхозов для того, чтобы поднять культуру земледелия, но на самом деле урожаи понизились, настала бескормица, скот отощал, колхозники уходили на сторону. Потом попытаются поправить дело распашкой лугов да клеверов да кукурузу двинут на это самое травополье. Но это потом...

А в ту пору я впервые добрался до Тумы. Село как село: однообразно длинная улица вдоль шоссе, эдак километра на три с гаком, дома деревянные, большей частью старые; магазины размещены то в старых лавках, то в длинных кирпичных пакгаузах — бывших торговых складах; и клуб похож на такой же длинный красный пакгауз. Церковь огромная, с белыми пилястрами, с высокой трехступенчатой колокольней, с хорошо сохранившейся наружной росписью. Изредка попадаются забавные дома с чешуйчатой кровлей, с резными коньками, с крыльями, с фигурными окнами. Посреди села огромный, в несколько звеньев двухэтажный дом под зеленой крышей с резными наличниками — старая гостиница. Новых кирпичных домов мало — раз-два, и обчелся. Некото-

рые из них двухэтажные из силикатного кирпича: райком да жилые дома для служащих. Что еще? Рынок посреди села, напротив железнодорожной станции; сопение да гугуканье тепловозов на путях, да высоченная труба кирпичного завода, как божий перст, грозит небу.

Остановился ночевать у первого секретаря райкома Василия Ивановича Мелешкина. Он был женат на Дусе Демидовой, моей однокласснице по потапьевской десятилетке. Потому и пригласил.

Жили они в бывшем поповом доме на каменном фундаменте из красного лесу. Хороший дом, особенно изнутри: потолки чистые, желтые — ни щелочки, как слитые, крашеные, шириной в полметра половицы, двери высокие двустворчатые — филенки резные с наплывами, массивные бронзовые ручки, печи кафельные белоснежные с надраенными бронзовыми отдушниками на цепочках, светлые обширные окна. Красота!

На столе грибки соленые да отварные, варенья разных сортов: черничное, брусничное, малиновое, моченые яблоки, помидоры свежие и розовое свиное сало толщиной в ладонь.

И воспоминания, воспоминания до глубокой ночи.

— Помнишь, как химик наш, Ашдваэс, грохнулся на льду с велосипеда?

— А помнишь, как Питерсон (тоже прозвище учителя) уснул на плащанице в церкви? Вася, милый, вот была потеха. Поехал он к попу в гости на праздник. Зятем ему доводился. Напился, ушел в церковь и завалился спать на плащанице. Тот забыл про него, вечерню пришел служить, а этот как захрапит. Перепугал насмерть прихожан. «Христос воскрес!» — кричат. И то́маром из церкви. В дверях передавились. Потом фельетон был в районной газете.

— И что в итоге?

— А ничего. Посмеялись да и позабыли.

— А куда делся Ванька Козел?

— Этого в райпотребсоюз перевели.

— Что за Козел?

— Да директор наш, бывший. Он Леонардо да Винчи звал Леонардом Давыдычем. Выдвиженец.

Взрывы веселья сменялись печальным помином и снова смехом.

— А где теперь Малёк? Не слыхал?

— Он же погиб.

— Да, да... погиб... И Пиня погиб, и Сэр, и Натурщик...

— Прозвища у вас были какие-то нелепые.

— На то они и прозвища. И у него тоже было прозвище — граф Можаев. Ха-ха-ха! Маленький такой был, худенький, но важный.

Дуся Демидова работала директором средней школы. Рассказывая о своей работе, вдруг погрустнела:

— Счастливые вы. То в Москве живете, то в Рязани. А нас загнали в сырую Туму, и торчи здесь.

Под конец размечталась:

— Вася, говорю, устрой так, чтобы в Елатьму нас перевели. Там Ока, пароходы, сады на высокой горе... Совсем другой свет.

А я ей говорю:

— Мы только из Елатьмы. Тоня Анохина... Шурку Анохина помнишь? Тюльку?

— Ну как же? Тоже наш одноклассник и секретарь,— это мужу.

Тот мотнул головой, знаю, мол.

— Тоня Анохина также вот мечтает удрать из Елатьмы в Рязань.

— Они избалованные. Им повезло.— Дуся помолчала.— Он в обком попал. А нас куда только не кидали...

В Елатьму Мелешкины так и не переселились, осели навсегда в Кадоме. Да и район в Елатьме закрыли. Делать там нечего.

Как-то лет через пять встретил я их в поезде на Москву.

— Не мечтаете больше о Елатьме? — спросил я Дусю.

Только рукой махнула:

— Отмечтали. Наша мечта в коротком платье бегает...

С годами трезвее мы стали. А тогда верилось, что все-то откроется нам, все-то сбудется, как мечталось. Время было такое.

На другой день в райкоме у нас с Мелешкиным был иной разговор:

— Запрещают заниматься промыслом? — спросил я.

— Запрещают,— ответил он и, помолчав, добавил: — А мы поддерживаем промысел, помогаем налаживать его.

— Почему?

— Нельзя без него. Земля требует затрат, капиталовложений. А где их взять? Вот промысел и дает эти средства.

— А что у вас за промысел?

— Раньше были льнозаводы, ткацкие фабрики, ватные, дерматиновые, деревообделочные цехи, щепу драли, финскую стружку. Но все это отобрали у колхозов. Оставили одни рогожные кули. Вот те колхозы, которые ткут рогожные кули, еще держатся. Остальные на брюхе лежат.

Мелешкин вынул из стола несколько листов машинописного текста:

— Это я выписал из энциклопедии 1902 года. Смотрите, в Касимовском уезде раньше промыслом занималось почти двадцать семь тысяч мужчин (это помимо города), да не менее трех тысяч женщин обрабатывало козий пух, который шел потом на Нижегородскую ярмарку, оттуда в Оренбург, где из него вязали знаменитые оренбургские пуховые платки. Промысел был всему делу голова. Поденщиков и батраков насчитывалось всего 477 человек. А плотников было более пяти тысяч. Теперь же остались одни рогожные кули.

Мы поехали по разбитой проселочной дороге, сплошь покрытой разливанными лужами; дорога извивалась, как Змей Горыныч, ныряла из деревни в деревню, словно пыталась оплести и удушить грязью все живое.

— Раньше здесь хорошо льны росли,— сказал Василий Иванович, глядя на жидкие озими.

— Отчего ж теперь не растут? Земля испортилась?

— Земля все та же... Раньше свои льнозаводы были, сдавали льноволокно. А теперь вези тресту аж в Туму или в Касимовский район. Невыгодно тресту сдавать, вот и льны не сеют,— говорил Мелешкин.— В Алексееве колхоз держал ткацкую артель. Зимой колхозники тик ткали. Хорошее подспорье было. Так отобрали, артель фабрикой теперь называют. Но какая это фабрика? У них добрая половина на ручных станках ткет. Смех! Зато уж колхоз захирел. У Самсона Белокурова в Оськине фабрика дерматиновая была, и колхоз крепкий был. Отобрали фабрику...

— Кто ж на этих фабриках работает?

— Да те же колхозники. Раньше председатель колхоза распоряжался всем один, и правление было одно — и для фабрики, и для колхоза. Жатва подошла, к примеру, фабрику на замок — и все в поле. А теперь на фабрике директор. У него свой план. Он колхозу не подчиняется.

А убирают поля все те же люди, но теперь они ходят в колхоз как бы на помощь.

Благая мысль — перерабатывать на месте свое сырье и отвозить далекому потребителю готовую продукцию — стала узаконенной позднее известным постановлением правительства о создании агропромышленных комплексов. А в те времена эта мысль решительно пресекалась.

Грустно и тогда было слушать сетования растерянных хозяйственников. Да и теперь невесело подумать — сколько крепких хозяйств осажено было на карачки не только в Мещере, но и по всей нечерноземной полосе, издавна сочетавшей сельское хозяйство с промыслом. Это еще наше счастье, что многие изворачивались...

При въезде в село Уткино, на отшибе, посреди заросшего клевером пустыря, уклонисто переходящего в просторные озимые поля, стоял новый бревенчатый дом; в широких окнах, охваченных желтыми, еще не потемневшими наличниками, и в высоком, в свежих затесах крыльце, и в светлой тесовой изгороди — во всем чувствовалось какое-то приветливое, веселое радушие: входите, люди добрые! Есть у нас и на чем присесть и чего съесть-выпить. Это правление колхоза «Новый путь».

В большом кабинете, чистом, светлом, оклеенном дорогими вагонными обоями, мы познакомились с председателем колхоза Кирюшовым Афанасием Гавриловичем, человеком пожилым, но подвижным. В его быстрых жестах, в его цепком взгляде чувствовалась добрая хозяйственная хватка. И разговор он вел бойко, пересыпая речь цифрами:

— Что дает нам кулечное дело? За прошлый сезон мы получили сто тридцать тысяч чистой прибыли в новых деньгах. Куда идут эти деньги? Поедемте, я покажу вам.

За оврагом, на пологом въезде, в строгом порядке тянулись вдоль села коровники, телятник, свинарники... дворы, дворы. Каменные фундаменты, бревенчатые стены, рифленые серые, как речные плесы, крыши... Где конец им? Мы ехали вдоль животноводческого городка несколько минут.

— Вот вам и кули,— посмеивался Кирюшов.— Чистое золото! А кредиты на промысел не дают.

— Почему же не дают кредиты?

— Говорят — неплановое производство. Не положено.

Просто смех! И агента своего по закупке мочала держим в Башкирии. И платим за мочало выше закупочных, кооперативных цен. И вагоны не дают нам для перевозки сырья. Так мы по праздникам перевозим, когда дорога разгружается. А в заявках на вагоны вместо мочала пишем — зерно. Мочало нельзя, ни-ни... не планово.

В тот день добраться до соседнего села Бусаева нам не удалось. Мы хотели посмотреть ткацкую фабрику, то есть бывшую ткацкую артель, которую отсоединили от колхоза в 1960 году, отчего хозяйство захирело. Сели мы в чистом поле на высоком бугре, сели посреди дороги на все четыре колеса, на дифер. Копались до глубокой ночи.

Ездить на автомобиле по лесным мещерским дорогам, да еще в слякотную осеннюю пору, в то время умел разве что один Василий Маркович Клёнушкин, старый тумский шофер, чудо-богатырь. Говорили про него, что он один за передок подымает «газик», что он с лопатой ходил на медведя, что он мог опрокинуть воз сена, что ставил на колеса телегу, груженную трестой, и всякие прочие чудеса рассказывали про него. Осенью шестьдесят второго года, когда по лесным дорогам ходили только трактора, Клёнушкин на своем «газике» возил меня и в Ветчаны, и в Култуки, и в Княжи, и в Уречное, и в Мамасево — в самые глухие медвежьи углы Мещеры. Ездили не столько по дороге, сколько чистым полем или по мелколесью. Глянешь, как он чешет напролом, подминая частый молодой соснячок, спросишь с опаской:

— А не засядем в лесу-то?

Только блеснет исподлобья круглыми медвежьими глазками:

— Это уж отойди проць, как говорят у нас в Малахове.

Еще у него была любимая поговорка:

Чтобы наш рязанский лапоть да воду пропускал! Ни в жисть.

В багажнике возил он с собой полный набор шанцевого инструмента, которого хватило бы оснастить целый саперный взвод. Под Княжами мы топли. Срубили из бревен целый ряж, вывесили жердью «газик» и поехали дальше...

Признаться, меня давно разбирало любопытство, мне хотелось самому проверить, убедиться: так ли однообразно темны были жители окрестных сел и деревень, описанных Куприным полвека назад? Дело не в грамот-

ности, а в том своеобразном укладе жизни, одежде, говоре, повадках, наконец, которые отличают жителей одного села от другого. Эдакое своеобразие складывалось веками и было живой достоверностью каждой общины, отличало ее от иных-прочих, как неповторимые черты характера отличают одного человека от другого. Уж если дожили до скучного единообразия, тут пиши пропало.

Нет, не дожили, не дошли до этой плоскости. Окрестные села своеобразны. Даже села в одном колхозе довольно резко разнятся.

Про жителей села Уречного тут говорят: «Эти четвертинку на пятерых выпьют и на другой день еще оставят». В Уречном живут потомки прославленных плотников и столяров. Трезвенный народ. В Колесникове же выпить не дураки. Мы, говорят, люди веселые, музыку любим. Ежели кто донес на своих — котел на голову тому надевают на сенокосе и палками бьют по котлу. Пусть запоминает нашу музыку. Озорники, выдумщики...

А в каких-нибудь семи верстах, среди такого же леса угрязло унылыми серыми избами, похожими на колодезные срубы, село Княжи. «Эти — колодезники. Народ смурной. Их, говорят, князь в карты проиграл». И дразнят их в округе: «Иван, завязывай!» Ремесло у них было нелегкое и опасное. Порой копали колодец, копали, а воды все нет. И страшно становилось — а ну-ка стенки колодца завалятся и накроет, прихлобучит землей? Вот и удирали порой колодезники раньше времени, удирали потихоньку из чужой деревни, так и не докопавшись до воды. «Иван, завязывай!» Это значит — пора удирать. Завязывать надо походный мешок.

Всего в трех верстах отстоит от Малахова село Дмитриево, но какая разница не только в облике сел, но даже в конструкции изб! У дмитриевцев дома большей частью пятистенные, обшитые тесом, крашенные масляной краской, с резными карнизами, затейливыми наличниками. И даже дом с мезонином есть. И на сельской улице чисто — трава-мурава и палисадники. А в Малахове избы какие-то серые, с подклетом, стиснутые по бокам, с малюсенькими оконцами под самым карнизом. Многие окна волоковые, не растворяются — только отодвигается в сторону одна половинка, точно печная вьюшка. И старики говорят нараспев: «Цао баешь ти», «Живем в избекесь». И грязь посреди села.

— Объезжай-ка, милок, село-то полем. Тут у нас уж пятая машина тонет.

И мы объезжали Малахово полем. А в Малахове не только правление большого колхоза, но даже средняя школа стоит.

В общем-то вид здешних сел определял все тот же промысел. Норинцы, уреченцы, дмитриевцы — народ мастеровой, работали они всю бытность в отходе плотниками и каменщиками на стройках. А малаховские и култуковские ходили в далекие леспромхозы, профессий у них нет — работали подсобниками и разнорабочими.

— Куда им тянуться за нашими! — наперебой расхваливали «своих» председатель колхоза из Колесникова Воропаев и парторг Федин.— У нас есть такие столяры, что гостиницу «Москва» отделывали, павильоны на выставке в Москве! Климшов Федор Захарович из Норина.

— А зять его?

— А Яков Петрович Артамонов!

— А Емельян Иванович из Уречного?

— А Иван Иванович Пушкин! Его изделия в музей попали.

— А дед его, Кузьма Иванович Букин? В Париже первую премию получил, за самопрялку. Говорят, она в Эрмитаже хранится.

— Дак то ж до революции было. Это не в счет. До революции тумаки по всей России хоромы строили.

— Да что по России! — подхватывал Федин.— В Китае строили, на Филиппинах, в Австралии! Везде знают наших тумаков.

Им доставляло удовольствие хвалиться своими колхозниками. Оба они были относительно молоды — в пиджаках, при галстуках и в шляпах. На председателе велюровая шляпа, а парторг к пестрому в клетку пиджаку надел серую зимнюю шляпу немецкого фасона с приплюснутой тульей и с простроченными полями.

Федин — восторженная душа — все-то он читал, помнит, знает. О чем ни спросишь его, ответит.

— Откуда родом Баташиха, последняя владетельница Гуся Железного?

— Немка из родового поместья «Гуд».

— У кого здесь гостил Куприн?

— У зятя, управляющего поместьем. Фамилия его Нат.

— А кто построил тот самый барский дом, где останавливался Куприн?

— Пленные французы. А руководил сам фельдмаршал Петр Михайлович Волконский, дальний родственник Льва Толстого.

— Да, это все верно,— кивал головой Воропаев и вдруг изрек: — А молодежь у нас хорошая. Шестерых в прошлом году в институт отправили. Прямо с фермы. Да вот и фотокарточка.

Воропаев вынул из кармана фотокарточку: четверо девчат и два парня, на переднем плане — сам председатель, он что-то говорит, подняв кулак.

— Кулак не на месте оказался,— извинительно улыбнулся Воропаев.

— Между прочим, обратите внимание на этого белобрысого паренька,— указал Федин на крайнего парня на фотографии.— Хлопцев Володя. Он сирота у нас. Мы ему стипендию платим от колхоза. Тридцать три рубля в месяц.

— А сколько на трудодень платите колхозникам?

Федин засмеялся, ответил Воропаев:

— Дак ежели все со всем посчитать — пожалуй, по три рубля выйдет.

Было это в шестьдесят втором году, тогда любили так вот подсчитывать с карандашиком в руках. Воропаев и в самом деле взял карандаш, бумагу:

— Значит, так: картошку копают — десятая часть идет им. Сено даем, то есть луга нарезаем. Кому по гектару за теленка, кому так... Хорошим работникам.

— Зерна по скольку дали?

— Зерна не дали на трудодни.

— А денег?

— Денег? — Воропаев поглядел на потолок.— Деньги, значит, заработать можно... В отхожий промысел ходят. Отпускаем.

— Отпускаем только тех, кто хорошо поработал в колхозе,— пояснил Федин.— А если он трудодней не выработал, так уж не отпустим его и в отход.

— Да, да, вы не подумайте насчет шабашников. Этого у нас нет,— быстро подхватил Воропаев.— Наши работают в постоянных местах: в луневском совхозе под Москвой, на биофабрике в Щелковском районе. Нам и директора знакомы, пишут письма, лес у нас берут, взамен посылают шифер, гвозди... Оборот налажен.

— А вдруг кто-нибудь из колхозников останется там и не вернется? — спросил я.

— У нас порядок,— ответил Федин, смущенно улыбаясь.— В июне все возвращаются домой. Ведь лето подходит, на полях работать надо. А кто опоздает — осенью не пустим.

Они сильно беспокоились, что я смогу их уличить в потакании «деляческим замашкам» собственных колхозников, и поскорее перевели речь на другую тему. Чего греха таить, подобные опасения в то время были весьма основательны. Наш брат журналист любил с ходу врезать незадачливым председателям, «распускающим» свои кадры. А то, что эти кадры только и сводили концы с концами за счет этих сезонных увольнений из колхоза, это мало кого трогало. Мол, перебьются, им ничто.

— Условия у нас неплохие,— уводил меня в сторону Федин.— Возьмите хоть культурно-просветительную работу. Не хуже, чем на производстве, поставлена. Посмотрите наш парткабинет. На общественных началах держим. Одних журналов выписываем до десяти названий.

Парткабинет и в самом деле был приличный — много журналов и газет, всякие диаграммы на стенах, на них все выписано добросовестно: какой валовой сбор зерна намечен на 1980 год, и какая урожайность, и какая будет культура построена.

— А страданье играют еще на селе? — спросил я.

— А как же! — обрадовался Федин.— По вечерам село обслуживают радиофицированные точки, а после — самодеятельность. То есть девчата с ребятами по селу ходят, сормовского играют.

Я пожалел, что проявил интерес к этой культуре. Меня поселили в избе напротив столбового громкоговорителя — и шумел он железным голосом до двенадцати часов ночи. А потом перед избой сходилась эта самая самодеятельность — голосистые девчата под гармонь с припевками отплясывали до утра сормовского да цыганочку.

Видал я и отходников, говорил с ними, убедился — совсем не легкая, не прибыльная у них работа, и жизнь не сладкая, как заверяли нас частенько газетные фельетонисты.

В том же Дмитриеве ничем особенным не выделялся из общего порядка пятистенок Баринова Николая Нестеровича. Просторная, светлая горница, застланные пе-

стрыми половичками полы. Широкие скамьи вдоль стен. Плакаты на стенах. Хозяин удивительно моложав, стройный, подтянутый, весь какой-то коричневый, словно продубленный загаром, без единой морщинки, без седины. И диву даешься, что ему перевалило уже за пятьдесят. В отход он ходит уже лет тридцать пять.

— И дед мой ходил, и отец, и я хожу, и сын. Все мы отходники. Отец, бывало, с осени брал две смены белья, две пары лаптей да кочедык, чтоб лапти в дороге подковыривать, и уходил.

— А вы когда уходите?

— И я с осени. Сын, слава богу, устроился на работу завхозом. Ныне дома останется.

Бригада их работала на Щелковской биофабрике уже шесть лет. Строили многоквартирные дома. Каждый год зачисляли их на семь месяцев «в рабочие». Работали по обычным расценкам.

— Только перерабатываем, чтобы домой деньжат привезти,— пояснял Баринов.— Жилье там, конечно, неприспособленное. То в брошенном клубе живем, то в доме, который строим. Третий этаж строим, а в первом живем. Времянку ставим — трубу в форточку, и газуй!

— Так и живете семь месяцев?

— Иногда и поболе, до двадцатого июня. Бывало, придешь домой — детишки малые не признают тебя. Дичатся! А теперь мы в январе на месяц приходим — сено с лугов возим.

— Да где ж вы больше работаете, на стройке или в колхозе?

— На стройке боле.

Я смотрел на густо исписанные страницы его трудовой книжки и все более удивлялся — что ни год, то новая запись, а в конце одна и та же фраза: «Уволен по отзыву колхоза».

У Емельяна Ивановича из села Уречного такая же трудовая книжка. Подошло время ему идти на пенсию, а стажа не хватало, хотя работал он на стройках с 1917 года. Правда, Минаеву удалось получить пенсию, но лишь по инвалидности. Говорил он о себе как-то нехотя:

— У нас иные плотники расчетные книжки на курево расходуют. Все равно, говорят, стажа не выполнишь. Вот и уходят к дяде Ване.

— А кто такой дядя Ваня?

— К дяде Ване итить — значит по чужим колхозам шляться. По договорам работать.

— А, это шабашники? — догадался я. — Есть у вас в Уречном такие?

— Человека четыре есть. — Емельян Иванович насупленно помолчал, долго скручивал цигарку. — Специальность наша чурочной стала. Теперь плотника хорошего не вырастишь. Работаем и на кладке, и землю копаем — что заставят. Бог знает что делаем. Нешто на таких работах вырастет из молодого хороший плотник? Раньше мы, бывало, от Москвы до самого Сергиева Посада все дома рубили. Вот тогда и плотниками становились. Можно было научить ремеслу. А ноне, видать, никому это не нужно.

Марка плотника из Уречного ценится высоко, и мастера здесь сохранились еще дивные.

Какое это чудесное село! Стоит оно на пологом берегу лесной речки Нармы; с одного конца подкрались к самым избам тихие камышовые плавни, а с другого подошли высокие красноногие сосны как посланцы царя Берендея. Подошли и сгрудились перед самой околицей: то ли оттого, что село уже заняли приземистые раскоряченные ветлы — попробуй столкни их, то ли просто залюбовались диковинной резьбой наличников и карнизов уреченских изб. Какая это резьба! На фоне красных, желтых, оранжевых, голубых стен, обшитых тесом, эти наличники кипенно клубятся, как взбитая пена, сорванная с дальних речных перекатов и застывшая тут навсегда.

— Таких и кружев-то не бывает! — удивляетесь вы.

— Какие там кружева! — обидится иной здешний мастеровой. — Мы режем с понятием да с подвеской, со слеги. А баба крючком вяжет. В кружеве нет такой чистоты. Одна видимость только.

Режут они в самом деле со слеги, то есть подвешивают к свободному концу закрепленной жерди пилку, натягивают ее, второй конец веревки привязывают к подножке. И работают таким образом гибко закрепленной пилой, «выкруживают», как выражаются уреченцы.

И как они зорко, как ревниво следят за украшением изб. Тут своеобразное соперничество. Попробуй спроси у любого из них:

— Чья резьба красивее?

Ответят уклончиво:

— Ведь кому что нравится...

Наличники режут подолгу, месяцами.

— А чего делать-то?

Стоит одному петуха на крышу поставить, как все один перед одним и петухов навырезывают, и коней. Но только не одинаковых, а каждый сделает на свой фасон. Какое броское разнообразие наличников! Ни разу ни один рисунок не повторяется в них.

— Вы посмотрите наличники у Тумака — загляденье! — посоветовали мне еще в Колесникове.

— Тумак — это прозвище. Его мать в Туме родила — повезла тресту сдавать да и родила в дороге.

Видел я его великолепный пятистенный дом на высоком фундаменте, под железной крышей. Стены, кажется, не срублены, а набраны из шлифованных сосновых бревен: каждое бревно словно расписано затейливой коричневой вязью волокон. А наличники! Белоснежные, огромные, они развернулись и покрыли всю стену вплоть до карниза затейливой резьбой. И в этом бесчисленном множестве вырезок — ни одного излома, ни одного угла. Удивительная плавность, какая-то согласная вихревая пляска линий.

— Пожалуй, у Тумака самые красивые наличники в Уречном,— не удержался я от похвалы в разговоре с Емельяном Ивановичем.

— Резьба мелкая,— сухо согласился он.— Да ведь он и вырезал-то их полгода.

— А стены? Бревна?!

— Обыкновенно... окантованы бревна, взяты в кольцо,— старый мастер отдавал должное ремеслу собрата, но от восторгов воздерживался.

Я думал о том, что мебель и всю так называемую столярку изготовляют где-то на окраинах больших городов, делают ее стандартно, безвкусно, а то и попросту скверно. Мастеров нет! А эти мастера десятки лет ходили-бродили по совхозам да фабрикам в поисках работы или месяцами резали одни и те же наличники, резали «от нечего делать». Отчего же мы так безразличны к своему национальному достоянию — к ремеслу? Почему разумно не распределяем промысел по лику всей земли? Отчего не учитываем традиции, опыт многих поколений и не создаем промысловые предприятия там, где есть из чего делать и, главное, есть кому? Зачем мы тянем все до мелочей, вплоть до промартелей, в города и в районные центры? Есть в Тумском районе село Лихунино, село, где

издавна жили портные, известные за сотни верст в округе. Но нет в Лихунине швейной артели. А в Туме никогда не водились портные, зато швейную артель открыли. И стоит ли удивляться, что в окрестных магазинах висят костюмы, которые покупатели бракуют.

Возвращались мы в Туму ночью. Ехали на райкомовском «газике» вместе с Василием Ивановичем Мелешкиным. Он соглашался, что столярные цехи здесь нужно создавать. Можно изготовлять и мебель, и оконные и дверные блоки, и финскую стружку. Заказами завалят. Шиферу нет. На одной финской стружке разбогатеть можно. И все колхозы окрепнут... Но на что строить мастерские? На что покупать станки? Денег даже на мочало нет. Станки не дают и не купишь ни за какие деньги.

— Неужели и кулечное производство прикроете?

— Да ну! Как-нибудь обойдемся.

Мы подъезжали к лесу. Дорога ныряла в огромную лужу, как в озеро. Василий Маркович свернул на обочину, в мелколесье, и пошел напролом.

— А не засядем в лесу-то? — спросил я с опаской шофера.

— Ну, уж это отойди проць! — весело отозвался он.

Из многих поездок мне запомнилась еще одна, лет через десять после описанной. Мы поехали в этот лесной угол вместе с секретарем Клепиковского райкома Барановым да представителем Рязанского управления совхозов Куропаткиным. Дорога дальняя, от Спас-Клепиков до Малахова более семидесяти километров. Разговорились. Что Куприн живал там, слыхали. Переглядываются: мол, зубы не заговаривай. Не за Куприным едешь. И как-то с ходу, без раскачки, берут меня за бока:

— Растолкуйте нам такую премудрость: почему одним мелиорацию по-человечески производят, а других угощают по известной сказке? Помните, как лиса журавля потчевала? — спрашивал меня Николай Андреевич Баранов.— Размазала угощение по сковородке — глаз видит, а клюв неймет.

— Не пойму, куда клоните?

— Чего ж тут непонятного? — отозвался и Куропаткин.— Ездили мы из Рязани в Литву на примерную мелиорацию смотреть. И вот что углядели: им средства выделяют поровну — то есть пятьдесят процентов на

мелиорацию, пятьдесят на сельскохозяйственное освоение. Не то еще на освоение больше, чем на мелиорацию. Там дороги построить, жилые дома, скотные дворы и прочее. Все чередом идет: и поля осушают, и пласт нарезают, и дороги проводят, и строится все необходимое. У нас же по плану восемьдесят процентов капиталовложений на мелиорацию и только всего двадцать процентов на освоение!

— Это по плану! — перебил его Баранов.— А на самом деле что? Вон по Макеевскому мысу мелиорацию провели, а на освоение ни копейки не дали. Туда ни проедешь, ни пройдешь. Хоть на вертолете летай. Кстати, посадочных площадок для самолетов у нас тоже нет и не строят. Так что вести подкормку посевов с самолета не можем. Мелиорацию проведут, а толку мало. Только деньги ухлопают. Вот и получается лисицыно угощение — посмотри и облизнись.

— Я одного не понимаю,— сказал Куропаткин.— Почему земля средней полосы у нас на таком положении? И удобрений нам меньше дают. И техники вдвое, а то и втрое меньше, чем на целину идет. О капиталовложениях и говорить нечего. А ведь по урожайности лучшие колхозы Рязанской области мало в чем уступают тем же ставропольцам, по тридцать, а то и больше центнеров берут на круг. А по плотности скота порой и кубанцев переплюнут. Но поди же ты, не в чести мы. Тем и мелиорацию, и орошение — все по правилам, нам же получай что есть, а что почем — и не спрашивай. Вот и выкручивайся.

Как выкручиваются в этих дальних бригадах да отделениях, я нагляделся всласть.

Дорога от Тумы на этот раз шла, не сворачивая в окрестные села, и была она покрыта камнем.

— Неужто успели до Малахова дотянуть? — спросил я Баранова.

Он засмеялся:

— Мы ее строим всего каких-нибудь десять лет. Наша норма — полтора километра за год. Вот и сейчас, когда мы до Малахова доберемся...

Каменное полотно кончилось посреди леса, а через двести — триста метров засел в грязи наш «газик». Шофер был молодой, неопытный, к тому ж из Рязани. Где ему до знаменитого Клёнушкина? Мы вылезли из машины и пошли в Малахово пешком.

— Здесь недалеко,— утешал меня Баранов.— Всего километров пять.

По пути мы заглянули к леспромхозовцам. Тут же договорились с ними, отправили трелевочный трактор вытаскивать наш «газик».

— Что-то у вас много тракторов,— сказал Баранов, глядя подозрительно на мастера.— Вы отрядили трактора на посевную согласно разнарядке?

— А как же, отрядили...— Мастер округло разводил руками, надувал щеки, а взгляд ускользающий, куда-то вниз, на сапоги.

— Где директор?

— Только что здесь был... Вот-вот проезжал.

— Свободной машины нет? Подбросить до Малахова.

— Да вот, говорю, только что вездеход был. Ушел с директором. Надо бы покликать.

— Ладно, дойдем и так. А нет — «газик» нас догонит,— сказал Куропаткин.— Поди, трактор не завязнет.

— Ну! — важно сказал мастер.— Машина трелевочная. Все в аккурат сделает.

В Малахово пришли пешком. Там вместо колхоза был теперь совхоз, и контора построена новая, и столовая — и тут же непролазная грязь посреди села. Директор совхоза Николай Дмитриевич Паршин встретил нас с каким-то болезненным выражением лица, словно у него мигрень была.

— Бригадиры все как с ума посходили — перепились в честь поминащей субботы. Одна Малахова трезвая.

— При чем тут поминащая суббота, когда тракторов нет,— ответил один из сидевших у длинного стола, хмуро глядя в угол.— Говорят же вам — из строя вышли. А чего нам делать?

— Сколько тракторов на ходу? — спросил Баранов Паршина.

— Ну, в ветчанском отделении всего четыре...

— А где леспромхозовские?

— Не пришли.

— Как не пришли? Мне доложили, что выделили вам три трактора.

— Вам доложили, а нам не прислали.

— А ну-ка, соедините меня с директором леспромхоза,— приказал Баранов и сел за стол к телефону.

— Да где его теперь поймаешь? — отозвалась от стола Малахова, управляющая ветчанским отделением.

— Никуда он не денется,— сказал Баранов.— Давайте звоните. Я им покажу, как обманывать. И сводку мне!

Тут подъехал «газик», вытащенный трелевочным трактором. Я воспользовался случаем, чтобы не быть в обузу Баранову, и ретировался. Дела у него спешные, разговоры откровенные, так сказать, не деликатного свойства, и нечего мне торчать свидетелем.

Мы с Фединым поехали в соседнее село Норино к Ивану Ивановичу Пушкину, потомку знаменитых ювелиров по дереву.

Помню, как-то зимой мы все с тем же Николаем Фединым шастали по норинским избам, как попы, в поисках Пушкина. Куда ни заглянем — все тот же ответ: был, но ушел.

— Что ж он дома-то не сидит? — спросил я Федина.

— Холостой. Скучно одному, вот и ходит-бродит по селу. Жениться не хочет. Ныне бабы, говорит, суете служат. Зачем, спрашивает, они теперь замуж выходят? А чтобы соки твои пить да бездельничать. Нет, говорит, меня они не проведут, не заманят.

Мы нашли его валяющимся на печи. Хозяин с хозяйкой сидели за столом, вели негромкий разговор. Топилась грубка; красноватые отсветы пламени плясали на дощатой перегородке; красный абажур гасил электрический свет, ото всего веяло покоем и уютом. Хорошо было в доме. Мы вошли, у порога обмели валенки. Запахло свежестью и полынью. Узнав, что пришли мы по его делу, Иван Иванович потянулся за валенками.

— Куда вы на ночь-то глядя? — стали уговаривать нас хозяева.— Садитесь к столу да беседуйте. У него теперь в доме только волков морозить.

— А у меня «буржуйка» в мастерской,— сказал Пушкин.— Мы ее в момент расшуруем.

Иван Иванович надел валенки и живо спрыгнул с печки. Он был высок, строен, с лицом крупным, белым и оттого казавшимся утомленным или даже нездоровым.

В тот далекий зимний вечер мы славно поговорили за водочкой да за горячей картошкой. Мы пекли ее на раскаленной «буржуйке», поджаривая бока до черной коросты. Пушкин показывал нам с Фединым дедовский наградной лист — диплом I степени — за ту знаменитую самопрялку. И оказалось, что премию он получил не в Париже, а на Всероссийской кустарной выставке в 1913 году. Как хорошо звучит — Всероссийская кустарная

выставка! И диплом выглядел внушительно — на гербовой бумаге, написанный каллиграфическим почерком с затейливыми росписями и большой гербовой печатью. А рядом с этим наградным листом висела фотография дипломной работы Ивана Пушкина — ваза с цветами: никому и в голову не придет, что эта ваза и цветы вырезаны из дерева.

— Где теперь эта ваза? — спросил я.

— В Москве, в одном музее,— нехотя ответил Иван Иванович.

Вся мастерская завалена была болванками высыхающего дерева — свилистыми осиновыми чурбаками.

— А зачем осина? Для топки, что ли?

Пушкин снял с полочки и подал мне деревянный бокал с выточенным кольцом на ножке; кольцо это свободно передвигалось от донца бокала до тульи, но не спадало. Оно было мастерски выточено вместе с бокалом из одного и того же куска дерева.

— Какое дерево? — спросил Пушкин.

Я вертел бокал в руках, долго разглядывал его матовую полированную поверхность, излучавшую серебристый, перламутровый блеск, и не мог определить — что за дерево? Волокна почти не просматривались.

— А вы поглядите на свет,— Пушкин взял у меня бокал и поднес к лампочке.

И чудо! Весь бокал просвечивался алым пламенем, словно был отлит из густого розового стекла.

— Какое же это дерево? — спросил опять Пушкин.

Федин молчал и лукаво поглядывал на мастера.

— Не знаю,— сказал я.

— Осина! Это одна из самых красивых пород. В старину резали из осины и посуду, и брошки, и бусы, и церкви крыли осиной. Красивее крыши не было и нет.

Над верстаками, на полочках вдоль стен, как в музее, покоился старинный дедовский инструмент; и каких только видов и названий тут не было! И рубанки с фуганками всяких форм и размеров, и сверла, и фигурные наструги, и стамески, долотца и прямые лопаточками и загнутые ложечками, желобком... И ножовки, и пилы лучковые, пилы-пропиловочки, и лобзики величиной с серьгу. Дорогой инструмент, столетний, всевозможные клейма на нем, а больше все спаренное кольцо — знаменитая австрийская отметина. А посреди этого редкого великолепия, рядом с «буржуйкой», прилепился

деревянный топчан, покрытый матрацем да ватным одеялом. Здесь жил и спал сам мастер. В изголовье на скамье стояли чайник, ведро и кастрюля с ковшом да кружка. Огромный пятистенный дом с резными божницами, шкафами, кроватями стоял пустым и заброшенным. Сам хозяин нисколько о том не печалился; лазил по шкафам и полкам, доставал нам всякие резные вещицы: то вазы, то шкатулки, то гербы, то образцы наличников. Все было вырезано, выточено изящно, любовно, не из корысти — вроде бы все это и ни к чему, а сработано так, ради забавы, от нечего делать.

Я узнал, что Пушкин окончил московское Строгановское художественное училище, и подивился тому, что он торчит здесь, в глухом углу.

— Оформители везде нужны. Поехали в Москву! Мы вас обязательно устроим.

Договорились с Пушкиным встретиться в редакции «Известий» (я в то время работал там) и расстались.

— Ничего у вас не получится из этой затеи,— сказал мне Федин на обратном пути.

— Почему?

— Устраивался он и в Рязани и в Клепиках. Но работал до первой сдачи своих изделий. У нас ведь как заведено? Что ты смастерил или нарисовал — подай на суд божий. То есть принеси начальству, выслушай замечания и переделай. А Пушкин этого не выносит. Придет, покажет. Стоять — стоит, слушает, что ему переделать надо и как. Молчит. Только губы дрожат. Он и так бледный. А тут аж посинеет, ни кровинки на лице. Постоит таким макаром, послушает и уходит совсем, навсегда. Так что не придет он к вам в «Известия».

Но я верил, что придет: я видел, как он ловит оценочный взгляд и слово, как охотно показывает свои изделия, хлопочет, суетится. Значит, есть в нем тяга к работе на миру и скрытая любовь, жажда к тому шумному успеху, который так окрыляет, подстегивает силы и вдохновение истинного мастера.

И он приехал, позвонил в редакцию. Я оказался на месте.

— Вы откуда звоните?

— Снизу, из приемной.

— Погодите меня. Я сейчас спущусь.

Но когда я спустился вниз, его и след простыл. Спрашиваю вахтера: тут, говорю, был такой высокий, в

черной шапке. Не видели? Видел, говорит. Звонил. Потом трубку повесил и ушел...

...На этот раз мы с Фединым застали его дома, в мастерской то есть. Он сразу начал показывать нам школьную образцово-показательную доску; в ней был фокус — доска зашторивалась подвижной, сшитой из узеньких пластиночек шторой. Но куда уходила эта штора, где она наматывалась на валик — увидеть, разгадать этот секрет мы так и не смогли. А Иван Иванович радовался, потешался, как ребенок, видя нашу растерянность и недогадливость.

— Что ж вы сбежали от меня в «Известиях»? — спросил я его. — Или обиделись на что?

— Ни на что я не обиделся. А просто так. Посмотрел направо, посмотрел налево — все лестницы в коврах. Народ по ним ходит важный да с портфелями, с папками. Разве на таких угодишь? Ну и страшно стало.

Только посмеивается.

— Так и не служите нигде?

— Так и не служу.

— А на что живете?

— Дранки[1] делаю, — сказал он и опять засмеялся. — Старые просорушки развалились, а новых уже лет сорок как не строили. Но просо еще сеют. Ну и всякому хочется поесть каши да блинов пшенных. Вот я и приспособился.

Он пнул ногой под верстаком какую-то неуклюжую деревянную форму, похожую на огромную ушную раковину, и сказал:

— Вот с этими штуками езжу на чугунный завод в Сынтул, отливаю там нужные детали и устанавливаю в колхозах дранки. По двести пятьдесят рублей за машину. Так и свожу концы с концами.

Из Норина мы поехали в Ветчаны осмотреть остатки того самого дома, в котором останавливался когда-то Куприн. «В нашем распоряжении двадцать три комнаты, но из них отапливается только одна, да и то так плохо, что в ней к утру замерзает вода и створки дверей покрываются инеем». Дом был построен пленными французами, «ими же был разбит громадный липовый парк в подражание Версалю».

— А еще пленные проложили дорогу, отсыпали насыпь от барского дома до самой Курши, до церковного

---

[1] Дранка — местное название просорушки.

красного бугра,— это уж Федин пояснял.— В парке было три пруда, фонтан, сирень, жасмин и всякие аллеи.

Ничего от этих прудов да жасминов не осталось; на берегу какой-то болотины жались чахлые заломанные кустики сирени; по границе бывшего сада или парка кое-где стояли черноствольные раскоряченные липы, да на одном углу в виде глаголя подымалась чудом уцелевшая лиственничная аллея. Вот и все, что осталось от «подражания Версалю».

Дом сохранился наполовину, только левое крыло — обшитый тесом фасад, широкие резные наличники, кое-где проступающая темно-бордовая окраска,— а правая половина дома с центральным двухсветным залом, с колоннами, с портиком и крыльцом частично сгорела, а частично растаскана. Обнаженный сруб сложен из кондовых сосен, каждая толщиной в обхват. Вот уж сколько времени прослужили, да еще почти полвека торчат они непокрытыми, под солнцем, ветром, дождем — и все еще целехоньки, ни гнили, ни трухи; стукнешь топором — звенят. Вот что значит русский кондовый лес.

Мы заглянули в обшарпанные комнаты левого крыла: там все забито было старыми партами, школьными досками, поломанными скамьями и стульями. Ноги не протащишь. Эти комнаты служили складом всякой рухляди для неподалеку стоявшей школы.

Мне хотелось проехать до куршинского церковного бугра по старой отсыпной дороге.

Федин только усмехнулся:

— Ее давно разбили грузовиками: ездят и свои и леспромхозовские. А поправить дорогу некому. Так что в объезд надо.

Федин из тех знатоков, которые все объясняют не с апломбом и снисхождением, а с тихой извинительной улыбкой — будто им неловко оттого, что собеседник такой недогадливый.

В объезд катили чуть ли не до самых Култуков по весеннему песчаному полю, сплошь исхлестанному автомобильными шинами. А в лесу была непролазная грязь, и мы долго петляли вокруг сосен и берез, выбирая сухие неизбитые места.

Описывая жителей окрестных сел, Куприн подчеркивал, что говорят они непонятным певучим языком, цокая и гокая, что это, мол, потомки поселившихся здесь давным-давно литовцев. И речка по-местному называется

Куршей, и на кладбище в часовне он видел темное католическое распятие.

Часовни на кладбище не было. На месте ее стояла наспех сляпанная какая-то лубяная избушка с криво навешенной дверью и с деревянным крестом на крыше. Возле этой избушки толпился народ с зажженными свечами. Был послепасхальный день родительского поминовения. Мы подошли и заглянули внутрь избушки; там служили панихиду — на полочках перед дешевыми бумажными иконами горели свечи, и на столе перед священником горели свечи, лежал раскрытый псалтырь, по которому священник читал, помахивая кадилом. Под столом же, в ногах его, я заметил раскрытый портфель, из которого торчал большой медный крест, полуобернутый в темный плат. Видно было, что и псалтырь и кадило извлечены были все из того же черного портфеля. Да и ряса, наверное, оттуда же. Была она мятая и короткая — едва до колен доставала. Заметно было по всему, что бедный служитель культа проделал сюда немалый путь.

— Откуда священник? — спросил я Федина, когда мы отошли от этой жалкой часовни.

— Это не священник. Это брат бывшего священника. Приезжает служить по праздникам. Ездят за ним... далеко ездят,— Федин по деликатности не сказал, куда за ним ездят, а мне неловко было расспрашивать.

Мы вышли на берег Курши. Речка быстрая, с темными омутами. На берегу возле одного омута стоял крестик.

— Что это? — спросил я.

— Дочка попа утонула здесь. Маленькая девочка.

— Давно?

— Еще до войны. Вон там жили попы, на горе, перед церковью.

От попова поселения остался небольшой трехоконный домик. А фундамент божьего храма, и железная ограда, и кладбище с чугунными крестами — все позарастало березовым лесом. Мы ходили по этой молодой и трепетной роще с темными фиолетовыми ветвями и набухшими почками, осматривали оплетенные рыжей прошлогодней травой чугунные и каменные плиты, читали надписи. «Воспоминаю Вам, братие мои и друзи мои, не забывайте мя, егда молитесь ко господу...»

И еще мне вспомнилось наивное и светлое удэгейское поверье из старой сказочки: ушел храбрый охотник Нядыга за семь перевалов счастье добывать, а мать с

отцом от горя и тоски взяли да и превратились в деревья. С тех пор на месте старой юрты всегда вырастают клен и береза. Нельзя их трогать.

Нынешним летом потянуло меня опять в ту дорогу, как тянет журавля на старые гнездовья. Может быть, мне хотелось увидеть своими глазами, как все теперь изменилось к лучшему? А может быть, хотелось забраться глубже, дальше в ту страну, куда ведет нескончаемая нить воспоминаний, назад к юности, к детству, к изначальным истокам? Кто его знает, что толкало меня в эту дорогу. Но толкало, это уж точно. И я поехал на автомобиле. Авось достроили ту дорогу и до Малахова, и до родного села моего, подумал я.

Ехал через Рязань, через Оку. По старой памяти спустился до пристани, где раньше стоял понтонный мост. Ни моста, ни дороги. Вернулся назад через торговый городок, свернул налево до Ряжской улицы. И тут увидел впервые высокую дорожную насыпь, протянувшуюся через луга до самой Оки.

Ехал по асфальту и не узнавал окрестных мест; все распахано, разбито, разлиновано грядками да квадратами черных полей. Капуста, морковь, свекла, кукуруза... Когда-то здесь было живое озеро многоцветных трав. Дьяково, Новоселки, Льгово и дальше на Кораблино ни лесов, ни полей — луга, луга, степное дикое раздолье. Заблудиться можно было в траве. Какие стада нагуливались здесь до глубокой осени! Сколько стогов уходило в зиму! До самого половодья подвозили их тракторами на волокушах и санях.

Помню, на речном кривуне между Дубровичами и Шумошью стояла избушка бакенщика на высоких сваях. В осеннюю пору мы, рыболовы, забегали в нее греться. Зимним февральским утром избушка загорелась. Я был в лугах, гонял зайчишек под самым Дьяковом. Неторопливо выходили на дорогу дьяковские жители, смотрели на горевшую в трех километрах избушку, переговаривались:

— И отчего она загорелась? Время зимнее, холодное. Кого туда нелегкая занесла?

— Поди, сам Мирон и поджег.

— А что ему за выгода?

— Говорят, его отстранили от должности.

— Ну?

— Жалко передавать добро в чужие руки. Вот тебе и «ну».

— Не, бабы, это самовозгорание. Говорят, он с погорей дрова в лодке возил. Колбешки то есть. Вот они и возгорелись.

— Все может быть. С погорей дрова не трогай. Колбешки оживают.

Стояли, рассуждали. Никто и не думал бежать, тушить пожар.

Когда я подъехал на лыжах к избушке бакенщика, там уж были две красные пожарные машины. Пожарники тоже, как дьяковцы, стояли кучками, смотрели на пожар и рассуждали:

— И чего она загорелась?

— Может, кто ночевал и поджег.

— Да нет, следов не было на снегу. Мы подъехали — все честь честью: на дверях замок, окна целы, вокруг чистый снег — ни одного следа. А крыша полыхает.

— Отчего же вы не тушите? — спросил я сердито.

— Ты кто такой? — спросили меня в свою очередь.

— А вам не все равно? Вы зачем сюда приехали? Пожар тушить или погреться?

— А ты зачем? Ну-ка, проверьте у него документы. Ходят здесь всякие, да еще с ружьем. А потом пожары случаются.

Пожарники обступили меня со всех сторон, я вынул свой билет, подал старшине милиции, оказавшемуся среди пожарников, и сказал:

— Вот напишу в газету, как вы тушите пожары, тогда попрыгаете.

— Вы, товарищ корреспондент, сперва разберитесь, в чем дело,— примирительно сказал старшина.— Производственная неувязка вышла. Поехали к реке, понимаешь, а тут ни одной проруби нет. Все сцементовано. И пешни нет. Ломами такой лед не возьмешь. Пробовали.

— Так езжайте за пешней.

— У нас нет такого инвентаря, не числится. Да все равно уж поздно.

Теперь возле этого кривуна стоит огромный мост через Оку. Давно мечтали рязанцы о такой бесперебойной переправе. Бывало, тронется лед, разольется река в половодье — и прощай левый берег на целый месяц, а то и на полтора. Ездили туда на лодках, а так — в объезд,

через Коломну, Егорьевск, Спас-Клепики. На двести с лишним километров дугу делать. Надо ли говорить, какие неудобства и трудности испытывали при этом люди. Еще в четырнадцатом году рязанские купцы сложились, чтобы сообща строить мост через Оку, да война помешала. Было и потом много проектов, замах был, да сил не хватило. И вот он наконец построен. Мост горбатый, длинный, с широкой двухпутной колеей, с высоким бетонным бордюром, с чугунными перилами.

Дорога на Солотчу теперь пошла правее Шумоши, между Полянами и Варским, не заходя ни в одно село. С высоких мостовых пролетов далеко видно окрест: и старый кремль на берегу Трубежа с пятиглавым Успенским собором — по синим куполам золотые звезды,— и острый шпиль соборной колокольни, стоящей на том самом месте, откуда окольничий Хабар Симский, сын воеводы Василия Образца, с помощью пушкаря немца Иордана поразил войско крымского хана Махмет-Гирея; и древнее село Шумошь на левом берегу Оки — бывшая вотчина бояр Кобяковых, где скрывался от неласковой московской опеки юный и последний рязанский князь Иван Иванович.

Шумошь заметно похорошела за последние годы: на высоком песчаном берегу красуются друг перед дружкой бордовые пятистенки с широкими верандами, с тесовыми крылечками да крашеным штакетником. Даже древняя шатровая церквушка восстановлена и светится веселыми яркими красками.

За Шумошью раскинулись вдоль дороги луга; травы стояли добрые, а сенокос затягивался — холод, дожди. На лугах безлюдно. Кое-где увидишь трактор с прицепной сенокосилкой, да и тот стоит, мокнет под дождем. И куда ни глянешь — ни одного стожка. А ехал я в середине июля. В добрый год об эту пору стога стоят кучно, как шатрища несметного войска.

За лугами пошли перелески — невысокие сосняки, аккуратно посаженные рядами, обрезанные глубокими канавами. Потом надвинулся на дорогу красный реликтовый бор,— корабельные сосны заслонили собой все пространство, и куцые зеленые вершины их были так высоко, что терялись, пропадали в зыбкой серой завесе дождя и тумана. Слева засветились белые стены и круглые башни древнего монастыря с потемневшими от дождя тесовыми кровлями, призрачно парила в тумане легкая надвратная

церковь — маленький шедевр Якова Бухвостова, маячили пять куполов белого собора, в котором похоронен великий рязанский князь Олег, заложивший этот монастырь. Теперь в том соборе торговый склад. А когда-то на могиле князя лежала его боевая кольчуга. Воевал он много, больше все с татарами, с мордвой и с братьями московитами. И проигрывал сражения, и выигрывал... Всякое было: Рязань — княжество пограничное, открытое дикому полю для буйных набегов татар. Еще при Василии Ивановиче, отце Грозного, посол императора австрийского Герберштейн, посетив рязанские земли, дивился тучности полей и тому, что пахарь пахал с мечом на бедре, а на лошади было седло приторочено. В любую минуту мог чертом выскочить татарин из-за бугра, и пахарь превращался в воина. Этим-то и объясняются колебания князя Олега, его ссоры и примирения с Дмитрием Донским. Не просто было держать пограничное княжество перед грозной силой Золотой Орды. Это хорошо понимали современники князя Олега. Дальновидный и опытный отец Сергий Радонежский много сил положил, чтобы примирить Олега Рязанского с Дмитрием Донским. И Дмитрий Донской высоко ценил Олега, он не просто помирился с ним, а породнился, выдав дочь свою Софью за сына Олега, князя Федора.

Историкам же, утверждающим, что причиной всех ссор было властолюбие Олега, не худо бы учесть такую малость — князь Олег под конец жизни ушел в монастырь и умер под именем послушника Иоакима. Нет, человек, любящий власть превыше всего на свете, не примет добровольно схиму, не уйдет в монастырь от княжеского престола.

После монастыря потянулись с обеих сторон бесконечной вереницей сосновые дома на высоких фундаментах, с резными роскошными наличниками: Солотча, Заборье, Ласково... Вот она, мещерская сторона. Не знаю отчего, но волнует меня эта лесная дорога более всего в зимние шумные метели да в туманную слякотную непогодь.

Этим летом у всех была одна забота — взять бы поскорее, что выросло, убрать вовремя. А выросло все хорошо: и рожь, и пшеница, и ячмень, и овес.

В Спас-Клепиках в райкоме партии застал я первого секретаря Николая Андреевича Баранова. У него люди, готовился семинар, съехались со всей округи посмотреть: что растет на осушенных землях.

— Теперь-то можно проехать на Макеевский мыс, посмотреть на мелиорацию? — спрашиваю Баранова.— Или опять выделяют вам на освоение грош да копу?

— Ну что вы, что вы! Теперь у нас полный порядок, как в Литве: сорок процентов на мелиорацию, шестьдесят — на освоение.

— И удобрения дают? И техникой снабжают?

— Удобрения нам дают по восемнадцать килограммов действующего вещества на гектар.

— А Белоруссии — по двести сорок килограммов,— заметил от стола один из посетителей.

— Там — республика. Ничего не попишешь,— сказал Баранов.

— Чем можете похвастаться? Что освоили за эти два года? Что в заделе?

— Макеевский мыс освоен полностью. Две с лишним тысячи гектаров!

— И дорогу туда проложили?

— Асфальт! Вся карта разбита каналами на квадраты. Шлюзы поставлены, насосная станция. Перекачку ведем избыточной влаги в реку. А река Пра обвалована. Это дорогая мелиорация, польдерной системой называется. Не знаю как в стране, но в нашей области такая мелиорация впервые проводится.

— И что же дала вам эта мелиорация?

— А вот считайте: осушенных земель пока десять процентов от общей площади, но дают они больше половины всех кормов. Это кормов! А сколько зерна, овощей, картошки? Золотое дно.

— И пропашные культуры двигаете?

— На болотах нельзя — разрушается структура почвы. Там у нас травы, райграс многоукосный, например. Эта культура промежуточная, но по четыре-пять укосов дает. Костер безостый. Этот держится до десяти лет. Богатые укосы снимали. На Макеевском мысу у нас тысяча гектаров травы.

— Где же вы взяли такую прорву семян?

— В Тюмень ездили. Теперь и свои травы завелись — будь здоров. В прошлом году в макеевском совхозе собрали сто сорок центнеров семян одного костра, да еще тимофеевки, райграса. Всего пятьсот сорок центнеров взяли. А каждый центнер семян стоит тысячу двести рублей, костра например. Вот она и прибыль. А сколько сена, сенажа?

— Значит, выгодно травы сеять?

— А как же! У нас только люпина одного три с половиной тысячи гектаров. Два года держится люпин, после него картошка, потом рожь. По двадцать пять центнеров ржи дает гектар на Макеевском мысу. Все расходы на мелиорацию окупаются, и довольно быстро.

— А велики ли расходы?

— Да вот только по одному объекту «Большая Пра» в этом году будет сдано две тысячи двести сорок пять гектаров — почти на четыре миллиона рублей. Да запланировано одиннадцать миллионов рублей на освоение объекта Тюково. Это в основном на строительные работы. Да школу мелиораторов построили в Клепиках, да в Оськине намечено построить городской поселок на тысячу двести человек. Расходы есть. Но ведь и доходы увеличились. Земля оборот дает.

Мне вспомнилась побасенка псковских мужиков:

«Чем отличается земля от девушки?»

«А тем, что, если девушку обманут, она рожает. Но землю хоть десять раз обмани — рожать не станет».

Земля требует внимания, любовного ухода, серьезных затрат; за ней много ухаживать надо, заботиться о ней, ублажать ее, тогда и она наградит тебя, отблагодарит за все труды.

Я видел прекрасные поля и луга Макеевского мыса. Мы ехали туда по отличной асфальтированной дороге — слева тянулся высокий вал, отделявший реку Пру, справа — ровный канал, широкая водная межа, отвоеванные у болотин поля. В самом углу этих искусно созданных полей стояла внушительная кирпичная башня с широкими окнами. Это насосная станция, возле которой скопилось целое озеро воды. Мы поднялись от станции на вал; здесь перепадом к реке шла широкая бетонная лестница, похожая на сливную плотину. Вдруг с верхней ступени из трех огромных труб хлынул мощный поток воды; загудели, отдаваясь подземной дрожью, невидимые насосы, забулькала, зашумела на порогах вода, рекой потекла в обвалованную Пру.

Внизу, в подвале насосной станции, стояло три мощных насоса, черным лаком блестели их округлые спины, подрагивали стрелки манометров, гудело и урчало в утробах серебристых труб. А наверху, за столиком, у светлого пульта управления сидела в мини-юбочке очаровательная девушка и читала книгу. Мы познакомились.

Девушка, Рита Сухова, оказалась студенткой из московского института, проходила здесь двухмесячную практику. Она следила за водомерным постом и, если вода поднималась в приемнике до нужной отметки, включала насосы.

Потом мы долго ездили по обширным полям. Вся карта была разбита каналами на большие квадраты. В каждом канале стояли стальные шлюзы. Если воды много, шлюзы открываются, и вода стекает к насосной станции. Несмотря на проливные дожди нынешнего года, поля и луга на Макеевском мысу стояли сухие. При засушливой погоде шлюзы закрываются, уровень грунтовых вод сохраняется прежним. Мало того, из близких каналов берется вода для орошения полей — вдоль каналов на каждом квадрате стояли дождевальные установки, похожие на гигантские конные грабли. Ну а если засуха грянет? Конечно же эти каналы пересохнут. Тогда придется подавать воду из дальней реки. Однако второй насосной станции для этой надобности не построили. Сэкономили. Кто-то наверху сказал, мол, засух у вас не бывает. Обойдетесь и так.

Травы здесь были скошены, за исключением семенных участков, а на полях торчали таблички с диковинными надписями: «Неполегаемая пшеница Верлд-сидз — США», «Овес Марино — Голландия», «Леанда — голландский овес». И куда ни пойдешь — в овсы ли, в пшеницу,— все тебе по пояс и густоты непрорезной... Да полно! В Мещере ли я, думалось невольно. Значит, может родить эта земля не хуже иных-прочих? Может!

Забегая вперед, скажу, овес Леанда дал по тридцать шесть центнеров, устоял от дождей, и Верлд-сидз устояла, а Марино полег. Но урожаи хорошие дали. Да что там эти иностранцы! Наша пшеница Мироновская 808 дала здесь по тридцать три центнера. Вот что значит грамотная мелиорация, да удобрения, да плюс к тому добрый уход.

— Ухаживать за такими полями не просто,— говорил мне Виктор Алексеевич Наседкин, редактор местной газеты «Новая Мещера».— Тут надо знать и агротехнику, и водный режим, и механизатором быть на все руки. Осенью открывается у нас двухгодичная спецшкола мелиораторов. Набор — из десятилетки. Стипендия девяносто рублей в месяц. Общежитие при школе. Вот так, живи и не тужи.

На окраине Спас-Клепиков в чистом поле вырос учебный спецгородок: три белых четырехэтажных здания — классные аудитории, мастерские, лаборатории, читальни. В общежитии комнатная система, две-три койки на каждую комнату. Институт, да еще какой!

— Станут ли они на полях работать после такой житухи, вот вопрос,— сказал я.— Осядут ли?

— Местные осядут,— ответил Наседкин.— А приезжим подай после такого общежития квартиру или хотя бы комнату. А как же иначе? Ведь рабочих-то мы обеспечиваем жильем. Почему же крестьянам не строим квартиры? Ведь высокого специалиста не подселишь к тете Моте в избу. Не пойдет.

Да, не пойдет. Мелиорация земель — это лишь начало. Дальше — больше... Придется строить дома, и школы, и магазины, и клубы, и уж конечно дороги.

— Доберусь до Малахова на «Волге»? — спросил я Наседкина.

За Наседкина ответил редакционный шофер Петр Арефьевич Силкин:

— Пожалуй, сядете. Колея глубокая — дожди.

— Неужто не достроили дорогу?

— Насыпь протянули до самого Малахова,— ответил Наседкин,— а камнем покрыть не успели. Так что поезжай лучше на нашем «козлике».

И вот опять я трясусь на казенной машине все по тем же обкатанным булыжникам на Туму, на Уткино, Чувфилово, Малахово... На многие километры все тянутся и тянутся желтые поля люпина, да вдоль дороги сквозные ряды заломанных до самых макушек молодых сосняков.

— Отчего это сосенки такие заломанные? — спросил я.— Кто их так раздел?

— На корм скоту заломали.

С нами ехал фотокорреспондент местной газеты Левин. Он и ответил. Петр Арефьевич крутил баранку да посмеивался. Ему давно уж перевалило за пятьдесят.

Он ровесник и друг того самого Клёнушкина и так же всю жизнь свою возил клепиковское районное начальство. Все-то он видывал, все знает.

— Когда ж их заломали?

— Прошлой зимой. Кормов не хватило.

— Видите — нижние ветви уцелели,— отозвался Петр Арефьевич.— Это потому, что их снегом заносило.

— Что-то не помню я, чтобы в прежние годы придорожные сосны заламывали.

— Так в старые годы крестьяне дворы раскрывали. Раньше дворы соломой крыли. Вот крыши и выручали. А теперь дворы шифером покрыты, шифер коровам не дашь,— посмеивался Петр Арефьевич.

— Ну и сосновые ветки — они годятся только для витаминов,— упорствовал я.

— Это правильно,— соглашался Петр Арефьевич.

Напротив Уткина мы остановились. От самой дороги десятка полтора косцов окашивали пшеницу. Мы подошли, разговорились.

— Хорошая пшеница,— говорю,— как на Кубани. Центнеров под сорок будет.

— Да не менее,— соглашаются косцы, говорят вперебой.

— Ее ноне только молоком одним не поливали.

— И под запáх вносили удобрения, и озимя подкармливали.

— И с самолета на нее сыпали.

— Как же ей, пашенице, не быть ноне доброй. Это не при Слезкиной.

— Слезкина, бывало, проедет по полю да матерком покроет. Только и всего.

— Не то слезу выронит.

— Она выронит слезу... Она ее из тебя, бывало, выжмет, слезу-то.

— Я уж досуха отжатый.

— Небось Егорова не матерится, и дело идет.

— Как ему не идти, делу-то? У Егоровой связи. Кому удобрения только покажут, а ей в первую очередь. Бери сколько хочешь.

— Она берет... дай ей бог здоровья.

— Бе-ерет. Соседей не жалеет. Х-хе!

Косцы были всё люди пожилые, в кирзовых сапогах, в мятых темных пиджачишках, в тертых кепочках. О теперешнем председателе колхоза Егоровой говорили с грубоватым почтением: человек, мол, с образованием, но рука мужицкая — и свое не отдаст, и чужое не пропустит. А Слезкина — давний председатель, на почетный отдых ушла еще в пятидесятых годах.

— Жива Слезкина? — спрашиваю косцов.

— Умерла в прошлом году.

— Да, хватили мы с ней редьки хвост.

— Помудровала нами, царство ей небесное.

— Бывало, и на трудодни не платит, и в отход не пускает. Живи как хочешь. Хоть святым духом питайся.

— Духом и питались. Бо знать, что ели.

— А теперь не ходите в отхожий промысел? — спросил я.

— Некому ходить. Чего нас осталось-то? Вот — и все мужики тут.

— Теперь и дома заработать можно. Хоть плотничай, хоть стены клади. Делов хватит.

— И платят не хуже, чем на стороне.

— И пенсию дают. Чего еще надо?

— Теперь в отход ходят из городов. С производства то есть.

— Ну? Берут отгул или отпуск... Сколачивают артели — и пошли шабашить. Работы везде хватает. Рук нет.

Да, рук нет. Мало рабочих даже здесь, в глухой стороне, где каких-нибудь пятнадцать лет назад их было избыточно. С этого и завязался у нас разговор в малаховском совхозе.

— У меня всего восемь человек разнорабочих в центральном отделении. В Ветчанах косить некому. Восемнадцать баб да один мужик — вот и все косцы. Дают на заготовку сена двадцать пять рублей, а я плачу по сорок восемь, да еще премию накидываю. Но некому косить,— рассказывал директор совхоза Николай Дмитриевич Паршин.— А неудобных лугов много: кочкарник, залежь да всякие поросли. Лес не дремлет, наступает на поля и луга.

— Это в Ветчанах-то некому косить? — покачал головой Петр Арефьевич.— Ведь раньше у них по сто человек отходило на сторону.

— Больше! — подхватил Паршин.— Из Ветчан и Култуков по двести человек отходило. Зато уж как вернутся на сенокос — любота! В две недели управлялись. Да, не удержали народ. Поразъехались да состарились.

Паршин погрустнел, задумался и вдруг тряхнул головой:

— А можно было удержать народ. Промыслом! Там бы завели столярные мастерские, там лесопилки или драночный завод, стружку упаковочную гнать, дерматин... Да мало ли что. Возле такого дела и молодежь удержалась бы. Но нельзя было, запрещался промысел. Теперь вот и можно, да не с кем. Народу нет.

— Как у вас с техникой?

— Плохо. Мало техники, и техника старая. Видите, как сыро? Дожди заливают. Силос надо заготовлять — комбайны силосоуборочные останавливаются... Старые. Правда, измельчители КИР и КУФ — эти работают. А травы нынче добрые.

При таком малолюдье техники должно быть не то что много, а на выбор. Вот говорят нам, давайте, гоните специализацию. У вас, мол, картошка хорошо родится. Ладно, хорошо родится картошка. Но ты сперва обеспечь нас всем необходимым под такую специализацию. Вон, в прошлом году мы взяли по сто сорок, по двести центнеров картошки с гектара. И сорта хорошие — Гатчинская да Темп. Гатчинская крупная картошка, по чайнику. Выворотишь этакую ковлагу — и взять не возьмешь. Машины не приспособлены, и мало их. А вручную собирать некому. Да... Вот мы и говорим: давайте специализироваться. Но сперва постройте нам хранилища, лаборатории, машины забросьте. А главное — постройте нам жилые дома, куда бы поселить приезжих механизаторов. Своих у нас нет, то есть мало их. Из города в общежитие специалисты не поедут.

Паршину перевалило за сорок лет, но выглядит молодо — ни морщин, ни седины, волосы черные как смоль, нос крючковатый. С виду не то осетин, не то абхазец.

— Из каких вы мест? Откуда родом? — спрашиваю.

— Здешний я, мещерский.

— По обличью вы какой-то ненашенский,— говорю.— У нас вроде бы больше белобрысые водились.

— Всякие были: и татары, и финны, и даже литва, говорят. Это кроме русских. Дети разных народов,— смеется.

— Как с урожаем в этом году?

— Хороший урожай. Секрет? Очень простой — дали под зерновые столько удобрений, сколько следует. В районе расщедрились: выделим, говорят, товарищ Паршин, твой глухой угол из общего потока и дадим тебе столько удобрений, сколько потребуется. А потом поглядим, что из этого получится. Глядите, говорю, милости просим. Пожалуйста. Вот завтра приедут смотреть. Семинар здесь проводить будут. Дожили и мы до урожая.

С Паршиным объехали мы поля и вокруг Малахова, и Ветчан, до самых Култуков добирались. Хорошие поля. Во ржах Паршин скрывался вместе со шляпой.

— Как в воду захожу! С головкой будет,— радовался он по-мальчишески.— Давайте за мной! Все за мной! И щелкни нас, Левин. Щелкни на память. Никто не поверит, что в Ветчанах такая рожь вымахала.

Левин фотографировал нас и во ржи, и в ячмене.

— О! Глядите, какой овес... по грудь! Он не зеленый, а синий. Какая сила прет! А кисти, кисти? На ладони не умещаются. Вот что они делают, удобрения-то.

И вдруг обернулся к шоферу:

— Петр Арефьевич, давайте я натереблю вам снопик овса. В редакции поставите. Никто не поверит, что овес из Ветчан.

На ячменном поле опять восторги:

— Вот здесь до прошлого года кустарники торчали да кочки. Залежь, одним словом. А что теперь делается, смотри! Какой ячмень! Ложись, в него! Падай с разбега — не ушибешься.

А в дороге все сокрушался:

— Уберем ли? Техника старая, народу нет. А дожди так и сеют, так и поливают. Видать, вся небесная канцелярия перепилась. Чтоб ей ни дна ни покрышки.

— Пьют ваши работнички? — спрашиваю.

— Пьют, стервецы. В Акулове мужик с бабой загуляли. И борова напоили. Два дня пьяным ходил, на людей бросался.

На выезде из Ветчан я заметил в саду две круглые синие беседки, похожие на могильники киргиз-кайсацкой орды.

— Это что за чудо? — спросил я Паршина, кивая на беседки.

— Местный учитель Шишов построил.

— А для чего сразу две беседки?

— Так у него две жены. Вот и построил каждой жене по беседке. Чтоб без обиды.

Все рассмеялись, а я спросил:

— Нет, в самом деле, почему две беседки?

— В самом деле две жены. Первая, значит, законная жена умирала... Отвезли ее в больницу. Дома дети остались и сестра жены. Ну, и стал он жить с этой сестрой, как с женой. Детишки, хозяйство... То да се. Куда деваться? К тому ж доктора говорили, что больная, мол, безнадежна. А она взяла да выздоровела. Домой вернулась. Вот и получилось две жены. Для обеих жен и беседки строил.

— Да, мужик он деловой,— сказал Левин.— Три раза крышу сам перекрывал, гараж построил. Раза два переделывал его. «Москвич» держит.

— Неужто так и живут с ним две жены?

— Вторая уехала,— сказал Паршин.— Теперь все по закону.

На обратном пути в малаховском лесу нас стал нагонять грузовик: догонит, зайдет слева и вдруг начинает вилять — метит нам в бок, прижимает к канаве. Грузовик порожний, в кабине сидит один шофер. Нам видна его правая щека, красная, как из бани; глаз мутный, смотрит прищуркой, только вперед. Нас не замечает. Руки напряженно вытянуты, и кажется, что шофер не управляет машиной, а держится за баранку, чтобы не свалиться.

— Петр Арефьевич, поддай газу! Не то сшибет он нас,— забеспокоился на заднем сиденье Левин.

— Я слежу за ним,— отозвался Петр Арефьевич, наддавая ходу.

Мы оторвались, но ненадолго. Грузовик гремел за нами, как пустая бочка, и снова начал обходить слева и прицеливаться нам в бок. И та же красная щека, напряженно вытянутые руки, немигающий глаз.

— Эх, жалко, что пленка кончилась! — сокрушался Левин.— Я бы сейчас его щелкнул, а потом сунул бы кому надо.

— Кто это?

— Гулин, из Тумы. Ездит по механическому оборудованию ферм.

— Кабы этот механизатор не смазал нас в кювет,— с опаской оглядываясь на грузовик, сказал Петр Арефьевич.

— Пропустите его вперед, раз ему так надо,— сказал я.

— Боюсь, кабы не промахнулся. Дорога узкая. Захочет пролететь мимо, да в нас ударит. Пьяному море по колено,— возразил Петр Арефьевич и прибавил газу.

Так мы и ехали до самой Тумы с ведомым спутником на хвосте.

На другой день в редкую по нынешнему лету солнечную погоду весело катил я на Касимов. Дорога шла чистым полем — ни деревень, ни переездов, и в поле

пустынно, мертво; редко встретится грузовик или автобус, да какая-нибудь сонная телега на обочине плетется себе потихоньку. А дорога приличная, асфальт свежий, ровный — газуй на всю железку! И я газовал.

Первую остановку сделал в Гусь-Железном. Помню, в шестьдесят первом году мы приезжали сюда с главой Окского заповедника Владимиром Порфирьевичем Тепловым: его интересовала популяция выхухоля и гнездовья диких уток по берегам местного искусственного озера, запруженного двести лет назад заводчиками Баташовыми. Выхухоль — ценный пушной зверек третичного периода — в то лето переживал бедствие: многие озера и старицы на окских лугах, где издавна обитал этот зверек, были спущены усердными не в меру мелиораторами. Погибал не только выхухоль — тысячи гектаров лугов были обезвожены из-за спуска озер, то есть сильного понижения уровня грунтовых вод.

В пойме, напротив Кочемар, спустили целиком два озера, и даже самое большое в этих краях прекрасное Ерахтурское озеро с красным бором на берегу было непоправимо искалечено понижением на два с половиной метра водяного зеркала. А всего делов-то: в верховьях этого озера было небольшое, в тридцать гектаров, болото, вот его-то и осушали.

Насмотревшись на заиленные озера, на высохшие, опустевшие от птиц и зверья прибрежные камыши, перепотевшие, запыленные, с самыми решительными намерениями ввалились мы в Ерахтурский райком. Как раз заседала комиссия по приемке осушенного болота — на это заседание и торопился Теплов. Сидели все чинно вокруг длинного стола, в белых рубашках с закатанными рукавами; вентилятор мягко шумел, пошевеливал приготовленные для торжественной подписи акты. А еще посреди стола стояла запотевшая поставка холодного квасу. Жарынь!

— Заждались вас, Владимир Порфирьевич! — шумно встретили Теплова.— Вот квасок холодный. Не хотите ли?

— Квасу выпью, а подписывать акты не стану,— сказал Теплов.

— Почему? — лица у всех за столом вытянулись.

— А потому, что это не мелиорация, а земельное душегубство. Ладно, вам наплевать на всю эту дикую живность — на выхухолей, на уток, на гусей, куликов. Но луга-то хоть пожалейте! Что вы делаете с лугами? Болото

в тридцать гектаров осушили, а тысячи гектаров прекрасных лугов обезводили!

— Нельзя ли без эмоций?—сказал один из членов комиссии, кругленький розовый колобок, представитель Мещерской мелиоративной станции, от науки, так сказать.— Мы привыкли с карандашом работать, выгоду считать. Вот и приплюсуйте тридцать гектаров бывшего болота к нашему земельному обороту. Это вам не дикие утки, товарищ Теплов, а культурная земля.

Теплов, весь какой-то серый от пыли, морщинистый и злой от застарелой мучительной болезни (увы, он давно уж умер), поглядел на это розовое яблочко и изрек хриплым, рыкающим голосом:

— Какая культурная? Это ободранная земля. С карандашиком привыкли работать? Все плюсуете? А кто ваши минусы учитывать будет? Тетя Мотя или дядя Вавил? Вы просуропили канал длиной в шесть километров. Да ширина его поверху тридцать—сорок метров, да земляной отвал примерно такой же ширины. Вот и помножьте шестьдесят метров на шесть километров. Ну? Шестью шесть—тридцать шесть. Тридцать шесть гектаров прекрасных лугов выбросили кобелю под хвост. Это за тридцать гектаров болота? Да сколько тысяч обезводили? Считайте, считайте, во что обошлось ваше осушение болота!

— Вы интересно рассуждаете,— послышалось с другого конца.— Сегодня засушливое лето. А в обычное— влаги на лугах вполне хватает.

— А что делать в засушливое лето?—обернулся на тот голос Теплов.— К дяде Вавилу за сеном идти? Или коров в спячку укладывать?

— На травополье упор делаете,— сказал Колобок.— Мы осушаем болота для пропашных культур. Или что ж, по-вашему, не следует осушать болота?

— Делайте местную мелиорацию, дренажную систему, коллекторы, водоприемники. Насосные станции стройте, наконец, если понадобится. Но не смейте разрушать окружающую среду.

— А вы знаете, во что обойдется такая мелиорация?

— Так вы что ж, за дешевизной гоняетесь?— отбивался Теплов.— Тогда вспомните, что случилось с попом из сказки Пушкина, с тем самым, который за дешевизной гонялся.

Всю дорогу потом хмурился Теплов — и в лугах, и через Оку когда переправлялись, и когда по лесным кордонам шастали,— все ворчал, поругивался. Салтыкова вспоминал:

«Идите, говорит князь, передайте глуповцам: тех из вас, которым ни до чего дела нет, буду миловать, всех иных-прочих казнить».

На озере в Гусь-Железном он даже повеселел: в камышах на разводьях было много уток с утятами, нашли мы несколько норок выхухоля возле самой воды, и не было следов ондатры и енота.

— Вы только подумайте,— говорил он мне.— Есть в нашем краю редкий, ценный выхухоль. Так, видите ли, мало этого. Дай-ка мы еще и ондатру сюда завезем. И завезли. Ондатра первым делом набросилась на выхухоля, стала изгонять его из норок и просто переводить, как соперника. Но выхухоль — редкость, и редкость — наша. Кроме как в средней полосе России, его нигде нет. А ондатра по всей земле пошла, из Канады завезли. Но к нам-то ее зачем, сюда? Чтоб выхухоль перевести? Вот пустые головы. Лишь бы отличиться, отрапортовать — развели ондатру. А зачем? На пользу это пойдет или во вред? До этого никому дела нет.

Или возьмите того же енота. На кой черт его к нам завезли? Ведь что получилось? Эта прожорливая собака пошла разорять гнездовья уток и гусей. Вред от нее колоссальный, польза — сомнительная. Вот и выходит — одна рука не ведает, что творит другая. А все оттого, что много развелось публики, которой ни до чего дела нет.

Была в нем какая-то апостольская прямота и строгость: он быстро накалялся, вспыхивал, вспоминая ерахтурскую комиссию:

— Ну что это за мелиорация? Какая это мелиорация?! Знаете, на что это похоже? На старый забавный анекдот, как мужик пошел даровой хлеб брать, да впопыхах худой мешок прихватил. Насыпает в мешок — а зерно в дыры вытекает. Некогда мешок починить — торопится, жадность заедает. Вот так и мы порой к земле, к природе относимся: все бы от нее взять, да побыстрее. Хоть в худой мешок, но толкаем. Мешок-то сначала сшейте какой следует, чтоб добро не пропадало.

Я частенько вспоминаю эти слова. И теперь вот пишу и думаю: провели в том же Клепиковском районе

прекрасную мелиорацию, потратили на это дело миллионы рублей. Казалось бы, надо радоваться. И радовались целое лето... Но вот подошла осень. Заехал я в Спас-Клепики 6 октября, заморозки начинаются, зима «катит в глаза». А в полях все еще две тысячи гектаров зерновых не убрано и несколько тысяч гектаров картошки. И дождей с конца августа почти не было. Ладно, зерновые и по морозу уберут, а картошка пропала. Вот так... Миллионы рублей затратили на мелиорацию, но тысячи рублей на уборочную технику, на сушилки и прочее потратить не додумались. И гибнет, гибнет добро... на сотни тысяч... И ничего тут не сможет поделать секретарь райкома со всеми своими помощниками. Целыми днями мотаются они по полям, до глубокой ночи не вылезают из своих и чужих кабинетов. Да расшибись они в лепешку, треснись о мерзлую землю—не убрать им без нужной техники да без нужных людей вовремя урожая. Ведь не делают секретари райкомов на своих совещаниях ни жаток, ни картофелекопалок, ни комбайнов, ни тракторов. И специалистов не приготовишь на этих совещаниях. Кажись, это всем ясно. Пора снабжать районы средней полосы уборочной и прочей техникой в достаточном количестве. Может быть, мы уясним, наконец, и такую истину—никакая техника не способна творить чудеса без рук человеческих. Не на заезжего молодца рассчитывать надо в уборочную кампанию, а на своих чудо-богатырей. Но мало их, мало в деревне этой полосы нужных специалистов-механизаторов. Растеклись местные кадры, поразъехались, не сумели удержать в свое время. Уехали туда, где лучше работать и жить; туда, где светит и греет. В город они уехали. Маркс сказал: бытие определяет сознание. Бытие их толкнуло в город. А мы ждем, когда они откликнутся на призыв вернуться в деревню. Вот посовестят их пропагандисты: нехорошо, мол, родную землю оставлять вчуже. Писатели вдохновенное слово кинут: моя родная сторона червонным золотом полна! Сюда, ребятушки, сюда, к дедовским истокам! Живой воды испить да травушку-муравушку потаптывати!..

Нет, такими зазывами да посулами серьезных специалистов не завлечь в деревню. Там нужно создавать условия не хуже городских. В той же ставропольской или кубанской деревне люди живут не хуже, а лучше, чем в городе. И особняки есть, и машины есть, и дороги есть. И

никто не зазывает туда специалистов, они сами держатся. И уборка проходит в нужные сроки.

Вот такие мысли приходят в голову, когда я вспоминаю те слова Владимира Порфирьевича.

А в тот солнечный день я приехал в Гусь-Железный полюбоваться на озеро, искупаться, поплавать в нем. Доехал до речки, поднялся на бугор, глянул и... о, боже! Нет озера. По широкой впадине, окаймленной дальней опушкой бывшего прибрежного леса, текла, извиваясь, узкая, местами пересыхающая речушка. И старинной плотины, высокой, кирпичной, с чугунными шлюзами, в темных казематах которой, по преданию, разбойная баташовская братия чеканила фальшивые деньги, тоже не было. Шлюзы, регулировавшие сток, убрали, засыпали — и затянуло озеро тиной да ряской. На месте этом проходила обыкновенная дорожная насыпь; дорога делала крутой поворот, огибала белый двухэтажный барский дом, похожий на длинную казарму, заломанный чахлый парк и снова вырывалась на простор.

Главный врач детского санатория, размещенного в барском доме, показывал мне давние фотографии этого исчезнувшего озера, высокой кирпичной плотины, игрушечных торговых рядов с доисторическими портиками, водил по внутренним покоям огромного дома, заново перегороженного, приспособленного для иных надобностей. Переделка и ремонт когда-то выполнены были наспех — половицы скрипят и хлябают под ногами, двери перекошены, в оконные рамы задувает свежий ветерок.

— Сохранилась хоть одна комната от давнего времени? — спросил я.— С полами, дверями и окнами?

— Полы, двери и прочее — все порастащили. А вот стены и потолок сохранились в одном месте. Идемте, покажу.

Он ввел меня в зал, кажется в теперешнюю столовую, с белыми строгими пилястрами, с лепным потолком.

— Полы здесь были, говорят, наборного паркета, двери орехового дерева с бронзовой инкрустацией, люстра позолоченная висела.

— Жалко,— говорю,— что не сохранилось все это.

— О чем жалеть? Архитектурной ценности этот дом не имеет,— сказал доктор.

Я взглянул на него с удивлением — не шутит ли? Нет, смотрит прямо в глаза, даже с каким-то вызовом. Задири-

стый светлый хохолок на лысеющем лбу топырился, как петушиный гребешок.

— Как не имеет цены? — говорю.— Это ж дом! Большой, крепкий, полный дорогого убранства.

— Барские покои, и больше ничего.

— Так ведь и народу пригодились бы такие покои.

— Народу нужны другие ценности. Вы еще храм пожалейте. Теперь это модно.

— А что, не жаль храма?

— И храм цены не имеет. Архитектура путаная. Специалисты приезжали, говорят — эклектика.

— И парка не жаль?

— Парк — природа, и больше ничего. В одном месте убавилось, в другом прибавилось. В любую минуту его насадить можно.

Мы стояли возле окна, внизу под нами раскинулся обширный поселок.

— Смотрите,— говорю,— сколько домов. Приличные дома, большинство новых.

— Здесь живет в основном рабочий класс.

— Вот и хорошо,— говорю.— Увеличился поселок за полвека?

— Увеличился.

— А теперь подумайте вот о чем: раньше, ну хоть в тридцатые годы, здесь меньше жило народу, но успевали не только свои рабочие дела делать, но еще и плотину чинить, озеро в берегах держать и парк обихаживать. А теперь что ж, времени на это не хватает или желания нет?

— А это,— говорит,— знакомый мотив. Это все ваше писательское ворчание. Что озеро спустили — это вы заметили, а что над каждой крышей телевизионная антенна торчит — этого вы не замечаете.

Спорить с ним трудно, почти невозможно: доводы ваши он не слушает, только глаза навострит, тряхнет головой и пойдет чесать без запинки, как на стене читает:

— Есть писатели-патриоты. Их книги читают, фильмы смотрят наравне с футболом и хоккеем, потому что яркие, незабываемые образы. И все играют против наших врагов. А есть писатели-ворчуны, которые всем недовольны. Вот одного такого лечили, а он нас же, медиков, опозорил в своем последнем сочинении. За что, спрашивается?

Да, кажинный раз вспомянешь и в дальней дороге бессмертного писателя земли русской Николая Васильевича Гоголя: «Россия такая уж страна — стоит высмеять одного околоточного надзирателя, как вся полиция обидится».

А хорошо ехать в летнюю пору по мещерской дороге, поглядывать по сторонам на красные боры на песчаных угорах, на хмурую таинственную чащобу чернолесья в болотных низинах, на светлые березовые рощицы на открытых холмах, на пестрые многоцветные поляны, или, как в старину называли их, переполянья, окруженные темными раскидистыми, раскоряченными дубами. Того и гляди, просунется сквозь ветви косматая голова дикого вятича, Соловья-разбойника, живущего тут «на девяти дубах», и оглушит тебя трехпалым свистом.

Этим затяжным непутевым летом любопытно было наблюдать, как перепутались все сроки цветения трав и кустарников: рядом с белой таволгой, с пурпурными головками кипрея, с кисейными зонтиками дудника все еще цвел весенний ослепительно желтый куролеп, и проглядывали розовые, затейливо изрезанные лепестки дремы; в низинах бледно-лиловые болотные фиалки, эти трогательные вестники весны, цвели вперемешку с желтыми лютиками, с синими касатиками и крошечными голубенькими незабудками. К 20 июля только-только начала краснеть земляника.

Перед Касимовом дорога ныряла в глубоченный овраг и потом долго петляла по высокому откосу, поросшему соснами. Вот он, город моей детской мечты, соблазн моей юности. Касимов той поры — это пароходы с хлопающими плицами колес, это пристань с пестрой горластой толпой пассажиров, с крутыми сходнями на булыжную мостовую, где все заставлено было телегами, дрогами, тарантасами с мешками, саквояжами, сундучками; сено повсюду: и в задках на телегах, и под телегами, и прямо на дороге; его едят лошади, им укрыты возы с добром, на нем спят, и пьют, и в карты режутся. А в воздухе тяжкое сопение и гудки пароходов, лошадиное ржание, поросячий визг, залихватские припевки страданья под гармонь и проникновенный затейливый мат. «Срамословье в них пред отцы и пред снохами...» — изрек когда-то наблюдательный летописец о славянском племени вятичей.

Касимов — это крутые каменистые въезды на базарную площадь с тяжелой колоннадой приземистых торговых

рядов, с блистающими главами шатровых церквей, с высокой кирпичной колокольней исполинского собора (ее уже разобрали), с чистыми мощеными прямыми улицами, с белой татарской мечетью, с минаретом, на шпиле которого ущербленный покосившийся месяц.

— Видал, месяц завалился набок? Это в него Петр Первый стебанул. Приехал сюда на своем ботике и спрашивает: «Что-то у вас за басурманская обитель?» — «А это,— отвечают,— молельня татарских царей».— «А ну-ка,— говорит,— и я помолюсь». Забил в пушку ядро, приложился ды ка-ак шандарахнет.

Касимов — это пряно и душно пахнущие овчины, и чищенные пемзой, отдающие подпалиной белые и черные валенки, тяжкие тулупы, сети, бубенцы, мерлушковые шапки и воротники, щегольские шевровые сапожки на высоком каблучке и яловые болотные сапожища.

Касимов — это самое заветное здание с высокими готическими окнами, с красным затейливым карнизом, с парадной двустворчатой дверью, возле которой учащенно и сладостно билось когда-то мое юное сердце.— Касимовский индустриальный техникум. Чего робеешь? Входи, поступай!» — «А где жить? На какие шиши? На что ездить сюда за пятьдесят верст?» Так и не поступил — капиталу не хватило.

Летний Касимов был весь перекопан и закрыт для проезда. Долго объезжал город в длинной веренице рычащих грузовиков. При выезде на асфальт забуксовала моя «Волга», села в песке посреди проезжей части. Вмиг захлопали дверцы грузовиков, подбежали три шофера и с прибаутками, с матерком вытолкнули мою машину. Веселый, общительный народ мои земляки.

Переправа на реке стояла возле Толстикова, в двадцати пяти километрах ниже Касимова. Дорога до переправы — одно удовольствие, асфальт свежий, ни выбоин, ни ухабов. И снова пустынность, тишина. Зато уж после реки, от Толстикова до Потапьева, не только что асфальта, булыжника порой нет. И дороги нет. Ездят по полю: по овсам, по ржи, по картошке, по лесным вырубкам, по лесным полосам вдоль березовых рядков и даже по оврагам ездят, но только не по проезжей части. Здесь, на бывшей Муромской дорожке, сядешь за милую душу и версты не проехав: ухабы крутые, глубокие, как воронки после беглого артобстрела; колеи — что траншеи полного профиля, ляжешь на дифер — ни один трактор не стащит.

Двадцать семь километров до Потапьева ехал я три часа. А ведь не так давно, в конце пятидесятых годов, дорогу выложили заново камнем, в те самые годы, когда гремела Рязань, когда шумно строили большое Рязанское кольцо.

Я жил в ту пору, летом, здесь, в Высоких Полянах, у своего школьного товарища Петра Михайловича Бочкарева, завуча местной средней школы. Хозяйка его в Москву уехала сдавать экзамены в институт, а мы целыми днями пропадали на лугах, рыбу ловили. Вечерами заходил племянник Петра Михайловича, Иван, колхозный молоковоз, и заводил один и тот же спор: где лучше жить: в городе или в деревне? «В городе куда хошь можно пойти и чего хошь можно купить. А здесь куда пойдешь?» — «Отчего ж ты в город не едешь?» — «Чего там делать? Там, извини за выражение, по нужде сесть негде. Но жить там все равно лучше».

А то вдруг скажет: «Наверное, молоко потеряло питательную силу. Ну, куда его идет такая пропасть? Один я отвез его целое озеро. Город утопить можно в нем».

Он мог сидеть на завалинке часами, опершись на колени руками, смотреть вдаль. А то мечтательно высоким чистым голоском запоет: «Я одену тебя в темно-синий костюм и куплю тебе шляпу большую...»

— Энтузиазма не хватает у людей,— жаловался мне председатель колхоза Иван Павлович Комов.— На одних нас, на руководителях, только и едут.

Беспокойная была у него работенка, мотался он во все концы по этой каменистой тряской дороге и гордился:

— По этой дороге сам тамбовский губернатор ездил.

А то, выражаясь и кривясь, словно от зубной боли, признавался:

— Как съезжу в Рязань или в Сасово, так, веришь или нет, по трое суток животом маюсь. Хоть со двора не сходи.

Умер он на ходу: собрался идти на заседание правления колхоза, послушать, что ему скажут «демократы», как называл он своих правленцев, вышел за калитку — и упал. Сердце не выдержало...

Дорожного полотна от той поры во многих местах почти не осталось. И куда только камень делся? Перемололи, что ли, или в землю вогнали? И только каменные мосты с железобетонными перилами все еще стоят невре-

димыми. Поставлены они сто лет назад, когда бетон и стальные балки только входили в модное и прочное сочетание, которое впоследствии будет названо железобетоном. Это память о той поре, когда ездил здесь тамбовский губернатор.

Да что там тамбовский губернатор! Царская невеста проезжала по этой дороге. Триста с лишним лет назад вот по этой самой дороге выехала из Высоких Полян в Москву на царские смотрины Евфимия Всеволожская. Ехали на долгих с чады и домочадцы, прихватили целый воз нарядов, белья, съестных припасов, кормов, лошадей табун гнали для перепряжек в пути. Эти выборы царской невесты, эти дворцовые смотрины дворянских дочерей на триста лет опередили известные европейские конкурсы красоты. По Оке, по Волге выбирать дворянских дочерей поехал боярин Пушкин. В Касимове, в доме архиерея, он увидел Евфимию Всеволожскую и тотчас пригласил ее на смотрины. Царевичу дал знать, что послал из Касимова такую красавицу, равной которой нет и не будет во всей Руси. И Евфимия стала царской невестой; оба круга прошла, победила московских красавиц, покорила сердце юного царевича.

Боярин Морозов, уязвленный этой победой (на тех смотринах была его племянница), приказал вплести в косы Евфимии весь ларец царских драгоценностей, а весом они были не менее пуда. Да прихватить, притянуть волоса-то потуже...

И не выдержала царская невеста. От волнения, тяжести и головной боли во время венчания упала она в обморок. Морозов объявил, что невеста больна падучей. Отца ее, Рафа Всеволожского, сослали в Сибирь за то, что хотел всучить царю-батюшке порченую дочь. Там, в Сибири, он и помер. Евфимию заточили в монастырь.

Но вот чудо — до сих пор в Высоких Полянах тот бугор, где стоял когда-то барский дом, зовут бугром Всеволожских. Удивительно, как живуче у нас предание!

Эти самые железобетонные мостки называют у нас екатерининскими. Я пытался не раз доказывать, что им всего сто лет, при Екатерине железобетона не было еще, не знали. Но не тут-то было. Старики не верили мне: «Может, где и не было железобетона, а у нас был».

Под одним из таких мосточков, за Свищевом, убили моего прадеда Трофима Селивановича Песцова. Служил он у гавриловского барина и характером был крут...

— И как ему не быть, крутому характеру? — рассуждала мать моя. — Он двадцать пять лет в армии отслужил. Чай, не мед там пил. Николаевский солдат! До какого-то чина дослужился. Ну и старался.

— За что его убили?

— А кто его знает! Может, притеснял кого, а может, из-за бабы. Встретили его возле моста. Он был верхом. Говорят, кольями били. А он в седле удержался. Вырвался... И вот какой крепости был человек — полуживой, лег на холку и в поместье приехал. Сняли его, он тут же помер.

— Куда он ездил ночью-то?

— Поди, к полюбовнице. У него их было-то, господи! Он и дома редко жил, больше все у барина. А то и приедет — радость невеликая. Крутой был, царствие ему небесное... Будешь в Любовникове — сходи на его могилу. Он возле церкви похоронен, за оградой. Памятник стоял хороший. Повалили. Но могилу найти можно: от паперти на угол ограды сделай восемь шагов. Там стоит береза, а возле березы могила. Его могила.

Нет ни березы, ни могилы, ни церкви...

От прадеда остался в Мочилах большой пятистенный дом красного лесу. Сгорел он в тридцать третьем году у меня на глазах. На пепелище нашел я витую бронзовую рукоять от его солдатского тесака. Ухитрялся я насаживать на нее деревянные точеные лезвия. Это «оружие» служило мне и шпагой и шашкой в играх в мушкетеры и в казаки-разбойники.

От Потапьева я свернул с большака в лесную сторону — через Беседки, Пёт, Станищи на Веряево, на Гридино. Это уж суть мещерские села: отсюда и начинается разливанное море «непроходимых да непроезжих» лесов на Кочемары, на Ерахтур, на Копаново...

В Гридине в далекую довоенную пору я начинал свою трудовую самостоятельную жизнь учителем семилетки. Это было огромное село на три колхоза, с больницей, семилетней школой, клубом, избой-читальней, почтой. Три поместья когда-то стояло в нем, одно из них князей Волконских, с огромным садом, с липовыми и сосновыми аллеями, с тремя прудами, с тремя островами на прудах: жасминовый остров, сиреневые острова — белый да синие... Помню, у старой экономки, жившей напротив барского сада, хранились фотографии: двухэтажный дом с колоннами, кирпичные конюшни, серые в яблоках рыса-

ки. И сам князь в резном кресле, при орденах, и борода, как покрывало, на груди... Да, все проходит. Ушло с ветром... Ни дома с колоннами, ни прудов, ни сирени, ни сада. Две голенастые заломанные сосны — и чистое поле.

И от села осталось не более четырех десятков домов. В одном из этих пятистенных домов, у Фрола Андриановича Муханова, я и проживал. Двое нас было, снимали горницу: «уцытель маленький» и «уцытель большой». «Уцытель маленький» был я. Мне в ту пору стукнуло всего семнадцать лет.

Останавливаюсь возле дома Мухановых; на высоком крыльце, на лавочках полно народу — все молодежь, дети и внуки-москвичи. Спрашиваю старуху, она стоит в дверях:

— Тетя Катя, не узнаете?

— Нет. Чей-то чужой,— отвечает уверенно.

— А ведь я жил у вас, в горнице.

— У нас учителя все жили. Много их было, всех не упомнишь.

— Так и не запомнили ни одного?

— Почему ж? Помним, знаем. Один учитель теперь кино делает.

— Вот он я и есть.

— Ба-атюшки мои! Как же я обозналась? Да у вас вроде бы не было бороды?

— Не было,— смеюсь,— замаскировался, чтоб не узнали.

— Где ж вас теперь узнать? Полжизни прошло.

В избе чисто, светло от белых кружевных покрывал, от тюлевых штор, от большого, во весь простенок, трюмо, от скатертей, от радужных половиков.

— Как живете?

— Хорошо живем. Ноне жить можно, слава тебе господи. Это не прежние времена.

Но вспоминают больше все прежние времена, на теперешних не больно задерживаются. Тут все ясно: деньги есть, хлеб есть, картошка, молоко. А чего нет — достанем. Там же было все куда сложнее. Фрол Андрианович маленький, сморщенный весь, как усохший, но говорит свежим тенорком:

— Теперь что, никаких волнений. А в тридцатом годе повеселились. В двадцать четыре часа провесть всеобщую коллективизацию! Вот задача. У Гришки Лобачева на дворе решили стойла сделать, ко мне плуга сносить. А тут

верявские пришли, соседи. И давай стойла ломать. И плуга порастащили. Тут Столярова забрали, подрядчика, в Кузнецкстрой отправили. Сына у Малышева забрали. Малышев мельницу деревянную держал, возле Борцов была мельница. Ханакова забрали Семена, сына Андрея Андреевича. Петрушин, колесник, ободья гнул... Вот какая история была. Васю Афонина поставили председателем колхоза имени Крупской. Вступил я только в тридцать третьем году.

— Отчего ж так поздно? — спросил я.

— Я на стороне был, все в отходе. Воевал опосля. В кавалерии, в артиллерии на конной тяге и в обозе. Всю амуницию в порядке содержал: чего чинишь, чего смазываешь, чего чистишь. Бывало, все горит! Трензеля, мундштуки с четырьмя поводьями...

Я выехал от Мухановых уже в сумерках. Остановился возле школы, обнесенной штакетником. Все те же два корпуса: один — с крылечком, обшитый тесом, выкрашенный бурой краской, второй — бревенчатый с огромными во всю стену частыми окнами. Как много здесь было ребятни! Четырнадцать классов! Занимались в две смены, до ночи. А теперь, сказали мне, всего сорок учеников. Это на все окрестные села. Сказали, что закрывать будут школу, если число учеников упадет до тридцати.

Я долго стоял, опершись на забор, смотрел на опустевшую школу с темными окнами, вспоминал прежние годы, слышал давно забытые голоса и видел самого себя в хромовых сапогах, в отцовской вельветовой тужурке, с серебряными часами, отцовскими, именными... Цепочка на груди, из петли в карман пущена, ворот хомутом, шевелюра до плеч. Иду в класс широким шагом, валкой походкой — для солидности. Вхожу. Шарканье ног, хлопанье парт, прысканье.

«Здравствуйте, дети!»

«Здравствуйте»,— отвечают вяло, вразнобой, и все смотрят на доску.

Смотрю и я: через всю черную доску мелом, аршинными буквами: «Граф Можаев + Истомина». Стервецы! Мерзавцы! Это я про себя ругаюсь, а вслух что-то бормочу: «Откройте тетради, приготовьтесь к диктанту...» И малодушно стираю сам, стираю и чувствую, как позорно краснею, все лицо горит, и даже лоб вспотел. Больше всего боюсь, что передадут ей: я влюблен в нее по уши и стесняюсь ее, она — завуч и старше меня на

целых два года... Мерзавцы! Откуда они пронюхали? И кто им выдал мое школьное прозвище? Ужасно я страдал от этого «графа». Это ведь когда было? В тридцатые годы! Обиднее прозвища в те поры и не выдумать.

Отсюда, из этой школы, из этого села уходил я на войну осенью сорок первого года. Много нас ушло отсюда: Коля Комаров, Иван Ханаков, Ваня Чуев, Шура Гуреев, Шура Егжов, Александр Александрович Жданов, Борис Хитров...

В один и тот же день по всеобщей мобилизации сгрудилось на этой самой Муромской дороге великое множество народу, шли на Нестерово, Любовниково, Сасово, к железной дороге. Шли медленно, с привалами, с ночевками — всего лишь по десять верст в день проходили. Обедали прямо в поле — разбирали с повозок свои мешки, располагались во кружок, по-артельному.

У нас с дядей Колей Можаевым мешок был на двоих. Припасы укладывали нам вместе по-семейному: я был еще молод и глуп, а он уже две войны прошел. Наложили мешок под завязку, проводили со слезами, с причитаниями.

И древней Муромской дорогой
Пошли мы — млад и стар...
Где предки ехали на дрогах
Косами бить татар;
Где ратных проносили кони,
Хвостами пыль мели,
Где свист разбойничьей погони
Слыхали ковыли;
Где ехал на базар вчерашний
Тархан и коновал;
Где запах дегтя и ромашек
Я много лет вдыхал...
Прямая пыльная дорога,
Визгливый плач колес.
Тянулся медленно и строго
По ней войны обоз.
И люди шли, дымя махоркой,
Спокойно, как в извоз...

Да, мужики шли, спокойно покуривая, занятые своими разговорами. На обочинах стояли бабы с малыми детьми, девки, старухи; по ним плакали, рыдали, голосили, их отпевали, как покойников, а они шли, не оглядываясь, занятые своими мыслями, заботами. Молодежь, ребята куражились: шли кучно вокруг повозок, кто-то сидел на

телеге, растягивал во всю грудь гармошку, наяривая страданье, из толпы же вперебой со свистом распевали соленые припевки.

Это было сильное племя. Да, «плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля».

— Двести восемьдесят человек насчитали мы по Пителину,— рассказывал мне брат Иван.— Две недели сидели в военкомате, выписывали. Хотели, значит, памятник не безымянный, а чтоб с фамилиями, на каждого дощечку из нержавеющей стали. Но Кашинский запретил. Вы мне, говорит, не перемешивайте погибших и пропавших без вести. На которых, говорит, похоронки есть — вешайте дощечки. А на тех нельзя. Вдруг, говорит, кто-либо из них окажется не в том месте. Но так делить погибших мы отказались. Это значит обидеть добрую треть ни в чем не повинных солдат.

Кашинского теперь сняли, перевели из Пителина куда-то с понижением. А Пителино так и осталось с безымянным памятником.

Я остановился перед въездом в Пителино, на развилке дорог, на том самом месте, где мы долго топтались когда-то, не могли войти в общий поток мобилизованных, шедший по большаку. Было пустынно, темно и тихо; только уныло и ровно гудели провода на телеграфных столбах, да никла долу, чуть вздрагивая от легкого ветерка, высокая густая пшеница. Земля здесь добрая, и урожай в этом году был хороший.

Когда-то на этом месте стоял заезжий двор с трактиром; старики рассказывали, что будто хозяин держал патент на распитие русской горькой. И вывеска была по такому случаю: «Пить велено». Оттого и название ближнего села — Пителино.

«Сельцо Пителино на черноземах» — сказано в древней грамоте. Теперь это рабочий поселок с сыроваренным заводом республиканского значения. Вот он, прямо отсюда, от большака, и начинается.

Я въезжал на освещенную асфальтированную улицу и твердил подвернувшийся стишок:

Вот моя деревня.
Вот мой дом родной...

А родного дома давно уж нету.

1976

НЕ ВЗИРАТЬ!

В последние два года у нас много говорится о самостоятельности: и хозяйства-де полными хозяевами станут — сами будут определять, что и где посеять, и сколько да каких коров держать, чтобы в убытках не оказаться, и сколько зерна сдать по обязательным поставкам, а сверх того ни-ни! Сами распоряжайтесь этим зерном и проч. и т. п. И много хороших решений принято на этот счет.

Но вот на последнем июньском совещании в ЦК КПСС о коренной перестройке один из выступающих вынужденно признался: «Я считаю, что как только вышло постановление ЦК и правительства, то не надо дожидаться никаких инструкций, а надо действовать».

Да, к великому сожалению, наши законы без этих бесчисленных инструкций оказываются вроде бы и недействительными; а инструкции чаще всего пишутся бюрократами и для бюрократов. Так и выходит порой, что между законом и его исполнителями становится нечто вроде бы и невидимое, но реально существующее. Имя этому нечто — бюрократизм.

Фигура бюрократа многим видится мелкой. А ведь за ней стоит страшное явление: возведение своей прихоти в закон, отрицание достоинства и права на законную самостоятельную деятельность других. Если угодно, борьба с бюрократизмом, которую необходимо вести,— это борьба за повиновение законам равнообязательно всех, борьба за совесть, борьба за право человека быть во всем равным с другими. Законы наши и постановления нарушаются чиновниками не только среднего звена, но и высокого. Я уже говорил на писательском пленуме, что сразу после XXVII съезда на всесоюзном совещании

накануне сева фактически были одобрены расписанные выше посевные площади на пятилетку, то есть нарушено постановление съезда о самостоятельности хозяйств. И кто ответил за это? Никто.

Зато сразу после того совещания заместитель председателя Рязанского облАПО Завражин, собрав представителей районов со всей области, пристукивая кулаком по столу, сказал: «Только попробуйте изменить посевные площади, спущенные сверху! Мы вам покажем кузькину мать...» Правда, того Завражина сняли за многие художества. Но я не о Завражине хотел сказать, а о знакомых замашках любителей кулачной политики, плюнувших на решения XXVII съезда... Поневоле вспомнишь поговорку: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день».

Возьмем факты более свежие. Передо мной номер «Известий» от 21 августа 1987 года со статьей все про того же «архангельского мужика». Читаешь и диву даешься: какая ненависть бушует в кабинетах и областного и районного начальства против мужика, который с двумя напарниками в заброшенной, разоренной деревне и скотный двор построил, и почти сотню быков вырастил и откормил!

«Выжига, хапуга, рвач!..» — кричат из райцентра. Из области: «Сивков с его фермерскими замашками тащит нас назад». И естественно, директор совхоза рад стараться угодить высокому начальству: «А у меня готов приказ о разрыве отношений с Сивковым...» Поневоле вспомнишь поэта: «Вот как гневом утроба распарена!»

Почему же гнев? Ну как же иначе? Сами судите: ведь ежели эдак вот каждому сиволапому мужику взбредет в голову свой кооператив создавать, да на заброшенных пустырях по сотне быков откармливать, да еще продавать дешевое мясо... Так ведь тут поневоле закричишь: «Караул! Грабют!» — «Кого грабют?» — «Нас, честных чиновников. Мы сдаем скот по четыре с лишним рубля за килограмм, а этот сиволапый мужик хочет продавать по семьдесят пять копеек за кило. Кто же тогда согласится содержать наши колхозные да совхозные конторы? А районные?! Их ведь в одном райцентре вдвое больше, чем колхозов да совхозов, вместе взятых, во всем районе. А областные?! А республиканские?! А?!!! Страшно подумать...»

Но дотошный читатель спросит: «А как же тогда воскресенский совхоз? Там ведь все: и землю и фермы — закрепили за звеньями. И даже семейные есть звенья-то,

по всей стране пошли. Растут как грибы». Да, растут. И зародились они двадцать восемь лет назад. Я подробно писал об этом (Октябрь, 1961, № 1, 9). И били председателей за эти звенья, и звенья выкашивали административной косой, как траву... Но они опять и опять проклевывались. И теперь не кто-нибудь, а сам Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев недавно посетил воскресенский совхоз и очень хвалил за большие успехи эти самые звенья. Отчего же архангельское начальство негодует? Или им самостоятельность не по нутру, спросит опять дотошный читатель.

Ах, дорогой читатель! Если бы негодовали только одни архангельские? Ведь что беспокоит чиновников? Дай самостоятельность этому звену — оно сразу становится непослушным и высокие предписания чиновников — что и где сеять, когда пахать, когда косой махать и проч.— бросает в мусорное ведро как некую «кляповинку», по выражению Бунина. Потому как сами знают лучше всех чиновников на свете, что им, звеньевым, делать надо. Но беда усугубляется тем, что, глядя на эти звенья, и сами колхозы требуют самостоятельности. «Но ведь у нас же разработан закон о предприятии! — слышится мне возражение дотошного читателя.— А там самостоятельность допрежь всего...» — «Ну, в законе пускай себе стоит эта самая самостоятельность,— соглашаются чиновники.— А на деле чтоб ее не было. И поменьше кричать о ней надо, особенно в печати».

И слава богу! Наконец-то грянул гром: собрал всех этих редакторов один высокий начальник и строго изрек — хватит, мол, писать об этой самостоятельности, надоело! И один угодливый редактор газеты, где лежала эта моя статья, вернул ее мне с радостным облегчением: «Нельзя печатать».— «А как же перестройка?» — спросил я. «Сказано: перестраивайтесь, но только без этой самой самостоятельности. Исполняйте указания, и все. Ждите инструкций».

За что же попадают в немилость звенья и эта самая самостоятельность? Вот за что: суть этих безнарядных звеньев в том, что они являются изначальной ячейкой кооперации, а принцип кооперации строится на хозрасчете, а хозрасчет требует ведения прибыльного хозяйства, а члены безнарядного звена и любого кооператива вообще получают зарплату в зависимости от прибыли — прибыль выше, и зарплата выше. То есть они участвуют в

распределении прибылей, что и является основным принципом кооперации. В кооперации немыслимо существование убыточного хозяйства. Большинство же наших колхозов и совхозов убыточны, но они существуют десятилетиями. Зарплату там платят ежемесячно, и большие деньги уходят на это. Урожай же собирают горожане. И ничего... Только говорить об этом не надо, особенно писать.

Но тут нам приходит на память, что Ленин требовал, чтобы хозрасчетные предприятия были прибыльными. В «Планы тезисов «О роли и задачах профсоюзов в условиях новой экономической политики» он включил такой пункт: «Безубыточность» и «прибыльность» государственных предприятий. Тоже защита интересов рабочего класса». И вполне естественно, что мы обращаемся к опыту двадцатых годов, к ленинской кооперации, к нэпу, за короткий срок поднявших сельское хозяйство и экономику страны. Но какая ярость бушует против ленинской кооперации! Какая воистину паническая демагогия — подтасовка понятий при помощи неуклюжего цитирования и цифровых манипуляций!..

В журнале «Новый мир» (№ 10 за 1987 г.) доктор экономических наук А. Соловьев из Костромы в статье «Долги, по которым нечего платить» пишет: «Под видом «хозрасчетного социализма» проповедуется еще одна модель мелкобуржуазного социализма, типичные черты которого: консервация мелкого хозяйства, отрицание экономической роли государства, преувеличение значения рыночного социализма». То есть фактически Соловьев утверждает, что хозрасчет при социализме есть не что иное, как «модель мелкобуржуазного социализма». Тут уж, как говорится, умри Денис, а хлеще не выдумаешь!

Чтобы оправдать эту нелепость, А. Соловьев из «Манифеста...» К. Маркса и Ф. Энгельса приводит длинную цитату о мелкобуржуазном социализме. Но при чем тут мелкобуржуазный социализм, существовавший в начале прошлого века? По Марксу, он возник в результате конкуренции, которая сталкивала мелкую буржуазию в ряды пролетариата. Так что ж, у нас, выходит, появилась мелкая буржуазия, которую сталкивают в пролетариат? Из чего она выросла? Где и когда? В Костроме, что ли, от сырости развелась? Может, пояснит нам Соловьев?

Полезно вспомнить, что писал Ленин о хозрасчете при социализме. А вот что — в письме заместителю наркома финансов Г. Я. Сокольникову он писал: «Я ду-

маю, что тресты и предприятия на хозяйственном расчете основаны именно для того, чтобы они сами отвечали, и притом отвечали за безубыточность своих предприятий. Если это оказывается ими не достигнуто, то, по-моему, они должны быть привлекаемы к суду и караться в составе всех членов правления... Если мы, создав тресты и предприятия на хозяйственном расчете, не сумеем деловым, купцовским способом обеспечить полностью свои интересы, то мы окажемся круглыми дураками» (Полн. собр. соч., т. 54, с. 150—151).

Очевидно, грубое отрицание хозрасчета при социализме, а также раздувание гигантомании в структуре управления сельскохозяйственным производством и рассчитано на круглых дураков, но тех, кто читал Маркса и Ленина, трудно околпачить таким макаром.

По Марксу, роль и значение капитала в промышленности и в сельском хозяйстве далеко на одинакова, эту истину он и осознавал и развивал во многих местах своих работ, и особенно в третьем томе «Капитала». Вот что писал сам Маркс об этом: «Капиталистическая система противоречит рациональному землепользованию, или что то и другое несовместимо друг с другом и потому требует или рук самостоятельно работающих мелких собственников, или контроля ассоциированных производителей» (Das Kapital. Изд. Ф. Энгельса, т. 3, с. 98).

Требует «контроля ассоциированных производителей», то есть кооператоров. Эту мысль Маркса блестяще развил в своих работах о кооперации Ленин. И вот теперь эту основу из основ сельскохозяйственного производства с легкостью в мыслях необыкновенной пытается опровергнуть А. Соловьев; он пишет в упомянутом номере журнала «Новый мир»: «Либо крупное капиталистическое, либо крупное социалистическое хозяйство. Середины нет».

А как же быть с европейским фермерством? По нашим размерам эти фермы совсем некрупные. Но они прекрасно обеспечивают продуктами не только свои страны, но и нам кое-что перепадает от них. В Англии, например, земледелием занимаются менее четырех процентов населения, и горожане им не помогают, не торчат месяцами на полях при уборке урожая. По сути, А. Соловьев пытается воскресить сталинскую идею о «фабриках зерна» из «великого перелома» — идею о создании колхозов-гигантов с посевной площадью в сто — сто пятьдесят

тысяч гектаров. Тогда в Ирбитском округе три района слились в один колхоз с посевной площадью в сто тридцать пять тысяч гектаров. Кончилась эта гигантомания повальной голодовкой 1933 года. Кстати, такие же «фабрики зерна» чуть раньше разорились в Америке. Сталина предупреждали тогда ученые, что эти «зерновые фабрики» не оправдали себя в капиталистических странах. На что тот с убийственной логикой фельдфебеля отвечал: «Наша страна не есть капстрана». История, к сожалению, мало кого удерживала от волюнтаризма.

Изо всех видов демагогии есть одна наиболее отвратительная — это манипулирование цифирью, то есть подтасовка цифровых данных.

Чтобы оправдать фермерскую гигантоманию, А. Соловьев пишет: «12% крупных ферм Америки дают 60% всей продукции...» Ну и что? А сколько эти двенадцать процентов ферм имеют земли? Может быть, у них земли больше, чем у всех остальных фермеров? И потом — земля-то разная: есть плодородные равнины, есть и косогоры, предгорья, подзолы и проч. Есть еще и земельные кадастры, существующие во всех странах и отмененные только у нас. В шестидесятых годах доктор Черемушкин с группой экономистов создал кадастры по Коломенскому району. Стоимость земли в условных рублях по этим кадастрам колебалась от 1300 рублей до 36 рублей за гектар. И это только в одном районе! То есть гектар пойменной земли оказался почти в пятьдесят раз дороже, следовательно, его отдача в пятьдесят раз больше гектара на глинистом косогоре. Вот я и спрашиваю Соловьева: «Что за земли захватили крупные фермы? И где ютятся, на каких косогорах мелкие? И могут ли на этих косогорах или неудобьях процветать крупные фермы?»

Я был в Англии, обследовал мелкую ферму в Уэльсе; фермер Артур Причард имеет 80 гектаров земли. На этой земле он содержит 17 коров, 600 овец и откармливает 80 бычков, за восемнадцать месяцев вес каждого доводит до 800 килограммов. Гектар земли ему приносит 1000 фунтов дохода. Работает один, помогает жена, в сезон уборки нанимает сельхозрабочего. Может ли один человек обрабатывать столько земли и откармливать, содержать так много скота? По нашим условиям не может. В Англии может: ему помогают. Но не горожане с заводов и фабрик, не доктора из больниц, не педагоги и студенты... Ему помогает кооперация. Та самая коопера-

ция, которую создавал у нас Ленин. И работает в Англии она на хозрасчете. А у нас Минводхоз состоит на госбюджете, поэтому орошение и осушение ведет скверно. Он не получает деньги от ферм, которые за скверную работу не платят.

Видел я и фермы в средней Англии на равнинах. Они крупнее, отдача с гектара здесь чуть больше, но и земля лучше, кадастр ее значительно выше, чем в Уэльсе.

Однако вернемся к нашим нуждам, т. е. к перестройке.

Уж сколько писано и учеными, и партработниками, и журналистами, что негоже соваться сверху в планирование посевных площадей — достаточно определить потребность для государства зерна, мяса, молока, овощей, фруктов и проч. Надо ввести налог за пользование землей да еще товарно-денежные отношения, как это сделал Ленин в конце двадцать первого года, то есть он предоставил истинную самостоятельность крестьянским хозяйствам, колхозам, артелям, коммунам и многим промышленным предприятиям... Вот это и были нэп и кооперация в широком смысле, а не в одном торгашеском, как некоторые изображают тот период,— самостоятельность, экономические методы управления, торговля вместо голого администрирования, вместо продразверстки, вместо лимитов да фондов, расписываемых благодетельным начальством. Почему же мы-то не хотим опустить ногу, хотя и занесли ее, чтобы сделать шаг, да приостановились и балансируем вроде бы на одной ноге? Или боязно сделать этот шаг? Или не проверен был такой шаг на практике в более трудных условиях? Проверен. И не оконфузились. И результат немедленно сказался.

У Владимира Ильича была отвага (иначе это и не назовешь) по отношению к собственным ошибкам, ошибкам партийного курса. Вспомним, как в октябре — ноябре 1921 года в неоднократных выступлениях он решительно заявил, что политика «военного коммунизма» была ошибочной. Надо ли напоминать, с каким воодушевлением были приняты его слова в народе? Да зачем так далеко ходить? Давайте вспомним, с каким волнением и душевным подъемом встречена была в народе прямая и решительная критика серьезных упущений, прозвучавшая с высокой трибуны апрельского Пленума ЦК КПСС 1985 года. Теперешние противники открытой критики отмалчиваются, а ежели и критикуют, то косвенно, так сказать,— кабы, мол, чего не вышло от этой открытой критики.

Но иначе вели себя тогдашние рыцари «военного коммунизма» и противники серьезной критики, откуда бы она ни прозвучала.

На XI партконференции в адрес Ленина Каменев изрек: «Нельзя говорить об ошибках класса — класс в целом не ошибается».— «Вон куда метнул!» — сказал бы городничий из «Ревизора». За целый класс выразился. Еще определеннее на той же конференции сказал Преображенский: «Я думаю, совершенно бесспорно, что т. Ленин в своей речи употребил просто терминологически неудачное выражение». Само собой разумеется, что каждый оракул считал свои изречения «совершенно бесспорными». Но Владимира Ильича нисколько не смущали и не убеждали эти демагогические приемы «оракулов». Он ответил еще заранее своим оппонентам: «Не так опасно поражение, как опасна боязнь признать свое поражение, боязнь сделать отсюда выводы. Сила наша была и будет в том, чтобы совершенно трезво учитывать самые тяжелые поражения, учась на их опыте тому, что следует изменить в нашей деятельности. И поэтому надо говорить напрямик. Это интересно и важно не только с точки зрения теоретической правды, но и с практической стороны. Нельзя научиться решать свои задачи новыми приемами сегодня, если нам вчерашний опыт не открыл глаза на неправильность старых приемов». И далее: «Не надо обольщать себя неправдой. Это вредно. Это — самый главный источник нашего бюрократизма».

Вот он — корень зла, который мешал и может мешать нам во все времена. Тогда, сломив сопротивление бюрократов, общество наше быстро достигло успеха.

После четырехлетнего голодания по причине продразверстки уже в конце 1922 года «встал вопрос о вывозе излишек хлеба за пределы Советской Республики... мы, вероятно, вывезем все 52 млн. пудов»,— говорил М. И. Калинин в начале 1923 года, объезжая районы Дальневосточной республики, присоединенной к РСФСР. «В настоящую кампанию правительство предполагает вывезти 250—300 млн. пудов хлеба» (то есть за 1923 год.— *Б. М.*). Отсюда естественно «встает вопрос об активности нашего торгового баланса»,— говорил там же Калинин (Речи Калинина на Дальнем Востоке. Чита: Изд. Дальревком, 1923).

Национальный доход заметно возрастал. Оно и понятно... «При натуральном сборе (то есть продразверстке.—

Б. М.) всегда теряется процентов сорок,— говорил там же Калинин,— часть воруют, небрежно относятся, пропадает, гниет, например мясо гнило, хлеб подмочили, затем распыляется, замусоривается... Ведь везде есть жулики...» Далее Калинин спрашивает: «Что лучше, продразверстка или денежный налог?» И сам отвечает: «Вы спросите мужика Тверской губернии, что выгоднее — продразверстка или денежный налог? Он скажет: я лучше последнюю шубу с себя сниму да продам, но чтобы была денежная разверстка» (то есть налог.— *Б. М.*).

Быстрота роста национального дохода в те годы была поразительной: например, в последний год этого нестесненного прогресса, в 1925 — 1926 году, доход вырос на 29,9 процента; когда же стали подменять товарно-денежные отношения манипулированием цен (ввели так называемые «ножницы» — искусственно понижали закупочные цены на сельхозпродукты и завышали цены на промтовары), доход резко снизился — в следующем, 1927 году прирост был всего 11,4 процента (см.: Стенографический отчет XV съезда, с. 57).

Особенно скверно пошло дело после «великого перелома»: принудительная продажа зерна по заниженным ценам фактически наложила своеобразную дань на крестьянские хозяйства, да и на колхозы, и в конечном итоге вызвала зерновой кризис в стране. Это явилось одной из причин невыполнения первой пятилетки. Подробно о срыве пятилетнего плана рассказал О. Лацис в статье «Проблема темпов в социалистическом строительстве» (Коммунист, 1987, № 18). Желающим знать подробности рекомендуем прочесть эту статью. Мы же здесь приведем заявление Сталина, опровергающее ложное утверждение некоторых историков и экономистов о «естественном» затухании роста сельскохозяйственного производства в конце двадцатых годов. На Пленуме ЦК ВКП(б) 9 июля 1928 года Сталин сказал, что крестьянство «платит государству не только обычные налоги, прямые и косвенные, но оно еще *переплачивает* на сравнительно высоких ценах на товары промышленности — это во-первых и более или менее *недополучает* на ценах на сельскохозяйственные продукты — это во-вторых. Это есть добавочный налог на крестьянство...» . И далее: «Это есть нечто вроде «дани», нечто вроде сверхналога, который мы вынуждены брать временно...» Это «временное» явление затянулось до сегодняшнего дня (пустая бочка из-под мазута стоит

дороже, чем тонна пшеницы). Заявление Сталина опубликовано было только через двадцать один год. В те же времена открыто Сталин произносил другие речи. Но крестьяне отлично разгадали этот нехитрый маневр и ответили резким сокращением посевов. Чего не скажешь о многих ученых наших: иные из них до сих пор пытаются уверить нас, что ленинская кооперация и нэп *отмирали естественно.*

Забвение истории, а еще хуже — искажение ее — дел безнравственное. Уничижение ленинской кооперации, а следственно, отрицание истины, ведется как людьми старшего поколения, успевшими охаять кооперацию еще в стародавние времена, так и людьми более поздних поколений по незнанию предмета, как выражались в старину, по инерции мышления, по лености. По нежеланию рыться в «хронологической пыли» и, главное, по стремлению угодить расхожему представлению влиятельных кругов бюрократов, которые не хотят терять своих должностей, обретенных с введением разверстки и командного стиля руководства, а посему считают: на историю не взирать!

Приведу несколько примеров из самых последних выступлений по этому поводу. «Советская Россия» опубликовала статью В. Данилова «У колхозного начала». Он пишет: «В печати появились заявления об огромных успехах сельского хозяйства в период нэпа...» Чувствуете иронический подтекст? Вот, мол, появились... Но Данилов сознательно умалчивает, когда появились эти заявления. А появились они еще до рождения самого Данилова — сразу же год спустя после отмены продразверстки и «военного коммунизма». И Ленин писал об этом, писали и другие руководители и специалисты. Слова Ленина, что в кооперации «теперь мы нашли ту степень соединения частного интереса, частного торгового интереса, проверки и контроля его государством, степень подчинения его общим интересам. Теперь мы вправе сказать, что простой рост кооперации тождественен... с ростом социализма, и вместе с этим мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм», — известны каждому. Теперь «как можно меньше премудрствования и как можно меньше выкрутас», — предостерегал Ленин не в меру ретивых администраторов. Высказывания Калинина об успехах кооперации в связи с отменой продразверстки приведены выше.

Именно эти успехи позволили наладить экспорт хлеба и укрепить нашу экономику. И твердую валюту в двадцатых годах ввели мы не на подарки американского дядюшки, а благодаря продаже хлеба, мяса, масла, яиц. Именно на выручку от продажи сельхозпродуктов в двадцатые годы и закладывали гиганты индустрии, а иные и построены были — Сталинградский тракторный завод, тогда крупнейший в мире, введен был в июне 1930 года. В тридцатом году закончен был в основном и ГОЭЛРО — выработка электроэнергии тогда превзошла в пять с лишним раз довоенный уровень.

Знает ли об этом Данилов? Еще как знает, но вот что он пишет: «всегда хлебный экспорт в России осуществлялся по печально знаменитому принципу «недоедим, а вывезем». «Всегда!» Ну и ну... Значит, и при Ленине начиная с 1922 года мы тоже «недоедали, а вывозили»? Хороший «подарочек» предподнесен к семидесятилетию Октября.

Конечно же это вздор; в двадцатых годах население наше не голодало. Загляните в стенографический отчет XV съезда ВКП(б), в заявление Микояна на нем: нас, мол, упрекают в том, что рабочие и крестьяне стали жить лучше, чем до революции, за наживой-де гоняемся... И его ответ: а зачем, мол, тогда надо было делать революцию? Чтобы через десять лет жить хуже, чем до нее?!

Некоторые единомышленники Данилова прибегают и здесь к манипуляциям цифирью. Они заявляют, что зерна-де на душу населения Россия производила меньше, чем Америка и Европа. Сделаем небольшую поправку — не на душу населения, а на голову скота. Дело в том, что в Америке, во Франции, в Германии скот кормили в основном фуражем, а в России сеном. А сена Россия собирала больше, чем Америка и Европа, вместе взятые. По данным Лугового института, упраздненного в начале тридцатых годов, одна волжская пойма давала 30 процентов кормов всей европейской части страны. Луга поймы Волги и ее притоков почти уничтожены. А сено наше было богатого ботанического состава — вот почему и ценилось высоко на мировом рынке наше русское масло: «сибирское», «вологодское», «парижское», то бишь вятское. А теперь у нас не только что сена, пастбищ осталось меньше, чем в Америке. И волжские, и днепровские, и донские, и окские уникальные луга, где десятина давала до пятисот пудов сена, перепахивали как «целину»

в начале тридцатых годов, потом погребали на дне «морей», потом уничтожали как «травополку»... и наконец пытаются предать забвению. Тщетные потуги! Такое не забывается.

И напрасно старается Данилов; он подвергает уничижению даже главный поразительный успех кооперации — за какие-то три-четыре года от полной разрухи мы достигли довоенного уровня производства в сельском хозяйстве. «Экая невидаль!» — по Данилову. Зато в тридцатых годах была сплошная коллективизация. Но Данилов не приводит никаких цифр, сравнивающих уровень производства конца двадцатых и начала тридцатых годов. Посмотрите эти цифры в статье Лациса и увидите, насколько сильно упало и отстало от запланированного уровня производство в начале 30-х годов.

Но это не вразумляет приверженцев «великого перелома»; и Клямкин в статье «Какая улица ведет к храму?», и Волкогонов в статье «Феномен Сталина» считают, что альтернативы не было, то есть «великий перелом» неизбежен. Волкогонов с твердостью и простодушием военного человека заверяет, что если и был выбор, то только между Сталиным и Троцким. А так как Сталина он называет троцкистом, то никакого выбора, следственно, не было. И это еще хорошо, что совершил «великий перелом» Сталин; Троцкий похлеще бы завинтил, уверяет нас Волкогонов. Выходит, что нам еще повезло. Я не испытываю радости от такого «везения». Бессмысленно задавать вопрос Волкогонову: почему неизбежен был «великий перелом»? Чтобы подстегнуть темпы промышленного роста? Но они же упали в начале тридцатых годов именно по причине этого самого «великого перелома». И потом, как оправдать такой казус, пользуясь логикой Волкогонова? Кооперацию и нэп ввел Ленин «всерьез и надолго». «Великий перелом» совершил Сталин, причем молниеносно. Сталин был троцкистом... Следственно, троцкизм сменил ленинизм. И это неизбежность? Тогда, простите, как следует относиться к тому, что мы называем перестройкой, то есть возвращаемся к принципам ленинской кооперации: к хозрасчету, самоокупаемости и проч.? Выходит, что мы замахнулись на неизбежность? То есть плюнули на прогресс и стали пятиться задом?

У Клямкина логика еще тверже: он прямо говорит сразу от имени всех — «мы». «Но прежде чем каяться,

хочется все же понять: почему мы верили *в это?* И в чем каяться? В том, что мы — это мы?» Под словом *«это»* Клямкин разумеет процессы тридцатых годов. Во-первых, мало кто верил, что Бухарин и Рыков были шпионами. Во-вторых, что значит «мы»? «Мы — Николай Второй»? Ежов и Блюхер — это мы? Берия и Вавилов — это мы? Нет, это не мы. Вавилов — гений, Берия — преступник. Каждому свое. И Московская Русь здесь ни при чем, на которую ссылается Клямкин. И неизбежности в «великом переломе» не было, и тупика не было. «Чтобы увеличить прибыль, можно было поднять цены, как предлагали «левые», но цены поднять было нельзя, их, наоборот, постоянно снижали...» — пишет Клямкин. Значит, тупик?

Чепуха. Цены и поднимали (на промышленные товары) и снижали (на закупки зерна, мяса, масла от крестьян). Левые и без кавычек — Троцкий, Каменев, Зиновьев и другие — предлагали нечто и похлеще: обложить десять процентов крестьянских дворов принудительным заемом на двести миллионов рублей, забрать у них «излишки» хлеба — двести миллионов пудов. Вот что предлагали левые. Так что не в ценах суть. Ввести такую экспроприацию и означало вернуться к «военному коммунизму» и продразверстке.

Неизбежность «великого перелома» Клямкин пытается оправдать еще такого рода рассуждениями: крестьянство-де «не было готово к *конкурентной борьбе на рынке, боялось его разоряющей стихии* еще с дореволюционных времен». Вот тебе раз! А где же государство закупало зерно, как не на рынке, и вывозило его за границу? И в двадцатых годах, и до революции на мировом рынке порой каждое четвертое зерно было русским. Между прочим, выручка от яиц и масла в 1909 году превышала выручку, получаемую от продажи леса и товаров лесного хозяйства. А из 3,6 миллиона пудов масла, вывезенных за границу в 1907 году, 3,4 миллиона пудов дала Сибирь. А ведь в Сибири помещиков не было. Интересно, кто же это масло производил и поставлял на рынок? Якуты? Нанайцы? Но они коров в те времена не держали.

Нелепости о русском крестьянстве Клямкин нанизывает одну на другую, как шашлык на шампур. Вот полюбопытствуйте: «У патриархального или полупатриархального крестьянина (это он изволит так величать людей, составлявших абсолютное большинство Красной Армии, выигравшей гражданскую войну.— *Б. М.*) со словом

«общее», если оно относится к чему-то, что за околицей, отношения сложные... Поэтому когда ему кто-то говорит об «общем деле» или каком другом «общем», он только рукой и может махнуть...»

И все это написано с претензией на элитарность, с откровенным пренебрежением к возможным противникам, которых Клямкин именует «профессиональными блюстителями общественной нравственности». «...Предупреждаю, что *своими вопросами* не им протягиваю руку». «Что касается ответов — тем более,— рассуждает он далее.— Потому что написанное ниже не претендует на ответ». Грустно читать эти и подобные им нелепости и стилистические «перлы» в журнале, которому придал мировую известность народный поэт, русский крестьянин Твардовский.

Критика наша заметно притупилась, отсюда и шитые белыми нитками теории о неизбежности «великого перелома», и доказательства его «благотворного» воздействия на общественное развитие. Ведь не о том же речь ведем. Дело не в Сталине и не в Троцком в конце концов, а в том, каким методом вести экономику — путем хозрасчета, самостоятельности или административно-командным методом. Вот ради чего ломаем копья. Вот почему и заглядываем в прошлое, стараясь отделить плевела от семян.

Только налог на землю с учетом земельных кадастров и товарно-денежные отношения могут сделать теперешние хозяйства самостоятельными не на словах, а на деле. Нельзя же всерьез говорить о существовании у нас товарно-денежных отношений, если тонна пшеницы стоит дешевле, чем пустая бочка из-под мазута, или если для покупки только одного колеса от трактора «Кировец» надо продать несколько сотен центнеров пшеницы. Сторонники продразверстки и в начале двадцатых годов старались запугать администрацию: отменив-де ее (разумеется, продразверстку), мы останемся без стратегических запасов зерна, мяса, масла... (Кстати, в 1929 году было 60,1 миллиона голов крупного рогатого скота, а в 1935-м — всего 33,5 миллиона, лошадей соответственно 32,6 миллиона и 14,9 миллиона, и производство зерна не увеличилось.) Но, несмотря на эти удручающие цифры, сторонники продразверстки и теперь еще шумят, что в тридцатых годах был «расцвет» сельского хозяйства, а вот в двадцатых — застой. Тогда же, в начале двадцатых, пу́гало этих бдительных консулов продразверстки лопнуло как мыльный пузырь. Вместе с денежным налогом был

введен еще и минимальный продналог: если десятина земли приходилась на человека (то есть на каждого члена семьи по десятине), то сдавали четыре пуда зерна, а если десятина с восьмушкой — то пять пудов. То есть на продналог уходила примерно одна двадцатая часть урожая. И этого было вполне достаточно для стратегических запасов. Все остальное зерно и прочие продукты хранили сами земледельцы: и единоличные хозяйства, и колхозы, и коммуны, а продавали через кооперацию и на рынке; покупало эти продукты и государство на денежный земельный налог (сорок рублей с десятины). И города кормили, и за границу вывозили... Вот что дала стране самостоятельность хозяйств, полная и безусловная. Одновременно введена была и кооперация, объединяющая как отдельные хозяйства, так и коллективные. У нас в недавнем прошлом смысл той кооперации сводили к простой потребиловке. Это глубокое заблуждение.

Кооперация была и сбытовой, и производственной, и потребительской. На XV съезде в Отчетном докладе было сказано, что тридцать процентов крестьянских дворов кооперированы, более половины всего сбыта продукции идет через кооперацию. Или вот еще цифра с того съезда: три миллиона кооперированных кустарей давали около тридцати процентов всего дохода страны. Вот что могут делать самостоятельность, хозрасчет и кооперация. Не худо было бы вспомнить эти уроки истории.

Кстати, нас пытаются утешить некоторые историки и экономисты тем, что в тридцатых годах сильно выросла стоимость средств производства (тракторов, жаток, сеялок, веялок, молотилок и пр.) и к 1937 году «достигла огромной цифры — 33 766,8 млн. руб.». Вот тебе раз! Средства производства колоссально выросли, а поголовье скота, урожайность, отдача с гектара земли не увеличились. Для какого рожна, скажите на милость, «колоссально выросли средства производства»? Ведь это же не бурьян! Средства производства на пустырях сами не вырастают. На этот рост затрачены были не менее колоссальные деньги и труд. А для чего, спрашивается? Для того, чтобы удивить мир количеством тракторов? Мы и теперь этим самым «чудом» его удивляем. А недавно даже хвастались, что тракторов мы производим больше, чем Америка, Англия и ФРГ, вместе взятые. И тут же признавались, что в Америке или в Англии на один трактор приходится пахоты в пять, а то и в семь раз

меньше, чем у нас. И опять загадка: посевные площади в этих странах, вместе взятых, почти не уступают нашим. Куда же мы деваем наши тракторы? Или прячем их по лесам да по оврагам? Или отгоняем в ту степь, как одичалых коней, на вольную пастьбу? Что-то неладно с арифметикой у наших экономистов да историков.

Вот они пишут о «неуклонном повышении производительности труда» на селе в тридцатые годы и приводят в доказательство этого «роста» смехотворные цифры: «Согласно данным бюджетных обследований колхозных хозяйств в девяти областях страны, на один отработанный колхозником день приходилось трудодней: в 1933 г.— 0,95; в 1934 г.— 1,01; в 1935 г.— 1,06; в 1936 г.— 1,15, в 1937 г.— 1,26. Следовательно, в эти годы производительность одного работника в течение дня в колхозах под влиянием перечисленных выше факторов увеличилась на 32,6%».

Значит, Васька-учетчик расщедрился насчет приписки трудодня, а ученый тут же делает вывод о «колоссальном росте производительности труда». Но что получал колхозник на этот трудодень? Это, мол, неважно... А на другой странице, позабыв о своих восторгах по поводу этого самого роста «производительности колхозного труда», ошарашивают читателя такими цифрами: «Удельный вес личных хозяйств по производству картофеля и овощей составлял 52,1% общей валовой продукции страны». И далее: «Еще больший удельный вес личных хозяйств в производстве продуктов животноводства: 71,4% молока, 70,9% мяса, 70,4% кожи, 43% шерсти».

Значит, там, где использовались «колоссальные средства производства», то есть тракторы, комбайны и проч., отдача была значительно меньше, чем при простой затрате ручного труда. А ведь овощеводство да животноводство являются наиболее трудоемкой отраслью сельскохозяйственного производства, и ютилось все это на малых приусадебных участках.

Не ладится у наших воспевателей «бурного расцвета» сельского хозяйства в тридцатые годы с элементарной логикой. Избавившись от так называемого «кулачества» (в двадцать девятом году категория кулацкого хозяйства так и не была определена), утверждают они, деревня, мол, дала городу большой избыток рабочей силы. И приводят такую статистику: «Естественный прирост населения советской деревни за 1926—1939 гг. составил

18,1 млн. человек. За эти же годы из села переместилось в город 24,1 млн. человек». То есть на шесть миллионов человек население в деревне уменьшилось. Но в другом месте одной и той же статьи эти воспеватели «прогресса» приводят другие цифры: «По предварительным данным Наркомзема СССР, к июлю 1930 г. было раскулачено *свыше* 320 тысяч кулацких хозяйств, их имущество конфисковано...» И далее: «За три года (1930—1932) из районов, где проводилась сплошная коллективизация, *было выслано* 240 757 кулацких семейств, что составляет... *около одной четверти* всех кулацких хозяйств».

Ну, перемножьте эту цифру на четыре, получится миллион семейств. А в каждом семействе пять, а то и шесть человек детей. Вот вам те шесть миллионов, на которые и уменьшилось в основном сельское население.

Вольно обращаются с цифрами наши историки! Вот еще пример: «Ежегодный объем заготовок зерновых культур 1938—1940 гг. составлял 1958 млн. пудов вместо 1111 млн. пудов в 1928—1932 гг.» (из той же статьи). Во-первых, объем заготовок еще не урожай — с колхозов проще было брать заготовки, чем с единоличников; во-вторых, это ведь только малым детям неизвестно, что в 1928—1929 годах мы вывезли за границу огромное количество зерна (излишки), а в 1930—1932 годах в связи со сплошной коллективизацией появился острый зерновой кризис, который привел страну к повальному голоду 1933 года. Зачем же объединять в одно целое эти годы? Ведь эдак можно доказать и увеличение количества животных в те минувшие годы, если считать по хвостам: коров, мол, стало меньше, зато больше коз, кошек, собак... Да у нас и теперь считают по хвостам — хвост коровий, а вымя козье: иная корова дает молока меньше козы, но числится. И без разрешения высокой инстанции убрать ее не имеешь права.

Порядок такой был заведен в начале тридцатых годов, а утвердился и окостенел в шестидесятых и семидесятых годах. Об этом уж много говорено и писано в последнее время, вроде бы и толковать не о чем. Но поди ты! Находятся любители «окоротить назад» и вернуть нас к тем исходным кривотолкам. Вот в большой статье журналист Вера Ткаченко («Правда» от 21.08.87 г.) пишет: «Мы не оправдываем и никогда не простим то, что было в 37—38-м годах». И в том же абзаце через несколько строчек решительно заявляет:

«Мы гордимся каждым своим прожитым днем, даже если он был тяжелейшим». Вот так... два года осуждает, но зато гордится каждым прожитым в то время днем. Эдак и Козьма Прутков, автор прожекта о «Введении единомыслия на Руси», изречь не сообразил.

Уж так хочется В. Ткаченко прославить тридцатые годы целиком, что она приводит в своей статье изречение читателя: «Основы экономической зрелости нашего государства закладывались в тридцатые годы...», потому как хлеб государству отвозили обозами, да еще с флагами. Вот так-то!

А мы-то, грешным делом, привыкли считать, что эти основы были заложены в начале двадцатых годов Лениным, его знаменитым нэпом, ГОЭЛРО и кооперацией. Именно нэп позволил нам быстро поднять экономику, и первый пятилетний план сотворен был в 1927 году, на деньги, добытые трудом рабочих и крестьян; в двадцатых годах были заложены гиганты нашей индустрии, а к тридцатым годам некоторые и построены. Зачем же наводить тень на плетень и подменять факты? Или неизвестно журналисту Ткаченко, что в 1932 году многочисленная группа большевиков, закаленных в подполье и в революционных боях, подписалась под документом, доказывающим, что первый пятилетний план был сорван по вине перегибов, допущенных Сталиным и его единомышленниками? Этот документ был окрещен так называемой «платформой Рютина». Разумеется, никакой «платформы» не было, не было и свободного обсуждения этого заявления. Навесили ярлык «платформы», и точка. Так любили поступать сторонники Сталина со всеми, кто критиковал их или пытался это сделать. Пора уж уяснить нам такую малость и очнуться от чиновничьих иллюзий: мол, что история, что закон, что дышло — куда повернул, туда и вышло. Нет, историю не привяжешь к дышлу и в оглобли не впряжешь.

Да, мы торжественно отметили семидесятилетие Октября, у нас серьезные достижения, и нам есть чем гордиться. Но зачем же плевать на предков своих? Ведь кроме нас и весь иной мир не спал на боку. Но они почему-то не плюют на своих предков, отмечая теперешние достижения. А мы?! Та же В. Ткаченко пишет: «Родившаяся в чудовищной нищете...» Это про Советскую Республику. Очевидно, В. Ткаченко не знает, что почти год у нас кроме войны бушевала еще и революция, а выдержи-

вать столь длительное время войну и революцию нищее государство не может. А известно ли В. Ткаченко, что к 1917 году изо всех воюющих держав одна Россия не знала карточной системы? Между прочим, пуд овса и ржи в начале 1917 года в Рязанской и Тамбовской губерниях стоил всего два рубля, а в Москве — двадцать рублей, в Петрограде же еще дороже. При завале хлеба в провинции в столице были серьезные перебои. Так в этом не страна виновата, здесь не нищета вопиет, а преступная беспечность правительства. Конечно, были в России и нищие. А разве нет их в теперешней Америке? Но у кого повернется язык назвать Америку нищей страной? А Россию — пожалуйста... «Ты и могучая, ты и обильная...» — эти слова поэта как-то забываются, зато охотно повторяют другие: «Ты и убогая, ты и бессильная». А между прочим, эта «убогая и бессильная» держава названа была Лениным одной из самых мощных монархий, правда, он добавлял еще один эпитет — «варварская монархия», но это не о стране, а о правительстве, о методах управления, так сказать.

У нас же порой понятие метода управления переносят на страну, на народ. Один оратор недавно так и завинтил: мы, говорит, из дикой страны за семьдесят лет превратились-де в культурную. А приехал он из Сибири... За сто лет до него оттуда же приехали Менделеев, Суриков и многие другие известные на весь мир ученые, художники, мыслители... Они, значит, дикарями были? Да ведь и Ленин не в Марселе вырос, не в Манчестере и даже не в Гамбурге, а в Симбирске. Символичное название города! И Ленин любил критиковать, но не огульно всю страну, а правительство за бездорожье, в результате которого в захолустных местах «царила патриархальщина и полудикость...». Кстати, наркомом земледелия Ленин назначил простого сибирского крестьянина. Неужто дикаря? А ведь неплохим министром был. Да и Калинин, и Буденный, и Чапаев, и Блюхер были не княжеского роду, а из крестьян, и дикарями их не назовешь. А то, что русские самолеты в первой мировой войне не уступали иностранным, а наши новые корабли и подводные лодки были самыми быстроходными... Это тоже дикари сотворили? Зачем же оскорблять наше чувство национального достоинства и выдавать нас за Иванов, не помнящих родства? Да, мы отмечаем семидесятилетие Октября, но мы являемся наследниками тыся-

челетнего могучего государства, народом, которым гордился и Ленин. Вспомните очерк Горького о Ленине! Негоже по случаю юбилея выдавать отцов наших и дедов за дикарей. Кстати, в июне 1917 года проводилась перепись европейской части населения России, которая установила, что 75 процентов мужского населения (женщин не учитывали) было грамотным. А на XV съезде ВКП(б) Н. К. Крупская сетовала на то, что на просвещение денег отпускают мало и находится оно в жалком состоянии: во многих губерниях закрываются не только школы второй ступени, но и первой ступени — и что призывники 1905 года рождения (то есть те, которые призывались в юбилейном 1927 году) по грамотности уступали предшествующим призывникам.

Полагаю, что Надежда Константиновна историю своей страны знала лучше, чем В. Ткаченко и вышеупомянутый мною оратор. Я отвлекся от темы разговора потому, чтобы лишний раз напомнить: юбилеи существуют не для того, чтобы реальную жизнь подменять выдумками, вольное обращение с цифрами, а еще хуже — с фактами истории не принесет пользы ни сельскому хозяйству, ни стране.

Михаил Сергеевич Горбачев сказал на июньском Пленуме ЦК КПСС 1987 года: «Когда шла дискуссия о путях коллективизации, уже тогда говорилось, что крупные коллективные хозяйства открывают большие возможности для применения техники, удобрений, достижений науки, но таят в себе опасность «отрыва крестьянина от земли».

К сожалению, опасность эта превратилась в реальную действительность. Оттого и все беды наши: при огромном росте средств производства долгие годы наблюдается застой, мягко выражаясь, в сельском хозяйстве. Оттого-то и необходима коренная перестройка в этом деле.

Но не так скоро дело делается, как слова произносятся.

* * *

Что же представляет собой современная система управления в натуре, а не по теоретическим трактатам? Давайте заглянем в разные уголки державы нашей и присмотримся к тому, как за последние два года начиная с апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС изменились порядки управления, заведенные более полувека назад;

внимательный анализ экономики и методов управления последнего периода важен хотя бы потому, чтобы не повторились негативные явления и после июньского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС.

Секретарь Московского обкома Месяц в прошлом году заявил: «Надои молока уменьшились по сравнению с прошлым годом в 15 районах, не освоено по капитальному строительству жилья, ферм 56 млн. рублей, по вводу объектов в эксплуатацию 86 млн. рублей...» (Ленинское знамя, 1986, 7 сентября). А ведь Московская область не из худших в нашей стране. И удивляется Месяц: что ж, мол, это творится, братцы? Призываем вас идти вперед, а вы назад пятитесь!

А удивляться нечему. Чтобы лучше понять тех, кого призывают, давайте хоть на минуту поставим себя на их место, на место колхозников, да совхозников, да руководителей хозяйств, которым и надо давать темпы. Но чтобы их давать, нужно укреплять и увеличивать производственную базу, то есть надо позарез ремонтировать и строить фермы, жилье, склады, дороги и проч. Конторы строительной, как правило, в хозяйстве нет, а та, что есть,— в районе, загружена по горло, и очередь на нее огромная. Сами же хозяйства не имеют ни железа, ни цемента, ни кирпича, ни досок, ни бревен, ни строительных машин и купить это добро нигде не могут, а только ждут как небесной манны: авось наверху кто-либо разжалобится и подпишет лимит, то бишь даст (смешно сказать!) бумагу на право купить кирпич или цемент на свои деньги. Ни колхоз, ни совхоз не имеют права покупать за наличный расчет в магазине не токмо что цемент, но даже гвоздей или электролампочек... А деньги колхозные и совхозные, у иных они и есть, никудышной бумагой лежат в банке.

Конечно, находятся отчаянные головы, обходят эти лимитные рогатки, ухитряются доставать «на стороне» строительные материалы и строятся... В прошлом году я был у одного из своих приятелей — директора мощного совхоза, который на свой страх и риск построил замечательный коровник на двести голов. В нем просторно и сухо, действует простая и надежная механизация. А какой замечательный медпункт при коровнике, какая комната отдыха!.. С изразцовым камином, с зеркалами во всю стену... Такой фермы я и в Англии не видывал. И коровы не толкутся в грязи возле коровника: повсюду

асфальт чередуется с мощным дерновым покровом. И дояркам удобно, и коровам. И сто́ит каждое коровье место здесь втрое дешевле, чем в огромных железобетонных сараях, то бишь комплексах, где зимой гуляют сквозняки, а летом на полах застаивается вода и коровы теряют копыта. Зато они сотворены по проекту, утвержденному свыше.

Но кто же этот мудрец и смельчак, спросите вы. А не скажу. Его уж не раз жестоко били за эти интервью, доводили до инсульта и даже до инфаркта. Теперь он хочет только одного: чтобы о нем не писали. Правда, сам он обмолвился недавно по телевидению о мытарствах со своей фермой... Но я дал ему слово, потому и не пишу, как и где доставал он кирпич, цемент, железо, как ездил за лесом аж за Волгу к знакомому директору леспромхоза... Да что говорить! Все выпрашивал, умолял со слезой во взоре, унижаясь и понимая, что в любую минуту может угодить под следствие. Ведь никто ему ни фондов, ни лимитов не выписывал. И строителей никто не выделял; своих ребят собрал, сам работал да нанимал вольных армян. И тут риск — ведь шабашники! Но что делать? Коровник нужен позарез, а строительные конторы и в районе и в области все загружены вперед на много лет. Рискует мужик головой. Ради чего? А ради интересов совхоза, ради государства, наконец. Построил прекрасную ферму — и вот чудо: вроде бы и нет ее, потому как не принимают инстанции, не ставят на баланс. Незаконно построил!.. И крутится директор совхоза, как воробей на шиле.

Наконец-то приняли ферму и... оштрафовали директора на девятьсот рублей — три оклада взяли с него за нарушение «финансовой дисциплины», то есть за проявленную инициативу, за самостоятельность[1]. А еще его наказали «госзаказом» — сдать в следующем году 120 тонн семян рапса и 15 тонн рапсового масла. Чтобы выполнить такой заказ, он должен засеять 500 гектаров рапсом. Где взять эти 500 гектаров? В совхозе у него всего 4 тысячи гектаров пашни и 18 тысяч голов крупного рогатого скота, то есть это молочно-мясное хозяйство. На производство мяса и молока ему земельных угодий не хватает, кормовой баланс в прошлом году в совхозе был отрицательным. А на это не взирать! Пусть у директора голова болит. Он ведь самостоятельности хотел. Вот и найдет

---

[1] Впрочем, теперь можно назвать имя его — Гончаров Евгений Михайлович.

сам, где взять эти 500 гектаров. Вон в тундре много еще земли не распахано. А от Подмосковья до тундры всего две тысячи километров. Пусть съездит в тундру, посеет там. А семена рапса, а рапсовое масло вынь да положь к концу года. Буде не сдаст директор — пусть пеняет на себя: лишим премиальных весь совхоз, а его самого... зарплаты (еще слава богу, что не живота). Вот это и есть перестройка: раньше мы, чиновники, думали, где достать семена рапса и это самое масло, а теперь пусть мечутся директора, а наше дело — спустить им разверстку.

Вот мы и дожили до того, что за хорошую работу бьют и плакать не велят. Вспомните хотя бы историю с братьями Стародубцевыми из Тульской области. Самовольство?! Будь угодником — и тебе будет хорошо. Исполняй священную заповедь бюрократа: «Не взирать!» А что хозяйство станет убыточным — наплевать. Таких у нас большинство.

Не так давно в газете промелькнула ужасающая цифра: только в одной нечерноземной полосе насчитывается 3600 хозяйств банкротов, урожай у которых не выше десяти центнеров, и что ежели подтянуть их до среднего урожая, то мы получим столько прибыли в урожае, сколько дает вся Кубань.

По логике здравомыслящего человека надо прежде всего заняться подъемом этих, и не только этих, убыточных хозяйств. Ведь стыдно при теперешнем техническом оснащении получать урожаи ниже, чем в те времена, когда земля ковырялась сохой. А для этого необходимо прежде всего развернуть на селе строительство дорог, жилья, ферм, больниц, школ, клубов и проч.; то есть создать условия жизни, *не уступающие городским.* Только тогда пойдет в села из городов мастеровой народ, а не шаромыжники да пьяницы. Но для такого всенародного строительства следует немедленно отменить все эти лимиты да фонды, ввести наконец товарно-денежные отношения, создать повсеместно торговые базы, открыть магазины по *свободной* торговле строительными материалами, как это было сделано в двадцатые годы; необходимо разрешить свободную организацию строительных бригад и артелей и наконец — дать возможность руководителям хозяйств вольно продавать сельхозпродукты и покупать на свои деньги все, что им необходимо. Если же они сидят в долгах, то надо предоставлять ссуды на определенных условиях. А неисправимых должников следует прикрывать как банкротов. Вот это и будет возвращени-

ем к ленинской политике кооперации и нэпа. Оживляя таким образом жизнь в опустелых селах России, мы тем самым привлечем туда необходимые трудовые резервы, которые повысят рентабельность земли, без чего невозможно устойчивое развитие промышленности. *Технический прогресс стоит на земле — это надо нам хорошенько запомнить.* И не делать вида, что все само собой устроится.

Грустно оттого, что граждане державы нашей в иных краях и в глаза не видели эту перестройку. Разумеется, местное начальство виновато в этом прежде всего. Но нельзя пускать на самотек перестройку; тут одних постановлений мало, надо еще и власть употребить к тем, которые нарушают эти постановления. Так было сделано Лениным в 1921—1922 годах; так и китайцы провели свою перестройку в деревне — и вот за четыре года после перехода на всеобщий семейный и звеньевой подряд производство продукции в Китае выросло почти вдвое, и это без особых капиталовложений правительством. Разумеется, этот рост и у нас в двадцатые годы, и теперь у китайцев невозможен был без отмены системы жестких лимитов и фондов.

Но теперешние бдительные консулы продразверстки и этих лимитов немедленно осаживают сторонников развития товарно-денежных отношений: «Назад! Не сметь!! Без жесткого повального планирования (в сущности, тотальной продразверстки) нельзя!..» По их разумению — все, что ни вырастет, свези государству, сперва план, потом повышенные обязательства и проч. Вези! Сваливай хоть в общие вороха, под открытым небом, как на свалку. Иначе, мол, социализма не будет.

Ага! Что за социализм, ежели тридцать процентов зерна в хозяйствах останется? Постановление было — оставить. А нам плевать! Во имя «социализма» откачали почти всё — оставили только два процента (год спустя стыдливо признались в этом). Откачать откачали и... погноили под открытым небом. Недавно по телевизору сообщили: двадцать процентов прошлогоднего зерна сгноили. Ну и что? Подумаешь, пропало каких-то сорок миллионов тонн зерна. Купим! Но зато это самое — социализм в чистоте оставим. И не какой-нибудь социализм, а сталинский, высшей кондиции, который начали с «великого перелома». Так переломились, что до сих пор выпрямиться не можем. Хоть на карачках будем ползать, но пылать от гордости: ведь мы первыми стали в такую

позу. И нечего соблазнять нас то историческими примерами двадцатых годов, то прыткими соседями, которые-де товарно-денежные отношения развивают, рынок. А нам и так хорошо — под себя смотрим.

Но шутки в сторону. Некоторые и всерьез поговаривают: ну да! а чем торговать? Ведь это все дефицит, возразят мне. Вот что я отвечу: лет двадцать назад Д. Полянский, тогдашний первый зампред Совмина, с некоторым удивлением признавался мне в своем кабинете: «Ты только подумай! Цемента мы выпускаем больше Америки, железа выплавляем больше, но по объему строительных работ, по вводу объектов они значительно опережают нас. И у них хватает и цемента и железа, а у нас не хватает...»

А потому и не хватает, что у нас и цемент, и железо, и все такое прочее этими лимитами да фондами обезличено, они мало чего стоят. Загляните на наши свалки — там столько этого железа да бетона, что пол-Америки завалишь. Глупые эти американцы, глупые и есть — они должны бояться не нашей водородной бомбы, а некоего чудотворного вихря, который в одну минуту может поднять в небо не мякину да мужицкие посконные портки, как у Салтыкова-Щедрина, а вот эти свалки и бросит их на Америку... Ихняя территория не выдержит — маловата по сравнению с нашей; не токмо что поля — все ихние небоскребы завалит. Но вот что чудно — территория у них поменьше, а земли пахотной излишки, прогуливает у них землица-то. Им бы наш Госплан: ужо они узнали бы, как землю оставлять незапаханной. Им бы годков десять нашей практики: пшеницу по пшенице сеять, свеклу по свекле, картошку по картошке... Небось всю Аляску до полярных льдов распахали бы.

Ну а если говорить всерьез! Скажите, что, у нас меньше земли, чем в ГДР, в Венгрии, в Болгарии? Нет, не меньше, а значительно больше. Так отчего же наша администрация, как скупой и неразумный Кощей, зорко следит за тем, чтобы колхозник или рабочий не попользовался этой землей для общего блага? Ведь не в Америку пойдет урожай с огорода колхозника?!

В Болгарии каждому желающему обрабатывать землю, где бы он ни жил — в деревне или в городе, наделяют целый гектар. В ГДР рабочий, живущий в деревне, может иметь сколько угодно скота и даже получает в личное пользование до гектара земли. О Венгрии и говорить

нечего — хочешь, откармливай скот при доме, на своей усадьбе... Привезут и коровник готовый, и коров поставят, и комбикорм привозят ежедневно. А у нас? Я имею в виду Россию, которая превратилась теперь в нечерноземную полосу,— тут колхознику дают всего двадцать соток, совхознику — двенадцать, рабочему — шесть соток (на юге и в республиках наших дают по шестьдесят соток). А у нас в метрополии, как раньше говорили, и в давние поры, и теперь следят строже: кабы кто чего на базар не повез? Это самое... нетрудовой доход иметь хочет. В Ротшильды метит, стервец! Вот ежели сгниют помидоры или капуста — это по-нашему. Да что там помидоры? Зерно гниет под открытым небом. Тысячи тонн в открытых буртах! Их моют дожди, засыпает их пыль. И воронье пасется на них несметными полчищами. На одной только станции Канашевская в Курской области прошлой осенью было свалено в лужи три тысячи тонн пшеницы. Проросла под дождем... Ну и что? Зерно-то ничейное. Колхозы и совхозы, слава богу, «первую заповедь» выполнили — отвезли государству и план и обязательства, свалили под открытым небом. Благодарности получили, премии. А то, что зерно гниет,— не взирать!

А сколько зерна рассыпано на сжатых полях! Не так давно кубанские хлеборобы говорили М. С. Горбачеву, что по семь, по десять центнеров зерна с гектара остается в поле, на земле по причине неисправности комбайнов. Так вместо того чтобы настроить хранилищ да навесов для хранения да выпускать исправные комбайны, мы тратим многие годы миллионы рублей на поворот северных да сибирских рек. Нас какой-то зуд одолевает: все нам хочется мир удивить — эка! взяли да реки повернули. А затратить на это чудо-юдо нужно было всего какие-то сто четырнадцать миллиардов рублей. Любой здравомыслящий человек может задать вопрос: «Кому пришла в голову эта дикая идея? Ведь у государства не было и нет таких «свободных денег»!» А пришла она все тем же мыслителям, которые живут по магическому заклятию: «Не взирать!»

Северные реки отбили — они за Оку взялись, хотят повернуть ее на юг, чтобы текла она не в Волгу, а в ту степь. Почему? Зачем?! А потому как проект сотворен втихомолку, втихомолку и поворачивают...

В Рязани говорят: «Вы загубите окскую пойму — этот божий дар, уникальный памятник природы. Вы Волгу

оскопите!» А им ништо. Они — Минводхоз — особь статья. Они это самое — деньги тратят на исполнение предписаний. А поскольку они тратят деньги, они остановиться не могут. Ведь уже миллионы потрачены, возражают они. Даром, что ли?! А на эти вопли рязанских инстанций и на протест самой «Правды» не взирать![1]

Каждому специалисту известно, что на Кубани воды достаточно, на Ставрополье же далеко не использованы все резервы земель по урожайности. Вот пример. Ездил я в Грачевский район Ставропольского края. Позапрошлый год считался одним из самых засушливых. Но в лучшем колхозе «Заветы Ильича» у Василия Андреевича Рындина взяли на круг по тридцать одному центнеру с шести с половиной тысяч гектаров богарных земель, а в остальных хозяйствах — по десять — пятнадцать центнеров. Небесная канцелярия одна, да молитвы разные, смеются мужики. У Рындина уже двадцать лет как поля имеют своих хозяев — четыре звена, всего тридцать человек обрабатывают более шести тысяч гектаров. Ниже тридцати центнеров ни в одну засуху не снимали. А в нормальные годы брали и по сорок, и по пятьдесят центнеров. Такой урожайностью да производительностью можно и в Америке похвастаться. Но вместо того чтобы опыт хозяйского отношения к земле пропагандировать, Василия Андреевича долгие годы били по шее за то, что «потакал звеньевым», которые не подчинялись указаниям свыше — что и когда сеять и когда жать. Того ретивого секретаря райкома сняли, теперь назначен новый — кандидат наук, опытный экономист. Но ни он, ни тем более Рындин не имеют полной самостоятельности.

— Какие планы довели вам по новому эксперименту? — спрашиваю Василия Андреевича.

— Под завязку,— только плечами пожал и, глянув на представителя райкома, добавил:— Но все вежливо. Две минуты всего разговора.

— Зачем же согласились?

— А! Райком тут ни при чем. Деваться некуда.— И оживляется, переходя на другую тему:— Овец нам держать невыгодно, а держим по плану. Представляете, тридцать тысяч голов — и ни копейки прибыли. Чудно

---

[1] Статья написана в 1987 г. Пока она «печаталась», Минводхоз отменил проект переброски окских вод как устаревший. Дай-то бог, чтобы не появился он вновь.

как-то с ценами манипулируют. Сажай свеклу — получишь миллионы. Овец, хоть и не хочешь, но держи. Н-да...

Конечно, Василий Андреевич от поливных полей не отказался бы, но он и без них живет неплохо. Мог бы лучше, кабы сам все планировал да реализовывал излишки продукции. Хорошо работает человек, и ведь у всех на виду. Не дешевле бы, не проще ли поучиться у Рындина, как надо к земле относиться, чем уповать на дальнюю северную воду? Да ведь и вода сама по себе чудеса не творит. Вспомните, что было сказано в докладе на октябрьском Пленуме ЦК КПСС 1984 года! А было сказано, что изо всех орошаемых земель, на которые было потрачено более сотни миллиардов рублей, только третья часть дает плановый урожай, а на двух третях урожай не повысился. То есть сотня миллиардов рублей потрачена даром. Такая растрата хуже моровой язвы. Почему же она происходит? Да потому, что Министерству водного хозяйства и мелиорации наплевать на урожайность. Оно получает за рытье каналов, за укладку дренажа, а там хоть трава не расти. Не слишком ли долго мы приносим жертву этому ненасытному Молоху?

Представьте себе на минуту, могла ли беспечно проматывать миллиарды государственных денег в двадцатые годы некая организация вроде теперешнего Минводхоза? Ни в коем случае. Ее бы прикрыли при появлении первых невосполнимых убытков, то есть максимум через год. Государство при Ленине содержать такого мота за счет казны не стало бы, потому что существовал хозрасчет истинный, деньги ценились на вес золота, посему банкротов прикрывали. «Эка, хватил!» — возразят мне. Раньше социализм только строили, а теперь у нас развитой социализм, а еще реальный... то есть высшая фаза! Ради такого престижного названия можно и сотню миллиардов в грязь втоптать. Деньги-то общие, а Минводхоз — организация автономная...

В самом деле, что за нелепость? В РАПО, у хозяев земли, нет ни экскаваторов, ни транспортеров, ни мощных самосвалов, ни бульдозеров и прочих машин для залужения и осушения земли. Вся эта техника у мелиораторов. Они и осушают землю, и строят оросительные системы, ведут известкование, приготовление компостов и проч. Используется эта техника скверно и даже во вред урожайности полей (о чем и говорят приведенные выше цифры).

Так почему же мы до сих пор не ликвидировали эту ведомственную безалаберщину? Вон в Эстонии уже десятки лет обходятся без Минводхоза, сами колхозы мелиорируют. И хорошо делают! Почему в остальных республиках базы мелиораторов не передали РАПО? Боимся, что технику поломают? Ладно, давайте сделаем эти районные мелиоративные станции самоокупаемыми, то есть переведем их работу на хозрасчет. Хорошо работают — их пригласят, плохо — не обессудьте, посидите без дела. Формально эти станции вроде бы и учитывают пожелания хозяйств, и даже отчитываются перед ними. Но только формально. В июле был я в макеевском совхозе, это в рязанской Мещере. Осматривали с директором совхоза А. Савушкиным огромное поле на Макеевском мысу, засеянное подсолнечником. Поле это известковали мелиораторы и вносили компост. И вот результат: на первых двадцати метрах с краю огромного поля подсолнечник вырос метра на два — здесь начинали работу мелиораторы в присутствии начальства, известкование провели и компост внесли как и следует по норме. Но стоило уехать начальству, работа пошла как бог на душу положит. Подсолнечник вырос чахлым, по колено. Итак, три гектара двухметрового подсолнечника, остальные триста семьдесят гектаров полуметрового. Может ли директор совхоза поставить у каждого экскаватора да при каждом самосвале по контролеру? Конечно же нет. Кажется, нетрудно догадаться, что мелиораторам надо платить только после того, как они сами вырастят урожай подсолнуха или травы на поле. Тогда сразу будет видно, что они сделали с полем. Так, собственно, и платят фермеры в Англии или в Италии. А мы никак не можем сообразить, чем можно обротать распоясавшийся Минводхоз.

* * *

Мотаясь из края в край по всей необъятной державе нашей, я не раз замечал это непостижимое свойство человеческой натуры — допрежь всего показать свою непреклонность, так емко выраженную словами: «Не взирать!»

На апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС было сказано русским языком, что планы на новую пятилетку давать реальные, учитывая возможности и ресурсы каждого хозяйства, то есть взвешивать и обсчитывать все возможности и скрытые резервы с руководителями и

специалистами хозяйств, а также районов. Вот это и значит работать по-новому. Кажется, ясно и понятно. Но это для обыкновенного смертного, который придерживается простой человеческой логики и здравого смысла. Лица же, которые считают допрежь всего «твердость души» и «непреклонность», а уж потом здравый смысл, к простым смертным не относятся: для них ни биологического, ни экономического закона, а существует токмо одна магическая формула: «Не взирать!»

Тогда же, после апрельского Пленума, в статье «Самостоятелен и безусловен» я писал, опираясь на конкретные факты, что Лимбажскому району Латвийской ССР дают планы, не считаясь с доводами ни специалистов, ни руководителей хозяйств, ни самих руководителей района. Написано это было в мае, а заехал я в Лимбажи в августе. Спрашиваю руководителей района:

— Как встретили мою статью?

— Хорошо,— отвечают.— Отметили, что все верно.

— Значит, новый пятилетний план обговаривали с вами?

— И не подумали,— отвечают.

— А как же?

— Все, как прежде,— спустили сверху. Наши доводы не в счет.

По понятным причинам я не называю имена лиц, с которыми беседовал. Надеюсь, что читатель извинит мне эту скрытность. Люди у нас стали осторожными, и с этим следует считаться. Оно и понятно, откуда идет осторожность,— план-то спущен все по той же волшебной присказке: «Не взирать!» Ну а тем, которые не считаются с этим правилом, могут и по шее дать.

Значит, так, производство мяса и молока, наиболее трудоемких и по нелепым причинам ценообразования наименее прибыльных видов продукции, должно быть увеличено на тридцать пять процентов. Так предписано. Из чего исходя? Популярно объяснено: исходя из мобилизации внутренних ресурсов.

«Но какие у нас внутренние ресурсы? Вы сами видели и описали их в той статье,— говорили мне руководители района.— Затраты на улучшение земли в последнюю пятилетку нам урезали, строительство сократилось. В новой пятилетке денег на строительство ферм и жилья в хозяйствах вообще не дают. У нас острый жилищный кризис, оттого и работников не хватает. Поголовье коров

не увеличишь без строительства новых ферм. Ведь корова не лось, не медведь, бродить зимой по лесу или залечь в берлогу не может. Нам говорят: обходитесь за счет капитального ремонта. На это дело деньги дадим. «А фонды, лимиты, стройматериалы?» — спрашиваем. «Это уж добывайте сами»,— отвечают. Да где мы их добудем? Раньше хоть в Эстонию ездили, на заводы стройматериалов. Кое-что выменивали, так сказать, баш на баш. Но теперь и эту статью нам закрыли. А ведь на бумажные деньги стройматериалы не купишь».

Доводы серьезные. Но тронули они тех, кто спустил плановую разверстку? Ничуть. У них броневой щит против таких доводов: «Не взирать!» Но, может быть, это «не типично»? Может, в другом конце нашей державы все по-другому?

В сентябре того же года я был в Приморье. От Прибалтики до Тихого океана десять тысяч километров... Захожу в Хорольский райисполком. Председатель — В. Н. Серов — показывает мне контрольные цифры на новую пятилетку, спущенные сверху, и тут: увеличить производство продукции на тридцать пять процентов за счет внутренних ресурсов.

— Ну и как? — спрашиваю.— Справитесь?

— Каким образом? У нас в районе недостает почти двух тысяч специалистов: мелиораторов, механизаторов, скотников, доярок. И взять негде. Так вот! — накаляется председатель.— Какие же у меня внутренние ресурсы? Звоню в край: «Вы хоть посоветовались с нами? За счет каких ресурсов повышенный план выполнять? Строительных материалов нет, с техникой плохо, специалистов не хватает». Мне отвечают: «Надо вербовать народ, обучать...» Мы вербуем. Приезжают к нам с Украины... Ну кто, какой хороший рабочий поедет? Приезжают главным образом уволенные по тридцать третьей статье. Они там дурака валяли и тут пьянствуют да шаромыжничают. Так что выезжаем в основном на городских шефах. На них же далеко не уедешь...

Ладно, Хорольский да Лимбажский районы в основном земледельческие, идентичность, хоть и малая, но есть. Но вот приехал я в таежный Красноармейский район, в Ново-Покровку. И тут все те же тридцать пять процентов, и те же магические внутрение ресурсы.

— Нам велено увеличить производство продукции за счет сои главным образом,— сказал мне секретарь райко-

ма Жеребецкий.— А это значит, надо поднять минимум две тысячи гектаров новых земель. Представляете, что это значит для нас? Кругом тайга да болота.

— Деньги дают на мелиорацию?

— Нет. Да и что деньги? И деньги были бы — все равно нам не освоить столько земли. А если бы и приготовили землю по мановению всевышнего за неделю? Так она бы впусте гуляла. Какие у нас тут в тайге соеводы? А техника? И где все это взять?

Да, невеселый разговор. Иной скажет недовольно: вот, мол, схватился за районное звено. Ладно, послушаем, что говорят в хозяйствах. Приехал я в Поповку — большое село, лежащее обочь большака от Хороля на Камень-Рыболов. Когда-то здесь был богатый колхоз. В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов он гремел на всю округу. Я бывал там в ту пору, писал о нем... Помню белую пышную цветень садов и палисадников, заслонявшую по самые крыши добротные пятистенки; а в ендове за селом раскинулся огромный колхозный сад: сливы, смородина, яблони и длинные ряды виноградников. В теплых белостенных фермах мощные коровы, что буйволицы,— меньше четырех тысяч литров не давали, и урожайность была не меньше тридцати центнеров с гектара. В семидесятых годах колхоз был превращен в совхоз по той простой причине, что в колхозе накопился солидный неделимый фонд, то есть деньги. А деньги нужно было взять. Взяли. Председателя колхоза Самохатку уволили. Вчерашним колхозникам перестали давать зерно. Заработки уменьшились, и потекли кадры... Совхоз захирел: урожайность снизилась более чем вдвое, удои тоже, сад задичал и превратился в бурьянник. Обычное следствие бюрократического произвола...

Директора совхоза Владимира Сергеевича Сосновского застал в конторе. Это еще молодой человек, худощавый, подвижный и очень общительный. Он здесь уже шестой директор. Разговорились.

— Солнечный день,— говорю,— а вы в конторе сидите.

— Не имею права отлучиться,— смеется.

— Почему?

— У нас теперь такой порядок: если вздумает навестить нас начальство, то звонят еще с утра из района: ждать в конторе! Никуда не отлучаться. Дел по горло... уж обед на носу, а я все сижу сложа руки и все жду высоких посетителей.

— Это что ж у вас, боевая готовность «один»?

— Нет, это боевая готовность «два»,—смеется.— Готовность «один»—когда едет высокое лицо из края. Тогда весь район сидит и ждет... по конторам. И наблюдение выставляют.

Через неделю я оказался свидетелем такого переполоха. С утра было объявлено: из Владивостока вылетит «сам» на вертолете, приземление в одном из северных земледельческих районов. И объявлена была тревога сразу по трем районам: «Всем сидеть по местам и следить за воздухом». И команда: «При появлении вертолета немедленно ехать к месту посадки на машинах всем руководителям района и директорам совхозов».

Уссурийский, Ханкайский и Хорольский районы несли бессменную боевую вахту до самого вечера, как по атомной тревоге. А вертолет обманул их бдительность—зашел справа и приземлился в Спасском районе. Там его не ждали, поэтому встречающих было мало. Это и рассердило высокое лицо—через двадцать минут оно улетело обратно во Владивосток, заставив местное население гадать: «Что же будет дальше?»

— Эти дежурства по боевой готовности и называются у вас новым стилем руководства?—спрашиваю Сосновского.

Только посмеивается. Молодежь!

— У меня картошки много. Уборка подошла, говорю: дайте мне хоть парочку комбайнов! А они присылают мне пятьсот человек шефов. Зачем? Их же расселить да прокормить дороже обойдется, чем вся картошка стоит. Отвечают: а тебе чего, жалко? Не из своего же кармана кормить.

— Людей не хватает?

— Да... Некоторые еще бы и работали, но невыгодно им в совхозе работать—зерна не даем и денег мало платим. Они на дому больше зарабатывают.

— Как это?

— Так. Держат две коровы, а то и три. Высокоудойных. Таких у нас на фермах нет. Нашу «фирменную» корову они и держать не станут. Сено косят в сопках. Молоко и даже телят сдают государству. За это получают фураж в первую очередь, а мы—во вторую. И денег много получают, больше, чем наши рабочие.

— А вы не пробовали звенья сажать на хозрасчет и закреплять за ними землю и технику?

— У нас в Астраханке попробовали и всю округу насмешили.

— Почему?

— Обманули их. Они вшестером обработали тысячу девятьсот гектаров земли, вырастили урожай почти вдвое выше, чем на общесовхозных землях. Согласно договору должны были получить тридцать тысяч рублей премиальных. Но им сунули всего по четыре оклада, и оказалось, что заработали они меньше, чем те, на общей земле. Обидели их.

* * *

Я приехал в село Астраханку, давно и хорошо знакомую мне. Стоит она на высоком берегу озера Ханки, рядом с районным центром Камень-Рыболовом. Когда-то, лет тридцать назад, астраханский колхоз, которым руководил Фома Скирда, освещал не только свое село, но и районный центр. Это был большой и богатый колхоз...

В пятидесятые годы, в пору относительной самостоятельности хозяйств, Фома Иванович фрахтовал вагоны, баржи, корабли и отвозил свои помидоры, капусту, рис, мясо и в Комсомольск, и в Николаевск-на-Амуре, и во Владивосток, и даже на Сахалин. Вот на какие деньги он построил и мощную по тому времени электростанцию, и механизированный ток, и фермы, и жилье колхозникам. И коровы были породистые, и урожаи высокие...

А теперь? Поля отощали, запустели, коровы, точно козы, по три, по четыре литра молока дают, и кадры (как у нас теперь именуют крестьян) разбежались да состарились. Оно и понятно — тогда была хоть и урезанная, но все же самостоятельность: излишки продуктовые сами продавали и распределяли по колхозникам. Теперь — жизнь по уставу: делай, чего велят, уродилось — хорошо, не уродилось — тоже неплохо. Все равно в твоем кармане не убудет.

Звеньевого Яницкого, того самого, который с пятью товарищами обработал почти две тысячи гектаров земли и вырастил великолепный урожай, я застал за ремонтом «Кировца».

Обычно при взгляде на эту гигантскую машину меня берет оторопь. Экая махина несуразная землю давит... А тут я как-то и не удивился мощноте трактора: у откинутого капота стоял и копался в моторе Микула Селянинович — белобрысый, ладно скроенный богатырь вроде бы и

роста не саженного, но могучие плечи, неохватная грудь, и в тугих узлах мускулистые мощные руки. И весело подумалось: а ведь эдакий пахарь и «Кировец» опрокинет.

— Сами ремонтируете?—спрашиваю.

— Чужим не доверяем,—улыбается.—Запчасти берем из Сельхозтехники, а платим за ремонт... Лишь бы они не прикасались к нашим тракторам.

— Значит, откупаетесь?

— Да вроде того. Нам запчасти не продают... Не положено! Вот и кормим дармоедов из Сельхозтехники.

Увидев нас (со мной был третий секретарь райкома партии), подошли с ремонтного двора и другие механизаторы.

— Как же вас обсчитали?—спрашиваю Яницкого.

— Да вот так...—только руками развел.—Вроде бы побрили.

— Договор с вами заключали?

— Да. Значит, условия были такие: если мы дадим больше прибыли, то и заработок будет выше. В среднем наш совхозный механизатор дает пять с половиной тысяч прибыли в год. Мы же, в звене, дали по тридцать шесть тысяч прибыли на каждого. Согласно договору нам должны были выплатить тридцать тысяч рублей премии. Но дали всего по четыре оклада. Но так как мы весь год сидели не на сдельщине, а на авансе, то и заработали меньше, чем те, на общих полях. Развалилось звено... Работаем еще... Но все не то.

— Как же вы допустили, Галина Николаевна?—спрашиваю третьего секретаря райкома.

— Ничего не могли поделать!—она аж покраснела от сердитых взглядов мужиков.—Вы же знаете нашего Виктора Алексеевича! Уж он все телефоны оборвал... Стыдил директора банка, а тот ему: «У меня инструкция—больше четырех окладов премии не выдавать. Есть у вас в кармане лишние двадцать семь тысяч? Подписывайте бумагу, а там расплатитесь».

Потом я разговаривал с первым секретарем Виктором Алексеевичем Щербаковым. Это серьезный человек. Понимает ли он, что этим нарушением договора со звеном нанесен огромный вред целому району? Еще как понимает. «Звонил,—говорит,—во все краевые конторы. Убеждал, требовал выдать премию звену. Глухота. Нет инструкций на сей счет, и точка...»

Да, истории всё какие-то грустные...

— Нет ли у вас чего такого, чтобы душа порадовалась? — спрашиваю.

— Чеки рисовые хороши... И рис уродился добрый. Съездите в Мельгуновку.

Мы поехали туда на «газике» с председателем РАПО Н. Орловым, по дороге прихватили директора совхоза Бориса Константиновича Правдивца и по бетонке въехали в разливанное зеленое море, по поверхности которого до самого горизонта катились под порывистым ветерком упругие волны. Рис бушевал...

Вышли из машины; дорогу нам перебежал целый выводок фазанят, ведомый красноперым петухом, и скрылся в зарослях риса, как в камышах. Вода была спущена, но земля чавкала под ногами... А рис, рис непрорезной густоты стоял почти по пояс. И мотались, кланялись тяжелые кисти его на ветру.

— Вот это рис! — не удержался я от восторга.

— Да, хорош,— согласился председатель РАПО.— Центнеров по сорок пять можно бы взять.

— Что значит можно? Нужно!

Директор невесело усмехнулся:

— Как его возьмешь? Комбайнов рисоуборочных нет. Приспособили обычные — они не столько берут зерно, сколько обмолачивают его на стерне. Видишь, какой рис! — он взял одну головку и потрепал ее, несколько зерен упали на землю.

— Что за сорт? — спросил я.

— Дальневосточный...

— Вроде бы раньше такого здесь не было? Новый вырастили?

— Да нет... Он раньше назывался Сантахезский.

— Ах вон что! — удивился я.— Так его раньше в снопы вязали.

— Людей было много. А теперь ни людей, ни комбайнов.

— Но ведь убираете?

— Убираем...— директор только вздохнул.— Эх!.. Половина урожая на земле останется.

— Да... Центнеров двадцать возьмем, и то хорошо,— согласно кивнул ему председатель РАПО.

— Где же ваша техника? — спросил я.

— Поедем дальше. Увидишь.

Мы проехали версты две по полю и увидели с полдюжины комбайнов. Это были обыкновенные комбай-

ны СКДР-6. Две машины медленно плыли вдалеке, четыре стояли поодаль друг от друга. Мы подошли к первому комбайну. Я увидел картину необычную: комбайнер и подручный длинными ножами срезали рисовую солому, туго и плотно обтянувшую барабан, и матерились на чем свет стоит.

— Что за комедия, создатель?—спросил я директора.

— Комедия и есть, мать-перемать...—отозвался потный комбайнер.—Солома-то влажная и прочная, ее точно веревку наматывает на барабан. Метров пятьдесят пройдешь—стоп! Бери ножи и орудуй... Замучились. Это не работа, а...—и тут он опять крепко, затейливо выразился.

— А те почему стоят?—кивнул я на два других комбайна, стоявших поодаль на загонке.

— У СКДР-6 слабый узел фракциона,—говорит Правдивец.—На грязи сразу выходит из строя... Снимают задник и везут ремонтировать.

Председатель РАПО взял меня под руку, отвел в сторонку:

— Смотрите, сколько зерна на стерне! Понимаете, хедер бьет рисовые кисти сверху, и от этого удара, прежде чем попасть на барабан, они наполовину осыпаются...

— Неужели ничего нельзя придумать?

— Отчего ж нельзя?—подошел директор.—Вон на краевой опытной станции работают два японских рисоуборочных комбайна. Им и влага не страшна, и потерь нет. Они работают по методу очесывания; наш хедер бьет рис сверху, а они захватывают его снизу, и все зерно попадает в карманы...

Я был на этой станции, видел, как в дождь работали японские комбайны на жатве риса. Они значительно меньше наших по размеру, но работают безостановочно.

— Какие потери зерна?—спросил я комбайнера.

— Никаких потерь,—ответил он.

А сто́ит такой комбайн восемьдесят тысяч долларов. Секретарь Ханкайского райкома Виктор Алексеевич Щербаков с горечью говорил мне:

— Мы каждый год просим: закупите для нас несколько японских комбайнов. Ведь они же за год оправдают себя с лихвой. А мы вас рисом завалим. Но... шлют нам СКДР-6, рис втаптываем в землю... И никому до этого нет дела.

И опять я вспомнил знакомую заповедь: «Не взирать!»

Иной благожелательный читатель авось спросит: «Может, в этом году все изменилось?»

Нет, не изменилось, дорогой читатель! Если вы слушали или читали доклад Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева на последнем Пленуме, то прекрасно это знаете.

Впрочем, вот вам еще несколько примеров нынешнего года. В марте был я в селе Елизаветинка Шортандинского района Целиноградской области. Сидели за одним столом с директором совхоза и секретарем райкома партии. Совхоз передовой.

— Сколько прибыли получили?—спрашиваю директора.

— Два миллиона,—отвечает Владимир Николаевич.

— На что потратили?

— Отобрали у нас прибыль,—чуть помедлив, ответил директор.

— Почему?!

— Разделили нашу прибыль по другим совхозам—убытки ею покрывали...

— Сактай Сагнаевич, как же вы это позволили?—обращаюсь к секретарю райкома.

— Инструкция такая спущена,—ответил он смущенно.—Задача—покрыть убытки отстающих хозяйств.

— Для липовой отчетности?—спрашиваю.

Секретарь молчит. А директор приободрился:

— У нас иные совхозы по два центнера зерновых сняли. Семена не вернули. Вот как!

— Ну, хоть что-нибудь стронулось за последний год в лучшую сторону?

— Хуже стало,—сердито ответил директор.—Мы запланировали посадить сто гектаров картошки, район увеличил план до ста сорока гектаров, а область подняла его до двухсот гектаров. Зачем? Мы же обязуемся сдать запланированный тоннаж. Что им за дело, сколько гектаров мы посадим?

— Инструкция есть инструкция,—отговаривается Сактай Сагнаевич.—Не я ее выдумал.

— Нет, вы только подумайте!—берет меня за локоть Владимир Николаевич.—Нам запретили очищать зерно на току. Вези на элеватор сорное зерно, прямо от комбайна!..

— Почему?—удивился я.

— Да потому, что сорный хлеб оставался у нас для

фуража. А теперь он остается на элеваторе. Они у нас принимают зерно по восемь копеек за килограмм, подрабатывают его и сдают государству уже по пятнадцать копеек, а отходы продают нам же по двадцать девять копеек за килограмм. Это же надувательство! И так во всем...

Через день очутился я в соседнем районе, в большом совхозе-птицефабрике. У них шестнадцать миллионов прибыли, своя строительная контора: заложили они два девяностоквартирных дома, новый клуб, детский сад, санаторий... И вдруг седьмого марта почти всю прибыль у них отобрали — оставили меньше двух миллионов на соцбытнужды, на премии и мелкий ремонт... Контора гудела, как потревоженный улей:

— Законы у нас есть?

— Куда жаловаться?

— Ведь это же произвол! Есть постановление № 358, запрещающее отбирать у хозяйства прибыль. С января оно обрело силу закона. И что же? Плевать на закон?!

— Ведь тех денег, что нам оставили, не хватит на консервацию строительных объектов. Как жить?

К сожалению, меня часто загоняли в тупик подобными вопросами.

И в августе нынешнего года, когда я заехал в Лимбажский район, первый секретарь райкома Иван Иванович Хохленко сетовал:

— Составили мы встречный план на поставки, значит... Но Госплан и Госснаб трижды срезали нам поставки, хотя мы их согласовали во всех республиканских инстанциях. От нашего плана остались рожки да ножки, как от бабушкиного козлика. И все-таки, все-таки... Даже этот обрезанный план поставок выполняется ежегодно всего на тридцать шесть процентов. Как вам это нравится?

Я только и мог пожать плечами.

— И тем не менее одного молока мы в прошлом году дали на 1870 тонн больше запланированного. Могли бы дать еще больше, но при условии нормального товарно-денежного обмена, торговли то есть. Если Госплан и Госснаб сохранятся в теперешнем виде, то наша перестройка попросту захлебнется.

— А что еще вам мешает?

— Минводхоз. Эта организация только откачивает наши деньги. Наплевать ей на улучшение наших полей! Минводхоз немедленно должен передать всю технику в распоряжение РАПО, а его головные проектные институ-

ты должны быть выведены из-под контроля Минводхоза и поставлены на хозрасчет. Тогда они будут выполнять наши заказы, а не планировать орошение Сахары... то бишь, простите, поворот северных рек.

Потом подался ко мне и сказал иным тоном:

— Послушайте! Это же произвол... Ведь мы обязуемся выполнять пятилетний план. А почему они, там, срывают наш встречный план? Кто за это ответит? Где контроль за ними?

Ну что тут скажешь? Да, произвол был и остается...

Да, постановления и законы подменяются инструкциями. Да, бюрократы во все времена старались увильнуть от общественного контроля и жить по особой заповеди: «Не взирать!..»

Избавиться от этого бедствия можно двуединым путем — развитием демократии и усовершенствованием системы управления экономикой, а следственно, промышленностью и сельским хозяйством.

Вроде бы это прописные истины. Но на деле все обстоит куда сложнее. Перестройка системы экономики идет медленно, демократия и гласность ограничиваются многими оговорками. Я вовсе не хочу сказать, что надо действовать по присказке: «Валяй, ребята, куда попало!» Конечно, надо считаться с реальной жизнью и понимать, что с ходу лимиты и фонды не отменишь, но и бездействие в подготовке отмены их недопустимо; что план и рынок прекрасно уживаются и вовсе не следует отказываться от одного ради другого. (Это доказали Америка, Англия, Франция, Югославия, Китай и др.) Но нельзя же выдавать продразверстку, да еще жесткую систему лимитов и фондов за планирование. И нельзя кричать караул и бить в рельсу, когда кто-то пытается доказывать несовместимость того же плана и рынка. Надо уметь выслушивать иные мнения и привыкать к тому, что без этого условия демократия просто невозможна. Нельзя надевать намордник на торговлю и, следственно, на экономику ради сохранения многотысячных щупалец Госснаба или Госплана. Тут совершенно ясно одно: планирование, а также система лимитов фондов в теперешнем виде несовместимы с перестройкой. И еще одно обстоятельство: кроме экономической целесообразности есть еще и нравственная обязательность, которую нельзя сбрасывать со счетов.

И вот я о чем думал: в ответ на серьезные постановле-

ния июньского Пленума ЦК КПСС и правительства о перестройке нашей экономики мы, граждане своей державы, должны негласно принять, но свято исполнять закон порядочности, честности и чести. Только тогда мы добьемся чего-либо стоящего, когда каленым железом будем выжигать скверну лжи, очковтирательства и равнодушия.

Герцен в статье «О развитии революционных идей в России» писал: «Ужасный, скорбный удел уготован у нас всякому, кто осмелится поднять свою голову выше уровня, начертанного императором: будь то поэт, гражданин, мыслитель — всех их толкает в могилу неумолимый рок. История нашей литературы — это или мартиролог, или реестр каторги». Горькие, страшные слова. Но как окрыляет душу современника моего сознание того, что, несмотря на неизбежную гибель, многие сограждане наши осмеливались «поднимать головы выше уровня, начертанного императором» и иными прочими. Да, история наша полна жестокости, но и непокорства, каторжных мучений, но и свободного полета неукротимого духа, и я с радостью повторяю слова великого Пушкина: «Я не хотел бы переменить отечества или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такую, какой нам Бог ее дал».

И так странно читать упрек, брошенный великому поэту советским писателем, извлеченный из его архива и напечатанный «Литературным обозрением»: «Герцен: мартиролог русской литературы. Обвинение правительству. Это так. Но только ли в социальных порядках, в правительстве вина? А в самих писателях нет вины? Писатели эти — порождение того социального строя, дети, не всосали ли они с детства с молоком матери предрассудки, суетность, пороки своего времени, своей среды? Пушкин. Мудрейший из мудрейших... Но не мог же переступить через дуэль — этот порог чести его времени?»

Не мог. Пушкин не Булгарин, не Греч... Порог чести может переступить или трус, или бесчестный человек. Каждое время имеет свой порог чести. И не пора ли нам сурово осуждать тех, для кого честь или предрассудок, или пустой звук?

1987

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ВОШЕДШИХ В 1—4 ТОМА СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Можаев Б. А.

М74 Собрание сочинений. В 4-х т. Т. 4. Мужики и бабы: Роман. Кн. 2; Очерк; Статья.— М.: Худож. лит. 1990.— 543 с.

ISBN 5-280-01050-2 (Т. 4)

ISBN 5-280-00793-5

В четвертый том Собрания сочинений Бориса Можаева вошла вторая книга романа-хроники «Мужики и бабы». Логическим завершением романа являются публицистические размышления писателя о состоянии современной российской деревни (очерк «По дороге в Мещеру» и статья «Не взирать!»).

М $\frac{4702010201-201}{028(01)-90}$ подписное

ББК 84Р7

Борис Андреевич

МОЖАЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 4

Редактор В. Бармин

Художественный редактор Е. Ененко

Технический редактор О. Ярославцева

Корректоры Н. Пехтерева, О. Левина

ИБ № 5750

Сдано в набор 28.08.89. Подписано в печать 05.02.90. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Баскервиль». Печать высокая. Усл. печ. л. 28,56. Усл. кр.-отт. 28,56. Уч.-изд. л. 32,47. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-3585. Заказ № 2855. Цена 2 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Художественная литература».
ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати.
113054, Москва, Валовая, 28